
ВЛАДИМИР
МИХАЙЛОВ
ВЛАДИМИР
МИХАЙЛОВ
Сторож брату моему



ВЛАДИМИР

МИХАЙЛОВ

Сторож брату моему

ВЛАДИМИР

МИХАЙЛОВ









ВЛАДИМИР

МИХАЙЛОВ

Сторож брату моему

ВЛАДИМИР
МИХАЙЛОВ

Сторож брату моему

Тогда придите, и рассудим

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«СЕВЕРО-ЗАПАД»
1993

Перепечатка отдельных глав
и всего произведения в целом — запрещена.
Всякое коммерческое использование данного произведения
возможно исключительно с ведома издателя.

© Издательство «Лиесма», 1976.
© Издательство «Лиесма», 1983.
© В. Михайлов, 1990.
© А. Балабуха, вступительная статья, 1993
© Издательство «Северо-Запад»,
оформление, 1993.
® «Северо-Запад». Зарегистрированная торговая
марка. Охраняется законом.

ISBN 5-8352-0127-3

ВЕРНОСТЬ ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ

I

Еще незабвенным Козьмою Прутковым с дивной наблюдательностью подмечено, что «три дела, раз начавши, кончить трудно: вкушать вкусную пищу, беседовать с возвратившимся из похода другом и чесать, где чешется». Что до деликатесов, то в наши дни говорить о них, прямо скажем, не стоит,— как писал один из трех прутковских отцов, Алексей Константинович Толстой:

Ходить бывает склизко
По камешкам иным,
Итак, о том, что близко,
Мы лучше умолчим.

Второй тезис, при всей его справедливости, следует, пожалуй, расширить: трудно прервать беседу не только с возвратившимся из похода другом, но и с другом вообще, тем более что современная жизнь уже успела превратить наши встречи в почти непозволительную роскошь — с Владимиром Михайловым, например, мы встречаемся в лучшем случае раз в два-три года... Столько времени длились разве что походы Александра да Ганнибала. Даже просто посудачить о своих друзьях — и то удается не так уж часто; а коль выпадает все-таки случай, занятию этому поневоле предаешься истово и безоглядно. Ну, а третье из прутковских утверждений и вовсе неоспоримо и лишь нуждается по отношению к нашему брату литератору в небольшом уточнении: ведь чешущийся язык и зудящие по клавишам пальцы — общеизвестные симптомы нашей профессиональной болезни... И потому, начав свой разговор о Владимире Михайлове и его книгах полтора десятка лет назад на страницах журнала «Даугава» (задолго до того, как Владимир Дмитриевич стал на короткий срок его главным редактором), я от души надеюсь, что кончится мой монолог еще очень и очень нескоро.

Однако вести речь обо всем сразу невозможно (ах, Прутков, Прутков! «Никто необъятного объять не может»...). И сегодня

я намерен порассуждать лишь об одной — на мой взгляд, самой важной, может быть, особенности михайловского творчества. Желание, согласитесь, вполне естественное: о чем-то мне случалось уже писать, а кое-что стоит оставить и на будущее...

Представьте себе художника — разностороннего, талантливого, овладевшего если не всеми, то многими секретами мастерства, но при этом способного испытать подлинный творческий экстаз, лишь работая над натюрмортами, например. Это не значит, разумеется, что он только эти самые натюрморты и пишет. Нет! Он может сотворить и превосходный портрет — какого-нибудь «юношу в белом»; однако изобразит означенного молодого человека непременно возле столика, на котором рядом с горкой фиников красуется рюмка марсалы (как видите, не помянуть деликатесов мне все-таки не удалось!)... Или написать великолепный пейзаж — только видны будут лес да речка в распахнутое окно, а на подоконнике... Догадываетесь? И это — не навязчивая идея; не фокус, призванный привлечь зрительский интерес; это благородная страсть, что-то вроде верности Прекрасной Даме.

Именно таким, верным одной теме художником, и представляется мне Владимир Михайлов.

Однако рассказ об этой теме придется начать издалека.

II

Вот уже несколько поколений исследователей литературы бьются над загадкой воистину фантастического успеха, выпавшего на долю увидевших свет в 1719 году «Жизни и необычайных поразительных приключений Робинзона Крузо» (приношу извинения педантам за усечение названия — полное заняло бы восемь строк). Сразу по выходе роман стал бестселлером — словечка этого читатели тех времен, естественно, не ведали, однако исправно осаждали книжные лавки. Только за первые полвека «Робинзон» выдержал чуть ли не полсотни изданий в Англии и был переведен на все основные европейские языки. Больше того, с легкой руки Даниэля Дефо родился новый жанр — робинзонада. В каждой стране и даже во многих провинциях и городах появились собственные «Робинзоны» — французский, датский, греческий, голландский, ирландский, силезский, берлинский, лейпцигский... Только в одной Германии и только до 1760 году появилось больше сорока робинзонад! И они продолжают выходить из печати по сей день — вспомните хотя бы «Робинзонов космоса» Франсиса Карсака. И не случайно сделал Уилки Коллинз «Робинзона

Крузо» Библией одного из героев своего «Лунного камня» — обаятельно-занудного старика Беттереджа.

Но в чем же секрет?

Разумеется, абсолютно однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако выделить главную составляющую все-таки можно. Ибо сознательно или бессознательно, но наткнулся Даниэль Дефо на одну из ключевых проблем человеческой психологии — тему одиночества.

Одиночество многолико. Оно может быть физическим — в духе Робинзона «допятницкого периода»; может быть интеллектуальным — проблема непонятого и непризнанного гения, например; духовным — во всех его разновидностях, от пресловутого одиночества в толпе до одиночества вдвоем. Оно может быть пассивным, страдательным — одиночество Робинзона или изгоя, но бывает и активным — как, скажем, самоизоляция отшельника. О чем бы мы ни думали или ни рассуждали: о дружбе и любви, политике и религии, искусстве и преступлении — нам никак не обойтись без обращения к этой краеугольной проблеме человеческого сознания. Парадокс — жалкий голый примат, ставший царем природы лишь потому, что вовремя сумел оценить достоинства коллективизма, социального объединения, рода, племени, орды, государства, наконец, тем не менее по сей день едва ли не больше всего озабочен тем, как вырваться из кокона собственного, личного одиночества.

Вот эту-то проблему и сделал главной для себя Владимир Михайлов.

Признаюсь откровенно, понял я это далеко не сразу. При чтении первых его книг подобная мысль даже не приходила мне в голову. Оно и понятно: и сам писатель в те годы, скорее всего, не отдавал себе в том отчета, да и я был на тридцать лет моложе и глупее. Больше того, я вообще не говорил с Михайловым на эту тему — так что сегодня разом убиваю двух зайцев, делясь соображениями и с вами, и с автором.

Дебют Михайлова-фантаста состоялся в 1962 году, когда в журнале «Искатель» была опубликована его повесть «Особая необходимость», выдержанная в доброй старой традиции жюльверновских «необыкновенных путешествий». Естественно: «амьенский затворник» жил и писал во времена дооткрытия и начала пересотворения мира; певец прогресса, он был заворожен могуществом человека эпохи пара и электричества, эпохи, символами которой стали «Грейт-Истерн», цеппелин, аэроплан. Вопреки расхожему мнению, он был не столько фантастом, сколько популяризатором и экстраполятором. Не случайно же его герои, даже отправясь в межпланетный полет, видят на Луне лишь то, что уже открыто земными астрономами... Шестидесятые годы нашего века были чем-то родственны тем

временам. Только на смену пафосу промышленной революции пришел пафос революции научно-технической, в гербе которой стояли атомный реактор, компьютер и космическая ракета. Сменились символы, но возродился дух. И обращение Владимира Михайлова именно к такому жанру НФ было вполне закономерным.

В полном соответствии с духом времени в «Особой необходимости» людей, по сути дела, не было. То есть присутствовали, конечно, персонажи, наделенные какими-то именами и характерными приметами, но и только. В одном из писем Михайлов признавался мне, что любит «героев с квадратными подбородками». Что ж, в той первой его повести квадратные подбородки жили собственной жизнью, отдельно от героев. Вернее, они-то и были героями. Но дефектом это нельзя было назвать. Просто подлинным, единственно главным героем повести был сам дух первооткрывательства. От новых идей, вроде гипотезы И. С. Шкловского об искусственном происхождении спутников Марса, от новых перспектив, вставших перед человечеством, у автора захватывало дух, и этим ощущением он спешил поделиться с читателем.

И все-таки теперь, задним числом, я понимаю, что своеобразный привкус достаточно типичной в целом повести придавало скупо, бегло, но очень точно выписанное ощущение братства этих «квадратных подбородков». И не в том дело, что все они — люди действия, чуждые рефлексии, а потому неспособные испытывать горечь одиночества. От горечи этой ограждало их ощущение единства. Собственно, само понятие одиночества в повести никоим образом не фигурировало. «Особая необходимость» являла собой уже выигранный бой с тенью. Но бой этот все-таки имел место — где-то в подтексте, за текстом, вне текста... Но, пожалуй, во всем михайловском творчестве это был единственный выигранный такого рода бой — и, по-моему, лишь в силу того, что победа в нем задана была априорно.

В целом нашей фантастике шестидесятых—восьмидесятых была свойственна повышенная социологизированность. Помню, году в восемьдесят шестом или седьмом на одном из заседаний секции фантастов в ленинградском (тогда еще) Доме писателя Борис Стругацкий заметил, что в те годы писать было легко: достаточно намекнуть на что-нибудь вроде концлагеря, например, и ты уже хорош, тебя читают и восхищаются твоей смелостью, за которую готовы списать все остальные литературные грехи. Наблюдение очень справедливое, хотя сами братья Стругацкие таким рецептом отнюдь не пользовались. Но так или иначе, а человек индивидуальный интересовал тогдашнюю НФ мало и редко — преимущественно он лишь персонифицировал ту или иную авторскую концепцию.

Впрочем, корни такого отношения к литературному творчеству и произведению уходят еще в отечественную словесность прошлого века, вовсе не фантастами ефремовского призыва было оно вызвано к жизни. Так что михайловская проза была в этом смысле достаточно типичной — с тою лишь разницей, что уже со второй повести — «Спутник „Шаг вперед“» — писатель старался придать своим героям черты самодостаточной личности. Конечно, они все равно оставались традиционными персонажами НФ, героями приключенческого жанра, которому по определению чужд детальный, до нюансов выписанный психологизм. Все их качества принято подавать укрупненно — но достаточно рельефно, чтобы они воспринимались правдоподобными и жизнеспособными литературными героями. Так что уже в «Спутнике...» квадратные подбородки приросли к лицам, и физиономии получились привлекательными и интересными.

И все-таки по-настоящему откровенно тема одиночества впервые прозвучала в рассказах «Ручей на Япете» и «Пилот экстра-класса». А затем — в романе «Дверь с той стороны».

Положенная в основу романа ситуация предельно проста: маленькая группа землян (точнее — представителей земной цивилизации, давно уже расселившейся по планетам многих звездных систем, образующих Галактическую Федерацию) в силу обстоятельств оказывается изолированной на борту межзвездного лайнера «Кит» без какой бы то ни было надежды, пусть в самом отдаленном будущем, вернуться в человеческое сообщество — той надежды, что двадцать восемь лет поддерживала Робинзона Крузо. Научно-фантастические мотивировки, хотя и разработанные Михайловым с присущей ему скрупулезностью, в данном случае принципиального значения не имеют; роль их чисто функциональна, они лишь обуславливают экстремальность ситуации, в которой оказались герои романа.

Подобные космические робинзонады описывались в НФ уже великое множество раз — начиная с «Сирот небесных» Роберта Хайнлайна (в русском переводе неудачно озаглавленных «Пасынки Вселенной»). Частенько они служат лишь поводом показать, сколь легко прорывается сквозь тоненький лак цивилизации скрытый в человеке дикий зверь. Неизбежность духовной деградации изолированного социума, неизбежность возникновения между людьми кровавых междоусобиц в духе истории мятежников с «Баунти», поселившихся на затерянном в просторах Тихого океана островке Питкерн, — вот лейтмотив подобных книг. Правда, порою авторы ставят перед собой задачу прямо противоположную — смоделировать идеальную общину, построить внутренне непротиворечивую утопию. Коллективная робинзонада — как выход из индивидуального оди-

ночества. Таков, например, жюльверновский «Таинственный остров». Михайлов выбрал третий вариант.

Герои романа — отнюдь не железные космопроходцы с квадратными подбородками, к числу каковых (да и то с натяжкой!) можно отнести лишь членов экипажа «Кита». Пассажиры же — люди очень разные, с различными жизненными целями, культурными уровнями и запросами, несхожие по характерам, темпераментам, интеллекту. Схожи они лишь в одном — здесь, во чреве «Китовом», все прежние их цели и планы оказались потерявшими смысл; все они очутились наедине друг с другом — и каждый наедине с собой.

Выход из изоляции найти в конце концов удается. Чисто психологический, фальшивый, подсказанный опытом администратора Карского (замечу, написать такую фигуру мог лишь человек, хорошо знающий нашу новейшую историю, собственной судьбою прошедший изрядный ее кусок, прекрасно помнящий, например, обещание, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме). «Карский хорошо знал, что главное — это сформулировать лозунг, поставить цель, к которой людям хотелось бы стремиться. Насколько и в какие сроки эта цель достижима — другое дело». Нетрудно понять, что создать новую Землю и расплодить по ней новое человечество героям не под силу — тут не хватит ни мощности гравигена, ни богатства их генофонда. Но выход — пусть мнимый — найден. С таким же тщанием трудился, вытесывая свою так и не спущенную на воду сверхпирогу, Робинзон... И это придавало его жизни цель и смысл. Зато вот индивидуального одиночества обитателям «Кита» преодолеть так и не удалось. Они мечутся, прибиваются друг к другу и расстаются, с болью рвут одни связи и мучительно пытаются установить другие... Тщетно! «Дверь с той стороны» — блестящая, многоплановая, полифоничная трагедия одиночества.

Такой же трагедией стал и следующий роман — «Сторож брату моему», вышедший в 1976 году.

Контакт, то есть, по определению братьев Стругацких, «первое непосредственное соприкосновение человечества с иной, безразлично какой, но только внечеловеческой цивилизацией», является едва ли не самой распространенной темой НФ со времен отца всех и всяческих селенитов — Лукиана Самосатского. Казалось бы, Михайлов взялся за полностью выработанную жилу, да еще вдобавок избрал простейший вариант контакта — земного человечества с его же собственной, хотя и давным-давно обособившейся ветвью. Однако у Владимира Михайлова есть особый дар — придавать даже самой избитой теме прелесть новизны. Так под руками опытного гранильщика вновь оживает, казалось бы, уже безнадежно утративший прозрачность и блеск, покрытый сетью невидимых царапинок

драгоценный камень. Временами мне кажется, что Михайлов, найди он даже совершенно оригинальную идею, тут же отвергнет ее, чтобы из спортивного интереса в очередной раз доказать, что способен сотворить новизну, даже отталкиваясь от давно известного, избитого и затасканного.

Итак, ни биологического, ни языкового барьера для контакта между землянами и далийцами не существует. Но зато между ними воздвигнут самый, может быть, непреодолимый из барьеров — психологический. Именно он вызывает к жизни взаимонепонимание между землянами и далийцами, то самое, что является главным условием возникновения духовного, нравственного, интеллектуального одиночества. И Михайлов ставит в романе как бы серию последовательных экспериментов по его преодолению.

Уровень первый, личностный. Группа землян неоднородна. Помимо Шувалова и Аверова, людей грядущего, прямых современников экспедиции, в нее входят и второй пилот Питек, представитель первобытного племени, для которого «Египет фараонов был далеким будущим, а рабовладельческий строй — светлой мечтой»; и штурман Георгий, спартиот, «один из трехсот, что защищали Фермопилы с Леонидасом во главе»; и инженер Гибкая Рука, индеец, живший где-то возле Великих Озер в доколумбовы времена; и вычислитель Никодим, иеромонах, пахарь и воин, защищавший Русь от полков Стефана Батория; и первый пилот Уве-Йорген Риттер фон Экк, оберлейтенант Люфтваффе; и, наконец, капитан Владимир-Ульдемир, наш с вами соотечественник и современник.

С точки зрения НФ необходимость создания такого разношерстного экипажа Михайловым обоснована — хотя как раз обоснование это является, пожалуй, одним из наиболее уязвимых мест романа. Но в конце концов, всякий писатель-фантаст имеет право на введение аксиом, и пока они развиваются без нарушения внутренней логики, претензий ему предъявлять не приходится. Любопытно отметить, что подобное смешение представителей разных народов, рас и эпох в одной объединенной чем-то группе почти одновременно с Михайловым применил в своей многотомной эпопее «Речной мир» американец Филип Жозе Фармер, а впоследствии — и братья Стругацкие в «Граде обреченном». Можно упомянуть в этом ряду и троицу Питер Максвелл — Алле-Оп — Дух из саймаковского «Заповедника гоблинов». Но если в «речном мире» Герман Геринг, король Иоанн Безземельный, Марк Твен и даже фараон-отступник Эхнатон свободно говорят на одном языке (в психологическом, а не лингвистическом смысле слова); если Пит Максвелл и неандерталец Алле-Оп отменно понимают друг друга (причем не только в процессе потребления самогона); то о михайловских героях этого не скажешь. Раньше мне

казалось — и я даже писал об этом, — что главной целью Михайлова при формировании столь разномастного экипажа было заставить земную цивилизацию вступить в контакт с далийцами как бы всем протяжением своей истории. И это действительно так — отказываться от собственных слов я не собираюсь. Но этим дело не кончается.

Главное в этих людях — оторванность от собственного мира, максимально выраженное и выявленное одиночество, прекрасно подчеркнутое образом Садов Памяти. Да, наука будущего могуча, для нее не представляет труда не только извлечь людей из других исторических эпох, но и вложить в сознание каждого из них всю необходимую новую информацию, превратить их в превосходных специалистов, отвечающих самым строгим требованиям. И таким образом можно укомплектовать вполне работоспособный экипаж. Но смогут ли его члены понимать друг друга до конца? Ведь их культурный уровень, нравственность, мораль остаются адекватными эпохам, к которым принадлежат эти люди по рождению и воспитанию. В изначальной посылке кроется, таким образом, первопричина дальнейшего непонимания.

Но, может быть, его можно все же преодолеть? Например, наделив их (помните «Особую необходимость»?) ощущением братства? Какое же это заманчивое и обманчивое ощущение! И сколько же людей попадалось на его многообещающую приманку! Фронтовое братство противопоставлял ужасам войны в своих ранних романах Ремарк. Именно возможность противопоставить непониманию окружающего мира братское взаимопонимание от веку влекла людей во всякого рода тайные ордена и общества... Да только на поверку всегда оказывалось, что и члены братства смотрят на мир слишком по-разному, и трагедий из этого проистекает не меньше, чем из откровенных равнодушия и вражды. И потому при всей близости друг другу Ульдемир и Уве-Йорген, Питек и Иеромонах в главном, в сокровенном, в сущности своей остаются все так же одиноки.

Отсюда и второй уровень непонимания — непонимание цивилизаций. Он привносит в поиски решения проблемы немного нового, лишь подчеркивая, оттеняя, подтверждая неразрешимость ситуации.

И тогда в романе возникает новая тема — новая не только для этого произведения, но и для михайловского творчества вообще. Тема любви. Ибо в любви во все времена виделась людям возможность избавиться от одиночества хотя бы в ограниченных пределах двух индивидуумов. Впрочем, любовь можно трактовать и шире. Недаром заканчивается роман раздумьями Ульдемира: «...я не сторож брату моему. Но я ему защитник. И брату моему, и сыну моему, и моей любви.

Потому что иначе я не достоин ни брата, ни сына, ни любви». Но какую бы трактовку мы ни приняли, самую широкую или до предела суженную, любовь также дает лишь иллюзию выхода. Не случайно во втором романе, «Тогда придите, и рассудим», вышедшем семь лет спустя, Михайлову пришлось выстроить уже целую последовательность: все героини, в любви к которым ищет выхода из своего внутреннего одиночества капитан Ульдемир, эти Наника, Анна, Астролида, Мин Алика — все они суть лишь различные ипостаси одного существа. Здесь происходит разрыв между формой и сущностью, любовь к конкретному человеку замещается любовью к идее любви, наподобие высокой страсти ламанчского идальго к прекрасной Дульцинее Тобосской, рыцарского служения Прекрасной Даме вообще. В итоге получается, что любовь, как и дружба, и братство, дает не выход из одиночества, не возможность распроститься с ним навсегда, а лишь право на кратковременный отпуск, отлучку из той тюрьмы, в которую все равно придется так или иначе вернуться.

Вывод, признаться, очень грустный. Но возможен ли какой-нибудь другой? Не случайно едва ли не вся мировая литература, обращаясь к этой теме, не смогла предложить ничего иного. Одиночество — неприемлемо. Помните классическую фразу из финала хемингуэевского «Иметь и не́ иметь»: «Человек один не может ни черта»? Но вот каким образом человеку стать не одному? Не зря же Хемингуэю пришлось умертвить своего героя именно на этой мысли. Предложить-то за исключением печальной констатации он не мог ни черта...

Однако Михайлов не оставил попыток нащупать решение проблемы. И вот в романе «Тогда придите, и рассудим» появляются фигуры Фермера и Мастера, в которых можно увидеть и дуализм Бога и Дьявола, и двуединство мысли и чувства, и... Впрочем, возможность всех остальных многочисленных подстановок я оставляю вам. Однако какую из них ни осуществи, мы с вами так или иначе выходим на новый уровень — уровень веры.

В конечном счете, к идее Бога человек пришел все-таки в поисках выхода из одиночества, в надежде отыскать за пределами реального мира всесильного, всеведущего, всепонимающего и всепрощающего союзника. Однако постепенно стала самоочевидной иллюзорность этого решения: слишком уж неравноправным оказалось партнерство; человек, совершенно прозрачный для всеведущего божества, не мог постигнуть его сам. И потому оставался все таким же одиноким, как прежде. Не знаю, правда, было ли бы лучше при полном равноправии? В фантастике не раз уже предпринимались попытки изобразить цивилизацию телепатов — и каждая такая художественная модель приводила к выводу, что абсолютная взаимопроз-

рачность невозможна; в сознании каждого из нас должно оставаться что-то сугубо личное, только себе ведомое и принадлежащее. Это та духовная собственность, душевная тайна, которая отнюдь не является синонимом или даже символом одиночества, а, наоборот, лишь оттеняет взаимопонимание, сочувствие, взаимопроникновение.

Вернемся, однако, к Фермеру, Мастеру и михайловской концепции тепла. Да, ощущения братства, любви, веры — все они порождают тепло. Но всплески его уравновешиваются волнами холода, возникающими, когда обретение любви сменяется потерей (а сколько их в судьбе одного только Ульдемира!), когда собратья поднимают друг на друга руку, а вера превращается в привычный ритуал или вовсе безверие. И что же остается?

По Михайлову — служение. Вспомните Иеромонаха в финале романа — пахаря, идущего за сохою. «Эх, еще не понимаешь ты, капитан; но поймешь. Я тут наработаю много, мно-ого!» — говорит он Ульдемиру. Интересная деталь: понимание труда, как формы служения Богу, характерно отнюдь не для православия (а ведь Никодим-то — православный!), а для протестантизма. Православие главным почитает молитвенное служение, причем не личное, непосредственное общение верующего с Богом, а исключительно через посредство Церкви. С точки же зрения протестанта добротно построенный дом не менее угоден Господу, нежели беспрестанная молитва. Признаться, я не в силах понять такого противоречия. Не верю, чтобы Михайлов допустил его по небрежности, не того калибра писатель. А в чем тут фокус — не знаю... Но пройти мимо него, умолчать — не могу.

Но и служение — с точки зрения преодоления одиночества не выход. Это сублимация, замещение. И хотя в романе впрямую ни слова об этом не сказано, но Владимир-Ульдемир явно если даже не понимает, то, по крайней мере, ощущает это. Ведь если вдуматься, речь тут идет скорее о ценностной переориентации. Выход Иеромонаха сродни распространенной среди психотерапевтов методе: если вы не можете изменить обстоятельств, то переоцените их, измените свой на них взгляд и примите их как факт. Возможно, это и спасает психику. Но мне, грешным делом, больше по сердцу Эдмон Дантес, годами проскребающий старым гвоздем двадцатифутовую каменную кладку, чем узник, научившийся любить тишину и благодатный уют своей камеры-одиночки... Впрочем, навязывать своей точки зрения я никому не хочу; возможно, мне, как и Михайлову, просто нравятся люди с квадратными подбородками...

В рамках дилогии выхода из одиночества для своих героев Владимиру Михайлову найти так и не удалось. И не только в этих двух романах — во всем творчестве. Хотя исследование

темы продолжилось и в повести «Стебелек и два листка», и в реалистическом романе «Один на дороге» (красноречивые названия, не правда ли?) — в обоих писатель изучает уже определившиеся ранее пути, словно пытаясь убедиться, нет ли в этих тупиках какой-нибудь слабины, щелочки, лазейки, магической точки, по которой можно было бы ударить так, чтобы преграждающая дорогу стена мгновенно рассыпалась во прах. Оба эти произведения — как и некоторые другие, вышедшие в свет уже после дилогии, вроде повести «Ночь темного хрусталя», например — хотя и насыщены великолепными по отточенности сценами, хоть и читаются с ничуть не меньшим интересом, однако принципиально нового — с точки зрения нашего нынешнего разговора — в себе не содержат.

Но...

III

В 1976 году поклонники НФ назвали «Сторожа брату моему» романом года. В 1983 году роман «Тогда придите, и рассудим» был отмечен призом «Великое Кольцо», присуждаемым клубами любителей фантастики — нашим российским вариантом «Хьюго». Наконец, в 1991 году за дилогию Владимир Михайлов был награжден самым престижным из литературных призов в области НФ — «Аэлитой».

Казалось бы, дело сделано. Можно бы и поставить точку. Однако...

В одной из предыдущих статей о творчестве Михайлова я высказал предположение, что на самом деле «Сторож брату моему» и «Тогда придите, и рассудим» — не дилогия, а первые две книги трилогии. В то время я не думал еще о незавершенности того поиска, о котором шла речь у нас сегодня. Я исходил лишь из архитектоники дилогии, действие которой начинается в прологе «Сторожа...» на Земле и завершается в финале «Тогда придите...» возвращением Ульдемира к родным ларам и пенатам. Казалось самоочевидным, что нужен третий роман, который свел бы героев уже в земной реальности. Впрочем, автор со мною не соглашался, утверждая, что мавр свое дело уже сделал...

И вот недавно, разговаривая с Владимиром Дмитриевичем по телефону во время подготовки к изданию этой книги, я узнал, что был-таки прав. Закончен не только третий, но и четвертый роман, так что дилогия превратилась даже не в трилогию, а в тетралогию.

Не знаю, к каким выводам пришел в двух новых ее книгах Михайлов. Понятия не имею, удалось ли ему нащупать решение этого вечного человеческого проклятия — проблемы оди-

ночества. Если да — это будет эпохальным открытием, ибо до сих пор никому еще в мировой литературе найти ничего подобного не удалось. Если же нет — уже сама по себе попытка будет достаточно интересной.

И эти слова — отнюдь не утешительный приз. Дело в том, что, на мой взгляд, никакого всеобщего решения здесь в принципе найдено быть не может, как не может существовать панацея от всех болезней. В том-то и фокус, что это не менее интимный процесс, чем вера и любовь. И каждый может найти лишь свое, только для себя пригодное решение. И в то же время всякий чужой опыт — та отработка методологии поиска, которая облегчает собственный путь. И потому, даже не слишком веря, что удастся Владимиру Михайлову распустить гордиев узел этих проблем, я с величайшим интересом слежу за его работой; в конце концов, если даже узел только запутается еще больше — тем интереснее. И, естественно, не могу удержаться от того, чтобы не поделиться собственными соображениями на сей счет — мыслями, пришедшими в голову, пока я перечитывал михайловские книги.

Не знаю, как отнесется к моим рассуждениям сам автор. И хотя не сомневаюсь, что при первой же встрече он нелицеприятно выскажет мне все, однако не слишком боюсь его суда. Ведь в столе у меня лежит собственноручно начертанная им индульгенция, гласящая: «Я заранее согласен со всем, что напишет обо мне Андрей Балабуха». Была написана такая бумага как-то на Ефремовских чтениях, литературно-критической конференции, проходившей в тот год в Николаеве...

Не знаю и того, как отнесетесь к моим словам вы — заинтересуют ли они вас, вызовут ли желание поспорить или оставят равнодушными. И боюсь, этого мне вовек не узнать.

Но в конце-то концов, должно же существовать что-то неведомое?

Андрей БАЛАБУХА



РОМАН

Сторож брату МОЕМУ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Я плохо помню день своих похорон, зато день гибели до сих пор перед глазами. Вернее, не день; он успел уже кончиться, сентябрьский денек семьдесят третьего года, уточняю — одна тысяча девятьсот семьдесят третьего. Уточняю для тех, кто не сразу поймет, что происходило это в двадцатом веке, так невозможно давно. День уполз за горизонт, сумерки сгустились, когда я позвонил ей. Она подошла к телефону и, едва я успел что-то пролопотать, сказала голосом, в котором была бесконечная усталость:

— Я разочаровалась в тебе.

Разочаровалась — приятное словечко. Приятное ретроспективно: оно как-никак предполагает, что перед этим она была мною очарована, а в этом я как раз был меньше всего уверен. Так что таилась в слове некоторая возможность, крылся повод порадоваться хотя бы за свое прошлое, когда тобою очаровывались, а не наоборот.

Но я не испытал ровно никакой радости. С таким же успехом можно гордиться тем, что тебя стукнули по затылку топором, а не молотком: значит, сочли серьезным противником, высоко оценили крепость черепа. Боюсь только, что после такого удара не остается времени для оценки оказанного тебе уважения, — вот и у меня в тот раз времени не осталось.

В ответ я тогда, помнится, изрек что-то вроде:

— Ну извини...

И положил трубку, и даже прижал ее покрепче — чтобы трубка, не дай бог, не подскочила сама к уху и не пришлось бы услышать что-нибудь еще похуже.

Похуже — потому что я знал, что никаких смягчений вынесенного приговора не последует. Нуш имела обыкновение говорить то, что чувствовала; именно чувствовала, а не думала.

И вот я, положив трубку, сидел и не то чтобы размышлял, но инстинктивно искал ту дырку, в которую можно было бы удрать от самого себя, потому что если Нуш разочаровалась, то виновата в этом наверняка была не она, а именно я, и от этого «меня самого» надо было куда-то деваться — оставаться в своем обществе мне ну никак не хотелось. Но мысли мои

всего лишь бодро выполняли команду «на месте», и ничего остроумного не появлялось; хотя я, по старой армейской привычке, раза два попробовал скомандовать: «Дельные мысли, три шага вперед!» — ни одна не нарушила строя. Однако, поскольку положение, в котором я оказался, было довольно-таки стереотипным, то оставалась возможность воспользоваться каким-то из стандартных выходов — а их человечество даже к двадцатому веку успело уже наработать немалую толику.

Отделаться от себя самого можно было, например, с помощью хорошей выпивки. Бывало, что друзья проявляли скромность, и где-то за книгами застаивалась не обнаруженная ими бутылка. Память подсказала, что искать бесполезно, но я на всякий случай встал — двигался я словно в невесомости, не ощущая тяжести тела — и пошарил. Безуспешно: не те друзья заходили ко мне в последний раз. Этот стереотип отпадал; надо было искать еще что-нибудь.

Я взял трубку. Не телефонную — о ней мне в тот миг и думать не хотелось, словно это она сама выговорила услышанные мною слова; я судил, конечно, неправильно, потому что по телефону, быть может, удалось бы разыскать кого-нибудь из приятелей, а поплакать другу в жилетку — тоже стереотипный выход, и не самый худший: посочувствуют тебе, а не ей, хотя кому из вас двоих сейчас хуже — трудно сказать. Ну да ведь и ее кто-нибудь утешит! (Этой мысли мне только не хватало.) Итак, я взял трубку, хорошую, старую английскую трубку «Три би», медленно набил ее (табак, как обычно, был пересушен), потер пальцами чубук, лихо отваленный вперед, словно форштевень клипера, сунул длинный мундштук в рот и раскурил.

Что делать дальше, я так и не придумал, но раз уж я встал, надо было двигаться; переживать в темной комнате еще тоскливей, чем в освещенной, а зажечь свет я не хотел, потому что тогда мог увидеть в темном окне свое отражение; на такое я в тот миг не был способен. Я толкнул дверь, вышел на веранду, на крылечко и спустился в сад.

Совсем стемнело, и небо было спокойным и ясным, и звезды, вечные утешительницы, своим неощутимым светом прикоснулись к моему лицу. Летучая мышь промчалась бесшумно и низко, круто метнулась в сторону и через мгновение кинулась еще куда-то; ловила мошек, верно; но мне в тот миг показалось, что это — проекция моей души на звездное небо и что во мне сейчас что-то — душа, коли нет иного термина, — вот так же мечется, ловя ускользающую добычу и шарахаясь от препятствий. У летучей мыши для этого есть, как известно, локатор. А у меня что было? Я подумал и нашел словечко: судьба.

Я шел вдоль забора, мимо хилых яблонь, и думал: где у человека судьба? Медики вроде бы знают, какие центры в организме, в головном мозге ведают разными функциями: зрением, слухом, болью, удовольствием, даже, может быть, памятью. А где центр судьбы? Без него, думал я, никак нельзя: ведь судьба — не вне человека, а в нем самом, потому-то от нее и не уйти. (Истина, известная настолько давно, что даже в том, двадцатом, веке она была банальностью.) Не уйти; а уйти мне хотелось, потому что после сказанных и услышанных нынче слов судьба моя могла заключаться лишь в одном: неторопливо стареть. И этой судьбы я не желал.

Молодость — существо, и она не хочет умирать. Вообще человек живет несколько почти совсем независимых жизней, и, значит, его постигает несколько смертей. Умирает детство, умирает юность. Но детство умирает, само того не понимая, и ему интересно: детство жаждет перемен. Юность — героически: она полагает, что все еще впереди и смерть ее — всего лишь переход в лучший мир, юность в этом смысле крайне религиозна, она бесконечно верит в жизнь. Молодость — иное; она уже просматривает путь далеко вперед и чувствует себя примерно так, как тот, что падал со сто какого-то этажа и, когда из окна пятидесятого ему крикнули: «Как дела?» — бодро ответил: «Пока — ничего». Молодость не хочет умирать, даже состарившись, даже когда она уже — старая молодость.

Да, я не хотел этой смерти, а нетопырь все суетился вверху, и звезды оглаживали его так же, как и меня. Я тронул пальцами ствол; кора была теплая. Я нагнулся и ладонью коснулся травы, и она показалась мне нежной, как волосы Нуш.

Впрочем, может, и не нетопырь метался над головой, а совсем другая летучая мышь. Просто в детстве я очень любил «Маугли» и до сих пор помнил песенку оттуда:

На крылья Чиля пала ночь,
Летят нетопыри...

Теперь-то я знал, что ребенок, попавший в джунгли, не вырастет человеком, хотя биологически и останется им. А в детстве мне казалось, что только там, в лесу, можно жить по-настоящему, что в нем — подлинная свобода. Поэтому, наверное, я, горожанин, всю жизнь так любил лес. Лес, братство человека, зверей, всей природы. И сейчас, когда я трогал кору яблоньки, гладил траву и глядел на звезды и на летучую мышь, я понял вдруг, какой выход есть для моей боли, моей скорби о Нуш и о любви. Не надо было ни пить, ни искать приятелей и плакаться. Нужно было попытаться снова найти тот общий язык со всем, что окружало меня, который я в детстве знал и забыл впоследствии, когда стал воспринимать природу как декорацию или условие рациональной жизни.

Надо было окунуться в природу, нырнуть в нее, погрузиться — может быть, даже раствориться и оставаться в ней до тех пор, пока она не вымоет из меня все лишнее, из-за чего, быть может, Нуш и сказала о своем разочаровании.

Это было уже почти готовое решение. Окунуться, вынырнуть, погрузиться, раствориться (и немедленно, ждать я не мог) — слова, словно специально подобранные, сами указывали направление.

Мы зародились в воде и вышли из нее. Мы — жизнь. Мы состоим из воды и еще малости чего-то. Окунуться в лес можно, но это — ощущение более психологическое, чем физическое. Все равно мы остаемся в привычной среде, только чуть иными становятся шумы и запахи. Окунуться в воду — совсем иное. Иная сущность обнимает тебя со всех сторон, словно мать, к которой ты наконец вернулся, — а она терпеливо ждала... Недаром я всегда любил плавать, боязнь воды казалась мне неестественной, утонуть — невозможным: не может ведь мать пожелать зла одному из чад своих. И вот я решительно прошагал к калитке, отворил и захлопнул ее за собой.

В сентябре большинство дачников уже разъезжается: дети идут в школу, а дача на три четверти — для детей. И я шел по безмолвной улице пустого темного поселка, а впереди, метрах в трехстах, рисовалась темная гряда ольшаника, обозначавшая берег. Я пошел напрямик, полем, сокращая путь, раз и другой пересек дорогу, вышел на прибрежную полянку и нырнул в кустарник, сразу же нащупав знакомую тропинку. Она бежала вдоль реки по самой кромке, вдоль невысокого — метра в два-три — обрыва. Надо было только отводить от лица невидимые во мгле ветви. Минут пять я пробирался, пока не вышел наконец на любимое место: тут летом мы купались с сыном. Быстро разделся и ступил в прохладную, но для обитателя Прибалтики вполне еще приемлемую воду.

Гауя — река мелкая, но стремительная и с причудами. В ней тонут, бывает. Но я-то знал, что не утону. Мы с рекой были одной крови, она и я. Поэтому, пройдя метров десять по щиколотку в воде и добравшись до места, где дно стало понемногу опускаться, я просто лег на воду и отдался стремительному потоку, выставив руки вперед, чтобы не шарахнуться головой о какую-нибудь корягу, каких в этой реке множество.

Не шевеля ни пальцем, я летел вперед со скоростью академического скифа — такое уж тут течение. Назад придется возвращаться бегом вдоль берега: против течения не выгребешь.

Так я подумал и ощутил холодок: как-никак был сентябрь, а Гауя и в июле — не из теплых рек. И тут меня охватил

азарт: что значит — не выгребешь? А если постараться? Согреться все равно нужно было.

Я повернулся головой против течения и пошел брассом, на два гребка. И наконец-то почувствовал состояние растворенности в реке, единства с нею, со всей природой, со всем мирозданием и со звездами, что все так же, наверное, светили наверху, но теперь уже не они, а вода ласкала меня. Я плыл и плыл, и хотелось плыть так всегда, я был невесом, руки и ноги работали ритмично, усталость еще не пришла, и можно было помечтать о возможности плыть вот так — где-нибудь в теплых морях, что ли...

Даже не знаю: продвинулся ли я против течения, держался ли на месте, или меня все-таки сносило. Думаю, что не сносило: плавал я хорошо. И вот я в очередной раз вдохнул воздух, и лицо снова ушло в воду, — но ноги не сделали гребка, и руки не вышли вперед, как им полагалось...

Так и не знаю, что произошло тогда: сердце ли, конвульсия, просто ли не захотелось возвращаться домой из этого мира, где я был один и не было того второго меня, от которого я так хотел сегодня отделаться, — или же «частый гребень» именно в тот миг нащупал меня, стрелки на далеком пульте показали величину индекса, кто-то кивнул — и мои руки и ноги остановились.

Так и не знаю, были ли яркие огни, которые я увидел, когда вдохнул воду и понял, что тону, когда хотел крикнуть «Нуш!..» и не смог, когда сообразил вдруг: надо было звонить еще раз, два раза, сто раз, потому что не сегодня-завтра девушка двадцати с небольшим лет поняла бы, что нельзя рубить голову, даже не выслушав обвиняемого, — не знаю, были ли эти яркие огни реальностью, той другой, вернее — этой другой реальностью, или так и должно быть, когда тонешь. Может быть, и то и другое, но в операционном зале «частого гребня» я больше никогда не был — нам и не полагается бывать там. Похороны свои я видел в записи. Биоробот был очень похож на меня, насколько можно быть похожим на себя, если тебя находят на второй день черт знает где и ты успел уже стать кадровым утопленником.

Я попытался разглядеть, была ли Нуш на похоронах. Народу было средне — не много и не мало, но запись хронисты сделали довольно скверную, да и то все общим планом. Только того, другого меня, от которого я так хотел отделаться, мне показали крупно, чтобы у меня не оставалось сомнений.

Я все-таки думаю, что она была там. Что ей, в конце концов, стоило прийти? Ее там никто не знал, да и вообще между нами ничего не было. Кроме, разве что, любви. И то лишь с моей стороны.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В обширном зале сиденья поднимались амфитеатром к высокому куполу, но занятых было очень немного, в самом низу. Посреди зала, чуть выше сидевших, пылала звезда — желтая, горячая, живая, с короной, с протуберанцами; но звезда не была Солнцем, несколько иным был оттенок. Почему-то хотелось, чтобы пылала звезда шумно, с огненным ревом, с грохочущим треском — но тишина окружала светило, как в мировом пространстве, и люди тоже молчали, только смотрели, бессознательно поеживаясь. Потом один проговорил: «Давайте». И мир сломался: звезда расслоилась, как круглое яйцо с желтком и белком, и белок взорвался, расширяясь, разлетаясь, несясь во все стороны (люди невольно отшатнулись, прижались к спинкам, один-другой закрыли лицо ладонями), желток же стал стремительно уменьшаться, меняя цвет. Расширяющееся пламя достигло людей, охватило их, промчалось и унеслось куда-то за стены зала, а вернее просто погасло, потому что оператор выключил изображение. Зажженный в зале обычный свет после виденного показался глубокими сумерками. Люди еще помолчали, потом другой из них сказал негромко:

— Вот картина того, что должно произойти. Мы интерпретировали по Шувалову—Кристиансену. Последствия рассчитаны. Выводы неутешительны: температура у нас, учитывая расстояние от источника опасности, не повысится настолько, чтобы грозить глобальными катастрофами, но жесткая компонента... от нее нам не укрыться. Неизбежно возникновение мутаций, непредсказуемые изменения генетической картины у всего живого, начиная с одноклеточных и кончая нами.

— Возможны меры защиты? — спросил первый голос.

— Нейтрализовать эти излучения нельзя. Построить экран для целой планеты? Мы просто не успеем. Перевести жизнь под землю — тоже. Генная инженерия могла бы помочь, если бы речь шла о единицах, пусть тысячах — но не о миллиардах людей. Так что я вижу один путь. Любой из нас видит один путь. К счастью, мы не безоружны. Установка готова. Я, конечно, не рассчитывал, что применить ее придется так скоро — и в столь, м-м, драматических обстоятельствах. Есть еще отдельные уязвимые места, но к моменту готовности экспедиции я смогу поручиться за прибор.

Снова было молчание. Потом первый голос спросил:

— Успеем ли мы подготовить экспедицию? После столь продолжительного перерыва? Это первый вопрос. И второй: каков будет риск для участников экспедиции? По первому вопросу, пожалуйста.

Третий голос был медленным, слово четко отделялось от слова:

— Мы отменим запуск очередного галактического зонда и на его базе будем создавать населенный корабль. То есть начнем работу не с нуля. Используем исторический опыт.

— Чем же сможет помочь опыт экспедиций, уходивших сотни лет назад?

— Экспедиции были густонаселенными. Мы возьмем у них все, что касается условий обитания в корабле. Ну, осовременим, разумеется.

— Сколько вам потребуется времени?

— Год.

— Теперь прошу по второму вопросу.

Ответил тот же, что говорил об установке:

— Риск для участников сохранится. Процент его сейчас определить трудно, но в первом приближении — так, примерно двадцать пять.

— Двадцать пять процентов риска?

— Да. Но мы еще уточним.

— В чем заключается риск?

— Во-первых, они могут не успеть. Но это будет означать и нашу гибель. Вернее, вашу.

— А себя вы выносите за скобки?

— Это ведь моя установка. Значит, я буду там.

— Послушайте, Шувалов...

— Мое право и обязанность. Второй источник риска: сама установка.

— Но вы сказали, что она не подведет.

— Вас — да. Но сейчас трудно предсказать, как поведет она себя, сработав, и как будем чувствовать себя мы во время ее работы.

— Мы — это кто?

— Я. Доктор Аверов: это и его право и обязанность. И те, кто поведет корабль. Экипаж.

Медленный голос снова возник:

— Не менее шести человек.

Долго молчали. Потом первый голос произнес:

— Мы, вернее, наши предшественники, прекратили звездные экспедиции много лет назад именно потому, что люди подвергались риску. Общество нашей планеты не может допустить риска для людей. И не даст согласия на такую экспедицию. Не даст даже добровольцам. Нам не позволят даже пригласить добровольцев. Мы живем не во времена дикости. Жизнь священна.

— Ко мне и Аверову, — сказал Шувалов, — это отношения не имеет. Риск экспериментатора остается и сегодня, хотя мы всегда сводим его к минимуму. Что же касается остальных...

что же, гибнуть всей планете? Общество предпочитает самоубийство?

Первый голос ответил:

— Общество не знает о предстоящем взрыве Сверхновой. И я не думаю, что должно знать. Оно узнает об этом лишь в случае, если экспедиция закончится неудачей.

— Чтобы закончиться, — сказал Шувалов, — она должна начаться. А для этого необходим экипаж, которого нам не хотят давать.

— Хорошо, — после паузы проговорил человек, еще не принимавший участия в разговоре. — Мы дадим экипаж. Такой, против которого наше общество не сможет возразить ни слова. Потому что не будет состоять из людей, которых сегодня просто не существует. Служба Времени возьмет их из прошлого.

— А что, — спросил Шувалов не без ехидства, — по отношению к людям прошлого гуманные соображения недействительны?

— Действительны в той же мере, как ко всем нам. Но мы подберем людей, которые удовлетворят нас, но чей путь там уже завершается. Те люди не проиграют ничего. Но могут выиграть. Я думаю, что это гуманно.

— Я думаю, — сказал первый голос, — что это наиболее приемлемый путь. Итак: для нейтрализации звезды, которой вскоре предстоит стать Сверхновой и тем самым поставить под угрозу самое существование жизни на Земле и планетах Солнечной системы, снаряжается экспедиция «Зонд». Задача: при помощи установки Шувалова — Аверова нейтрализовать звезду. Участники: начальник экспедиции — Шувалов, научный сотрудник — Аверов. Экипаж из шести человек обеспечивает Служба Времени. Подготовка отобранного экипажа будет происходить в Центре Космических проблем. Ориентировочное время старта — через год. Вся информация, связанная с экспедицией, объявляется закрытой. Для всех, кроме допущенных, работа интерпретируется как подготовка к запуску очередного автоматического сопространственного галактического зонда, выполняющего научные задачи. Благодарю вас.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

День выдался спокойный, и можно было погулять. Я отворил дверь и вышел в сад. Снова были сумерки, сосны крепко пахли, песок едва слышно похрустывал под ногами, поскрипывали под ветром коричневые стволы. Соседняя дача темнела в полусотне метров, одно окошко в ней светилось, и хотелось думать, что сейчас на пороге покажется сосед, и можно будет

неторопливо потолковать с ним о разных пустяках. Слева была чернота; вообще-то там тоже находилась дача, но теперь ее не было; я к этому уже привык и просто не смотрел в ту сторону — тогда можно было думать, что дача стоит там, как раньше.

Я медленно шел по дорожке, мимо грядки с клубникой, и мне все казалось, что вот-вот кто-то выйдет из-за дома. Раньше я ожидал, что покажется она. Но теперь — чем дальше, тем больше — ловил себя на том, что жду не ее, а сына, чумазого, запыхавшегося, живущего в своем, насчитывающем десять лет отроду мире и поглощенного своими делами и проблемами. Я ждал, а он все не выходил, и мне, как обычно, стало тоскливо. Но конструкторы корабля не предусмотрели ни детей, ни женщин, а вот иллюзия сада была полной: наверное, они хотели облегчить нашу жизнь, когда записали те картины, что наиболее четко запечатлелись в нашей памяти, и дали возможность воспроизводить их по собственному желанию. Не знаю, как это получалось; апартаменты мои, хотя и были больше прочих на корабле, все же измерялись квадратными метрами, и уж никак не сотнями; и тем не менее, отворив дверцу, я выходил в свой сад (его, конечно, давно уже нет, не знаю, что там сейчас, и не хочу знать) и бродил по дорожкам, и все это было настоящее, без обмана. Потом я входил в дверь своего дома — и оказывался в каюте, которая была уже самой настоящей реальностью, как и все приборы, что смотрели на меня со стен и стендов, как броня бортов и пустота за ними.

Сказанное звучит, наверное, довольно загадочно, но если разобраться, то окажется, что все очень просто. В эти времена (мысленно, для себя, я называю их временами моей второй жизни, потому что никак не удается отделаться от мысли, что я — какой-то первый я, не совсем я, но все же я — что неопределенная эта личность все же утонула сколько-то лет назад, сколько — не знаю, потому что с тех пор летосчисление менялось самое малое три раза, и чтобы разобраться во всех этих календарях, надо было быть крупным специалистом) — итак, в эти времена серьезные причины вынудили Землю снова послать людей к звездам. Давным-давно люди уже летали к ним, и не возвращались, и не могли вернуться, и потому полеты были прекращены. Теперь люди могли уже и слетать, и возвратиться, но это все еще оставалось делом рискованным, а нынешнее человечество не хотело рисковать ни одной жизнью — так, во всяком случае, я это понимаю, и мои ребята тоже. Современные люди любили друг друга, каждый каждого, их любовь была не абстрактной, а очень, очень конкретной, физически ощутимой, и если кому-то было нехорошо, то так же нехорошо становилось и тем, кто был к нему ближе остальных, а потом тем, кто был близок этим

близким, — а в конечном итоге близким было все человечество. Это был какой-то сверхсложный организм, их человечество, единый организм (в наше время мы были уже многоклеточным организмом, но единым еще не были), и если что-то где-то болело, то плохо чувствовал себя весь организм, а на это люди не были согласны. И когда понадобилось срочно лететь, им не оставалось ничего другого, как прибегнуть к нашей помощи — к помощи людей, которые в этот их единый организм не входили и войти не могли, потому что принадлежали совсем другим временам.

И вот они, шаря по столетиям, от Ромула до наших дней (а точнее — начав задолго до Ромула), за несколько месяцев вытащили к себе более двух десятков человек, из которых в конце концов и был сформирован экипаж из шести персон. От каждого участника полета требовалась высочайшая степень — не физического здоровья, не спортивной подготовки, потому что корабль их, с моей точки зрения, напоминал скорее всего летающий санаторий для большого начальства, — требовалась высочайшая степень моральной пластичности, умения притираться друг к другу, чтобы весь экипаж работал, как единый организм. По их шкале высшая степень пластичности стоила тысячу баллов; такого парня можно было бы пустить в яму с саблезубыми тиграми, и через пять минут они лизали бы ему пятки своими шершавыми языками. Но те, кто решал судьбы экспедиции, постановили, что в экипаже надо было иметь индекс пластичности не менее тысячи двухсот! Такие ребята не бегают толпами по улицам, и им пришлось просеять сквозь их сито чуть ли не всю историю человечества и набрать эти самые два десятка. Потом некоторые не подошли из-за того, что при всей их пластичности оказались совершенно невосприимчивыми к технике, — а речь как-никак шла о сложнейшем корабле, — или же были не в состоянии усвоить даже те азики современной науки, без которых было бы невозможно понять, что же им предстоит делать; бесспорно, эпоха не всегда служит точным мерилом умственного развития — даже в мои времена за одного Леонардо можно было отдать целый курс инженерного факультета и в придачу курс Академии художеств, и мы не остались бы внакладе, — но все же не всем и не все оказалось по силам. Так что осталось нас столько, сколько и требовалось. Остальным предстояло коротать свои дни в заведении, представлявшем собою санаторий для здоровых мужиков во цвете лет.

Из прошлого нас всех вытаскивали примерно одним и тем же способом: когда становилось ясно, что нужный человек вот-вот (как говорили в мое время в тех местах, где я жил) положит ложку, — его в последний миг выхватывали из того времени, а на его место подкладывали искусно сотворенного

биоробота, так что никто и не замечал подмены. Большинство наших ребят было выдернуто во время войн, когда удивлялись не тому, что человек умер, а тому, что он остался жив. Благо, в войнах в те эпохи — включая мою — недостатка не было.

Так что собралась веселая компанийка. По рождению нас отделяли друг от друга столетия, а то и тысячелетия, но здесь мы быстро нашли общий язык, потому что отныне у нас была одна общая судьба и очень мало общего — с судьбой остальных, живших в этом времени людей: пусть мы разобрались и в корабле, и в основах современной науки, но стать по-настоящему современными людьми так и не смогли.

Дело было не во внешности, хотя мы, конечно, отличаемся от них весьма и весьма; правда, друг на друга мы и вовсе не похожи, но на них — еще меньше. Они — те, кто нас вытащил, — выглядят, по нашему мнению, однообразно: рослые, прекрасного сложения, смуглые, с волосами от черных до каштановых — более светлые тона встречаются крайне редко — и главным образом темноглазые. Они очень красивы, сравнительно мало меняются к старости, не седеют. О женщинах и говорить нечего: любая из них в мое время завоевала бы все мыслимые титулы в области красоты. За время тренировок я успел познакомиться с несколькими; они, думаю, делали это из любопытства. Жаль только — с ними не о чем было говорить: слишком уж разное мы получили воспитание. В этом-то и крылась основная причина того, что в этой эпохе все мы могли быть только кем-то наподобие эмигрантов, невольных эмигрантов из других эпох.

Дело в том, что мы были выдернуты из своих времен уже в зрелом возрасте, когда формирование каждого из нас как личности успело закончиться. Вот Георгий: хороший штурман и прекрасный парень. Он — один из тех трехсот, что защищали Фермопилы с Леонидасом во главе, и я не хотел бы видеть его в числе своих врагов. В его время и в его стране хилых детишек кидали в море, чтобы они не портили расу; даже мои гуманистические концепции кажутся ему слюнтяйскими, не говоря уже о современных. Он редко улыбается; мне кажется, он так и не может простить себе, что остался в живых, когда все прочие спартиоты — и еще тысяча наемников — легли там костьми. Он отлично понимает, что это от него не зависело, но все же приравнивает, видимо, себя к беглецам с поля боя, а таких в его время любили не больше, чем во всякое другое. Но, повторяю, штурман он что надо: ориентирование по звездам у античных греков в крови. Он редко проявляет свои чувства (чего нынешние люди не понимают) и очень холодно относится к женщинам, потому что чувствует, что они в чем-то превосходят его, а его самолюбие —

древние очень холили свое самолюбие — не позволяет ему примириться с этим.

Или Иеромонах. Мы с ним соотечественники и почти земляки, только он жил на три с половиной сотни лет раньше. Он тоже прекрасный мужик — все мы прекрасные мужики, — но кое-чего не понимает, а ко всему, чего не понимает, относится недоверчиво. Сомневаюсь, чтобы он разуверился в бытии божием — во всяком случае, до сих пор он в сложные минуты шепчет что-то — подозреваю, что молитвы, — и осеняет себя крестным знамением. Он прекрасно знает устройство большого корабельного мозга, которым ведает, и с этим аппаратом у нас никогда не было ни малейшей заминки. Могу поручиться, что в глубине души Иеромонах одушевляет его, относит к категории духов — скорее добрых, однако, чем злых. Что-то вроде ангела-вычислителя, хотя таких в христианском вероучении не было. Он эмоционален, но после каждого открытого проявления чувств смущенно просит прощения у бога. На женщин смотрит с интересом, когда думает, что никто этого не замечает. Рассердившись на кого-нибудь, он называет его еретиком и грозно сверкает очами. Он невысок, черняв и носит бороду. Сейчас это считается негигиеничным.

Они со спартиотом непохожи друг на друга, а еще меньше похож на каждого из них в отдельности и на обоих вместе наш первый пилот, которого мы называем Рыцарем.

Он уверяет, что и в самом деле был рыцарем когда-то — в каком-то из середины веков. Это его дело. Прошлое каждого человека является его собственностью, и он может эту собственность предоставлять другим, а может и держать при себе и не позволять никому к ней прикасаться. Пора биографий давно минула; какое значение имеет то, что человек делал раньше, если есть возможность безошибочно установить, чего стоит он сейчас, и обращаться с ним, исходя именно из этого? Был рыцарем, ну и что же? Зовут его Уве-Йорген, по фамилии Риттер фон Экк. Он высок и поджар, обладает большим носом с горбинкой и широким диапазоном манер — от изысканных до казарменных (не знаю, впрочем, — кажется, у рыцарей казарм не было). Прекрасный пилот, чувствующий машину как никто. В разговорах сдержан, зато слушает с удовольствием. При этом он чуть усмехается, но не обидно, а доброжелательно. Взгляд его всегда спокоен, и понять что-либо по его глазам невозможно. Однажды, во время ходовых испытаний, мы могли крепко погореть; Рыцарь был за пультом, и ему удалось вытащить нас в самый последний момент (Иеромонах за пультом вычислителя уже бормотал что-то вроде «Ныне отпущаеши...»). Мы все, надо признаться, основательно вспотели. Только Уве-Йорген был спокоен, словно решал задачу на имитаторе, а не в реальном пространстве, где все

мы могли в два счета превратиться в хилую струйку гамма-квантов. Когда это кончилось, он оглянулся и, честное слово, посмотрел на нас с юмором — именно с юмором, но не сказал ни слова.

Что еще о нем? Однажды я зашел по делу в его каюту как раз в тот миг, когда он выходил из своего сада памяти (я уже рассказал, что это такое). Он резко захлопнул дверцу, и я толком ничего не успел увидеть; там было что-то вроде гигантской чаши, до отказа заполненной людьми, исступленно оравшими что-то. Помню, я спросил его тогда (совершив бестактность), к какой эпохе относится это представление. Он серьезно ответил: «К эпохе рыцарей». И, чуть помедлив, добавил: «Всякий солдат в определенном смысле рыцарь, не так ли?» Я подумал и сказал, что, пожалуй, да. Я и сам был солдатом в свое время.

Уве-Йорген не дурак поесть и понимает в еде толк; к женщинам относится с некоторым презрением, умело его маскируя. Аскетом его не назовешь; добровольный аскетизм не свойствен солдатам.

И совсем другое дело — Питек. Это — производное не от имени Питер, а от слова питекантроп. Он на нас не обижается за прозвище, поскольку наука о происхождении человека осталась абсолютно неизвестной ему. Нас ведь обучали только необходимому, опасаясь перегрузить наши доисторические мозги, так что многие вершины современной культуры даже не появились на нашем горизонте. На самом деле Питек, конечно, не имеет никакого отношения к питекантропам — вернее, такое же, как любой из нас: он нормальный гомо сапиенс, и даже более сапиенс, чем многие из моих знакомых по былым временам. Но прибыл он из какой-то вовсе уж невообразимой древности — для него, думается, Египет фараонов был далеким будущим, а рабовладельческий строй — светлой мечтой, в которую никто не верил. По-моему, специалисты «частого гребня» и сами не знают, из какого именно времени его выдернули, а сам он говорит лишь что-то о годе синей воды — более точной хронологии из него не выжать. Он любит поговорить и, прожив день, старается обязательно рассказать кому-нибудь из нас содержание этого дня — хотя мы все время были тут рядом и знаем то же, что и он; правда, память у него великолепная, он никогда ничего не забывает, ни одной мелочи. Этим, да еще прекрасным, прямо-таки собачьим обонянием он выгодно отличается от нас.

Питек называл имя своего племени — но, насколько я помню, такое в истории не отмечено, как-то проскользнуло стороной; называл он и свое имя, но никто из нас не мог воспроизвести ни единого звука; по-моему, для этого надо иметь как минимум три языка, каждый в два раза длиннее,

чем наши, и попеременно завязывать эти языки узлом. У Питека, правда, язык один, и это великая загадка природы — как он им обходится. Единственное, что я знаю наверняка: там, где он жил, было тепло. Поэтому при малейшей возможности Питек старается пощеголять в своем натуральном виде; мускулатура у него и вправду завидная, и ни грамма жира. Нашим воспитателям не без труда удалось убедить Питека надевать на себя хоть самую малость. Он подчинился, хотя они его и не убедили. Он коренаст, ходит бесшумно, великолепно прыгает, не ест хлеба, а мясо, даже синтетическое, может поглощать в громадных количествах, предпочитая обходиться без вилки и ножа.

Он немного ленив, потому что ни на миг не задумывается о будущем, не заботится о нем и ничего не делает заранее, а только тогда, когда без этого обойтись уже нельзя. Зато он обладает великолепной реакцией и мог бы быть даже не вторым, а первым пилотом, будь у него чуть больше развито чувство самосохранения — а также и сохранения всех нас; но смелость его, к сожалению, переходит всякие границы. Я думаю, впрочем, что это относится к его индивидуальным особенностям, хотя, может быть, все его соплеменники были такими — и потому не уцелели. Чувство племени, кстати, — или, по нашей терминологии, чувство коллектива — у него развито больше, чем у любого из нас. Питек может рисковать машиной вместе со всем ее населением, но ради любого из нас он подставил бы горло под нож, если бы возникла такая необходимость, — и с еще большим удовольствием полоснул бы по горлу противника.

Он часто, хотя несколько однообразно, рассказывает о войнах между племенами. Я как-то в шутку поинтересовался, не съедали ли они побежденных в тех междоусобицах. Питек не ответил. Лишь улыбнулся и провел кончиком языка по своим полным губам.

Что еще о нем? В обращении с женщинами он элементарно прост, и, как ни странно, им — современным и высокоинтеллектуальным — это нравится. Впрочем, понять женщин в эту эпоху, как мне кажется, ничуть не легче — или не труднее, может быть, — чем в наши, далеко не столь упорядоченные времена.

И, наконец, последний из нас — Гибкая Рука. Так он сам перевел свое имя, как только мы, после первого же часового сеанса обучения, вдруг убедились, что все объясняемся на одном языке — и язык этот не является родным ни для одного из нас, но все же мы им владеем, как будто родились, уже умея на нем говорить. Рука из индейцев; жил где-то у Великих озер — в местах, по которым в мое время проходила граница между Канадой и Соединенными Штатами. Правда,

говорить о границе с Гибкой Рукой бесполезно: в его время ни Канады, ни Соединенных Штатов не существовало, и о белых людях там вообще не слыхивали. Имя свое Рука заслужил честно: он из тех людей, кого называют умельцами, у него прирожденное чувство конструкции, взаимодействия деталей. Попав в современность, он в краткий срок сделался выдающимся, даже по высшим меркам, инженером и в этом качестве отправился в полет.

Как ни странно, он в основном соответствует литературному стандарту индейца: невозмутим, говорит лишь тогда, когда к нему обращаются или когда необходимо что-то сказать в связи с его установками. Никогда не меняется в лице, и Рыцарь, мне кажется, очень завидует этому его качеству. В отличие от Питека, Гибкая Рука не любит говорить о прошлом, о своем времени и своем народе. Мы, прочие, иногда грешим этим. Уве-Йорген порой, забывшись, громко произносит: «Мы, немцы...» — и в глазах его загорается огонек; правда, он тут же спохватывается и смущенно улыбается. Да я и сам иногда начинаю: «А вот у нас...» — и тоже умолкаю, потому что мы — это теперь либо мы шестеро, и не более того, либо все нынешнее человечество, к которому мы то ли не смогли, то ли по-настоящему не захотели приноровиться. Наша научная группа — два высоких, смуглых, красивых и набитых неимоверным количеством знаний человека — относится к этим нынешним. Мы прекрасно взаимодействуем друг с другом, но у них — свое прошлое и настоящее, а у нас — свое, хотя настоящее и протекает в одном и том же корабле. А будущее наше, вероятно, тоже имеет мало общего с их будущим. Если все мы уцелеем, конечно; о том, что путешествие наше — не просто прогулка по тропе науки, нас честно предупредили, едва мы поняли, куда и зачем мы попали.

Но если уцелеем, общего будущего у нас с ними все-таки не получится. Для них корабль — инструмент; для нас — мир. Мир в большей степени, чем затерявшаяся далеко в пространстве планета Земля. Там мы оказались гостями — и остались бы ими до конца дней. Возврата в свои времена для нас не было, об этом нас тоже предупредили: там все мы умерли. Что же нас ожидало? Вернее всего, другая экспедиция: ведь, если эта пройдет благополучно, у нас будет такой опыт, каким на Земле не обладает никто.

Вот о чем размышлял я, прогуливаясь в Саду своей памяти. Был спокойный участок полета, мы благополучно вышли из сопространства и держали курс на ту самую звезду, которая нам была нужна — а вернее наоборот, ничуть не была нужна, лучше бы ее и не существовало, — но уж так получилось. Наши ученые дали звезде красивое имя Даль — не потому,

что она была далеко, просто в ту пору названия давали по буквам арабского алфавита, а одна из них так и называется: даль... Пилоты несли вахту, а у меня — я был как-никак капитаном этого корабля, первым после бога («Вот!» — торжествующе сказал Иеромонах и наставительно поднял палец, когда я впервые поведал ему эту древнюю формулу) — оставалось еще малость времени для таких прогулок: командовать переходом на околозвездную орбиту было еще рано, тормозиться мы начнем только через двое суток. И я гулял, посвистывал ветерок, и скрипели сосны. Потом в этот приятный шумок вошли новые звуки.

Обычно вызываю я, а не меня; значит, дело было важное. Я в два счета оказался у двери дачи, вошел, затворил ее, пожмурился от яркого света, всегда горевшего в моей каюте, и оттуда отозвался:

— Капитан Ульдемир.

Так меня тут звали; да это и было почти мое имя, только слегка измененное.

— Капитан Ульдемир, начальник экспедиции просит вас подняться в научный блок.

По голосу я узнал Аверова.

— С удовольствием, — ответил я с положенной вежливостью.

Что бы такое там у них приключилось?

Я надел тужурку, учинил себе осмотр при помощи объемного зеркала — капитан не может быть небрежным в одежде, — вышел, поднялся на четыре палубы и зашагал по коридору. Подошел к их центру и отворил дверь.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Садитесь, пожалуйста, капитан, — проговорил Шувалов, как и всегда, с такой интонацией, словно извинялся за беспокойство. Он шагал из угла в угол обширного салона; толстый ковер скрадывал звуки шагов. Аверов сидел в глубоком кресле — неподвижно, но пальцы рук все время двигались, словно плели нить из воздуха. Капитан Ульдемир сел в другое такое же кресло. Казалось, ему было безразлично, что он здесь услышит, и услышит ли вообще. Шувалов покосился на него. Остановился.

— Видите ли, капитан...

И снова зашагал, так и не завершив фразы. Аверов дернул плечом. Капитан остался невозмутимым. В общении с людьми этой эпохи он предпочитал не проявлять инициативы. На этот раз Шувалов остановился в самом углу. Повернулся к Ульдемиру.

— Вы помните, капитан, модель звезды, мы вам показывали ее на Земле.

Капитан кивнул.

— То была, как вы и сами понимаете, всего лишь компьютерная модель, мы ведь не в силах увеличить изображение реальной звезды до такой степени. Естественно, все наши действия проводились над этой моделью, и результаты не могли быть абсолютно точными.

Ульдемир кивнул снова.

— Сейчас, наблюдая уже реальную звезду, мы оказались вынужденными внести в программу действий некоторые коррективы.

Он помолчал, словно еще раз мысленно проверяя то, что хотел сообщить.

— Вы ведь помните, на какое расстояние нам надо подойти, чтобы иметь полную уверенность в успешности воздействия?

— Порядка двух миллионов...

— Совершенно верно. То есть, вплотную. И там, выйдя на орбиту, ударить. Так вот, звезда ведет себя не совсем по теории. И нельзя гарантировать, что в самой первой стадии процесса не произойдет нежелательных явлений... типа выброса вещества, скажем — таких выбросов, которые смогут помешать нам отойти на безопасное расстояние. Вы понимаете?

— На языке доступных мне понятий, — вежливо ответил Ульдемир, — это значит, что мы можем сгореть вместе с кораблем.

— Да, это то самое, что я хотел сказать.

— Но задачу мы выполним?

— В этом мы уверены. Не так ли, коллега?

— Гм, — сказал Аверов. — Мы ее погасим. Потому что остальные стадии процесса пойдут так, как мы и предполагали. Вот только самое начало... Но там, на Земле, мы не могли этого предположить.

— Мне все ясно, — сказал капитан Ульдемир.

— Мы немедленно прекратили бы выполнять задачу, если бы от этого не зависела жизнь миллиардов людей в Солнечной системе. Вы ведь понимаете...

— Этого даже не нужно говорить, — сказал Ульдемир.

— Мы просим вас собрать экипаж. Мы сообщим всем людям то же самое, что только что сказали вам.

Ульдемир пожал плечами.

— Вы думаете, экипаж взбунтуется, узнав, что риск оказался больше, чем предполагалось?

— А вы не боитесь этого? — спросил Аверов резко.

Капитан повернул к нему голову и ответил:

— Нет.

— Дело не в этом, — сказал Шувалов с оттенком досады в голосе. — Поймите, капитан. Мы, я и Аверов — люди той Земли, того человечества, которому грозит гибель. Так что для нас здесь проблем не возникает. Но вы шестеро... Ваше человечество в любом случае давно умерло. И вы вправе не жертвовать своей жизнью ради... чужих.

— Не знал, — произнес Ульдемир, — что вы произошли от марсиан — или кого еще там...

Аверов нервно рассмеялся.

— Отцы и дети... — пробормотал он.

— И все же, — сказал Шувалов. — Мы прекрасно понимаем, что если для нас Земля — милый дом, то для вас это — ну, не совсем так. Конечно, проживи вы у нас лет десять, двадцать... Но сейчас — разве я не прав?

— Правы.

— Ваш дом — корабль. Верно?

— Правы и тут.

— В нем можно жить долго, долго... десятки лет. И вы вправе захотеть этого. Потому что если та степень риска была приемлемой, то эта — чрезмерна.

— Вы упускаете из виду одно, — сказал Ульдемир. — Все мы — мертвые люди, в отличие от вас. Но если хотите, я соберу экипаж.

* * *

Они входили в научный салон странно: каждый по-своему, но было и что-то общее, неопределенное — входили словно в чуждый мир. Усевшись за свой стол, Шувалов смотрел, как они возникали тут, в раз и навсегда определенном порядке: видимо, была у членов экипажа какая-то своя, всеми признанная иерархия, хотя нельзя было понять, по какому именно признаку они оценивали самих себя и друг друга.

Первым вошел Иеромонах, остановился в двух шагах от двери, привычно повел глазами в правый дальний от себя угол салона — там ничего не было, — поклонился, сел в конце стола, сложил руки на животе и замер. За ним вступил Питек — быстро и бесшумно, мгновенно окинул салон взглядом — можно было поручиться, что ни одна мелочь не укрылась от взгляда и запечатлелась в памяти, — шагнул вперед (казалось, ворс ковра даже не проминался под его шагами) и сел рядом с Иеромонахом. Затем появился Рука; момента, когда он вошел, Шувалов не заметил: вдруг возник, сказал, не кланяясь: «Вот я», упруго пошел к столу и сел напротив Никодима, иеромонаха. Грек пересек салон, не останавливаясь у двери, лишь поднял приветственно руку, серьезный и сосредоточенный, сел, обвел взглядом всех и опустил глаза. И

наконец Уве-Йорген: остановился у двери, резко нагнул голову, здороваясь, и щелкнул каблуками. Улыбнулся, как показалось Шувалову, чуть вызывающе, но возможно, на самом деле это было и не так, — и сел, отодвинув кресло от стола, закинул ногу на ногу, поднял голову и стал глядеть в потолок. Капитан Ульдемир кивнул Шувалову: можно было начинать.

* * *

— Я попросил бы вот о чем, друзья мои: пусть каждый не только сообщит свое решение, но и по возможности мотивирует его.

— Никодим, — сказал капитан. — Прошу.

Иеромонах усмехнулся.

— На все есть воля, — сказал он.

Наступила пауза. Потом Шувалов сказал:

— Ну, пожалуйста, мы ждем.

— Я все сказал, — ответил Иеромонах.

— Ах да, понял... — проговорил Шувалов, смутившись.

— Второй пилот! — вызвал Ульдемир.

— Смелый рискует сразу, — сказал Питек, — трус уклоняется. Трус гибнет первым. У меня все.

— Инженер?

Гибкая Рука встал.

— Не надо думать о себе. Надо — о племени. — Он смотрел на Шувалова. — Это твое племя. Думай. Мы выполним.

— Штурман, твое слово.

— Мы стоим там, — медленно молвил спартиот, — откуда нельзя отступать. Иначе люди будут смеяться, вспоминая нас. Даже если их не останется — будут смеяться.

— Кто же? — не понял Аверов.

— Однажды я уже погиб, — сказал грек. — И я тут.

— Уве-Йорген?

— Я рыцарь, — ответил тот. — У меня может быть только один ответ, профессор. Но мне хотелось бы слышать мнение нашего капитана.

— В молодости, — сказал Ульдемир, не обидевшись за некоторое нарушение этикета, — я прочитал у одного писателя хорошие слова: что бы ни случилось, всегда держите в лоб урагану.

Уве-Йорген удовлетворенно кивнул.

Несколько секунд продолжалось молчание. Потом Шувалов поднял голову.

— Капитан, в таком случае прикажите начать монтаж установки. Сейчас же, а не тогда, когда предполагалось.

Гибкая Рука резко повернул голову:

— Еще до торможения? Опасно, профессор! При перегрузках...

Шувалов покачал головой.

— Понял! — воскликнул Уве-Йорген. — Перегрузок не будет, не так ли? Атакуем с ходу?

— Так будет лучше, — сказал Шувалов. — Если мы сохраним теперешнюю скорость, выбросы могут и не зацепить нас. Если только вы обеспечите точность наведения при движении по касательной.

— Чему-то ведь мы все же научились, — сказал Питек.

— Разговоры! — сказал капитан Ульдемир. — Приступить к монтажу! Хвалиться будем потом.

* * *

Ощущение опасности, как ни странно, придало людям бодрости. И в первую очередь — экипажу: опасность — это было что-то из прошлого, из молодости, из той жизни, которую они (каждый про себя) считали единственной настоящей. Для ученых чувство непрерывной угрозы явилось чем-то совершенно новым: переживать такое им не приходилось. В первые дни непривычное ощущение их тяготило; потом, неожиданно для самих себя, они нашли в нем какой-то вкус. Им стало казаться, что новая жизнь, жизнь в опасности, отличалась от прежней, спокойной, как морская вода от водопроводной: у нее был резкий вкус и тонкий, бодрящий запах, заставлявший дышать глубоко и ощущать каждый вдох как значительное и радостное событие.

Вряд ли ученые признавались даже самим себе в том, что такое отношение к жизни возникло у них под влиянием шестерых человек из других эпох, — людей, относившихся к жизни именно так.

Работали быстро, даже с каким-то ожесточением. На звезду Даль поглядывали теперь с опаской. Красивое светило оказалось коварным. Хотелось поскорее сделать все и оказаться подальше от него — если удастся.

Но с тем большим усердием велось наблюдение за светилом.

* * *

— Ну как она там сегодня, Питек?

— Нормально, Уль. Звезда как звезда. Пахнет медом. Ты когда-нибудь ел мед?

— Не меньше твоего. Но при чем тут звезда?

— Желтая, как мед. Хочется зачерпнуть. И еще что-то было, что мне напомнило. Погоди, дай подумать... Да! Пчела!

— С тобой не соскучишься. Еще и пчела?

— Она ползла. Понимаешь: мед, и по нему ползет пчела. Медленно-медленно...

— Прямо идиллия. А цветочков там не было по соседству?

— Извини. Цветов не было. Только пчела.

— Наверное, пятно, — сказал капитан Ульдемир. — На звездах, как тебе известно, бывают пятна.

— Мы это давно знали. У нас были люди, что глядели на солнце, не щуря глаз.

— Дай-ка, я тоже взгляну — через фильтры, конечно...

Ульдемир смотрел на звезду Даль. Медового цвета, приглушенная светофильтром звезда цвела одинокой громадной кувшинкой на черной воде, не имеющей берегов. Пятен на звезде не было.

— Наверное, ушло на ту сторону. Большое было пятно?

— Нет, не очень. Я думаю, среднее.

Ульдемир помолчал.

— Ладно, закончим работу — посмотрим снимки. Наблюдай.

— Будь спокоен, Уль.

* * *

Катер вплыл в эллинг. Створки сошлись, зашипел воздух. Капитан Ульдемир снял перчатки и откинулся на спинку сиденья. Шувалов сказал:

— Благодарю вас, капитан. Работа сделана, я бы сказал, блестяще. Откровенно говоря, я даже не ожидал...

— По-моему, — сказал Ульдемир, — все в порядке.

— Должен сказать, — проговорил Аверов сзади, — что снаружи, из пространства, все это выглядит весьма внушительно. Я раньше как-то не представлял... Да, просто устрашающе. Будь я жителем звезды Даль, то испугался бы, честное слово.

— К счастью, на звездах не живут.

— А эмиттер смотрится просто красиво. Я получил простотаки эстетическое наслаждение... Итак, можно считать, что у нас все готово? Коллега Аверов?

— Да.

— Капитан?

— Батареи заряжены полностью. Можно начинать отсчет.

— Сначала пусть все отдохнут как следует. Чтобы в решающий момент ни у кого не дрогнула рука. Начнем через четыре часа.

...Осталось четыре часа, и делать было совершенно нечего. Еще раз пройти по постам, постоять у механизмов, послушать, как журчат накопители, как едва слышно гудят батареи,

почувствовать, как пахнет нагретый металл... Что еще?. Лечь? Уснуть не уснешь, и, чего доброго, еще нагрянут воспоминания... Сад памяти? Расслабит.

Капитан Ульдемир потер лоб. Что-то мешало ему. А значит, что-то не было в порядке. Капитан Ульдемир всю жизнь доверял интуиции, и сейчас не было причин сомневаться в ней.

Хорошо; мысленно пройдем еще раз по всем операциям в правильной последовательности. Вспомним каждую деталь, каждую мелочь. Вспомним, как вели себя люди: кто-то устал? Нервничает? Нет? Тогда что же мешает успокоиться?

Постой. А что же все-таки видел Питек? Пойти взять снимки... Хотя бы наскоро проглядеть сегодняшние снимки...

* * *

Четыре часа миновали.

— Сто четырнадцать... — вел отсчет компьютер. Минутная пауза. — Сто тринадцать...

Уве-Йорген, первый пилот, откинулся на спинку кресла, помахал в воздухе кистями рук, поиграл пальцами. Снова выпрямился.

Послышались шаги.

— Сам грядет, — сказал Иеромонах.

Но это были ученые. Они заняли места.

— Все в порядке? — спросил Шувалов.

— Сто... — ответил ему компьютер.

— Я не вижу капитана, — проговорил Аверов, оглядевшись.

Уве-Йорген пожал плечами.

— Капитана не принято спрашивать. Придет, когда сочтет нужным.

— Но в конце концов... — начал было Шувалов. Рыцарь взглянул на него холодно. Чуть ли не с презрением.

— Действия капитана не обсуждаются. Как наводка, Георг?

— Отклонение на восемнадцать секунд.

— Провожу первую коррекцию, — проговорил Рыцарь. Он положил руки на пульт. — Внимание! Страховка! Импульс!

Легкая дрожь прошла по кораблю. Уве-Йорген прищурился, глаза льдисто блеснули.

— Точно, — сказал Георгиос.

— Вы знаете, я тревожусь, — сказал Шувалов. — Или это неуважение ко всем нам, или... Осталось меньше часа!

Послышались шаги.

— Грядет, — снова проговорил Никодим. — Ну, благословясь...

Вошел Ульдемир.

— Капитан, — проговорил Шувалов, — мы, знаете ли, просто заждались. Допускаю, что у вас могли быть причины...

Капитан сказал:

— Да.

— Хорошо, вы расскажете о них позже. А сейчас, будьте любезны, командуйте операцией.

Капитан сказал:

— Отставить операцию.

— То есть как это? — по-петушиному выкрикнул Аверов.

— Мы слишком много думали о звезде. И слишком мало — о планетах.

— Никаких планет нет!

— Есть, — сказал капитан. Он помахал в воздухе несколькими снимками. — Вот ее прохождение через диск. Слушай команду. Все на ноль. Отсчет прекратить. Готовиться к торможению.

* * *

Планета — это было плохо.

Это означало, что, по букве закона, на звезду Даль нельзя оказывать никакого воздействия, прежде чем не будет неоспоримо и достоверно установлено, что на планете нет ни малейших признаков жизни и никаких предпосылок для возникновения ее в обозримом будущем.

Однако этот случай и подходил под соответствующий параграф Звездного кодекса, и не подходил. Не подходил потому, что звезда, если на нее не воздействовать и не погасить ее, неизбежно должна была в ближайшем будущем взорваться — и тогда от жизни или от предпосылок для ее возникновения и подавно ничего не осталось бы. Как и от самой планеты.

Так или иначе, к планете надо было приблизиться и увидеть, что она собою представляет. Если на планете жизни нет, то все сложности сами собой отпадут. Если жизнь есть, но не дошла до разумной стадии, то... все равно придется действовать. А если на ней существует разум — можно будет попытаться предупредить его носителей о предстоящем похолодании — звезда ведь погаснет не мгновенно, остынет она не так уж и быстро, — а впоследствии даже пытаться провести какие-то спасательные работы — что, однако, сейчас представлялось весьма туманным.

Странное положение: найдя в не столь уж большом удалении от Земли планету, люди мечтали не о том, чтобы на ней оказалась хоть какая-то жизнь, но, напротив, единодушно хотели, чтобы никакой жизни не обнаружилось.

Такие мысли изредка бывают свойственны людям.

* * *

Плавно затормозившись, корабль лег на околозвездную орбиту, затем сошел с нее и через две недели приблизился к планете и уравновесился на расстоянии тысячи километров от ее поверхности.

Наблюдение за планетой велось непрерывно. Она располагалась слишком близко к светилу, период ее вращения вокруг оси совпадал с периодом обращения вокруг звезды Даль. Иными словами, планета была все время повернута к светилу одной и той же стороной, как Меркурий в Солнечной системе. Позже стало ясно, что она не обладала и атмосферой. И когда корабль лег на околопланетную орбиту, все уже хорошо представляли, что там внизу.

Но все же, для полной уверенности, Ульдемир, Уве-Йорген и Аверов сели в большой катер и опустились на поверхность небесного тела.

Предварительно они несколько раз облетели планету на небольшой высоте. Уве-Йорген порой снижался до нескольких сотен и даже десятков метров. Первозданный хаос, заросли дикого камня мчались под катером с такой скоростью, что кружилась голова.

Аверов испуганно вцепился в подлокотники. Ульдемир молчал. Уве-Йорген, прищурясь, улыбался.

Наконец они сели и Аверов облегченно вздохнул. Ульдемир в скафандре на несколько мгновений вышел из катера, чтобы взять образцы породы. Он не пробыл на поверхности и минуты, но вернулся, задыхаясь от жары, мокрый от пота, хотя скафандр предназначался для работы в горячей зоне силовых установок корабля.

Они взлетели и без происшествий возвратились на корабль.

Привезенные камни исследовали в лаборатории. Ни на них, ни в песке никаких признаков жизни не оказалось. Да и не могло оказаться. Исследование велось скорее для очистки совести. Чистая совесть — это важно.

Однако там, где есть одна планета, может оказаться и целая их система. И совесть требовала продолжать поиски теперь уже до конца. Обшарить околозвездное пространство. Обнюхать. Просеять через мелкое сито. Сделать все, что возможно.

* * *

Вахту несли так: сто двадцать минут — и четыре часа отдыха. Снова два часа — и четыре.

— Смена. Ну, не удалось ни с кем познакомиться?

Аверов от волнения пытался даже шутить.

— Пара камушков, — сказал Уве-Йорген. — А вообще — пустота.

— Ох, хоть бы... Хоть бы!

— Постучите по дереву... До сих пор все складывалось удачно, может повезти и на этот раз. Ну, вгляделись?

— Я готов.

— Чистого пространства!

Аверов остался один перед экранами. Черный экран, подключенный к большому оптическому рефлектору. Голубоватый — локатора. Маленький круглый — гравителескопа. Индикаторы радиотелескопа и рентгеновского. Взгляд медленно обходил их. Формальность: существует ведь автоматика, поиском планет занят компьютер. Но и человек — не последнее во вселенной... Надо смотреть внимательно. Пусто, пусто, пусто... Нули, нули... Еще несколько часов — и зона возможной жизни будет пройдена. Если тут ничего не окажется, можно считать, что отделались легким испугом: планеты за пределами этой полосы, если они там и существуют, будут не менее безжизненными, чем первая...

Быстро пролетают два часа. Сейчас кто-нибудь придет на смену.

— Смена! Ну как, ничего?

— Нет, штурман, пока все в порядке.

— Хорошо!

Пауза.

— Вгляделись?

— Да.

— Желаю ничего не увидеть.

* * *

— Капитан, прикажите снова заряжать батареи.

— Есть. Прикажу поставить под зарядку.

— Интересующая нас зона, друг мой, практически обследована. Никакого намека. Еще какой-нибудь час — и... Нет, мы не прекратим поисков, но тогда уже все шансы будут за то, что никакой жизни мы не обнаружим.

— Тогда, я полагаю, мы сойдем с орбиты, удалимся от звезды малыми ходами и издалека начнем атаку снова.

— Именно так мы и поступим, капитан.

* * *

Четыре часа тоже пролетают быстро.

Дежуря на этот раз, Аверов поймал себя на том, что ему хочется петь.

Трам-тарам-тарам-та-та... Трам-тарам... Тата?

Нет. Там нет ничего. Это просто самовнушение, оптическая иллюзия, а на самом деле ничего нет. Надо закрыть глаза. Посидеть так. Успокоиться. Теперь можно открыть. Что там, на экранах? Ничего, конечно?

Оптический показывает тело.

Локатор идет с запозданием. Сейчас он даст расстояние, и окажется, что впереди — просто очередной камушек.

Локатор дал расстояние. Миллионы километров.

Гравителескоп: какова масса тела?

Планета.

Аверов почувствовал, как дрожат губы. Минуты две сидел, закрыв лицо руками. Потом вызвал центральный пост.

— Здесь обсерватория. Планета в пределах зоны обитания.

Ему ответили:

— Вот и компьютер дает те же данные...

* * *

Подлетели. Расстояние до поверхности было — две тысячи километров. Над экватором плыли облака. Локаторы показывали: кряж. Равнина. Обширная. Снова хребет. Тут, видимо, море...

— Итак, друзья мои: снижайтесь осторожно. Пробы атмосферы, пород... Оглядитесь и попытайтесь вернуться побыстрее.

— Хорошо, — сказал Ульдемир. Он повернулся к Аверову: — Я полагаю, облака — это еще ничего не значит.

— Да, — хмуро согласился ученый. — Но температура на поверхности такова, что можно ожидать...

— Ладно, там видно будет. Рыцарь, прошу в катер.

Они быстро пробили облачный слой. Снизились. Голубые огоньки стекали с бортов.

Внизу шумели леса.

То есть, шума не было слышно. Но, увидев такой лес, каждый сразу поймет, что он шумит. Не может не шуметь.

Уве-Йорген, первый пилот экспедиции, шел на бреющем. Свист двигателей глохнул в вершинах деревьев. Вершины покачивались: дул ветер.

— Здесь нам не сесть, — сказал Уве-Йорген.

— Сделаем еще виток-другой.

Рыцарь набрал высоту.

— Возьми градусов на тридцать вправо.

Уве-Йорген переложил рули.

Через сорок минут началась степь.

— Вот здесь можно сесть.

— Погоди, — сказал Ульдемир.

Аверов работал с камерой.

— Движется, — пробормотал он.

— Стада, — сказал Ульдемир. — Сотни тысяч голов. На Земле когда-то тоже было так. Питек помнит. И Рука тоже.

— Сядем, капитан?

— Нет, Уве, обожди.

— Чего ты ищешь?

— Ты знаешь.

Они сделали еще один виток.

— Нет, — сказал Уве-Йорген. — Людей здесь нет. Будь они — не было бы стад.

Прошло еще полчаса.

— Внимание! Внизу. Что это, по-вашему?

Голос Рыцаря был странно приглушен.

Аверов вгляделся.

— Возможно, это природная формация? В конце концов, и на Марсе когда-то видели каналы...

Уве-Йорген Риттер фон Экк смотрел перед собой, твердо сжав челюсти. Он резко бросил машину вниз.

— Это дорога, — пробормотал он. — Пусть никто не говорит мне, что это не дорога...

Машина мчалась впритирку к поверхности.

— Воткнемся, — сказал Ульдемир.

— Нет, — уверенно ответил Рыцарь. — Эх, Ульдемир... — И сам перебил себя: — Смотрите! Вот они! Да вот же!

Это, несомненно, были люди — или очень похожие на них существа.

— Садимся?

— Не надо, Уве. Все ясно. Правь на корабль.

На обратном пути они молчали. Только перед самым кораблем Аверов пробормотал:

— Люди, настоящие люди... Что теперь делать?

Капитан и Уве-Йорген одновременно произнесли по нескольку слов. Но один говорил по-русски, другой по-немецки, и Аверов так ничего и не понял, и не понял бы, даже если бы ему перевели это на современный земной язык, поскольку в современном языке подобных оборотов речи просто не существовало.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Все, кроме вахтенного, снова собрались в салоне у ученых. На этот раз сидели не так чинно, и Шувалов вновь бродил по ковру из угла в угол, рассуждая громко:

— Что мы в силах предпринять? Мы не готовы к такого рода действиям. К высадке на планету с развитой — с разумной жизнью. Ничего не знаем... Какой окажется структура здешнего разума, его коммуникативность, степень развития?

У нас вообще нет никакой аппаратуры для контакта. А контакт необходим, чтобы добиться конструктивных и очень важных результатов...

Уве-Йорген спросил, словно о незначительном:

— Да чего вы собственно от них хотите, профессор?

— То есть как?! На планете существует разумная жизнь. А из этого однозначно следует, что мы должны не только заботиться о предотвращении гибели нашего человечества, но и взять на себя заботы о спасении здешнего населения. Для защиты человечества мы собирались погасить звезду. Но здешних людей мы этим лишь погубим.

— Стоит излучению звезды уменьшиться на десять процентов, — подсказал Аверов, — и условия тут сделаются совершенно непригодными для жизни. Катаклизмы. Обледенение. Голод. И гибель жизни. Все это произойдет менее, чем за год.

— Нельзя ли не столь поспешно? — спросил Иеромонах.

— Ни быстрее, ни медленнее, — тут же ответил Аверов. — Процесс саморегулирующийся, течение его от нас не зависит. Мы можем, так сказать, только нажать кнопку — или, напротив, не нажимать.

— Значит, они обречены, — снова заговорил Уве-Йорген. — Так нужно ли ломать голову в поисках несуществующего выхода? Будем спасать Человечество — это наш долг.

— Я запрещаю говорить так! — крикнул Шувалов. — Помните: с момента, когда нам стало известно о существовании здесь жизни, мы, хотим мы того или нет, взяли на себя ответственность за ее спасение.

— Видимо, единственный выход — эвакуация, — сказал Аверов.

— Почему? — возразил Шувалов. — А если доставить с Земли и зажечь здесь небольшое, локальное солнце? Такой опыт есть...

Аверов покачал головой:

— Отпадает. Для управления таким солнцем с планеты нужна сложнейшая кибертехника, мощные стартовые установки, запасы топлива, множество специалистов — и прочее, и прочее. Да и надежность... Я за эвакуацию. Земля согласится предоставить им одну из планет Солнечной системы...

— Им хватит и небольшого участка, — сказал капитан. — Судя по тому, что мы видели сверху, обжита лишь малая часть планеты. Но дело в другом. Насколько это осуществимо технически? Сколько этих людей? Сколько кораблей понадобится? Сколько времени нужно на их постройку? Где взять столько экипажей? Ведь времени-то у нас как раз мало: звезда ждать не станет...

— Сейчас самое важное, — сказал Шувалов уже почти спокойно, — узнать, сколько их, и объяснить им положение вещей. Поэтому контакт заботит меня прежде всего. Потому что для того, чтобы нас поняли, нужно, чтобы нас предварительно выслушали. А это может оказаться самым трудным. Надо не медля лететь к ним. Выбрать какое-нибудь небольшое поселение — в большом мы сразу же запутаемся. Найти местную власть и попросить, чтобы нас связали с их главными руководителями.

— А как же мы с ними станем объясняться? — подумал вслух капитан.

— Капитан, вы задаете какие-то наивные вопросы. Откуда я знаю, как? Вот полетим с вами — и увидим.

— Со мной?

— Да, вы и я. Потому что пилоты, кажется, склонны подходить к решению проблемы куда проще, чем она заслуживает.

— В мои времена мораль была куда проще, — сказал Питек. — Но не думаю, что она намного хуже вашей. Просто не хочу спорить.

— Готовьтесь, капитан, — сказал Шувалов.

* * *

Овальное красное солнце подпрыгнуло над далеким горизонтом. Длинные тени упали на серо-зеленую высокую траву, вспыхнули неожиданно яркие огоньки цветов. Потянул ветерок; душистый запах жизни закружил головы. Шувалов вздохнул:

— Как на Земле... Пойдемте?

Они зашагали туда, где возвышались деревья, за которыми лежал городок. Катер со включенным маячком остался в высокой степной траве, скрытый от взглядов ее гибкими перистыми стеблями. Шли молча. Приблизившись, бессознательно замедлили шаг, потом и вовсе остановились. Городок казался вымершим.

— Еще спят? Вряд ли...

Они стояли на пригорке, откуда город был хорошо виден.

— Красиво, — сказал Ульдемир.

— И странно. Обратите внимание: ни одной прямой улицы. Очень своеобразная планировка. Это напоминает... Затрудняюсь назвать, но во всяком случае... во всяком случае ощущаешь руку художника.

— Да. Интересно.

— Это воодушевляет меня, капитан. Люди, обладающие развитым эстетическим чувством, не могут не понять нас. Хотя, может быть, приспособиться к их мышлению будет

сложно — если они мыслят образно, а не логически... Жаль, что среди нас нет художника. Но почему никого не видно?

— Может быть, это и не город? — сказал Ульдемир.

— Что же, по-вашему? Некрополь?

— Нет, почему же... Просто мы, может быть, видим лишь верхний, декоративный, так сказать, ярус города, а жизнь течет внизу. В наших, вернее, в ваших городах на Земле...

— Это было бы приемлемо для иных уровней цивилизации, капитан. Люди лезут под землю, когда наверху становится тесно. — Шувалов вздохнул. — Или слишком опасно.

— Наверное, вы правы, — кивнул Ульдемир. — Что же тогда? Эпидемия? Война?

— Вы мыслите земными категориями. Причину мы узнаем, но жаль, что потеряно время: придется искать другой поселок. С людьми.

— Пройдем все же по улицам.

— Конечно, раз уж мы здесь... Но только осторожно. При первых же признаках опасности — немедленно назад. Интересно, сколько человек могло жить в таком городе?

Капитан прикинул.

— Пять тысяч, десять, а может быть — пятнадцать.

— Весьма неопределенно, весьма. Почему — пятнадцать?

— Мы не знаем их уровня жизни. На двух квадратных метрах могут спать двое или трое, но один человек может жить и на площади в десятки квадратных метров. Это же историческая категория.

— Жаль, что мы не историки. Да и много ли может помочь наша земная история в этих условиях? Все мы грешим стихийным антропоцентризмом... Но поторопимся. Чем скорее мы встретим кого-либо, тем быстрее разрешатся наши проблемы. Итак, план действий...

Они снова зашагали, раздвигая траву, поднимавшуюся выше пояса.

— План действий: встретив кого-либо, мы сразу же даем понять, что хотим видеть их руководство. Вождя, императора, президента — все равно. Вступив в контакт с руководством, просим пригласить представителей местной науки. Да-да, я понимаю... но тут важен не столько уровень знаний, сколько научный склад ума. Если он есть, мы поможем им понять всю важность проблемы. Возьмем данные о населении... Чему вы улыбаетесь, капитан?

— Вы уверены, что такие данные есть?

— Ну, на худой конец прикинем сами. Хоть число поселений-то им известно, я полагаю? Или семей: налоги, все прочее... Вы согласны с моим планом?

— Да, — сказал капитан. — Пока нет ничего лучшего.

— Само собой разумеется. А вот и дорога, наконец!

Они вышли на дорогу; узкая полоса утоптанной земли уходила к городу. Отчетливо выделялись колеи.

— Вот и первый неоспоримый признак уровня материальной культуры. Что вы скажете по этому поводу?

Капитан всмотрелся.

— Скорее всего, просто телега с лошадью. Видите — следы копыт? Милая, старая лошадка.

— Какая прелесть, а? — восхитился Шувалов. — Я никогда... Впрочем, надо припомнить... Нет, никогда в жизни не видал телеги. Воистину, не знаешь, когда и с кем встретишься...

— Кстати, о встрече, — сказал Ульдемир. — Надо ли нам так спешить? Напомню вам одну простую вещь: у нас ведь нет оружия. Мы совершенно беззащитны. Вы хоть драться умеете?

— Разумеется, нет, глупости. Но разве нам грозит что-то?

— Не знаю. Не исключено.

— Помилуйте, капитан, мы ведь предполагаем наличие здесь мыслящих существ... Будем же исходить из предпосылок доброты разума.

— Хочу надеяться, что вы правы.

— Идемте же, капитан, идемте!

* * *

Они шли по улице — по широкой, поросшей травой полосе между двумя рядами двухэтажных домов. Тишина нарушалась криками птиц.

— Капитан, друг мой, ведь не может быть, чтобы они испугались нас и сбежали? Мы специально сели в отдалении, ночью...

— Право, не знаю. Интересно, из чего это построено.

— Ну, это мы узнаем. А что это за архитектура? Вы понимаете что-нибудь в архитектурных стилях?

— Гм, — сказал капитан. — У меня странное ощущение. Понимаете, все это очень похоже на... Боюсь сказать глупость.

— Наших высказываний никто не записывает, друг мой, и полагаю, что мы уже наговорили массу глупостей. Одной больше или меньше — не имеет значения. Итак?

— Мне кажется, что я узнаю их: почти такие же дома строили в то время, когда я был... В мою эпоху, одним словом. Эти характерные очертания, большие окна...

— Вы хотите сказать, что жили в таких вот домиках?

— Большей частью летом. А вообще жили в городах, как и вы. И тем не менее, я никак не могу согласиться с тем, что мы попали в эпоху, похожую на мою. Тогда здесь пахло бы бензином.

— Насколько я помню, архитектура определялась уровнем строительной инженерии, характером материала... Из чего вы строили?

— Из кирпича, из разных видов бетона...

— Что же, и это, по-вашему, построено из бетона?

— Подойдем и посмотрим. Хотя бы вот сюда. Честное слово, в свое время я повидал десятки таких домиков...

— Да, но как мы переберемся через... Зачем вообще это?

— Забор, — сказал Ульдемир. — Ограда. Чтобы к дому не подходил никто, кроме имевших право.

— Вы таким способом защищались от зверей?

— Господи, — сказал Ульдемир. Теперешние люди часто не понимали самых простых вещей. — Ладно, погодите, я сейчас перелезу.

— Я с вами, — сказал Шувалов. — Очень интересно, как это там устроено внутри.

— Нет, — сказал Ульдемир. — Мало ли какие сюрпризы могут там оказаться. Сперва я один.

— Разумно, — сказал Шувалов, подумав. — Странно, но вы начинаете заражать меня своей боязнью. Только учтите, что без вас мне на корабль не вернуться.

— Придет второй катер. Не бойтесь.

— Я не боюсь, мой здравый смысл и жизненный опыт протестуют против боязни.

Ульдемир уже перелез через невысокий, ниже человеческого роста, забор. Он обернулся:

— Опыт какой жизни вы имеете в виду?

— Беда с вами, — сказал Шувалов и махнул рукой. — Ну, идите. Но смотрите, будьте осторожнее.

* * *

Он прошел по саду. Утоптанная тропинка огибала дом — вход, наверное, находился с другой стороны. Большие окна были плотно занавешены изнутри. Ульдемир шел, ожидая, что вот-вот на него из-за угла бросится собака. Странное чувство охватило его: показалось вдруг, что не было ничего, и он на Земле осторожно подходит к чьему-то домику, и сейчас встретит человека, и как ни в чем не бывало заговорит с ним, не тратя никаких усилий для контакта — заговорит, как с добрым знакомым, и будет понят.

Он подошел вплотную к дому. Провел рукой по белой шероховатой поверхности стены. Кирпич? Его не было и в помине. Бетон? Нет, вряд ли. Ульдемир сунул руку в карман, достал стартовый ключ катера, попробовал ковырнуть стену. Это удалось без труда. Нет, какой уж тут бетон — вернее всего, глина. А глубже? Дерево. Ну что же, это уже дает представление об

уровне эпохи. Хотя на Земле из дерева строили тысячелетиями. Что же, пойдем дальше...

Он обогнул дом. Здесь был дворик. Никаких сараев или гаражей, ничего, что указывало бы на характер хозяйства, экономики. Зато были качели. Такие, на каких он качался в детстве.

«Да, — подумал он. — Качели. И дерево. И мы в свое время строили такие дома. Окна наши. И крыша».

Что тут еще? Колодец. Значит, водопровода нет. Обычный колодец, вырытый в земле, с довольно примитивным воротом. Ульдемир подошел, заглянул. Глубоко внизу стояла вода. Лицо его отразилось на фоне голубого неба, черты лица были неразличимы. Вдруг захотелось пить. «Ты же не знаешь, что это за вода, — вяло сопротивлялся здравый смысл. — Пусть атмосфера оказалась пригодной, это еще ничего не значит...» Здравый смысл протестовал по обязанности, а руки тем временем уже вращали ворот, и кожаное ведро — никак иначе нельзя было назвать этот кожаный сосуд — медленно опускалось на колючей веревке. К веревке был привязан камень, чтобы ведро зачерпнуло воду, а не плавало по поверхности. Ульдемир поднял ведро и отпил. Вкусная вода. Какой-то привкус есть, но хорошая, свежая, холодная вода...

Он поставил ведро наземь и повернулся к дому.

Вот и дверь. Все размеры — и двери, и самого дома — говорят о том, что здесь живут не просто существа, подобные нам, а люди. И в самом деле, ведро — уж такое человеческое изобретение... А качели! Для кого они, если не для людей?

Ладно, попытаемся войти в дом.

Он решительно подошел. Крыльцо — три ступеньки. Поднимемся. Дверь. Наверняка заперта.

Ульдемир нажал ручку. Дверь отворилась.

За ней было темно. И Ульдемир шагнул во мрак.

* * *

Шувалов нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Любопытство одолевало его. Он взглянул на часы: прошло всего-навсего шесть минут. Капитан мог бы и поторопиться. Положительно невозможно было стоять и ничего не делать: время шло. Шувалов покосился на безмятежно светившее солнце и неожиданно погрозил ему пальцем. Тут же оглянулся: не видел ли его кто-нибудь?

Ему показалось, что кто-то — или что-то —промелькнуло и скрылось за острым углом перекрестка. Что-то живое. Контакт... Капитана все не было. Тогда Шувалов, раздраженно махнув рукой, торопливо зашагал, почти побежал туда, где

заметил движение. За углом никого не оказалось. Он растерянно огляделся. Пробежал немного вперед. Остановился. Повернул назад. Решившись, громко позвал:

— Покажитесь, пожалуйста, если вы здесь!

Молчаливые дома окружали его, нигде не было заметно ни малейшего движения, шелестела листва в садиках, где росли деревья и цветы — красные, синие, лиловые. Цветы росли не как попало — они образовывали узоры, в которых был, видимо, какой-то смысл: слишком сложными были эти линии, чтобы ничего не обозначать.

«Показалось», — подумал он разочарованно. И повернулся, чтобы идти к домику, в котором скрылся Ульдемир.

За его спиной стояли четверо.

— Ага, — растерянно сказал Шувалов. — Вот и вы. Здравствуйте.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Всякому, кто хочет прожить жизнь спокойно, без неожиданностей и треволнений, я советую не заходить в чужие дома, где занавешены окна и ничто не нарушает тишины. Пройдите мимо, не поддайтесь искушению — и вы избежите всего, что может нарушить ровный ход вашей жизни, и к старости у вас не останется таких воспоминаний, которые заставили бы сожалеть о чем-то.

Это — мудрость задним числом, остроумие на лестнице, как говорят французы. Но в тот раз я был в таком состоянии, что мне нужна была как раз какая-то неожиданность, моя личная неожиданность, так сказать, персональное приключение. Мне мало было той переделки, в какую попала вся экспедиция, потому что наше общее приключение не облегчало моего положения, не уменьшало той ответственности за людей и корабль, которая лежала на мне, капитане, и ощущалась даже во сне. Я никогда не уклонялся от ответственности, но теперь чувствовал, что нужна передышка, какая-то интермедия — то, что в мое время называлось разрядкой. И вот поэтому я согласился (хотя это было и не по правилам) сопровождать Шувалова на планету для установления контакта, хотя за контакт я не отвечал, а за корабль отвечал. И по той же причине я перемахнул через забор и напился холодной колодезной воды во дворе, а потом отворил дверь, оказавшуюся незапертой, и шагнул вперед, в темноту.

Я сделал несколько шагов, вытянув руки, чтобы не налететь на что-нибудь; ступал я осторожно, стараясь не нарушить тишины. Все же пол скрипнул под ногами, и я замер,

но ничего не случилось. Я постоял немного, чтобы глаза привыкли к освещению — вернее, к его отсутствию, — и понял, что нахожусь в прихожей, достаточно просторной, почти лишенной мебели, только на стене висела вешалка, очень похожая на те, что были на Земле в мое время, и в углу стояла не то табуретка, не то скамеечка — я не разобрал и не стал уточнять. Прихожая была слегка вытянута, и кроме той двери, в которую я вошел, там было еще две — одна справа, другая передо мной, с торца. Я провел ладонью по стене, пытаясь нащупать выключатель, и не обнаружил его; мне не сразу пришло в голову, что в доме может просто не быть электричества, потому что все тут было таким земным, что, казалось, я сейчас войду в комнату — и увижу непременно стол и диван, и телевизор в углу, и полку с книгами, и полдюжины стульев, и коврик на стене или шкуру, и акварель Суныня или еще чью-нибудь, а в углу будет торшер, а с потолка будет свисать светильник с пластиковыми колпаками, на две или три лампочки. Одним словом, мне показалось, что я сейчас отворю дверь — ту, что с торца, потому что, если пойду вправо, то попаду на кухню, в ванную и так далее, — отворю дверь в комнату, и кто-то повернет голову, отрываясь на миг от телевизора, и скажет знакомым голосом: «Ты где пропадал так долго? Садись. Есть хочешь?»

Труднообъяснимое ощущение это было таким сильным, что мне вдруг стало смешно от того, что я крадусь тут на цыпочках, словно вернувшись домой после криминального недельного отсутствия. И я кашлянул, чтобы предупредить того, кто должен был находиться в комнате, чтобы не испугать его своим внезапным появлением. Потом я подошел к двери и отворил ее.

Отворил и вошел, и мне стало не по себе. Потому что то, что я только что представил себе в прихожей, пока глаза привыкали к темноте, на самом деле могло существовать только в моем воображении, и я это отлично знал, и был внутренне готов к тому, что на самом деле увижу нечто совершенно другое. И тем больше было мое изумление, даже не изумление, может быть, но чувство, весьма похожее на страх, когда я пригляделся и увидел, что воображение мое на этот раз словно бы смотрело сквозь стену и видело то, что находилось в этом помещении.

Потому что здесь и на самом деле был стол. И стулья. И что-то висело на стене. Телевизора, правда, не было, и никто не сидел перед ним. Но был диван. И кто-то лежал на диване и спал, и если прислушаться, можно было уловить едва заметное легкое, размеренное дыхание. Перед диваном лежал коврик, и то, что стояло на нем, до смешного

напоминало наши земные домашние туфли без задников, а размер их был таков, что можно было без колебаний сказать — на диване спит женщина; впрочем, и дыхание говорило о том же.

Я постоял, глядя на нее, укрытую одноцветным одеяльцем, — в полумраке я не мог разобрать, какого оно было цвета. Я смотрел на нее ненастойчиво, чтобы она не ощутила во сне моего взгляда и не проснулась (не хотелось будить ее, хватало уже и того, что я вломился без спроса). Под влиянием какого-то необъяснимого порыва я вместо того, чтобы, удовлетворившись результатами разведки, тихо вернуться к Шувалову и вместе с ним пораскинуть мозгами над тем, что же делать дальше, — вместо этого я подошел к окну, ступая смело, хотя и не очень шумно, раздвинул плотные занавеси — утро хлынуло в комнату — и, повернувшись к той, что спала на диване, сказал весело и ласково:

— Ну, сонюшка, пора вставать!

Я сказал это; я забыл, начисто забыл, что нахожусь на незнакомой планете незнакомой звездной системы, за много световых лет от Земли, где эти слова в подобной обстановке, может быть, и оказались бы уместными. Я забыл, что немногие вещи способны так встревожить человека, как неожиданно раздавшиеся рядом звуки чужого языка — даже при условии, что моя речь будет воспринята ею именно как язык, а не как, скажем, собачий лай; я забыл, я сказал это.

Женщина лежала лицом к стене; сейчас она потерлась щекой о подушку (представилось мне) и сонным голосом пробормотала:

— Сейчас, сейчас... еще пять минут...

— Ну... — начал было я и вдруг подавился собственными словами.

Она сказала: сейчас. И я услышал и понял это. А она, значит, за миг до того услышала и поняла меня!

Я не спал и не был пьян — успел забыть, как это бывает. И я был здоров, не бредил и не галлюцинировал.

Может быть, я попал в ловушку? Может быть, все эти дома — капканы для легковерных пришельцев из космоса, — устройства, которые в темной прихожей анализируют наши мысли, воспоминания, а в комнате показывают нам то, что мы хотели бы видеть и слышать, и тем самым усыпляют нашу бдительность, чтобы потом разделаться с нами, как это в свое время описывалось у Брэдбери и других?

Что еще можно было тут подумать?

Может быть, и можно было, но я просто не успел. Женщина глубоко вздохнула, повернулась ко мне и открыла глаза. Она увидела меня, и я увидел ее. Увидел и сказал:

— Нуш?

* * *

— Нуш! — сказал я. — Это ты?

Я мог бы и не спрашивать. Потому что совершенно ясно видел, что это была она. Если бы у нее была, допустим, сестра-близнец, я бы не спутал их, я уверен. Но здесь была она сама, и никто другой.

Она находилась еще где-то во сне и медленно возвращалась оттуда. Глаза ее смотрели на меня, но сначала не видели. И вот увидели, я понял: она тихо вскрикнула и закрылась одеялом.

— Не бойся, — сказал я. — Это ведь я. Забыла? Просто я.

— Кто ты? — боязливо спросила она.

Голос был тоже ее, Нуш, хотя, конечно, кто может поручиться за то, что память через столько лет проносит образы и звуки неискаженными? Во всяком случае, память не дала мне никаких оснований сказать, что это — не ее голос.

— Я — Уль...

— Кто ты? Откуда? — Голос ее окреп, она огляделась. — Зачем ты тут? За мной?

— Да, — сказал я. — Конечно, за тобой. Далеко же мне пришлось забраться, чтобы наконец снова найти тебя!

— Тебя послали они?

Я пожал плечами:

— Кто они, Нуш?

Она моргнула.

— Я не Нуш. Наверное, ты ищешь другую, не меня.

— Нет, — сказал я. — Других не было. А если и было что-то, не стоит вспоминать. И потом, разве я был виноват в том, что случилось? Но знаешь, давай поговорим об этом в другой раз.

Она смотрела на меня и, кажется, ничего не понимала. Она все еще полулежала, закрываясь одеялом.

— Одевайся, — сказал я. — Я отвернусь.

— Ты не мог бы выйти? — спросила она. — Я не убегу.

Я подумал.

— Нет, — ответил я потом. — А вдруг убежишь? Или опять выкинешь что-нибудь такое, как в тот раз? После таких вещей трудно остаться в живых. Очень трудно. Я не выйду. Просто отвернусь. Одевайся.

Я и вправду отвернулся и подошел к окну. Оно выходило в сторону улицы, и там, по ту сторону забора, должен был стоять Шувалов. Однако его не было. Не дождался, подумал я. Ушел бродить по городу... Я подумал об этом равнодушно, потому что сейчас это не имело ровно никакого значения.

В эти минуты мне было все равно. Совершенно не играло роли, что мы находились близ звезды, которую вот-вот должно

было разнести, как ядерный реактор, вышедший из-под контроля; пустяком было — что мой товарищ куда-то исчез, хорошо еще, если вернулся к катеру, а то взял и провалился в колодец или мало ли куда — все это не стоило больше ни копейки. Потому что рядом была она.

В мои годы уже не питаешь иллюзий ни относительно себя самого, ни насчет мужского пола вообще. Но если вам повезло, и на роду вам написана такая любовь, что всех остальных женщин для вас просто не существует, а только она, она одна — то небо может рушиться, а солнце — гаснуть или взрываться, как ему больше нравится, но пока эта женщина рядом с вами, мир для вас не погибнет. Вот такое было у меня — и что мне сейчас оставалось, как не забыть сию же минуту обо всем, что не имело прямого отношения к ней?

— Я готова, — сказала она за моей спиной.

Я обернулся.

Нет, как бы ее ни звали, это все же была она. Наряд ее, правда, показался мне несколько странным — для моего времени он был, пожалуй, чересчур смелым, а для эпохи Шувалова старомодным, но это была она — и все тут.

— Ну здравствуй! — сказал я, шагнул к ней, обнял ее и поцеловал, как можно поцеловать девушку после разлуки в какие-то там тысячи лет.

Она не отвернулась, но губы ее были холодны и неподвижны.

И только тут я наконец пришел в себя.

* * *

— Сядь, — сказал я.

Что-то промелькнуло в ее глазах, она подошла к дивану и села.

Я сделал несколько шагов по комнате — туда и сюда. Она не следила за мной, отчужденно глядела куда-то в потолок. Я маршировал перед ней, как на параде, и пытался хоть что-то понять.

Это была Нуш. Ее рост, ее фигура, ее длинные, тяжелые рыжеватые волосы, ее карие глазищи, маленький рот с чуть припухлыми губками. Чуть обозначенные скулы, нос — все было настолько ее, что тут не могло возникнуть ни малейших сомнений.

Но ни малейших сомнений не могло возникнуть и в том, что это не была, не могла быть она.

Разве что сбываются легенды о вечной жизни, и рай на самом деле находится на расстоянии нескольких тысяч лет от нашего времени, и всегда будет находиться на этой дистанции, постоянно убегая от нас?

Но мне сейчас было не до таких рассуждений.

Это не могла быть она. И во времени, и в пространстве мы с Нуш разошлись навсегда. И тут была другая система и другая планета, хотя все здесь напоминало Землю настолько, что вряд ли могло быть простым совпадением.

Я вздохнул, придвинул стул и сел.

— Ладно, — сказал я. — Давай разберемся кое в чем.

— Я ничего не знаю, — проговорила она отрешенно.

— Кое о чем ты, во всяком случае, знаешь больше, чем я.

Она лишь пожала плечами.

Я немного помолчал, систематизируя в уме вопросы, которые должен был задать ей.

— Кто вы?

Она покосилась на меня.

— А ты не знаешь?

Я покачал головой. Теперь она посмотрела внимательней и как-то странно. Вздохнула.

— Знаешь!.. Хорошо. Мы — люди от людей!

Это ничего мне не говорило.

— Я и сам вижу, что люди, а не лошади. — Не знаю, почему я вдруг подумал о лошадях, это было смешно, но я не стал смеяться. — Вас много?

— Больше, чем вы думаете.

— Мы? Ты знаешь, кто мы?

— Еще бы! — Она холодно улыбнулась. — Ты переоделся, но мы всегда узнаем вас. Меня ты нашел, но остальных не найдешь.

Я вздохнул и потер ладонями виски.

— Нуш, милая, — сказал я. — Да, черт... Как тебя зовут?

— Какая тебе разница? — нахмурилась она. — Зови меня Анной. Доволен?

— Анна, — пробормотал я, пробуя имя на вкус. Хорошее имя, но я привык к другому и не хотел от него отказываться; недаром в старину верили, что узнать имя — значит, получить власть. — Анна... Красиво, но это не для тебя. Если не возражаешь, я буду звать тебя Нуш. Это тебе идет.

Она внимательно посмотрела на меня, опустила глаза и снова подняла, и движение это было мне до боли знакомо. Она спросила:

— Ты любил такую женщину?

— Продолжаю, — ответил я кратко, потому что сейчас мне не хотелось говорить об этом: слишком много было неясностей. — Знаешь, давай сначала поговорим о непонятном.

Она подняла брови.

— Ты не торопишься увести меня.

— Куда спешить?

— А, ты ждешь, пока подойдут ваши? Боишься, что мои друзья тут неподалеку?

— Твои друзья, мои друзья... Ты ведь совершенно не знаешь, кто я, кто мы...

— Я ведь сказала тебе: знаю.

— Да нет же! Ты приняла меня за кого-то... боюсь, не очень хорошего. Давай разберемся. — Я вздохнул: уж очень я не любил разбираться в отношениях, но на сей раз, кажется, без этого было не обойтись. — Мы очень похожи; странно, до невероятности похожи.

Она взглянула на меня с недоумением; и в самом деле, весьма смело было сравнивать себя, молотого жизнью мужика около пятидесяти, с красивой девушкой, которой наверняка не было еще и двадцати пяти.

— Да нет, ты не поняла. Не ищи зеркального отражения...

— Тогда я совсем не понимаю, — сказала она. — Что может быть общего между нами и вами — людьми от Сосуда?

— Откуда?

— Ты же человек от Сосуда — иначе зачем ты преследуешь меня?

— Да вовсе я не преследовал тебя! Я наткнулся на тебя случайно, просто зашел... И что значит — человек от Сосуда?

— Ты не то говоришь, совсем не то. Перестань притворяться. — Сейчас в глазах ее горел гнев, но она и во гневе была прекрасна, как когда-то. — Откуда ты взялся, что не знаешь, кто такие — люди от Сосуда?

— Ладно, слушай, — сказал я. — Я и правда не знаю, и никто из нас не знает. Мы прилетели издалека... из другой звездной системы. — Тут я спохватился. — Ты знаешь, что такое — звездная система?

— Да, — она взглянула на потолок — невысокий, рейчатый. — Слышала еще в школе. Но... разве там, на звездах, живут люди? Такие же люди, как мы?

— И я тоже удивляюсь, — откровенно признался я. — Ты представить себе не можешь, как это странно: прилететь в такую даль — и встретить людей, не только до малейшей детали похожих на нас, но и говорящих на том же самом языке. Это не может быть случайностью; тому должна быть причина. В чем она заключается? Я хочу понять...

Она смотрела на меня, по ее лицу было видно, как вера в ней боролась с недоверием.

— Очень странно... — сказала она медленно. — Но ты и в самом деле хочешь, чтобы я тебе поверила?

— Господи, чего же еще я хочу?

— Ты и правда говоришь чуть-чуть не так, как мы... но это ничего не значит. Ну хорошо. — Было видно, что она решилась. — Хочешь, чтобы я поверила, — тогда разденься.

Я понял бы, если бы мне предложили взять в руку раскаленный уголь и держать его, сколько потребуется, чтобы доказать, что я не вру. Но что касается раздевания... Я вовсе не против того, чтобы раздеваться в присутствии женщины, но далеко не во всех случаях, и... вообще.

— Раздевайся! — нетерпеливо повторила она. — Ты же знаешь, что я хочу увидеть!

Я, наверное, выглядел в тот миг страшно глупо, потому что ничего не мог понять.

— Ну? — Она топнула ногой.

— Ладно, — сказал я хмуро.

В самом деле, есть и еще одна ситуация, когда можно раздеться в присутствии женщины. Представь себе, что ты пришел к врачу, — и ее требование покажется тебе вполне естественным.

— Ну пожалуйста, — сказал я и расстегнул комбинезон. — Ты скажешь, когда надо будет остановиться.

Раздеваться мне никогда не было неприятно: для своих лет я выглядел неплохо, а те невзгоды, что оставляют следы на нашем лице, обычно не накладывают отпечатков на тело — если, конечно, вы не прошли через войну. Я скинул комбинезон и повесил его на спинку стула. Снял рубашку. Девушка смотрела в сторону.

— Еще?

— Сними это, — она ткнула пальцем мне в грудь.

Я стянул майку и стоял перед ней, опустив руки и чуть вобрав живот. Теперь она повернулась ко мне, и мне показалось, что она сейчас вытащит откуда-нибудь фонендоскоп и начнется привычное «дышите — не дышите». Но ничего такого не произошло. Она просто посмотрела мне на живот. Сначала мельком. Потом чуть нагнулась и всмотрелась повнимательнее. Наконец послюнила палец и крепко потерла кожу около пупка.

— Щекотно, — сказал я хмуро.

Она взглянула мне в глаза.

— Правда... Неужели у тебя никогда не было этого?

— Да чего, черт побери, чего?

— Знака Сосуда. Опять ты притворяешься...

— Ладно, — сказал я сердито. — Можно одеваться?

Мне подумалось, что теперь было бы неплохо заставить раздеться и ее под каким-нибудь столь же нелепым предлогом, и я даже представлял себе, что увидел бы, — начиная с определенного возраста, мужчины неплохо отличают женщину от того, что на ней надето, — но я знал, что по отношению к Нуш никогда не позволил бы себе ничего такого.

— Ну, а что теперь сделать? Может, встать на голову? Или полетать по воздуху, извергая пламя?

Она не обратила внимания на мое раздражение. И это тоже отличало ее от Нуш, которая непременно спросила бы: «Ты обиделся?»

— Хорошо... Так о чем ты хотел спросить меня?

Я закончил одеваться, затянул замок комбинезона.

— Кто вы?

— Как это — кто мы? Ну, люди...

— Да. Это-то и удивительно. Откуда вы здесь взялись?

— Это я должна спросить тебя. Потому что мы живем здесь с самого начала.

— А когда было это начало? Ну, учила же ты в школе историю!

Она кивнула.

— Да, но только в школе учат, что мы произошли от Сосуда. А мы думаем, что — от людей. Что в самом начале были люди.

— А что такое — Сосуд?

— Странно все же, что ты не знаешь. Он находится в столице. Вообще-то это такой большой дом. Оттуда произошли и самые первые люди, и все мы. Так учат в школе. Мы развивались и достигли Уровня. Теперь у нас Уровень.

— Уровень чего?

— Ну, то, как мы живем, называется — Уровень.

— И каков он, этот Уровень? Как вы живете?

— Хорошо, — сказала она. — Нам хорошо.

Я усмехнулся.

— Хорошо — а ты боишься, как бы тебя не схватили...

— Ну, — сказала она, — это другое. Не Уровень. Хотя, может быть, и как-то связано с ним. Понимаешь, мы — такие, как я — не верим, что мы произошли от Сосуда. Потому что в таком случае — откуда взялся сам Сосуд?

— Сложная философская проблема, — заметил я.

— Я не знаю, почему нельзя думать, что и до Сосуда были люди. В школе объясняли: думать так не следует потому, что тогда возникнет вопрос, откуда произошли те люди, что были до Сосуда, и так далее — и возникнет так называемый порочный круг.

— А почему ты думаешь, что такие люди были?

— Не знаю... Может быть потому, что так думали мои родители?

— Сосуд, ты говоришь... — Я вдруг подумал, что сосудом этим мог быть и космический корабль — вполне мог бы... — Как он выглядит?

— Я уже говорила: большой дом...

— А внутри? — Здание могло быть и просто павильоном, воздвигнутым вокруг корабля — или того, что от него осталось. — Внутри ты была?

— Что ты, конечно, нет. Туда никого не пускают.

— Значит, это не музей?

— Нет. Музеи у нас есть — там всякие предметы, какими мы пользовались до того, как достигли Уровня. Сосуд — вовсе не музей.

— Может быть, что-то вроде храма?

— Храм — что такое?

— Вы верите в бога?

— В бога?

— Ну, молитесь, просите о чем-то... обращаетесь к небу...

— К небу? Да. Но мы не просим, мы хотим. Чтобы солнце всегда светило.

— Значит, вы верите в Солнце?

— Оно же есть — зачем в него верить? Мы верим в то, что мы — от людей. Они, другие, верят в Сосуд. И в Уровень.

— Но Уровень ведь тоже есть — зачем в него верить?

— Мы живем хорошо, я тебе сказала. И они говорят, что если мы захотим как-то изменить Уровень, станет хуже. И всегда заботятся о том, чтобы не изменить Уровня, не изменить чего-нибудь. Чтобы все было, как вчера.

— А ты?

— Я... Среди нас есть такие, кто говорит, что это неверно. Что нужно развитие.

— А что говорят те... ну, кто у вас главные?

— Хранители Уровня?

— Да-да, они.

— Они говорят, что развитие должно быть. Но не такое. Не изменение Уровня. Они говорят, что развитие должно быть в наших отношениях. Мы должны больше любить друг друга и всех-всех. И еще развиваться физически. Участвовать в играх, ну и все прочее.

— А форма собственности у вас какая?

— Я не понимаю.

— Ну, кому принадлежит то, чем вы работаете и на чем работаете, кому принадлежит земля и то, что на ней растет...

— Ты знаешь, я не думала. Как-то не приходилось. А что?

«Милая Нуш или Анна, — подумал я, — по этой части у тебя слабо, ничего не поделаешь. Но очень здорово, что я наткнулся на тебя, а не на какого-нибудь местного академика».

— Значит, вот какие у вас дела. Скажи, а что делают с вами, когда ловят?

— Учат. Внушают нам, что мы произошли от Сосуда.

— А с теми, кто говорит о развитии?

— С теми? — Она задумалась. — Право, не знаю. Говорят, их переселяют куда-то в другое место. Туда, где роют ямы и строят башни. Это далеко на юге, где ничего не растет.

— Ага, — проговорил я. — Башни... Так. А кто живет в этом городе?

— Ты же видишь: никто.

— А ты?

— О, я не живу здесь. Только переночевала.

— Почему? — Я вдруг почувствовал, как давно забытое, казалось бы, чувство ревности поднимается в груди, подступает к горлу. — У тебя здесь свидание?

Она отвернулась и стала глядеть в окно.

— Опять ты...

Что за дьявол: я снова забыл, что она — не Нуш!

— Прости... Глупо, конечно. Прости. Но все-таки почему ты вдруг оказалась тут?

— Тебе не надо знать, — сухо ответила она, не поворачиваясь.

— Ну и ладно. А почему здесь не живут?

— Раньше жили. Но оказалось, что он слишком близко... к месту, где есть что-то...

— Ну, пожалуйста, говори так, чтобы я мог понять.

— Да не могу я иначе! Там находится что-то... Туда нельзя ходить. Только с разрешения Хранителей Уровня...

— Святой Уровень! Что же там находилось такое?

— Не знаю, пойми. Не знаю. Здесь, в городе, жили люди, как все живут. Но однажды кто-то из них наткнулся в лесу на... это. Хранители встревожились: говорят, могла случиться какая-то беда. Того человека отправили строить башни, всех других переселили, и сам город собираются разрушить. Поэтому сюда нельзя ходить.

— Но ты все-таки пришла. Решила пробраться туда и посмотреть, что же там находится. Я прав?

Анна молчала.

— И, наверное, даже не одна?

Она тихо спросила:

— Хочешь, чтобы я тебе верила?

Голос был необычен, и вопрос так напомнил мне то, давнее...

— Хочу, — сказал я очень искренне. Я хотел. Я ведь любил ее, не задумываясь о том, кого же в конце концов люблю сейчас: Нуш прошлого или нынешнюю Анну.

— Тогда не спрашивай.

— Не буду. Но меня очень заинтересовал твой рассказ. Ты знаешь, где находится то место?

— Нет. Надо найти тропинку, одну из ведущих к лесу...

— А далеко идти? — Мне не улыбалось бродить по здешним чащам.

— Я слышала — если выйти утром, к обеду можно добраться.

— Солдатская норма — тридцать километров... Нет, это я сам с собой... Как ты думаешь, там можно увидеть что-нибудь сверху?

— Наверное, там должно быть что-то очень большое — иначе его просто увезли бы и не стали разрушать город.

— Ты прав. Конечно, очень большое, — согласился я, представив наш корабль, лежавший на орбите, невидимый отсюда. — Значит, сверху можно что-то разглядеть.

— Мы пробовали смотреть отсюда с самого высокого дерева. Но, наверное, слишком далеко.

— Я не имел в виду дерево. Ладно, пока достаточно. Пойдем?

Но она не решалась.

— Ты что — боишься?

Она чуть покраснела.

— Нет... Но мне надо еще побыть здесь.

— Понимаю. Но очень важно, чтобы ты пошла со мной. Важно для вас всех. А твоих друзей мы обязательно разыщем потом.

Контакт, думал я. Тот самый контакт, о котором рассуждал Шувалов. А для меня — такой, о каком и мечтать нельзя. Даже если бы не было нужды в контакте, я все равно никуда не отпустил бы ее, чтобы не потерять совсем. Но любая другая девушка и не поехала бы со мной, а она посмотрела мне в глаза и все поняла. Во всяком случае, я поверил, что она поняла. Очень хотелось надеяться, потому что, попытайся я выразить все словами, она не стала бы слушать. Слова должны созреть, они подобны растениям, а взгляд происходит мгновенно, как молния, и, как молнии, ему веришь сразу.

— Хорошо, — сказала она. — Я пойду с тобой. — Она подхватила свою сумку, довольно объемистую, которой я и не замечал раньше.

— Дай, я...

Она отдала сумку.

Было просто невозможно не поцеловать ее, как я всегда делал на прощанье, хотя сейчас мы не прощались. Но она так удивленно взглянула на меня, что я понял: то время прошло, а другое еще не настало.

Мы вышли в прихожую. Теперь и я ощутил тот прохладный, мертвый запах, что наполняет нежилые, покинутые дома. Дверь затворилась за нами. Анна уверенно направилась к калитке — она оказалась совсем с другой стороны. Мы вышли.

Чтобы попасть на то место, где я перелез через забор, пришлось искать переулок. Шувалова там не было. Я крикнул:

— Шувалов! Где вы?

Анна схватила меня за руку:

— Нельзя так громко!

— Нет же никого.

— Откуда ты знаешь?

Я пожал плечами. Шувалов исчез, не подав никакого знака, не оставив следа. Искать его? Хотя городок и невелик, но одного человека, особенно если он не стоит на месте, можно было проискать целый день — и не найти. У этих современных ученых что-то в голове было не в порядке, они не понимали, что такое опасность... Но я все же надеялся, что он вернулся к катеру и ждет меня там.

— Ты был не один? — спросила Анна.

— Вдвоем.

— Может быть, его увидели...

— Кто?

— Я же говорила: здесь нельзя быть.

Шувалов, конечно, не туземец, и все же тут я начал тревожиться.

— Пойдем, — сказал я решительно.

И мы направились туда, где в высокой траве отдыхал мой катер. Анна шла рядом; я покосился на нее, вдохнул душистый воздух и порадовался, что дожил до этого дня.

Шувалова у катера не было, только какие-то козявки грелись на матовой голубоватой обшивке.

— Плохо дело, — откровенно сказал я. — Слушай, а если его действительно кто-то увидел, что с ним могло случиться?

Она задумалась.

— Увезли, наверное...

— Куда?

— Надо поговорить с ребятами — может быть, они что-то видели, знают...

Наверное, ничего другого не оставалось. Я откинул купол и жестом показал девушке: милости прошу. Она задержалась лишь на миг, потом храбро перешагнула через невысокий бортик и села — на мое место. Я сказал: «Нет, вон туда», и она послушно пересела. Тогда сел я, защелкнул купол, и сразу стало прохладно: я не выключал кондиционера, день обещал быть жарким. Я посмотрел на Анну и улыбнулся, и она улыбнулась тоже; думаю, трусила она основательно, но старалась не показать этого — молодец.

Я включил рацию и вызвал корабль. Кроме шума и треска, я ничего не услышал. Помехи были такими, словно неподалеку работала мощная силовая установка, — а ведь ее здесь быть не могло. Я попробовал резервную частоту — с тем же результатом. Это мне очень не понравилось, но медлить было нельзя.

— Ну, — сказал я, — тронулись?

Она моргнула; видно было, что вопрос так и вертелся у нее на языке, но она удержалась и не задала его. Я счел это благим признаком; если бы я для нее абсолютно ничего не

значил, она спросила бы — когда женщина любопытствует, мало что может заставить ее промолчать. Но она боялась показаться дурочкой — и можно было надеяться, что мое мнение для нее что-то значит; для начала очень не плохо.

Я включил стартер, и гравифаг затянул свою унылую песенку.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Судья Восьмого Округа медленно разбирал донесение:

«Мы, назначенные вывозить имущество из города, где не должно быть никого, встретили там человека, которого не знаем. Он шел по улице и кричал, потом остановился и бормотал что-то.

Он одет не так, как мы, и говорит не совсем так, но понять его можно, и он понимает нас.

Мы спросили, зачем он здесь. Он отвечал, что должен обязательно увидеть самых главных владетелей. Он сказал, что нам грозит очень большая беда, и он научит нас, как от нее спастись. Мы спросили, какая беда. Он ответил, что она придет от солнца. Мы успокоили его, сказав, что смотрим на солнце, и спросили, откуда он. Он сказал, что прилетел с неба. Мы поговорили с ним еще. Оказалось, что он не знает многих простейших вещей, какие известны и детям, покидающим Сосуд. Было бы слишком долго перечислять все, чего он не знает.

Мы думаем, что он не злоумышленник, а просто сошел с ума. И решили не оставлять его в городе, где не должно быть никого, а привезти к тебе, чтобы ты отправил его лечиться. Он не сопротивлялся, потому что мы сказали, что ты имеешь власть.

Это донесение мы отправляем тебе на самой быстрой лошади, а человека везем на телеге, потому что он или совсем не умел ездить верхом, или разучился, когда заболел. Так что ты успеешь много раз прочесть написанное нами, прежде чем он прибудет к тебе.

Будь здоров, и да не оставит тебя Красота.

Старшина возчиков Восьмого округа Тедор Грек».

* * *

Его повели по улице не грубо, но настойчиво. В переулке стояла запряженная четверней повозка с высокими, в рост человека, бортами, но без крыши; задний борт был откинут и опирался о землю. Шувалову помогли подняться. Вдоль бортов были прилажены неширокие деревянные скамейки. Задний

борт закрыли, и повозка тронулась. На ухабах ее трясло, и Шувалов болезненно морщился. Трое или четверо верховых ехали сзади, и время от времени один или другой из них, приблизившись, заглядывал поверх борта и бросал несколько успокоительных слов:

— Не бойся, все будет хорошо.

— Скоро ты сможешь все рассказать!

— Долго нам ехать? — спросил Шувалов.

— Пока не приедем.

Дороги Шувалов не видел. Сверху было синее безоблачное небо, иногда в повозку падала тень — когда над дорогой нависал длинный сук дерева. Видимо, дорога была обсажена деревьями, потому что, как помнил Шувалов, вокруг была степь и лишь на горизонте они с Ульдемиром видели узкую полоску леса. Колеса поскрипывали, изредка слышались короткие выкрики, обращенные, вернее всего, к лошадям, да ударялся снаружи в повозку отброшенный копытом камешек. Если бы не тряска, можно было бы обстоятельно поговорить, но сейчас велика была опасность прикусить язык. Тем не менее, упустить такую прекрасную возможность получить информацию было бы непростительно.

Шувалов выждал, пока один из всадников не приблизился снова.

— Друг мой! Скажите, пожалуйста...

Верховой неожиданно рассмеялся — весело, но не обидно.

— Ты очень насмешил меня, — проговорил он наконец. — Обратился ко мне так, как будто меня — много. Где ты научился так говорить?

— Я всю жизнь говорю так. Но оставим это, я хочу тебя спросить вот о чем: вас тут много?

— Ты не умеешь считать до пяти?

Остальные всадники тоже приблизились, теперь двое ехали по бокам телеги, двое — сзади, где тоже было все слышно.

— Ты наверняка умел, — сказал ехавший слева. — Ничего, тебя вылечат, ты вспомнишь.

— Я спросил вот о чем: много ли людей живет в вашей стране?

Первый всадник задумался, равномерно поднимаясь и опускаясь в такт шагу лошади.

— Знаешь, я никогда об этом не думал. Мое дело — грузить и возить, и каждый день ранним утром я узнаю, что и где я должен взять и куда отвезти: иногда хлеб или мясо, иногда вещи, сделанные мастерами, сегодня вот должен был вывозить домашнюю утварь из пустого города, а вместо нее вот везем тебя, но сразу же вернемся туда. Да, вот это я знаю, а сколько людей — не смогу сказать тебе. Видишь ли, мир

велик: есть Уровень, есть Лес, а есть и Горячие пески, где строят башни. И везде живут люди.

— Но сколько живет в вашем городе, ты знаешь?

— О, наш город большой, окружной, у нас есть суд. Сколько людей? Ну вот, когда я развожу мясо, я беру телегу в полтора раза больше этой и объезжаю город один раз, и никто больше в тот день мяса не возит.

— Так, так; сколько же мяса съедает в день каждый из вас?

— Столько же, сколько и ты, я думаю.

— Я? Откровенно говоря, я сторонник растительной пищи... А что вы едите кроме мяса?

— Что и все: хлеб, овощи. Иногда рыбу...

— Очень интересно. А что возишь ты, когда едешь к мастерам?

— Иногда плуги и бороны, иной раз столы и стулья, а то забираю у ткачей полотно и везу швеям. Но кто может перечислить все? Легче пересчитать лепестки на кусте сирени — весной, когда ее запах струится в крови...

— О! Как ты говоришь!..

— Тебе кажется смешным, когда говорят так? Разве там, где живешь ты, не любят красоты?

— В чем же по-твоему красота, друг мой?

— Боюсь, ты и вправду болен. Красота во всем. Встань и выгляни через борт: разве деревья не красивы, и степь, что за ними, и изгиб дороги, и лошади, которым легко тащить телегу? И небо, и шелест ветра...

— Да, это очень красиво. А солнце — тоже?

— Мы смотрим на него каждый день. Как и вы все: не говори, что вы не смотрите на него. Мы смотрим и молчим, не отвлекаемся — смотрим и думаем... Но ты смеешься надо мной, заставляя рассказывать то, что знают все!

И всадник, нахмурившись, отстал.

Люди, думал Шувалов. Такие же, как мы. И язык. Великое везение. Или совпадение?.. Уровень этой поэтической цивилизации явно невысок: цивилизация познается прежде всего по ее дорогам... Нет, безусловно, не совпадение, а закономерность: на таком в общем-то небольшом удалении от Земли вряд ли могла возникнуть принципиально иная жизнь — Вселенная не так богата разумом... Что это: жизнь, имеющая с нами общий источник, или это — наша ветвь? Можно было бы сомневаться, если бы не язык — это наш язык, и можно даже определить эпоху: общий язык на Земле возник далеко не сразу. Эпоха тех, самых первых звездных экспедиций. Потомки и родственники землян. Значит, мы должны спасти не кого-нибудь, а своих братьев, даже не двоюродных — родных. Но уже много столетий минуло с тех пор, как их предки покинули Землю, и трудно сказать, какова суть этой маленькой цивили-

зации. Первое впечатление — благоприятное. И все же он остерегся сказать им, что в городе остался Ульдемир. Что-то остановило. Что: интуиция? Еще что-то? Может быть, капитану следовало бы находиться здесь, рядом? Хотя — зачем? С контактом он, Шувалов, справится. Плохо только, что нет возможности связаться с кораблем. И никто не будет знать, где искать его.

Впрочем, беда невелика. Как только он договорится с правителями, он объяснит им, как найти остальных: кто-нибудь из экипажа, надо полагать, будет постоянно дежурить на месте сегодняшней высадки. Хорошо, если бы они этим и ограничились...

Ну и колдобины!.. Да, приятные люди, но наивные. «Мы глядим на солнце». Глядеть, друзья мои, можно сколько угодно, от этого никому легче не станет. Тут нужны куда более действенные средства. Стихийная наивность. Зато они красивы. Так же, как и мы. Одеваются странно, но приятно для глаз. Интересно, это здешняя мода, или унаследована от эпохи, когда улетели их предки? Ах, как пригодился бы тут историк!..

Повозка поскрипывала, глухо стучали копыта лошадей.

* * *

С раннего утра Аверов с головой ушел в работу: звезда была здесь, рукой подать, и можно было более тщательно разобраться в тех процессах, что в ней происходили, и понять, каким же временем экспедиция располагает. Модель давала немалый разброс: взрыв мог произойти и через год, и через десять, считая от нынешнего дня. И прошло немало времени, пока он не спохватился, что ничего не ел, не получал никакой информации и совершенно не знает, что происходит на свете.

Он ввел в компьютер программу, убедился, что она принята, и направился вниз — в Центральный пост.

Он нашел там Уве-Йоргена. Пилот курил, глядя на экран, на котором неторопливо поворачивалась планета.

— Здравствуйте, Уве-Йорген. Простите, не помню, виделись ли мы сегодня.

— О, да. Перед выходом группы.

— Они еще не вернулись?

— Еще и не время.

— Никаких сообщений?

— Никаких, доктор. Наверное, просто не обнаружили ничего интересного. Не беспокойтесь, вернутся в срок. Капитан, судя по его словам, в свое время был на военной службе. Значит, у него есть подлинное представление о том, что такое дисциплина и точность.

— Вы так чтите дисциплину? А мне казалось, что рыцари... Да, я давно собираюсь спросить: вы действительно участвовали в крестовых походах?

Уве-Йорген затянулся, выпустил дым в направлении экрана, так что планета на нем как бы окуталась облаками.

— Да, в одном таком походе я участвовал. Правда, не знаю, поступил бы так же сейчас — но прошлого не вернуть. Прямо оттуда я и попал к вам, что означает, что в конце концов мне не повезло... Но это скучная тема, доктор. Что нового у вас?

— Ну, знаете, конкретно пока сказать затрудняюсь, более или менее точные цифры будут чуть позже. Но по первым впечатлениям — неутешительно: вряд ли нам удастся выступить в роли спасителей. Хорошо, если нашей делегации удастся быстро убедить население, которое там, по-видимому, действительно есть...

— Вот в этом вы можете не сомневаться, — вставил Уве-Йорген.

— Предположим, людей там совсем немного — пусть хотя бы сто тысяч человек...

— Думаю, их больше.

—...Попробуем рассчитать все применительно к этой величине, коррективы можно будет внести потом. Возможности корабля вы знаете лучше меня. Сколько человек мы смогли бы вывезти в один прием?

— Ну, подсчитать нетрудно. Если предоставить каждому человеку объем в два кубометра — считая с проходами и прочим дополнительным пространством...

— Два кубометра? Так мало? — Аверов озадаченно покачал головой, высоко подняв брови.

Уве-Йорген прищурился.

— Поверьте, доктор, люди, не избалованные комфортом, могут довольно долго существовать и в таком объеме. И остаться в живых. Тем более, что тут их будут кормить, снабжать нормальным воздухом, температура будет оптимальной и так далее; и им не придется ни дробить камень, ни валить лес... Ну, подвижность будет в какой-то степени ограничена — но ведь это ненадолго...

— Сколько же времени может занять такой рейс в один конец? Мы летели...

— В общем, мы не торопились. Но при таких пилотах, как мы с Питеком, — два месяца. Вполне прилично. Но вернемся к количеству людей. Предположим, что мы выкинем из корабля все, без чего можно лететь, оборудуем в каждой палубе трех- или даже четырехъярусные... м-м... назовем их ячейки, допустим, — тогда за один рейс мы заберем примерно шесть тысяч человек. Если их всего сто тысяч, значит — семнадцать рейсов. Два месяца туда, какое-то время там — для проверки

и обслуживания корабля, два месяца обратно — то есть менее трех рейсов в год. Вся операция займет шесть лет.

Оба помолчали.

— Но, может быть, — проговорил затем Рыцарь, — на Земле можно наладить строительство других кораблей...

Аверов покачал головой.

— На это уйдут годы. Никто не собирался... Вы знаете, что и наш корабль возник только из-за чрезвычайной надобности, из-за смертельной угрозы... Нет, разумеется, что-то построить можно — но второй корабль мог бы вступить в строй лишь тогда, когда мы так или иначе заканчивали бы...

— А другие планеты?

— Там тоже лишь обычные внутрисистемные корабли — ничего общего с тем, что нам нужно.

— Значит, — подвел итоги Уве-Йорген, — рассчитывать в любом случае мы можем только на самих себя. Если только у нас есть эти шесть лет, то ничего страшного — поднатужимся и сделаем. А вот если такого времени у нас не будет...

Аверов ответил не сразу:

— Это мы узнаем очень скоро.

* * *

— Вот он, судья. Мы доставили его, как полагается.

— Вы поступили хорошо. Скажи, искал ли он дорогу к запретному месту?

— Этого мы не видели. Но он был в городе, где никого не должно быть.

Шувалов огляделся. Комната была небольшой, на возвышении стоял стол, за ним сидел пожилой человек в одежде того же покроя, какая была на остальных, — короткие штаны, просторная рубашка, надевающаяся через голову. Сесть было не на что.

Судья оглядел его, не скрывая любопытства.

— Ты странно одет, — сказал он Шувалову; голос звучал доброжелательно. — Где так одеваются?

— М-м... там, откуда я прилетел.

Судья засмеялся.

— Летают птицы, — сказал он. — Ты приехал или пришел. Вряд ли ты пришел издалека: слишком мало на тебе пыли. Значит, ты приехал. Повозки твоей не нашли, верхом ты не ездишь. Кто-то привез тебя. Теперь ответь, пожалуйста: кто привез тебя в город, где никого не должно быть? Зачем привез? Откуда? Почему ты говоришь не так, как все? Так — и все же не так. Зачем тебе нужны Хранители Уровня?

— Я не знаю, кто это такие.

— Ты ведь хочешь говорить с теми, у кого власть. Это и есть Хранители Уровня. Они живут в столице. Разве ты не знаешь? Трудно поверить. Я хотел бы услышать твои ответы на мои вопросы прежде, чем решу: отправить ли тебя к Хранителям или поступить как-нибудь иначе. Поэтому чем скорее ты ответишь, тем будет лучше для нас обоих. Ты заметил, что здесь даже не на что присесть? Потому что тут никто не задерживается надолго: отвечает — и все.

— Мне нужны Хранители Уровня, — сказал Шувалов. — Дело мое чрезвычайно важно. Оно не терпит отлагательств. Его можно решить только там, где сосредоточена вся власть. И поэтому я очень прошу как можно быстрее доставить меня в столицу.

— Ты здоров?

— Совершенно. Я, правда, немного устал.

— Ты все же не отвечаешь на мои вопросы. Хорошо, будем разговаривать дальше. Тебя задержали в городе, где никого не должно быть. Ты что, не знал о запрете?

— К сожалению, нет. Дело в том, что...

— Очень странно, понимаешь ли. Все знали, а ты не знал. А не знать было мудрено: об этом объявлялось трижды, громко и повсеместно. Где же ты был, что не слышал?

— В таком случае, судья, разрешите, я буду рассказывать все по порядку.

— Я ведь ничего другого и не хочу. Кстати, как твое имя?

— Вас интересует фамилия? Шувалов.

— Я запишу. Значит, Шувалов. Ну, рассказывай, Шувалов.

— Я должен сказать, сколь невероятным вам ни покажется, что я — и несколько других — прибыли к вам из совершенно другой звездной системы. Оттуда, откуда прибыли ваши далекие предки...

— Остановись! — перебил его судья, предостерегающе подняв руку. — Остановись, потому что в твоих словах — преступление, и если ты станешь продолжать, мне придется наказать тебя. Ты мог не знать, что в тот город нельзя заходить, ну пусть, я могу в конце концов поверить тебе: я доверчив по природе. — Судья усмехнулся, и люди, что привезли Шувалова и теперь с интересом слушали, засмеялись негромко и добродушно. — Но никто, слышишь, — никто не поверит, что ты, прожив немало лет — а ты никак не моложе меня, — не знаешь, что учение о прилетевших откуда-то предках является ложным и запрещенным, и что каждый, распространяющий его, должен быть наказан. Не продолжай — и я обещаю забыть, что ты произнес запретные слова.

— Но если в словах заключена истина...

— В них нет истины, Шувалов. Так, как ты, могут думать лишь лесные люди — те, кто не признает Уровня. Скажи уж откровенно: ты принадлежишь к ним, не так ли?

— Судья, — сказал Шувалов, нервничая все больше, — я не знаю, кто такие лесные люди, что они думают и чем занимаются. У нас нет ни малейшей информации о ваших внутренних делах, но та опасность, о которой я должен вас предупредить, касается и их, и вас, вообще всех, кто живет на вашей планете.

— Ты ничего не знаешь о них? Не очень-то верится. Но пусть будет по-твоему: ложь проявится. Что же за опасность грозит нам? Может быть, где-то началась повальная болезнь, и ты поспешил, чтобы мы успели принять меры? Скажи, и мы сделаем все возможное, чтобы уберечь людей от заразы. Но где могла появиться такая болезнь, если опять-таки не в лесу, в том лесу, куда никто не имеет права заходить? Ну, говори: ты принес весть о болезни?

— Хуже, судья. Намного хуже...

— Что может быть хуже? Впрочем, облик твой говорит, что ты никогда не болел и, значит, не представляешь, что это такое. Ну хорошо, попробую еще раз помочь тебе. Если не болезнь, то, может быть, где-то расплодились хищники и начали кидаться на людей? Весьма серьезная опасность для окраинных поселков, и ты прав, сообщая о ней. Так?

— Судья, послушайте: то, что надо сообщить, знаю я, а говорите пока больше всего вы. Можно ли таким способом найти истину?

— Ты учишь меня, как вести суд? Не надо, Шувалов, это я давно знаю. Хорошо, расскажи же, наконец, в чем заключается твое знание.

— Опасность, судья, куда больше, чем все, что ты можешь себе представить. Солнце...

— Ах, солнце! — прервал его судья с глубокомысленно-ироническим выражением. — Да, конечно, солнце, как же я об этом не подумал! Что же грозит ему? Его проглотит дракон? Украдут лесные люди? А может быть, ты просто вычислил, что предстоит засушливое лето? Но Хранители Уровня знают все лучше тебя, поверь мне!

— Верь или не верь, но солнце скоро взорвется, судья, и нигде не останется ничего живого!

Возчики снова засмеялись, на этот раз громче и веселее. Судья посмеялся тоже.

— Ах, такова, значит, опасность, о которой ты спешишь сообщить! Да, действительно, страшная опасность! Можно подумать, что ты никогда не смотрел на солнце... Нет, по моему суждению, ты все-таки нездоров. У тебя отшибло память, и ты

не понимаешь самых простых вещей. Но не унывай, тебя излечат...

— Судья! — крикнул Шувалов. — Почему вы мне не верите? Посмотрите внимательно: разве я такой, как вы? Разве я так же одет? Кроме того... взгляните на это, например. — Он достал из кармана компиблок, включил; из плоской коробочки раздался голос, он пел песню: иногда Шувалов работал под музыку. Все молчали, пока он не выключил блок.

— Покажи-ка мне, — сказал судья.

Он внимательно осмотрел блок, включил — голос зазвучал снова — и тут же выключил. Положил на стол.

— Нет, лучше бы тебе ничего не показывать, — сказал он невесело. — Не знаю, что ты хотел доказать, но на деле добился лишь одного. Вот, — он указал пальцем на блок, — доказательство самого опасного преступления!

— Не понимаю, — пожал плечами Шувалов. — Что, у вас, друг мой, не разрешается петь?

— У нас поют все, пой и ты, если тебе весело. Но не говори, что тебе незнаком закон сохранения Уровня, — ты учил его еще в школе! И знаешь, что совершать или изготовлять что-то, нарушающее Уровень, — одно из самых тяжелых преступлений, а может быть, и самое тяжелое. И тут уж ничего не надо доказывать: вот он, факт, лежит на столе! Да и твой наряд тоже говорит о нарушении Уровня. Так что...

— Но сколько же можно втолковывать, что я не знаю ничего подобного! Я не здешний, я с другой планеты, с другой звезды!

— Ладно, ладно, — миролюбиво сказал судья. — Может быть, ты прав: лучше оказаться сумасшедшим, чем нести ответственность по закону о нарушении Уровня. Хотя, раз ты ничего не знаешь, то для тебя, пожалуй, окажется новостью и то, что уличенных в нарушении этого закона посылают далеко на юг, в Горячие пески, где не растет ничего, и там они строят башни — а это тяжелый труд. Вот что грозит тебе, и, конечно, пусть лучше тебя осмотрят врачи и решат, действительно ли ты тронулся умом или притворяешься. А твою вещь, — он снова указал на блок, — да и наряд тоже, я отправлю в комиссию по нарушению Уровня, и пусть она решает, насколько это нарушение было серьезным. Возьмите его, ребята, и отведите, пусть его переоденут в то, что носят все люди, а его одежду принесут мне сюда. До свидания, Шувалов, мы еще увидимся.

Шувалова вывели во двор. Распряженные лошади стояли в стороне, каждой бросили по охапке сена.

— Ничего, — сказал один из возчиков, — доктора тут хорошие.

Шувалов не ответил. Он вообще перестал, кажется, обращать внимание на то, что происходило вокруг него. Первая попытка контакта не принесла успеха... Вспышка Сверхновой вдруг представилась ему во всем ее величественном ужасе, и по сравнению с ней все остальное было мелочью, не заслуживавшей ровно никакого внимания.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Мы взлетели, и я спросил:

— Где же искать твоих ребят?

Она немного поразмыслила.

— Вообще-то я не знаю... — Кажется, Анна еще не решалась довериться мне до конца, и нельзя было сердиться на нее за это. — Я думаю, нам надо искать то место. А они обязательно придут туда.

— Ты так уверена?

— Да, они непременно найдут.

Я кружил над местом, откуда мы взлетели.

— Ориентируешься? — спросил я. — Вот город. Там лес.

— Туда, — кивнула она в сторону леса.

Я пошел не по прямой, а зигзагом. Автопилот держал высоту, и я разглядывал лес со своей стороны, а она — с правого борта. Мы пролетели километров тридцать, когда Анна покачала головой; я понял, что мы забрались слишком далеко, развернулся и пошел назад, и тут сделал то, что следовало, конечно, сделать сразу: включил анализатор и поставил его на металл. Мы пролетели примерно половину обратного пути, когда приборчик пискнул и экран его ожил. Я стал поворачивать, и Анна зажмурилась: я заметил, что пока мы летели по прямой, девушка была спокойна, но как только я входил в вираж, она закрывала глаза: ей, видно, не нравилось, что поверхность внизу становилась на ребро.

Если бы не анализатор, мы не нашли бы этого места и за неделю. Меня подвела логика. Я представлял себе, что мы ищем, и невольно шарил глазами в поисках если не поляны, то хотя бы основательного вывала леса. Я забыл, что с тех пор прошли густые сотни лет, и деревья успели родиться и вырасти до немалых размеров. Так или иначе, анализатор показал максимум там, где деревья стояли, пожалуй, еще гуще, чем в других местах. Я снизился и еще раз прошел над этим местом, едва не ломая верхушки, и тут Анна не выдержала и сама схватила меня за руку:

— Не надо так... Мне страшно.

Я мысленно снова похвалил ее — на сей раз за откровенность. Если хочешь похвалить человека, повод всегда найдет-

ся — как, впрочем, и тогда, когда хочешь его выругать. Анализатор опять показал максимум в том же самом месте, и я понял, что надо садиться.

Понять, правда, было легче, чем выполнить. Протиснуть машину между деревьями, не повредив ее, было непросто — а может быть, и вообще невозможно. Я покружил над этим местом еще и все-таки решил не рисковать. Уве-Йорген, возможно, сел бы прямо здесь, и сел бы благополучно; просто удивительно, какое чувство машины и какая быстрота реакции были у него; я же немного увеличил радиус круга и, сделав еще два витка, нашел наконец местечко, на котором можно было приземлиться без особого риска.

Мы сели; я помедлил немного, озираясь сквозь поляроид купола. Кругом стояли деревья, вроде наших родных сосен, только иглы были подлиннее, росли пучками, изгибаясь под собственной тяжестью, и не только на ветках, но и на стволе, начиная метров с трех, ниже стволы были просто покрыты корой, совсем такой, как у наших сосен. Лес выразительно пахнул; о нем не скажешь, что он благоухал, лес — не какая-нибудь клумба, он пахнул всерьез, глубоко и убедительно. Я постоял несколько секунд, глубоко дыша носом — в несколько приемов, как это в свое время рекомендовали йоги, а потом — медики. Анна тоже вылезла и остановилась подле меня. Лес как-то сразу пришелся ей впору, без всякой примерки; она выглядела в нем так же хорошо, как в комнате или возле катера, на фоне высокой травы, когда ее можно было снимать для рекламы наших катеров — если бы такая реклама требовалась. Я смотрел на Анну, и на миг мне захотелось, чтобы не было ни катера, ни тех обломков, которые нам вскоре предстояло увидеть, ни планеты, ни чокнутой звезды Даль, а был рюкзачок, свернутая палатка на двоих, пара надувных матрацев и совсем немного всякой походной мелочи, и чтобы происходило это на Земле, где-нибудь в тех краях, где сосны растут на самом берегу моря. И чтобы мы с ней стояли вот так, перед тем как разбить здесь лагерь, наш первый лагерь, но не последний, ни в коем случае не последний.

— Анна, — сказал я ей. — Хорошо, правда?

Она кивнула.

Но мы были не на Земле, а на чем-то вроде пороховой бочки, и не время было настраиваться на лирику. Мы поняли это одновременно; вернее, я понял, а она почувствовала. Она отвела глаза, а я вздохнул, подошел к катеру, посмотрел на экран анализатора, засек направление, выключил прибор и защелкнул купол.

Идти надо было метров сто, сто двадцать. Мы тронулись, петляя между стволами. Я шел и думал: нос все-таки должен был бы возвышаться над деревьями — или все так глубоко

ушло в грунт? О чем думала Анна, не знаю. Она шла серьезная и чуть грустная; мне захотелось, чтобы она улыбнулась, и я пробормотал внезапно пришедшую на ум песенку:

Три мудреца в одном тазу
Пустились по морю в грозу...

Она посмотрела на меня и нерешительно улыбнулась, и тут же едва не упала, споткнувшись о вылезший на божий свет корень. Я поддержал ее и отпустил не сразу, но она снова взглянула — так, что я понял: никаких шуток не будет, дело серьезное; да я и не хотел шуток. Я стал думать о другом: в тазу на этот раз было не три, а целых восемь мудрецов, все как на подбор, мастера на все руки, на все ноги, на все головы. Но какое это имеет значение? «Будь попрочнее старый таз, длиннее был бы мой рассказ» — так пелось дальше в песенке; а что ожидало нас? Вдруг задним числом я разозлился, в общем, проблема выглядела элементарной: объяснить людям, что дела плохи, что надо драпать отсюда так, чтобы пятки сверкали, — и прикинуть, как им помочь. А на практике — Шувалов исчез, а без него мы можем придумать что-нибудь никуда не годное и совсем испортить дело, — а время идет, и работает оно не на нас, а на звезду, потому что мы играем на ее поле, и она ведет в счете. Может быть, конечно, Шувалова удастся разыскать быстро, но ведь это издалека планеты кажутся такими маленькими, что только сядь на нее — и все окажется как на ладони; но ведь даже на Земле прилететь в свой город еще не значит — добраться до дома.

Вот так я размышлял — обо всем вообще и ни о чем в частности; тем временем мы прошли намеченные сто метров и еще двадцать, взобрались на густо поросший мощными деревьями, продолговатый бугорок, спустились с него и пошли дальше — и только тогда мои мысли переключились на настоящее время, я помянул черта и его бабушку, мы остановились и повернули назад.

Потому что холмик и был тем, что мы искали, — только я не сразу сообразил это. Глупо думать, что даже такая надежная штука, как звездолет, способна проторчать сотни лет вертикально — если даже ей удалось опуститься по всем правилам, и если ей вообще положено стоять, а не принять на планете какое-то иное положение. Иные здания возвышаются по многу столетий, но за ними присматривают, а эта машина вряд ли долго пользовалась уходом: вернее всего, сразу же после посадки ее разгрузили, раздели до последнего, а то, что никак уж не могло пригодиться, бросили. В крайнем случае, корпус какое-то время использовали под жилье, да и то вряд ли: трудно представить, что жизнь в нем была просторнее, чем в старой дизельной субмарине времен войны (когда я говорю

о войне, то имею в виду ту, которую я пережил, а не те, которые знаешь по учебникам; у каждого человека есть своя война, если говорить о моих современниках — да будет светла их память). Нет, просидев столько лет в этих стенах (это ведь были еще релятивистские корабли!), люди наверняка захотели поскорее выбраться на неведомый, смутно представлявшийся им по легендам простор, размять ноги и сердца. Не совсем понятно было, впрочем, почему они финишировали в лесу, а не в степи; однако, где сказано, что в те дни тут был лес? У леса хватило времени, чтобы подойти сюда потом, из любопытства: что, мол, там торчит такое? Так что никаких логических несообразностей тут вроде бы не было.

Мы с Анной обошли холм; где-то обязательно должен был обнаружиться путь вовнутрь. При первом обходе мы не нашли никакого лаза, во второй раз я стал повнимательнее приглядываться и вскоре нашел — чуть выше по склону, чем предполагал, — место, где трава была гуще и выше, ее явно подсадили, значит — в этом месте рыли. Я принялся за работу, снял дерн, руками счистил слой песка — к счастью, тонкий — и обнаружил дощатую крышку. Я поднатужился — приятно показать, что ты еще хоть куда, — приподнял крышку, откинул ее, и под ней, целиком в соответствии с моими проницательными умозаключениями, открылся темный ход.

— Ты стой здесь, — сказал я Анне, — карауль. Я погляжу, что там такое.

Я полез. Ход, сначала крутой, становился все более пологим, но идти можно было лишь согнувшись в три погибели. Я прошел метров десять и уперся в глухую стену. Сначала я решил, что тут завал, но потом постучал в стену ключом стартера — и уразумел, что наткнулся на металл.

Откровенно говоря, я был несколько разочарован. Я надеялся, что ход приведет меня к гостеприимно распахнутому люку, я войду и полажу по кораблю, подышу воздухом степей... Но люка не было, да и внутри корабль, вернее всего, тоже был плотно набит землей: вряд ли герметичность его сохранилась, когда он лег плашмя. Здесь был глухой борт; теперь я внимательно ощупал его кончиками пальцев и ощутил шершавый слой нагара. Более не оставалось сомнений: да, эта машина некогда спустилась сюда, продавив атмосферу, и на ней прибыли в окрестности веселой звезды Даль предки тех, кто живет на этой планете сейчас — предки Анны в частности, и в числе этих предков был кто-то из прямых потомков Нуш (мне стало немного не по себе от этой мысли, обида и что-то вроде ревности зашевелились во мне: значит, она после моей смерти обзавелась семьей, а мое имя не значится в

семейных хрониках — ну, а чего иного, собственно, следовало ожидать?).

Я вылез из норы. Анна стояла там, где я ее оставил. На ее немой вопрос я ответил:

— Похоже, что мы нашли именно то.

— Я посмотрю, — решительно заявила она.

— Стоит ли? — усомнился я: ход мог обвалиться, мало ли...

Она даже не удостоила меня ответом и решительно спрыгнула.

Я постоял, оглядываясь. Никого не было, только наверху птицы изредка перепархивали с дерева на дерево. «Почему они не выставили охрану? — подумал я. — Или у них тут другая логика? Может, они так уверены в силе запрета?»

Нуш-Анна показалась в подкопе, я помог ей выбраться. Она тоже выглядела несколько разочарованной.

— Я не понимаю... — начала она.

— Все в порядке, — утешил я ее. — Именно то, что тут лежит, и прилетело со старой Земли.

И я величественно ткнул рукой в небеса.

— И на ней действительно прилетели люди? Ты точно знаешь?

— Совершенно точно. Так же, как и то, что именно от этих людей происходите все вы.

(Вот тут я ошибался, но тогда мне это было невдомек.)

— Не пойму только, — добавил я, — почему это скрывают от вас.

— Мы тоже не понимаем. Наверное, есть какая-то причина... А почему ты так уверена?

— Да видишь ли... мы ведь и сами прилетели тем же путем.

— Правда?

— Очень скоро ты в этом убедишься.

— Я верю, верю... Значит, ты — такой человек?

— Какой?

— Ну, от которого — люди?

— Знаешь, — сказал я, — давай сперва уточним терминологию. Я все-таки не понял что к чему — люди, сосуды... Расскажи мне все по порядку — учитывая, что я не так молод и не так умен, чтобы схватывать на лету.

— Ну, не знаю... — нерешительно начала она.

И тут же умолкла. Потому что крикнула птица. Анна встрепенулась. Я с удивлением следил за ней. Она вытянула губы и тоже попыталась изобразить птичий крик. Будь я птицей, я не поверил бы ей ни на три копейки — до такой степени это было непохоже. Хотя птицы, конечно, бывают всякие, но вряд ли хоть одна из них, желая спеть что-то, шипит, тужится и в результате издает что-то вроде писка недоношенного

цыпленка. Тем не менее, она исполнила этот номер, но ни одна доверчивая птаха не отозвалась ей.

— Показалось, — печально сказала Анна. — Еще рано.

Я взглянул на часы. Очень быстро летело время на этой планете. У нас с Шуваловым был определенный срок, какой мы могли провести здесь, — в случае опоздания на корабле началась бы тревога. Я, откровенно говоря, надеялся, что в конце этого срока, вернувшись в точку посадки, найду там профессора: не верилось, что с ним стряслась беда. Но срок наступит еще через два часа. Значит, столько времени у меня еще было... Я сказал Анне:

— Ты очень красиво свистишь. Разрешаю тебе заниматься этим и в катере. Но если твои ребята не подойдут в ближайшие полчаса, то больше ждать мы не сможем: надо будет лететь.

Я ожидал, что она сразу же спросит «куда?». Анна этого не сделала, но сказала:

— Потерпи. Они вышли раньше нас, но идут пешком.

Ждать придется час, прикинул я и подумал, что и часа будет маловато, если только они не собираются проделать весь путь бегом; потом оказалось, что я недооценил их. Час прошел; за это время я еще раз слазил к кораблю, начал было рыться вдоль борта, но решил, что это бесполезно, вылез, уселся и стал глядеть на Анну. Она бродила от дерева к дереву, временами срывала какой-нибудь листок, нюхала его и пробовала на вкус, а я любовался ею, стараясь, чтобы взгляд не был слишком тяжелым. Стоило немного расслабиться — и сразу начинало казаться, что это Земля, двадцатый век, и все очень, очень хорошо.

Но час истек, и я сказал, поднимаясь:

— Анна, а с ними ничего не могло случиться по дороге?

И как будто специально дожидаясь этого, из-за деревьев показались люди. Анна засмеялась и, мельком глянув на меня, пошла, почти побежала им навстречу. Я остался на месте и, глядя на них, попытался составить хотя бы приблизительное представление о людях, на которых мне теперь, вероятно, придется рассчитывать.

Они — пятеро мужчин и три девушки (не считая Анны — ее я как-то уже не причислял к ним) — были хорошо сложены, но не это бросалось в глаза прежде всего, а грациозность. Каждое движение их было красиво; у человека нашего времени оно выглядело бы слишком нарочитым, театральным, а у них получалось естественно, и сразу верилось, что иначе они и не умеют, и не должны. Это мне понравилось. И понравилась их одежда — мы в свое время ходили так на курортах в пору летних отпусков, но у них мне не удалось найти ни одного сочетания цветов, которое можно было бы назвать даже не

безвкусным, но хотя бы сомнительным. Мой вкус, конечно, не эталон, но для меня самого он достаточно важен. Так что первое впечатление получилось благоприятным, и на душе у меня стало чуть легче.

* * *

Мы сидели возле катера и закусывали — то ли это был ранний обед, то ли очень поздний завтрак. В ход пошли припасы, взятые с корабля на случай, если мы с Шуваловым проголодаемся. Правда, с корабля нас уходило двое, а сейчас оказалось десять, — но, как ни странно, еды хватило: люди эти оказались умеренными в пище, а может, просто стеснялись. Я тоже поел немного — немного потому, что чем больше уходило времени, тем сильнее становилось беспокойство. Удерживало меня лишь то, что разговоры, которые начались, когда Анна нас познакомила, стоили затраченных на них минут.

Само знакомство произошло без особых недоразумений. Они сначала, насколько я расслышал, выругали Анну за то, что она не дождалась их в городе. Оправдываясь вполголоса, она кивком указала на меня. Тут они соизволили взглянуть в мою сторону и, видимо, потребовали объяснений. Анна ответила — это я услышал ясно:

— Это мой человек.

Они, кажется, были не очень довольны, но разговоров на эту тему больше не было. Анна подвела их ко мне, — я стоял, как император, принимающий послов, — и сказала:

— Покажи им.

— Пускай слазят сами и посмотрят, — сказал я. Потому что вовсе не считал себя хранителем фондов этого музея под открытым небом.

— Нет, не это. Покажи, на чем мы приехали сюда.

Я поколебался мгновение, но сообразил, что ничего дурного они катеру сделать просто не в состоянии: не такая это была машина.

— Ну, идемте.

Я кивнул Анне, чтобы шла вперед, пропустил остальных и замкнул колонну, чтобы сохранить известную свободу действий. Они облепили катер, как мухи бутерброд с вареньем, и сначала очень тихо гудели и восклицали что-то вроде «ох» и «ух». Потом один из них сказал:

— Да, это, конечно, не то, что Уровень. Как ты это сделал?..

Тут, в общем, и начался разговор.

Говорить с этими ребятами — самому старшему не было и тридцати — оказалось очень забавно. Я почти сразу понял: им можно втолковать что угодно — они поверили бы всему на свете. Похоже, что вранье у них не было в ходу, не знаю

только — у этих ребят или у народа вообще. Я назвал их народом, но как еще можно назвать их?

— ...Так в чем же дело, ребята? — спросил я, отвинчивая крышку термоса, в котором плескался кофе. — Почему вы бродите тут вместо того, чтобы заниматься общественно полезной деятельностью, и почему ваше начальство, как говорила Анна, не особенно поощряет эти ваши экскурсии? Объясните членораздельно.

Они стали объяснять, это было интересно, и никак нельзя было прервать разговор из-за того, что меня наверняка уже ждал Шувалов и ждали люди на корабле. «Потерпят немного, — подумал я, — потому что такой информации мы больше нигде не получим: наверняка, с точки зрения здешнего начальства, такой материал явно для белых выпусков, которые нам вряд ли одолжат почитать. Ладно, обождут».

Я слушал и одновременно систематизировал в мыслях информацию, приводил ее в порядок, в каком собирался изложить ее в дальнейшем остальным участникам нашей славной экспедиции. И получалось у меня примерно вот что.

Ребята были талантливые, все восемь (девять, считая и Анну). Я сразу понял, что это так, потому что всю жизнь любил именно талантливых людей, независимо от того, в какой области проявлялся их дар; и только талантливых подлецов не любил, а мне приходилось не только встречаться, но и работать с такими. Ребята были очень способные, и им страшно хотелось что-то сделать — талант как пар в котле, если не дать ему производить работу, он рано или поздно разнесет и котел, и все, что окажется вблизи. Вот этого-то выхода ребята и не получали.

— Да кто мешает? — допытывался я. — Родители? Школьные учителя? Начальник полиции?

— Есть закон о сохранении Уровня. Ты знаешь, что такое Уровень?

— Анна объяснила.

— Значит, жить можно только так, как сейчас. Не хуже. И не лучше.

— А вы живете плохо, и вам хочется, чтобы было лучше?

— Нам вовсе не плохо. Мы не бываем голодны. А когда-то, когда еще не было Уровня, люди голодали. Не хватало еды.

Что такое голод, я помнил. И порадовался за ребят.

— Значит, вы сыты. И одеты, я вижу... И учитесь?

— Учимся или учились... Но учат тоже всегда одному и тому же. Вот я кончил школу больше десяти лет назад, а он, — старший кивнул на самого зеленого паренька, — будет еще два года учиться. Но учили нас одному и тому же: и что делать, и как делать, и вообще, как жить. И его отца учили точно так же, и моего... Но, понимаешь... — Он задумался, словно бы

колеблясь. — Мне трудно объяснить. Но у каждого из нас... у очень многих... есть такое чувство, как будто мы жили так не всегда, как будто когда-то, давно, было иначе, все было иначе. Нам с детства говорят, что это — ложное чувство, и, наверное, так оно и есть, потому что я очень хорошо знаю, что когда он родился (снова последовал кивок в сторону паренька), все было точно так же, как сейчас, но вот он помнит, понимаешь — помнит, что было иначе. То же и со мной, и с каждым. Этого не было, но мы это помним. И одни из нас приглушают память и живут так, как надо по Уровню, а другие не могут: мы, например. Мы помним, но нам не разрешают вспоминать и говорить. А мы ищем. Ведь если что-то такое действительно было, то не может быть, чтобы не сохранилось ничего, никаких следов. Мы ищем и надеемся найти.

— И давно вы стали искать?

— По-моему, люди искали всегда. Но не находили.

— Искали, хотя им запрещалось?

— Раньше не запрещалось. Можно было искать везде, кроме тех мест, где быть вредно. Было одно такое место. Теперь прибавилось вот это, где мы сейчас. Здесь тоже нельзя искать.

— А что делали люди, когда поиски кончались ничем?

— Большинство, я говорил, возвращались к Уровню. Другие — их всегда было немного — покидали Уровень и уходили в лес. Не в этот лес — в другой, в дальний. Они и сейчас живут там, и их становится, говорят, все больше.

Я поразмыслил. Странно. Прогресс полностью перекрыт. Заблокирован. Никакого развития. И в то же время это не невежество. Это делается сознательно, намеренно, с расчетом. Почему?

— Как они живут там, в лесу?

— Говорят, что хуже нашего: у них там не хватает многого. Но все они верят, что это ненадолго. Верят, что быстро достигнут Уровня и обгонят его.

Господи, подумал я, бедная старая Земля, вечно ты повторяешься в своих детях — даже на другом конце мироздания... Воистину, куда нам уйти от себя? Тут я невольно взглянул на Анну, но сразу же отвел глаза.

— Что же, — сказал я вслух, — тем, кто уходит от общепринятого, порой удается достичь совсем не плохих результатов. Так вы решили пробираться в лес? Или я не так понял?

— Сначала мы должны найти то, что от нас скрывают.

— Считайте, — сказал я, — что уже нашли.

— То, что лежит тут под землей?

— Да.

— Что там, ты знаешь?

— Знаю. Я объясню. Но сейчас у нас мало времени. Мне тоже очень хотелось бы побывать там, в лесу. Это просто необходимо.

Это и вправду было необходимо. То, что я услышал, говорило об одном: на планете, кроме этого общества, существовало еще и другое, в лесу: спасать надо было всех людей, и, следовательно, договариваться надо было не только с этими, но и с теми. Вот уж воистину: чем дальше в лес, тем больше дров!

Я снова покосился на свой хронометр.

— Скажи еще вот что: какая разница между людьми от людей и людьми от бутылки... то есть от сосуда?

— Люди от людей... — повторил парень. — Понимаешь, те, кто защищает Уровень, говорят так: раз все люди рождаются в одном месте, в Сосуде, то они и должны существовать только в одном виде...

— Может быть только одно общество, — помог я.

— Ну да. В лесу, например, нет Сосуда, и там не должны рождаться люди. Поэтому там их никогда не будет столько, сколько в Уровне.

— Прости, — не понял я и опять невольно покосился на Анну (не хотелось при ней вести разговоры на эту тему). — Почему люди в лесу не могут рождаться нормально, как все?

— Но ведь все и рождаются в Сосуде! А в лесу его нет!

— А... разве детей не рождают женщины?

Они переглянулись. Я почувствовал, что Анна напряженно смотрит на меня.

— Понимаешь, — сказал уже другой парень, — память говорит нам, что так было. Мы чувствуем, что так должно быть. Но... у нас не так.

— Ты хочешь сказать... что у вас нет любви?

Он улыбнулся. Глянул на одну из девушек, и она улыбнулась тоже.

— Есть... Мы знаем, как могут рождаться дети. Люди — от людей. Но как только... как только ребенок начинает расти в ней... Считается, что это болезнь. Ну, и от нее вылечивают. Может быть, это и правда болезнь? Когда дети рождались в лесу, там, говорят, даже умирали. Думаешь, это неправда?

— Почему же, — хмуро сказал я. — Правда. Могли и умирать. И все же... Ладно, об этом мы еще потолкуем. (Черт бы их взял, подумал я про себя, им и рожать не дают по-человечески, это уж совсем ни в какие ворота не лезет. Непонятно, но придется как-то понять. Но не сейчас. Время, время!..) Но вот ты говорил «мой отец»...

— Конечно. Это тот, кто получил меня от Сосуда и вырастил. Но говори теперь ты.

Они, кажется, чего-то ждали от меня.

— Хорошо, что мы встретились, — сказал я. — Мои друзья и я — мы вам поможем во многом. Если и вы поможете нам. Сегодня нас прилетело двое. В городе, где мы встретились с Анной, — я не сдержался и не только посмотрел на нее, но и прикоснулся к ее плечу, — со мной был еще один друг. Он там исчез. Если я не встречу его на условленном месте, вам придется его найти. Это очень важно. С ним ничего не должно случиться. Вы знаете ваши порядки, знаете, что могло с ним произойти и где нужно его искать. Попробуйте как можно скорее выяснить хоть что-нибудь о нем. А мне тем временем придется отлучиться ненадолго — слетать к нашим.

Они тоже, вслед за мной, подняли глаза вверх и, кажется, не очень-то поняли, где там могут находиться мои друзья. Но ни один не выразил сомнений вслух.

— И снова встретимся здесь же... часов через шесть. Согласны?

— Сколько это — шесть часов?

Я прикинул: период обращения планеты вокруг оси был мне известен — двадцать шесть часов с минутами.

— Это когда солнце будет ниже верхушек деревьев.

— Хорошо. Мы узнаем и скажем тебе.

— А ты, Анна, поедешь со мной.

— Да, — сказала она легко, словно это было заранее ясно.

— Садись, — сказал я. Сел сам, помахал им рукой и включил стартер.

Гравифаг журчал, было слышно, как свистит за колпаком потревоженный воздух. Небо темнело по мере того, как мы все дальше врезались в него. Я проверил, правильно ли сидит Анна, включил страховку, сказал: «Ну, потерпи немного и не бойся» — и запустил маршевый.

Вот тут Анна, кажется, испугалась по-настоящему. Голубой огонь вспыхнул вокруг нас, за спиной зарождался ураган, фиолетовый след оставался позади. Нас прижало к спинкам. Впереди загорелись звезды. Нуш-Анна то закрывала, то снова открывала глаза, страх в ней боролся с любопытством. Вибрация прошла по катеру и затухла. Погасли язычки. Небо стало черным. Позади планета играла всеми цветами радуги. В южном ее полушарии я заметил циклон. Мы легли на орбиту. Теперь внизу был океан, кое-где острова виднелись в нем, как сор на паркете. Перегрузка исчезла, включился гравиген, возникла искусственная тяжесть. Я посмотрел на Анну. Она улыбнулась, оправляясь от страха.

Я отвел глаза, потому что впереди уже знакомо мигали огоньки корабля.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

До встречи с Аверовым оставалось двадцать минут. Это время было нужно Рыцарю, чтобы обдумать все трезво и окончательно.

Из центрального поста он ушел в свою каюту. Она была чуть меньше капитанской, но обладала теми же удобствами, только экранов и приборов в ней находилось не так много. Но в них Уве-Йорген сейчас не нуждался.

Он сел в кресло, вытянул длинные ноги и закрыл глаза. Он привык так расслабляться перед действиями, которые могут потребовать всех сил, всей воли, напряжения всех мыслей. Именно такое действие, видимо, предстояло ему в самом близком будущем.

Земля, думал Уве-Йорген. Земля. Что тебе Земля, пилот, не та, не твоя, а нынешняя, во многом непонятная и чуждая, где и памяти не сохранилось ни о тебе, ни о тех, кто некогда был твоими друзьями?

Но их прах и пепел там, подумал он. Там, а никак не здесь. И если человек должен хранить преданность чему-то, — а воин должен хранить преданность, если он воин, а не ландскнехт, — то ты, Риттер, можешь быть предан только Земле, и никому больше.

Пусть она — не обиталище, а лишь кладбище тех мыслей и тех целей, за которые ты сражался когда-то. Идеи оказались несостоятельными; сейчас ты понял это до конца.

Но — дороги и могилы. И если нет ничего другого, надо хранить верность могилам. Верность до смерти, привычно подумал он на родном, немецком языке. Верность и преданность. Пусть мы были неправы, но так уж сложилась история планеты Земля, что там нашлось место и для нас. Борьба за сохранение Земли — это борьба и за сохранение памяти о нас, какими бы мы ни были.

Земля. И твой корабль. Ты предан ему, как бывает предан солдат своему полку, своим командирам и своим подчиненным и своей боевой машине. Твой корабль — часть Земли, она снарядила его и послала, она положила твои руки на его штурвал. Верность кораблю есть тоже верность Земле, как верность знамени равнозначна верности государству.

А если так, то ты должен сделать все, чтобы в заочной схватке Земли и вот этой планеты Даль-2 безоговорочно победила Земля. Даже если ради этого придется пожертвовать этой планетой со всем, что находится на ней и в ней.

Конечно, если бы был другой выход, ты избрал бы его. Солдат не садист и не палач. Он просто не боится крови, когда путь к победе ведет через кровь. А сейчас другого выхода

нет. Незачем терять время, перебирая варианты спасения хотя бы людей земли Даль. Незачем, потому что такого способа нет, это ясно с первого же взгляда. И надо действовать, не произнося лицемерных слов о гуманизме и прочем. Земля должна существовать — вот гуманизм. Любой ценой должна.

Сейчас, когда на борту нет ни Ульдемира, ни Шувалова, капитаном является он, Уве-Йорген. Ему подчиняется экипаж. Но начальник экспедиции в этой ситуации — Аверов. Надо добиться его согласия на решительные и безотлагательные действия.

Убедить доктора будет нелегко. Мир Аверова не знает войн. Ученый боится крови, она претит ему. Он и его современники считают, что человек должен жить уже лишь потому, что он человек. А мы считали, что человек заслуживает жизни только в том случае, если он действительно человек. Человек — это тот, кто силен. Сейчас сильными должны оказаться мы. От этих, местных, нам ничего не нужно. Но если они мешают жить нам, то пусть гибнут.

Аверов этого не поймет. Он будет метаться, медлить. И дотянет до того момента, когда поздно будет что-то предпринять, и погибнут все. Или до момента, когда на корабль вернутся капитан и доктор Шувалов; хотя, судя по молчанию катера, там у них возникли какие-то осложнения.

У Аверова есть своя сила и своя слабость. Можно использовать и то, и другое. Но прежде чем приступить к разговору с ним, надо еще раз вдохнуть родной воздух и дать глазам отдохнуть, полюбовавшись родным и привычным. Там, где проходили лучшие годы жизни. Тем, что и теперь видится ночью в тревожных солдатских снах...

Уве-Йорген открыл глаза и поднялся. Подошел к дверке, ведущей в Сад памяти. Распахнул ее. В каюте не было посторонних, и нечего было опасаться, что кто-то заглянет и увидит.

Перед ним открылась обширная поляна. Действительно, мельком подумал он, неплохое место для схватки мчавшихся навстречу друг другу рыцарей, закованных в панцири, с опущенными забралами и тяжелыми копьями наперевес.

Но рыцарей не было, и не было копий. Солнце стояло на закате, дул легкий ветерок и пахло вянущей травой. Машины стояли под маскировочными сетями, а в небе Фогельзанг, круто снизившись и задирая нос, шел на посадку. Уве-Йорген остановился подле своего «мессершмитта» и смотрел, как садится лейтенант Фогельзанг, и поглаживал ладонью зеленый дюраль, теплый на ощупь.

— Смотри, Уве, — сказал он сам себе. — Смотри, это та Земля, за которую ты готов драться в очередной раз, пилот.

* * *

Аверов расхаживал по салону, и шаги его с каждой минутой становились все стремительнее, словно он должен был куда-то успеть, добежать вовремя. Впрочем, скорее он просто убегал — убегал от мыслей, а они все догоняли и догоняли его, настигали, спрашивали, приходилось искать и находить ответы, и с каждым разом это становилось все труднее.

«Шувалова с капитаном все нет, — говорили мысли. — Значит, планета встретила их недоброжелательно. Контакт оказался невозможен — или привел к плохим результатам. Да ведь так оно и должно было быть».

«Нет-нет, — отвечал своим мыслям Аверов. — Еще ничего не случилось. Срок не истек. Правда, самый крайний — но все же срок. И еще не пришло время принимать решения».

«Когда же наступит это время? — спрашивали мысли. — Где та грань? Та минута, когда уже необходимо будет решиться?»

Но если никто не вернется с планеты своевременно, это еще не будет означать, что планы эвакуации рухнули. Наоборот: контакт мог оказаться столь плодотворным, что Шувалов и капитан сейчас ведут конкретные переговоры, чтобы вернуться на корабль с уже готовой диспозицией. Надо ждать, ждать.

Ну, а если вы так и не дождетесь, и ты встанешь перед необходимостью решать: чем пожертвовать? Если окажется, что без жертв не обойтись? Ты не привык действовать, потому что вы создали для себя такой мир, в котором понятие жертвы перестало существовать. И не подумали как следует о том, что, покидая свой мир, вы оставляете позади и его благоустроенность, и его законы. Что они, эти законы, вовсе не носят вселенского характера. Что жизнь каждого не везде и не всегда священна. Что не везде и не всегда все — свои, что случается так: есть свои — и есть чужие.

Конечно, лучше всего было бы вообще не думать об этом. Если бы опасность не грозила Земле! Если бы предотвратить опасность можно было каким-то другим способом, не нарушающим интересов здешнего мира...

Но такого способа, видимо, не существует.

Надо мыслить логически. Каковы исходные пункты?

Земля, ее человечество должны быть спасены. И именно нами.

Можно ли опровергнуть эту посылку? Нет, она истинна.

Второе положение: человечество Даль-2 тоже должно быть спасено. Это тоже постулат?

Хорошо бы... Но две эти посылки могут оказаться противоречивыми. И вторую правильнее сформулировать так: человечество Даль должно быть спасено, если это не помешает спасению Земли. Если.

Но это значит, что человечеству Земли оказывается предпочтение. Иными словами — признается, что оно чем-то лучше этого, здешнего. Что же — мы так и не можем переступить через это ощущение «своего»? Или и не должны через него переступать? А если вывернуть условия задачи наизнанку, получится вот что: если спасение обоих человечеств невозможно, должно ли в таком случае погибнуть одно из них, или оба? Нет, погоди, тут ошибка. Эти человечества уже по определению неравноправны. Здешнее гибнет в любом случае: взорвется ли звезда, или будет погашена. А наше, земное — лишь в случае взрыва. Следовательно, тут вовсе и не я решаю: решают цифры. Решают сами условия задачи.

«Наверное... — подумал Аверов, — наверное, я чувствовал бы себя куда лучше, если бы установка, инструмент, при помощи которого и будет решаться вся проблема, была рассчитана, сконструирована и построена под руководством другого человека. Но это моя установка. Она убьет (какое страшное слово!) кого-то. Но ведь и спасет, спасет гораздо больше людей!

И потом — почему, собственно, я сам должен решать все это?

Мы, современные люди, отягощены массой идей, мешающих принимать подобные решения. Но случайно ли мы полетели именно с таким экипажем? То, что тогда говорилось, — это, надо полагать, лишь половина причин. Другая же заключается в том, что эти люди, люди прошлого, мыслят прямее и конструктивнее. И их не смущает...»

Он взглянул на часы и заторопился: пора было идти и обсудить положение с Уве-Йоргеном.

Может быть, у пилота есть правильное, логичное решение? И не придется принимать ответственность на одного себя?..

* * *

В комнате были гладкооштукатуренные стены, такой же потолок, пол из хорошо оструганных, плотно пригнанных досок. В одной стене, под самым потолком — длинная, узкая щель, видимо, для вентиляции. В потолке — квадратное окошко, через которое проникал свет. Матрац на полу: большой мешок, набитый чем-то мягким. Больше ничего.

Шувалов сложил матрац втрое, чтобы сесть на него, но потом раздумал садиться и стал расхаживать по комнате. Привычно сунул руку в карман за компиблоком, но не обнаружил ни блока, ни кармана. Фыркнул: переодели!.. Белье, к счастью, оставили. Это все мелочи. Плохо, что затягивается контакт — тот самый, на высшем уровне, на котором только и можно решить все проблемы. Для Шувалова решение могло быть лишь одним:

будут спасены все, никто не погибнет. Как? Он не знал. Ум человеческий изворотлив. Люди сделают все возможное и невозможное. Нужна, конечно, информация. Значительно больше, чем имеется ее сейчас. Информация о здешнем человечестве, об уровне цивилизации, о возможностях, резервах...

Потому что решения могут быть разными. Допустим, эвакуация, как радикальное средство, откладывается по техническим причинам: неизвестно, сколько понадобится кораблей и времени на их строительство и обучение экипажей. Может быть, действительно придется уйти под землю. Там тепло сохранится дольше, чем на поверхности, когда звезда начнет гаснуть. Доставить с Земли небольшие силовые установки для обогрева, снабжения воздухом. Наверное, возникнут и другие проекты. Нужно только знать: на что эта цивилизация способна? Сколько их? Какова техника? А главное — так ли они уже развиты, чтобы понять весь ужас грозящей катастрофы.

Шувалов все-таки уселся на матрац, устроился поудобнее, непривычная обстановка больше не мешала ему думать. Итак, как же может выглядеть эта цивилизация?.. Не такое уж, кстати, лестное наименование, подумал Шувалов, усмехаясь. Происходит оно от слова «город», а с этими городами в прошлом, как уверяют историки, было немало возни. Люди сами чуть не отравили себя продуктами своей деятельности — нечто вроде внутренней интоксикации. Можно, конечно, назвать то, что существует здесь, не цивилизацией, а культурой. Так будет лучше.

Культура. Потомки некогда прилетевших сюда землян в известной степени регрессировали — до самого примитивного звездоплавания им очень и очень далеко... Регресс этот был неизбежен, но мог выразиться в различных конкретных формах. В конечном итоге, все зависит от уровня производительных сил. Что же находилось в распоряжении прилетевших сюда людей?

Начать с источников энергии. На корабле можно было, конечно, привезти и затем смонтировать тут ядерную энергетическую установку. Можно было привезти и некоторое количество топлива. Но рано или поздно оно должно было кончиться — его не могло хватить даже на столетие. А дальше? Наладить добычу ядерного топлива здесь наверняка невозможно: не руками же копать, даже если руды найдены, а накопав — как обрабатывать их дальше? Уязвимость технических цивилизаций — в том, что из них, как из сложной машины, нельзя вынуть какие-то детали так, чтобы остальные работали как ни в чем не бывало. Добыча любого топлива, кроме дров, — это и минералоразведка, и машиностроение, и транспорт, в свою очередь — металлургия, а она упирается в горнорудную промышленность, которая, в свою очередь, зависит от энергетики

и металлообработки... Это только одна ниточка из многих, из которых сплетается кружево технической цивилизации. На Земле такая цивилизация все-таки ухитрилась возникнуть, но нельзя забывать — какой ценой! Века рабства, века страшного угнетения, о котором мы давно уже забыли, века, когда людская жизнь стоила меньше, чем ничего...

Почему же здесь нет следов чего-либо подобного? Видимо, потому, что на планету высадились люди, воспитанные обществом с достаточно высоким моральным уровнем. И, заранее представляя, вероятно, все технические и хозяйственные трудности, они вряд ли собирались опуститься, скажем, до уровня рабовладельческого общества.

Какой из известных на Земле социально-экономических формаций соответствует их технический уровень? Судя по тому, что Шувалов до сих пор видел, обработка металлов находится тут вовсе не на таком бедственном уровне. Доски пола обструганы — значит, применяется обработанное железо. Или то, во что нарядили Шувалова: ткань из растительного волокна, но, безусловно, фабричного производства. Пожалуй, на Земле в античную эпоху умели меньше.

Но главное, видимо, заключается, думал Шувалов дальше, в том, что, обладая ограниченными техническими, а следовательно, и экономическими возможностями, люди старались сохранить какой-то определенный социальный уровень, который в принципе соответствовал бы их унаследованным от Земли воззрениям. И что-то они, вероятно, нашли. Об их успехе можно судить хотя бы по их отношению к каждому отдельному человеку. По тому, каково отношение общества к личности, можно с уверенностью судить о достоинствах и пороках самого общества. Но вот он, Шувалов, сидит здесь — хотя и в заточении, но живой и здоровый. Невзирая на всю его неоспоримую (с их точки зрения) вину, его не потащили на костер, не забросали камнями, да и не ударили ни разу, даже не были грубыми. Они кажутся довольно симпатичными людьми и своим поведением вряд ли сильно отличаются от жителей современной Земли. Тот же судья хотя бы: он ведь был явно доброжелателен. Конечно, о нем можно сказать и то, что человек он ограниченный и недалекий; это если считать, что ограниченным является всякий, кто не умеет, скажем, решать системы уравнений определенной сложности. Но надо смотреть шире. Приобрести знания куда легче, чем изменить свое отношение к жизни, к людям, к обществу. И если взгляды людей, населяющих планету, на жизнь совпадут со взглядами Шувалова и его спутников, то можно будет считать, что основа для взаимопонимания есть.

На такую удачу пока можно лишь надеяться, доказательств никаких нет. Чтобы получить их, нужно как можно больше

общаться с людьми, составить точное представление об уровне их развития, психологии, круге интересов. Разговаривать, спорить, доказывать свою правоту.

Но как осуществить это, если он, Шувалов, заперт в комнате и о нем, кажется, забыли?

* * *

Судья на самом деле вовсе не забыл о нем; напротив, очень хорошо помнил. После того, как странного человека увели, чтобы везти к докторам, судья провел немало времени, так и этак разглядывая оставшиеся в его распоряжении необычные предметы — одежду и все, что находилось в ее карманах.

Судья не находил никакого удовольствия в том, чтобы причинять людям неприятности. Но его обязанность была — следить за соблюдением закона и пресекать его нарушения, а как и какими средствами — об этом достаточно хорошо позаботился сам закон. Для судьи главным было — самому поверить, что закон был действительно нарушен, и установить — сознательно нарушен или без умысла; впрочем, никто не мог отговариваться незнанием закона. И теперь, разглядывая, ощупывая и даже обнюхивая лежавшие на столе вещи, судья искренне пытался понять, с кем же его столкнула судьба.

То был такой же человек, как все. И тем не менее все в нем, начиная с одежды и кончая разговорами, было чужим — непонятным и немного тревожным. Судья не мог понять, в чем заключалась угроза, о которой говорил Шувалов; но даже одно упоминание об угрозе настораживает и заставляет волноваться, тем более — если характер ее остается загадочным. Поскольку, однако, почти каждый человек в глубине души уверен, что все наблюдаемые им явления он может объяснить, исходя из того, что ему известно, судья старался дать всему непонятному понятные объяснения, оперируя теми представлениями, которыми он обладал.

Он знал, что вещи, оставшиеся у него, не были и не могли быть изготовлены ни в их городе и ни в одном из других городов; все, что в них изготовлялось, было давно и хорошо известно, потому что не менялось в течение многих десятилетий. Значит, вещи были сделаны где-то в другом месте.

Где же? Судье не пришла в голову мысль о пришельцах из другого мира, другой планеты, потому что ни одному нормальному человеку такая мысль прийти в голову не может, если только человек всем ходом событий заранее не подготовлен к ее восприятию. А судью и его сограждан еще в школе учили, что мир их является единственным обитаемым. Правда, космогония их не была ни гео-, ни гелиоцентрической и в общих чертах соответствовала истине, но астрономия вообще

популярной не была. Люди глядели на солнце — этого им хватало! Вопрос обитаемости других миров не может возникнуть сам собой; он встает (если не говорить о единичных умах, опережающих эпоху) лишь когда общество, поднявшись на ноги, начинает оглядываться по сторонам в поисках собеседника, когда у него накапливается то, что оно хотело бы поведать кому-то другому. Но у того общества, в котором жил и действовал судья, такой потребности еще не возникло, а благодаря некоторым его особенностям могло и вообще никогда не возникнуть.

Итак, мысль о пришельцах благополучно миновала судью, и осталось лишь выбрать между двумя возможностями: неизвестный пришел из каких-то областей, о которых судья знал, или, напротив, он явился из краев, о которых судья до сих пор ничего не знал, но в которых, как могло оказаться, тоже обитали люди.

То, что незнакомец разговаривал на одном с ним языке, судью не смутило. В известном ему мире всегда существовал только один язык, и ни ему, ни его согражданам даже не приходило в голову, что на свете могут существовать и другие наречия. Наоборот, судью несколько озадачило, что задержанный, объясняясь понятно, говорил все же не совсем так, как судья, и кроме того, нередко употреблял слова, которых судья никогда не слыхал. Это, казалось, могло заставить судью поверить, что человек явился из каких-то неведомых краев. Однако, если бы даже такие края существовали, человек вряд ли мог прийти оттуда пешком, на пешехода он нимало не походил, а никаких средств передвижения, которыми он мог бы воспользоваться, обнаружено не было, хотя судья специально приказал возчикам еще раз все тщательно осмотреть в том городе, куда им все равно надо было вернуться за грузом. Возчики на этот раз обнаружили там следы нескольких человек, ушедших в запретном направлении, но ни лошадей, ни возка не нашли. По воде незваный гость прибыть не мог, потому что река протекала совсем в другой стороне. И оставалось лишь думать, что в действительности он явился из каких-то недалеких мест.

Таким местом мог быть только лес.

Раньше лес был спокойным. Туда ходили или ездили охотиться и собирать ягоды и грибы. Но с недавних пор лес перестал быть удобным местом добычи и отдыха. Всякие неполноценные субъекты, именовавшие себя «людьми от людей», стали уходить туда совсем, и значительную часть их не удалось вернуть. Люди эти были известны, как нарушители Уровня — делами или, во всяком случае, помыслами. И можно было себе представить, что, оказавшись там, где некому было следить за Уровнем, они принялись творить бесчинства,

нарушать Уровень и мастерить разные штуки, которые в Уровень не входили.

Судье было чуждо представление о технологии, о степени сложности многих из тех вещей, что лежали сейчас у него на столе, и о том уровне науки и техники, какой требовался, чтобы изготовить даже самые простые из них. Поэтому ему было нетрудно предположить, что за те год-два, пока происходила незаконная миграция в лес, люди, обосновавшиеся там, сумели изготовить все эти предметы. Зачем? Для того чтобы нарушить Уровень. Всякое запретное действие порой совершают не потому, что очень понадобился его результат, но лишь для того, чтобы нарушить запрет и тем самым доказать свою независимость и незаурядность; это судья хорошо знал. Итак, путем логических рассуждений он пришел к двум выводам: прежде всего, человек, сидевший сейчас под замком, явился из леса, причем явился вызывающе, не скрывая того, что является нарушителем Уровня. И затем — что лесные люди очень уж обнаглели, и к добру это не приведет.

Человека из леса можно было своей властью осудить и послать на работу туда, где в Горячих песках люди воздвигали высокие башни и зачем-то развешивали между ними медные веревки. Там он работал бы, как и все, это не было каторгой, однако работать там приходилось столько, что нарушать Уровень просто не оставалось времени. Но можно было и отослать Шувалова вместе с его вещами в столицу, чтобы судьбу его решили сами Хранители Уровня. В том и другом были свои привлекательные и свои непривлекательные стороны. Если наказать его самому, то могло получиться, что, получив странные вещи, Хранители захотят увидеть и преступника — что ни говори, а все дело выглядело не очень-то обычным. Если человек окажется уже в Горячих песках, то Хранителям придется ждать слишком долго — и как бы это не обернулось против самого судьи. Значит, отправлять незнакомца строить башни вроде бы не следовало. Однако, с другой стороны, если он, судья, сразу отошлет преступника вместе с его пожитками в столицу, там могут сказать: неужели судья сам не мог разобраться в том, какое наказание полагается за такое нарушение закона?

И еще — та угроза, о которой говорил схваченный. Может быть, в этом кроется что-то серьезное, а может быть, и нет: просто плохо воспитан, вот и угрожает. Опять-таки спросят: кого ты к нам шлешь?

И вот выходило, что самое лучшее, как ни прикидывай — это засунуть незнакомца к докторам, а тех предупредить, чтобы безо всякой спешки, тщательно проверили бы: спятил он или нет. Вещи его будут без промедления отосланы в столицу. Если оттуда потребуют преступника, то сделайте одолжение:

вот он! Взять из больницы и отправить. А если просто поинтересуются — что там с задержанным, — очень просто ответить: находится у врачей на проверке, как только она закончится — сразу поступим по всей строгости закона. Нет, мудро это было сделано, просто-таки мудро.

Пусть поживет у врачей недельку-другую. Иной раз можно будет и заглянуть к нему: вдруг сболтнет что-нибудь интересное. Судья тоже человек и не лишен любопытства. Интересно все же: как ухитряются люди жить там, в лесу?

А тем временем как раз станет ясно, как с ним поступить. Неделя-другая — не срок. Спешить некуда. Жизнь долга.

Судья вытер лоб. Устал. И то — такие каверзы жизнь подсовывает не каждый день. Вообще-то жизнь тут спокойная. Вот день прошел, и — домой. Вещички эти — под замок. И так не возьмет никто, но таков порядок: все, что касается суда, полагается держать под замком. Таков закон. А закон надо исполнять.

Судья осторожно поднял одежду. Легкая, ничего не весит. Руке от нее тепло. И вроде бы чуть покалывает. Чего только не придумают люди. А зачем, спрашивается? И без того хорошо.

Он спрятал одежду и все остальное в тумбу стола, замкнул. Выглянул из окна. Люди выходили из домов, шли к черным ящикам: глядеть на солнце. Ему-то, судье, не нужно: он вышел из этих лет. А два года назад еще смотрел. Когда был помоложе. Сейчас силы не те.

Ну, все, вроде?

Судья совсем собрался уходить. И как назло принесло гонца из столицы. Ввалился, весь в пыли. Протянул пакет.

Судья прочитал. Поморщился недовольно.

К чему бы это? Завтра с утра каждого десятого — в лес? Туда, где бывать запрещено? С лопатами и с оружием. Что надо делать — укажут там, на месте.

Судья рассердился. Полоть надо, а тут — каждого десятого. Но вслух сказал гонцу лишь:

— Скажешь — вручил. Иди — поешь, отдохни.

И сам двинулся обходить дома, оповещать насчет завтрашнего утра.

* * *

Солдаты чаще всего оказываются плохими дипломатами. Рыцаря утешало лишь то, что и ученые, как правило, не выделялись особыми талантами в этой области. Во всяком случае, в его эпоху.

Аверова он встретил торжественно, ни один специалист по дипломатическому протоколу не смог бы придраться. На столе

дымился кофе. Рыцарь внимательно посмотрел в глаза Аверова и остался доволен.

— Итак, доктор, назначенный срок прошел, но наши не вернулись. Надеюсь, конечно, что мы еще увидим их живыми и здоровыми. Но до тех пор мы будем вынуждены по-прежнему нести бремя руководства.

Аверов кивнул.

— Прошу простить меня, но я — воин и буду говорить с присущей солдатам откровенностью. Времени у нас мало, и оно не позволяет нам бродить вокруг да около. Надо не только решить, что делать, но и немедленно перейти к этим действиям. Вы согласны?

Аверов не сразу ответил:

— Да.

Уве-Йорген владел разговором. Он формулировал вопросы, и собеседнику оставалось лишь отвечать. А ответ в немалой степени зависит от того, как поставлен вопрос, в какие слова он облечен. Это пилот знал, это он и использовал. Аверову оставались лишь немногословные ответы. Наедине с собой он уже пережил все, понимал, к чему неизбежно приведет разговор, и был лишь благодарен пилоту за то, что не он, Аверов, а Рыцарь говорит все грозное и страшное, ему же оставалось лишь соглашаться.

— Мы с вами уже пришли к выводу, что эвакуация местного населения практически невозможна и размышления о его судьбе не должны более влиять на наши действия.

Тут была возможность возразить, и Аверов ухватился за нее:

— Обождите, Уве-Йорген. Мы с вами судим, исходя из того, что известно нам. Но вовсе не исключено, что наши коллеги, возвратившись, привезут какую-то информацию, которая заставит нас в корне пересмотреть...

— Если они вернутся.

— А если не вернутся, — вдруг, неожиданно для самого себя, крикнул Аверов, — то надо их найти! Или вы, пилот, собираетесь бросить друзей на произвол судьбы? Вот этого я уж никак не позволю!

Рыцарь после паузы промолвил:

— А звезда что — раздумала взрываться?

— Нет, разумеется. И тем не менее...

— Что же изменилось, доктор?

— Ну неужели вы... Какое жуткое хладнокровие, пилот! И вы можете быть так спокойны?

Рыцарь невесело усмехнулся.

— Я привык терять товарищей, доктор. К сожалению...

— О, эти ваши безжалостные времена! Но я не желаю привыкать к таким вещам!

— Мы тоже не желали — нас не спрашивали. Но не станем спорить об отвлеченных материях. У вас есть план, как их найти?

— Лететь к планете на большом катере.

— И кто же полетит?

— То есть как — кто?

— Если бы речь шла только о наших товарищах, я и не подумал бы возражать вам. Но если мы начнем поиски сейчас — сколько они продлятся? Где гарантия, что мы не потеряем и других? Но кто же тогда погасит звезду и спасет Землю? Кто спасет ваше человечество? Не забудьте: моя Земля давно кончилась, мы — как те кистеперые рыбы, что нечаянно дожили до поздних времен, хотя все их родичи давно превратились в лучшем случае в окаменелости. Это ваш мир, доктор. И вы должны понять, что важнее: миллиарды — там или двое наших друзей — здесь? Что говорят вам ваши представления о гуманности?

— Они говорят, что нельзя оставлять людей на верную гибель.

— Да почему, кто вам сказал о верной гибели? Ведь в момент, когда мы расстреляем эту звезду, она не погаснет, судя по тому, что вы говорили раньше. Она постепенно начнет угасать, только и всего. И вот тогда, зная, что главное сделано и что время у нас еще есть, — взрыв предотвращен, — мы сможем всерьез заняться поисками наших товарищей — и мы найдем их. А сейчас — кто стал бы заниматься этими поисками вслепую? Я необходим на корабле как лицо, заменяющее капитана и как квалифицированный пилот. Мой товарищ Питек — прекрасный пилот, но порой чересчур эмоционален, и ему в одиночку нельзя доверить машину. Но не стану отнимать ваше время: коротко говоря, мне нужен каждый член экипажа, и следовательно, я больше не выпущу на планету ни одного человека до тех пор, пока основная задача экспедиции не будет выполнена.

— Но ведь все равно мы ничего не можем начать немедленно! Не забудьте: установка была законсервирована в момент, когда мы увидели планету. Батареи...

— На все это хватит двух суток, если приступить немедленно. И я думаю, что вы приступите к работе именно немедленно. А за двое суток вопрос с нашими друзьями может проясниться окончательно.

— Почему за двое суток?

— В мое время, — Уве-Йорген усмехнулся, приподняв один уголок рта, как обычно, — если рыцарь через двое суток не возвращался на свою базу, мы считали его погибшим. И редко ошибались.

— И вы так спокойно...

— Да перестаньте! Не думаете же вы всерьез, что гибель людей доставляет мне удовольствие! Были, конечно, и такие, но всех оболванить он не успел со всей его сворой...

— Кто? — машинально спросил Аверов.

— Король Джон Безземельный, если это вас устраивает. Ну что же, будем считать, что мы договорились. И, откровенно говоря, на вашем месте я бы гордился...

— Гордились бы — чем?

Но пилот не ответил. Он напряженно вглядывался в экран. Шагнул в сторону, переключил локатор. Поднял глаза. Медленно улыбнулся:

— Поздравляю вас, доктор. Кажется, мы жгли порох впустую.

— Что это значит? — дрогнувшим голосом спросил Аверов.

— Если туземцы еще не обзавелись своими космическими устройствами, то приближающееся к нам тело может быть только нашим катером. И не пройдет и четверти часа, как вы сможете поплакать на плече своего руководства.

Аверов был так рад, что и не подумал обижаться.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

— Рад приветствовать вас на борту, капитан, — сказал мне Уве-Йорген и щелкнул каблуками. Мне показалось, что он сказал это искренне. Я вылез из катера; Рыцарь ждал, потом его брови прыгнули вверх; однако он на удивление быстро справился с изумлением и кинулся вперед — помочь, но я опередил его.

— Здравствуйте, юная дама, — поклонился он. — Какая приятная неожиданность... Я очень, очень рад — если это только не сон.

Анна стояла рядом со мной и глядела на Рыцаря, а он снова перевел взгляд на катер, но никто больше не вышел, и он взглянул на меня, и улыбка его погасла.

— Вас только двое?

— Да, — сказал я невесело и, чтобы поскорее завершить неизбежный церемониал, продолжил: — Знакомьтесь.

— Уве-Йорген, Риттер фон Экк, первый пилот этого корабля. Имею честь... Что же случилось, Ульдемир?

— Объясню подробно, но не сию минуту. Анна...

Она с любопытством осматривалась; теперь она повернулась ко мне.

— Сейчас я провожу тебя в мою каюту. Примешь ванну, пообедаешь. А мы тем временем поговорим с товарищами.

— Нас будут ждать в лесу, ты не забыл?

Я мысленно сказал ей «браво!»: на лице Анны не было ни тени смущения, ничего на тему «как это выглядит», «что могут подумать» и так далее. И незнакомая обстановка, видимо, не тяготила ее, и чужой человек тоже.

— Как ты могла подумать! Ну пойдем. Через четверть часа в центральном посту, Уве. И пригласите, пожалуйста, доктора Аверова.

— Непременно.

Голос пилота был деловитым, и в нем более не чувствовалось удивления.

* * *

— Очень странный человек.

У меня были по этому поводу свои соображения, но я все же спросил:

— Кто, Анна? Уве-Йорген?

— От него так и тянет холодом.

— Он очень сдержанный человек. Так он воспитан. Подробнее я расскажу тебе как-нибудь потом. Как ты себя чувствуешь?

— Тут уютно. Хотя... сразу чувствуется, что живет мужчина. — Она обошла каюту, всматриваясь в детали обстановки. — Очень много незнакомых вещей, я не знаю, для чего они...

— Договоримся: я покажу тебе, что можно трогать и чего нельзя. Иди сюда. Вот ванна... Да где ты?

— Сейчас... — отозвалась она изменившимся голосом. — Уль... Подойди на минуту. Кто это?

В каюте на столе стоял портрет в рамке. Не фотография, но рисунок по памяти с той фотографии, что была у меня когда-то: Нуш в черном вечернем платье сидела на стуле, уронив руки на колени, и глядела в объектив, чуть склонив голову. Сам снимок остался там, в двадцатом.

— Кто это? — повторила она полушепотом.

— Не узнаешь?

— Это... это ведь я?

— Это ты.

— Ты... знал обо мне раньше?

— Знал. Только не надеялся, что мы встретимся.

— И ты прилетел сюда из-за меня?

— Да, — сказал я, не кривя душой; я ведь и на самом деле оказался тут из-за нее — надо только вспомнить, что она была для меня одной, та и эта, вопреки рассудку и логике. — Из-за тебя. И за тобой.

— Уль...

Мы замолчали. Воздух в каюте сгустился и был полон электричества, так что мы не удивились бы, ударь сейчас молния. Лампы сияли по-прежнему ярко, но мне показалось, что стоят сумерки; я был уже в том состоянии духа, когда видишь не то, что есть, а то, что хочешь видеть, когда созданный тобою мир становится реальным и окружает тебя. Наверное, и с ней было то же. Я шагнул и нашел ее почти на ощупь. Меня шатало от ударов сердца. Ее ладони легли мне на плечи. Но хронометр коротко прогудел четверть, и лампы снова вспыхнули донельзя ярко, и мне пришлось зажмурить глаза от их режущего света.

Я медленно опустил руки, и она тоже.

— Уль... — снова сказала она, и я побоялся думать о том, что было в ее голосе.

— Время, — сказал я беззвучно: голос отказал. Я кашлянул. — Значит, выкупайся, потом отдохни перед обедом. Полежи вот здесь. Ты устала. Боюсь, что наш разговор с товарищами затянется...

Совещание, подумал я. Проклятое изобретение давних времен: от работы, от отдыха, от любимой женщины, от друзей, живой или мертвый — поднимайся и иди на совещание, проклятый сын своего века, своей эпохи...

Анна отступила на шаг; что-то блеснуло в ее глазах и погасло.

— Ты обиделась?

— О, что ты, нет.

Это была ложь. Только мне лгала она сейчас или себе тоже?

— Обиделась. Но сейчас нельзя иначе; слишком важные дела...

А кому сейчас лгал я?

— Да, конечно, нельзя...

— Пойми.

— Я понимаю. Иди...

* * *

—...Такова ситуация на планете. Как видите, все очень не просто.

Я смотрел на Аверова, полагая, что он продолжит разговор, но заговорил, неожиданно для меня, Уве-Йорген.

— Ульдемир, а не может ли ситуация оказаться еще сложнее?

— Объясни, что ты имеешь в виду.

— Может быть, кроме этих двух групп на планете есть и еще какие-то люди? Другие группы населения?

— Полагаю, мне сказали бы об этом.

— Те ребята, о которых ты рассказал? Они могут и не знать. Ты сам говорил, что от них многое скрывают.

Только сейчас в разговор вступил Аверов, и я сразу почувствовал, что они поют по одним и тем же нотам: видимо, пока я бродил по зеленым лужайкам, они успели хорошо срепетироваться.

— Такая возможность, — сказал Аверов, — весьма вероятна. Люди могли разделиться на разные группы еще в полете. Ведь добирались они не год и не два. Или они разделились уже после высадки, все равно. Не случайно ведь обнаруженные вами люди живут вовсе не на месте приземления корабля. Недаром они вообще забыли об этом корабле!.. Да и кроме того... Много ли мы знаем о народе, из которого происходит наш Питек? А ведь этот-то народ существовал несомненно!

— Вот это правда, — сказал Питек, ухмыльнувшись. — Мы-то существовали, да еще как! — Он широко развел руками. — Иногда по вечерам, когда я выхожу в Сады памяти, мне кажется, что вот всего этого не существует. Но мы-то были!

— В дописьменные времена, — сказал я ему как можно ласковее. — Поэтому от вас ничего не сохранилось.

— Я сохранился, — возразил Питек, чуть обидевшись (правда, лишь на мгновение: обижаться подолгу у нас не было принято).

— Извини, — сказал я. — Ты сохранился, и прекрасно сохранился. Но я хотел лишь сказать, что на этой планете дописьменных времен, скорее всего, вообще не было.

— Не вижу предмета для спора, — сказал Аверов. — Я просто полагаю, что такая возможность не исключена. Ведь не вступили в контакт с правителями, а если бы и так, то они могли по каким-то соображениям не сказать вам всей правды.

— Да, — сказал я, — спорить действительно не о чем. Но если даже других популяций на планете нет, если их общество находится еще лишь в самом начале процесса разделения, это и так достаточно усложняет нашу задачу.

— Смотря какую задачу ставить, — заметил Уве-Йорген, слегка приподняв уголок рта. — Мы помним, конечно, задачу-максимум. Но есть и альтернатива.

— Да, — подтвердил Аверов, глядя в сторону. — В первую очередь должно быть спасено население Земли.

Тут мне все стало ясным. Но я хотел, чтобы они высказали все сами — в таких случаях легче бывает найти в логике оппонента слабые места. А найти их было необходимо, потому что дискутировали мы не втроем — тут же, кроме Питека, были и Иеромонах, и Георгий, и Гибкая Рука, и многое зависело от того, на какую чашу весов они усядутся.

— Ну, — проворчал я, чтобы не сказать ничего определенного. — Пятнадцать человек на сундук мертвеца...

— Что? — не понял Аверов.

— Была в свое время такая песенка... Что же, Рыцарь, — я сознательно обратился именно к нему, — я жду, чтобы вы объяснили — какова же эта альтернатива.

— Вы, капитан, и так отлично поняли. Либо мы рискуем буквально всем на свете — Землей, планетой Даль-2 и самими собой в придачу, — либо выбираем наименьший риск и наименьшие жертвы. — Челюсти его напряглись, и он закончил громко и четко: — Жертвуем этой планетой и спасаем все остальное.

— Планетой и ее людьми, — уточнил я.

— Планетой и ее людьми, — утвердительно повторил он.

— Либо — либо, и, а, но, да, или... — пробормотал я, обдумывая ответ. — Союзы, союзы, служебные словечки... — Я болтал так, чтобы сдержать себя, не вспылить, я был очень близок к этому, но вовремя понял: для Уве-Йоргена и всех остальных моих товарищей Даль-2 была лишь небесным телом, маячившим на экране, абстракцией, отвлеченным понятием. Они не ступали по ее траве, не сидели в тени деревьев, не слышали, как поет ветер, перекликаясь с птицами, не вдыхали запаха ее цветов и не преломляли хлеб с ее людьми. И поэтому никто из них не согласился бы сейчас со мной, если бы я пошел напролом. Значит, надо было искать обходный путь.

— Что же, Рыцарь, — сказал я, — альтернативу ты нашел — лучше некуда. Узнаю... Ох, эти альтернативы, исторически обусловленные, эти милые, славные ребята с засученными рукавами и «Лили Марлен» на губной гармошке...

Мы смотрели друг на друга всепонимающими глазами и усмехались совсем не весело, совсем не доброжелательно, а товарищи смотрели на нас, ничего не понимая, потому что это был разговор не для них, а для нас двоих; рискованная проба сил, но мне непременно нужно было дать Рыцарю понять, что вижу его насквозь с самого начала.

Но Уве-Йорген не остался в долгу.

— Ну как же! — ответил он, глядя на меня прищуренными глазами. — Куда предпочтительнее ваше любимое «авось» и «ничего», крик «ура!» в последний момент и загадочная славянская душа, не так ли? Авось пронесет! Вот алгоритм ваших рассуждений, дорогой капитан! Но ответственность слишком велика, и, кстати, в свое время вы научились обуздывать это ваше «авось». Вспомните, капитан!

Я помнил; но, видимо, и он спохватился, потому что то, о чем мы говорили, не называя вещей своими именами, завершилось вовсе не в его пользу. И он тут же сделал заход с другой стороны:

— Так или иначе, капитан, спасибо за услугу, которую ты нам оказал, — разумеется, в соответствии с твоими гуманистическими принципами.

— На здоровье, — ответил я. — А какую именно услугу ты имеешь в виду?

— В те времена это называлось «взять языка», — сказал он, снова усмехаясь, и эта улыбка его мне не понравилась. — Я имею в виду девицу, которую ты привез на борт. Видимо, ты нашел с ней общий язык?

Тут он промахнулся, и я сразу же воспользовался этим.

— Ну, это-то было нетрудным, — сказал я. — Люди там, внизу, разговаривают на том же языке, что и мы.

Для пилота это не было новостью, но остальные члены экипажа не смогли скрыть удивления.

— Как так? — спросил Георгий.

— Я же говорил уже, по-моему, что нашел там старый корабль. Это наш, земной корабль, и люди на планете — потомки людей с Земли. Наши братья!

— Братья, — сказал Иеромонах и повторил еще раз, весомо и убежденно: — Братья. — И вдруг он встал, стиснул руки в кулаки, закинул голову. — Свершим, прилетим на Землю, и нас спросят... И спросил бог Каина: где твой брат Авель? И ответил Каин: господи, разве я сторож брату моему...

И на этот раз только мы трое понимали, о чем речь идет, но Рыцарь, происходивший из лютеран, знал писание, надо полагать, получше меня, а этот эпизод был знаком даже и мне, хотя в школе моей, естественно, не преподавали Закон божий. И я подхватил, не дав пилоту опомниться:

— Ну понятно, Уве-Йорген, разве ты сторож брату моему, твоему, любого из нас — нашему брату? Нет, конечно, разве воин — сторож?

Рыцарь промолчал, и я почувствовал, что сейчас надо закреплять победу.

— Слушать меня! — сказал я командным голосом, чтобы напомнить всем и каждому, кто здесь капитан. — Задачи: найти Шувалова и оказать ему помощь, помочь установить контакт — это раз. Второе: разобраться, сколько населения и где оно. Объяснить людям положение и готовить к чрезвычайным мерам. На корабле останутся: доктор Аверов при всей научной аппаратуре и один член экипажа на вахте. Сейчас останется Гибкая рука, потом, если он понадобится внизу, как инженер, его подменит кто-нибудь другой. Все остальные — на планету. Там расстановка будет следующей: я направляюсь к тем, кто живет в лесах. Питек и Георгий должны будут найти Шувалова, установить с ним связь и выполнять его указания. Уве-Йорген, ты будешь помогать мне. Связь с кораблем: в шесть, двенадцать, восемнадцать и ноль часов по корабельному

времени. Предупреждаю: со связью могут быть помехи, внизу убедитесь сами.

— Ясно, — ответил за всех Рыцарь.

— У меня все, — сказал я.

— Когда вылет? — спросил пилот.

— Сколько времени вам нужно на сборы?

— Немного. Но я подумал вот о чем: перед тем, как покинуть корабль, ребята могли бы провести полчаса в Садах памяти. Зарядить аккумуляторы души, так сказать.

Я не нашел в этом ничего плохого.

— Добро, — согласился я. — Все?

— Да.

— Все свободны, — объявил я.

Я так и думал, что Рыцарь задержится. И он остался.

— Капитан, — сказал он негромко, подойдя ко мне вплотную.

— Слушаю.

— Ты и в самом деле совершенно уверен...

Я кивнул в знак того, что понял его.

— Совершенно? — переспросил я. — Нет, конечно. Тут и не может быть полной уверенности. Но не представляю, как мы можем допустить, что не сделаем всего возможного для всеобщего спасения.

— Ну, хотя бы такой вариант: мы сейчас летим на планету, в воздухе происходит катастрофа — и на поверхность мы прибываем уже в совершенно разобранном виде. Теоретически допустимо?

— Теоретически — да.

— А гибель Земли ты допускаешь, Ульдемир, хотя бы теоретически?

— Не хочу, — сказал я.

— Значит, страховка нужна?

Я знал, что он имеет в виду. И на сей раз был с ним согласен. В этом не было никакого противоречия. Нельзя было обсуждать возможность неудачи перед всем экипажем: когда люди готовятся выполнить тяжелую задачу, они не должны допускать и мысли о возможном невезении. Надо настроиться на игру, как говорили в мои времена. Но в себе я был достаточно уверен, да и Уве-Йорген, кем бы он ни был, оставался человеком долга, и я считал, что на него можно положиться.

— Хорошо, — сказал я. — Какую страховку ты предлагаешь?

— Я думаю вот что. В момент, когда наблюдения покажут, что вспышка назрела, надо, чтобы корабль все же выполнил свою задачу — независимо от всего остального. Такой вариант тебя устраивает?

— Да. Если только положение будет действительно безвыходным.

— Это установит Аверов с его кухней. Ты согласен?

— Установит-то компьютер, — сказал я, — но рядом с ним будет Аверов. Ты что, хочешь замкнуть компьютер непосредственно на установку?

— Это полдела. Для того чтобы действовать, корабль должен выйти в атаку, ты это прекрасно знаешь. Меня ты забираешь с собой, хотя у меня рука не дрогнула бы.

— Гибкая Рука — тоже не из тех, кто струсит.

— Согласен. Сейчас они в Садах памяти. Давай через полчаса встретимся у Руки. Годится?

Я подумал, что Уве-Йорген и тут пытается овладеть инициативой. Но не было причин осаживать его, и я позволил себе лишь самую малость.

— Через сорок минут, Рыцарь.

Он кивнул:

— Я могу идти?

— Уве...

— Ульдемир?

— Почему ты не спросишь ничего о той девушке?

Я сказал так потому, что мне вдруг страшно захотелось поговорить о ней — с кем угодно.

Он покачал головой:

— У нас не было принято обсуждать с начальниками их личные дела. Понимать службу — великая вещь, Ульдемир.

Странные все же существовали между нами отношения, свободные и напряженные одновременно, дружеские — и в чем-то враждебные. Часто мы в своих словесных схватках бродили по самому краю пропасти, которую видели только мы одни; это было только наше — пока, во всяком случае. И, пожалуй, без этого нам было бы труднее.

— Разве службу кто-нибудь понимает? — улыбнулся я.

— Гм, — сказал Уве-Йорген.

— Прости, Рыцарь. Строй — святое место, не так ли?

— Именно.

— Значит... через тридцать пять минут, — сказал я, выходя.

* * *

Анна спала в моей каюте на широком капитанском диване — она даже разделась, как дома, и за это я опять мысленно похвалил ее. Я убавил освещение до сумеречного, сел в кресло и долго смотрел на нее — не как на желанную женщину, а как смотрят на спящего ребенка. Смотрел, не думая, не пытаясь ни опуститься в прошлое, ни подняться в будущее. Не думая о том, не произошло ли час назад между нами в этой самой каюте что-то непоправимое, потому что для каждого действия есть свое время, мы только не всегда верно угадываем его —

или неверно вычисляем... Я просто смотрел, и мне было хорошо, как только может быть хорошо человеку. Тут, как и в спасении людей, нельзя было настраивать себя на возможность неудачи. Только хорошо, только хорошо могло быть — и никак не могло быть плохо.

Так просидел я полчаса. Потом встал и вышел, стараясь ступать неслышно. Жизнь, думал я, шагая по палубам тихого корабля. Она началась еще до того, как я родился, такая жизнь, и вот продолжается сейчас, через тысячелетия. Дела, дела — и любовь в антрактах. Перерыв на обед. Перерыв на любовь... когда-то все дела делались в перерывах любви. И, наверное, получалось лучше, а не хуже.

Но слишком серьезные дела у нас сейчас — жизнь и смерть. И если бы еще только наша... Но ты больше не уйдешь, Анна, милая, у нас теперь все будет пополам — и жизнь, и смерть. Любая половинка этого, а больше нечего предложить тебе.

* * *

— Итак, Рука, корабль изготовлен к походу. Установка заряжена, звезда все время в прицеле, Аверов непрерывно следит за нею, а большой компьютер...

— Кто из нас инженер, Ульдемир, — спросил Рука, — и кто из нас лучше разбирается во всем этом? Может быть, ты хочешь, чтобы я объяснил тебе, как действует установка и как в это время следует вести корабль? Ты готов слушать?

Уве-Йорген, что сидел рядом, чуть улыбнулся. Я нахмурился: со мной разговаривал инженер, а мне инженер сейчас не был нужен. Мне нужен был индеец.

— Рука, — сказал Рыцарь негромко. — А что ты видел в Садах памяти?

— О, — сказал Рука и помолчал, опустив веки. — Многое. Моих вождей и моих детей. И разговаривал с ними. Я был на охоте, и стрелы мои попали в цель. Он снова помолчал. — И потом я снова стоял на тропе войны. Как в тот день, когда меня забрали сюда. Я стоял, стрела летела в меня из засады, и я знал, что она попадает, знал еще за полсекунды до того, как тот спустил тетиву... — теперь в его голосе, негромком и монотонном, чувствовалась ярость, и я воспользовался этим.

— Слушай. Как только окажется, что звезда стала опасной — сигнал даст Аверов, а если не он, то все равно компьютер поднимет тревогу, — тебе придется выполнить то, что мы собирались сделать с самого начала. Ты сойдешь с орбиты...

— Не трать лишних слов.

— Будешь удаляться от звезды, потом затормозишься, сделаешь разворот и выйдешь на нее в атаку.

— Это даже, если никого из вас не будет на корабле?

— Именно в том случае. Потом вернешься к планете и снова ляжешь на орбиту. Если мы не подадим никаких сигналов...

— Сколько времени мне ждать сигналов?

— Если мы будем молчать — ну, скажем, две недели, то это будет означать, что мы умолкли накрепко... Тогда отправляйся на Землю. И там вместе с Аверовым объяснишь все. У Земли будет еще сколько-то времени, чтобы попытаться оказать помощь здешним людям.

— Не забывай, Ульдемир, что я не пилот. Я могу и не довести машину до Земли. Сопространственные переходы — вещь сложная. Может быть, вместо меня на корабле останется Рыцарь, а я полечу с тобой?

Но на это я не мог согласиться: Рука, я знал, выдержит до последнего, а Рыцарь — как знать — мог бы и не дождаться сигнала о действительно критическом положении. Мог ударить по звезде раньше.

— Рыцарь понадобится мне внизу. Что же, Рука, если ты не доведешь машину до Земли, значит... не доведешь.

— Я понял тебя.

— Тебе не страшно?

Гибкая Рука усмехнулся.

— Если бы ты жил среди нас, — сказал он, — то не стал бы спрашивать.

— Ну извини: я не жил среди вас, а у нас в таких случаях было принято спрашивать.

— Нет, Руке не страшно.

— Ну вот и все. Что же, Уве-Йорген, если ты ничего не хочешь добавить, будем собираться и мы.

— Нет, — сказал Рыцарь. — Пока ничего.

* * *

Анна спала глубоким сном, но проснулась сразу же, как только я дотронулся до ее плеча. Она, видно, и во сне была напряжена — вскрикнула и сразу же села на диване. Несколько секунд приходила в себя, потом нерешительно улыбнулась.

— А... вспомнила.

Я сел рядом, обнял ее, положил ладонь на обнаженное плечо. Мы сидели молча. Потом Анна взглянула на меня, и в ее взгляде был упрек.

Я усмехнулся — виновато, по-моему, — и встал.

— Нам пора, — сказал я. — Одевайся, да?

Она кивнула.

— Ты не думай... — сказала она. — Я тоже... Только не сейчас. Я никогда...

— Я все понимаю, — сказал я. — Ребята ждут нас. Надо лететь.

Пока она одевалась в ванной, я взял сумку, кинул в нее несколько мелочей, какие могли пригодиться на планете. «Странная вещь — любовь, — подумал я. — Наверное, она настоящая тогда, когда противоречит самой себе — не решается на то, на чем, по сути, основывается. Единство противоположностей... — Затем я отпер капитанский сейф, вытащил оттуда музейный кольт и две пачки патронов. Взвесил пистолет на ладони и сунул в карман. — Не зря я выторговал его, — удовлетворенно подумал я. — И как же не хотели они давать мне эту штуку! Но тут меня было не переспорить... — Я оглядел патроны и тоже сунул в карман. — Надо надеяться, не подведут в случае чего, — сказал я сейфу. — Проба была удачной. И стрелять я не разучился...»

Вошла Анна — красивая, румяная, причесанная.

— Я готова, Уль.

— Я, кажется, тоже, — сказал я, оглядываясь, проверяя, не забыто ли, по обыкновению, что-нибудь небольшое, но важное.

— Идем?

Я хотел поцеловать ее; она подставила щеку. Мы почему-то часто не понимаем самых простых вещей; если подставляют щеку — это может, кроме всего прочего, означать, что нечего тебе соваться. Но я не подумал об этом.

— Ну, — сказал я обиженно.

— Не надо, — сказала она, и я отворил дверь.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Сучья угрожающе гнулись под его тяжестью, но не успевали хрустнуть: сильно качнувшись, Питек — нет, не Питек, а еще Нхасхушшвассам, так его звали, — перелетал на следующее дерево, руки безошибочно обхватывали облюбованную ветвь, ноги рывком подтягивались к животу, пружинно выпрямлялись — и снова мгновенный полет, другой сук, — не замедляя движения, встать на него, пробежаться до ствола, обхватив руками и ногами, мгновенно подняться на два человеческих роста выше, ухватиться за ветвь, перебирая руками — добраться до ее середины, снова колени касаются груди, распрямляются — и опять тело мелькает в воздухе, повисая на миг над пустотой...

Внизу рос кустарник, внизу с такой быстротой не пробежать, на земле ему не догнать бы оленихи, остаться без добычи, не принести мяса женщинам и детям.

А здесь, наверху, он догнал ее. Мельком заметил два птичьих гнезда: это потом, они не убегут. Язык отяжелел от слюны. Питек быстро, прильнув к стволу (сучок оцарапал грудь;

охотник даже не заметил этого), спустился на самый нижний, толстый сук, скорчился и застыл, готовый к прыжку.

Лань показалась внизу. Бег ее замедлился. Опасности не было. Животное остановилось. Ноздри его раздувались. Оно приподняло ногу для следующего шага. Оглянулось.

Питек бесшумно обрушился сверху — точно на спину. Обхватил обеими руками гибкую шею. Лань рухнула от толчка. Хрустнули позвонки.

Крик победы, крик радости жизни, клич уверенности в себе. Это я, охотник! Это я, сильный и быстрый! Это я, приносящий мясо! Это я! Это я!

Но кто там шевельнулся в кустах? Кто?..

* * *

Медленно, гулко звонил колокол. Дверцы келий распахивались со скрипом. По полу длинного коридора тянуло сырым ветром. Братия шла к заутрене. Тускло мерцали свечи. Красновато отблескивали глаза. Из трапезной несло капустой.

Шла братия неспешно; бывалые мужики, ратники, ремесленные люди шли отмаливать грехи людские за многие колена. Немалые грехи.

Да приидет царствие твое, да будет воля твоя!

Шел и брат Никодим, иеромонах. Шел, привычно шевеля губами, не словами — душой припадая к Господу. От промозглого холодка прятал ладони в рукава.

Господь плохо слушает нынче, и мысли сбивались с возвышенного, тянули вниз, к суетному, к мирскому, что позади уже.

Небогатое было хозяйство, но — с лошадью. Не отдыхал, работал. Зато и жил, не умирал. Как все жил. Чего не хватало?

Не хватало иного. Возвышенного. Таков уж уродился. Был моложе, плакал ночами. Тесно было душе. Мысли: лошадь ли при мне, я ли при лошади? Хлеб сею, дабы ясти, яду же — чего ради? Воистину, человек — единая персть еси.

Мечталось: человек не только будет в земле рыться; есть в мире красота, и дана она человеку от Господа с великим умыслом. А не видит ее человек, попирает лаптями.

Единожды подумалось: красота — от Бога, красота — в боге. И пристала мысль. Не вытерпел; оставил все. Брату оставил, единокровному, единоутробному. Простился. Ушел.

Давно это было...

Молился Никодим бездумно, привычно отмахивал поклоны, осенял себя крестом, а мысли далеко гуляли.

Не нашел красоты и в обители, за дубовым тыном, за крепкими стенами, что сложены на извести, замешанной на куриных яйцах.

Уже и думать стал, сомневаясь: а точно ли есть она? А коли есть, то для человека ли? А может, красота сама по себе, а человек — особо, ползает по ней, яко вошь по подряснику, однако не зрит, понеже не умудрен?

Вздохнул иеромонах брат Никодим. Еще долго стоять. Коленям холодно, но ничего, привык, давно привык.

Брат Феофил приблизил бороду, тихо, только Никодиму, — в самое ухо:

— Слух прошел — поляки нас воевать собираются.

Никодим сотворил крестное знамение:

— Господь поможет...

— Король Стефан. Мимо нас им не пройти, иная дорога не торена.

Моргнул иеромонах, ничего не ответил. Может быть, увидел — в редкие минуты такое бывает дано человеку — себя на стене, что не для того лишь возведена, дабы охранять монаха от соблазнов мирских, но и чтобы противостоять всякому, кто идет с заката. Себя на стене, и стрелу тяжкую, что летит, летит, и все ближе, ближе, медленно, как в тяжелых снах, что от искусителя, от лукавого. Летит, и никуда не деться тебе...

Прощай, белый свет, прости, Господи, за грехи и помилуй.

Прости, красота непознанная...

* * *

Сладок звук кифары, но звонче ударяет бронза о бронзу, звенит меч о пластрон, и копье утыкается в туго обтянутый кожей щит, и трепещет гребень на шлеме.

Для чего жив человек? Чтобы умереть достойно.

Какая смерть достойна? Только в бою.

Воин падает в бою, и Спарта будет оплакивать гоплита и радоваться тому, что не перевелись еще истинные мужи.

Дети вырастут и возьмут твой меч, и наточат, чтобы одним касанием сбривать черные бороды вместе с головами.

Легкий воздух Фермопил врывается в легкие. Больше! Больше!

Шаг в сторону — и копье пролетает мимо. Бессильно лязгает о камень за твоей спиной.

А-а!

Шаг вперед — и удар мечом. Ужас в чужих глазах, за миг до того, как хлынувшая кровь зальет их. Как раковина под сандалиями, рассыпается круглый, чужой шлем.

Кипит бой, и звенят перья Эриний.

Не выдержав, отходят наемники — что им Спарта? — и персы накатываются слева, подобно волнам морским.

Нет пути назад...

Хха! — выдох при ударе.

Сражался справа Ипполит. Где ты?

Уже сидит Ипполит в зыбкой лодке, и Харон, перевозчик, медленно движет веслом. Не плещется тяжелая вода Стикса...

Хха!

Кто, кроме нас, рожденных Спартой, устоял бы, не обратился в бегство?

Никто.

Хха!

И еще раз: хха!

И еще...

Как отяжелела рука. И льется кровь. Когда это?.. Не заметил.

Неужели это последний бой?

Или там, в селениях блаженных, воины тоже выходят — против тех, кто не был угоден богам, кто бежал с поля, кто предал свой город и свой народ, своих старцев и женщин, своих детей и их детей, и своих богов, и честь свою? Выходят воины, и те, презренные, снова бегут, но не дано им убежать, и их будут убивать честные воины, убивать по десять раз и по десятью десять раз, и все страшнее будет их страх, и все ужаснее — ужас, и мутная их кровь будет течь по лезвиям наших мечей, и земля не впитает ее, сухая земля той, другой Спарты, которая, конечно же, есть в тех селениях...

Только так и должно быть.

Не берите меня, я хочу испустить последний свой вздох здесь, на этих камнях, где рядом лежат наши воины, а другие еще сражаются.

Не берите меня!..

* * *

Они вышли из Садов памяти, каждый из своего, замкнутые и молчаливые. Быстро уложили сумки.

Ульдемир и Уве-Йорген ждали их у эллинга.

Анна увидела приближающихся членов экипажа и невольно прижалась к капитану. Так блестели их глаза, таким сверлящим был взгляд.

Дверь бесшумно отъехала, открывая доступ к катерам.

* * *

Оба катера оторвались от корабля почти одновременно. Аверов и Рука провожали их взглядом, пока светлые точки на экране не погасли, совместившись с диском планеты.

Тогда Рука сел.

— Кури, доктор.

— Да, у вас не курят. У нас курят. Я буду курить.

Он закурил.

— Правильнее было бы сказать — у вас курили, — деликатно проговорил Аверов.

— Сейчас, думаешь, не курят?

— Сейчас?.. Это было ведь так давно, сейчас всех вас давно уже нет.

— Да, — согласился Гибкая Рука спокойно. — Так мне говорили. Всем нам так говорили.

— А вы что же, не верите этому?

— Не знаю. Знаю, что они — очень далеко. Так далеко, что я, наверное, никогда больше их не увижу. Мое племя — здесь. Капитан, Рыцарь, даже ты — мое племя.

— Гм... Ну да...

— Но то племя, которое было моим раньше, — оно есть. Раз я есть — почему же не быть моему племени?

— Но ведь прошли столетия...

— Я этого не понимаю. Меня взяли, увезли. Я рад. Иначе я остался бы совсем без волос — и без головы тоже. — Рука не засмеялся: он не умел смеяться. — Увезли далеко, доктор. Но там, откуда меня увезли, — они все остались. И сейчас тоже живы, я знаю. Только старики, наверное, уже умерли. Некоторые. А другие живут. Не надо говорить, что это не так. Я понимаю так. Не могу понимать иначе.

— Хорошо. Я не буду говорить об этом.

— Кури. Ах, да... Слушай. Завтракать, обедать, ужинать мы будем вместе.

— Хорошо.

— Нас слишком мало осталось, поэтому будем вместе. И каждый раз ты будешь говорить мне, как дела. Как звезда.

— Зачем?

— Так надо.

— Но вы же не поймете — вы не специалист...

— Пусть доктор думает — это потому, что Рука на связи. Если капитан спросит, чтобы Рука сразу мог ответить.

— Но ведь можно пригласить меня...

— Наверное. Но ты понял: три раза в день ты будешь говорить мне. Ты покажешь мне, как увидеть, что звезде хорошо, и как увидеть, что ей плохо. Ночью доктор будет отдыхать. Наблюдать будет Рука.

— Зачем? Есть же приборы, есть компьютер, учитывающий все, он сам подаст сигнал...

— Рука понимает: инженер. Но он хочет сам. И будет. Рука верит себе больше, чем машинам, хоть он и инженер.

— Когда же будет отдыхать Рука?

— Потом, — сказал индеец. — Потом. Отдыхать он будет вместе со своими. С теми, кто остался далеко...

— Не понимаю...

— Ты много не понимаешь, доктор. Я понимаю.

И хватит.

* * *

Застекленная крышка в потолке откинулась, спустили лесенку. Несколько пар глаз смотрели сверху.

Шувалов поднялся по лесенке. Он оказался на площадке — скорее всего, на плоской крыше строения, — обнесенной невысоким парапетом. Его окружили несколько человек; четверо особо мускулистых — должно быть, санитары; двое были, видимо, врачами. Шувалов глядел на них с откровенным любопытством.

— Иди туда, — сказал один из врачей и вытянул руку.

— Я просил бы все-таки позволить мне умыться и прочее, — проговорил Шувалов.

— Конечно. Это там.

Шувалов подошел к краю площадки в том месте, где в парапете был выем. Вниз вела деревянная, из толстых брусьев лестница с перилами. Строение оказалось одноэтажным, еще несколько таких же виднелось по соседству, стены их снаружи были расписаны цветными линиями и пятнами. Цвета гармонировали, смотреть на них было приятно, и Шувалов почувствовал, как утихает в нем поднявшаяся было тревога: все-таки от предстоящего разговора зависело многое.

— Ты боишься спуститься? — спросил тот же врач.

— Я просто любуюсь. Красиво.

Шувалов имел в виду не одну лишь роспись; обширный, обнесенный высоким тыном участок вмещал не только домики — тут и там тенистыми купами возвышались деревья, и каждая группа их была непохожа на все остальные и оттенком зеленого цвета, и формой ветвей, и очертаниями кроны; каждая группа говорила о каком-то чувстве: радости, грусти, уверенности...

— Да, — согласился врач. — Может быть, тебе помочь?

— Благодарю. Я сам.

Пока он мылся, санитары не спускали с него глаз. Полотенце было шершавым, грубоватым.

— Я готов, — молвил Шувалов с облегчением.

Его провели к врачу. Там было и похоже, и непохоже на кабинет врача на Земле: светло и чисто, и даже стеклянный шкафчик стоял, но не было той электроники, автоматики,

оптики, без которой трудно было бы себе представить современную медицину.

Санитары остановились за спиной, у двери. Врач сидел за столом.

— Садись... Ну, как ты себя чувствуешь?

— Благодарю вас, прекрасно. Но прежде чем я буду отвечать дальше на ваши вопросы, позвольте задать один мне.

— Ну... пожалуйста.

— Долго ли мне придется пробыть здесь — разумеется, в случае, если я буду признан здоровым?

— Не более двух недель. Ты знаешь, конечно, из скольких дней состоит неделя?

— Полагаю, что из семи, если...

— Ах, из семи.

Врач переглянулся с другим, сидевшим сбоку.

— А какой сегодня день недели?

Шувалов подумал. Пожал плечами.

— Откровенно говоря, было столько дел, что я не следил...

— Если ты затрудняешься с ответом, так и скажи. Итак, ты не помнишь, какой сейчас день недели. А какой месяц и какое число?

— Ну, по нашему календарю...

— Прости. Что значит — по вашему календарю? Он у вас другой?

— Видите ли, объяснение этого надо начинать издалека...

— О, у нас есть время, и у тебя его тоже достаточно.

— В этом я как раз не очень согласен с вами. Дело в том, что... Вы — врач, следовательно, человек, не чуждый науке, научному образу мышления. И вам сравнительно нетрудно будет понять то, что я должен сказать.

Он умолк, поймав себя на мысли, что ему как-то очень легко — и вместе очень трудно разговаривать с этими людьми. Легко — потому что они каким-то образом располагали к откровенности. Трудно — потому что для него, человека своего времени, как и для всех, кто родился и жил в его эпоху, не составляло труда следить за ходом мысли собеседника, понимать движущие им мотивы и предугадывать выводы; но, как оказалось, это было применимо лишь к современникам: уже члены экипажа вовсе не являлись для Шувалова открытой книгой, неожиданные, непредсказуемые эмоции врывались нередко в их логику, искажая или вовсе подавляя ее, а порой, напротив, в момент взлета эмоций в них вторгался холодный расчет — чего современники Шувалова себе тоже не позволяли, ратуя за чистоту и мысли, и эмоции, четко отделяя то, что было подвластно чувствам, от всего, что должно было

решаться лишь рассудком. А теперь, сидя напротив этих врачей, Шувалов почувствовал, что они, современники деревянных строений и вещей, не уступают ему в умении проникать в глубь человека, но делают это как-то по-другому, а для него остаются непонятными, как мощная станция, что работает тут, рядом, но на той частоте, какой нет в вашем приемнике.

— Ты задумался? Можешь быть уверен — мы постараемся понять тебя, — врач мельком переглянулся с другим снова. — Итак?

— Я просто думаю, с чего начать, чтобы...

— Я советую, чтобы было легче, начать с того, что сильнее всего беспокоит тебя именно в эту минуту. Ты знаешь, что больше всего беспокоит тебя?

Шувалов хотел сказать, что больше всего его сейчас беспокоит то, что нужен контакт на самом высоком уровне, а его, этого контакта, нет, но внезапно понял, что это не самое сильное беспокойство, просто он привык так думать. Сильнее сейчас было другое, а не вспышка, не ее угроза.

— Понимаете ли... Конечно, первоисточник всего — это предстоящая вспышка вашего светила, его взрыв. Мы можем предотвратить этот взрыв, погасив ваше солнце, — разумеется, не сразу, а постепенно, но так или иначе это сделает жизнь на вашей планете невозможной. Однако воздействие на ваше светило можно производить по-разному: можно форсировать, а можно воздействовать длительно. От этого зависит, какая часть его энергии в единицу времени будет уходить в сопространство, иными словами — как быстро станет оно остывать. Если бы сейчас на корабле у пультов находился я, то, конечно, выбрал бы медленный вариант. Но сейчас там — другой ученый. Он знающий и способный человек, но он моложе меня. Значительно моложе. Как и я, он теперь на два-три года выпал из научного процесса там, на Земле. Но если для меня это уже не имеет особого значения — по многим причинам, — то для него дело обстоит иначе. Он должен — и будет — спешить. И если у пультов в момент воздействия окажется он, то наверняка проведет его на пределе, звезда — ваше солнце — начнет гаснуть куда быстрее, и мы не успеем даже перевести вас под землю, даже проделать подготовительные работы... Вот в этом для меня сейчас — главное беспокойство... Но если, допустим, я сейчас получу возможность вернуться на корабль, то кто же установит контакт с вашими правителями? Кто объяснит им всю ситуацию, в которой оказались и вы, и мы? Теперь вы понимаете, почему контакт нужен мне как можно скорее?

— Мы все понимаем, не сомневайтесь. Теперь мы хотим спросить...

— Рад буду ответить...

* * *

Врачи сидели в опустевшем кабинете. Шувалова увели санитары.

— Наш судья, конечно, не светоч разума, — сказал один. — Но на этот раз он не ошибся. Да и кто бы тут ошибся? Такая великолепная картина... О чем ты задумался?

— Смотрю. Взгляни и ты — как прекрасно играют тени на стене.

— Это солнце светит сквозь листву. Чудесно.

Они помолчали, наслаждаясь.

— Задерни занавеску до половины. Правда, еще лучше?

— Великолепный контраст... Да, ты говорил о картине. Она слишком прекрасна.

— У тебя какие-то сомнения?

— Все дело в предпосылках, понимаешь, все, что он говорил, укладывается в довольно строгую систему — я, как мы уговаривались, следил за логичностью и обоснованностью изложения и выводов. Да, в очень строгую систему...

— Ну, при заболеваниях психики это не такая уж ред-кость.

— Согласен. И тем не менее...

— Неужели ты собираешься поверить хоть единому его слову? Это такой же человек, как мы с тобой... только, к сожалению, больной. Бред, навязчивые идеи...

— Обождем немного с диагнозом.

— Ну, знаешь ли, если мне надо выбирать между двумя возможностями: поверить в пришельцев из иного, высокоразвитого мира — или диагностировать паранойю, то я вернее всего предпочту второе. Не пойму: что смущает тебя?

— Не забудь, что мой сын — астроном.

— Прекрасно помню. И что же?

— Пусть он поговорит с больным.

— Ты хочешь устроить экспертизу?

— Мы ведь специалисты только в своей области. Видишь ли, если он бредит, то в чем-то — большом или малом — неизбежно нарушит положения науки, выйдет за их пределы. Мы с тобой ничего не заметим, а специалист поймет.

— Хорошо, ты убедил меня. В конце концов, время у нас есть; будь мы даже уверены, что он совершенно нормален, закон не позволил бы нам выпустить его, не проведя всей программы обследования, раз уж он направлен сюда официально, а не явился сам.

— Да. Вечером я попрошу сына...

* * *

Их было много, человек сто или даже больше. Они шли по дороге, не торопясь, лопаты, оружие и черный ящик везли позади на телеге, а за ней тянулся длинный хвост долго не оседавшей пыли. Шли кучками, кто молча, кто негромко переговариваясь.

— Готфрид Рейн принес сына.

— Счастье в дом...

— Кончается подошвенная кожа.

— А сколько тебе на следующий месяц?

— Сколько сделать? Еще не сказали...

— Иероним Сакс ушел в лес.

— Жаль. Хороший кузнец был.

— Но с фантазиями. Видел красоту в куске железа. Ты видишь?

— В куске железа — нет. Но я и не кузнец... Жаль, что ушел. Мне пришло время взять новую лопату. Думал, он сделает. Была бы славная лопата.

— Ничего, сделает другой.

Передние остановились. За ними и остальные.

— Закат, — сказал кто-то. — Полюбуемся. Красиво.

Закат и правда был красив. Медленный перелив красок на небе. Одинокое облачко. Треск насекомых в высокой траве по сторонам дороги. Сильный запах цветов, что раскрывают свои чашечки по вечерам.

Постояли. Пришел час смотреть на солнце. Сняли с телеги ящик, посмотрели — серьезно, истово, до устатку. Потом разошлись по обе стороны дороги и стали устраиваться на ночлег. Поужинали холодным, запивая водой.

— Перед рассветом поднимемся. Встретим восход, посмотрим на солнце — и в путь. Недалеко уже.

Смотреть на солнце полагалось всегда — дома ли, в дороге ли. Зимой и летом. Мужчинам и женщинам. Только детям не надо было и старикам тоже.

Солнце село; зажглись звезды, узор их был вечен и надежен.

— Какая ночь!

— Благодать.

— Спокойного сна.

— И тебе тоже, друг.

* * *

Астроном пришел к Шувалову этим же вечером: ему не терпелось. Был он молод, высок, вежлив. Войдя, полюбовался, как полагалось, горящей свечой, игрой светлого пятна на потолке. Объяснил, кто он и зачем явился.

Шувалов вечером был сердит, потому что надеялся, что врачи, люди разумные, после искреннего разговора его отпустят. На Земле так и произошло бы, потому что сама беседа была бы вовсе не главным: там были приборы, психиатрия давно стала наукой точной. А здесь, видимо, обходились лишь опытом и интуицией. Все это, как знал Шувалов, временами подводило. Вот и на сей раз подвело.

— Ах, астроном! — сказал он и подумал, что и астрономия тут, видимо, основана на интуиции и, значит, разговора тоже не получится: его выслушают, но не поймут.

И все же пытаться надо было до последней возможности.

— Вас, что же, врачи прислали?

— Да.

— А зачем же это? Скрасить мое одиночество или учинить экзамен? Я, впрочем, готов ко всему. Спрашивайте, если угодно.

— Они сказали, что ты тоже астроном.

— Тоже? Я?! Ну, пусть я «тоже». Интересно! Да, во всяком случае там, откуда я прибыл, меня считали далеко не самым худшим из представителей этой науки.

— Откуда ты прибыл?

Это «ты» каждый раз прямо-таки било Шувалова по нервам. Он с неудовольствием подумал, что теряет контроль над собой. Уважающий себя человек не допустит такого. Но обстоятельства были из ряда вон выходящие. Он сделал усилие и успокоился.

— Как вам объяснить... Галактического глобуса у вас, разумеется, нет: для него нужен компьютер. Но хотя бы карта, друг мой, карта ближайших звезд. По сути дела, мы ведь соседи...

Карта у астронома была с собой. Он разложил ее на столе. При слабом свете свечи приходилось напрягать зрение, но Шувалов довольно быстро разобрался.

— Вот та звезда, откуда мы, — сказал он, показав.

Астроном вгляделся.

— Ага, — озадаченно сказал он.

— Что вас смущает?

— Меня... Ты хорошо знаешь легенды?

— Ваши? Откуда же?

— Да, я все забываю, что ты прилетел. Ты ведь такой же, как мы. Чем ты объяснишь такое сходство?

— Мы прилетели оттуда же, откуда и ваши предки.

— Легенда... — повторил астроном. — Ведь на самом деле у нас не было и нет предков: наш источник — Сосуд. Но пусть... Что же привело вас сюда? Откуда вы узнали о нашем существовании? Путем наблюдений?

То была маленькая ловушка: на таком расстоянии наблюдения ничего не могли дать.

— К сожалению, мы и понятия не имели о вашем существовании. Иначе явились бы более подготовленными. Нет, просто мы обнаружили, что ваша звезда является источником опасности для нас. Ваша астрономия имеет представление о Сверхновых?

— Да.

— И о переменных вообще?

— Безусловно.

— Относите ли вы ваше солнце к переменным?

— Да, — ответил астроном, чуть помедлив.

— Как вы оцениваете амплитуду колебаний его излучения?

— В пиках — плюс-минут полпроцента.

— Вот как! Но недавно был пик... Мы его зарегистрировали. Он намного превосходит по значению ваши полпроцента. И лишь благодаря его кратковременности...

— Я знаю. Был очень облачный день. Таких не бывает десятилетиями. Вообще у нас очень ясная погода. Круглый год.

— Видимо, у вас хорошие условия для обсервации. Но дело не в этом, облачный день или ясный — не имеет значения. Итак, вам известно об этом скачке. А знаете ли вы, друг мой, что такие вот внезапные резкие колебания уровня излучения являются, по Кристиансену, — и я убежден, что это так и есть...

— Это какой Кристиансен?

— Жил раньше на Земле такой астрофизик. Он и разработал основы теории признаков возникновения Сверхновых. Ваша звезда относится как раз к такому классу, который, по Кристиансену...

— Мы знаем это. Но я же говорю тебе: у нас все время стоит ясная погода. И уровень населения никогда не опускается до опасного минимума. Чего же волноваться?

Да, подумал Шувалов. Горох об стенку. Бесполезно пытаться.

— Друг мой, если вы действительно ученый... Не стану больше объяснять, но поверьте: это страшно важно!

— Мне очень хочется, чтобы ты меня понял. Не представляю, как можно не понять... Лучше я сейчас принесу книги, таблицы...

— Так ли уж нужно убеждать меня? Лучше убедите врачей выпустить меня. Я должен во что бы то ни стало рассказать обо всем вашим... Хранителям Уровня или как их там.

— Врачи говорят, что отпустят тебя. Через две недели. Раньше запрещает закон.

— Поздно, вы не не успеете... Скажите им что-нибудь, что убедило бы их... Что я страшный преступник, что меня нужно как можно скорее доставить к ним, чтобы предотвратить...

— Все и так знают, что ты виновен в нарушении Уровня. Но это не такое уж страшное преступление. Если бы Хранители стали сами заниматься такими делами, у них не осталось бы

времени ни на что другое. Успокойся. Я сейчас принесу тебе мои книги. Среди них есть очень-очень старые, тебе будет интересно...

И астроном вышел. Снаружи стукнула щеколда.

Шувалов мрачно глядел в пол, подперев рукой подбородок. Все бессмысленно. Никто не хочет и пальцем пошевелить, чтобы спасти себя и всех остальных. Но не надо, на детей не надо гневаться. Их нужно воспитывать. Огонь у детей отбирают и силой, и в этом нет жестокости.

Хранители Уровня не захотят выслушать Шувалова, как ученого, потому что не в состоянии понять всю меру опасности. И как преступника — потому что преступление его заурядно и не опасно.

А какое преступление тут — самое страшное?

Везде и всегда самым страшным будет убийство. Лишение человека жизни.

Шувалов содрогнулся, представив себя убивающим человека. Ничего более дикого, противоестественного, невозможного быть не могло. Кажется, он не зря оказался у психиатров: сознание его ушло от нормы.

Но если нет другого способа обратиться к правителям этого мира, чтобы спасти множество других людей, живущих здесь, дать им время, чтобы они ушли под землю, успеть вызвать помощь из мира великой Земли? Если другого способа сейчас, здесь он не видит, а делать надо именно сейчас и именно здесь?

Ты не в состоянии, сказал Шувалов себе. Не можешь. Как бы ни признавал необходимость чего-то подобного — не сможешь, ты, хороший, добрый, слабый современный человек.

Постой. Но ведь, собственно, смерть человека тебе и не нужна. Тебе нужно, чтобы твоим намерениям поверили, — этого, пожалуй, будет вполне достаточно.

Надо только правдоподобно изобразить. Если бы еще знать, как это делается...

Шувалов встрепенулся, услышав шаги.

Дверь отворилась. Астроном заходил спиной: руки его были заняты — он тащил стопку книг и еще что-то, какой-то чемодан или ящик — деревянный, плоский.

Ящик!

Шувалов не дал ему повернуться. Рванул ящик. Астроном стал медленно поворачиваться. Шувалов зажмурился и, с искаженным лицом, ударил астронома деревянным чемоданом.

Кажется, астроном вскрикнул. Шувалов ударил еще раз. Он даже не хотел этого, получилось как-то само собой.

Ящик развалился: был он сделан из тоненьких досочек. На пол посыпались какие-то стеклышки, проволочки, планки...

Прикрывая затылок руками, астроном убегал по коридору. Шаги его были неверны. Он кричал — почему-то негромко, словно стесняясь.

Шувалов, пошатываясь, подошел к прибитому к полу стулу. Сел. Уронил голову на руки. Его мутило и хотелось плакать, как если бы он был еще совсем маленьким...

* * *

Солнце здесь уже взошло, когда два катера повисли над лесом в поисках удобного для посадки места.

Что-то двигалось внизу. Люди, и немало. Больше, чем их оставалось здесь, когда капитан с Анной сели в катер и взлетели к кораблю.

Малый катер приземлился первым.

И сразу же в колпак ударила тяжелая стрела.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Это была еще не война. Просто власти, видимо, зачем-то послали своих людей сюда — может быть, чтобы выставить, наконец, охрану вокруг запретного холма, — и пришедшие наткнулись на ребят, ожидавших тут моего возвращения. К счастью, огнестрельного оружия у нагрянувшего войска не было, хотя, как выяснилось несколько позже, вообще-то оно у них существовало. И вот атакующие швыряли из арбалетов стрелы чуть ли не в руку толщиной, а парни метали в них сучья и разный мусор. Все это делалось так, словно главной задачей и нападавших, и оборонявшихся было — ни в коем случае не задеть ни одного человека, так что убитых в схватке не было, и раненых тоже. Как мы убедились впоследствии, стычки на этой планете, и так весьма редкие, скорее всего напоминали шахматные партии, где шансы сторон подсчитывались по определенным правилам и набравший больше очков объявлялся победителем. По-моему, вовсе не так глупо, как может показаться на первый взгляд.

Пока что потасовка шла с переменным успехом, и я не знаю, к какому результату привела бы эта, пользуясь терминологией моего времени, странная война, — но тут подоспели мы.

Правда, в игру мы вступили не сразу. Над полем брани наши катера проскользнули так стремительно, что сражающиеся нас просто не успели заметить, а попавшая в катер стрела была направлена вовсе не в нас, а просто в сторону — подальше от живых людей. Мы посадили катера в сторонке, рассудив, что рисковать машинами не стоит ни в коем случае.

Но и очутившись на твердой земле, мы вступили в дело не сразу, потому что возникла проблема морального порядка: а следует ли нам вообще ввязываться в чужую драку, какое право мы имеем на такое вмешательство? В конце концов, у этих людей были свои проблемы, свои законы и обычаи, а мы, незнакомые ни с тем, ни с другим, ни с третьим, могли, пожалуй, больше напортить, чем помочь. Впрочем, тут нужна оговорка: такого рода мысли возникали вовсе не у всех членов экипажа, и даже не у большинства. Для Георгия и Питека таких проблем вообще не существовало: драка оставалась дракой, и мужское достоинство требовало немедленно в нее вмешаться. Уве-Йорген, продукт куда более поздней цивилизации, был военным по профессии, и для него сражение было единственной возможностью использовать знания и опыт, которыми он обладал. Мысль о невмешательстве пришла в голову Никодиму, и я сначала поддержал его.

— Подумай, капитан, — возразил мне Уве-Йорген, нетерпеливо расхаживая взад и вперед возле катера. — Ведь ответственность за это лежит на нас!

— За что? — ответил за меня Никодим. — Они не убивают, не бьют даже. Лукают в воздух, и пусть их. Надоест, перестанут.

— Тех больше, — сказал Рыцарь. — И в конце концов они одолеют. Что будет тогда с этими мальчиками?

Я оглянулся на Анну. Она все время порывалась что-то сказать, но не решалась перебить нас. Теперь она поспешно проговорила:

— Их пошлют в Горячие пески... Это очень плохо.

— Ты ведь говорил, капитан, что они остались тут, чтобы дождаться тебя, — напомнил Уве-Йорген. — Поэтому я и говорю, что ответственность лежит на нас: если бы не ты, они, может быть, давно бы уже удрали, но они держат слово. Они мне нравятся, капитан.

— Да скорей, пожалуйста! — жалобно сказала Анна. — Ну как вы можете спокойно разговаривать, когда там...

Я понял, что мы с Иеромонахом, скорее всего, неправы, и сказал:

— Ладно, ребят надо выручать. Только, пожалуйста, играйте по их правилам. Все поняли? Вперед!

— С фланга, — сказал Рыцарь, и мы, сделав крюк и укрываясь за деревьями, обрушились на защитников Уровня как снег на голову.

И тут я понял, что значит воспитание. Видимо, не зря «нас всех учили понемногу»: драка сразу стала похожа на игру в одни ворота, хотя у наших не было даже луков, не говоря уже об арбалетах. Мы ударили, когда противник вовсе не ожидал этого. Питек при этом играл роль артиллерии крупного калиб-

ра: он метал сучья с таким же изяществом и непринужденностью, как австралийские аборигены свои бумеранги; Никодим вооружился мощной дубиной и вышибал ею оружие из рук противников, Георгий подобрал какую-то палку и действовал ею, как мечом; он, правда, не наносил ударов, но так убедительно показывал, что сейчас нанесет, что любой испугался бы. Ну, а что касается Уве-Йоргена, то он выглядел в драке, как человек, направляющийся на свидание с любимой девушкой, — он прямо-таки излучал блаженство, шел на противника, не сгибаясь, в два счета отнял у одного из наступавших арбалет и выпустил пару стрел очень точно, заставив их прогудеть в сантиметре от ушей тех воителей, кто пытался поддерживать в остальных ратный дух. Те сразу поняли намек, повторять им не пришлось.

Я участвовал в сражении меньше всех. Видя, что наша берет, я отошел в сторону и только следил, чтобы кто-нибудь из наших в азарте не стал драться всерьез. Все-таки мы поступали необычайно глупо. Сражались с теми, кого, несомненно, послали власти, — а ведь именно с властями мы должны были вступить в контакт. Теперь наша задача могла сильно осложниться — стоило только властям узнать, что мы выступили против них. Может быть, начинать следовало все-таки с переговоров, а не с драки?

Пока я размышлял, сражение успело закончиться. Деморализованный противник бежал, а мы подобрали трофеи — арбалеты, стрелы, короткие дубинки. Хватились Иеромонаха — его не оказалось среди нас; но не прошло еще и десяти минут, мы не успели даже организовать поисковую группу, как он появился, и не как-нибудь, а верхом на лошади; потом оказалось, что она была из обоза — тащила телегу, полную лопат, топоров и еще разной разности.

Это была картина: прямо Минин и Пожарский в одном лице. Так и казалось, что вслед за нашим Иеромонахом из лесу выступит дружина в синеватых кольчугах, с секирами на плечах и короткими славянскими мечами у пояса, или, если уж не дружина, то по меньшей мере тридцать три богатыря; кудлатая борода нашего воина хорошо монтировалась с представлением о дядьке Черноморе. Однако больше никто из лесу не вышел, и Иеромонах подъехал к нам в гордом одиночестве.

Но я смотрел уже не на него. Случайно взгляд мой зацепился за Уве-Йоргена, и я поразился: до чего же любовь меняет человека! Это был уже не суровый воин, каким он чаще всего казался, не умудренный невзгодами, слегка презрительный скептик; он весь светился изнутри, в глазах его было счастье, и руки дрожали. Он медленно встал, шагнул, постоял, шагнул еще раз — словно боясь, словно не веря тому, что это — не мечта, а реальность. Потом в два прыжка оказался

у лошади — и обнял ее за шею, и припал к ней лицом, и даже, кажется, заплакал, и гладил ее, и бормотал что-то на своем родном хоходойч — на языке, в котором тут разбирался, пожалуй, я один, и то не бог весть как; в конце концов он едва не силой стащил Иеромонаха, вскочил в седло, и мне даже захотелось поверить, что он и в самом деле был рыцарем и в свое время совершал в седле такие походы, на какие и несколькими веками позже не всякий бы отважился, — был рыцарем, а не просто любителем верховой езды из какого-нибудь аристократического клуба. Вот как бывает: кажется, ты знаешь о человеке все — даже то, чего он никак не афиширует, — и вдруг в результате какого-то пустячного происшествия начинаешь видеть его совсем с другой стороны, пусть общей картины это и не меняет.

Подошел Георгий; он, по традициям своего народа, преследовал противника до самой опушки; назад он тоже вернулся бегом, и после этого ему можно было дать ручные часы, и он разобрал и собрал бы их без единой осечки — до такой степени были тверды его руки и спокойно дыхание; а ведь бегал он не трусцой. Он тоже увидел коня; я испугался, что эти трое — Рыцарь, Иеромонах и гоплит — передерутся насмерть; пришлось употребить власть и определить, что лошадь впредь до особых распоряжений поступает в число средств передвижения, как оба катера, а ездить на ней будет тот, кому в данный момент это потребуется по обстоятельствам.

Уве-Йорген, конечно, сразу же заявил, что у него такие обстоятельства имеются: надо, мол, объездить весь этот район, проверить, нет ли засад и не шныряют ли вражеские лазутчики. Я сказал:

— Ты прав, Рыцарь, только разведка — не для кавалерии, и это сделает Питек — обойдет весь район, даже не ступая на землю. А у нас есть дела посерьезнее.

Уве-Йорген, кажется, всерьез обиделся, но дисциплина была у него в крови, и он подчинился беспрекословно, только надвинул берет на нос — в знак недовольства начальством.

Но я и на самом деле считал, что у нас есть более важное занятие. Поэтому, наведя относительный порядок, я попросил Анну заняться обедом, пока мы посовещаемся.

Она одарила меня не очень любезным взглядом и сказала:

— Это опасно: я могу вас отравить.

— Ну, — усомнился я, — вряд ли мы заслужили...

— Нет, просто я так готовлю.

И все же пришлось пойти на риск: нам были очень нужны рабочие руки. И я сказал собравшимся — экипажу и ребятам с девушками, страшно гордым тем, что оказали сопротивление страже и одержали победу (хотя и с помощью воздушно-десантных войск):

— А мы сейчас попробуем раскопать эту гробницу. — И указал на холмик, на могилу старого корабля.

— У нас не археологическая экспедиция, — возразил Рыцарь.

Я сказал:

— Меня просто поражает эрудиция лучших представителей рыцарства. А также их здравый смысл. И все же это не так глупо, как кажется на первый взгляд.

Уве-Йорген не сдался.

— Даже элементарные тактические соображения, — сказал он, — не позволяют остаться там, куда вскоре могут нагрянуть превосходящие силы противника.

— Не так-то уж и вскоре, — возразил я. — Не забудь, что у них нет ни мотопехоты, ни десантников.

— А мы-то что выиграем? — спросил он.

— Может быть, и ничего, — признался я. — Но не исключено, что многое.

— Ты думаешь?

— У меня есть все же какое-то представление о том, как снаряжались в ту пору экспедиции. С точки зрения логики, люди, поставившие своей целью разыскать и колонизировать пригодную для обитания планету, должны были пройти специальную определенную подготовку, ты согласен? А это значит...

В глазах Рыцаря блеснул огонек, и я понял, что моя мысль дошла до него.

— Кроме того, — добавил я, чтобы окончательно добить его, — если мы захотим сию же минуту эвакуироваться отсюда, то Буцефала придется оставить: в катер его не запихнуть.

На это я и рассчитывал: ни Уве, ни Иеромонах с Георгием теперь по доброй воле не расстались бы с обретенным конем. И больше разговоров об отступлении не возникало.

Грунт здесь был песчаный, сухой и легко поддавался. Поразмыслив, мы предположили, что нос корабля находится в той стороне, где был подкоп, — в этом нас убедила едва заметная кривизна борта. Нам нужно было найти люк, мы не знали, где он может находиться, но решили, что примерно в одной трети общей длины от носа. Это было, конечно, чисто интуитивное решение. Так или иначе, мы принялись копать, оставив в дозоре только двух девушек.

Мы провозились до вечера, подобрались к борту в намеченном месте, но люка, к нашему огорчению, не нашли. Теперь надо было расширить прокоп, но это мы решили отложить до завтра. Стемнело, и волей-неволей пришлось трубить конец работ.

Мы разожгли костры, кое-как поужинали и потом еще долго сидели, глядя на пламя и думая каждый о своем. Питек

как-то незаметно уснул у костра — ему было не привыкать. Иеромонах, кряхтя, соорудил подстилку из лапника, а над ней — что-то вроде навеса из того же материала, и вскоре они с Георгием тоже заснули. Уве-Йорген, проворчав что-то относительно уровня комфорта, направился спать в большой катер, а мы с Анной остались у костра одни, потому что ребята с девушками ушли спать куда-то в другое место — стеснялись нас, что ли. Анну они не пригласили, и я понял, что для них ее судьба представлялась уже решенной, — не знаю только, ко благу или наоборот.

Но мне вовсе не казалось, что все решено, да и ей тоже. И мы сидели молча, и даже не рядом, и только изредка бросали взгляды друг на друга, а главным образом глазели на костер, где, догорев, сучья разламывались на угольки. Мне все равно было бодрствовать еще часа два — я определил, что первую вахту буду стоять сам; Анна же, наверное, не знала, что ей делать. И я тоже не имел понятия.

Мы были знакомы, если разобраться, неполные сутки, и я не знал, каково ее отношение ко мне — если не считать того естественного уважения, которое она должна была испытывать ко мне хотя бы потому, что я прибыл издалека, из другого мира, и знал многое такое, что ей и не снилось. Но для женщины все это может играть какую-то роль, а может и не играть никакой; и во всяком случае, это еще не повод, чтобы приблизиться к ней вплотную. Правда, у меня было чувство, что сейчас она пошла бы за мной, не говоря ни слова, и все, что могло бы случиться затем, приняла бы не только как неизбежное, но и как должное. Но я отлично понимал, что все это еще ничего не означало бы: просто день для нее необычно начался, необычно продолжался и, вполне закономерно, мог так же необычно и закончиться: день, когда все происходило в первый раз и девочка, кажется, была настолько ошеломлена всем, что не удивилась бы, если бы и еще что-то произошло сейчас впервые для нее.

Все было так; только я — так — не хотел.

У меня бывали приключения, бывали и в моей первой жизни, и в этой, новой: все-таки на Земле мы пробыли не так мало, и никто нас ни в чем не ограничивал. Приключения можно переживать, но жить ими нельзя; для жизни нужно что-то другое. И сейчас — я чувствовал — так же, как некогда с Нуш, мне нужно было что-то другое. Другое — причем навеки и до смерти. Сколько бы ни говорили о том, что все это — глупость и предрассудок (я и сам прежде так думал), с годами умнеешь. И становишься жадным: хочешь всего, а не только того, что на поверхности.

И я знал, что как бы это ни было просто сейчас, я не дотронусь до нее. И знал, что такой вечер может не повторить-

ся. Что завтра она, скорее всего, станет смотреть на меня совсем уже иными глазами. И будет с облегчением думать о том, что нынешний вечер окончился так, как он окончился, а не иначе. И что близости с ней может никогда не быть — особенно если учесть, что никто из нас не знал, сколь долгим или коротким станет для нас это многозначительное «никогда». Я знал все это, но все должно быть так, как я решил. Вот почему я заранее и назначил себя на дежурство.

Я сидел и смотрел на костер, и ладонь моя поглаживала не ее пальцы, а гладкий приклад лежавшего рядом арбалета.

Все дело в том, что не просто женщина была мне нужна, и даже не спутница жизни, как было принято говорить некогда. Мне нужен был спутник во времени, и им могла стать одна лишь она. Но только если бы поняла и захотела этого.

Очень плохо, страшно — выпасть из своего времени. Так нельзя жить. Невозможно сознавать, что ты один остался от целой эпохи. Что кануло куда-то все: люди, цели, книги, песни. И только в твоей памяти живы они. Что стихи, которые ты помнишь, не знает и не помнит никто из многих миллиардов людей — потому что очень немногие стихи переживают тысячелетия. Что слова, сказанные в твоем присутствии, давно умерли и забыты. Что никто больше не поет тех песен, которые так много значили для тебя, для твоего и смежных поколений. Что всего этого как бы вовсе не было...

Был, правда, здесь один человек, вместе с которым мы могли бы — если бы решились перейти молчаливо проведенную между нами черту — вспомнить не так уж мало. Но это были не те воспоминания, которые хочется тревожить. И хотя одиночество во времени было мучительным и нас обоих поэтому страшно тянуло порой друг к другу — но мы фехтовали всерьез, и клинки наших эспадронов были заточены как надо, хотя мы и не наносили друг другу серьезных ран — не хотели. Он бы тоже мог спеть что-нибудь (и напевал иногда, так же тихо, как я) — но это были его песни, а вместе нам петь было нечего.

Вот Анна могла помочь мне.

Не беда, что она точно так же не знала моих песен, моих стихов — моих не по авторству, а по праву единственного теперь владельца, — не знала ничего. Она была человеком из моего времени, потому что была так странно, до мелочей похожа на ту девушку, которая наверняка числилась среди ее предков. Мне не надо было преодолевать барьер несовместимости, существовавший — хотели мы этого или не хотели — между каждым из нас — и людьми современности, между каждым из нас — и людьми этой планеты, каждым из нас — и каждым из нас. Тут этого барьера не было; и она была очень молода, Анна, слишком, может быть, молода для меня — но

значит, у нее было время перенять от меня то, что нужно, чтобы стать моей спутницей во времени, чтобы нас было двое. Я хотел быть вдвоем; я знал, что хорошо дуть на раскаленные уголья, когда их много: они разгорятся и передадут огонь всему остальному. Хорошо дуть в костер; но нельзя дуть на свечку — она не разгорится, она погаснет. И на спичку нельзя: ее не раздуешь. Надо подождать, пока она не передаст свой огонек другому, более серьезному топливу.

И вот я не хотел дуть на спичку, хотел дождаться, пока загорится по-настоящему. Хотя знал, что ее глазу и ее ощущениям спичка может показаться костром; как-никак, даже спичка может обжечь; но на спичке не сгоришь, и я это знал, а Анна — нет.

Поэтому мы сидели вдвоем у костра, и я не говорил того, что хотелось сказать, что бродило во мне, кипело, рвалось наружу. Наверное, я неправильно понимал жизнь; мне казалось, что все неправильно — одна ночь между двумя странными днями, когда ты не знаешь, что будет завтра, где ты окажешься, какие обстоятельства и как заставят тебя действовать; мне казалось, что ты ничего не сможешь пообещать, не сможешь быть честным до конца; мне казалось, что сначала нужно справиться со всем остальным, оттереть жизнь до прозрачной, как двухпудовая гиря, — и только тогда говорить женщине о том, что она для тебя — все, и ты ложишься и встаешь с мыслями и чувствами о ней, с хорошими мыслями и чувствами, что ты уже не можешь думать, красива она или нет, добра или зла, умна или не очень, — все это не важно, таких категорий больше не существует, она достигает в твоем сознании уровня матери: матерей не обсуждают.... Только тогда можно говорить о том, что я хочу быть для нее всем — ее ветром и солнцем, словом и мыслью, книгой и зеркалом; что она для меня — вся материя мира и вся пустота его, которую я должен заполнить до конца, и вся удивительная простота и сложность вселенной, и цель жизни, и ее оправдание и содержание... Только тогда, казалось мне, будет у меня право говорить об этом.

Наверное, это было неправильно. Наверное, надо было сказать все тотчас же, там, у костра, лесной ночью; но я не мог. Сознание далеко не всегда переходит в действие. Может быть, дело было и в том, что я за долгие годы разучился произносить такие слова — не было повода; а может, имело значение, что я однажды уже был готов сказать это — той, первой ей, — но она не позволила, и сейчас я просто-напросто боялся.

И вот я повернулся к ней и сказал:

— Ну, иди спать. Завтра проспишь все на свете.

Она взглянула на меня, потом послушно встала.

— Куда? — тихо спросила она.

— Я бы на твоем месте улегся в нашем катере. Мне все равно сторожить, а потом я где-нибудь приткнусь.

— Ты сможешь прийти туда. Нет-нет, ты только не думай...

— Я и не думаю. Нет, я лягу на место того, кто сменит меня. Или заберусь в большой катер — там просторно.

Она кивнула.

Я подошел к ней и спросил:

— Ты не обиделась?

И подумал: а может, все это — бред собачий? Почему я валяю дурака? Вот я, и вот — она. И между нами — пара слоев ткани и совсем немного воздуха. И...

— Нет, — сказала она. — Что ты!

— Я люблю тебя, — сказал я. — И хочу, чтобы мы всегда были вместе.

Она тихо ответила:

— Мне кажется, я счастлива...

И я понял: что бы ни случилось потом, это я запомню навсегда. И если мне в конечном итоге придется подыхать от раны в живот или от вспышки Сверхновой — я все равно буду помнить тихое: «Мне кажется, я счастлива...»

— Хороших сновидений, — сказал я. — Включить тебе печку?

— Нет, — сказала она. — Не холодно.

— Спокойной ночи.

Я вернулся к костру. Вскрикнула ночная птица, пролетела пяденица, и снова была тишина.

* * *

Теперь я по-настоящему остался один. Петь больше не хотелось, дежурство не требовало особого напряжения: противник (если можно было всерьез называть так людей, вовсе не хотевших тебя убить) ночью не сунется — ночью можно случайно попасть в человека; хищников здесь, видимо, не было — во всяком случае, ни их самих, ни следов не заметил даже такой специалист, как Питек. Надо было чем-нибудь заняться, чтобы скоротать время до того, как придет пора будить сменщика.

Я подошел к трофейной телеге. Мы притащили ее сюда, когда нам понадобились лопаты. Кроме лопат, в ней была еще всякая всячина: два медных котла, дюжина глиняных кружек и одна алюминиевая (вещь, видимо, великой ценности, если вспомнить об ее возрасте: вряд ли они тут умеют плавить алюминий. Странная это была цивилизация, где глиняная посуда следовала за алюминиевой, а не наоборот), стульчик-разножка, кочаны капусты, несколько круглых буханок хлеба,

бочонок с солониной, несколько грубых одеял, связанных в пакет. И еще одна странная штука.

Она была похожа на деревянный чемодан, плоский, прямоугольный, с ручкой наверху и треногой подставкой, напоминавшей фотографический штатив. Крышка чемодана была черной, гладкой на ощупь, похоже, что она была сделана из стекла или чего-то в этом роде — не из цельного стекла, а из множества круглых стеклышек, вделанных в деревянную раму. Крышка закрывалась плотно, и я изрядно повозился, пока не открыл чемодан. Внутри он был устлан по дну тонкой металлической сеткой, и из каждого перекрестия проволочек торчала тонкая короткая иголочка. В центре дна было прикреплено металлическое полушарие — оно сидело на сетке, как паук в паутине. Больше в чемодане ничего не было. Ума не приложить, для чего могла предназначаться такая конструкция. Я пожал плечами, закрыл чемодан, положил его на телегу и снова стал напевать.

* * *

Ночью нас никто не потревожил, и мы более или менее выспались. На следующий день мы лишились лучшей части нашего непобедимого войска. Нельзя было терять времени, и трое — Иеромонах, Георгий и Питек — покинули нас, чтобы заняться делом.

Нам нужна была информация, как можно больше информации. Роясь в земле или сражаясь с местными ополченцами, мы не забывали главной задачи: добраться до здешних правителей и доказать им, что опасность смертельна и эвакуация неизбежна. Идя на переговоры, всегда следует как можно точнее знать слабые места противника и в случае нужды нажимать на них — порой деликатно, а порой и совсем грубо. Одна лишь логика никогда еще не решала судьбы каких бы то ни было мирных конференций, тут играли роль и эмоции, и хитрость, и мало ли еще что, но информация — прежде всего. Мы вовсе не хотели идти на переговоры, от которых зависело столь многое, с предчувствием неудачи или, выражаясь иначе, не хотели начинать игру на поле противника, не понаблюдав сперва за его командой и не посадив на трибуны некоторого количества наших собственных, достаточно горластых болельщиков.

И вот, как мы решили еще на корабле, Иеромонах отправился, чтобы окинуть взглядом хотя бы ближайшие крестьянские поселения — судя по тому, что рассказали нам ребята, тут жили в чем-то вроде сельскохозяйственных поселков, это были не совсем деревни и уж подавно не хутора (что сильно осложнило бы нашу работу). Иеромонаху следовало смотреть

и слушать, а при случае и вставить словечко. К крестьянам он пошел с радостью, сказав:

— Горожане народ ушлый, хитрый. Поганцы они. С крестьянином же мне способнее. Я сам из мужиков, так что разберусь уж как-нибудь.

Поехал он верхом, поменявшись нарядом с одним из парней. Уве-Йорген заметно приуныл.

Остальные двое, Георгий и Питек, должны были на катере отправиться в столицу. С собой они взяли одну из девушек — указывать дорогу, и тоже нарядились по здешней моде. Их было трое, и пришлось дать им большой катер. В столице им было приказано, прежде замаскировав катер где-нибудь за городом, пошататься около правительственной резиденции, поглядеть, легко ли туда попасть или трудно, и выяснить, не там ли находится Шувалов. Если его там не окажется, к вечеру или на другой день они должны были вернуться, а если он там — попытаться освободить его и выполнять его указания. Ходить в город рекомендовалось по одному, чтобы не оставлять катер без присмотра: мы не могли позволить себе лишиться основного средства транспорта. Сам я решил еще задержаться: закрытый корабль не давал мне покоя.

Когда они отбыли, мы с Уве и оставшимися ребятами принялись за раскопки. Трое ребят в наших комбинезонах выглядели довольно-таки нелепо: длинные брюки и рукава с непривычки очень стесняли движения. Но скоро и они, и мы разделись почти до без ничего.

Люк мы разыскали только к вечеру. Пришлось изрядно повозиться, прежде чем удалось открыть его. Могу смело сказать, что мы с Рыцарем проявили недюжинную изобретательность, а также техническое остроумие. Было уже время ложиться, но мы не могли утерпеть и, отправив остальных спать, вооружились фонарями и полезли в корабль.

Против моих ожиданий, он не был набит землей. Древняя конструкция с честью выдержала многовековое испытание. Вместо земли корабль был набит тишиной. Мертвый воздух стоял в нем неподвижно, как в коридорах пирамид. Корабль этот не был приспособлен для горизонтального положения, и для нас все в нем перепуталось, мы не сразу могли понять, где пол, где потолок, тем более что привычная нам конструкция с автономной гравитацией в каждом помещении очень сильно отличалась от того, с чем мы встретились здесь. И мы бродили, угадывая и не угадывая, иногда обмениваясь словечком, но в основном молча. Ощущение было такое, что мы ходим среди мертвецов.

Казалось, мы вполне могли сэкономить два дня и не раскапывать этот памятник старины. Потому что в нем было пусто. Ничего удивительного: все, что люди везли с собой,

должно было послужить им и на новом месте, и, надо полагать, послужило. Так что раздет корабль был буквально до ребер. Сорвали даже внутреннюю облицовку, и везде виднелся один лишь металл, по которому, сливаясь и разбегаясь, струились силовые, информационные и прочие кабели.

Мы шли все дальше и дальше. Здесь, в отличие от нашего корабля, ближе к люку располагались жилые помещения, а управление было вынесено вперед — или вверх, как вам угодно. Когда нам стали попадаться не до конца демонтированные пульты с приборами — в основном, ходовыми, а не энергетическими, — мы поняли, что идем уже по отсекам управления. Их оказалось совсем немного — это понятно, учитывая, что и энергетика, и двигатели машины, не умевшей покидать трехмерное пространство, были намного примитивнее наших. Зато сама машина, ее набор и переборки выглядели значительно массивнее: она была рассчитана на долгие десятилетия полета, и ее строили с солидным запасом.

Наконец мы дошли до конца — попали в отсек, из которого можно было идти только назад. Это был просто конический закуток, набитый проводами. Обшивка здесь была слегка вмята. Ничего интересного в отсеке не оказалось.

Мы возвратились в соседний с ним отсек — видимо, когда-то тут стояли астрономические инструменты и приборы, я понял это по уцелевшим креплениям. Уве-Йорген осветил меня своим фонарем и сказал:

— Ну, надо полагать, ты доволен?

Тон его был в точности таким, чтобы я не обиделся — но и понял, что он обо всем этом думает. Я ответил:

— Фактам приходится верить — и все же я еще не убежден, что все зря. Просто мы не подумали как следует.

— Причину найти всегда можно, — сказал Уве.

— Я не оправдываюсь, — пояснил я. — Просто я всегда доверял интуиции.

— В конце концов, ничего страшного, — утешил меня Рыцарь. — При случае эта лайба нам пригодится — в ней можно чудесно отсидеться, если нам придется туго.

Это мне не очень-то понравилось.

— Ты говоришь так, будто нам неизбежно придется драться со здешними.

— Как же иначе? — сказал Уве-Йорген. — Мы ведь уже начали.

— Ничего, — сказал я. — Договоримся.

— Дорогой капитан, — сказал он мне. — С кем договариваются? Договариваться надо с побежденным. С капитулировавшим. Безоговорочно капитулировавшим. А ведь мы хотим, чтобы они приняли наши условия безоговорочно, не так ли?

— Да какие уж тут компромиссы.

— Значит, прежде надо поставить их на колени.

Нет, все это мне никак не нравилось.

— Слушай, брось мыслить по образцу... крестовых походов!

Он усмехнулся.

— Зачем же ты тогда ищешь... то, что ищешь?

Я задумался: в самом деле, зачем я это ищу?

— Видишь ли, — сказал я, — это совсем другое дело. Просто хочу обезопаситься от случайностей...

Тут он засмеялся.

— Ты дипломат, — сказал он. — Тебя сразу выдает привычка не называть вещи своими именами. Ладно, все равно мы оба понимаем, о чем идет речь. Только боюсь, что ищем мы все-таки напрасно. Все, что можно было снять и унести, с корабля снято и унесено. Почему же ты думаешь, что нужные нам вещи остались здесь? Я полагаю, что их-то взяли в самую первую очередь!

— Так, конечно, могло быть. Но думается — в таком случае нас вчера атаковали бы не с арбалетами...

— Ну, со временем все изнашивается.

— Однако, если вещь по-настоящему нужна, ее стараются воспроизвести. Хотя бы приблизительно, на уровне техники данной эпохи. Попроще, похуже — но воспроизвести.

— Мы можем долго спорить по этому поводу, но факты, капитан, против тебя: того, что ты надеялся увидеть — и я тоже, откровенно говоря, — тут нет.

— И тем не менее посмотрим еще раз.

— Посмотрим еще три раза, если тебе угодно.

И мы снова направились туда, где, по нашим представлениям, помещался центр управления кораблем.

Там действительно было пусто. Металл переборок и жгуты проводов. Осколки стекла. Обломки древнего, растрескавшегося пластика. Больше ничего.

— Ну, убедился?

— Обожди, — сказал я. — Обожди, пожалуйста.

Я стал соображать, как все это выглядело, когда корабль был жив. Главный пульт. Экраны — там, куда идут толстые пучки проводов. Я осветил другую переборку. Тут, похоже, стоял инженерский пульт. Хорошо. Третья переборка. В ней — ход в соседний отсек. Переборка гладкая, без приборов. И толстая, если поглядеть на дверной проем. Весьма толстая. Сантиметров двадцать! К чему? Это было бы понятно, если бы по соседству помещался ядерный реактор или двигатели. Но они — в другом конце корабля. Я подошел и постучал по переборке. Гулко. Нет, это не сплошной металл, разумеется. Я пошарил лучом. Уве-Йорген смотрел с интересом, потом приблизился, и мы стали светить в два фонаря.

— Тонко сделано, — сказал он с уважением.

Действительно, узкая щель замочной скважины — и больше ничего.

— Вот вторая, — сказал он.

— И вот еще.

— Три замка, — сказал он и чертыхнулся.

— И ключи наверняка у разных людей. Тройной контроль. Да, они относились к этому серьезно.

— Интересно, — сказал он, — что там?

— Думаю, — сказал я, — что-нибудь знакомое.

— Предполагаешь? Или надеешься?

— Исхожу из того, что эта техника достигла пика в двадцатом — двадцать первом веках. И потом резко пошла на спад.

— Что ж, дай бог, — и голос его дрогнул. — Дай бог.

— Только как открыть? Тут и уцепиться не за что.

— Это мы откроем! — произнес он яростно. — Уж это-то мы откроем! Сейчас принесу инструменты.

Он вскоре вернулся с катерным набором.

— Что там? — спросил я.

— Все спят, — сказал он. — Кроме вахтенного.

— Ага, — сказал я.

— И она спит, — дополнил он. — Одна.

— Ну, знаешь ли... — сказал я.

— Виноват, капитан, — сказал он. — Ну, прикажешь начать?

Мы принялись за дело. При катере был хороший комплект инструментов, они уже помогли нам, когда мы вскрывали люк. Правда, тот замок был не столь сложен, сколь прочен, здесь же наоборот. Но мы и не заботились о целости замков. Лязг и грохот стояли такие, что я испугался, как бы ребята не разбежались спросонья, предположив, что начинается землетрясение.

Когда мы раскромсали второй замок, Уве-Йорген спросил:

— А ты думаешь, это там сохранилось?

— А что ему могло сделаться? Особой сырости нет. А там все должно быть на консервации.

— Ну, посмотрим, — пробормотал Рыцарь взволнованно. — Посмотрим...

И третий замок продержался недолго. Правда, нам никто не мешал взламывать, а на это замки не были рассчитаны.

Мы сняли железную панель. Она оказалась тяжелой и чуть не отдавила нам ноги. Мы едва удержали ее.

Все оказалось здесь. Блестя консервационной смазкой, они стояли в пирамиде, надежно закрепленные. Ниже, в выдвижных ящиках, оказались патроны.

Уве-Йорген схватил автомат и прижал к себе, как ребенка, не обращая внимания на жирный слой оружейного сала. Он баюкал автомат и пел песенку. В его глазах было вдохновение.

— Ну, — сказал он, — теперь-то мы наверняка спасем их, захотят они того или нет!

А я подумал: Земля, мы получили твой привет сквозь столетия, получили в целости и сохранности. Но до чего же странен этот твой привет, и мне не понять сразу, благословение это или же проклятие...

Уве-Йорген оттянул затвор и громко щелкнул им. Железные переборки глухо отразили лязг, как будто прозвучал отдаленный раскат грома.

* * *

Наутро Уве-Йорген сразу же занялся приведением оружия в боевую готовность. Ребят он заставил помогать.

— Пусть привыкают к оружию! — сказал он мне.

Пусть привыкают, подумал я. Большой беды от этого не будет. Если выйдет по-нашему и мы эвакуируем планету, то им никогда больше не придется иметь дела с этими штуками. А если наша затея сорвется — тогда все равно. Тогда они не успеют...

Все же мне было не по себе. Но больше медлить я не мог.

— Отправлюсь на поиски того, настоящего леса, — сказал я Рыцарю.

— Лети, — не отвлекаясь от дела, согласился он. — А куда, ты знаешь?

— Ребята говорили, что знают направление и город, в котором вроде бы начинается тайная тропа.

— Возьми кого-нибудь из них, пусть покажет.

— Нет, — сказал я. — Мы ведь не знаем, что там за обстановка. Зачем впутывать ребят?

— Оружие возьмешь?

— Нет. Оно меня сразу демаскирует.

— Разумно, — согласился он.

— Так что пока командуй. И... знаешь, что? — Я запнулся.

— Будь спокоен.

Собравшись, я подошел к Анне. Она с отвращением занималась стряпней.

— Я скоро вернусь.

— Да, — сказала она, словно бы мы сидели дома и я собрался на угол за сигаретами. — Только не задерживайся.

— Нет, — сказал я. — Туда и обратно.

Я сел в катер и поднял машину в воздух.

— Убийство! — сказал судья. — Покушение на убийство. В моем округе, в моем городе хотели убить человека! Мало тебе было прежних нарушений закона!

Судья постарел прямо на глазах. Шувалов смотрел на него и жалел; ученый и сам чувствовал себя до невозможности скверно, мелкая, подлая дрожь в руках никак не унималась. Ничто не могло сравниться по отвратительности с тем, что он сделал. Сейчас ему бы уже не решиться на это; но так было нужно. И надо довести начатое до конца: раз уж ты преступник, то и вести себя надо, как надлежит преступнику.

Беда была в том, что ни одного преступника Шувалов никогда не видел — лишь теперь он понял, что на Земле их, собственно, и не было, — и как должны они себя вести, не знал. Поэтому сейчас он лишь хмуро покосился на судью и, сделав над собой усилие, сказал:

— Молчи. Не то я убью и тебя тоже.

Но судья даже не обратил на его слова внимания. Он был слишком взволнован и занят своими мыслями. И бегал по комнате, размахивая руками.

— Ты сделал себе очень плохо! — воскликнул он, остановившись перед Шуваловым. — Ах, как плохо!

Ему было искренне жаль преступника.

— Я могу всех убить! — заявил преступник.

Судья отмахнулся.

— И мне ты сделал плохо, — уныло сказал он. — Что будет?

И в самом деле, какое скверное положение!

Если бы судья отправил преступника в столицу сразу же, когда тот был уличен в нарушении Уровня, все обошлось бы. Не было бы никакого покушения.

Теперь поздно. Покушения на убийство не замолчишь.

Если бы он еще оказался сумасшедшим!

Но врачи, столь уверенные прежде, теперь задумчиво покачивали головами. Да, конечно, есть много причин полагать так, говорили они. Но есть не меньше и поводов для сомнений, говорили они же.

Надо было что-то предпринять, пока негодный преступник не натворил чего-нибудь похуже. Хотя что может быть еще хуже, судья не знал и боялся об этом думать.

Судья категорически потребовал, чтобы врачи вынесли определенное суждение: да или нет. Спятил преступник или же здоров.

Но враги хитрили, недоговаривали. Заявили, что не могут взять на себя такой ответственности. Надо, мол, показать в столице.

Это, как понимал судья, означало, что они в глубине души считают неизвестного здоровым, но не хотят ему зла. Это было естественно, но судье от этого легче не становилось.

Он едва удержался, чтобы не накричать на них.

В столицу-то можно было и сразу отправить!

И все же самое плохое было в другом.

Самое плохое было вот в чем: врачи, простодушные, поверили, что человек этот прибыл действительно оттуда, откуда говорил. Издалека. Откуда-то со звезд. Поверили потому, что он так рассвирепел.

Почему, ну почему в его округе должны начаться такие несусветные разговоры?

Судья снова остановился перед преступником.

— Зачем же это ты, а? — спросил он.

Шувалов подумал. Говорить правду было нельзя.

— Просто так, — сказал он и пожал плечами.

Теперь судья испугался по-настоящему.

— Придется везти тебя в столицу.

Шувалов кивнул и сказал:

— Вези.

Судья вздохнул и крикнул во двор, чтобы закладывали.

* * *

Вот это был город, так город!..

Странно, если вдуматься. Что вызвало восторг? Гладкие, не булыжные, а тесаного камня мостовые, приподнятые тротуары, дома до пяти этажей — каменные, хотя встречались и деревянные в один и два этажа; это, что ли, восхитило? Или ладные экипажи на улицах, гладкие лошади? Или множество людей?

Как могло все это произвести хоть какое-то впечатление на прибывших с Земли, где стояла, вертелась, парила, летела могучая техника, где и дома стояли, висели, парили, погружались в океан, где по поверхности почти и не ездили больше, но летали по воздуху, потому что так было быстрее, спокойнее, приятнее, безопаснее... Ведь такая древность была тут по сравнению с планетой великой технической цивилизации!

Наверное, дело было в том, что они — те, кто восхищался, — сами к земной цивилизации не принадлежали, ее величие — если только оно действительно существовало, а не было придумано — ими не ощущалось, не воспринималось, как нельзя воспринять, оценить всю огромность башни, стоя вплотную к ее подножию. И другая причина заключалась,

конечно, в том, что на Земле, современной Земле они пробыли не так уж долго, не успели как следует осмотреться — и снова покинули ее, канули в пространство, и те, земные, впечатления подернулись уже дымкой, а эти, здешние, были свежими. Так что, пожалуй, не столь уж удивительно, что Георгий и Питек, идя по улице, украшенной вывесками и красивыми масляными фонарями, искренне восхищались тем, что видели окрест.

Особенно тронуло их одно событие: по тротуару шли детишки — совсем маленькие детишки, десятка два; их вели две серьезные, исполненные достоинства женщины, и прохожие добро смотрели на них, а дети болтали, а иные шли важно, солидно, а кто-то сосал — видно, конфету, но о конфетах эти двое землян не знали. Георгий и Питек остановились, пропуская детишек мимо, а потом обернулись и проводили их взглядами, и Георгий сказал:

— Здоровые дети. Только очень много говорят.

— Да, — согласился Питек. — Думаю, что отцы их промышляют не охотой. И им не приходится делать дальних переходов, когда женщины несут детей на спине или на боку.

И он засмеялся, но быстро перестал, и они посмотрели друг на друга.

— Дети, — хмуро сказал Георгий и взглянул наверх, и Питек тоже посмотрел туда, где находился податель света, тепла и жизни, ласковый и ни с кем не сравнимый в своем скрытом коварстве. После этого оба зашагали быстрее, спеша к центру города, в ту сторону, куда ехало больше экипажей и шло людей и где, как сказала девушка, и надо будет искать дом Хранителей Уровня. Девушку они с собой не взяли, а оставили в катере — велели защелкнуть люк изнутри и сидеть смирно. Чтобы ей не было скучно, включили тривизор, засыпали в приемник горсть кристаллов с записями, которых должно было хватить без малого на сутки. Ключ взяли с собой. Эта сторона проблемы была решена ими быстро и хорошо. А пойти в город они решили все-таки вдвоем, вопреки рекомендации. Потому что надо было сориентироваться так, чтобы потом можно было понимать друг друга с полуслова. И еще потому, что никто из них не соглашался ни оставить девушку с коллегой вдвоем в катере, ни отпустить ее с коллегой в город, опять-таки вдвоем. Потому что девушка нравилась им обоим — ну и так далее.

Они шли, мимоходом оглядывая дома, стоявшие не сплошняком вдоль тротуаров, а зигзагами, в изломах росли деревья и зеленела трава, кое-где паслись даже лошади; смотрели на небольшие зеркально-спокойные пруды, в которых плавали небольшие голубые и темно-розовые птицы, похожие на миниатюрных лебедей; и на другие пруды, где плескались пест-

рые рыбы, иногда выползавшие на берег и преодолевавшие несколько метров по суше; люди останавливались и смотрели на них, но не ловили, а улыбались, переглядывались, кивая головами, и шли дальше. Георгий и Питек тоже останавливались, и Питек вдруг сказал Георгию, что проголодался, после чего они пошли дальше.

Большой открытый стадион попался им на пути. Соревновались бегуны, и на трибунах было много людей; такое Питек и Георгий успели посмотреть и на Земле, но тут было иначе: люди сходили с трибун, снимали рубашки и выходили на дорожку, и бежали, и трибуны все так же волновались и шумели. Те, кто уже пробежал, одевались и снова поднимались на трибуны, и начинали кричать и махать руками вместе со всеми. Земляне посмотрели, и Питек сказал:

— Ну пойдем.

— Пойдем, — согласился Георгий. — Бегают они хорошо. Но я обогнал бы любого.

— И я тоже обогнал бы, — сказал Питек.

— Может быть. Но я — наверняка.

— Ну, меня тебе не обогнать, друг Георгий.

— Что ты, — сказал Георгий. — Я выше ростом, и ноги у меня длиннее, и я бегаю лучше, потому что умею бегать.

— Это все правда, — сказал Питек, — но тебе никогда меня не обогнать, и никого из нашего народа ты не обогнал бы. Я уже не говорю — на деревьях, но и на земле тоже.

— На деревьях ты, конечно, меня обгонишь, — согласился Георгий. — Но на земле лучше и не думай. Пойдем?

— Пойдем, — согласился Питек. И они пошли, только не прочь, а поближе к дорожке. Там они немного постояли, пока те, кто бежал, не закончили состязания, а когда стала готовиться новая группа, Питек и Георгий сняли рубашки и, как и все другие, положили их на траву; потом они встали в ряд со всеми, но не стали опускаться на колени, как те; Георгий согнулся и оперся локтем о колено, а Питек лишь наклонился слегка и выставил плечи вперед. Ударил гонг, и они побежали; горожане сразу ушли вперед — наверное, начинать бег с четверенек было все-таки выгоднее, — но Георгий быстро догнал их и вырвался вперед, и уже до самого конца не выпускал вперед никого. Питек очень старался, но так и не смог обогнать его, и Георгий прибежал первым, а Питек — четвертым.

— Вот, — сказал Георгий, надевая рубашку и слушая, как кричат в его честь трибуны. — Я говорил, что обгоню тебя.

— Ладно, — неуступчиво сказал Питек, — это не настоящий бег. Я еще не успел даже начать как следует, и мы уже прибежали. На таком расстоянии, друг Георгий, оленя не догонишь, за ним надо бежать долго, не отставая, и он устанет раньше тебя, и тогда ты начнешь понемногу догонять его и

наконец догонишь. Так, как бежишь ты, можно бегать за девушками, когда выбираешь жену, потому что та, которая хочет, чтобы ты ее выбрал, только поначалу будет бежать быстро, а потом ты ее нагонишь и схватишь, и она будет твоя. А на охоте так бегать нельзя.

— Мы не бегали на охоте, — сказал Георгий. — Наши овцы и свиньи вовсе не бегали так быстро, когда успевали нагулять хороший жир. И за девушками мы не бегали, у нас выбирали жен иначе. Нет, мы быстро бегали, чтобы не дать врагу уйти. За врагом надо бежать вот так, как бегаю я.

Теперь они пошли, наконец, дальше, мимо скульптур на углах, глядя на встречавшихся женщин, чувствуя удовольствие от того, что одеты те были очень легко; смотрели доброжелательно, если женщины были одни, и хмуро — если шли с мужчинами. Они оба тоже чувствовали себя легко и удобно в чужих нарядах, потому что у себя на родине и тот и другой часто ходили вообще без ничего или же один накидывал легкую тунику, другой — наматывал вокруг бедер кожаную повязку. Впрочем, сейчас они привыкли уже и к брюкам, они быстро ко всему привыкли... Смотрели они и на лошадей; Георгий многозначительно косился на Питека, и тот согласно кивал, хотя в лошадях и не разбирался. Но лошади и в самом деле были хороши.

Так — не торопясь особенно, чтобы не выделяться из других, — вышли они на центральную площадь.

Она была прямоугольной, не очень обширной, и две длинных стороны ее занимали невысокие, непохожие друг на друга, но одинаково длинные здания. Одно было странным — просто громадный параллелепипед без окон и, казалось, даже без дверей; во всяком случае, с площади туда было не попасть. Второе такое же, во всю площадь, здание напротив было в четыре этажа и по высоте почти равнялось первому, но его фасад украшало множество больших окон, занавешенных изнутри белыми занавесями. В этом доме было целых три входа, и возле них стояли и к ним подъезжали экипажи, то и дело из дома выходил человек — чаще всего в руке у него была сумка или чемоданчик, — садился в экипаж и брал вожжи; или же возница погонял лошадей — если он был, возница. Георгий посмотрел и сказал:

— Это не то, что колесница. Колесница гораздо красивее.

Питек промолчал. Его народ не знал колеса.

Дом с окнами, судя по всему, и был обиталищем Хранителей; именно таким описала его девушка.

Они прошли мимо, приглядываясь. Не было охраны, никто их не останавливал, не смотрел на них. На углу площади они остановились.

— Кажется, войти туда просто, — сказал Питек.

— Может быть, только кажется, — усомнился Георгий.

Они еще постояли.

— Хорошая площадь, — сказал Георгий. — Но маленькая. Не знаю, можно ли собрать сюда всех граждан этого города.

— А зачем? — спросил Питек.

— В мое время, чтобы решить такой, например, вопрос, с каким прилетели мы, граждане собрались бы на площади и решали сообща.

— Наше племя тоже собиралось, — сказал Питек. — Только у нас не было ни городов, ни площадей. У нас было куда просторнее.

Они помолчали.

— Вообще-то у нас был царь, — сказал Георгий.

— У нас — вождь. И старики. Они говорили. Мы слушали.

— Но сюда никак не собрать всех граждан, которых мы видели на улицах, — сказал Георгий.

— А зачем? — снова спросил Питек.

— Если со здешними вождями можно договориться, все хорошо. А если не удастся?

Питек поразмыслил.

— У нас, — сказал он, — в таком случае бывало так, что приходилось выбирать нового вождя.

— А старый соглашался?

— Ему, — сказал Питек, — в тот момент было уже все равно.

— Думаешь, и здесь можно так?

— Я думаю, — сказал Питек, — что нас и прислали затем, чтобы мы посмотрели: можно или нельзя.

— Ты прав, — согласился Георгий. — Но я думаю иначе. Если не удастся справиться с вождями, надо созвать народ. И обратиться к нему. У нас, правда, так не делали, так делали в Афинах. Но Афины тоже были большим городом. Можно без стыда перенять кое-что и у них.

— Хорошо бы, чтобы удалось, все равно как, — сказал Питек. — Потому что иначе от всего этого ничего не останется. А будет жалко. Они хорошо живут.

— Будет жалко детей, — сказал Георгий.

— Женщин тоже, — сказал Питек. — Ладно, пройдем еще раз мимо дома. Если нас не остановят, я войду, а ты станешь наблюдать с той стороны площади. Если я не выйду через час, иди к катеру. Но не улетай сразу, а жди до вечера.

— Хорошо, — согласился Георгий.

Они снова пошли к дому Хранителей, и их никто не остановил. Тогда Питек кивнул Георгию, повернулся и быстро взошел на крыльцо.

Георгий пересек площадь и остановился на противоположной ее стороне, у странного фасада, лишенного окон и дверей.

Мимо проходили люди. Присмотревшись, Георгий заметил, что, выходя на площадь и поравнявшись с домом, у которого он стоял, они на миг наклоняли головы, словно отдавая короткий поклон. Он наблюдал несколько минут, стараясь одновременно не упускать из виду и дверь, за которой скрылся Питек. Ни один человек не прошел мимо, не сделав этого мимолетного движения.

Георгий стал прохаживаться вдоль здания взад и вперед, напевая про себя мотив, который человеку другой эпохи показался бы, наверное, слишком монотонным и унылым. Георгию так не казалось. Они, триста спартиотов, пели эту песню вечером, зная, что персы рядом и утром зазвенят мечи.

Питек все не выходил. Подъезжали и отъезжали экипажи. Иногда проносились верховые. Стук подкованных копыт был приятен. Вот один верховой остановился у подъезда (конь взвился на дыбы), соскочил, бросил поводья и бегом поднялся на крыльцо. Он тяжело дышал, одежда его местами была порвана и свисала клочьями.

Георгий проводил его равнодушным взглядом.

То, что произошло на месте первого приземления обоих катеров, иными словами — стычка со стражей или ополчением (трудно найти для них точное название), произошло в его представлении так давно и так близко отсюда, — неполных два часа полета, — что ему и не пришло в голову: только сейчас весть об этом происшествии могла и должна была достигнуть — и достигла — столицы.

Продолжая наблюдать, Георгий, чтобы не мешать прохожим, посторонился, отступая к самой стене непонятного строения и оперся о нее ладонью.

И тут же пристально взглянул на ладонь и потом на стену.

С виду стена была каменной. Но, прикоснувшись к ней, Георгий ощутил странную теплоту. Камень был бы намного холоднее, даже согретый солнцем. Нет, это был не камень, хотя внешне материал очень походил на него.

Это, несомненно, был пластик.

Открытие заставило Георгия насторожиться. И город, который только что казался ему мирным и простым, вдруг сделался непонятным и угрожающим. Георгий ощутил беспокойство.

Однако внешне это никак на нем не отразилось, и он продолжал стоять, опершись спиной о теплую стену и не спуская глаз с подъезда по ту сторону площади.

Только отсчет времени в его мозгу стал другим. Минуты вдруг начали растягиваться.

Но час еще не истек, и Георгий не сдвинулся с места.

* * *

Войдя в здание, Питек очутился в просторном вестибюле, стены его были отделаны резным деревом. Продолговатый вестибюль был параллелен фасаду, от него отходило несколько коридоров. Заглянув в один из них, Питек убедился в его неимоверной длине: конец коридора исчезал в полумраке. Здание, видимо, занимало площадь целого квартала.

По вестибюлю сновали люди. Питек остановился, чтобы как-то освоиться с обстановкой.

Через несколько секунд к нему подошел человек.

— Что привело тебя сюда? — доброжелательно спросил он.

Питек немного подумал.

— У меня дело.

— Никто не приходит сюда без дела, — тем же тоном сказал человек. — И, конечно, ты хочешь изложить свое дело самим Хранителям Уровня.

— Да, — сказал Питек. И добавил: — Если это возможно.

Человек улыбнулся.

— Мне нравится, что ты понял: дел очень много, Хранителей же Уровня, как ты знаешь, мало. И они могут заниматься только самыми важными делами.

— У меня как раз такое дело, — заверил Питек.

— Я верю тебе. Для каждого человека его дело — самое важное. Но позволь и нам убедиться, что дело твое действительно важно и не терпит отлагательств. Скажи, не изобрел ли ты машину, которая может работать постоянно, не требуя ни дров, ни водопада?

— Я не изобретаю машин.

— И делаешь правильно. Все машины уже изобретены, и ошибается тот, кто считает, что можно придумать что-то еще. На свете есть только один Уровень, и это — наш Уровень. Или, может быть, ты думаешь иначе?

— Нет, — сказал Питек. — Я думаю точно так же, как ты.

— Это очень хорошо. Но о чем же хочешь ты говорить с Хранителем Уровня?

Но Питек уже принял решение. В конце концов, вести переговоры он не был уполномочен, его дело было — разведать подступы.

— Знаешь, я сказал тебе неправду.

— Вот как? Я не уверен, что это хорошо...

— Нет, конечно. Но у меня нет никакого важного дела. Я просто хотел увидеть живого Хранителя Уровня. Я никогда не видел ни одного Хранителя Уровня.

— Ах, вот в чем дело, — сказал человек и улыбнулся. — Ну, это понятно. Ты ошибаешься, если думаешь, что такое

желание возникло только у тебя. Очень многие хотят увидеть Хранителя Уровня. Но согласись: если бы стали удовлетворять все эти желания, Хранителям пришлось бы только тем и заниматься, что показываться людям. Когда же они стали бы хранить Уровень?

— Да, ты прав, конечно, а я — глупец.

— Вовсе нет. Ты честный гражданин. И желания таких граждан мы должны удовлетворять. Для этого здесь нахожусь я. И вот...

Он умолк. В вестибюль вбежал человек. Дыхание его было затруднено, одежда висела клочьями, плечо левой руки было перевязано, и повязка порозовела. Оглядевшись, человек торопливо подошел к ним.

— Что привело тебя сюда?

На этот раз чиновник спросил быстро и деловито, не так, как у Питека.

— Тревожные вести из запретного района.

Питек отвернулся. Он узнал человека: это был тот, кто возглавлял стражу во время стычки.

— Что там?

— Кто-то. Там была схватка. Я ранен. И многие другие. Я сразу же бросился сюда.

— Где это? В городе?

— Нет. В лесу, подле того, что нельзя видеть.

— Иди. Иди прямо, минуя первое и второе звено. Я сообщу.

Человек кивнул и почти побежал. Питек проследил за ним взглядом. Вестник свернул в средний коридор.

Чиновник снова повернулся к Питеку. На лице его была озабоченность, но через мгновение он уже снова улыбался.

— Так о чем мы с тобой?.. Ах да, ты хотел увидеть Хранителя. Пусть тебя не заботит то, что ты случайно услышал: это все безумства молодых людей, еще не нашедших себя в Уровне. И все же такие сообщения очень важны. Если ты тоже увидишь или услышишь что-то подобное...

— Тогда меня тоже допустят к самому Хранителю?

— О нет, этот человек не увидит Хранителя. Но он увидит одного из тех, кто вхож к людям, имеющим доступ.

— Я понял. Так ты покажешь мне?

— Конечно. Но только...

— Я должен что-нибудь сделать?

— Только одно. Ты будешь удивляться. Это неизбежно. Но знай: в том, что ты увидишь, нет никакого зла. И нет нарушения Уровня. Все это тоже входит в Уровень. Ты понял?

— Понял. Не бояться. И не удивляться.

— Не бояться. Пойдем.

Чиновник повел его не в коридор, а к одному из простенков между ними. Ключом отпер дверь.

— Войди.

Питек вошел. Чиновник вошел за ним и затворил дверь.

Здесь было темно. Но щелкнул выключатель, и зажегся свет.

Чиновник посмотрел на Питека.

— Я вижу, ты изумлен. Ты никогда не видел такого света?

— Я... конечно же, нет. Где бы я мог увидеть его?

— Ты прав: больше нигде. Но взгляни сюда. Как ты полагаешь, на что это похоже?

Питек замялся. Больше всего этот предмет был похож на видеоэкран, но вряд ли стоило говорить чиновнику такие вещи.

— Право же, не знаю... Не приходит на ум.

— Ты прав. Ну допустим, это похоже на маленькое темное окошко. И это на самом деле окно, только особое: в нем сейчас ты увидишь Хранителя!

И снова послышался щелчок выключателя.

— Вот, я открываю оконце...

Экран засветился.

— Смотри же!

В большой комнате, спиной к окну, сидел человек. Окно было завешено плотной белой занавесью.

Человек сидел за столом. Перед ним лежали какие-то бумаги. Он встал и сделал несколько шагов. Подошел к чему-то, стоявшему у стены.

Это был пульт. Питек мог бы поклясться: пульт вычислителя, хотя и не очень мощного, явно устарелого.

Глядя на лист бумаги, что он держал в руке, Хранитель нажал на пульте несколько клавиш. После этого он возвратился к столу, но сел не сразу. Он подошел к окну, приоткрыл занавесь и несколько секунд глядел наружу.

В открывшемся уголке окна Питек увидел серую стену здания без окон. Значит, окно кабинета выходило на площадь.

Человек опустил занавесь и повернулся. Было видно его лицо. Человек выглядел задумчивым и усталым.

Он сел и снова углубился в бумаги.

Экран погас.

— Ты видел очень многое, человек! — сказал чиновник.

— О, я даже не знаю, как благодарить тебя...

— Будь честным гражданином — больше ничего не нужно ни Хранителям, ни мне, ни тебе самому. И еще одно: не спрашивай меня больше ни о чем.

— Не стану. Скажи только: наверное, быть Хранителем — очень трудно!

— Очень, очень трудно! Недаром же они готовятся много лет, постигая все тайны Уровня. Но достаточно, человек: ты увидел, что хотел, а у меня ведь есть и другие дела.

— Ты прав. Я бесконечно благодарен тебе...

Они вошли в вестибюль. Свет за спиной погас.

В вестибюле Питек едва не столкнулся со стражником, прискакавшим с вестью о стычке. Стражник только что вышел из коридора.

Взгляды их встретились, и Питек понял, что его узнали.

Стражнику и в самом деле трудно было забыть дикий взгляд продолговатых зеленых глаз, глаз охотника и кочевника. Во время схватки они уже смотрели друг на друга.

Питек поклонился чиновнику и поспешно зашагал к выходу.

Затворяя за собой дверь, он увидел, как стражник указывает в его сторону рукой и как меняется выражение лица чиновника.

Питек выбежал на крыльцо. Георгий с той стороны площади махнул ему.

Питек кивнул и побежал вдоль фасада.

Георгий поспешно пошел в ту же сторону.

Он был спокоен. Он заранее чувствовал, когда придется биться и когда дело кончится миром. Сейчас ощущения боя не было.

И в самом деле, никто не погнался за Питеком. Может быть, чиновник не поверил стражнику. А может быть, просто некому было броситься в погоню. В вестибюле не было стражи, да она и не была здесь нужна.

За углом Георгий нагнал Питека, и они не торопясь пошли по городу в том направлении, где в диком парке был оставлен катер с девушкой у экрана тривизора.

Город продолжал неспешно жить. Шли люди, ехали экипажи. Навстречу разведчикам попалось несколько тяжелых возов. Каждый тянула пара сильных тяжеловозов. Колеса тяжело рокотали.

— Тяжелый груз, — заметил Георгий.

— Да. Но малый по объему.

— Железо.

— Пожалуй. Не слишком ли много сопровождающих?

Они проводили телеги взглядом.

— Что это может быть за железо?

Они переглянулись и одновременно кивнули.

И Георгий ощутил, что бой недалек.

— Ну, что ты успел? Видел Хранителя?

— Представь — да.

— Ого!

— И еще кое-что. В доме электричество и электроника.

Они остановились.

— Вот оно как... А я удивился, что здание напротив облицовано пластиком.

— Тоже интересно.

— Электричество... А силовая установка?

— Никаких следов.

— Она в здании, или ток подводится по кабелю? Воздушной линии я не заметил.

Помедлив, они двинулись в путь, чтобы обойти весь квартал. Линии не оказалось.

— Значит, не простой городок...

— Что еще ты увидел?

— Я сообразил примерно, где помещается хотя бы один из Хранителей.

— Идем к катеру. Начинаю сомневаться, что́ мы найдем его там.

— Ты лети к нашим. А я останусь. Послежу за Хранителями. Может быть, узнаю что-нибудь о Шувалове. Если каждый прохожий может увидеть Хранителя, неужели Шувалов не добьется встречи с ним? Я буду ждать тебя ровно через сутки — местные — на месте посадки.

* * *

Уве-Йорген стоял, подбоченившись. Автомат висел на его груди. Честный, добрый автомат.

— На месте! Раз, два, три!.. Вперед — марш!

«Музыка! — подумал он, прислушиваясь к глухому топоту. — Что все симфонии! Вот — музыка!»

— Взвод — стой! Раз, два!

Бетховен!

— Слева по одному, перебежками, вперед — марш!

Он полюбовался. Да дайте ему последних ублюдков — он и из них через неделю сделает... рыцарей, усмехнулся он краешком рта.

— Как держишь автомат, ты! Как же ты сейчас станешь из него стрелять? Что это тебе — дубина?

«Нет, — подумал он, — люди и на этой планете останутся людьми. И стоит дать им в руки настоящее оружие, как они...»

Как это говорилось у врагов: господь создал одних людей сильными, других — слабыми. Но мистер Кольт изобрел свой сорок пятый калибр и тем уравнял возможности...

— Внимание! По пехоте... В пояс... Длинными очередями...

Защелкали затворы. Пока что впустую. Пока.

* * *

Спешившись, Никодим привязывал лошадь к коновязи. Входил. Говорил: «Доброго здоровья». Просил напиться. Ему давали. Если был голоден — кормили. Расспрашивали о новостях. Он тоже расспрашивал. Отвечал — по возможности. Ему было привычно и легко. Вот бы и всю жизнь так. Люди были простые, добрые, работящие. Хорошие. На девушек он старался не глядеть. Все же обет был дан. Конечно, обет этот во все времена нет-нет да и нарушался: человек слаб и грешен. Но не настолько, чтобы уж и чести не знать. Да и отпустить грехи тут не мог никто.

Потом, переночевав в доме или на сеновале, ехал дальше. Прямая дорога пролегала меж широких полей. Коренастые волы — их предков тоже, видно, привезли с Земли — парами, а то и четверкой тянули тяжелые плуги. Отваливались темно-коричневые пласты. Птицы выклевывали червей. Здесь снимали в год по два урожая. Тепло, и земля хорошая. Все перло в рост прямо бегом.

Иеромонах ехал и вздыхал: пора дождю. Но и дождь пошел, как по заказу.

В одном месте он не выдержал и сказал:

— Дай я.

Не удивились и перечить не стали. Хочешь — паши.

Полдня проходил за плугом. Устал. Думал потом: тренировка — тренировкой, а пахать — это тебе не тренировка. Это труд основной... И взмолился вдруг:

— Господи, когда призовешь, дай хоть на том свете попахать вволю!

И снова велись разговоры.

— Земля-то чья?

Не понимали: как — чья? Земля есть земля. Сама своя.

— А так, чтобы — твоя, моя — у вас нет?

— Почему же: есть. Вот одежда — моя. Ношу ее.

— А хлеб вырастет — чей будет?

— Есть все будут. Значит — ничей. Людской.

— Ага... — вздыхал Иеромонах. — Насчет Бога у вас плохо. Понятия Бога нету.

— Это, может быть, в городе. Там люди не так живут. Не просто.

— Эх... — вздыхал Иеромонах. — А солнышко вас как — не беспокоит?

— Не муха, чтобы беспокоить. И погода славная. Все растет...

— Так ведь это — пока оно спокойно. А вдруг?

— Что — вдруг?

— Да говорят...

— Это в городе, надо думать, говорят, — улыбались. — Мы на солнце глядим, как полагается. У нас все основательно, нам слухи ни к чему.

И верно: земля — основательно. Солнце — тоже. Ах, солнце ты, солнышко, нет на тебя управы...

А то бы взял и остался здесь. Не его это дело — летать. Тут жизнь легкая, земля — мирская, все — мирское. Живут миром. И вечерами, бывает, действа разыгрывают. Не божественные. Ближе. Но интересно. Сами разыгрывают, или приезжают другие. Специальные дома для этого. Тривизоров, правда, нет. И не надо.

Избы ладные, удобные. Чисто.

— Скотину не держите, что ли?

— Скотина на лугах.

Мясо, однако, ели каждый день. Не все: многие мяса не признавали.

Бога не знают — это вот плохо. Но, значит, так Богу угодно.

— Ну, будьте здоровы.

— Живи в красоте!

Ехал дальше. И трудно думал.

Не уйдут отсюда. Не поверят. Да и легкое ли дело — от такой земли, от легкой жизни, ровной, трудовой — и вдруг бросай поля, дома, скот, набивайся в железный сарай, лети куда-то через черную пустоту... Лети от такой красоты, которая не просто сама по себе, а с людьми. Сама по себе — значит, красота есть, а ее не замечают люди, и жить им от нее не легче. Тут красота с людьми: они ее видят, хранят, друг другу ее желают.

Не потому ли так спокойны они, уверены, добры? Понимают, видно: раз в мире красота, значит, мир этот правильный.

Не того ли когда-то хотелось и самому Никодиму? На Земле тогда не обрел. Далеко пришлось залететь, чтобы встретить.

С ними бы он хорошо жил. Работал бы, как все. И с легкой душой желал бы всем: живите в красоте! И никуда бы отсюда не ушел.

Вот и они, вернее всего, останутся.

Силой не заставишь уйти: народ основательный. Твердый.

Если только такой указ выйдет? Да выйдет ли?

Поднять бы проповедью, закрутить, завертеть... Но, проповедуя, самому веровать надо, а ты еще сам до конца не уверовал. Думаешь: ученые, конечно, умудрены, да ведь и на старуху бывает проруха...

— Доброго здоровья!

— Вам того же.

Ужинали.

— Вот проезжал, заметил неподалеку: наискось поля идет полоса непаханая. Все кругом засеяно, а эта — пустая. И на дорогу непохоже. Что так?

Пожимали плечами.

— Не пашем. Никогда не пахали.

— Отчего же?

— Нельзя.

— Да почему?

Этого не знали. Но полосу эту никогда не пахали, ни при отцах, ни при дедах, да и теперь каждый год напоминают — не трогать! Если на ней проклюнется деревце — срубать. Трава пускай растет. Но скотину и близко не подпускать.

— И далеко она идет? Конца-то не видно.

— Говорят, до самой столицы.

— А в обратную сторону?

— Так и идет. Все прямо. Потом вроде уходит в лес.

— На диво прямая полоса.

— Уж это верно.

— Ехать по ней, значит, нельзя?

— Никак нельзя.

— Ну, спасибо за угощение. Живите в красоте.

— В красоте живите...

Выходил. Седлал лошадь — отдохнувшую, поевшую, напоенную.

— А сам ты откуда — от Уровня?

— Путник я. Вот езжу, гляжу — как живете. Поручение такое.

— Хорошо живем.

Тут бы сказать — слава Богу. Не говорили.

Кланялся, садился в седло. И снова пускался в путь.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Я сделал несколько кругов и не увидел внизу ничего такого, что говорило бы о людских поселениях. Опыта воздушной разведки мне явно недоставало. Много лет назад я, пятнадцатилетний, стоял перед начальником училища штурманов бомбардировочной авиации; шла война, и за девять, помнится, месяцев из парня делали штурмана, способного вывести машину на цель, — но даже в то время начальник не решился зачислить мальчишку, которому не хватало, самое малое, двух лет. Начальник штаба училища, майор, пожилой, тощий, с лицом в крупных морщинах, посмотрел на меня и сказал: «Ничего, если человеку суждено летать, он будет летать». И меня выпроводили. Летать я потом научился, прыгать тоже, но сейчас это мне никак не помогало, тем более что наблюдать

приходилось с большой высоты, чтобы не действовать на нервы здешним обитателям.

Тогда я стал решать задачу с другого конца. Несомненно, был какой-то путь, какая-то тропа, по которой люди попадали в лесные поселения. Как говорили ребята, тропа эта начиналась где-то в районе ближайшего к лесу населенного пункта. А найти его было не так уж трудно.

Я посмотрел записи курсографа и выбрал направление. Как у нас на Земле в тех местах, где я жил, тут желтели поля и вились речки, и синели озерца, и линии дорог казались проведенными по специально подобранным лекалам. Городок я увидел издалека. Это была уже окраина страны — не та, где мы приземлились, а противоположная. Небольшая страна, подумал я; и как им не одиноко на целой планете? Но тут же я сообразил, как это хорошо: задача эвакуации становилась вполне реальной, наши действия приобретали четкий смысл, и можно было думать об этой стране и ее людях без хинного привкуса обреченности. Теперь городок был подо мной, замысловатый и красивый, как начертание старого японского стихотворения в оригинале. Я миновал городок и посадил катер в ближайшей же роще, там, где едва можно было протиснуть машину сквозь густые кроны.

Целый день ушел, чтобы надежно укрыть катер от случайных прохожих — или не случайных, мало ли. Потом я поел и отдохнул, даже вздремнул немного, и проснулся свежим и готовым к действиям.

Стояла ночь. Сильно пахло землей, она была тепла на ощупь. Вдалеке лаяли псы. Звезды теснились в небе. В той стороне, где лежал городок, мерцали редкие огоньки.

И снова мне почудилось, что не было ни времени, ни пространства, отделявших меня от молодости, словно все, происходящее на самом деле, придумалось или приснилось мне только что, когда я, усталый, спал на теплой и пахучей траве: но вот я встал и иду, огни родного дома ждут меня и беззвучно, но явственно говорят: поспеши, не теряй времени, торопись настичь то лучшее, что несомненно ждет тебя впереди.

Не теряй времени, подумал я и вспомнил старинное: «Время стоит, это ты уходишь...» Как мы быстро уходим, подумал я и невольно замедлил шаг.

Через полчаса я вошел в городок. Улицы играли в догонялки, неожиданно поворачивая и останавливаясь. Окна не светились. Я шел мимо спящих домиков, тусклых фонарей, в которых горели свечи, водяных колонок с примитивными ручными насосами и незаметно пересек город и вышел на окраину с противоположной его стороны.

Тут кончались домики, окруженные густыми садами, и начиналось открытое пространство, поросшее густой травой,

неторопливо уходящее к самому горизонту, пересеченное лишь одной темной неширокой полосой деревьев. Возможно, то была большая дорога, но вряд ли она вела в тот лес, куда мне нужно было попасть.

Я остановился. Дальше идти было, пожалуй, незачем. Шла ли эта дорога в лес, или нет, но он лежал именно в этом направлении, где-то за кромкой горизонта. Теперь следовало набраться терпения и обождать, наблюдая и запоминая. Я сел на траву и, чтобы не скучать, стал представлять, что я не один и что течет медленный, полный скрытого смысла, а внешне поверхностный разговор; было легко придумывать свои слова и трудно — те, что отвечала бы Анна, будь она и на самом деле здесь. Даже в моих мыслях она не очень-то хотела соглашаться со мной в вещах, казавшихся мне исполненными глубокого значения, а когда я все-таки заставлял ее согласиться (в воображении это возможно), вдруг оказывалось, что это уже не она, а какой-то другой человек.

Прошел примерно час, когда мне почудилось, что впереди промелькнула тень. Это мог быть человек. Я приподнялся и, стоя на коленях, стал вглядываться.

Ночной прохожий явно не хотел быть замеченным. Но он был отчетливо виден в рассеянном свете звезд. Через несколько секунд тень его снова мелькнула — теперь чуть дальше. Его поведение обрадовало меня. С таким, без сомнения, можно будет говорить откровенно. И он наверняка знает, где находится то, что я искал.

Дав ночному прохожему отдалиться, я направился за ним, держась метрах в тридцати, и я не хотел приближаться, пока мы не отойдем подальше от города.

Через несколько секунд человек оглянулся. Я в это мгновение думал о вещах, не имевших отношения к делу, и он заметил меня. Но не пустился наутек, а спокойно пошел дальше, и я последовал за ним, дав себе обещание больше не отвлекаться. Это показалось мне хорошим признаком: люди, уходящие в лес, должны быть достаточно смелыми. А куда еще мог направляться человек, покидающий город ночью в стороне от большой дороги?

Человек впереди меня ускорил шаг. Я оглянулся. Позади, в отдалении, мелькала еще одна тень. Вряд ли ее появление можно было объяснить случайностью. Вскоре еще один человек показался. И еще.

Они шли, видимо, по хорошо известному им маршруту. Шли легкой, летящей походкой, держась в метрах десяти-двенадцати друг от друга.

Когда-то я много и быстро ходил, и теперь приноровился к их шагу и сократил расстояние до шедшего впереди тоже примерно до десяти метров.

Люди шли в полном безмолвии, но раз или два я услышал, как приглушенно звякнул металл.

Чем дальше оставался город, тем короче становились интервалы между идущими — теперь они составляли метр-полтора. Люди шли прямо к той полосе растительности, за которой, как я думал, проходит дорога. Вскоре наша колонна нагнала другую, вышедшую, видимо, раньше, но из другого места в городе. Когда мы пристроились вплотную, в голове первой колонны началось какое-то новое движение. Оно приближалось, и вот шедший передо мной человек, полуобернувшись на ходу, негромко спросил:

— Что в лесу?

— Деревья, — не очень умно ответил я, не успев подумать.

В следующее мгновение раздался тихий свист — и люди исчезли, слились с травой. Осталось только двое: тот, что спрашивал, и другой, шедший вслед за мной. Они крепко схватили меня под руки.

— Кто ты? — спросил один, приблизив лицо и вглядываясь.

— Ульдемир, — сказал я, не зная, что другое можно сказать.

— Мы тебя не знаем. Куда ты идешь?

— В лес.

— Зачем?

Я ответил не сразу:

— Об этом я скажу, когда мы придем.

— Что ты несешь в лес — своего?

Теперь я стал уже немного соображать, что к чему, и, не колеблясь, достал из кармана блок. Включил, чтобы они услышали музыку.

— Как ты это сделал?

— Долго рассказывать. Потом.

— Что ты умеешь, что нужно в лесу?

В самом деле, подумал я: что я умею?

— Я знаю — как.

— Как — что?

— Как делать многое.

— Откуда ты?

Ну, рано или поздно все равно придется сказать...

— Я со звезд.

Теперь уже и остальные — десятка полтора — поднялись с земли и обступили нас, слушая.

— Непонятно. Ты предатель? Ты выслеживал нас?

— Нет.

— Как же ты узнал о нас, если мы тебя не знаем? Говори. Если ты предатель, мы, наверное, убьем тебя.

Впрочем, в голосе говорившего не было уверенности.

— Я со звезд, — сказал я. — Вы должны мне верить.

— Почему должны? Ты такой же, как мы.

— Потому что я тоже человек. И я не один. У меня был спутник. В день, когда мы прилетели, его задержали в запретном городе.

— Это правда, — сказал кто-то. — На большой дороге наши люди встретили возчиков. Они везли человека, который тоже говорит, что он со звезд. Они везли его в столицу.

— Это мой друг, — сказал я. — Я должен его найти.

— Почему же ты пошел за нами вместо того, чтобы искать его?

— Чтобы вы помогли мне.

— А что нам до людей со звезд?

— Это не разговор на ходу, — сказал я. — Потому что речь пойдет о серьезных и очень важных делах.

— Трудно поверить, что на звездах живут люди. Хотя говорят... Но почему вас прилетело так мало?

— Нас больше.

— Где же остальные?

Я поднял руку к небу, хотя корабль сейчас мог находиться и где-то под ногами.

— На звезде? — усмехнулся тот, что вел расспросы.

— На корабле. На той машине, что принесла нас.

— Машины не возят. Они стоят на месте. Где же то, что привезло тебя?

— На орбите. Это не просто объяснить так, сразу.

— Хорошо. Объяснишь потом. Ночь коротка. Глаз Пахаря уже в зените. Мы могли бы показать тебе, в какой стороне столица, куда повезли твоего друга. Но мы не отпустим тебя. А вдруг ты побежишь к судье и скажешь, кого ты видел здесь? Мы не хотим. Ты пойдешь с нами. Согласен? А то мы заставим силой.

— Я пойду с вами. Это далеко?

— Увидишь. Надо спешить, много времени ушло. Ты пойдешь в середине, а вы приглядывайте за ним. Все слышали? А когда тебя спрашивают «что в лесу?», не давай глупых ответов. В лесу — воля.

— Я понял.

— В путь!

Они снова тронулись — той же летящей походкой. Я шел в ногу с ними, не отставая, испытывая и волнение, и удовольствие от того, что сейчас мне не приходилось ничего выбирать и решать.

Через сорок минут мы вышли к полосе деревьев. Но за ними оказалась не дорога, а река. Я видел ее с высоты, но мне почему-то казалось, что, пока я бродил по городу, она осталась

совсем в другой стороне. Два узких плота были спрятаны в камышах. Мы разместились на скользких бревнах. По двое на каждом плоту встали с шестами!

— Вперед! — скомандовал старший.

Плоты отошли от берега, и течение подхватило их.

Вперед, подумал я про себя. И хотя мне вовсе не ясно было, что ждет меня и всех нас — удача или поражение, и как обойдутся со мной те, к кому я хотел попасть, — но сейчас мне было хорошо, и я пожалел, что я один, и некому сказать, как мне хорошо, и не от кого услышать в ответ, что и ей хорошо тоже.

Звезды еще светили вовсю, и я попытался отыскать среди них наше, настоящее солнце, хотя и знал, что оно находится на дневной половине неба, и мне его не увидеть. Но все равно, было здорово знать, что оно есть.

* * *

День уже начался, когда плоты уткнулись в берег. Их вытащили на песок, и старший сказал:

— Пусть лежат. Ночью их отведут обратно.

Снова мы двинулись колонной по одному, но теперь уже шли свободно, без напряжения, переговариваясь. Вошли в лес. Лучи пробивались сквозь листву. Перекликались птицы. Воздух еще не успел нагреться и был прохладен. Дышалось легко.

Прошли километра три. Никто не мешал мне оглядываться по сторонам. Лес был веселый. Большие деревья росли аккуратно, словно их кто-то посадил. Местами они теснились возле невысоких бугров, местами росли реже. Бугорки тоже возвышались не как попало, а в порядке. Заинтересовавшись, я замедлил шаг. Шедший сзади едва не налетел на меня.

— Ты что? Надо идти, не отставая.

— Слушай-ка, что это за бугорки?

— Не знаю, я тут впервые. Потом узнаешь, если захочешь.

Прошли еще с километр, и деревья расступились. На обширной поляне был разбит лагерь — вернее, целый городок. Легкие деревянные домики выстроились рядами. Между ними виднелись постройки побольше, подлиннее. Из них доносился стук, лязг металла, голоса.

Мы остановились.

— Ну вот, — сказал возглавлявший колонну. — Добрались благополучно.

— Что здесь такое? — спросил я.

— Не видишь? Лес.

— Понимаю, что не море, — усмехнулся я.

— Понимаешь. Только, наверное, не все. Это не просто лес, а тот самый лес, куда люди уходят от Уровня. Как ушли все мы.

— Ты не забудь: о вашей жизни я знаю очень мало. Как здесь живут? Что делают?

— Делают? Что хотят.

— Ну вот, например, чего хочешь ты?

— Я кузнец. Умею делать из железа разные вещи. Но может быть, их можно делать лучше и быстрее? Я много раз ударяю молотом, другим, третьим, и получается то, что мне нужно. Потому что я знаю, как и куда надо ударять. Но это долго. А если сделать другой молот, такой, с углублением — таким, как та вещь, которую мне надо сделать. И если этим молотом ударить очень сильно, но только один раз — не получится ли такая вещь, которая мне нужна, с одного удара?

Я улыбнулся: было приятно за него.

— Получится.

— Думаешь?

— Знаю. Получится. Ты молодец.

— Мне нравится, как ты говоришь. Но когда я хотел попробовать в кузнице, мастер сказал... Он, в общем, сказал так: «Сакс, ты хороший кузнец. Ты устаешь на работе?» Я сказал: «Устаю, как все, не больше и не меньше». Тогда он спросил: «Ты делаешь хорошие вещи?» Я ответил: «Это знают все». Дальше он спросил: «Тебе хватает еды, одежды, у тебя остается время смотреть на солнце, говорить с детьми, любить красоту, отдохнуть, посмотреть представление, бегать, играть в мячи, петь и прочее?» Я честно сказал: «Хватает, потому что я не трачу времени зря». Тогда он сказал: «Кузнец Сакс, чего же тебе еще? Зачем надо делать что-то иначе, если ты и так делаешь хорошо? Допустим, ты сделаешь свой молот. Но ты не сможешь ударить им так сильно, как нужно». Я сказал: «Мне, конечно, так не ударить, но это сможет сделать водяная или паровая машина, только молот надо делать немного иначе, без длинной ручки...» Мастер сказал: «Хорошо, машина будет ковать, а что станешь делать ты? Подкладывать железо? Но разве это интереснее, чем самому делать из железа полезную вещь? И еще: машина будет работать быстрее твоего — а зачем? Нам хватает того, что мы делаем». Я не знал, что ему ответить. И сказал так: «Хочу сделать такой молот, потому что мне очень хочется, просто не могу иначе». Но он предостерег: «Ты хороший кузнец, — сказал он, — зачем тебе рыть Горячие пески за нарушение Уровня?» И тогда я решил: уйду в лес и здесь сделаю молот. А что хочешь делать здесь ты?

— Я хочу сперва поговорить с теми, кто тут главные.

— В лесу говорить мало, тут надо что-то делать. Погоди, вот идет к нам один из старших — поговори с ним, раз тебе нужно.

Старший был вовсе не стар, у него были широкие плечи и мускулистые руки лесоруба. Слушал он меня не очень внимательно.

— Старший, я пришел сюда по очень важному делу...

— Как и все, — сказал он. — Те, у кого нет важных дел, сидят дома.

— Послушай меня: планета в опасности! И от вас во многом зависит, удастся ли предотвратить ее.

Он бросил на меня короткий взгляд.

— Мы тут судим так, — сказал он. — Чем важнее твое дело, тем больше тебе должны доверять, верно?

— Правильно, — сказал я.

— Да, правильно. А как доверять человеку, которого мы не знаем?

Я пожал плечами.

— Не знаешь. А мы знаем. Мы даем человеку работу, если у него нет своей, и смотрим, как он ее делает. Если хорошо, мы ему верим и с ним считаемся. Если плохо...

— Ясно, — сказал я, хотя такой поворот мне не нравился. — И долго надо работать, чтобы вы поверили?

— Как кому удается. Иногда можно понять и за три дня.

Три дня, подумал я. Много.

— А может, ты все же сперва выслушаешь?

— Почему делать для тебя исключение? Иди работай. Если нет ничего другого, раскапывай бугры. Там есть какие-то вещи, которых мы не можем понять. Развалины домов; там кто-то когда-то жил, мы не знаем, кто. Кости... Человеческие. Плохо, когда валяются кости людей.

— Может быть, там было кладбище?

— Нет, когда хоронят, кости лежат не так.

— Странно.

— Не странно, а плохо. Очень плохо, когда кости людей валяются как попало. Смотри, не испугайся, когда будешь копать.

Чем-то известным, но, как я думал, уже забытым потянуло от его слов, забытым и нехорошим. Но сейчас я не хотел размышлять о плохом, пока обстоятельства не заставляли делать это.

* * *

Несколько часов я просто бродил по городку, меня никто не останавливал и ни о чем не спрашивал; так же слонялись и другие, пришедшие одновременно со мной. Я подумал, что

такую возможность давали нам намеренно: люди могли приглядеться, встретить знакомых и вообще прийти в себя после такого значительного события, как разрыв с Уровнем и уход в лес. И я бродил и глядел, как другие.

Дома здесь были попроще, чем в городах, и люди одеты похуже; выцветшие, заплатанные рубашки не были редкостью, и на лицах читалась привычная, уже неощутимая для самих людей озабоченность, какой не страдали, например, ни Анна, ни ее друзья. Но в глазах лесного племени виднелось и другое: выражение самостоятельности и большого достоинства, что ли. Особенно, когда человек был занят работой. А работали здесь все. Один, например, сидел и вырезал из дерева ложки: прекрасные ложки, красивее, тоньше, элегантнее, чем те, что в мое время продавали как сувениры; но это дело было понятным, и хотя ложка, конечно, вещь необходимая, особого удивления не вызывало. И тут же, в соседнем дворике, возле кое-как построенного сарайчика, молодой, с неделю не бривший парень возился над какой-то конструкцией, назначение которой я понял не сразу, а когда понял, то не знал, плакать или смеяться: Дедал, полуголый и лохматый, ладил крылья, а Икар, лет этак трех, возился около него, помогая и мешая; а та, чьего имени миф до нас не донес, — та, что полюбила Дедала, и варила ему обед, и понесла от него, и родила Икара, и вырастила, но не удостоилась упоминания, потому что не удосужились сделать третью пару крыльев, — совсем еще юная, маленькая, хрупкая, с тяжелым даже на вид узлом волос на голове, стояла в дверях домика, опершись рукой о притолоку, и смотрела на них, пока над очагом, сложенным во дворе, вскипел котел, — смотрела, и в глазах ее было счастье, потому что она еще не знала, что третьих крыльев не будет, и она не полетит, и поэтому Икар заберется слишком близко к светилу; и потом до конца дней своих будет она думать, что, окажись она там, рядом, она бы уберегла мальчика — хотя матерям не всегда бывает дано уберечь, и женам тоже. Так думал я, остановившись и глядя на них, — я, владевший крыльями, пригодными для куда более долгих и опасных перелетов, чем простой подскок к солнцу; но эти крылья сделал не я, меня просто натаскали, научили владеть ими, и я был капитаном, но Дедалом я не был... Я пошел дальше, пока семейство еще не обратило на меня внимания, — зашагал, представляя, как я в таком вот дворике провожу техобслуживание катера, и портативный хозяйственный комбайн шипит там, где у Дедала очаг, и Анна стоит в дверях и смотрит на кого-то, кого еще нет, но кто будет вот так же вертеться около и совать нос куда надо и куда не надо... Я грезил на ходу, и немало интересного, наверное, прошло мимо

внимания, пока я не обрел снова возможность замечать и запоминать.

Тут были кузнецы, и столяры, и ткачи, ухитрявшиеся делать что-то из местного сырья, и охотники (Питека бы сюда, подумал я), и хлебопеки (хлеб был нехороший, но я видел, как его тут делили, и понял, почему на моей планете в древние времена, преломляя хлеб, обязательно возносили молитвы); потом, решив, что для первого раза увидел достаточно, я присел под деревом и стал думать, как же мне все-таки убедить людей в том, что меня не стоит определять в землекопы, не выслушав предварительно.

Пока я сидел задумавшись, мальчишка подошел и остановился в трех шагах; обыкновенный мальчишка лет десяти. Он смотрел на меня внимательно и строго. Я тоже взглянул на него и отвел глаза в сторону, но тут же снова посмотрел, и мне стало странно.

Нет, он вовсе не был похож на моего сына — ни лицом, ни цветом глаз и волос... Но какое-то неуловимое сходство было; есть что-то общее у всех мальчишек одного возраста. И я почувствовал вдруг, как застучало сердце, набирая обороты. Мне захотелось провести ладонью по его (жестким, наверное) волосам, и похлопать по плечу, и спросить с напускной суровостью: «Ну, как дела, старик?» — одним словом, сделать все, что обычно делают мужчины, любящие детей, но не умеющие выразить свою любовь. Я смотрел на парня, а он на меня; я улыбнулся, и он (не сразу, правда) улыбнулся тоже, потом застеснялся, повернулся и пошел, а я сидел и смотрел ему вслед и думал: не знаю — как, но мы должны спасти их, иначе просто нельзя, невозможно предавать детей!

А потом я встал и пошел раскапывать старые курганы.

* * *

Я быстро убедился в справедливости и своего первого ощущения, и слов здешнего старшины: это место обживалось не впервые, когда-то, очень давно, здесь стоял город.

И умер он не своей смертью. Правда, мало что можно было понять теперь: ржавчина изъела железо и превратила предметы в кашу; иногда попадались куски пластика, но и они были в таком виде, что невозможно было определить их назначение. Не было обломков постарше и поновее; видимо, город погиб сразу. Но до гибели он был совсем непохожим на те города, в которых я уже успел побывать на этой планете. Он куда больше напоминал земные города моего времени — не старые, а возникавшие тогда на новых местах.

Мне попадались остатки одежды. Они были из дышащего синтетика, а не из грубой кустарной ткани.

Встречались черепки посуды. Из таких тарелок я ел дома. На одном обломке явственно различался вензель древней звездной экспедиции и тонкая золотая каемка.

Попадались кристаллики информатора. Я бережно собирал их, просеивая песок. Может быть, удастся прочитать на корабле.

Нашлась фотография. Она была залита твердым прозрачным пластиком, не пострадавшим от времени. На снимке были запечатлены люди, стоявшие перед домом, шесть человек, не позировавших — снимок был неожиданным. Люди смеялись, мужчина обнимал женщину, два парня разговаривали — один стоял боком, другой в тот миг обернулся и глядел в объектив, еще один парень указывал на что-то, находившееся за кадром, а девушка рядом с ним даже присела, хохоча, так ей было весело... В перспективе виднелась улица, совсем земная улица, с тротуарами и люминесцентными фонарями. Только деревья выдавали: с длинными, гибкими иглами. Деревья были здешними.

Такая улица была здесь. И погибла.

Почему? Я не знал. Но крепло интуитивное убеждение, что это может оказаться важным не для восстановления истории планеты, а для той задачи, которую должны были решить мы.

Мне удалось набросать примерный план города. Жило в нем несколько сот человек, вряд ли больше. Но это был вполне благоустроенный город.

Откуда-то он получал энергию. Откуда?

Если бы у меня были хоть самые примитивные приборы, искать источник энергии стало бы куда легче. Но портативная аппаратура, которой я мог бы воспользоваться, лежала в багажнике большого катера, а не моего — малого, надежно укрытого сейчас близ городка, где началось мое путешествие в лес. И я решил, что надо слетать в наш лагерь к старому кораблю, посмотреть, как дела у Рыцаря, и запастись нужной аппаратурой, а тогда уже вернуться сюда и довести дело до конца.

Кроме того, я уже почти двое суток не видал Анны.

Уйти было нелегко; если бы меня задержали, то, чего доброго, и в самом деле заподозрили бы во мне лазутчика Уровня.

Поэтому я на всякий случай предупредил, что отправлюсь на дальние раскопки и заночую там. Для убедительности я взял с собой немного еды (поворчав, ее мне дали) и грубое, остистое одеяло, которым меня снабдили в первый же день.

Я и в самом деле копал, потом лег и подремал до середины ночи. Я рассчитал, что если выйти после полуночи, то к середине следующего дня я доберусь до своего катера.

Когда настало время, я свернул одеяло, спрятал его вместе с лопатой и топором в раскопе и двинулся в путь.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Ехали не так уж торопливо, на ночь располагались основательно и в столицу приехали только на третий день. Но уже в первые часы пути судья распорядился развязать Шувалову руки, поверив, видимо, что преступник его душить не станет — побоится сопровождающих.

В повозке их было двое, и кучер снаружи, на козлах; еще четверо верховых сопровождали выезд. В пути разговаривали мало, хотя Шувалов поговорил бы с удовольствием; судья был мрачен — визит в столицу, надо полагать, не сулил ему добра. Лишь изредка удавалось разговорить его.

— ...А дети у вас есть, судья?

— Дети?.. Да, как же. Одного мне дали уже много лет назад, теперь вырос, а потом, недавно, еще одного.

— Как это понять — дали?

— Так, как говорится: дали, и все.

— Не понимаю...

— Выходит, ты даже не знаешь, откуда берутся дети?

Судья даже развеселился — захихикал.

— Гм... До сих пор я полагал, что знаю. Откуда взялись мои дети, это уж я знаю точно. Нам, судья, детей никто не дает: мы рожаем их сами — наши женщины, конечно. А у вас кто же рождает?

— Кто рождает? Я думаю, никто. У нас дети получаются, и их дают тем, чья очередь наступила.

— То есть как это «получаются»? В капусте находите?

— Возникают в Сосуде, конечно, а как же еще?

— Ах, в сосу-уде...

Они помолчали. Судья вздохнул.

— Я уж и не знаю, странный ты человек, как с тобой разговаривать. Что ни слово — то новое преступление. Да так на тебя никаких законов не хватит!

— Что же я такого сказал на этот раз?

— Ты ведь признал, что у вас женщины рождают сами?

— Естественно!

— Что же тут может быть естественного, если закон этого не позволяет?

— Да почему же ему не позволять?

— Тут, по-моему, и думать нечего. Если все станут рожать, сколько их народится?

— Ну, не знаю... Много, наверное.

— Да уж побольше, чем сейчас.

— Что же в этом плохого?

— А Уровень? Чем ты их кормить станешь: воздухом?

— Опять этот ваш Уровень...

— Разве тебя не учили в школе, что Уровень может сохраниться лишь тогда, когда люди... — он подумал, вспоминая слово, — регулируются, так?

— Погодите, судья, что такое регулирование численности населения, я знаю. Но ведь это можно делать и когда детей просто рождают женщины! У нас, например...

— У вас там все не как у людей. Но тут есть еще одна причина, погоди, слово вертится на языке... вырождение, вот что.

— Ах, вот оно в чем дело...

— Сообразил теперь?

— Теперь сообразил. Что такое вырождение, я тоже знаю. А скажи, как же получаются дети там — в сосуде?

Но судья уже снова нахохлился.

— А ты вот спроси в столице. Может, тебе объяснят.

Он помолчал.

— Они тебе там все объяснят! Как людей убивать...

— Я уже сказал вам: я безмерно сожалею. Но что оставалось делать, если все вы тут...

— А ну-ка молчи давай!

* * *

Столицы Шувалов почти не увидел. Приехали они в сумерках, и вечером его никуда не повели; заперли в комнате, где стояла кровать и рядом — табуретка. Дали поужинать и велели спать.

Однако он улегся не сразу, а сидел на кровати, задумчиво глядя на узкое окошко под самым потолком.

— Вырождение... Придумано неплохо: при малом объеме начальной популяции оно наступило бы неизбежно. Но как же они избежали этого?

Он бормотал так, вспоминая, что люди здесь действительно ничем не отличаются от него самого, — а они непременно отличались бы, если бы на протяжении многих поколений дети рождались от браков в одном и том же узком кругу. Значит, невысокий уровень этой ветви земной цивилизации нельзя было объяснить снижением уровня способностей людей — а ведь Шувалов едва не пришел уже к такому выводу.

Значит, так было задумано с самого начала. Да и вообще все было спланировано основательно и неплохо. Но что-то

где-то не сработало или наоборот — переработало, и развитие пошло вперекос.

В том, что развитие пошло не в задуманном направлении, Шувалов не сомневался.

— Ах, сами не рожают... Стерилизация? Ну, вряд ли. Просто запрет — и соответствующий уровень предохранения. При их-то химии? Хотя — что известно об их химии? Мало информации, просто постыдно мало информации!

В конце концов он успокоил себя тем, что завтра, раз уж его привезли в столицу, он получит возможность увидеться с кем-то, кому можно будет изложить все, — и начать наконец сложную работу, результатом которой явится спасение всех живущих на двух планетах людей.

* * *

Но и назавтра он не увиделся с Хранителями, как в простоте душевной рассчитывал. Мало того: на следующий день Шувалов вообще не увидел ни одного нового лица. Казалось, его привезли в столицу только затем, чтобы сразу же выбросить из памяти. Против говорило лишь то, что его все же кормили. Хотя — кормили невысокие чины, а высокие могли и забыть — кто знает.

На самом же деле о нем не забыли, но до высших инстанций весть о нем просто-напросто еще не дошла. Судопроизводство не терпит анархии, и для того, чтобы доложить о Шувалове выше, прежде всего надо было решить, как же о нем сообщать, и в зависимости от этого по какому руслу направить его дело. А у тех, к кому, едва прибыв в город, пошел с докладом судья, возникли различные мнения.

За время, пока Шувалов пробыл под стражей, список его преступлений приобрел весьма внушительный вид. Были обвинения мелкие, которыми можно было и пренебречь, — например, обвинение в том, что он прикидывался сумасшедшим, пытаясь избежать наказания, или обвинение в том, что он находился в запретном городе. Но были и три значительных преступления. Первое из них состояло в серьезной попытке нарушить уровень: одежда, непонятные приборы, разговоры. Второе — убийство или, вернее, покушение (но это было ничем не лучше; наоборот, если бы человек был убит, виновный мог бы еще доказывать, что беда случилась нечаянно, а сейчас пострадавший показывал, что на него напали с умыслом). И третье серьезное преступление, в котором обвиняемый сознался сам, заключалось в том, что он, вкупе с лицом женского пола, пока не установленным, нарушал закон, называвшийся «Люди от Сосуда». Видимо, нарушение это было давним, но по этому преступлению срока давности не существовало, и оно

должно было караться сегодня не менее строго, чем в самый день совершения. Собственно, судья сначала не собирался докладывать о третьем преступлении, но как-то так получилось, что доложил.

Так что теперь предстояло решать: положить ли в основу дела нарушение Уровня — тогда обвинение пошло бы в Собрание по охране Уровня, — или основным почитать покушение — и тогда дело пошло бы по совсем другим каналам и к совсем другим людям. В первом случае оно обязательно дошло бы до кого-то из Хранителей, а во втором — скорее всего, не дошло бы. Об этом и разгорелись среди судей прения, продолжавшиеся целый день. Суть споров заключалась в том, что, хотя нарушение Уровня было, безусловно, преступлением более опасным, зато покушение на убийство являлось значительно более сенсационным (давно уже не случалось такого, очень давно), и, во-вторых, сохранить случившееся в тайне было невозможно, да никто и не старался сделать это, и население о происшествии знало, и необходим был суд, и необходим был приговор.

После дня ожесточенных споров сведущие люди сошлись на том, что в основу дела надо все-таки положить покушение, а остальное пойдет уже в дополнение и по совокупности. А это означало, что если кто-то из Хранителей должен будет ознакомиться с делом, то не раньше, чем при рассмотрении просьбы о помиловании.

Потому что, хотя смертной казни, как таковой, в законе не было, просто назначением на работу в Горячие пески ограничиться было нельзя, и речь могла идти только о посылке преступника к самому экватору — туда, где разворачивали полотнища. Для человека, неприспособленного для таких условий, такой приговор был бы равносилен смертному, и все знали это, и заранее жалели его, но пренебречь законом никак не могли.

Итак, тучи над головой Шувалова сгущались серьезные. Он же ни о чем не подозревал и, понервничав немного из-за бессмысленной потери времени, привел свои нервы в порядок и стал снова размышлять о странном начале и возможном ужасном конце культуры Даль.

* * *

Иеромонах ехал теперь, старясь придерживаться полосы необработанной земли. Он ехал не в ту сторону, где должна была находиться столица, а в противоположную — к лесу, если только полоса действительно вела в лес.

Ржаные поля сменялись овощами, был и ячмень, и просо, иногда на целые десятины раскидывались фруктовые сады.

Попадались речки в обрамлении широких лугов. Иеромонах пил прозрачную воду, крякал, рукавом вытирал губы, радостно вздыхал:

— Благодать господня. Благодать. Нет иного слова. По-прежнему заходил в дома.

— ...Ну, а вот вы соберете; сколько же оставите себе, сколько отдадите?

— Себе оставим, сколько нужно. Остальное отдадим, понятно.

— До нового хлеба доживете?

— То есть как?

Странно было это: не боялись голода.

— И платят вам за остальное?

— Платят? — удивлялись люди; взрослый мужик не понимал простых вещей.

— А если нет — откуда же все берете? Живете, я смотрю, не бедно... За что покупаете?

— Что надо, нам дают.

— И опять-таки хватает?

Тут уж они сами начинали сердиться.

— А ты как живешь — иначе? Тебе не хватает?

Воистину — дивны дела твои, Господи.

Ехал дальше. Удивлялся: чисто, аккуратно живут крестьяне, весело. Но чего-то недоставало. За все время ни одной чреватой бабы Иеромонах так и не увидел; прячут их, что ли, от сглаза? И детишек совсем малых не было. Побольше — были, годочков с трех, а младенцев — нет.

И все-таки хорошо было. Ехал, разговаривал с лошадью, когда не было никого другого.

Однажды все-таки увидел такую бабу. Совсем была молодая. На сносях уже. Везли ее куда-то на телеге, и по бокам ехали двое верхами. Была бабочка смутная, зареванная. Стонала тихо. Верховые ехали с неподвижными тяжелыми лицами. Завидев Иеромонаха, показали рукой и прикрикнули: посторонись, мол.

Остановился и долго глядел вслед, покачивая головой. Словно бы дитя никому и не в радость.

«Нехорошо. Дети — дар Божий», — подумал привычно и искренне.

Дальше селения стали попадаться реже. И нивы уже не подряд шли, перемежались длинными клиньями целины. Больше стало деревьев. Вспугнутые, убегали зверюшки вроде зайца, высоко подпрыгивая.

А полоса все шла, все уходила — дальше, дальше... Будоражила любопытство. Иеромонах погонял лошадь. В меру, правда: берег. Этому его учить не надо было.

Загорел — как встарь, до пострига еще, в деревне, загорал за лето. Привык. И ног своих — голых, волосатых, как у беса, — стыдиться перестал; а сперва стыдился. Здесь это не было зазорно.

Сам и не заметил, как въехали в лес. Просто остановился раз, спешился, огляделся — а уже кругом деревья, и за спину зашли, опушку и не разглядеть. Но не смутился: понадобится — полоса и назад выведет. А пока что поедем дальше.

На всякий случай выломал, однако, дубину. Зверь, не приведи Господь, встретится или еще кто... Вез дубину поперек седла.

Вечерами разжигал костерок. Грелся. Пил кипяток. Заправлял его порошком из корабельных припасов, множившим силу. Вздыхал: кваску бы... Эти люди в нем не понимали, никто. Капитан, правда, еще помнил: да, была такая благодать — квас. Хлебный. Настоящий.

Перед сном представлял, будто сидит на корабле перед вычислителем или аналитом. Разговаривает про себя с машиной, нажимает клавиши, вводит программу, проверив предварительно. И, пока жужжит машина, как пчела в колоде, снова будто сам напрягается, закрыв глаза, словно лошади помогает вытянуть воз из колдобины.

Легкое и хитроумное занятие. Другой мир. Цифры живут, любят друг друга, гневаются, сходятся, расходятся, порой идут стенкой друг на друга. Умирают и воскресают — прости, конечно, Господи. Весело живут цифры, деятельно. А он за ними следит и при нужде помогает.

Утром просыпался легко, набирал воды в седельную флягу и дальше пускался по лесу — до новой воды.

Ехал таково по лесу четыре дня.

И вдруг просека кончилась.

Вывела на поляну обширную, аккуратно круглую, и кончилась.

Приехал, значит. Куда только?

Спешился.

Земля тут была теплой. Как кострище, когда разгребаешь угли по сторонам, чтобы тут, на теплом, спать.

Иеромонах покачал головой, удивляясь.

Обошел полянку. Еще одна просека начиналась, видно, тут когда-то. Но за ней ухода не было — заросла. В лесу недолго. И однако, отличить ее можно было сразу: деревья были помоложе, не вековые, как вокруг.

Что же тут такое было — что просека, и земля теплая?

Иеромонах пустил лошадь пастись и стал ходить по лужайке — не абы как, а по кругу, все приближаясь к середине. Нашел место, где земля как бы подрагивала едва заметно.

Лег, расчистил кружок, прижал ухо.

Жужжит. Тихо, потаенно жужжит.

Посидел, раздумывая.

Нет, понял, это не из той жизни, не из крестьянской. Там, если жужжало — знал, что простое что-нибудь. Ну, пчелы. На корабле разных жужжаний было много, и уже не сразу поймешь, что и почему. И здесь так же: жужжит, а что — непонятно.

Поэтому Иеромонах решил не копать и вообще ничего тут не трогать. Его дело — увидеть и потом рассказать...

И тут как раз застучало.

Подняв голову, он прислушался.

Стучало не под землей; стук доносился издалека. Словно собрались во множестве рыжие дятлы и колотят носами наперебой.

Иеромонах раздумывал, склоня голову. Вздохнул. Встал, взнуздал лошадь. Сел и поехал — туда, где стучало.

* * *

Дятлы долбили так, что кора летела в стороны клочьями. Долбили короткими очередями: три-пять патронов. Чуть прижал спуск — уже отпускай. Но огонь веди прицельно.

— Прицельно! — кричал Уве-Йорген, сжимая кулаки. — Вы куда стреляете? Птицы вам мешают? Не по макушкам надо стрелять! Была команда — в пояс! Метр от земли. Поняли?

Стреляли парни с удовольствием и, в общем, не так уж скверно. Но как-то совсем не желали понимать, что оружие предназначается не для стрельбы по деревьям. По людям! И не только, чтобы их пугать. Для того чтобы уничтожать силу противника. Живую силу.

Иногда у Уве-Йоргена прямо-таки опускались руки. Ну как втолковать такие простые вещи, которые даже не знаешь, как объяснить, потому что тут, собственно говоря, и объяснять нечего!

— Да вы поймите! — убедительно говорил он ребятам. — Что значит — по людям? Против вас будет противник. Или вы его, или он вас.

А ребята, зеленая молодежь, слушали вежливо, но как будто со скрытой улыбкой недоверия и внутреннего превосходства.

— Ну почему, черт бы вас взял, вы не хотите понять...

Те переглядывались. И кто-нибудь из них отвечал:

— Да нет, мы все понимаем. Только откуда возьмутся те, кто захочет нас убить?

— Разве на вас не напали?

— Они же не хотели убить нас!

— Да вы откуда знаете?

— У нас никого не убивают...

В этом был корень зла: не было у них ни войн, ни армии, даже внутренних войск не было — за ненадобностью. А если — крайне редко — требовалось нести какую-то службу, ее несли все по очереди.

Это, между прочим, свидетельствовало об одном: других государств на планете нет. Если бы существовала еще хотя бы одна страна, возникла бы и регулярная армия. Но другой страны не было, армии не было, и ловкие, здоровые парни просто не верили, что есть настоящий противник, в которого придется стрелять.

Они во многое не верили.

Вечерами Уве-Йорген рассказывал им не только о битвах, в которых в свое время приходилось ему драться; рассказывал он и о Земле, и о судьбе, ожидающей звезду Даль.

О Земле слушали с интересом.

— Ну, хотели бы вы там побывать?

Побывать хотели все.

— А остаться насовсем?

Тут они умолкали, переглядывались. Потом снова кто-нибудь уверенно качал головой.

— Нет. Разве у нас плохо?

— Да стоит вам увидеть ту цивилизацию, технику... И потом, там все люди — от людей! Никаких Сосудов!

— Этого и мы хотим...

— Ну, так значит...

— Мы хотим здесь. У нас.

— Да ведь здесь ничего не останется! — кричал Уве-Йорген, выходя из себя.

Самое смешное было, что они и этому не верили.

— Нет, Рыцарь, — говорили они. — О битвах ты рассказываешь хорошо, интересно. А о солнце не надо.

И объяснили:

— Понимаешь, о битвах мы слушаем и верим. Ты сам говоришь, что это было давно и очень далеко отсюда, — и мы верим. А когда ты говоришь о солнце, то говоришь о том, что здесь и сейчас. Но все, что есть здесь и сейчас, мы видим и знаем сами. И такие сказки у тебя не получаются. Расскажи лучше еще что-нибудь из вашей старины...

Свинячьи собаки, а! Гром и молния! Сказки!

Ну и черт с ними — пусть горят или замерзают...

Но они нравились Рыцарю, и он жалел их, как жалеют командиры своих солдат.

Может быть, он просто не умел как следует объяснить? Он ведь все-таки пилот, пусть бы объяснили ученые...

Но сейчас был не вечер, а ясный день. Сейчас Уве-Йорген был в себе уверен.

— Кончай отдых! Ста-ановись! Слушай команду! По пехоте...

И вдруг поспешно:

— От-ставить!

Потому что из леса показался всадник. Он махал рукой. И зоркий Уве-Йорген сразу узнал массивную фигуру Иеромонаха Никодима.

* * *

— Нет, Рыцарь. Крестьяне не пойдут. И не поверят. Им хорошо. И своему солнцу они верят, как мы своему. И у меня болит сердце: почему никто и никогда не хочет оставить в покое пахаря? Почему все — на их спины? Ты никогда не шел за плугом, Уве-Йорген, не знаешь, как вздрагивают ручки его в твоих пальцах, когда налегаешь всем телом...

— Не хватало еще, чтобы Риттер фон Экк ходил за плугом! Но и у меня болит сердце. Эти тоже не верят ни единому моему слову. Они не могут поверить, вот в чем беда. Не в силах. Мы ведь с тобой тоже не понимали очень многого. Но мы приспособились, потому что от рождения наделены такой способностью — приноравливаться. А им — не дано.

— Они хорошие люди. Добрые. Правдивые. Честные.

— Я не привык оценивать людей в первую очередь по этим качествам. Но мне их тоже жаль. И если бы у меня был хоть десяток настоящих солдат, я загнал бы этих людей в трюмы, даже не спрашивая их согласия. И потом они были бы мне благодарны. Но у меня нет солдат... У меня — дети. Здесь все — дети. Планета детей. Первый раз в жизни мой опыт солдата не может помочь мне, и я не знаю, что делать...

— У нас говорили: молись, и господь вразумит.

— Это не для меня...

Уве-Йорген перевернулся на спину и стал глядеть в синее небо. Сперва безразлично, потом осмысленно. Приподнялся на локтях:

— Катер!

Он покосился на Анну: девушка хлопотала у костра, но, услышав это слово, бросила все и побежала. Глаза ее яростно блестели.

— Ну пусть он только здесь покажется! Пусть только покажется! Ему будет плохо! Очень, очень плохо!

Уве-Йорген усмехнулся.

— Наверное, он не мог раньше, Анна...

— Я сейчас скажу, что не хочу его больше видеть!

Рыцарь вгляделся.

— Нет, это не он, Анна. Это большой катер — Георгий и Питек.

Девушка молча опустила руки, повернулась и медленно отошла к костру.

— Не хотел бы я, — сказал Уве-Йорген, — в ближайшем будущем оказаться на месте капитана.

Иеромонах помотал бородой.

— Ты не прав, Рыцарь. Им надо повздорить и помириться, чтобы они более не боялись дотронуться друг до друга.

— Много ты понимаешь, монах...

— Монахи как раз больше понимают. Размышляют больше.

Они смотрели на снижающийся катер.

— Георгий за пультом, — сказал Уве-Йорген. — Его почерк.

— Хоть бы все благополучно... — пробормотал монах.

Катер завис и медленно опустился, легко коснувшись грунта.

* * *

— Питек остался следить, ждать Шувалова. Я задержался, чтобы сделать хоть какую-то съемку местности. Теперь карта у нас есть. Новостей немало. Капитан тут? Жаль, что его нет... Главных новостей две. Питек был в доме Хранителей. В доме — электричество и электроника. Источник питания неизвестен.

— Та-ак... — пробормотал Рыцарь.

— И второе: в стране мобилизация.

— Ага!

— Я побывал еще в двух городах; собирают людей и раздают оружие.

— Арбалеты?

— Нет, Уве-Йорген. Я не знаю, с чем это можно сравнить...

Он огляделся, и взгляд его упал на лежавший рядом с Уве-Йоргеном автомат.

— Вот, пожалуй, похожий предмет. Что это?

Рыцарь медленно усмехнулся.

— Если бы в тот раз, когда вас было триста против целого войска, у вас оказались такие вот штуки, вы, пожалуй, уговорили бы их не лезть в Фермопилы.

— Может быть, — сказал Георгий. Он осторожно взял автомат, оглядел его. — Но тогда, в Фермопилах, нас было все-таки триста.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Что сейчас нас тут, самое большее, пятеро — с капитаном.

— Ничего, — сказал Уве-Йорген. — Зато мы умеем драться. Так что игра будет на равных. Тем интереснее жить!

— Я уже давно умер, — сказал спартиот. — Но хочется, чтобы они, вот эти, все-таки выжили.

* * *

Дверь отворилась и затворилась в двенадцатый раз, и это означало, что пришел последний из тех, кого ждали, последний из Хранителей. Но начали не сразу. Старший из Хранителей Уровня глубоко задумался, и прошло несколько минут, пока он поднял голову и моргнул, словно пробуждаясь от сна. Он обвел собравшихся глазами.

— Мы переживаем тяжелое время, — сказал он негромко. — Нам известно, что нет пути правильнее того, которым мы следуем; но может быть, в расчетах была ошибка? Может быть, зрелость нашего общества, время перехода его на более высокую ступень наступило раньше, чем предполагалось, наступило, когда мы еще не готовы к переходу? В лес уходит больше людей, чем предполагалось. Если до сих пор мы не препятствовали их уходу, зная, что уходят наиболее инициативные, самые способные — иными словами те, кто в первую очередь начнет реализовать новый уровень, когда придет его пора, когда мы сможем дать нужную для него энергию, — то теперь мы вынуждены всерьез задуматься над необходимостью приостановить миграцию: мы можем не успеть, и последствия будут катастрофическими. Все, что было сделано за столетия, окажется напрасным. Я призвал граждан под ружье. Я не вижу иного выхода.

Он умолк. Никто не торопился продолжать. Хранители избегали смотреть друг на друга. Хранитель Времени закашлялся; все терпеливо ждали, пока он справится с дыханием. Потом он заговорил:

— То, что происходит, — естественно. Не забудьте: все мы — первое поколение; и те, кто умер, и те, кто жив, и те, кто еще не явился на свет. Первое поколение. Мы не выродились. Не устали. В наших жилах — свежая кровь Земли. Память жива в нас. Да, мы можем существовать лишь благодаря Уровню, но внутренне каждый житель планеты — против него. Пусть бессознательно. Наш творческий потенциал велик. Сколько можно искусственно удерживать его на месте? Взрыв неизбежен. А в таких случаях — и я знаю это лучше всех остальных, недаром моя область — прошлое, — в таких случаях гибнет не только то, чем можно пожертвовать. Гибнет многое. Гибнет все. Не слишком ли далеко зашли мы в охране Уровня?

— Нет, — не согласился старший. — Вы знаете, на чем основан Уровень. И знаете, что пока нет сигнала, мы не должны предпринимать ничего. До сих пор мы строго следо-

вали программе. И не погибли; напротив. Я не вижу другого пути и для будущего.

Они снова помолчали. Хранитель Сосуда сказал:

— Прислушайтесь.

Они прислушались. Ветерок едва слышно шелестел тяжелыми белыми гардинами, струйка фонтана во внутреннем дворе с мягким, прерывистым плеском спадала в бассейн, где-то радостно смеялись дети.

— Прекрасно, не правда ли? — сказал Хранитель Сосуда.

— Это прекрасно, — согласился Старший Хранитель, и остальные кивнули.

— Мы умеем ценить прекрасное, — снова заговорил Хранитель Времени. — Но если граждане встают под ружье... Помните ли вы первый критический период? Первый разрушительный город? Первую кровь, пролитую на нашей планете?

— Мы помним нашу историю, — сказал Хранитель Сосуда.

— Видимо, тогда нельзя было иначе, — проговорил Хранитель Природы. — То была первая серьезная попытка отойти от программы. Нарушить Уровень. Отвергнуть расчеты. Кто из нас отказался бы от жизни на уровне Земли? Но это невозможно и сегодня, что же говорить о тех временах?

— Я напомнил о прошлом потому, — сказал Хранитель Времени, — что боюсь: кровь прольется и сейчас. Я не хочу этого.

— Никто не хочет, — сказал Хранитель Пищи.

— Никто, — подтвердил Старший. — И поэтому я призвал граждан. Мы больше не можем позволить Лесу существовать самостоятельно. Не потому, что мы боялись их. Просто нам ясно: они не справятся. Не добьются развития: наоборот. И нам же придется спасать их. Но если позволить им, они за короткий срок размножатся, разрастутся больше, чем возможно. И тогда Уровень не выдержит. Сейчас крови может еще и не быть. Я уверен, что ее не будет. Но если не прервать процесс сейчас...

— Надо быть очень внимательными, — сказал Хранитель Солнца, массируя пальцами веки; глаза его были воспалены. — Не забывайте об одном, о главном: Солнце есть Солнце, и вы знаете, чего оно требует.

Хранители медленно склонили головы.

— И еще, — продолжал Хранитель Солнца. — Уже два дня нам известно, что на орбите возле нашей планеты находится, видимо, звездный корабль. До сих пор мы не сделали ничего... Но если корабль сядет... Мы запретили селиться рядом с тем местом, где опустился корабль экспедиции, давшей нам начало, как только разыскали эту точку. Но представьте, что завтра где-то неподалеку опустится не старый, ржавый, ни на что

непригодный, кроме... одним словом, не тот корабль, а новый, только что прилетевший с Земли. Как воспрянут духом все, кто ушел в Лес или собирается сделать это! И как поколеблется Уровень, охранять который мы призваны! Как...

Старший Хранитель прервал его жестом:

— Мы думали об этом. И все мы были бы лишь счастливы, если бы к нам действительно прилетел корабль с Земли, посланец человечества, некогда отправившего наших предков сюда. Не предков, конечно: предтеч. Мы были бы счастливы, потому что ничего, кроме помощи, не могли бы ожидать от прилетевших. Ибо зачем еще Земля прислала бы корабль, как не для того, чтобы помочь нам? Я нимало не сомневаюсь в том, что наша программа изучается на Земле не менее внимательно, чем здесь; не сомневаюсь, что в нужный момент Земля придет — и поможет; каким способом — им лучше знать. Если же этого не случится, как не случилось до сих пор... — Хранитель помолчал, провел ладонью по лицу и так же негромко продолжал: — Если не случится, значит, на Земле произошло что-то, прежде не предусматривавшееся, — и тогда мы не дождемся экспедиции оттуда. Нет, я не думаю, что замеченный нашими астрономами корабль принадлежит Земле, слишком много аргументов против и, по сути, ни одного — за. А это говорит лишь о том, что нужно побыстрее справиться с Лесом, со всем, что ставит Уровень под угрозу. Что же касается корабля, то если он даже сядет, экипаж его — если на нем есть экипаж — вряд ли сможет объясниться с людьми с нашей планеты, ибо это сложнейшая задача; напротив, я думаю, что прилет каких-то иных существ позволит нам примирить тех, кто блюдет Уровень, с теми, кто не согласен с ним: внутренние распри чаще всего забываются или откладываются при угрозе извне.

— Не всегда, — возразил Хранитель Времени.

— Мы постараемся, чтобы это произошло именно так. Я думаю, что мы не должны медлить. Пора покончить с Лесом. А те, кто укрывается в нем, смогут оказать большую помощь тем, кто занят сейчас в Горячих песках. Мы только выиграем.

— Лес... — задумчиво проговорил Хранитель Пищи. — Распорядитель сказал мне, что доставили еще какие-то образцы вещей, изготовленных Нарушителями Уровня. Какую-то одежду и еще что-то...

— Посмотрим на досуге, — кивнул Старший. — Не знаю, правда, когда теперь у нас будет досуг... Да разве мы и сами не знаем, что уже сегодня могли бы делать очень и очень многое из того, что запрещаем... Но разве есть у нас иной выход? Разве можем мы, нарушив программу, кинуться в неопределенность? Нет, мы дождемся сигнала. А сейчас время решать практические вопросы. Я считаю, что мы должны

разделить предстоящее на два этапа. Прежде всего — очистить район старого корабля. Как нас извещают, там обосновались какие-то люди. Необходимо прогнать их оттуда — лучше всего сразу отправить в Пески. А затем двинуться на Лес.

— И все же я опасаюсь... — пробормотал Хранитель Времени.

— Нет, — убежденно сказал Старший. — Много столетий на нашей планете не лилась кровь, не прольется она и сейчас. Можете ли вы представить, что кто-либо из наших граждан захочет пролить человеческую кровь?

Никто не ответил; потом Хранитель Солнца сказал:

— Время смотреть на солнце.

Они разом встали и направились к выходу.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Мне показалось, что я приземлился в военном лагере. Автоматы стояли в крепко сколоченной пирамиде, и возле нее ходил дневальный. Дорожки, аккуратно обозначенные и соединявшие шалаши с погребенным кораблем, были очищены от хвои, и дерн с них сняли. Посредине занятой нами территории был врыт шест, на нем уже висел флаг. Я вгляделся и облегченно вздохнул: то был флаг экспедиции, а не что-нибудь другое. «И на том спасибо, Уве-Йорген», — подумал я.

Очень радостно было видеть наших живыми и невредимыми. Только Анны не было. Однако это никого не касалось, и я заставил себя задавать вопросы, выслушивать ответы и, в свою очередь, отвечать, и не только играть роль, но и на самом деле быть деловым и целеустремленным капитаном, которому безразлично все, кроме службы. Через несколько минут я почувствовал, что злость душит меня — злость на нее. Ну ладно, можно обижаться, можно лезть в амбицию, но нельзя же заставлять взрослого человека... Девчонка, думал я, глупая девчонка... («Да, Монах, Рука пусть так и остается на орбите, и Аверов тоже, корабль все равно не посадить даже при желании...») Выдрать ремешком — вот чего она заслуживает своим поведением... («К сожалению, Уве, убедить тех людей, в лесу, будет тоже далеко не просто...») Ну, в конце концов, пусть пеняет на себя! («Я вижу, ты успел уже сформировать войсковую часть?») Пусть пеняет на себя. В конце концов, я нормальный и самостоятельный человек. Я давно уже привык к мысли об одиночестве — и отлично обойдусь без этой сумасбродки, вот как! («А ты уверен, Георгий, что у них были действительно автоматы? Похоже? Ну, да, ты не специалист... Ладно, не переживай, думаю, мы очень скоро получим возможность разобраться в этом...») Да, обойдусь без нее. Даже лучше, что так:

нельзя же, в самом деле, в такой обстановке отвлекаться на какую-то лирику! («Никодим, а ты сможешь показать то место, где дрожит земля? Потому что мне вспоминаются помехи, что мешают нам держать связь с кораблем, и у меня возникают некоторые предположения...») Да, а вот она, став постарше, поймет, что так любить, как я, ее больше никто не будет! А, да провались она пропадом, в конце концов! («Нет, Уве, они говорят, что Шувалова повезли в столицу, и очень хорошо, что Питек остался там...») Ну ладно, хватит о ней, забудем. Словно никогда и не было. Так или иначе — должна же быть у меня своя гордость!.. («Кстати, Уве: молодежь вся здесь?»)

Этот последний вопрос я задал как можно небрежнее.

— Кое-кого я отпустил в лес по грибы. И ягод им захотелось. Пока тебя не было, к нам присоединилось еще десятка полтора.

— Прямо партизанский отряд, — усмехнулся я. — Значит, в лес?

— Не тревожься, капитан. Посты выставлены. Врасплох нас не застанут.

— Это хорошо. Ладно, друзья, — я с облегчением почувствовал, что начинаю успокаиваться. Если ей нравится бродить по лесу черт знает с кем и искать там грибы — ну пусть, ее дело. У нее свои заботы, у нас — свои. — Давайте-ка пораскинем мозгами...

Пораскинуть мозгами было над чем.

Во-первых, на нас собирались наступать. Мобилизацию не объявляют просто так. Она должна либо произвести моральное, устрашающее воздействие на предполагаемого противника, либо люди действительно собрались воевать. Первое исключалось: мы не были враждующей державой, и устрашать нас таким образом не имело смысла. Оставалось второе: они собирались всерьез драться — видимо, с нами, потому что больше не с кем было. И вот это-то и являлось самым интересным.

— Давайте разберемся. Если все обращено против нас, — а, наверное, так оно и есть, — то почему мы вдруг удостоены такого внимания и уважения?

— Потому, что мы — здесь, — кратко ответил Уве-Йорген. — Мы забрались туда, куда не следовало, и нашли...

— Неужели они стали бы поднимать столько шума из-за старого корабля?

— Ну, их взгляды на их собственную историю...

— Но ведь мы не пытаемся опровергать их, не выходим на площади и не кричим, что их предки не зародились в бутылке, а прибыли сюда на этом самом корабле...

— Откуда им знать, что мы этого не сделаем?

— Они не дураки и понимают: стоит нам выйти отсюда и пойти по городам, как они тут же скрутят нас по рукам и

ногам. Они понимают: для нас единственное средство уцелеть — это сидеть здесь.

— Почему ты считаешь, что они думают именно так?

— Да они же люди, такие же, как и мы. И разум их — того же корня и устройства. Будь они какими-нибудь членистоногими... Но они — это мы.

— Допустим, известная логика в этом есть, — признал Рыцарь. — Тогда зачем же они готовят свое войско — ополчение, фольксштурм, национальную гвардию — называй, как хочешь.

Нахал ты, Уве, подумал я. Просто нахал. Да ладно, сейчас не в этом главное...

— Не в названии суть. Зачем они это делают? Пока могу предположить лишь одно: мы, сами не зная, сели на что-то, куда более существенное, чем железный лом, — пусть даже в нем хранилась дюжина автоматов, о которых они, кстати, не знали, — иначе не оставили бы.

— Значит, — задумчиво проговорил Рыцарь, — мы что-то держим в руках, что-то важное — жаль только, не знаем, что же это такое. Может быть, объявим конкурс на лучшую догадку?

Мы немного посмеялись. Потом я сказал:

— Лучшая догадка сейчас заключается вот в чем: время догадок истекло. Надо начинать что-то делать.

— Знаешь что? — сказал Уве-Йорген с усмешкой. — Прикажи мне вступить с ними в контакт. Я это сделаю, слово рыцаря.

— Интересно... Каков твой расчет?

— Я не дипломат, рассуждаю просто. Я доберусь до этих Хранителей, хотят они того или нет, и заставлю их выслушать Шувалова. Потом они издадут закон, по которому все должны будут встать и полезть в трюмы или куда прикажут. А мы уж постараемся, чтобы закон дошел до каждого.

— А если они не издадут такого закона? — усомнился я.

— Ты сам говорил: они такие же люди, как мы...

— А ты издал бы — на их месте?

— А что бы мне оставалось? — Рыцарь снова ухмыльнулся и прищурил глаз.

— Ну, а я вот еще подумал бы. Видишь ли, у нас несколько разное воспитание.

— Для них будет намного лучше, если они окажутся похожими на меня, — очень серьезно сказал Уве-Йорген.

— Откуда же им набраться опыта? Не забудь: они — не только суверенное государство, но и вообще единственное здесь. Их до сих пор никто еще не завоевывал. Они просто еще не умеют капитулировать.

— Вспомни Кортеса. С горсткой воинов он покорил империю именно потому, что до этого ее никто не завоевывал! А в нашей многострадальной Европе он не заполучил бы и ничтожного графства: у нас издавна привыкли отбиваться когтями и зубами.

Так мы переговаривались, а остальные члены экипажа молчаливо и внимательно слушали, и лица их оставались спокойными.

— А если они все-таки откажутся, Рыцарь?

— А что делали в старые, добрые времена, если правительство не соглашалось? Создавали новое правительство. Любым методом.

— За любые методы — благодарю покорно, — сказал я. — Да и потом, мне кажется, ты в корне ошибаешься. Не те это люди, чтобы повиноваться любому приказу. Если ты даже вот этих твоих воинов не можешь заставить стрелять в людей... Здесь никто не станет делать ничего такого, чего не понимает, во что не верит.

Иеромонах негромко прогудел:

— Вера могла бы спасти. Но чтобы уверовать, человеку должно проникнуться...

— Новыми идеями люди легче всего проникаются, когда они голодны и неустроены, — задумчиво проговорил Уве-Йорген. — Это я очень хорошо помню.

— Они, насколько мы можем судить, не голодны. Изобилия нет, но на жизнь хватает.

Рыцарь выпятил губу.

— Изобилие организовать трудно, а вот голод... Хлеб имеет свойство гореть.

Иеромонах вытянул вперед свои тяжелые руки.

— А вот я тебя, — сказал он. — Этими самыми руками... И простится мне.

Он не шутил, все поняли это сразу. Ах, подумал я, наш пластичный, наш гибкий, наш дружный экипаж!

— Ладно, Никодим, — успокоительно сказал я. — Он же шутит.

— На больших дорогах этак-то шучивали, — гневно сказал инок.

Георгий молвил:

— Не знаю, зачем так много разговоров и размышлений. Все очень просто. Тех, кто захочет, — увезти. Кто не захочет — оставить. Пусть спасаются, как знают.

Он сказал это совершенно спокойно.

— Просто так — взять и оставить на гибель?

Он кивнул.

— И ты сможешь потом спокойно спать?

Он сказал:

— Если только не съем перед сном слишком много мяса.

Заря человечества, подумал я. Милая Эллада, компанейские боги. И вообще — золотой век!

— Хайль Ликург! — сказал Уве-Йорген и, сощурясь, покосился на меня.

Но сейчас мне было не до рыцаря.

— Ты не переедай, — посоветовал я спартиоту, вроде бы в шутку, хотя мне стало очень не по себе. Но обижаться на него не было смысла, а негодовать — тем более; он принес бы в жертву всех — такова была этика его времени, и хотя с тех пор его научили читать галактические карты и точно приводить машину туда, куда требовалось, иным он не стал: знание даже вершин современной науки не делает человека гуманным, и это было известно задолго до меня.

— Ладно, капитан, — сказал Уве-Йорген. — Не грусти: лучшие решения всегда приходят экспромтом. Если, конечно, сначала над ними как следует подумать.

— Погоди, — сказал я. — Я ведь не зря пропадал в лесу. Может быть, нам пригодится то, что я там видел: следы иной цивилизации. Тоже нашей, земной: потомков той же экспедиции.

— Не выжили?

— Похоже, их разгромили.

— Была война? — насторожился Георгий.

— Мы внимательно слушаем, — произнес Рыцарь.

Я рассказал им, что знал.

Выслушав, Уве-Йорген вскочил.

— Ты жаловался, что у тебя нечем поднять людей! — сказал он. — Они тут такие порядочные... Но оказывается — еще не так давно они прекрасно умели убивать! Чем это не повод, чтобы сковырнуть правительство?

— Да понимаешь ли, — сказал я и хотел объяснить, что сама мысль о свержении законного правительства мне претит, — но тут же подавился всеми своими словами.

Потому что из леса показались грибники, и Анна была среди них. Я увидел ее, и у меня перехватило дыхание, так что я сразу понял, что все мои рассуждения относительно нее — от глупости, и что даже самой строгой логикой нельзя убить любовь, так же как самой строгой логикой нельзя ее вызвать.

— Ладно, кончили, — сказал я, встал и пошел ей навстречу.

* * *

Мы встретились как ни в чем не бывало — во всяком случае, со стороны это должно было так выглядеть, но я не уверен, удалось ли мне добиться желаемого эффекта. Анна

улыбнулась, но я сразу почувствовал: что-то не так. Все, может статься, вышло бы хорошо, если бы мы сумели сразу, не замедляя шага, броситься на шею друг другу, поцеловаться, прошептать на ухо какую-то бессмыслицу. Но никто из нас в первый миг не был уверен, как отнесется к этому другой, да и все глазели на нас — и мы чинно поздоровались, а момент был упущен.

— Ну как ты? — спросила она вежливо, и я ответил:

— Да все нормально, как видишь. А ты? Устала?

— Устала, — сказала она.

Мы еще постояли, потом она кивнула:

— Ну я пойду.

Я шагнул в сторону, чтобы пропустить ее, повернулся и пошел рядом: не хотелось показывать, что у нас что-то разладилось.

Около шалаша я спросил:

— Обедом накормишь?

— Да, — деловито сказала она, — в лесу много грибов. Вот, посмотри. — Она приоткрыла корзинку, висевшую у нее на локте, и я заглянул и убедился, что грибов действительно много. Мы еще постояли, затем я сказал:

— Ну тогда ладно... — повернулся и пошел к своим.

Мне надо было что-то делать, и я сказал им:

— Время еще есть. Слушай, Монах: это далеко отсюда?

— Поляна? С полчаса — если шагом.

— Пошли.

Он поднялся с земли. Уве-Йорген заявил:

— Нет, хватит шататься по лесу без охраны.

— Почетный караул не нужен, — возразил я. — Это не официальный визит.

— Не забудь, — ответил он, — что войны нам не объявляли, и мы не знаем, когда на нас нападут.

— Чего ты хочешь?

— Во-первых, пойти с вами. А во-вторых, четверо автоматчиков нам не помешают.

Мне не хотелось спорить, и я сказал:

— Ну давай.

Уве-Йорген скомандовал, и четверо мальчишек, донельзя гордых, мигом схватили свои автоматы.

— Только попроси, чтобы они ненароком не подстрелили нас, — предупредил я.

— Не беспокойся. У здешних ребят крепкие нервы.

— Это хуже всего, — сказал я. — Людей с крепкими нервами бывает труднее всего переубедить.

— Зато они легко переубеждают других, — серьезно сказал он, повесил автомат на грудь и положил на него ладони. — Ну идем?

Когда мы отошли от лагеря, я сказал:

— Ну как тебе лес? Благодать, правда?

И правда, было хорошо, если только отвлечься от наших забот. Птицы, вспугнутые нашими шагами, вспархивали и галдели наверху, какая-то четвероногая мелочь шебуршала в кустах — напуганная выстрелами, она затихла было, но теперь приободрилась.

— Я понимаю, что им не до того, — ответил Уве-Йорген, — но я назначил бы сюда хорошего лесника.

Я сначала рассердился, а потом подумал, что лесник и в самом деле не повредил бы.

Дальше шли молча. Валежник хрустел под ногами. Иеромонах что-то бурчал под нос, отыскивая оставленные им знаки.

Минут через сорок вышли на поляну.

— Добрели, — сказал Никодим. — Вот просека, а та, другая, заросла.

Мы убедились, что так оно и было.

— Теперь посередке послушайте...

Земля тут не то чтобы дрожала, но была ощутимо теплее, чем вокруг, и если прильнуть к ней ухом, можно было услышать басовитое жужжание.

— Что станем делать? — озабоченно спросил Иеромонах.

— Какое-то устройство на ходу, — прикрикнул я вслух. — Наверное, того же возраста, что сам корабль, но работает. А раз тут бывали беспокойные времена, думаю, что его не оставили без страховки.

— Шкатулка с секретом, — сказал Уве-Йорген, — нажмешь кнопку, выскочит чертик. И хорошо еще, если просто чертик...

— Посмотрим, — согласился я, — со вниманием.

Мы принялись чуть ли не ползать по поляне — вдвоем, потому что остальные все равно ничего не понимали; мы принюхивались минут двадцать, потом Уве сказал:

— Нет, видимо, пусто.

— Считаешь?

— Рассуждаю. Даже подстраховка здесь должна быть устроена недолго; значит, не в траве.

— Да, пожалуй.

— Поищем на опушке, а?

— Знаешь, Рыцарь, деревья тоже умирают.

— Значит, не дерево. Что-то, внешне похожее на дерево. На пень. На... что угодно.

Мы поискали, и безуспешно.

— Наверное, — мрачно проговорил Рыцарь, — у них была своя логика, наизнанку. Придется копать. Но никто не отдал приказания взять лопаты, и никто их, естественно, не взял. Возвращаемся?

— Ничего другого не остается, — согласился я.

* * *

В лагере после обеда парни ушли сменять посты. Остальные улеглись поспать. Жизнь была, как на курорте, и не хотелось думать об уходящем времени, как на курорте стараешься не думать об этом.

— Анна, — сказал я. — Пойдем, поговорим?

Она сразу согласилась:

— Пойдем.

Мы шли по лесу, и я не знал, с чего начать. Она тоже молчала.

— Слушай, — сказал я наконец таким голосом, что слова можно было принять и в шутку, и всерьез. — Что за мода — бродить с ребятами по лесу?

Она покосилась на меня:

— Это не опасно.

— Почему?

— Несерьезно.

— А со мной — серьезно?

Она помолчала, потом сказала — тоже как бы в шутку:

— Смотри — проспишь. Прозеваешь.

— Тебя?

— Меня.

— Анна...

— Не надо, — сказала она.

— Что, значит — конец?

— Нет, — сразу же ответила она. — Мне с тобой интересно.

— Ну тогда...

— Нет. Так — не надо.

У меня опустились руки. Потом я сказал ей:

— Знаешь, в дядюшки я не гожусь.

— Дурак, — сказала она.

— Я?

— Ты.

— А-а! — сказал я.

Мы еще помолчали.

— Может, ты объяснишь, в чем дело?

— Ни в чем, — сказала она. — Просто так.

— Да почему... — начал было я, но тут же сообразил, что спрашивать об этом и в самом деле не очень-то умно.

— Ладно, — сказал я невесело. — Погуляем еще?

— Да.

Мы пошли дальше.

— Ты просто не представляешь, какое было множество дел...

— Я ведь тебя не спрашиваю.

— Неужели ты думаешь, что я...

— Я думаю, что я тебе не нужна, — сказала она холодно.

— Ну как ты можешь...

— Ты что — не мог даже поговорить оттуда?

— Не мог! Не мог я выйти на связь. Я был далеко от катера!

— Нет, мог, — сказала она упрямо.

Продолжать я не стал, потому что продолжать было нечего. Мы прошли еще немного.

— Пойдем назад? — предложил я.

Она без слов повернула назад.

И тогда мы услыхали выстрелы в той стороне, где были посты.

* * *

Я глянул и на миг оцепенел: по просеке двигались люди.

Они были вооружены неказистыми, увесистыми ружьями. Некоторые держали пики.

Раздумывать было некогда. Я схватил Анну за руку.

— К лагерю! Быстрее!

Мы бежали что было сил, отступая под натиском превосходящих сил противника. В лагере все были уже на ногах. Уве-Йорген все же успел научить парней чему-то; во всяком случае, залегли они быстро и, я бы сказал, толково. И оружие изготовили. Но стволы всех автоматов были направлены в небо.

Наступавшие теперь перебегали меж деревьев со всех сторон. Впечатление было такое, что нас окружали.

Я достал пистолет, достал патрон и вытянул руку.

Люди с ружьями приближались. Они были пока что метрах в шестидесяти, а я знал, что из моего пугача можно вести действенный огонь метров на двадцать пять — тридцать. Иначе это будет трата патронов. Я ждал, пока они подойдут поближе, и не спеша выбирал цель.

Подошла Анна. Остановилась. Я схватил ее за руку и дернул:

— Не изображай неподвижную цель!

Она неспешно прилегла и с любопытством спросила:

— Что вы будете теперь делать?

«В самом деле, что же?» — подумал я.

Я лежу тут, на песке чужой планеты, и собираюсь стрелять в людей, населяющих ее. Я считаю, что прилетел спасти их, и вот лежу и собираюсь стрелять в них. И убивать. Потому что, когда я был солдатом, меня учили: стрелять надо не мимо, а в цель. Надо убивать врага, потому что иначе он убьет тебя.

Но были ли эти люди моими врагами?

Я был чужой им, они — чужими мне.

Может быть, их вина в том, что они мешают нам спасти их?

Но надо ли спасать человека любой ценой — даже ценой его собственной жизни?

Пусть погибнет мир — лишь бы торжествовала справедливость?

Или все-таки как-нибудь иначе?

Они были метрах в сорока, когда я встал.

Встал, сунул пистолет в карман и с полминуты смотрел на них, а они — на меня. Они не остановились, не замедлили шага.

Я оглянулся и на лицах наших парней увидел облегчение. Здешних парней, воинов Рыцаря. Люди из экипажа лежали спокойно. Иеромонах отложил автомат и подпер подбородок ладонями, словно загорал, а остальные продолжали держать оружие наизготовку.

Я ждал. Наконец от наступавших отделился человек и, убыстрив шаг и размахивая руками над головой, направился ко мне. Он был без оружия. Парламентер, понял я. Просто они не знают, что в таких случаях полагается нести белый флаг.

— Дай-ка автомат, — сказал я Никодиму.

Не вставая, он протянул мне свой. Я закинул оружие за спину.

— Я с тобой, — сказала Анна. На лице ее было любопытство.

— Попробуй только, — пригрозил я и двинулся навстречу парламентеру.

Мы встретились недалеко от наших позиций.

— Думаю, — сказал я ему, — нам надо поговорить, пока не началась серьезная стрельба.

Он, кажется, немало удивился.

— О чем говорить? Вам надо сдаваться.

— Да неужели? — удивился я.

— Конечно, — сказал парламентер. — Ты умеешь воевать? Тогда смотри: мы вас окружили. Вы проиграли. Значит, надо сдаваться. Ведь иного выхода нет?

— Это как сказать, — произнес я, сомневаясь.

Он описал рукой круг, потом наставительно поднял палец:

— Ты же видишь: мы вокруг вас. Это и есть окружение. В таких случаях полагается сдаваться.

Я вздохнул.

«Бедные человеки, — подумал я. — Что для вас война? Что-то вроде игры в шахматы. Все строго по правилам. Ходы, сделанные с нарушением правил, не считаются. В безнадежной позиции полагается сдаваться, а не тянуть до момента, когда тебе объявят мат. Чемпионат на солидном уровне. Очень хо-

рошо. Вы ни с кем не воевали. Вам не с кем воевать. И не надо. Но почему те, кто послал вас теперь, не объяснили вам, что драка — не шахматы, и ведется она по тем правилам, какие изобретаются в ходе игры?»

— Ага, — сказал я вслух. — Значит, нам полагается сдаться. Что же тогда с нами будет?

Он пожал плечами.

— Да уж, наверное, придется вам всем повозиться в Горячих песках, — сообщил он почти весело. — Будете строить там башни, не иначе. Наверное, там вы быстрее поймете, что нельзя забираться туда, куда не разрешено.

— Может, тогда и поймем, — согласился я. — Однако в этой позиции еще можно играть. Предлагаю ничью.

Он не понял, и я повторил:

— Предлагаю ничью. Ты заберешь свое войско и отправишься восвояси.

— А вы?

— А мы останемся здесь. Нам тут очень нравится, понимаешь? И мы собираемся здесь побыть — ну, допустим, еще два дня. Потом можешь приходить и поднимать свой флаг: нас здесь уже не будет. Договорились?

— Вам нельзя здесь оставаться, — сказал он. — Это не разрешено, разве я непонятно объяснил?

— Ну ладно, — сказал я хмуро, уразумев, что сквозь его логику мне не пробиться. — В последний раз спрашиваю: смоетесь вы отсюда, или придется выгонять вас силой?

Тут он понял, что я говорю серьезно.

— Ты на самом деле не хочешь сдаваться?

— Не вижу повода.

— Но тогда... тогда вам будет куда хуже! Тогда вы, может, не отделаетесь даже Горячими песками, тогда... ну, вам будет очень плохо.

— Тем, кто доживет, — сказал я.

Пока мы с ним перебрасывались этими необязательными словечками, я думал: а почему? Почему надо мне удерживать позицию, раз я не знаю, что в ней ценного? Почему не прекратить войну, не начиная? Зачем я лезу со своими правилами в этот симпатичный, хотя и обреченный монастырь?

— А вот зачем, — ответил я сам себе. — Тут находится что-то такое, что для них очень важно. Не для этих мужиков с самопалами — им известно только, что тут нельзя находиться, и они спешат убедить нас в том, что игра проиграна, чтобы и самим поскорее убраться с запретной территории. Нет, не для них, а для тех, кто послал их. Мы нечаянно нащупали болевую точку в их организме. И те, кто послал сюда дружину, ощущают боль и хотят от нее избавиться.

Но боль бывает и полезна. Что, если мы все же со здешними властями не поладим? Ничего не докажем, ни в чем не убедим? В таком случае — Уве-Йорген прав — нам придется спасать их силой, то есть — вынудить правительство сотрудничать с нами. Нет, мы никак не должны убирать пальцы оттуда, где, может быть, случайно прижали их артерию... Мы останемся здесь.

— Слушай, — недовольно сказал парламентер. — Ты не видишь, что я жду? Сколько я могу стоять так, по-твоему?

— Ладно, — сказал я. — Теперь запомни как следует то, что я скажу, и ничего не перепутай. Мы отсюда не уйдем. А ты отправляйся к своему командованию и скажи, что переговоры мы станем вести только на самом высоком государственном уровне. Понял?

— Нет, — искренне ответил он. — Вам надо сдаваться — почему же ты еще ставишь какие-то условия?

Я махнул рукой: втолковать ему что-нибудь было невозможно.

— Тогда так, — сказал я. — Ты все-таки запомни то, что я говорю. Я постараюсь, чтобы ты унес отсюда ноги живым и, по возможности, здоровым. А ты передашь мои слова своему начальству. Усек? Тогда мотай отсюда.

Не ручаюсь, что он понял все буквально, но тон мой был недвусмысленным. Однако в ответ он только улыбнулся.

— Что ты говоришь! — сказал он. — Оглянись: твои уже готовы сдаться! Они-то знают, что вы проиграли!

Я внял совету и оглянулся.

И в самом деле, наша гвардия уже покинула свои укрытия, оставив автоматы на песке. Молодцы и вправду решили сдаваться — по тем правилам, какие были у них приняты; парни стояли кучкой, безоружные и унылые. Уве-Йорген глядел на них свирепо, Георгий — презрительно, а привыкший прощать Иеромонах был, кажется, даже рад тому, что молодые люди не впадут во грех смертоубийства.

— Никодим! — крикнул я. — Подбери оружие!

Он кивнул.

Я обождал, пока он собрал автоматы. И снова повернулся к ожидавшему парламентеру. Тот улыбнулся.

— Ну? — сказал он. — Убедился? Несите все оружие сюда. И ты отдай свое тоже.

— Просят не беспокоиться, — ответил я ему языком объявлений. Медленно снял автомат с плеча и двинул прикладом ему под вздох.

Он не ждал этого, оглянулся и упал, и стал корчиться на песке, откусывая большие куски воздуха. А я повернулся и неторопливо пошел к кораблю. Я уже знал: в спину они стрелять не станут. И вообще вряд ли станут стрелять.

Мои капитулянты стояли, оторопело глядя на меня.

— А ну пошли отсюда! — сказал я сердито.

Они глядели, как побитые песики.

— Как же... — пробормотал один из них. — Они ведь выиграли...

— Повезло вам, мальчики и девочки, — сказал я невесело. — Вы не знаете, что такое война,— и не надо вам знать этого. Бегите куда глаза глядят и постарайтесь не попадаться в руки войску.

— А вы? — нерешительно спросил другой.

— А мы играем по своим правилам. Но они — не для вас. Ну — кругом марш!

Они поплелись прочь.

— Да не туда! — крикнул я им вдогонку. — Шагайте в глубь леса и обойдите их стороной!

После этого они задвигались побыстрее.

Я поглядел в сторону противника. Четыре стрельца тащили нокаутированного мною парламентера в свой тыл. Остальные клацали фузеями, снова изготавливая их к бою.

Мы с Иеромонахом залегли так, чтобы защищать ход, ведущий к кораблю; возможно, нам придется отступить туда и отсиживаться в этом доте.

— Ну, отче, — сказал я.

Инок не услышал; он бормотал что-то, и мне показалось, что я расслышал слова вроде «Одоления на супостаты...». Я даже не улыбнулся: каждый настраивается на игру по-своему. Мне вот достаточно подумать об Анне.

Я покосился на нее: она, конечно, не усидела в корабле и теперь лежала рядом со мной.

— Что вы собираетесь делать? — спросила она с любопытством.

— Хотим доказать, что еще не вечер.

— Но их ведь больше?

— Ничего, — сказал я. — Зато мы в тельняшках.

Я и не ожидал, что она поймет это. Но она не поняла и многого другого.

— Они ведь с вами не согласятся...

— Поглядим, — сказал я, изготавливаясь, потому что противник, оправившись от удивления, стал строиться для новой атаки. Они строились очень красиво и убедительно и собирались наступать тремя плотными колоннами. Мечта пулеметчика, подумал я. Но это будет просто мясорубка.

Я вскочил на ноги.

— Рассредоточьтесь, идиоты! — крикнул я им. — Цепью! Перебежками! Кто же атакует колонной, когда у нас авто...

Но окончания они не услыхали, потому что грянул залп и на меня посыпалась хвоя. Тут же последовал второй — точно

так же поверх голов, — и они, не вняв доброму совету, двинулись вперед, а в тылу их даже засвистела какая-то пронзительная дудка.

Я вздохнул; мне было тяжело.

— Спрячься, ребенок, и не гляди, — сказал я Анне. — Это не для тебя.

— Нет, — сказала она. — Я хочу посмотреть.

— Если ты увидишь, ты меня больше никогда не...

— Что ж ты не стреляешь? — возбужденно подтолкнула она меня. — Они стреляли уже два раза, а вы молчите. Ваша очередь!

Я повернулся к ней. Глаза ее горели, ей было весело.

«Вот так, — подумал я. — Мы, значит, спасаем это бедное, маленькое, неразумное человечество. Своеобразным способом спасаем мы его! С нами приходит страх! — вспомнил я «Маугли». — Вот он, страх, страх добротной земной выделки — вот он, в моих руках. Вот прорезь, вот мушка. Длинными очередями, с рассеиванием по фронту...»

Я целился не в макушки деревьев. Я целился в пояс, как и полагается на войне.

Но перед тем, как мягко, плавно нажать спуск, я все-таки поднял ствол чуть ли не к самому небу, словно хотел обстрелять проклятую звезду, из-за которой все и заварилось.

Нет, нельзя, нельзя стрелять в людей, которые смыслят в военном деле столько же, сколько и малые дети — а то и куда меньше, если сравнивать с детьми моего времени, — и к тому же совершенно не собираются убивать меня.

Мы играли на чужой площадке, и надо было — если мы хотели и впредь считать себя порядочными людьми — играть по их правилам.

И я крикнул своим:

— Только не по людям! Ясно?

Они удивленно посмотрели на меня; Уве-Йорген скривился, а Никодим улыбнулся.

— Нет, — сказал он. — Я их только переполошу.

Он прицелился в макушки деревьев и дал очередь.

Шишки так и посыпались на них. Но шишки не убивают.

* * *

Как только мы приняли их правила, стало ясно, что это будет игра в одни ворота: их было слишком много, а мы играли все время одним составом, и патронов у нас было в обрез. К тому же — я заранее знал, что так и получится, — нападавшие стали постепенно входить в азарт, и пули жужжали все ближе к нам, глухо стукаясь в стволы или плюхаясь на песок. Сдуру они могли и ранить — случайно, конечно, но нас

было слишком мало, чтобы терять людей даже по недоразумению.

— Оставайся здесь, — сказал я Никодиму. — А ты ползи за мной.

Анна послушалась, хотя вряд ли это было ей приятно. Я подполз к Уве-Йоргену.

— Пожалуй, Рыцарь, пора заключить перемирие.

— Если ты собираешься воевать таким способом, — ответил он, не отводя взгляда от наступавших, — то лучше капитулируй сразу. Но скажу тебе откровенно: такая война не по мне.

— Я говорю не о капитуляции, а о перемирии. Нам надо решить, что делать.

— Попробуй, — согласился он нехотя. — Дипломатия — твоя стихия.

— Иди в корабль, позаботься хотя бы об ужине, — сказал я Анне. — Не бездельничай.

Это подействовало, и она не стала возражать. А я улучил миг, когда стрельба чуть ослабела, встал и пошел им навстречу, так же размахивая руками над головой, как их парламентер.

* * *

Удалось добиться перемирия на час, поскольку я втолковал им, что такие действия целиком входят в правила той войны, которую вели они. Наступавшие с облегчением прекратили палить и тут же занялись ужином. А мы сели в кружок и принялись совещаться.

— Они не отвяжутся, — сказал Уве-Йорген. — Они всерьез обеспокоены чем-то. И, значит, говорить о мирном, деловом контакте больше нельзя.

— Как бы они ни вели себя, — сказал я, — наша задача не меняется.

— Прости им, ибо не ведают, что творят, — произнес инок.

— Пусть цель и не меняется, — сказал Рыцарь, — но должны измениться средства. Ульдемир, ты еще надеешься, что Шувалов сможет чего-то добиться?

— Знать бы хоть, что с ним...

— Ладно, — сказал Уве. — В таком случае, у нас остаются еще две возможности. И ты должен попытаться использовать обе.

— Слушаем тебя.

— Твои лесные люди. Надо поднимать их и вести на город. Надо прийти к власти и показать ей, что за нами — сила.

— Ну, а вторая? — спросил я.

— Я останусь тут. Хочу все-таки разобраться, чего ради они выпустили столько патронов. А потом надо будет еще слетать за Питеком.

— Они намного сильнее. У тебя кончатся патроны, что тогда?

— Будь спокоен, — сказал Уве-Йорген, — гибнуть я не собираюсь и загорать на их Горячих песках — тоже. К тому же оставь со мной Георгия. А Иеромонах пусть летит с тобой. И девушку забери: ей тут делать будет нечего.

Мне не очень понравилось предложение Рыцаря, но, пожалуй, оно было все-таки самым разумным. Конечно, мы могли уйти все. Но тогда так и осталось бы неизвестным, что же столь важное для властей скрывалось здесь.

— А потом? — спросил я. — Когда ты выяснишь, что здесь кроется — или когда тебя заставят уйти отсюда?

Уве-Йорген подумал.

— Тогда заберем Питека и постараемся присоединиться к вам, — ответил он наконец. — Да и обстановка подскажет...

— Пусть будет так, — согласился я.

— И еще одно. Мы вступаем в войну. На войне иногда убивают.

— Тут, кажется, нет.

— Пока нет. Но в цель иногда попадаешь, даже не желая. Шальные пули... И если мы двое так и не сможем присоединиться к вам, не забывай при всем твоем широкодушии и любви к малым сим: время уходит, а Гибкая Рука не из тех, кто медлит выполнять приказ.

— Это как-никак мой приказ, — сказал я. — Так что не забуду.

Мы с Никодимом и Анной втроем кое-как втиснулись в малый катер, чтобы долететь до леса. Большой оставили Уве-Йоргену. На прощанье я сказал ему:

— Надеюсь, ты будешь действовать, как достойный представитель высокой цивилизации.

— Не беспокойся, капитан, — сказал он, — и не спрашивай.

Но я не был спокоен. Я знал, что есть вещи, которые Уве-Йорген умеет делать лучше, чем я, но всей душой надеялся, что ему не придется пустить в ход все его умение.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

— Рука, неужели до сих пор нет никаких сообщений?

— Я и не жду их, доктор. Там, на планете, что-то создает такие помехи, что для связи катер должен выйти в космос. Думаю, у наших нет для этого времени.

— Знаете, я очень волнуюсь... Постойте, а это что? — Аверов смотрел на приборы. — Батареи стоят под зарядкой?

— Да. Я заряжаю их до полного.

— Но почему? Если не было никаких новых распоряжений...

— То выполняются старые, доктор. И время выполнения все приближается.

— То есть вы хотите сказать, что если срок истечет и никто из наших не подаст никаких признаков жизни, вы... включите установку и начнете воздействовать на звезду?

— Нет, доктор. Этого я вовсе не хочу сказать.

— Зачем же в таком случае батареи?

— Чтобы вы! Вы, доктор, в нужный момент смогли начать воздействие. А моим делом будет лишь — вывести корабль в нужную для этого точку.

Аверов сделал шаг назад, скрестил руки на груди. Рука, не вставая, спокойно смотрел на него и дымил трубкой.

— Можете быть уверены, что я этого не сделаю! — сказал ученый.

— Вот тогда это придется сделать мне, — сказал Рука.

— Ха! Хотел бы я посмотреть...

— А вот посмотреть вы уже не сможете, — сказал индеец, не сводя с ученого неподвижных глаз. Аверов понял смысл слов не сразу.

— Вы что... Вы сможете?..

— Да, доктор. Я смогу. И то, и другое. Это в моих силах.

Аверов хотел еще что-то сказать, но почувствовал, что нет сил.

* * *

Шувалов полагал — и, по-видимому, справедливо, — что люди, находящиеся у руководства, могут обладать многими недостатками, в том числе (как показывала история) порой очень неприятными, но быть глупыми они просто не имеют права. И в данном случае, поскольку опасность, грозившая планете, была равной для всего ее населения, независимо от его возраста, здоровья, социального уровня и прочего, — руководство, по мнению Шувалова, не должно было пренебречь ни одной возможностью спасения и обязано было с радостью пойти навстречу любому, кто такое спасение предложит. Но сам он до сих пор никакого предложения сделать не мог — просто не мог.

Его просьбы и требования встречи с кем-либо из Хранителей Уровня оставались безрезультатными. Ему каждый раз отвечали одно и то же:

— После приговора сможешь просить о смягчении участи. Тогда Хранители рассмотрят твою просьбу. Пока же им не о чем с тобой разговаривать.

— Но простите! — возражал Шувалов. — Мне лучше знать!

— Закон не позволяет Хранителям выслушивать преступников, пока суд не вынес приговора.

С законом спорить было невозможно.

Время уходило стремительно. И когда настала пора предстать перед судом, Шувалов решил прибегнуть к последнему, видимо, средству, какое оставалось в его распоряжении.

* * *

Его судили в большом зале, заполненном народом. Стены и потолок зала были покрыты странной росписью, мрачные, резкие тона которой, начинаясь от пола, чем выше, тем больше переходили в мягкие, умиротворяющие. Возможно, эта роспись заменяла символы правосудия, принятые на Земле, — повязку и весы богини.

Судей было пятеро, и они находились на возвышении, однако не за столом — стола не было, они просто сидели в глубоких креслах, стоявших полукругом, а в центре полукруга находился табурет, на который и усадили Шувалова. Судьи оказались пожилыми, сдержанными в словах и жестах людьми. Зато публика проявляла эмоции открыто, и выражаемые ею чувства были — это стало понятно сразу — не в пользу Шувалова. Люди были искренне возмущены и встревожены, и написанная на их лицах тревога порой вытеснялась выражением если не ненависти, то холодного отчуждения, целиком относившегося к подсудимому.

Ритуал оказался несложным. Публике объявили, кого будут судить и за что. Потом еще раз объяснили Шувалову, что судить будут именно его, и подробно объяснили, в чем его обвиняют. Затем стали давать показания возчики, врачи, судья и пострадавший астроном. Он, говоря, то и дело поворачивался к Шувалову, хотя должен был смотреть на судей, и в глазах астронома были недоумение и сожаление.

— Итак, признаешь ли ты себя виновным в том, что хотел и пытался совершить убийство?

Кажется, настал момент. Шувалов встал.

— Высокий суд...

— Ты говори просто: судьи.

— Судьи! Я признаю себя виновным.

Легкий гул прошел по залу.

— Но это — лишь малая часть преступлений, в которых можно обвинить меня.

Зал замер.

— Я, систематически нарушая Уровень...

Снова гул.

— ...нашел способ совершить воистину страшное и жестокое преступление!

И снова — мертвое безмолвие.

— Последствия преступления были бы неисчислимы. Они привели бы к тому, что Уровень рухнул, а затем и сама жизнь всех людей сделалась невозможной. Сейчас я в ваших руках, но помните: я не один! И если совершится задуманное мною — вы погибнете!

В зале кто-то слабо вскрикнул. Кто-то заплакал. Шувалов перевел дыхание.

— Я еще не знаю, какой способ мы применим. Потому что их два.

Шувалов умолк. Он сделал это намеренно.

— Говори! — чуть хриплым голосом сказал судья, сидевший в середине. Но другой, сидевший справа, перебил его:

— Но ведь ты погибнешь и сам, подсудимый! И твои товарищи тоже погибнут!

— Да, — сказал Шувалов. — В том-то и дело. Ведь каждый человек должен умереть. И мы решили: раз мы должны умереть, то пусть умрут все.

— Неужели ты так ненавидишь людей?

Шувалов ответил не сразу. «Я слишком люблю людей, — думал он, — мы все слишком любим людей, даже дураков — потому что они ведь не виноваты в том, что существует знание, слишком тяжелое для их нетренированных мозгов...»

— Да! — сказал он. — Я ненавижу людей.

— И все-таки... То, что ты сказал, звучит страшно, но — как нам поверить? Нам трудно поверить в такую меру жестокости... Ведь ты человек, как и мы...

— Неужели вы не понимаете, что тот, кто спокойно и хладнокровно пытался убить человека, может убить сразу множество людей?

Судьи переговаривались вполголоса. Гул в зале нарастал.

— Подсудимый! — обратился к нему сидевший в середине. — Скажи, нет ли способа отвратить тебя от преступлений? Чего ты хочешь? Может быть, если мы предоставим тебе свободу и позволим жить, где ты пожелаешь...

Шувалов покачал головой.

— Я должен сообщить вам, судьи, — сказал он, — что уже начал раскаиваться в задуманном и подготовленном великом преступлении. Я скажу вам, почему. Я хотел прославиться, совершив его; но потом понял, что если не останется людей, то некому будет и помнить и говорить обо мне...

Судьи утвердительно кивнули.

— То, что я задумал и начал, еще можно предотвратить.

Средний судья встал.

— Мы требуем, чтобы ты сказал нам — как! Сказав, ты во многом искупишь свою вину.

— Да! Да! — кричали в зале.

— Я согласен, судьи!

— Говори! Говори же!

Шувалов снова сделал паузу.

«Смешно, — думал он, — как же несложно было все это придумать! Начни я им говорить о грозящей вспышке Сверхновой — ни один не поверил бы, хотя то была бы святая истина. А вот поверить в сверхпреступление — вы в состоянии, вы готовы. Милые, простодушные, необразованные люди...»

— Я скажу, судья. Но не тебе и никому из вас.

— Почему же?

— Потому что дело ведь касается всех людей и всего Уровня, не так ли? И будет справедливо, если я скажу все тем, кто хранит Уровень.

Судьи снова негромко перемолвились. Потом сидевший справа объявил:

— Обо всем, что сказал подсудимый, мы сообщим Хранителям, и они вынесут свое решение. Да пребудет Уровень!

По залу прошелестел вздох облегчения. Искреннее всех вздохнул Шувалов. Вот и сделано дело, подумал он. Наконец-то можно будет начать работать, спасать людей... Он снова обвел глазами собравшихся в зале. И они тоже, не спеша расходиться, смотрели на него — кто со страхом, кто с интересом, некоторые — спокойно, иные со злобой. А один смотрел с веселой улыбкой. Шувалов удивился: уж очень неуместно было здесь выражение симпатии. Он поднял брови. Тот человек, встретив его взгляд, улыбнулся еще шире и прищурил глаз — и тогда Шувалов узнал Питека, на душе у него стало совсем хорошо, и захотелось петь.

* * *

— ...Впрочем, — сказал старший Хранитель Уровня, — у вас и не было возможности составить о нас правильное представление. Так уж глупо получилось... но согласитесь — ваш визит был для нас по меньшей мере неожиданным. Кто мог подумать, что вы — с Земли?

Шувалов охотно кивнул. Наконец-то он разговаривал с человеком — сразу ощущалось — своего круга. С поправкой, разумеется, на уровень знаний — и все же с человеком, мыслящим, видимо, достаточно широко и масштабно.

Хранитель устало потер лоб.

— Да, неверное представление... Вам, видимо, многое показалось произвольным, непонятным... неприемлемым. Навер-

ное, так. Мне трудно судить об уровне вашей сегодняшней цивилизации, однако я понимаю, что все эти столетия она не стояла на месте и развивалась, как я теперь понимаю, не совсем в тех направлениях, что до экспедиции наших предков... впрочем, нашими предками они как раз не были.

— В общем, — согласился Шувалов, — Земля несколько изменила цели и методы.

— Ну, а у нас выбора не было: характер нашего развития был предопределен заранее... На Земле еще помнят о нашей экспедиции?

— М-м... Специалисты и историки — безусловно. Помним, что было несколько экспедиций. Но о результатах нам ничего неизвестно.

— Один из результатов — перед вами. Попытайтесь представить себе, как все это происходило, — и поймете, что ничем иным дело не могло окончиться.

Представьте себе, что крайне ограниченное количество людей — не более двухсот — покидает Землю, чтобы никогда более на нее не вернуться. Чтобы осесть на одной из планет, существование которых в данной звездной системе было установлено, но об условиях на которых можно было лишь предполагать. Люди летят, по сути дела, наугад. На карту поставлена жизнь. Потому что если им не повезет и годных для обитания планет не окажется, они, возможно, и сумеют вернуться, но прилетят уже глубокими стариками — и неизвестно в какую эпоху.

— Потому-то люди потом и отказались... — пробормотал Шувалов.

— Вы, конечно, понимаете: летевшие были энтузиастами, людьми в какой-то степени не от мира сего — хотя, разумеется, упорными, выносливыми и умелыми. Такие сочетания встречаются. Ну и, безусловно, с авантюристической жилкой. Они летели, надеясь. И, как вы видите, надежда оправдалась.

Шувалов кивнул.

— Они летели, чтобы обосноваться и жить. Но еще до старта вступили в силу те закономерности, с которыми раньше, при освоении территорий Солнечной системы, люди не встречались.

Люди понимали, что им придется рассчитывать только на самих себя. Заранее было ясно, что сообщение и связь между человечеством и его новыми поселениями в космосе будут практически невозможны: слишком много сил требовало снаряжение такой экспедиции, и о регулярных рейсах хотя бы раз в столетие нельзя было и думать всерьез.

— Это стало возможным лишь недавно, — сказал Шувалов. — Но...

— Одним словом, тем, кто летел, рассчитывать на чью-то опеку не приходилось. И предстоящая оторванность от материнской цивилизации заставила задуматься: какую же часть ее можно взять с собой и что из взятого можно будет сохранить и укоренить на новом месте?

— Понимаю.

— Всякая техническая цивилизация, как вы знаете, является сложнейшим комплексом взаимосвязанных явлений. И чтобы захватить с собой, скажем, такое примитивное достижение техники, как... как электрическую бритву, надо было взять и все необходимое для постройки на новом месте электростанции, пусть простейшей, урановой, то есть материалы, генераторы, строительную технику, транспорт, топливо, запасные части — и так далее.

— Да, в наше время этими проблемами начали серьезно интересоваться: все-таки от вопроса о диаспоре никуда не уйти.

— А тогда только начинали соображать. Итак, взять с собой нельзя, изготовить на месте — практически едва ли не голыми руками — тоже. Не знаю, каков по размерам ваш корабль...

— О, вы сможете детально ознакомиться с ним...

— Заранее благодарю. Но во всяком случае вы вряд ли представляете, как мало можно было взять с собой в то время. Учитывался каждый грамм массы и каждый кубический сантиметр объема.

— Не хотел бы я быть на их месте.

— Да и я тоже. Итак, им предстояло решить: что является важнейшим при создании колонии на пустом месте и без притока сил извне. Что является жизненно важным.

— Судя по тому, что колония прижилась, решение удалось найти?

— Да. Это были люди.

— Люди?

— Вот именно. Было известно, что для того, чтобы не вымереть, не захиреть, не выродиться, наконец, такая колония должна прежде всего обладать определенным количеством людей — не ниже критического уровня, который тогда оценивался приблизительно в несколько тысяч человек. Но выполнить такое условие было невозможно: корабль вмещал двести человек — и самое необходимое для них. Не более того.

— Воистину, задача не из самых простых.

— И все понимали, что если начинать от первичного количества в двести человек, — предположим, сто пар, — то, по естественным условиям, население колонии смогло бы достичь нужной величины слишком поздно. Вернее, оно не успело бы ее достичь — колония угасла бы значительно раньше: счет ведь шел на поколения!

— Сложно, сложно.

— Тем не менее, выход был найден. Та аппаратура, которую улетавшие взяли с собой, то немногое, что они смогли увезти, предназначалось не для производства энергии, не для обработки земли или резания металлов, но для производства... людей. Клоны! Миллионы клеток! Установка, взятая экспедицией с собой, обладала достаточной мощностью, чтобы в первый же год произвести на свет тысячу младенцев, на второй — столько же, а при желании производство можно было и расширить. Этим устранялась и опасность вырождения людей, которая непременно возникла бы в столь узкой популяции.

— Люди от Сосуда! — пробормотал Шувалов. — Вот оно что...

В его голосе звучала неприязнь.

Хранитель посмотрел на него.

— Это претит вам?

— Н-ну... я даже не уверен, что это люди — те, о ком вы говорите. Может быть, честнее назвать их биологическими роботами?

— Можете называть меня так, — с улыбкой согласился Хранитель Уровня, — если такой термин кажется вам более приятным.

— И вы тоже?..

— Как и все остальные. Возможно, и не все — иногда люди рождаются у нас и обычным порядком, — но вообще-то роды у нас под запретом.

— А это еще почему?

— Мы считаем, что еще не достигли численности, при которой опасность вырождения исчезла бы.

— Какой же численности вы хотели достигнуть?

— Порядка десяти миллионов. А сейчас нас несколько более миллиона.

— Так много? — хмуро удивился Шувалов.

— Мы считаем, что очень мало.

— Зависит, конечно, от точки зрения. Миллион... Немало.

— Может быть, оставим эмоциональные оценки?..

— Да, извините... Но постойте, ведь для всего, что я тут вижу, — Шувалов развел руками, словно обнимая все, что находилось в помещении — в длинной комнате без окон, отделанной пластиком, который и через столько лет все еще оставался белым. Скрытые светильники давали рассеянный, мягкий свет. Вдоль стен стояли стеллажи, уставленные одинаковыми аппаратами, к которым тянулись жгуты проводов. — Ведь для всего этого нужна энергия — и обойтись без нее вы никак не могли!

— Она нужна и сейчас. Поэтому небольшую силовую установку — ядерную, прямого преобразования — и топливо для

нее экспедиция взяла с собой. Однако энергии могло хватить на производство людей и еще на некоторые нужды — но никак не для того, чтобы развивать промышленность.

— Понимаю. Но неужели эта станция...

— Да, действует и сейчас. Впрочем... Но не стоит о деталях.

— Что же еще взяла с собой экспедиция?

— Разумеется, достаточно мощный компьютер. Прежде всего, для управления производством: оно требует строжайшего программирования и точнейших режимов, если вы хотите, чтобы рождались люди, а не монстры.

— Рождались, вы говорите?

— А как мне еще сказать? Человек рождается, иного пути у него нет. Его не собирают из деталей. Среда, в которой он развивается, — вопрос достаточно важный, но не принципиальный.

— Н-ну хорошо, не станем спорить...

— Я тоже так думаю. Таким образом, первая задача — создание численности — была решена. Но мало родить людей: их ведь еще нужно кормить, и вообще — жить надо!

— Безусловно.

— И вот тут начинать приходилось действительно с самого начала. Хорошо, что психологически люди были подготовлены.

— К жизни в каменном веке?

— Не совсем так, конечно, но, во всяком случае, к тому, что землю придется вспахивать плугами, да и то не сразу: первые два-три года, пока подрастет тягловый скот, — лопатами...

— Вы и скот тоже... запасли подобным образом?

— Нельзя же было всерьез ожидать, что природа случайно подбросит на планету лошадей и быков! Конечно, все было привезено с собой и вызвано к жизни таким же способом — тут же, в другой части здания. Правда, теми установками мы уже давно не пользуемся.

— Доверяете скоту больше, чем людям?

— Просто мы больше заботимся о людях... Итак, люди еще на Земле научились выполнять все необходимые работы, владеть всем первобытным инструментарием. И тут им пришлось сразу взяться за дело.

— И вот минули столетия — а уровень вашей техники остался, похоже, неизменным — и вы не очень-то стремитесь повышать его.

— Вы правы: не очень стараемся.

— И даже противитесь, не так ли?

— Вряд ли есть смысл скрывать это.

— А почему?

— Видите ли, еще до старта было ясно, какой технический уровень будет иметь новая колония. Но оставалось неясным —

какие психологические и социальные изменения вызовет переход к такой жизни.

— Вы опасались регресса?

— «Мы» — не совсем по адресу: не забудьте, что я-то если и прилетел на том корабле, то лишь в виде законсервированной клетки.

— Простите, я все время забываю об этом. Ну, не вы, а «они».

— Они предполагали, что некоторый регресс неотвратим, но не принципиальный. Ведь можно лишить человека техники — но уровень знаний и мышления у него останется прежним, и он не только не одичает, но сможет удержаться от социального отступления вообще — в принципе, разумеется.

— И это удалось?

— Безусловно. У нас не было и нет частной собственности. Это понятие отсутствует в нашем обществе.

— Однако вы вот его знаете...

— Мы — те, кого называют Хранителями Уровня, — в процессе подготовки весьма тщательно изучаем нашу историю. Вплоть до мелочей. Иначе я не мог бы рассказать вам все так обстоятельно.

— Но вы все же не ответили на мой вопрос: почему ваш уровень не растет, напротив — объявлен постоянным?

— Мне кажется, понять это нетрудно. Вам и самому ясно, что уровень производства — при условии, что не будет чрезмерной перегрузки людей на работе, — требовал весьма, весьма и весьма рационального ведения хозяйства. В каждую вещь, в каждую горсть зерна у нас вложено очень много труда...

— Естественно.

— И с самого начала не представлялось иной возможности, как все руководство и производством, и распределением поручить тому же компьютеру. Людям оставалось снабжать его актуальной информацией и, в случае крайней необходимости, в основном морального характера, — вносить в его рекомендации небольшие коррективы. Но это приходилось делать крайне редко.

— И машина справлялась?

— Безусловно. Только так наше общество и могло не только существовать, но и развиваться. Однако... — Хранитель Уровня вздохнул и развел руками, — возможности компьютера не являлись неограниченными. И в один прекрасный день стало ясно: всякие изменения — в характере ли производительных сил или в характере потребления, да чего бы то ни было — приведут к тому, что машина перестанет справляться с задачей.

— И вы решили...

— Можно было, конечно, пойти на риск: выключить машину и взять дело в свои руки.

— Но вы не пошли на это.

— Для того чтобы не допустить при такой перемене ошибок и путаницы, нужно было иметь множество специалистов. А у нас их не было. И кроме того...

— Почему же вы их не подготовили?

— Вы не дали мне договорить: и кроме того, при такой производительности труда мы не смогли бы прокормить большой аппарат. Прокормить, одевать, обувать, содержать. Вы ведь могли заметить: люди у нас — на девяносто девять процентов производители. Один судья на город с прилегающим районом — вот и вся власть. Тут, в столице, больше, но ненамного. Армии нет. Специальных сил по охране порядка — нет. Обходимся — благодаря тому, что нравственный уровень тогдашней Земли нам удалось удержать, и еще, вероятно, по той причине, что у нас нет неравенства. Кстати, способ увеличения или поддержания численности населения, каким мы пользуемся, тоже даст нам возможность строго дозировать и даже консервировать прирост — а с другой стороны, спасает нас от потерь рабочего времени, неизбежных, когда людей рождают люди, и, что очень важно, избавляет людей от стремления получить побольше, чтобы лучше обеспечить своих детей.

— Логика в этом, конечно, есть, хотя мне лично... Да, итак — вы дошли до уровня, который при данной системе является оптимальным?

— Да, если вы имеете в виду уровень потребления. Но если говорить о развитии вообще, то оно вовсе не прекратилось, просто для него нам нужно время.

— Интересно, как же вам представляется дальнейшее развитие?

— Оно запрограммировано заранее. Прежде всего, население планеты должно все же достичь определенного уровня. Затем начнется подготовка специалистов, необходимых на следующей ступени развития. Мы движемся постепенно, но без срывов, равномерно, не желая забегать вперед.

— Пусть так. Но надолго ли хватит топлива для вашей силовой установки? И что вы предпримете, когда оно кончится и компьютер остановится?

— Топлива хватит ненадолго. Но это не страшит нас, и компьютер не остановится. У нас есть другой источник энергии: солнечные батареи. Источник практически вечный. Во всяком случае, его хватит до тех пор, пока мы не создадим свою энергетику.

— Батареи вы привезли с собой? Почему же не использовали их с самого начала?

— Мы не могли селиться в пустынях: нам нужны были оптимальные климатические условия. А у батарей другие вкусы. Как я уже говорил, лишних людей у нас нет. И не сразу можно было отправить группы на поиски удобных мест в экваториальных пустынях. Но даже когда место нашли, требовалось построить линии передачи, разместить батареи надлежащим образом... Над этим мы сейчас и работаем. И закончим прежде, чем наша станция остановится.

— Ах, вот что означают те Горячие пески, которыми мне грозили, — усмехнулся Шувалов. — Да, интересная перспектива, и было бы интересно посмотреть... Очень жаль, что она не осуществится.

— Она осуществится.

— Увы, нет. Солнце, которое должно помочь вам, на самом деле ваш враг. Грозит страшная беда. Вспышка, взрыв...

Хранитель выставил ладонь, как бы загораживаясь:

— Не надо, нам передали все, что вы говорили. Нет, солнце не грозит нам, нам ничто не грозит.

— Но послушайте! По данным науки...

— Наука есть и у нас.

Шувалов не то засмеялся, не то застонал.

— Да неужели после всего, что вы о нас узнали, — сказал он, — вы можете всерьез сравнивать уровни вашей и нашей науки!

— Мы не собираемся сравнивать, но уверен, что наши ученые могли бы объяснить вам...

— Пустая трата времени! Позвольте лучше мне объяснить вам всю глубину опасности...

— Вот это действительно будет потерей времени.

— Ну неужели мне не удастся убедить вас... Подумайте о вашем народе!

— Ему не грозит ничего. Наше солнце и столетия, и тысячелетия спустя останется таким, каким вы видите его сегодня.

— Хорошо, — сказал Шувалов после паузы и махнул рукой. — Тогда позвольте сказать о другом. Пусть ваше солнце... пусть. Но подумайте: не лучше ли, не подвергая испытаниям ни наши выводы, ни ваш народ, сразу поднять его уровень на неизмеримую высоту?

— Что вы имеете в виду?

— Я предлагаю вам возвратиться туда, откуда стартовали основатели вашей цивилизации. Миллион с небольшим человек... Мы там даже не почувствуем увеличения: нас ведь миллиарды! Зато насколько увереннее почувствуете себя вы! Совершенно другой уровень! Комфорт! Изобилие! Высокая культура! Широта мысли! Представьте, какая жизнь для вас начнется!

Хранитель слушал его, глядя в сторону. Ответил он не сразу:

— Чтобы люди, пришедшие из архаичного, тихого, неторопливого, простого, размеренного — из ясного мира, вдруг почувствовали себя как дома в вашей — сложной, многоплановой, спешащей, орущей, громыхающей, самой себя не понимающей цивилизации? Возможно ли такое?

— Простите, ваше представление о земной цивилизации...

— Мне она представляется именно такой — после того, что вы рассказали... да и в нашей памяти сохранилось кое-что о той цивилизации, которую покинули основатели нашего мира. Так вот: зачем она нам?

— Вы знаете, право же, сама постановка вопроса...

— Я чувствую, что она вас смущает.

— Не скрою. Потому что наша цивилизация, хороша она или нет, есть закономерное явление, результат определенного развития, прогресса — и исходная позиция для дальнейшего развития и прогресса. Да, она закономерна; такой и надо принимать ее. А ваш мир в этом плане — досадная аномалия, боковая, бесперспективная ветвь, тупик.

— А нам какое дело до того, что с вашей точки зрения мы являемся аномалией? Это наша жизнь, и нас она устраивает! Вам она не нравится — но никто ведь не принуждает вас принять ее... Что же касается нас... Скажите откровенно: много ли счастья принесла вам ваша цивилизация? Вся техника, весь комфорт, все то, чем вы так гордитесь?

— Счастья? Простите, но я не знаю, можно ли оперировать такими понятиями. Отсутствие точной терминологии, невозможность выразить на языке математики...

— Счастье, почтенный наш гость, счастье — категория, которой можно и нужно оперировать везде, даже если она не описывается уравнениями. Скажите: живя в потоке информации, на небывалых скоростях, в самых необычных средах, на иных планетах, и так далее, — живя во всем этом, стали ли вы душевно упорядоченнее? Может быть, вы живете богаче, слов нет; и что же? Вы съедаете больше нас — но и мы не голодны; у нас меньше информации — но и меньше поводов для стрессов и для духовного пресыщения и отупения... У вас искусство — но и у нас тоже, посмотрите наши скульптуры, наши полотна — возможно, они покажутся вам устарелыми, а может быть — наоборот... Ваши ткани тоньше — но и наши греют в стужу; ваши дома выше — но и в наших уютно и тепло. Мы не столь многогранны — но тем больше остается у нас времени, чтобы думать о жизни и друг о друге, и видеть то, что вокруг нас, и наслаждаться цветением яблонь весной и золотом осенней листвы... Вы считаете, что мы должны зави-

довать вам, но подумайте — не обстоит ли дело как раз наоборот?

— Знаете, такой способ ведения дискуссии...

— Да о чем и зачем нам дискутировать? Вы сказали то, что хотели, я ответил то, что думал, — и все.

— В конце концов то, что говорите вы, один из десятка диктаторов, вовсе не обязательно..

— Диктаторов?

Хранитель невесело улыбнулся.

— Нет, гость мой, мы не диктаторы, мы просто люди, обслуживающие компьютер, — всего лишь. Что можем мы диктовать? Только то, что появляется на выходе машины; какие же мы диктаторы? Скорее уж компьютер — но и он не диктатор: бессмысленно давать такие определения комбинации кристаллов и плат... Нет, здесь нет ни диктаторов, ни угнетателей, ни самодержцев, ни даже особо привилегированных граждан... Есть не очень высоко, с вашей точки зрения, но логично организованное общество, в котором нет богатства, но нет и излишеств, в котором немного благ — но распределяются они справедливо. Это было бы невозможно в обществе с менее высокими моральными устоями, но ведь наше — запомните: наше никогда не знало и не представляет другой возможности! Мы происходим не от дикарей, а от людей, рискнувших выйти к звездам куда раньше вас. Скажу откровенно: вы ушли намного дальше, но и потеряли, мне кажется, неизмеримо больше... Не верите мне — поговорите с остальными Хранителями, с любым прохожим по улице, послушайте, что ответят они...

— Мне достаточно будет сказать: я предлагаю жизнь взамен смерти — и вопрос будет решен сразу же.

— Жизнь, какой мы не хотим, — взамен смерти, в которую мы не верим. Вопрос решен, но не в вашу пользу.

Шувалов сидел, опустив голову. Дипломатия оказалась бессильной. Увы. Но если обезумевший отказывается покинуть горящий дом, разве его не вытаскивают насильно?

— Что же, — он поднял голову. — Пеняйте на себя. Вижу, что мне придется покинуть вас, не добившись успеха.

— Видимо, вы правы.

— Я передам моим товарищам...

— Вы им ничего не передадите, — сухо сказал Хранитель. — Вы совершили преступление и будете наказаны согласно закону. Думаю, вам самому придется убедиться в том, что прокладка линий от солнечных батарей идет успешно... Безусловно, так обращаться с гостем — крайняя мера; но, во-первых, закон у нас одинаков для всех, а во-вторых, мы не можем допустить, чтобы люди начали сомневаться в правильности нашего пути. А ведь вы не угомонитесь, и

попытаетесь распространять ваши необоснованные страхи, и разбрасывать ваши приманки, которые кому-то могут показаться соблазнительными. Все это заставляет меня идти на крайние меры. Во всяком случае, на какое-то время. Потом... Когда-нибудь потом мы встретимся снова и поговорим. А сейчас я должен извиниться: мне пора. Не бойтесь: мы не хотим вам зла, и с вами не случится ничего плохого.

Уже в дверях он обернулся:

— И с нами тоже.

* * *

Питеку не пришло в голову нарвать цветов, чтобы с ними встретить Шувалова: в его эпоху такие знаки внимания не ценились — цветов повсюду росло множество, но их не ели. Он проявил всю свою ловкость и достал все-таки немалый кусок жареного мяса — по его мнению, это как раз подходило к случаю. Потом он занял наблюдательную позицию напротив дома Хранителей и стал ждать, держа мясо так, чтобы его выразительный запах не щекотал ноздри. Питек не сомневался в том, что Шувалов выйдет из дома свободным и торжествующим, а если и не выйдет, принявшись сразу за дело, то непременно вышлет кого-нибудь за Питеком, чтобы через него передать экипажу указания: вряд ли Шувалов сомневается в том, что Питек находится поблизости.

Но время шло. Шувалов не показывался, и Питек стал уже опасаться, что руководителя освободили, пока он разыскивал еду. Поразмыслив, он решил все же ждать до победного конца и оказался прав: еще через сорок минут Шувалов показался наконец на площади. К удивлению Питека, вышел он не из дома Хранителей, а появился с противоположной стороны из отделанного пластиком здания без окон. Но это, в конце концов, не имело большого значения. Куда важнее было то, что вышел Шувалов не один.

Он медленно ступал, опустив голову, сразу, кажется, постарев, а перед ним, и позади него, и по сторонам шли вооруженные люди. Лица их были суровы, и они повелительными жестами отстраняли прохожих, что останавливались или же пытались подойти поближе к процессии.

Питек сжал кулаки; пахучий сок закапал из жареного мяса, но пилот даже не заметил этого. По выражению лиц Шувалова и тех, кто сопровождал его, Питек понял, что ученого стерегли, чтобы он не убежал. Вооруженных было шестеро. Питек пошел вслед за процессией, держась шагах в двадцати, не нагоняя и не отставая. Справиться с ними он, пожалуй, сможет. Будь катер где-нибудь вблизи, все было бы

очень просто: пока охрана приходила бы в себя, Питек с Шуваловым оказались бы уже высоко в воздухе. Но до условленного с Георгием срока оставалось еще более двух часов, да и приземлится он, разумеется, не здесь, а за городом. А без катера трудно было рассчитывать на успех: в плохо знакомом городе далеко не убежишь, да и неизвестно еще, каков бегун Шувалов, — а охрана, опомнившись, чего доброго начнет стрелять, и тогда все закончится далеко не лучшим образом.

Нет, нападать сейчас не следовало. Оставалось проследить, куда отведут Шувалова, и потом попытаться освободить его без большого шума. Вряд ли все шестеро будут караулить старика — один, самое большое двое останутся с ним. А с двумя всегда можно справиться тихо.

Пожалуй, надо только передать ученому, что Питек по-прежнему рядом. Решив так, пилот прибавил шаг. Догнать конвой не составляло труда: Шувалов шел медленно, и спутники его не торопили — может быть, даже жалели по-своему. Питек обогнал идущих, держась на таком расстоянии, чтобы не вызвать подозрений. Он вспомнил наконец о мясе и с удовольствием откусил. Так было легче обратить на себя внимание: невольно оглянешься на человека, который идет по улице и уплетает за обе щеки что-то заманчивое. Охрана оглянется; а тогда и Шувалов, может быть, посмотрит.

Так и получилось. Шувалов поднял голову и на мгновение сбился с шага. Питек прищурил глаз и остановился, словно бы облик преступника так сильно его заинтересовал. Охранявшие не обратили на него внимания: от человека с набитым ртом не станешь ожидать коварных действий. Шувалов воспользовался этим. Он повернул голову в другую сторону и крикнул — словно всему миру, но на самом деле слова предназначались только Питеку:

— Они не верят! Ничего делать не станут! Ждать нельзя!

— Молчи! — тут же прозвучал оклик охранника. Но Шувалов уже сказал все, что хотел.

Сделав вид, что не обратил на слова преступника никакого внимания, Питек, внутренне сожалея, уронил мясо и задержался, поднимая его и пытаясь отчистить от пыли. Процессия отдалилась, и Питек снова двинулся за ней, чтобы узнать, где будут теперь содержать Шувалова. Они прошли квартал, свернули в боковую улицу. Там ждала телега с высокими бортами, запряженная парой, и верховые лошади. Задний борт откинули, Шувалову помогли подняться, двое вошли вместе с ним, потом борт закрыли, а остальные четверо сели на лошадей. Возница разобрал вожжи, прикрикнул — лошади тронули, и телега покатилась. Питек, остановившись, провожал ее глазами, потом побежал, обгоняя про-

хожих. Бежать пришлось долго. Хорошо, что верховые не оглядывались, а сидящим в телеге заметить преследующего мешали высокие борта. Наконец телега выехала из города, кучер взмахнул кнутом, и лошади прибавили. Дорога уходила на юг. Питек понял, что больше ничего на этот раз он не узнает.

Тогда он швырнул грязный кусок мяса, вздохнул, повернулся и быстрым шагом направился к условленному месту, где должен был приземлиться катер.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Я привел катер не туда, где оставлял его в прошлый раз (возле городка, близ тайной тропы в лес), но после недолгих маневров разыскал то место, где проводил раскопки и где спрятал одеяло и лопату. Там мы и приземлились; прежде чем лететь в лесное поселение, мне надо было все как следует обдумать, а главное — решиться на то, что мне предстояло сделать. Никогда, даже теряя контроль над фантазией, я не воображал себя народным предводителем: и честолюбие мое, и стремления имели другую основу. Но тебя не всегда спрашивают, чего ты хочешь, обстоятельства часто диктуют нам свою волю; так что сейчас я хотел представить, пусть хоть приблизительно, что у меня получится.

Я сказал Анне и Никодиму, что мы побудем здесь часок-другой. Они обрадовались: после стычки всем хотелось расслабиться и подышать сухим хвойным воздухом, чтобы выветрить из легких кисловатый пороховой дым. Иеромонах огляделся, прошелся туда-сюда, потом взял мою лопату, спрыгнул в вырытую мною раньше траншею (я подбирался ко входу в очередную развалину), поплевал на руки и стал копать. Он умел находить утешение в тяжелой работе, в ее незамысловатом ритме, в игре мускулов, в медленном, шаг за шагом, движении вперед. Мне, наоборот, не хотелось двигаться, напрягаться, и я неторопливо побрел между деревьями, чтобы найти местечко поуютнее, присесть и поразмышлять. Анна, подумав немного, догнала меня и пошла рядом, не заговаривая, но время от времени поглядывая на меня; я не пытался угадать, о чем она думала, мне надо было сосредоточиться на моей задаче и тех людях, которых мне нужно будет поднять и повести; и в то же время я рад был всему, что не давало мне сконцентрироваться, помогало не думать, и я был благодарен Анне за то, что она шла рядом.

Мы медленно шли, и вдруг странное ощущение нереальности происходящего овладело мною. Рассудком я понимал, что все это есть на самом деле — звезда Даль, планета, ее странное

маленькое человечество, наш корабль на орбите — адская машина со взведенным механизмом — и угроза гибели, нависшая надо всем. Понимал — и все же не мог заставить себя поверить в подлинность фактов и необходимость действий. Сейчас подлинным было другое: летний день, запах леса, пересвист птиц, листья папоротника, бьющиеся о колени, и томление духа, и Анна, шедшая рядом.

Мысли, как вода, копившаяся в лужице, все поднимались и поднимались, и нашли местечко пониже, перелились и побежали не туда, куда было бы нужно, а туда, куда вел уклон. Я вдруг поймал себя на том, что привычно думаю о себе и Анне, и о нашей жизни, совместной и долгой — все равно, здесь или на Земле; я видел нас в разных ситуациях, они были когда-то пережиты мною, только не с ней, а вот теперь я брал эти готовые положения и подставлял в них Анну, и пытался представить, как будет она в них выглядеть. Это походило на сцену, когда ты распахиваешь гардероб и начинаешь примерять на пришедшего с тобой человека платья и шубки, оставшиеся от кого-то другого, не думая о том, что человек хочет вовсе не этого, он хочет своего, что никогда не было чьим-то чужим, и не понимает, что разница тут чисто воображаемая... И, может быть, поэтому наши с Анной разговоры могли течь бесконечно — но как только я пытался свернуть в нужную мне сторону, она мгновенно уходила в себя, и я ничего не мог с ней поделать. Если бы у меня было время и не было других забот, я, наверное, успел и сумел бы понять, о чем думает Анна и что чувствует, и почему на одни темы разговаривает, а на другие — молчит, и что мне надо сказать и сделать, а чего ни делать, ни говорить не надо. Тут трудно полагаться на интуицию, как это обычно делается, — любовь, мол, подскажет; любовь всегда занята сама собой настолько, что ничего подсказывать не собирается. Да, было бы время и не было бы забот — но никто не предоставляет нам отпусков для любви, не выключает на это время из жизни; и жаль.

Вот такие мысли булькали у меня в голове, и я, конечно, не сразу понял, о чем заговорила Анна, и не сразу стал внимательно слушать.

— ...Я бы хотела, чтобы у меня было много-много детей. Семеро. Ну пусть трое.

Я пожал плечами.

— Пожалуйста, — сказал я самоуверенно. — Это вовсе не самое трудное.

— Ты не понимаешь. Кто же даст мне семерых? У нас даже второго получают очень не скоро.

— У нас, на Земле, это происходит иначе. Правда, там тебе придется рожать их самой.

— Знаю, ты говорил уже... Ты думаешь, я попаду на Землю?

— Все должны попасть отсюда на Землю. Иначе — гибель.

Но я произнес это таким тоном, словно гибель, грозившая всем, была условной — чем-то вроде игры, в которой погибший через несколько секунд снова вскакивает, чтобы принять участие в очередном туре.

— Не знаю... На Земле... Не представляю, как там. Мне кажется, там нехорошо. У нас тут лучше. Не надо на Землю. Надо, чтобы тут, у нас, ребятам разрешили придумывать, что они хотят, а нам — иметь столько детей, сколько нужно каждой, чтобы она была счастлива. И не надо никуда ехать. Я не хочу на Землю.

— А как же я?

Анна нахмурилась.

— Ты? Ну, если захочешь, сможешь остаться здесь...

— С тобой?

Но это в последние дни стало запретным направлением.

— Я сама не знаю. Не надо об этом.

— Нет, давай все-таки... Ты меня не любишь?

— Знаешь, что-то прошло, пока тебя не было... Нет, не хочу говорить.

— Тогда, может, мне лучше совсем уйти?

Я говорил это, словно действительно мог уйти — сесть на поезд и уехать куда-то. Но здесь не было поездов, и никуда я не мог уехать — от корабля, от товарищей, от нее...

— Нет! Мне с тобой хорошо.

— Но тогда почему же нам не...

— Хорошо так, как есть. Не хочу, чтобы было иначе.

— Так не может продолжаться долго.

— Ах, не знаю, я прошу — не надо об этом. Мне самой непонятно. Но если ты думаешь, что тебе надо уйти, — уходи. Мне будет горько, но — уходи...

Для продолжения разговора следовало бы сказать: и уйду. Сейчас возьму и уйду. И больше мы с тобой никогда не увидимся. Но уйти было некуда.

— Пойдем в лес?

— Пойдем...

Мы прошли метров триста и остановились.

— Не надо!

— Слушай...

— Ну не надо. Я обижусь.

— Но ведь раньше...

— А теперь нельзя. — И она отступила.

Я уныло сел на толстый, гниющий на земле ствол. Анна стояла вблизи, обрывая иглы со сломанной ветки. Потом подошла и села — не совсем рядом, но близко.

— Обиделся?

— Нет, — сказал я, и это было правдой. — Разве я могу на тебя обижаться?

— Расскажи что-нибудь. Ты ведь обещал о многом рассказать мне. Обо всем, чего я не знаю. Например, как ты жил на Земле. Что ты там делал? Пахал? Строил? Мастерил вещи? Или, может быть, рисовал картины? Писал стихи?

— Стихи я, конечно, писал — в молодости... Ну, если говорить о последних годах, то я тренировался вместе с товарищами, готовился к этому вот полету.

— А раньше?

— Занимался многими вещами. Пытался найти самого себя. Но, видишь ли, я, видно, из тех людей, что могут найти себя только через другого человека, только отражаясь в другом.

— Разве можно столько лет искать самого себя? Какая от этого польза другим людям?

— Не знаю... Но, конечно, я все время что-то делал.

— Скажи, а то, что вы хотите сделать с нами... что это дает тебе? Ну вот именно тебе... Ты нас так любишь? Или тебе неприятно, что может погибнуть мир? Или еще что-то? Ведь если мы все-таки погибнем, ты все равно будешь жить, да?

Я ответил не сразу. Буду ли жить? Наверное... Это, конечно, будет неудачей, горем, но расхочется ли мне тогда жить?

— Здоровье у меня хоть куда, — сказал я как можно легкомысленнее. — Но к чему сомнения? Мы спасем вас.

— И если спасете, ты будешь считать, что сделал главное? То, ради чего стоило жить? Значит, вы спасаете нас ради самих себя?

— Ну, — сказал я, — всякое дело человек делает прежде всего для себя. Потому что иначе не может. А если и может, то не хочет. Он выполняет свою волю, свое желание. Для себя — и для других. Важно, чтобы не для себя одного. А тебе чего хотелось бы?

— Мне хочется, чтобы делали ради нас. Чтобы делали даже в том случае, если вам потом станет не лучше, а хуже. Чтобы была боль. Потому что тогда мы остались бы связанными надолго. Вот вы привезете нас на Землю или еще куда-нибудь. Вы ведь не останетесь с нами, снова приметесь за свои дела и будете считать, что сделали для нас все, что должны были. А мы...

— Вас не бросят. Будут люди, которые помогут вам.

— А ты?

— Я? Мы с тобой уедем куда-нибудь на несколько месяцев, на полгода... Уедем отдыхать, уедем жить.

— Ладно, — сказала она, помолчав. — Вернемся.

— Я так и не понял, что ты хотела узнать.

— Я и сама не понимаю, Уль. Наверное, я спрашивала не то, что нужно. В самом деле, чего мне еще? Ты меня любишь...

Она сказала это не тоном вопроса, а легко, просто, как тривиальную истину. Она была уверена — и не зря, потому что так оно и было.

— Ты меня любишь, и с тобой, наверное, было бы хорошо...

— Почему — «было бы»?

— Знаешь, потом я, наверное, буду жалеть, что не согласилась.

Тут я поспешно заявил:

— Погоди, погоди! Не время сейчас ни соглашаться, ни отказываться. Еще подумай. Я пока не задавал тебе вопроса. Так что и не надо отвечать на него. Вот когда я прямо спрошу: да или нет — тогда ответишь. А пока не надо...

Мне стало страшно. Время, думал я, время — и обстановка. Позже, на корабле, и на Земле, сами обстоятельства вынудят ее ухватиться за меня. Сейчас она сомневается, но со временем сомнения станут истолковываться в мою пользу...

— Хорошо, — сказала она. — Только я не люблю тебя, вот в чем беда. Если бы тогда, сразу...

— Нет, — сказал я. — Тогда, сразу — не надо было.

— Все равно, сейчас поздно говорить об этом. Хорошо, я пока буду молчать.

— А я все равно буду надеяться, — сказал я. — Может быть, пройдет время, и ты...

— Да, — послушно согласилась Анна. — Может быть. Пойдем?

Я взглянул на часы. Отдохнули достаточно. Нет, отпуска на любовь я не получу. Пора лететь.

Но лететь надо было мне одному. Иеромонах сейчас помочь не мог, а рисковать Анной — мало ли что могло там случиться — не стал бы и последний подонок. И когда мы с ней вернулись к катеру, я сказал небрежно:

— Ладно, раз так, я слетаю в лес. Вы оставайтесь. Ты, Никодим, поройся основательно. Я еще раньше подумал, что тут у них как раз была площадь, поищи что-нибудь на ней. — Я понизил голос. — И смотри... что бы ни было, с Анной ничего не должно случиться.

— Не бойся, — буркнул он. — Она за наши грехи не ответчица. Только не забывай: время-то идет...

— Постараюсь не забыть. Ну, Анна... — Я помолчал, чтобы сказать ей все, что хотел, — мысленно, разумеется. — Я ненадолго.

Она улыбнулась и помахала рукой.

* * *

Я посадил катер прямо в поселке, заранее представляя, как сбегутся люди, как будут удивляться и качать головами, и осторожно дотрагиваться до катера, а потом, разинув рты, слушать меня. Но получилось не так. Я опустился, медленно откинул купол, неторопливо вылез. Никого не было, а ведь сверху я видел людей. Я обошел катер, похлопал ладонью по борту; однако прошло пять минут, пока наконец не появились первые зрители.

Но это были не те, кого я ждал. Это были мальчишки.

Побаиваясь, они подступили, зачарованные, не отрывая глаз от моего кораблика, покрытого тонкой пленочкой нагара, дышащего теплом и непонятными для них запахами, таинственного и неотразимого. Он был, как питон, а они — словно кролики; сами того не желая, они делали шаг за шагом — уже не шаги, а шажки, чем ближе, тем короче, — и подступали обреченно, боясь и не противясь. Я видел, как высоко поднималась грудь каждого, как блестели глаза, как ручонки вздрагивали, потому что им уже невтерпеж стало. Я пожалел их неутоленное любопытство и сказал:

— Ну что испугались, ребята? Он не кусается, налетайте!

И они сразу же облепили катер, бормоча и взвизгивая, и — откуда что взялось? — кто-то уже сидел на моем месте (тот мальчишка, что недавно подходил ко мне; я узнал его, хотя и сейчас он вовсе не был похож на моего сына), кто-то — рядом, и один уже гудел под нос (они слышали, как я садился), и я порадовался тому, что катер — крепкая и выносливая машина, и порадовался за них, и почему-то за себя тоже. Вскоре ребята уже забыли о моем существовании, катер занимал их, он был не такой, как все остальное, а я — такой, и со мной можно было погодить, — а я смотрел на них, и в моих взболтанных мозгах постепенно наступал мир и порядок, возникала структура, главное поднималось на свои места, а прочее отступало.

Главным сейчас по-прежнему было — как можно скорее убедить правительство планеты согласиться с нами и начать какие-то практические дела по спасению своего народа — чтобы мы получили наконец возможность ударить по звезде. Прошло уже много времени. Но никаких результатов мы пока не добились. Шувалов находился неизвестно где. Возможно, в эту минуту он уже вел переговоры. Но сейчас я понял, что какими бы убедительными ни казались его аргументы нам, его спутникам, здесь они не произведут должного впечатления — иначе даже здесь, в лесу, уже чувствовалась бы тревога, потому что связь с городами, как я понял еще раньше, была тут налажена неплохо. Значит, независимо от того, что происходило там, я должен был немедленно поднимать лес и вести

его на столицу, чтобы оказать давление на правительство и заставить его прислушаться к нам, чтобы оно поняло, что нас лучше иметь в числе друзей, чем недругов... наверное, эти мои рассуждения были целиком замешаны на психологии двадцатого века; возможно, сам Шувалов думал совершенно не так — но здесь мне приходилось решать самому и в одиночку.

Я снова посмотрел на ребят вокруг катера. Они по-прежнему не обращали на меня внимания. С этим надо было смириться: в жизни обязательно настанет день, когда ты перестаешь быть для детей главным, надолго, может быть — навсегда, но они вспомнят об этом лишь в день, когда будут обращаться к тебе, а ты уже не сможешь им ответить, и даже не услышишь их. Все равно, пока жив, ты смотришь на них с любовью, и вдруг понимаешь, что сделать задуманное тобою ты должен именно для них, а уж потом — для нее, а еще потом — для всех остальных, и уж под конец, под самый конец — для самого себя. Я смотрел на них, на десяток или больше моих не-сыновей, и понимал, что они все равно — мои сыновья, и пусть даже сделать задуманное было невозможно в невозможной степени, все равно это нужно сделать. Как? Не знаю, и никто не знает, но сделать. Это было то самое состояние духа, в котором непосильное становится посильным, неосуществимое — осуществимым, сказочное — реальным; и странно, не боязнь за свое бессилие ощутил я, глядя на них, нестриженых, чумазых, загорелых, босоногих, ползавших по чуть качавшемуся на упругих амортизаторах катеру, — не боязнь, а спокойствие и уверенность.

— Ребята! — окликнул я их. — А где взрослые?

— Они на поляне, — ответил мне один. — Разве ты не заметил, что настал час смотреть на солнце? Спеши, иначе они уже закончат, и тебе будет стыдно...

Я попросил тех, кто сидел в катере, выйти, защелкнул купол, сказал им: «Играйте, только смотрите, не поломайте чего-нибудь» — и побежал по запомнившейся дороге.

Но я опоздал. Они уже, вероятно, закончили смотреть на солнце (не знаю, зачем они это делали и каким образом — тут ведь и ослепнуть недолго), но еще не разошлись и стояли, о чем-то переговариваясь. Едва заметив меня, кузнец Сакс громко спросил:

— Ульдемир, почему ты не приходишь смотреть на солнце? Разве ты не знаешь, что таков долг каждого взрослого человека?

— Прости меня, Сакс, — сказал я ему, — но у меня были на то важные причины.

— Да? А может быть, все дело в том, что ты — один из тех, кто распространяет слухи о том, что наше солнце скоро

погибнет, и мы вместе с ним, и оттого ты не приходишь смотреть на него вместе со всеми?

Оказывается, какую-то информацию они уже получили, подумал я. Не знаю только, ко благу это или наоборот. Но сейчас главное — не отдавать инициативы...

— А разве есть такие люди, Сакс?

— К нам в лес, Ульдемир, — заговорил теперь уже тот человек, который послал меня вести раскопки, — пришли посланцы Хранителей Уровня. Впервые за все время, пока в лесу живут люди, они пришли к нам. И сообщили, что появились такие люди, и что верить им ни в коем случае нельзя.

— Почему же, — спросил я, — им нельзя верить, а Хранителям Уровня можно?

— Потому, что они говорят неправду.

— А Хранители Уровня, выходит, всегда правдивы и чистосердечны?

Стоявший рядом со старшим человек в одежде горожанина, явно не прошедший еще испытания лесом, сделал шаг в мою сторону, как бы принимая ведение дискуссии на себя.

— А есть ли у тебя хоть один пример того, что Хранители лгали?

Он открылся, как начинающий боксер на ринге. Оставалось только точно ударить, и я незамедлительно сделал это.

— Да, человек. У меня есть такой пример.

Сразу вокруг стало очень тихо, так что каждое мое слово могло донестись до всякого, кто стоял на поляне и слушал, хотя голос у меня не очень зычный.

Горожанин, кажется, не ожидал такого ответа. Но не смутился, потому что и на самом деле был уверен, что Хранители всегда говорили одну только правду.

— Ну что же, — сказал он. — Говори, а мы выслушаем.

— Люди! — сказал я. — Вы ведь живете в хорошем мире, правда?

— В хорошем мире, — медленно повторил кузнец. Он отвел взгляд от моего лица и посмотрел направо, потом налево, и все головы повернулись так же, все взгляды последовали за его взглядом.

И люди как будто заново, в первый раз увидели все, что было вокруг них.

Лес окружал их плотной стеной. Теплый, светлый, дружелюбный лес, где не было опасных хищников, не таились разбойники, не водилась нечистая сила, — лес, зелено-золотистый, щедрый на дрова и материал, на грибы и ягоды, на тень, на лекарственные почки и иглы; лес, ласково шелестящий и заставляющий дышать глубоко и радостно.

А за лесом — они знали — были поля, кормившие весь мир, дававшие по два урожая в год, — поля, сперва зеленые,

потом золотистые, потом коричневые и черные, вспаханные — и снова покрывающиеся зеленым ежиком всходов... И пестрые луга, на которых тучнел скот и пахли цветы, и так приятно было лежать в свободные часы, размышляя о разных вещах. И там текли свободные реки, кое-где на них были устроены плотины, и вода, ниспадая, вращала огромные колеса водяных машин. Реки впадали в озера или — намного дальше — в моря; там, правда, люди еще не жили, но со временем они дойдут и до морей, расселяясь понемногу по планете.

И стояли города, мирные, уютные города, где дома тонули в деревьях, где было тепло и уют, и женщины и дети, которые, приходя в семью, сразу становились своими и пользовались всею любовью, какую заслуживают дети. Города с их мастерскими, где работали много, но не до изнеможения, где работать было иногда скучновато, но всегда полезно, потому что твоя работа нужна была всем.

Все это было их миром, в котором они родились на свет, жили и знали, что в нем умрут — но другие будут продолжать жить.

Вот что увидели люди взглядом глаз и взором сердца за несколько безмолвных секунд.

Потом кузнец Сакс сказал:

— Да, Ульдемир, мы живем в хорошем мире. Он все равно хорош. Вот мы не захотели жить в городах, ушли в лес и живем, порой недоедая и не получая новой одежды. Мы сделали так потому, что нас обуревают мысли и желания, которым в Уровне нет места. Мы хотели уйти от Уровня — и ушли; но ведь Уровень ни в чем не лгал нам, и пусть мы не согласны с ним — но мы не враждуем с ним, ведь в мире хватает места для всех. А если кто-то начинает обвинять наше солнце, а значит, и весь наш мир, мы никак не можем поверить. В чем же, по-твоему, Хранители Уровня не были правдивы с нами?

— Говорили ли они когда-нибудь хотя бы кому-либо, — начал я свой ответ, — что этот прекрасный мир на самом деле построен на костях и крови других людей? Знаете ли вы, что стало с людьми, жившими тут до вас? Кто убил их? Кто разрушил их город, от которого остались развалины, погребенные теперь под землей?

— Откуда ты знаешь, что их убили? Может быть, это была болезнь, и они умерли...

— Здесь был не такой город, какие существуют сейчас при Уровне, — возразил я. — Здесь был город со множеством таких вещей, которые вы сейчас еще только пытаетесь придумать, хотя люди знали их задолго до вашего рождения! Кто убил людей и разрушил город? Не те ли, кому был нужен тот самый Уровень, с которым вы не хотите согласиться? Ну, а

если завтра ваши дети снова построят тут такой город — что будет тогда?

Теперь на поляне поднялась настоящая буря. Гремели голоса. Взлетали кулаки.

— Не верим!

— Докажи!

— Я могу доказать! Но что толку доказывать вам — вы так уверены в безгрешности своего мира...

— Докажи нам! И если мы поверим...

— Ну что же будет тогда? — подзадорил я.

— Докажи нам! Сейчас же! Идем! И если ты прав, тогда... тогда мы будем говорить дальше. Тогда ты объяснишь нам, кто ты, зачем пришел к нам и зачем начал весь этот разговор.

— Тогда вы согласитесь пойти и сказать Хранителям Уровня, что не верите им? Но что в этом толку? Вас несколько сот, а сколько всего людей на планете?

— Конечно, намного больше. Но тогда мы пойдем в столицу. Мы будем говорить людям, кричать им: Уровень построен на крови, это нечестный Уровень! Скажи, а ты знаешь, что мы должны будем делать дальше?

— Знаю, кузнец.

— Покажи нам тот город! Иди, мы за тобой!

* * *

Люди покинули лес.

Колонна двигалась на столицу, и я вел ее.

Это была странная колонна. Она двигалась с лязгом, скрипом, свистом. Нарушители Уровня, Конструкторы странных вещей, наступали на столицу во всеоружии.

Грохотали паровые телеги. Их было четыре, ни одна не походила на другую.

На одной из телег было установлено грозное оружие: в толстом цилиндре было высверлено множество отверстий — каналов, и в каждый был заложен пороховой заряд и забита пуля. На Земле в свое время из такой конструкции родился пулемет. Тогда люди сгоряча решили было, что войнам пришел конец...

Лесные жители несли ружья, что заряжались не круглыми, как до сих пор, но продолговатыми, заостренными пулями. В стволах ружей были сделаны нарезы, заставлявшие пулю вращаться в полете.

Человеческая мысль во второй раз шла однажды уже пройденным путем, и это не веселило меня, но другого выхода сейчас я найти не мог.

Другие люди были вооружены арбалетами, тетива которых натягивалась одним движением рычага.

Иные — пращами, при помощи которых можно было метать не камни, но пороховые заряды.

Еще какие-то шагали на высоких ходулях, на которых передвигались быстро и ловко, не оступаясь и не падая. Они были вооружены длинными, тонкими пиками с режущими наконечниками.

И еще. И еще...

Люди шли, чтобы низвергнуть Уровень, утаивший от них, что в прошлом уже существовала — здесь, на их планете — гораздо более искусная цивилизация, которая была предательски уничтожена, после чего жизнь повернула вспять, возвратилась в сухое русло и теперь впадала не в бескрайний океан, а в болото с тухлой водой.

Люди шли, исполненные гнева и решимости.

Я по праву шагал впереди колонны, оставив Анну в лесу, товарищей — под огнем, катер — мальчишкам...

Я призвал их идти, заставил их поверить мне, потому что лишь поверив, они смогли бы принять все наши откровения о судьбе их звезды и всей планеты, принять наши планы спасения и заставить принять эти планы и всех остальных людей, начиная с правительства. Я призвал их — и теперь у меня не могло быть иной судьбы, чем та, что постигнет их.

Я не был уверен в своей правоте. Но твердо помнил, что победителей не судят. И спасителей тоже.

Или не всегда?

Так или иначе, победив, мы спасем их и вывезем на Землю. Как — это придумают ученые. На Земле люди с этой планеты не пропадут. Они быстро освоятся, вольются в жизнь многомиллиардного человечества — и там найдут, наконец, удовлетворение, найдут возможность ничем не ограниченного творчества.

Что-то они, конечно, при этом утратят. Например, таких лесов на великой Земле уже не найти. Их только сейчас восстанавливают. Что же, опыт маленького человечества пригодится.

Нет, нет, безусловно: горожане, которые так просто не поверили бы нам, пришельцам, поверят своим землякам.

В пору сообщать на Землю, что можно начинать постройку спасательной эскадры.

Я шел и даже напевал под нос.

Меня не смущало оружие в их руках. Я уже убедился в том, что оно играло роль скорее символическую; убивать было противно воззрениям жителей этого мира, потому-то их так и возмутила гибель ранее существовавшего города.

И я шел и напевал, и люди вокруг меня тоже пели, и я вдруг с удивлением и улыбкой узнал в их напевах мелодии песенок, какие сам пел в молодости; кое-что уцелело, значит?

Только теперь эти мелодии пелись торжественно, как гимны: они принадлежали истории нового народа.

Грело солнце. Над дорогой клубилась пыль.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Когда катер с капитаном и его спутниками на борту скрылся за вершинами деревьев, Уве-Йорген сказал Георгию:

— Теперь твоя очередь. Лети в столицу и привези Питека. Перемирие заключено на час. Может быть, удастся потянуть время и еще немного, но переговоры вообще-то — не моя стихия. А Питек нужен здесь.

— Мы вдвоем тоже можем защищаться.

— Согласен, мой доблестный воин. Но защищаться — этого мало, так не выигрывают войны. Нужно нападать. — Спартиот откинул голову, Рыцарь кивнул и улыбнулся. — Только нападать.

— Скажи, Рыцарь: ты еще веришь в то, что мы можем спасти их?

Уве-Йорген склонил голову набок.

— Не знаю, штурман. Этого сейчас никто не знает. Но солдат всегда должен быть уверен в конечной победе — иначе что заставит его рисковать жизнью?

— Любовь к своей земле, — сказал Георгий.

— А если он дерется не на своей земле? Как мы сейчас, например? Но не медли. Время уходит. Выполняй приказание.

— Хорошо, — ответил спартиот. Не скрываясь, он пересек поляну, миновал осаждающих и скрылся за деревьями. Никто не тронул его, только некоторые посмотрели вслед, но тут же отвернулись. Видимо, перемирие они воспринимали всерьез.

Потянулись минуты. Уве-Йорген плотно закусил и растянулся на траве, положив автомат рядом. Маленькое солдатское счастье: живот набит, не стреляют и можно спокойно полежать. Сколько этого счастья впереди? Минут сорок? Нет, всего полчаса. Что же, полчаса счастья — очень много...

Счастья оставалось десять минут, когда он впервые покосился вверх. Катера не было. Надо надеяться, что с Питеком в городе ничего не стряслось и он не очень опоздает на место встречи. Хотя с чувством времени у него, откровенно говоря, плоховато: тот факт, что в сутках двадцать четыре часа — ну, пусть здесь даже двадцать шесть, — до сих пор представлялся охотнику малозначительным — конечно, если он не сидел за пультом корабля... Чего доброго, через семь минут придется держать оборону в одиночку. Что ж, можно воевать и так... Хотя думать об атаке тогда будет уже сложно, да и спастись

без катера вряд ли удастся. А, какая разница, подумал он с привычным фатализмом: чуть раньше, чуть позже...

Он перевернулся на живот, поудобнее примостил автомат. На этот раз играть придется по моим правилам, подумал он. Во всяком случае, я буду играть по моим, а они — как знают. Их дело. Ага, зашевелились. Нет, пусть начинают они. Я отвечу.

Один из осаждавших встал и направился к Уве-Йоргену, размахивая руками. Оставалось еще три минуты. Снова парламентер? Интересно... Рыцарь держал приближающегося на мушке — на всякий случай. Может быть, это военная хитрость? Они ведь наверняка знают, что он остался один. Бросок гранаты — и кампания будет закончена. Он усмехнулся: откуда у них гранаты? Впрочем... кто сказал, что гранат не может быть?

Парламентер остановился в десяти шагах.

— Послушай, — сказал он громко. — Встань, не то мне неудобно разговаривать.

— Говори так.

— Почему ты не хочешь подняться?

— Мне нравится лежать. Я устал.

Это, кажется, обрадовало противника.

— Перемирие кончается, — сообщил он.

— Мне это известно. Ты затем и пришел, чтобы напомнить?

— Не только. Видишь ли, мы не совсем правильно рассчитали время. Подошла пора смотреть на солнце. Если у нас есть хоть какая-то возможность смотреть на солнце, мы должны это сделать.

— Смотрите, — великодушно разрешил Уве-Йорген. — Смотрите на солнце, на звезды, можете смотреть друг на друга, пока вам не надоест. Я обожду.

— На звезды нам смотреть сейчас не надо, — серьезно ответил парламентер. — Только на солнце. А ты не хочешь присоединиться к нам? У тебя ведь нет ящика, да и ты только один, а это совсем не то. Продлим перемирие на полчаса, и ты сможешь посмотреть вместе с нами. Спешить нам некуда, мы ведь все равно выиграли, а ты все равно проиграл.

— Продлить перемирие я, пожалуй, соглашусь, — важно проговорил Рыцарь. — Но никуда не пойду. Лучше я отдохну еще немного.

Парламентер пожал плечами.

— Твоя воля. Значит, еще полчаса.

— Решено, — пообещал Уве-Йорген и проводил удалявшегося противника взглядом. Полчаса — прекрасно. Что же они будут делать — полчаса таращить глаза на светило? И не

ослепнут? Присоединяться к ним, конечно, незачем, но понаблюдать, пожалуй, стоит...

Он вылез из своей отрытой по всем правилам ячейки для стрельбы лежа и последовал за парламентером, переходя от дерева к дереву и стараясь оставаться незамеченным.

Осаждающие собрались на поляне — в том ее месте, где и в самом деле можно было увидеть солнце, не заслоненное вершинами деревьев. Установили треногу, вроде штатива. На ней укрепили плоский ящик. Одну такую штуку, вспомнил Уве-Йорген, экипаж уже захватил в качестве трофея, но молодежь, дезертируя, наверное прихватила ее с собой... Теперь можно будет хотя бы понять, для чего она служит. Люди расположились перед ящиком — с той стороны, где было стекло, один из них возился, тщательно ориентируя ящик, прицеливаясь им — задней его стенкой — на солнце. Наконец он завершил свою работу и отошел к остальным. Все пристально смотрели на прозрачную стенку, лица людей были серьезными. Потом тот, кто возился с ящиком, коротко крикнул, словно скомандовал. Люди чуть пригнулись, прямо-таки впились глазами в экран — иначе не назвать было это стекло. Лица были ясно различимы, и Рыцарь с удивлением заметил, как менялось их выражение — теперь оно говорило о глубокой сосредоточенности и предельном напряжении; несколько минут они сидели неподвижно — и на лицах стала проступать усталость, как если бы они занимались тяжелой работой. Ящик, как показалось пилоту, чуть вибрировал — или это воздух колебался с тыльной его стороны, во всяком случае, было в этом что-то ненормальное. Что бы все это могло означать? — подумал Уве-Йорген без особого, впрочем, интереса, потому что к предстоящему бою это не имело отношения. Или все-таки имело? И вдруг его осенило: да ведь они просто-напросто молятся! Солнцепоклонники — вот кто они! Молятся и наверняка испрашивают себе победы. Ну-ну, подумал Рыцарь иронически, посмотрим, чей бог сильнее...

Но вот сеанс кончился — и сидевшие обмякли, расслабились. После такой молитвы стрелять они будут скверно, подумал Уве-Йорген. Хотя они и так не старались попасть, а шальная пуля может прилететь всегда...

Он услышал позади шорох и резко обернулся, не выпуская оружия.

— Все спокойно? — спросил Георгий.

— Ага! — сказал Рыцарь. — Где Питек?

— Я тут.

— Какие новости?

— Шувалов говорил с Хранителями. Его куда-то увезли. Сказал, что с ними не договориться. Надо действовать иначе.

Услышав это, Уве-Йорген почувствовал себя совсем хорошо.

— Он не договорился, но мы еще можем — по-своему, — усмехнулся он. — Как армия, а не как культурная миссия. Так, ребята? А сейчас рассредоточьтесь. Быстренько выройте ячейки. Как у меня. Осталось еще семь минут мира. Кстати, Питек: вы там, у себя, не поклонялись солнцу?

— Нет, — сказал Питек. — А зачем?

— Ну, кому-то ведь надо поклоняться...

— Не знаю, — сказал Питек, выбрасывая песок. — Обходились без этого.

— И правильно делали, — одобрил Уве-Йорген. — Ну, вон идет их парень, чтобы торжественно объявить о возобновлении военных действий. Дадим ему спокойно уйти назад.

И в самом деле, машущий руками парламентер приближался.

— Где катер? — спросил Рыцарь.

— В двухстах метрах, в кустарнике, — ответил Георгий. — Их пули не долетят.

— Прекрасно.

— Перемирие кончается! — объявил парламентер шагов с десяти. — Хотите сдаться?

— Завтра в это время, — усмехнувшись, ответил Уве-Йорген.

— Так долго ждать мы не станем, — серьезно ответил тот.

— Тогда иди. Не то мы начнем!

Парламентер торопливо ушел. Сейчас начнется, подумал Рыцарь. Мы будем стрелять прицельно. Ну, а если и они, понеся потери, задумают ответить тем же? Мало нас, мало... Нет, это не совсем умно — лежать здесь, обмениваясь выстрелами, решил он вдруг.

— Укроемся в корабль! Ну-ка в люк — Питек, Георгий!

Соратники не заставили себя упрашивать. Они быстро отползли к траншее, по ней добрались до люка и оказались в тамбуре. Рыцарь вскочил последним, повис на маховике люка, и тяжелая пластина медленно затворилась.

— Вот теперь пусть попробуют, — сказал он.

— Ну и долго мы тут намерены сидеть? — поинтересовался Питек.

— Да, — сказал Георгий. — Это не похоже на открытый бой.

— Мне не верится, — сказал Уве-Йорген, — что из этой махины может быть только один выход. Если поискать, мы наверняка найдем грузовой люк или что-то подобное. Носовую часть мы с капитаном уже исследовали, теперь идемте в корму.

Они двинулись. Приходилось то идти, то ползти, временами — карабкаться: листы внутренней обшивки свисали с переборок, валялись какие-то громоздкие детали — наверное, части устройства, которые следовало смонтировать на новом месте и которые почему-то так и не пригодились. Ударяясь в выступы и углы, Рыцарь вполголоса чертыхался, остальные двое молчали. Иногда они останавливались, чтобы передохнуть, и их учащенное дыхание с шелестом отражалось от переборок.

Каждую палубу и отсек, каждый закоулок Рыцарь неспешно обшаривал лучом фонарика. Выхода здесь не было. Потом переборки ушли в сторону, стали реже. Под ногами глухо застучали ничем не прикрытые металлические плиты. Это были уже трюмы. Надо было смотреть повнимательнее: если выход был, то только здесь, и если удастся отворить люк, то сквозь слой земли они уж как-нибудь пробились бы. Рыцарь еще замедлил шаг, остальные — тоже. Справа и слева, сверху и снизу теперь тянулись конструкции из тонких труб — для крепления грузов. Приходилось пробираться сквозь них, как через железный кустарник. Потом открылось место посвободнее. Рыцарь вытянул руку с фонарем, и все увидели черное пятно люка.

Люк был открыт, но земли не было, и вокруг было чисто и сухо, как если бы ход вел не в землю, а в какое-то другое помещение, как и корабль, изолированное от внешней среды. Уве-Йорген приблизился, не колеблясь, вошел в люк, в пустоту, кивнул спутникам, и они послушно последовали за ним. Он переступил порог — и каблуки сухо ударили по пластику; Рыцарь не успел еще удивиться, как все вокруг ярко осветилось, и он зажмурился и от света, и от неожиданности.

Труба метров двух в поперечнике, судя по звуку — металлическая, облицованная пластиком, монолитная, уходила прочь; уже в десятке метров продолжение ее терялось во мгле, светло было только там, где стояли вошедшие. Нормальная экономичная система, необычного в ней было не больше, чем в вареной картошке, но видеть ее здесь было по меньшей мере странно.

Уве-Йорген скомандовал, и они зашагали; свет сопровождал их, словно люди сами излучали его и освещали гладкие стены. Когда прошли метров двадцать, вспыхнул красный знак; они узнали его, он всегда означал одно и то же: излучение. Тут же стоял счетчик, он щелкал редко, как маятник старинных стоячих часов; значит, опасности не было. Пошли дальше; знаки и гейгеры попадались теперь через каждые несколько метров. Наконец туннель кончился; Уве-Йорген отворил замыкавшую его дверь — овальную в круглой торцовой стене, — и они оказались в зале ядерной электростанции.

— Стоять здесь! — скомандовал Уве-Йорген своей армии, а сам пошел в обход по залу.

Он был не очень велик; силовой отсек мертвого корабля, вынесенный конструкторами, как и полагалось, подальше от жилых помещений: корабль был, видимо, куда больше, чем люди предположили вначале. Не на это ли наткнулся сверху Иеромонах? Здесь стояла термоядерная установка и преобразователь прямого действия; шины от него шли к щиту, от которого отходили кабели — один к криогену, охлаждавшему резервуар с тритием, другой нырял в стену. Установка была надежная, автоматическая; Рыцарь поискал управляющий ею компьютер, но не нашел; видимо, команды на пульт шли из столицы, из той самой комнаты, которую видел на экране Питек. Однако в случае нужды можно было остановить станцию и отсюда: аварийная система была налицо. Вот, наверное, ради чего сюда послали ополченцев: ради станции, а не старой космической жестянки, служившей теперь всего лишь тамбуром.

Уве-Йорген стоял, задумчиво разглядывая установку, затем невольно вздрогнул из-за громкого щелчка: вспыхнули какие-то индикаторы, гудение установки стало чуть громче. Рыцарь повел взглядом по аппаратам, пытаясь понять, какой из них сработал. Вот он: регулятор мощности. Что-то подключилось, и расход энергии скачком увеличился. Какие-то события происходили под двойным дном бесхитростной вроде бы планеты с ее идиллическим населением... Рыцарь пожал плечами: разберемся, если понадобится. А пока надо выяснить... надо выяснить... Он снова пустился в обход отсека. Теперь он, пригибаясь, чуть ли не обнюхивал переборки. Питек подошел, несколько секунд следил за действиями Рыцаря.

— Что ты ищешь, Уве-Йорген?

— Думаю, здесь должен быть еще один выход.

— Конечно, он тут есть.

— Почему ты решил?

— Я не решил, — сказал Питек невозмутимо. — Я его вижу. Ты глядишь вниз. Смотри наверх, потому что он там.

Рыцарь поднял глаза. Нет, без Питека он, пожалуй, не заметил бы люка, если бы даже и разглядывал потолок так же внимательно, как переборки, — настолько тщательно была пригнана крышка.

— Ну-ка, подсади меня!

— Пожалуйста, — согласился Питек и подставил спину.

Едва заметная кнопка была рядом. Уве-Йорген нажал; крышка поползла вертикально вниз, не откидываясь на петлях, а опускаясь — как стало видно — на трех блестящих стержнях. Рыцарь поспешно соскочил со спины Питека; крышка едва не задела его. Круглая пластина остановилась в полуметре над

полом. Рыцарь смотрел в открывшееся отверстие. Наверху было светло. Он уверенно встал на пластину, и она без команды начала подниматься.

— Ждать меня! — успел крикнуть он, прежде чем крышка, мягко щелкнув, не отделила его от товарищей.

Здесь тоже начинался ход, только поуже первого. Уве-Йорген попытался представить, в каком направлении он сейчас двинется. Так и не придя к выводу, пошел вперед. Так же вспыхивали впереди и гасли за спиной невидимые лампы. Было тихо. Щелкали гейгеры — чем дальше от станции, тем реже. Этот туннель, в отличие от первого, шел не прямо, временами плавно сворачивал, порой уходил в глубину. Потом впереди послышалось низкое гуденье, не такое, как в силовом отсеке. Конец туннеля. Дверь. Открыть. Войти.

Он вошел. Посреди небольшого, круглого в плане помещения стояла установка. Не силовая; для чего она предназначалась, Уве-Йорген не мог понять — что-то, отдаленно напоминавшее огромных размеров приемно-передающую радиостанцию из тех, что на Земле предназначались для связи с другими планетами Системы; им показали одну такую во время стажировки. Хранители Уровня поддерживают связь с инопланетянами?.. Уве-Йорген пожал плечами: чушь. Важнее сейчас то, что установка работает, индикаторы на стенах помещения мигают в сложном ритме, словно разыгрывая световую симфонию, написанную для сотен, для тысяч инструментов... Сотни и тысячи пришли в голову Рыцарю не случайно: именно тысячи тонких проводов выходили из последнего блока установки и, свившись в толстенный жгут, скрывались в потолке. Уве-Йорген вытер пот со лба, покачал головой; в следующий миг щелкнуло — индикаторы погасли, гудение смолкло — установка выключилась, непонятная, но, видимо, зачем-то нужная этому человечеству. Рыцарь взглянул на часы. Пожал плечами. Вышел, затворил за собой дверь. По туннелю шел быстро. Встал, не задумываясь, на пластину люка, и она послушно опустилась, возвращая пилота к его соратникам. Они ждали его, кажется, в тех же позах, в каких он их оставил.

Ну что же, кое-что становится понятным. Станция — энергетический центр правителей этой планеты, — и еще какая-то установка неизвестного назначения, действующая, видимо, периодически. Да ее назначение и не важно: раз она действует и так надежно упрятана — значит, важна, очень важна для тех же правителей. Прекрасно!

Уве-Йорген ощутил, как горло этой маленькой цивилизации пульсирует под его пальцами. Теперь можно было диктовать условия.

Он не подумал в тот миг, сохранился ли еще смысл диктовать условия. Это было неважно. Главным являлось то, что возможность диктовать условия была найдена. Уве-Йорген испытал глубокое удовлетворение. И почувствовал, что устал. Другой на его месте сказал бы даже, что — очень устал.

Он повернулся к соратникам и улыбнулся.

— Хочу спать, — сказал он. — А вы? Нам еще предстоит поработать на славу. Надо набраться сил. (Они кивнули.) — Он посмотрел на гладкий, чистый пол. — Честное слово, я готов уснуть прямо тут.

Он сел на пол, потом растянулся, положил автомат рядом, закинул руки за голову.

— Ложитесь, — сказал он. — Укрытие — лучше не придумать.

— Они могут добраться сюда, — предостерег Георгий.

— Тем хуже для них, — ответил Уве-Йорген.

И они уснули под ровное гудение станции, в маленькой камере которой бушевал солнечный жар.

* * *

Они проспали около часа, потом осаждавшие подорвали наружный люк корабля. Глухой, сильный звук и легкое сотрясение пола заставили Уве-Йоргена открыть глаза. Это мог быть только взрыв. Он покосился на своих. Они тоже подняли головы, но, видя, что он спокоен, сразу же заснули снова.

Он лежал неподвижно. В зале станции было по-прежнему светло. Георгий дышал рядом, положив голову на руки, лежа лицом вниз. Питек, свернувшись, лежал в сторонке. Станция успокоительно жужжала. Уве-Йорген поднес к глазам руку с часами. Шесть. Значит, взорвали все-таки. Дураки. Вот уж поистине — усердие не по разуму.

Он осторожно поднялся, подошел к овальной двери, приоткрыл ее, прислушался. Если затаить дыхание, можно было уловить отдаленный скрежет металла.

Значит, расчищают ход после взрыва.

Уве-Йорген вернулся в зал и разбудил своих. Они мгновенно вскочили, осмотрели автоматы и пересчитали запасные магазины.

Хотелось есть, но было нечего.

На всякий случай Рыцарь еще раз обошел станцию. Нет, другого выхода не было. Только через овальную дверь, а оттуда — через жилые отсеки корабля.

Тогда он кивнул остальным, чтобы сидели и ждали, и сам сел у двери, положив автомат на колени, и принялся ждать.

Приглушенный расстоянием лязг не утихал. Преследователи доберутся сюда через полчаса примерно. Войдут в туннель,

прямой туннель. В нем вспыхнет свет. И они будут, как на ладони...

— Что мы предпримем, Рыцарь?

— Отобьем у них охоту соваться сюда.

— Будем стрелять?

Уве-Йорген пожал плечами:

— На переговоры у нас больше не остается времени.

В глубине корабля гремело, как в железной бочке. Значит, вошли.

* * *

Слышно было, как вломившиеся в корабль люди понемногу приближались к трюмам, к грузовому люку, откуда начинался туннель.

Пробирались они медленно. Наверное, шли с факелами: свечи вряд ли могли тут помочь.

Ничего, в туннеле будет светло и без них.

Уве-Йорген прикинул. Туннель узок. Куда ни стреляй — хоть в потолок, — не прямо, так рикошетом какая-нибудь да зацепит.

Так что игра действительно пойдет по другим правилам.

Значит, надо, пока еще есть время, обезопасить все, что можно. Позицию занять в туннеле, подальше от входа в станцию. Прикрыться, правда, нечем. Гиблое дело. Но в зале станции обороняться нельзя.

Рыцарь не знал, что может и чего не может случиться, если пули противника станут попадать, скажем, в резервуар с тритием. Он не был физиком. Он был летчиком, и у него в крови сидело ощущение того, что если пуля попадет в топливный бак, твое дело плохо. А если будет поражена установка, тоже хорошего мало: Рыцарю нужно было, чтобы она работала. Угроза беды всегда действует сильнее, чем сама беда, и в предстоящем разговоре с Хранителями он хотел применить именно угрозу.

Все было бы лучше, если бы удалось погасить свет в коридоре, послать по лампам парочку очередей. Тогда он стал бы невидимым, а бить по вспышкам противник вряд ли научен. Но светильников не было видно, и неясно было, куда стрелять.

Значит, придется подставлять себя под пули. Солдатское дело...

Он подозвал своих:

— Сюда, ребята. И постарайтесь попадать в них прежде, чем они в вас. Потому что пули у них такие, что дырки эти будет не залатать — да и нечем.

— Думаешь, они станут стрелять в нас?

Уве-Йорген усмехнулся:

— Здесь трудно будет выстрелить мимо.

Он подошел к двери в станцию, затворил ее, вернулся в туннель и улегся на пол, изготавливаясь к стрельбе. Запасные магазины положил справа, чтобы были под рукой. Покосился на своих:

— Георгий, продвинься на пять шагов вперед. Так, Питек, держись правее, насколько можешь. Хорошо.

Теперь все было в порядке.

В том конце туннеля заметно посветлело. Люди приближались ко входу в него, и звуки их шагов доносились все явственнее.

* * *

«Вот бестолковые бедняги, — думал Уве-Йорген. — Ну куда они лезут и почему не понимают, что это — наша игра, а не их!»

Он держал на мушке первого, что приближался с факелом в руке, с ненужным более факелом. Можно было и не целиться — все равно тут не промахнешься, — но Уве-Йорген целился из уважения к своей профессии, требовавшей, чтобы все делалось по правилам, не кое-как, небрежно, а тщательно.

Ну что, хватит ему гулять, пожалуй, а?

Уве-Йорген нажал спуск, и гильзы звонко запрыгали справа от него, автомат привычно повело влево, и крики боли и ужаса наполнили узкую трубу туннеля.

На полсекунды позже ударили еще два автомата.

* * *

Уве-Йорген сменил третий магазин, когда ответный огонь смолк.

Противник бежал. Коридор гудел от топота ног.

Рыцарь встал и пошел. Он шел в атаку. Преследовал противника.

Он шел, пока не наткнулся на первое тело. Нагнулся, дотронулся до него и почувствовал, что пальцы повлажнели.

Он остановился. Постоял. Повернул назад. Пришел к своим.

— Теперь можно идти. Здесь свое дело мы сделали.

Его соратники поднялись с пола. Георгий закинул автомат за спину. Питек держал свой в руке.

— Куда теперь, Рыцарь?

— В гости к Хранителям.

— Ты не боишься засады снаружи? — спросил Питек.

Георгий ответил за Уве-Йоргена:

— Когда бегут так, как они, останавливаются только к вечеру.

Они, поколебавшись, ступили на упругое, еще теплое. Идти было трудно. Местами тела лежали друг на друге. Здесь трудно было промахнуться. Наверное, рикошеты тоже достигали цели. Сколько их тут? Десятка два? Больше?

Мир вам, люди планеты. Братья, как сказал бы Иеромонах Никодим. Мы прилетели спасти вас. И спасаем. Извините, если что не так...

Они выбрались из корабля. Засады не было. Уве-Йорген все же приказал идти по одному, с автоматами наизготовку. Так добрались до катера. Противник, видимо, даже не наткнулся на машину. А может, и заметили, но решили сперва одержать победу, а зачем уже заняться трофеями.

Спокойно, без суеты трое уселись в катер. Закусили тем, что лежало в холодильнике. Потом Рыцарь проговорил:

— Ну, начнем второе действие.

И включил стартер.

* * *

— Это и есть столица? Приличный городок. Молодец, штурман. Ну-ка, пристегнитесь как следует!

— Что ты хочешь сделать?

— Доложить о нашем прибытии.

Обернувшись, он проверил взглядом, хорошо ли выполнено его приказание, выключил автопилот и положил руки на пульт.

— Занавес, — произнес он, усмехнувшись.

Набирая скорость, катер круто пошел на снижение.

Стартово-посадочные моторы ревели.

— Держитесь крепче! — посоветовал пилот.

Он круто положил машину в вираж. Короткие крылья дрожали. Спутникам Рыцаря показалось, что плоскости вот-вот отлетят. Но, видимо, пилот хорошо чувствовал, каким запасом прочности обладала машина. Они неслись над городом, катя перед собой волну грохота. Крыши проносились в нескольких метрах под ними. От мелькания могла закружиться голова. Спутники Рыцаря невольно зажмурились: даже Питеку сделалось не по себе. Уве-Йорген смотрел вперед. Он усмехнулся, перебросил пальцы, машина рванулась верх.

— Штурман! Где центр?

Георгий открыл глаза.

— Чуть правее. Площадь, два больших строения...

— Иду на посадку!

Он уравновесил машину над самым грунтом. Грохот заполнял площадь. Люди в панике бежали.

Уве-Йорген выключил мотор.

— За мной!

Они выбрались наружу.

— Теперь — как я учил!

Оба спутника встали позади пилота, автоматы — на груди, руки на автоматах.

— Шагом — марш!

Средний подъезд дома Хранителей был прямо перед ними. Маршируя, они пересекли площадь и поднялись на крыльцо.

В вестибюле было много людей. Уже знакомый Питеку чиновник заспешил к ним.

— Что вам...

Уве-Йорген кратко приказал:

— Молчать!

Чиновник умолк.

Уве-Йорген приказал:

— К Главному Хранителю! Живо!

Чиновник попятился:

— Это невозможно! Изложите ваше дело, и я...

Уве-Йорген, не снимая автомата с груди, только задрав ствол, выпустил очередь. Штукатурка посыпалась на пол.

— Вопросы есть? — спросил пилот.

Чиновник молчал.

— К Хранителю, живо! Ну, долго мне ждать?

— Но... его нет!

— Веди!

— Но его действительно нет! Он в Сосуде!

— Я тебя самого загоню в сосуд, — сказал пилот. — И ты там останешься, покуда тебя не выплеснут вместе с дерьмом. Ну?!

— Пожалуйста, — тихо проговорил чиновник. Переведя взгляд на Питека, он лишь укоризненно покачал головой. — Я отведу вас.

— Если ты еще будешь болтать...

Чиновник повернулся и торопливо пошел.

Трое зашагали за ним, четко ступая в ногу. Уве-Йорген любил театр и знал — или полагал, что знал, — какие сцены нравятся людям.

Трое зашагали в ногу по бесконечному коридору. Остановились перед железной дверью.

— Открыть!

Чиновник послушно отворил. Руки его подрагивали.

— Вперед — марш!

Лестница. Площадка, перегороженная решеткой.

— Вперед, ты!

— Сейчас, сейчас... Одну минутку...

Чиновник возился. Потом повернул лицо к пилоту, вымученно улыбаясь:

— Надо разрядить. Иначе...

— Быстрей!

— Да-да, сию секунду...

Наконец решетка поднялась.

— Вперед!

Снова коридор. Снова железная дверь.

— Открыть!

Дверь распахнулась. За нею был кабинет.

Уве-Йорген взглянул на Питека:

— Тут?

— Да.

Они вошли, громко, четко стуча каблуками.

Здесь по-прежнему был стол, а у стены — пульт. Компьютер работал; никого не было.

— Где он?

Чиновник развел руками.

— Я же говорил вам: его нет...

— Когда будет?

— Кто может знать это?

— Ладно. Веди к другому Хранителю.

— Они сейчас все вместе... там, в Сосуде.

— По ту сторону улицы, — подсказал Питек.

— Веди туда.

Чиновник покачал головой.

— Туда вам не пройти.

— Даже с этим? — Пилот похлопал по прикладу автомата.

— С чем бы то ни было, — ответил чиновник, чуть улыбнувшись.

Уве-Йорген едва не скрипнул зубами: вся постановка оказалась ненужной, премьера сорвалась: преимущество внезапности было утеряно.

Однако бороться надо до последнего.

Уве-Йорген уселся в кресло.

— Будем ждать. Ты тоже. Сядь вон туда.

Чиновник послушно уселся.

В молчании потекли минуты. Белый, спокойный свет лился в окна. Милое солнышко, звезда Даль, затаилась, как представлялось Уве-Йоргену, перед командой: «В атаку — вперед!»

* * *

Раскапывать руины Иеромонаху понравилось. Работа была спокойная, интересная. То одно найдешь, то другое. Он раскопал все-таки вход в тот домик. Стал выкидывать землю изнутри. Повозился изрядно. Время от времени вылезал, отирал пот со лба — день был, как обычно, жарким, — поглядывал, где девица, не сбежала ли. Нет, всегда была поблизости. Тихая, смутная немного. Скучает, понимал Никодим. Так и должно.

Пара ему нравилась. Она — молодая, пригожая. Он — солидный, надежный. Совет да любовь.

В свой час позвала обедать. Поели. Никодим пробовал заговаривать. Хотелось поговорить о жизни — как она ее понимает. Девица отмалчивалась. Хотя ей, молодой, и негоже было молчать, когда спрашивают старшие.

Отдохнув, Никодим полез копать дальше — все равно ничего другого не придумать. Вырыл шкатулку с кристаллами, попалась еще фотография, залитая пластиком, сохранная. Была она вделана в крышку той шкатулки изнутри. Фотография была скорбная. Люди стояли у надгробной плиты. Вокруг — деревья с длинными иглами, здешние. Схоронили, верно, давно: плита уже влегла в землю.

Кто-то из здешних преставился, стало быть. Имя есть на плите. Как же его звали? Все равно, конечно, но — любопытно.

Снимок был небольшой, плита смотрелась наискось, прочитать было трудно. Однако зрение у Иеромонаха было отменное, не испорченное чтением смолоду. Он прищурился, повертел снимок и прочел все-таки. Одолел.

Ганс Пер Кристиансен — вот что было написано на плите. И дальше — несколько строк, помельче, уже и вовсе неразличимо.

Иеромонах задумался. Кристиансен. И имя не казалось чужим. Упоминалось вроде бы не раз. Если тот самый Кристиансен, понятно. Ну-ка, дай бог памяти...

И вспомнил.

— Анна! — он высунулся из траншеи, оперся ладонями о землю, вымахнул весь. — Анна, подойди-ка. Такое дело вышло, что идти надо, Капитана найти срочно...

* * *

Было так грустно, что хотелось плакать. Чего-то было жалко. Может быть, несбывшихся, непонятных каких-то надежд? Она не понимала, и оттого становилось еще грустнее.

Сначала показалось — полюбила. Хотелось полюбить, и тут пришел человек — не такой, как все, интересный, уверенный, внимательный. Полюбила, была готова на все. А он почему-то медлил. Может быть, пренебрег, а может быть, и не хотел этого от нее. Или просто был нерешительным. Такое не прощается.

Конечно, молодым его назвать трудно, и она подметила взгляды товарищей, ребят и девушек. Но она думала и поступала по-своему. Так ей казалось.

И если бы он показал, что любит ее по-настоящему, она бы привязалась к нему, наверное, всерьез и надолго. Навсегда ли — этого сказать, конечно, никто не может, но надолго.

Но — он не показал.

Он забывал о ней за своими делами. Конечно, у всякого есть свои дела. Так должно быть. Но забывать нельзя. Внимание должно быть всегда. Подойти с цветком хотя бы. Посидеть, поговорить. Рассказать, как любишь. Какими бы ни были дела — вырваться, чтобы было ясно: дела делами, но важнее, чем она, на свете ничего нет и быть не может.

Такого от него не дождаться — она теперь ясно понимала.

Конечно, если бы она любила — примирилась бы. Но — теперь стало совершенно ясно — не любила. И интерес стал проходить. Потому что увидела: иногда он не знает, что делать, сомневается, колеблется. А ей надо было так верить в человека, чтобы по его первому слову кинуться, очертя голову.

Всегда все знают лишь люди недалекие; ей, по молодости лет, это было еще неизвестно.

Нет, не ее судьба.

Сказать ему — и уйти.

И опять, когда нужно — его нет. Оставил ее и улетел.

Нет, она права, безусловно. Хорошо, что вовремя поняла все.

Он, конечно, будет переживать. Но ничем ему не поможешь.

Скоро ли он там?

Терпение стало иссякать. И тут как раз позвал ее Никодим.

* * *

Иеромонах знал направление, и они быстро собрались и пошли налегке. Ходить оба умели. Шли как будто неспешно, но ходко.

Пахота под второй урожай была закончена, и поля, быстро покрывшиеся зеленым ковриком всходов, были пустынны. Но на лугах начинался сенокос.

Иеромонах с девушкой шли, не останавливаясь, пока не пришла пора передохнуть. Устроились в тени. Анна откинулась на спину и словно задремала. А Никодим сидел подле кромки луга и, щурясь, любовался тем, как дружно взблескивали косы при каждом замахе. Сидеть было чуть влажно: дождик прошел недавно. Но и приятно.

Никодиму было грустно.

Войны не были для него новостью. Монастырь его стоял у большой военной дороги. Езживали по ней тевтоны, поляки, свеи. Потом они отступали, за ними шли русские.

Горели курные избы, вытаптывались поля, недозрелые колосья вминались в прах.

И сейчас, когда начиналась война здесь, — а что она начнется, у Иеромонаха было точное чутье, — он жалел эти поля и этих людей, которым суждено было больше всех терпеть от каждой войны, а затем своим потом снова поднимать жизнь, чтобы опять лишиться всего через несколько лет или месяцев.

Но пока не пришла война — коси, раз пора настала.

Никодим подошел к косцам и попросил, чтобы ему тоже дали.

Косу для него нашли. Он подогнал ее по росту, встал в ряд со всеми и, плавно занося косу и резко проводя ее вперед, пошел, не отставая. Такое умение было у него в крови, и ничто не могло заставить Иеромонаха забыть движения, утратить чувство ритма.

До пояса обнаженный, блестящий от пота, он косил вместе со всеми, глубоко, до отказа вдыхая ни с чем не сравнимый запах летнего луга и только что срезанной травы, на которой быстро высыхали капли.

Но тут он услышал песню.

Над дорогой, что плавной дугой огибала луг, вставала пыль, и песня неслась из этой пыли. В ней что-то взблескивало временами, и наметанным взглядом Иеромонах определил: оружие.

Он попрощался с косарями и побежал туда, где на краю луга уснула Анна и где он оставил свой автомат. Никодим разбудил девушку и закинул оружие за спину.

— Пойдем-ка, девонька.

Она послушно поднялась.

Толпа приближалась, приближались песня и шум и грохот, и можно уже стало различить капитана, что шел впереди.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Глухо стучали копыта, телега поскрипывала. Почти не трясло: видимо, дорогу старались содержать в порядке. Жаль, что высокие борта не позволяли разглядеть ничего по сторонам.

Часа через три остановились.

— Будем перепрягать, — пояснил один из стражей.

— Хорошо бы сойти, — нерешительно проговорил Шувалов. Сойти ему надо было.

— Слезай. Отсюда все равно не убежишь.

Откинули борт. Шувалов с удовольствием сделал несколько шагов, огляделся.

Вокруг была степь. Ровная, чуть изгибающаяся дорога уходила к горизонту. По соседству стоял небольшой домик, рядом конюшня. Ничего интересного.

А вот вдоль дороги...

Любопытно.

Вдоль дороги возвышались, тоже уходя к горизонту, высокие башни из толстых балок. Не башни, вернее, а сквозные конструкции. Шувалов подумал, что они похожи на опоры линий электропередачи высокого напряжения, какие существо-

вали в древности, когда еще не были найдены практически целесообразные способы передачи энергии без проводов. Он видел подобные изображения в книгах по истории техники. Не деревянные, конечно, и к тому же на картинках между башнями были натянуты плавно провисавшие провода. Здесь, возможно, их еще не успели натянуть.

Очевидно, об этом ему и говорил Хранитель Уровня. Линия, по которой в столицу будет поступать выработанная солнечными батареями энергия. Они рассчитывают закончить работу ко времени, когда иссякнет запас топлива их силовой установки. Чтобы ни на миг не прерывал своей деятельности компьютер, чтобы общество и впредь развивалось по заранее разработанной программе...

Шувалов пожал плечами. В конце концов, можно представить и такую форму общества. Тем более, что и сами они понимают: она носит временный характер — до тех пор, пока не накопятся силы для перехода на следующий этап...

Но не будет времени, чтобы совершить переход. Чтобы закончить линию, чтобы ввести в действие солнечные батареи. Не будет времени ни на что...

Звезда Даль!

Он взглянул на нее, прикрывая глаза ладонью. Солнце — звезда Даль — находилось на полпути между зенитом и горизонтом. Шувалов хмуро смотрел на нее и, незаметно для самого себя, укоризненно покачивал головой.

Потом он перевел глаза на своих непрошеных спутников. Люди выпрягли лошадей и собрались перед установленным на штативе плоским ящиком со стеклянной крышкой. Точно такой ящик Шувалов заметил во внутреннем дворе дома Хранителей, и к нему тогда тоже собирались люди. Примерно в этот час. Ритуал?

Шувалов подошел поближе. Никто не обратил на него внимания. Все смотрели в стекло — сосредоточенно, напряженно. Шувалов остановился за спинами глядевших. Стекло оказалось туманным, похожим на экран, но никакого изображения на нем не было. Стекло вообще не светилось, хотя после увиденного у хранителей компьютера Шувалов не очень удивился бы, окажись здесь — ну, если не тривизор, то какой-то из его предшественников.

Он задумчиво почесал щеку. Надо проанализировать с самого начала. Что делали люди перед тем, как начали смотреть в ящик? Установили его. Шувалов видел, как это делалось: люди очень старались установить коробку строго определенным образом — сориентировав по сторонам света. Обычно устройства устанавливаются таким образом, когда они служат для приема или передачи — ну, скажем, электромагнитных волн... Если бы здесь происходил прием, то на экране что-ни-

будь да показалось бы — иначе не было смысла так упорно смотреть на стекло. Может быть, конечно, изображение еще появится — подождем... А если это не прием — тогда что? Передача?

Передача — чего? Нужен прежде всего источник энергии. Тут его нет. Если бы он находился в самом ящике, это прежде всего означало бы, что технический уровень их культуры намного выше предполагаемого. Далее, в таком случае на ящике должны были оказаться хотя бы самые примитивные органы управления этим источником. Их нет. Но может ли идти передача какой-то информации без затрат энергии? Не может. Значит, и вариант с передачей отпал?

Еще нет, продолжал размышлять Шувалов. Пока ясно лишь, что источника энергии здесь не имеется. Но ведь информацию можно передать, пользуясь и чужой энергией. Скажем, отражая солнечный свет зеркалом. Если бы стенка ящика была зеркальной, и если бы он был установлен так, чтобы улавливать и отражать лучи звезды Даль, то...

Но зеркала не было, и установлен ящик был совсем иначе. Тыльная его стенка, в которой виднелось какое-то углубление, была направлена... куда именно? Шувалов попытался сориентироваться. Да, пожалуй, можно было сказать, что ящик направлен задней стенкой в ту сторону, откуда Шувалов и все остальные только что прибыли. Нет, пожалуй, чуть севернее... Примерно туда, где находился безлюдный город, где приземлились Шувалов и капитан и где Шувалова схватили. Ну, а зачем, собственно?..

Шувалов задумчиво поглядывал то на экран, то на людей, он видел их лица плохо, потому что стоял сзади и мог разглядывать главным образом затылки. Он смотрел на толстую шею стоявшего перед ним. Она была красной, и крупная капля пота медленно катилась по ней. Шувалов повел плечами: сейчас было уже вовсе не жарко... Он отошел в сторону, чтобы лучше видеть лица. Они были напряжены, словно люди выполняли в этот миг работу, требовавшую черт знает какой энергии...

Энергии? Постой, кто сказал, что здесь нет источника энергии? Искусственного — нет, это правда. Но если речь идет о естественном?

И вдруг что-то забрезжило в памяти. Смутно, смутно... Как будто он о чем-то таком слышал. Или видел... Или читал... Одним словом, было где-то когда-то что-то...

Жаль, что память стала уже не той.

Нет, видеть он определенно не видел.

Читал? Уж не в той ли самой книге по истории техники?

Шувалов напряг память. Нет, в той книге ничего подобного наверняка не было.

И все же то была именно книга: не запись, не кристалл, а книга.

Книг он, как и все его современники, видел в жизни считанное количество. И, если память не совсем еще вышла из строя, можно будет, наверное, назвать каждую из них. Попытаемся?

Прежде всего, конечно, книга Кристиансена, с изложением его теории. Незаслуженно забытая, книга эта провалялась где попало много десятилетий, да нет, кажется, столетий — пока ее, совершенно случайно, не прочитал он, Шувалов. Теория Кристиансена стала исходным пунктом новой теории, носящей теперь имя Кристиансена—Шувалова.

Не все было в той книжке разумно, не все логично. Например, высказав совершенно правильно (как оказалось впоследствии) предположение о том, что процессы, происходящие в звездах, можно регулировать при помощи относительно ничтожных энергий, Кристиансен тут же нагородил всякой чуши, предположив, что источником такой энергии может стать, в частности, одно из полей, генерируемых человеком, — то самое, благодаря которому осуществляются, скажем, телепатические процессы.

Насчет телепатии — ладно, она давно нашла применение в практике, и так далее. Но что касается воздействия на звезды...

Он, Шувалов, тоже нашел способ воздействия при помощи небольших энергий. На его принципе основана и установка Аверова. Однако энергетика человека тут ни при чем.

А вот Кристиансен предполагал...

И даже, кажется, разработал что-то такое...

И тут Шувалов с трудом удержался от восклицания.

Он вспомнил.

Действительно, Кристиансен сконструировал крайне несложное устройство, которое должно было концентрировать поле, генерированное отдельными людьми, и, модулируя им поток энергии от какого-либо источника, направлять в сторону светила. Он полагал, что именно такая модуляция помогает установить контакт с сопространством, в котором, как известно, и распространяются психоволны.

Шувалов пожал плечами.

Конечно, для времен Кристиансена уже сама мысль о контакте с сопространством была великолепной. Но если даже предположить, что таким путем ему удалось бы добиться чего-либо подобного... каким был бы результат? Ведь и он, Шувалов, пришел к выводу об использовании сопространства, когда возможность проникновения в него стала фактом: в сопространство надо сбрасывать энергию, буквально перекачать туда опасную звезду и таким способом избавиться от нее. Допустим, Кристиансен мог добиться того же; но ведь это

никоим образом не дало бы ему возможности плавно регулировать процессы, происходящие в звезде. Он мог бы только совершенно уничтожить ее — так же, как может это Шувалов. Способ, надо сказать без ложной скромности, удобный, не приносящий никому вреда: сопространство, судя по известным сегодня данным, моложе нашего, оно заполнено, как и наше, в основном водородом, плотность которого, правда, несколько больше, так что в моменты сопространственного перехода корабля «Зонд» какая-то часть свободного водорода оттуда переходила в наше пространство, а не наоборот. В небесных телах там сконцентрировано значительно меньше вещества, чем у нас, в сопространстве пока еще мало звезд, и мы, перебрасывая туда свои закапризничавшие светила, не причиняем никому ни малейших неудобств. Разве что атомам водорода...

И снова Шувалов запнулся.

Водород, водород...

Отчего происходят вспышки Сверхновых первого типа? Того, к которому отнесли бы и Даль, если бы ей позволили вспыхнуть: старых звезд с массой несколько больше солнечной.

По существующим представлениям, вспышка их происходит из-за стремительного падения вещества звезды к ее центру. Оно происходит потому, что выгорает водород — основное звездное топливо.

Но если...

Если бы была возможность, по мере выгорания, пополнять количество этого топлива...

То взрыва бы не произошло?

И поскольку при контакте с сопространством происходит перемещение водорода оттуда, а не туда...

И если место этого контакта находится не вне звезды, а в ее пределах...

То взрыва не произойдет!

Не об этом ли думал Кристиансен?

Итак, источник энергии находится где-то на планете. Допустим, в доме Хранителей. Или недалеко от их силовой станции. Да, скорее всего, именно там.

Там же имеется какое-то приемное устройство, собирающее, концентрирующее слабые психоволны, посылаемые такими вот ящиками, которым все люди планеты ежедневно, в определенные часы, отдают свою энергию. Этими волнами модулируется направленный на звезду луч. Вот и весь секрет!

Нет, не весь. Тут есть и еще одно обстоятельство.

Отдавая свою энергию, люди должны четко сознавать, что и зачем делают. Это ведь энергия мысли, и частота и мощность, излучаемая каждым человеком, зависит от предмета мысли и важности ее и ее результата.

Люди должны знать...

Если они, вот эти самые люди, не знают — все рассуждение Шувалова ошибочно.

А вот если знают...

Если знают!

Он потряс головой, приходя в себя. Его спутники как раз кончили глядеть в экран и теперь, переводя дыхание и утирая пот, разбирали установку.

— Скажите... что вы только что делали?

— Смотрели на солнце, конечно; что же еще?

— Зачем?

— Так нужно. Все так делают.

— Но зачем? Зачем?

Страж пожал плечами. Ответил другой:

— Смотреть надо, чтобы с солнцем никогда ничего не случилось. Никакой беды.

— И давно вы так делаете?

— Так делалось всегда.

Шувалов закрыл глаза. Мысли роились в голове.

Значит, об этом и говорил Хранитель?

Несомненно, они воздействуют на светило и таким образом держат его в повиновении.

Но в таком случае... опасности нет!

В таком случае звезда может существовать еще тысячи — миллионы лет и не причинит никому ни малейшего вреда!

Она будет существовать до тех пор, пока на планете живут люди и пока они смотрят на нее — каждый день, все разом, определенным образом. И пока на планете есть электростанция.

А он тогда, в городе, крикнул Питеку...

Питек, конечно, уже передал все капитану, экипажу.

Произойдет непоправимое.

Мы уничтожим звезду. Вместо того чтобы оставить ее в покое, мы уничтожим звезду. Убьем цивилизацию. Человечество. Если даже удастся эвакуировать или загнать в подземелья какую-то часть его, пусть даже всех — все равно этого человечества, этой культуры больше не будет. Чем же это не геноцид?

И виновен он — Шувалов.

Исправить ошибку любой ценой! Любой ценой!

Он подбежал к тому стражу, который объяснил ему, зачем люди смотрят на звезду.

— Слушайте! Я понял! Я теперь все понял!

— Это хорошо, — ответил страж. — Значит, ты понял и то, что лошади уже запряжены, и тебе пора лезть в телегу.

— Постойте! Мы должны немедленно вернуться! Возвратиться в столицу! Я понял!

— Тогда ты умнее нас. Потому что мы этого не понимаем. Наоборот, нам побыстрее надо ехать туда, где Горячие пески. Каждого из нас там ждет работа.

— Но послушайте! Страшная угроза...

— Знаешь что, твои угрозы всем уже надоели. Хранители сказали, что нам нечего бояться. Как ты думаешь, кому мы верим больше? Да ты сядешь добром, или...

Шувалов непроизвольно оглянулся. Бежать, бежать в столицу!

Его схватили под руки. Он сопротивлялся. Ударил раз, другой, кричал. Но его втащили. Подняли борт. И лошади пошли рысью.

* * *

Наконец-то послышались шаги — прозвучали за той дверью, из которой и должен был появиться Хранитель; как объяснил чиновник, за дверью начинался ход, соединявший дом Хранителей с Сосудом. Уве-Йорген сделал знак. Питек и Георгий вскочили и стали по обе стороны двери, вплотную к стене. Щелкнул замок, вошел Хранитель — и сразу же Георгий захлопнул за ним дверь, и оба соратника Уве-Йоргена заслонили ее собою, как он учил — широко расставив для устойчивости ноги, положив руки на оружие. Сам Уве-Йорген продолжал сидеть; он глядел на Хранителя, снисходительно улыбаясь. Хранитель усмехнулся, подошел к столу и сел на свое место, словно в посетителях не было ничего необычайного. Чиновник стоял, потупив глаза. Хранитель сказал ему:

— Вы можете идти.

Чиновник поднял глаза на Уве-Йоргена. Тот колебался лишь мгновение.

— Да, — разрешил он. — Но без шуток!

И прикоснулся пальцем к автомату. Чиновник поклонился. Он не вышел, а беззвучно вытек в дверь — ту, что вела в коридор. Слышно было, как он побежал.

— Теперь поговорим, — сказал Уве-Йорген. — Разговор будет серьезным. Ваша электростанция в моих руках. И если сейчас ваш вычислитель еще работает, то лишь потому, что позволяем мы. Ваше войско, — он презрительно усмехнулся, — разгромлено. Иными словами, условия сейчас диктуем мы. Я.

Хранитель кивнул с таким выражением, словно ему сказали, что на улице стоит хорошая погода.

— А что именно вы диктуете? — спросил он. — Но прежде скажите, пожалуйста: вы тоже ученый — как тот ваш сотоварищ, с которым я уже разговаривал?

— Нет, — сказал Уве-Йорген. — Я солдат, если это слово доступно вашему пониманию. Я привык выполнять свой долг до конца, как бы ни было трудно. И все, что я сказал и буду говорить, — не пустые слова. Наши требования таковы. Поскольку и вам, и нам угрожает опасность...

Хранитель кивнул снова.

— Опасность действительно существует, — сказал он, не дав Рыцарю продолжить. — И только поэтому я сейчас разговариваю с вами — с людьми, пролившими кровь, то есть виновными в самом серьезном преступлении...

— Зачем же было преследовать нас? — возразил Уве-Йорген. — Да и вообще — не пытайтесь выглядеть ангелами, я все равно не вижу ваших крыльев. А вот у нас они есть!

— Мы не ангелы. Тем не менее...

— Я все-таки хочу сказать. Вы начали преследовать нас. Вы выселили людей из города, близ которого впервые приземлился наш катер. Вы задержали и куда-то отправили нашего товарища. Разве этого мало, чтобы оправдать кровь?

Хранитель нахмурился.

— Ничто не оправдывает крови. И я могу ответить на все ваши вопросы, и сделаю это. Теперь слушайте меня. Да, опасность действительно существует. Но вы о ней ничего не знаете. Что касается ваших опасений, то они необоснованны, ученому я мог бы доказать это, если бы он потрудился внимательно выслушать; вам я просто говорю, что это так и есть. На более подробные объяснения у нас нет времени. Слушайте дальше. В руках у вас нет ничего, кроме этого вот оружия. К станции вам больше не подойти: и туннель, и все помещения уже заполнены газом, вредным для вашего здоровья. Мы сделали это по той же причине, по которой старались удалить вас от старого корабля и которую вы угадали лишь частично. Да, установка дает энергию для нашего компьютера, но это не главное: основное в том, что она питает установку, регулирующую наше солнце. Следы показывают, что вы побывали возле нее, но, видимо, не поняли ее назначения.

Уве-Йорген с сомнением покачал головой.

— Мы сообразили бы, — сказал он, — если бы поблизости оказалась хоть какая-нибудь антенна. Такая установка не может работать без антенны, столько понимает любой из нас.

Хранитель усмехнулся.

— Антенна... И тем не менее, она существует. Разумеется, мы не могли привезти ее с Земли, но она есть. Лес! Лес служит антенной, к каждому дереву подводится нужная частота от установки! Неужели вы, находясь там, не поняли, что лес этот вырос не сам — он посажен! Но впоследствии была

сделана ошибка: мы решили построить там город и слишком поздно спохватились, что близость города опасна для леса, как бы мы ни старались внушить каждому мысль о неприкосновенности каждого дерева в нем. Какое строительство может обойтись без топора? Но если этому лесу нанесен ущерб, нарушается регулирование светила, возникает угроза для всей планеты. Вас слишком мало, чтобы противостоять нам, но достаточно, чтобы нам помочь. Опасность сейчас заключается в том, что люди вышли из леса — из другого, настоящего — и идут сюда. Наверное, они знают о найденном старом корабле. И если не удастся остановить и успокоить сейчас, они — часть их — наверняка бросятся к нашему лесу. Мы можем остановить их силой. Но это значит — жертвы. А нам дорог каждый. Мы не хотим жертв. Мы их боимся. — Он опустил веки. — Давным-давно, через десятилетие или два после высадки прилетевших с Земли основателей нашего мира, часть их, возмущенная трудностями жизни здесь, еще храня память об уровне жизни на Земле, решила использовать ограниченную энергию, которой мы обладали тогда и обладаем сейчас, не для регулирования солнца и работы Сосуда и компьютера, но для создания удобств жизни. Однако большинство воспротивилось этому: такой путь привел бы колонию к гибели из-за того самого взрыва звезды, которым вы так напуганы. Пролилась кровь. И немало. То же может повториться сейчас, если люди из леса войдут в город. Надо остановить их на дороге и уговорить вернуться восвояси. Их время еще не настало. Почему мы прибегаем к вашей помощи? Потому что, как нам сообщили, возглавляют их тоже ваши люди. Думаю, что со своими людьми вы договоритесь без кровопролития. Вы согласны?

Уве-Йорген ухмыльнулся.

— Я всегда говорил, что дипломатия — не моя стихия, — ответил он. — Но мне всегда нравились четко сформулированные приказы. Мы отправляемся, чтобы остановить их. Я несведущ в науках, но думаю, что желания взорваться вместе с планетой у вас не больше, чем у нас. Я правильно понял?

Хранитель улыбнулся в свою очередь.

— Сильные обычно думают, что они и умнее слабых, и лучше знают, что им, слабым, нужно. Земля сильна, очень сильна... Ну, отправляйтесь, и да пребудет с вами красота.

* * *

Большой катер с ревом пронесся над толпой. Уве-Йорген шел на бреющем полете. Губы его кривились в усмешке. Внизу лошади взвивались на дыбы. Кто-то махал руками, непонятно — от ужаса или в знак приветствия.

Промчавшись над людьми, катер приземлился метрах в двухстах впереди, прямо на дороге. Трое вышли из него и медленно зашагали навстречу колонне. Уве-Йорген поднес к губам усилитель.

— Стоять! — крикнул он.

Его голос громом прокатился над лугами.

Колонна продолжала двигаться. Кто-то впереди размахивал руками и что-то кричал. Но слов разобрать было невозможно.

— Питек! — сказал Рыцарь. — Твои глаза зорче: посмотри, есть ли там наши?

— В такой пыли не разобрать, — сказал Питек после паузы. — Но их много, понимаешь? А нас трое. Позволят ли они, чтобы мы их уговаривали?

— Боюсь, — ответил Рыцарь, — что какое-то устрашение все же понадобится... Я так и думал, что наших тут не будет. По моим соображениям, капитан сейчас должен быть уже на пути к кораблю, к Аверову и Руке. Иначе...

Он посмотрел на часы, сдвинул брови.

— Иначе наши ребята на борту, не получив новой информации, не задумываясь, выйдут в атаку на это светило. Хотя, оказывается, это вовсе не нужно. Думаю, капитан решил хотя бы отложить атаку. Конечно, если бы он был здесь, мы договорились бы сразу. А так...

— Я думаю, — сказал Георгий, — что главное все же остановить их. Как сказал тот Хранитель, самое плохое будет, если они войдут в город. Значит, они не должны войти.

— Мы пролили тут уже немало крови, — хмуро сказал Уве-Йорген. — Я уже начинаю жалеть об этом. Прибавим шагу, ребята. Попробуем все же договориться...

— А если один выстрел? — сказал Георгий. — Для предупреждения. Для острастки...

Ему сейчас казалось, что он снова защищает узкий проход и вся персидская армия наступает на него. Как и тогда, врагов было много. Но на этот раз в руках воина было совсем другое оружие, и он умел владеть им.

— Ну, дай один предупредительный... — разрешил Уве-Йорген.

Он забыл, что имеет дело все-таки не с настоящим солдатом. Настоящий знал бы, что предупредительные выстрелы дают в воздух. Поверх голов. Георгий не знал этого. И нажал спуск.

* * *

— Это же наши, Монах! Смотри: Рыцарь, Георгий... Постой! Что они... Никодим!

Монах не ответил. Он оседал, прижимая ладонь к животу. Сквозь пальцы сочилась кровь.

Капитан опустился рядом с ним. Схватил выпавший из рук Иеромонаха автомат. Прицелился. Медленно опустил оружие. Подбежала Анна, склонилась над раненым. Капитан встал и стоял, неподвижно, опустив руку с автоматом. Кровь стекала, капли ее закутывались в теплую оболочку пыли. Лесные люди подошли, но остановились в нескольких шагах, не приближаясь более, и смотрели с ужасом. По дороге торопливо приближались трое — с посеревшими лицами, но оружие они еще держали в руках. Анна возилась, перевязывая. Уве-Йорген опустился рядом с ней, чтобы помочь. Девушка непроизвольно отстранилась. Рыцарь даже не заметил этого. Монах открыл глаза, глубоко, с трудом вздохнул.

— Ульдемир, возьми в кармане... есть интересное. Ах, ребята, где брат ваш Авель?..

Потом он зашептал что-то уже не для них, и капитан едва разобрал часто повторявшееся «Господи, помилуй...».

* * *

— Что будем делать, капитан? — спросил Уве-Йорген.

— Почему же, Рыцарь, ты не спросил этого раньше? Почему не спросил я? Любой из нас? Спасители!.. Горсть тупоумных избавителей... Зачем им понадобилось вытаскивать меня из реки? А ты, зачем ты попал в будущее, Уве-Йорген? Почему не остался лежать там, где тебя сбили?

— Да, — сказал пилот. — Согласен. Но разве дело в нашем прошлом, разве дело в том, что когда-то мы воевали друг против друга? Да, мы пришли, мы хотели навязать этим людям свое понимание вещей, которое им оказалось совершенно ни к чему, потому что у них есть свое понимание, и оно вернее нашего, потому что это их планета, а не наша, это их звезда, а не наше светило. Но разве мы принесли это из своего прошлого? А те, кто возглавил всю нашу команду, самые современные из землян — разве они прочитали ситуацию иначе? Я никогда не прощу себе Никодима, хотя и не я стрелял в него; я стрелял в других, их кровь пролита. Моя вина. Но и твоя тоже, и любого из нас: если приходишь, чтобы спасти, нельзя вести себя, словно ты завоеватель!

— Это ты говоришь, Уве-Йорген?

— Ты полагаешь, я мало думал над своей жизнью?

Над той, настоящей, в моем времени — оно же и твое, Ульдемир... Вы тогда победили, поэтому у вас оказалось меньше поводов для раздумий; размышлять и делать выводы — удел побежденных. И сейчас я понимаю одно: надо спасать то, что еще можно спасти.

— Что еще можно спасти?

— Планету, Ульдемир. Этих людей, пусть они сейчас и не любят нас, да и вряд ли полюбят после этого. Я теперь знаю, в чем дело, я говорил с Хранителем и могу сказать уверенно: если этому человечеству и грозит что-то, то только мы. Мы — вот единственный источник угрозы. Наш корабль на орбите. Наша установка на нем. Наш приказ — твой приказ, Ульдемир, — который вступит в силу вот уже через несколько минут. Вот если мы сейчас не сможем предотвратить этого — тогда я действительно пожалею о том, что не остался лежать в обломках моего самолета. Слушай, капитан. Ты ведешь этих людей на столицу. Это больше не нужно. Мне объяснили почему, и я обещал остановить вас. Я не хотел, чтобы это получилось так. Но сейчас скажи им: пусть возвращаются в лес.

— В лес, где под землей лежит убитый город...

— Скажи: им все объснят. Скажи: никому не нужно, чтобы умирали и другие города. Ты знаешь, капитан: я говорю только то, что знаю. Сделай то, что я говорю.

Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. Потом Ульдемир протянул руку, и Уве-Йорген пожал ее.

Капитан повернулся к окружавшей их толпе.

— Друзья! — сказал он громко. — Хранители прислали сюда моих товарищей, чтобы мы выслушали их, потому что Хранителям вы сейчас могли бы и не поверить; они просят вас вернуться в лес, чтобы они сами могли прийти к вам и объяснить, почему до сих пор не позволяют вам жить так, как вы хотите, и рассказать, что и почему постигло тот город, что лежит в лесу в развалинах. Это ваш мир, друзья, и вы сами будете решать, что, как и когда делать. Но не надо сейчас идти в город, потому что...

Он опустил голову, поглядел на недвижное тело Никодима.

— ...потому что уже пролита кровь — и пусть она будет последней! От нас с вами зависит: пусть она будет последней!

Он умолк и стоял, переводя взгляд с одного человека на другого. Но люди больше не смотрели на него. Они смотрели на тело Монаха. Смотрели и медленно отступали. Медленно и неудержимо.

Стоявшая на коленях возле Никодима Анна встала.

— Прощай, Ульдемир, — сказала она.

— Анна! — сказал он. — Нуш! Ты...

— Я — с ними. Там моя жизнь.

— Ты... навсегда?

Она странно улыбнулась.

— Не знаю, Ульдемир. Может быть, потом... когда-нибудь... Но сейчас не пытайся удержать меня. Прощай, Ульдемир.

Она уходила. Капитан сделал шаг к ней. Уве-Йорген положил руку на его плечо.

— Приказ, капитан. Твой приказ. И катер готов.

— Летим!

— Если позволишь, мы пока останемся здесь. Проследим, чтобы все кончилось мирно. И похороним Никодима. Он был хороший парень. Мне жаль.

Капитан колебался лишь секунду. Он смотрел вслед уходящим людям, почти уже невидимым из-за пыли. Потом побежал туда, где стоял катер.

Оставшиеся на земле проводили глазами взвившуюся машину. На дороге валялось немало брошенных уходившими предметов; среди них отыскались две лопаты. Трое подняли тело Никодима, отнесли в сторону от дороги и принялись рыть могилу.

— Гроба нет, — сказал Уве-Йорген. — Что же, это война. Очень маленькая война, но очень большая беда. Как ты думаешь, Георгий?

Спартиот молчал, стиснув челюсти. Потом проговорил:

— Мне больше нельзя жить среди людей.

— Это война, — повторил Рыцарь, — и бывает, что попадают в своих. Но пусть этого больше никогда не будет.

— Мне нельзя больше жить среди людей, — повторил Георгий.

— Тьфу! — сплюнул Уве-Йорген. — Ничего себе солдаты были в ваше время... Ладно, старший здесь — я, так что слушай мою команду. Вслед за отступающими — шагом марш. Ульдемир пришел из леса, значит, его катер где-то там. Девушка знает, где. Маленький, но втроем мы как-нибудь разместимся. Приходит время сказать этой гостеприимной планете последнее «прости».

— Ты думаешь, — сказал Питек, — капитан догонит, если Рука уже начал атаку? Время ведь истекло.

— Капитан хорошо летает, — сказал Рыцарь, — в пространстве — не хуже нас. На малых высотах у него, конечно, не то, но в данном случае это не имеет значения.

— А если не догонит? — спросил Питек, в упор глядя на Рыцаря.

Уве-Йорген понял.

— А если не догонит, — сказал он, — мы вернемся сюда. И что бы ни ожидало этих людей, то же самое будет ожидать и нас. Согласны? Тогда шагом — марш!

* * *

Аверов вошел в пост управления. Он выглядел слегка встревоженным.

— В чем дело, Рука?

Гибкая Рука поднял на него глаза.

— Срок истекает, — сказал он, кивнув в сторону главного хронометра. — Займите свое место по стартовому расписанию и готовьтесь работать с установкой.

— Погодите, инженер. Я понимаю, что вестей нет, но думаю...

— Думать больше не надо, — сказал Рука. — Надо делать.

Аверов сказал умоляюще:

— Только не торопитесь, ради всего святого! Все ведь может оказаться ненужным. И приведет к гибели стольких людей...

— Разве люди бессмертны? — спросил Рука.

Аверов с досадой махнул рукой.

— Нет, конечно. И все же...

— Разве каждый из них не должен умереть?

— Ты смеешься надо мной, Рука? Что за глупые вопросы!

— Постой. Что же волнует тебя? То, что так они умерли бы в разное время, а теперь умрут все вместе? Это?

— Ну как ты не понимаешь! Одно дело, когда умирает кто-то, но в живых всегда остается больше. И совсем другое — когда умрут сразу все...

— Но ведь рано или поздно все умерли бы!

— О, ты совсем не понимаешь меня...

— Да, не понимаю, доктор. Ты говорил, что мой народ умер, и народ Георгия, и капитана. И еще один народ умрет. Что же в этом нового? Зато твой народ останется. Ты должен радоваться, доктор.

— Рука... Что же ты намерен делать?

— То, что должен. Выполнить приказ. Сейчас я уведу корабль с орбиты. Будем удаляться от звезды. Потом уравновесимся. Я поверну корабль. И мы пойдем в атаку. Ты включишь установку, или же это сделает компьютер. Звезда начнет гаснуть. И Земля будет спасена.

Аверов подумал. Сжал губы.

— Хорошо. Наверное, ты прав. Время действовать. Но после окончания воздействия мы вернемся сюда, чтобы забрать наших с планеты. А может быть, и не только наших. Непременно. Иначе... иначе я сейчас же выведу установку из строя. Сожгу эмиттер!

— Да, — согласился Рука. — Мы вернемся.

Он помнил, что, выполняя порученное, корабль может погибнуть и сам. Пусть: жить все равно будет больше незачем.

* * *

Включив минимальную тягу, Рука увел корабль с орбиты, чтобы набрать необходимую для разгона дистанцию. Автоматы вели машину. Гибкая Рука курил. Он медленно, с удовольствием выпускал дым, тянувшийся полосой, как Млечный Путь.

* * *

Катер взвился так стремительно, словно он и сам понимал, как нужно нам спешить, и почему нужно.

Сейчас нельзя было смотреть на хронометр. Надо было сохранять спокойствие. Иначе можно было в два счета испугаться, и уж тогда стрелка наверняка обогнала бы меня, а мне нужно было, чтобы получилось наоборот.

Есть хорошее средство против мыслей о будущем. Это — воспоминания. И пока перегрузки втискивали меня в кресло и все более редкий воздух свистел за бортом, я думал о прошлом и поворачивал его и так и этак. Всякое прошлое. И давнее, и совсем свежее. И лучшее, что было в нем, и худшее. Вероятно, я не был уверен, что у меня еще когда-нибудь появится возможность вспоминать.

И я думал, используя последние минуты перед выходом на нужный курс.

Анна ушла, и я понимал, что не уйти она не могла. Наверное, то, что совершилось сколько-то столетий назад совсем в иной точке пространства, должно было повториться — и повторилось сейчас и здесь.

Я вспоминал и понимал, что в памяти моей обе они, Нуш и Анна, стали уже путаться. Они срослись вместе, и иногда трудно было сказать, что же происходило в той жизни, а что — в этой.

Когда она сказала мне: «Я всегда чувствовала себя королевой»? А я еще ответил: «Хочу ворваться в ваше королевство завоевателем...»

Кажется, тогда: с ней мы долго были на «вы», а с Анной сразу стали на «ты», по обычаям этой планеты.

А когда она сказала: «Все будет, будет — только не сегодня»?

Это, пожалуй, уже теперь. Точно. Теперь.

А что толку? Что толку в том — когда именно?

Все равно это ничем не закончилось. И не могло.

И не надо, думал я довольно-таки тоскливо. С такой тоской думает, наверное, какая-нибудь черная собачка — черный пудель, скажем, — в черную ночь, когда песик не видит даже кончика своего хвоста с такой приятной кисточкой; с черной собачьей тоской, одним словом.

Так я думал, пока еще оставалось время. Но вот его больше не стало: пришла пора выходить на связь.

Я включил рацию и стал вызывать корабль.

Никто не отвечал.

Я снова послал вызов.

И опять никто не ответил, и я уже знал, что не ответят, потому что сделать это теперь было некому. Рука сидит за ходовым пультом, Аверов же, где бы он ни был, уж во всяком случае не дежурит на связи. Нет, мне не удастся окликнуть их

на расстоянии. Только догнать. Догнать, схватить за плечо и сказать: «Стоп, ребята!»

Прошло еще десять минут — и катер наконец вышел на орбиту корабля. Именно в ту ее точку, где должен был сейчас находиться корабль. Но его там больше не было.

Я даже не стал смотреть на хронометр: стрелка выиграла у меня дистанцию.

Но я подумал, что корабль ушел недалеко. На малых дистанциях у меня была фора: корабль разгонялся куда медленнее катера, особенно если учесть, что за пультом сидел не пилот, и, значит, машину ведут автоматы, не нарушающие инструкций. Однако, если я и сейчас упущу время, помочь будет больше нечем. Катер был чистым спринтером, и на долгое преследование на максимальной тяге у него просто не хватило бы энергии.

Терять мне было нечего. Нужно было рисковать.

И я страшно разозлился на все на свете. На Анну, на себя, на проклятую звезду с ее планетой, на Шувалова, который не смог толком поговорить с Хранителями, на Руку, который не мог обождать еще хотя бы полчасика...

Можно было включить локатор: я примерно представлял путь корабля и знал, что сейчас планета уже не будет затенять его. И в самом деле, я поймал его почти сразу. Он оказался дальше, чем я надеялся. Жать следовало вовсю. И можно было успеть, а можно было и не успеть, никто не дал бы гарантии.

И я еще больше разозлился на всех — кроме детей.

Кроме тех, кто остался там, в лесном поселении. Кто с таким страстным интересом лазил по моему катеру, и залезал в него, и хватался за разные принадлежности, и жужжал, и просил меня покатать их. Хотя, помнится, нет, покатать не просили. Но мне все равно очень хотелось покатать их. Или хоть просто увидеть. Глядеть на них и знать, что будущему их ничто не грозит: они будут жить, а уж как — об этом они подумают сами.

Я мог сейчас не долететь до корабля, мог рассыпаться на куски на ходу. Но не мог не драться до последнего за детей. За всех детей — и этой планеты, и Земли, и за всех, сколько бы их ни было во Вселенной.

И я сказал катеру:

— А ну-ка давай, нажмем, Миша...

Так я называл его, когда мы были наедине.

И мы с ним дали.

Планета осталась далеко внизу. Она уменьшалась стремительно, и уж, конечно, ни при каком увеличении на ней не различить было ни ребятишек, ни Анну, которая меня не любила, но не делалась от этого хуже и еще должна была найти в жизни свое, настоящее — а для этого ей надо было

жить; нельзя было различить и людей Уровня, и людей из Леса, и Хранителей, и моих товарищей, которые, как и я сам, наверное, не были виноваты в том, что родились тогда, когда родились, и думали так, как их учили, а не иначе. Не было видно никого, но я знал, что все они там.

Планета осталась справа внизу, корабль успел уйти далеко вперед, и я даже не знал, настигаю ли его, или так и буду догонять, пока не кончится топливо. Планета глядела на меня уже другим полушарием, и все люди, что находились на ней, если и смотрели сейчас вверх, то видели другую часть Галактики — ту, где меня не было. Но мне казалось, что они смотрят именно на меня, и машут, и желают мне успеха.

Я выжимал из техники все, что можно и чего нельзя было, машина работала на расплав, катер дрожал от перенапряжения, и я дрожал тоже, и знал, что если мы не спасем этих людей, всех, сколько бы их ни было, сто тысяч, миллион или десять миллионов, — если мы не спасем их, то это будет моя вина, потому что, значит, я не сделал всего, что можно и нужно было сделать.

И я никогда не услышу больше приглушенный голос, говорящий:

— Знаешь, я, кажется... счастлива.

И звонкие голоса детей.

Но на такой конец я не был согласен.

Все было на пределе. Миша предостерегающе гудел, как будто укорял меня в неосторожности и жестоком к нему, катеру, отношении. И я сказал ему:

— Нет, я не сторож брату моему. Но я ему защитник. И брату моему, и сыну моему, и моей любви. Потому что иначе я недостоин ни брата, ни сына, ни любви. Так что не будем жалеть себя: в тот миг, когда мы пожалеем себя, мы лишимся права на уважение. А я не хочу этого...

А больше я не сказал ничего, потому что далеко-далеко по курсу мы с ним увидели огни корабля, и нам показалось, что жизнь еще впереди.





РОМАН

Тогда придите, и РАССУДИМ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

...потом створки съехались со звуком, с каким прозрачная волна набегает на белый раскаленный песок пляжа, когда солнце поет и нет сил шевельнуться, даже открыть глаза, когда сам ты стал и солнцем, и песком, и морем, и вселенной, истекающей бездумным счастьем бытия. Холодный служебный свет, отсеченный дверью, остался в коридоре, куда только что вышла женщина, держа в руке что-то мерцающее и невесомое, как лучи звезд, — то, в чем она сколько-то времени назад вошла сюда, ко мне, неожиданная, словно принесенная на руках моего желания и тоски. Тоски по ней? Не знаю; сейчас я могу уверенно сказать — да! Но еще за мгновение до того мне представлялось другое лицо и другие линии; теперь они не то чтобы исчезли, но как-то совместились с новыми, растворились в них, а имя, столько раз произносившееся мною в моем двойном одиночестве, временно-пространственном — имя это оказалось и в том, и в другом измерении так же далеко, как и сама планета звезды Даль.

Женщина ушла, но осталась здесь, и перед моими закрытыми глазами все еще стоял ее силуэт в прямоугольнике раздвинутых створок, а телом еще ощущалось ее тепло, а обонянием — запах, светлый запах весеннего рассвета, а слухом — невесомое ее дыхание и какие-то слова, те, что не оседают в словарях, но, словно молнии, рождаются и гаснут, блеснув единожды и ослепительно, слова, не выражающие мыслей, — мысль есть лишь отражение жизни, — но сами бывшие жизнью, естественные, как шелест лесов и плеск воды; а зрением все еще воспринимался тяжелый блеск в ее глазах, казавшийся отсветом древних костров, у которых сидели трое: Она, Он и Любовь. Хотя на самом деле то был, наверное, отблеск шкал репитеров на переборке моей каюты, но в те мгновения я не стал бы глядеть на них, даже покажи они конец света... Она ушла, но все мои чувства крепко держали ее, все до единого, потому что любое из них непременно для счастья. И память тела, и другая память тоже, со странной точностью вновь повторявшая кадр за кадром: как раскатились неожиданно створки, хотя я был здесь, а створки отзывались

только на мой шифр; как вошла Она. Именно так воспринял я ее в тот миг: Она — хотя мне были прекрасно известны ее имя и должность и место по любому из корабельных расписаний, точно так же, как мне известно (и должно быть известно) все о каждом, кто только есть на борту. Не могу сказать, что я встал навстречу ей; меня подняло и толкнуло, и опустило на колени, и заставило поцеловать край того, мерцающего, что было надето на ней. Не было удивления: удивляются мелочам, перед стихией преклоняются безмолвно; и не было ни одного разумного слова, как не бывает их в оркестре, когда исполняется великая музыка... Память показывала и дальше; можно, вероятно, найти слова, какими все это опишется точно — но неверно. Человек может выражать одними и теми же словами проклятие и молитву — здесь была молитва.

Минуло время, и она ушла, вот только что, все так же безмолвно, но между нами не осталось неясного. Я лежал опустошенный, но не пустой, потому что из меня словно выскребли все низкое, унылое и дрянное, что только во мне было, и вместо этого наполнили меня чем-то, с чем можно жить тысячи лет, не унывая. И мне стало казаться вдруг, что все на свете просто (и наша экспедиция в том числе), что мы благополучно долетим, Архимеды наши и Михайлы Васильевичи, и прочие быстрые разумом Невтоны совершат все, что им полагается, выяснят при помощи своей белой, черной и пестрой в крапинку магии то, что следует, а затем чему положено гореть — зажжется, а чему потухнуть — погаснет, и мы отчалим в обратный путь, таща за собой длинный хвост впечатлений. А когда вернемся на Землю, планета перестанет казаться мне чужой, потому что там, где двое вместе, возникает и все прочее, что нужно в жизни. А на финише...

Я дремал, наверное, или грезил; зуммер вызова проник в сознание не сразу. В другое время я мысленно (и даже не только) проклял бы — кто там сейчас стоит вахту? Да, Уве-Йорген, доблестный рыцарь истребительной авиации; значит, я проклял бы Уве-Йоргена и всю его вахту, и весь личный состав, включая ученых и астрооператоров, и весь рейс, и всю Землю, а также и доступную и недоступную нам вселенную, все, что есть, и все, чего нет: не люблю, когда меня будят. Но на этот раз я был полон доброты, и мне захотелось излить ее на кого-нибудь еще, пусть и на Рыцаря. Так что, дотянувшись до кнопки, я произнес по возможности миролюбиво:

— Капитан Ульдемир.

— Капитан, — голос Уве-Йоргена прозвучал отвлеченно-бесстрастно, как и всегда на службе. — С приятным пробуждением, капитан. Доброе утро.

— Что у вас там?

Досада, вероятно, все же оставила след в моем голосе, судя по чуть удивленному:

— Вы приказали поднять вас, капитан, когда приблизимся к точке выхода.

Как, уже? А я рассчитывал, что вся ночь впереди. Кануло куда-то время... И тотчас же другая мысль: бедная, каково ей сейчас, не выспавшись — за пульт...

— У меня все, капитан, — молвил Уве-Йорген, устав, как видно, дожидаться ответа.

— Сейчас буду. Работайте по расписанию. Все.

И я собрался было пожаловаться самому себе, что вот опять приходится подниматься ни свет ни заря, в моем-то серьезном возрасте, — но тут же вспомнил, что отныне, с этой ночи, я молод, моложе молодых. И вскочил быстро, словно каждая пружинка во мне была снова заведена до отказа.

Где-то, где-то (впрочем, расстояния — фикция в этом мире, и нет ничего, что было бы слишком далеко от нас) серебряные птицы вспорхнули и летучие рыбы ринулись в полет, стройные, на антигравтяге, с головками автоматического наведения на свет, на тепло, звук и запах — на всякое дыхание жизни. Там, куда они устремлялись, мгновенно грянули беззвучные вихри в тесных недрах стратегических машин, двойные и тройные параллельные цепи не подвели, все было вмиг подсчитано, взвешено и решено — и серебряные рыбы поднялись навстречу, и взвились клекочущие птицы, антигравы автоматического наведения. Мгновенным был диалог не ошибающихся неживых умов; и птицы клевали рыб, а рыбы в клочья разрывали птиц с той и с другой стороны, и одна часть сгорела и рассыпалась и упала, а другая часть прорвалась в ту и иную стороны. И у птиц раскрылись люки, а боеголовки летучих рыб разделились, как разлетается в стороны осиный рой. Эти сделали свое дело сразу, но и те, что упали не долетев, тоже совершили свое, только секундами позже. Потому что антизаряд бомбы ли, головки ли может лишь считанные секунды существовать в отключении от мощных стационарных энергетических установок, питающих магнитное поле, свернутое коконом и предохраняющее несколько килограммов антиметалла — в два хороших кулака величиной — от соприкосновения с корпусом бомбы или головки, сделанным из обычного сплава. Ровно столько времени, сколько нужно, чтобы долететь до цели, магнитный кокон продолжает жить, питаясь от аккумулятора, а затем — аннигиляция, взрыв. Каждый такой заряд стоил, сколько стоит построить город, и энергии потреблял, сколько ее потребляет город с его заводами, подземками, рекламами, утюгами и ночниками.

Безопасность требует жертв — но, видно, уже не под силу стало истекать соками, питая безопасность, и — где-то, где-то! — люди — а скорее даже созданные ими особо доверенные машины — решили, что риск — дешевле, иначе — тупик, потому что можно зарядить АВ-бомбу, а разрядить уже нельзя, ее можно лишь взорвать, но вывести заряды в космос и взорвать на безопасном расстоянии от планеты тоже нельзя, ибо путь каждого заряда строго рассчитан, и расстояние, какое он может пройти, слишком мало, чтобы взрывы не отразились на всем, что существует на планете. Не додумались разоружиться, пока речь еще шла об идиллических термоядерных зарядах, которые разрядить было — раз плюнуть, а теперь это стало все равно, что выстрелить самому себе в висок — так лучше уж в противника! И белые пламена вспыхнули, как если бы множество Вселенных вновь рождалось из темного, вневременного и внепостижимого протовещества. Нет, они вспыхнули ярче, чем множество Вселенных. Ничто не могло уцелеть, и не уцелело. Так это было на планете Шакум, обращавшейся вокруг солнца, что воспринимается на Земле лишь как слабенькая радиозвездочка в созвездии Паруса.

Но нет ничего в этом мире, что было бы далеко от нас.

И вот разговор, что произошел одновременно — при всей относительности этого понятия — совсем в другом пространстве, но не весьма далеко от гибнувшей планеты, откуда она была видна как бы вся сразу, как плоский лист, а видно было также и многое другое.

— Фермер! — сказал Мастер, невесело, как всегда, усмехаясь. — Вот и опять. Неужели все зря, и мы с тобой бессильны?

Фермер чуть повернул лик, сосредоточенный и грустный, на котором плясали белые блики.

— Мы снова что-то упустили.

Мастер встал рядом с Фермером и стал смотреть туда же, и на его лице тоже заиграли белые блики, словно от рождавшихся миров — но этот мир не рождался, он гибнул на глазах. Они молчали, пока не угасла последняя запоздалая вспышка, которой могло и не быть, ибо все свершилось уже: уничтожение было гарантировано надежно. Лишь тогда Мастер заговорил вновь:

— Мне все же не верилось. Хотя в глубине души я, наверное, ждал этого. Я не смог помешать.

— Ты не посылал туда эмиссаров?

— Четырежды, в разное время. Все четверо либо жестоко убиты, либо умерли в заточении. Я здесь сжимал кулаки, но ничего не мог поделать. Очень жаль, что, посылая эмиссара,

мы не вправе помочь ему ничем, кроме советов. Но иначе его раскрыли бы там сразу. А никто не любит вмешательства со стороны. Перемены должны приходить изнутри — или как бы изнутри...

— Может быть, не надо было посылать их поодиночке? Те же четверо, если бы послать их разом...

— Как будто я не знаю этого, Фермер! Но где мне взять столько эмиссаров? А с группой еще сложнее: она не может быть случайной кучкой малознакомых людей. Наши требования высоки.

— Для такой нужды я мог бы отпустить даже кого-нибудь с моей Фермы.

— Разве у них мало работы? Или вокруг недостаточно миров, требующих наших усилий? Где-то наших людей всегда недостает. И в результате — вот...

— Может быть, этот мир и не стоил таких сокрушений. Слишком глубоко распространилась там зараза. А у меня есть правило: больное дерево должно сгореть, — сурово отозвался Фермер, но в голове его слышалась усталость, какая возникает не от трудов, но от неудач. — Сорную траву выжигают, и больной сук тоже отсекают и предают пламени. Так. Но мне жаль. И того, что случилось, и того, что еще может произойти где-нибудь в другом месте. Еще не весь сорный лес выгорел. Ходят слухи о твоей доброте, Фермер, — с той же едва заметной усмешкой проговорил Мастер.

— Доброта и добро — не всегда одно и то же, — возразил Фермер. — Но мне жаль, повторяю. Ведь там прорастало и доброе, однако не успело. Слишком много было тени, а росткам добра нужен свет. И Тепло.

Снова они помолчали.

— Какая вспышка Холода! — нарушил тишину Мастер. — Будут серьезные последствия: изменения начались сразу же. Перезаконие.

— Фундаментальное?

— Вглядись, и ты увидишь.

Фермер вгляделся в то, что было перед ними.

— Волна не кажется мне очень мощной. И скорость распространения умеренная.

— Но это незатухающая волна. Не локальная вспышка Перезакония: идет перестройка структуры пространства. Чтобы погасить волну, нужна мощная вспышка Тепла.

— Жаль, что его нельзя доставить извне. А здесь у тебя нет нужных источников?

— Одиночных сколько угодно, — сказал Мастер, — но они не помогут: слишком силен Холод. Нужен, самое малое, планетарный источник. Лучше, если их будет два. А если один, то превышающий мощностью источник Холода. Источник,

который высвободит Тепло разом, подобно взрыву — так же, как это произошло только что с холодом. Но ведь тут погибла целая планета, что же сможем противопоставить мы? Чтобы целая планета воскресла, разве что. Кроме того, нужный нам источник должен находиться недалеко, в том же пространстве, и ввести его в действие следует быстро. Планеты твоей Фермы излучают Тепло непрестанным потоком, но не дают мгновенных мощных импульсов. Однако, если мы не остановим волну, Перезаконие распространится слишком широко, и тем тяжелее окажутся последствия.

— Если бы они знали, — сумрачно проговорил Фермер, — что, убивая друг друга, они не просто преступают свою же мораль, но и влияют на развитие Вселенной... Но на этой стадии они еще не мыслят категориями Вселенной — чересчур много мелочей отвлекают их. И подсказать им трудно, а значит — надо найти возможность повлиять на их чувства помимо рассудка.

— На несчастной планете каждый успел понять, что всему конец. И ужас оказался безмерным и породил столь мощный всплеск Холода.

— Что могут понять люди на другой планете, — вслух задумался Фермер, — так же внезапно и одновременно, чтобы сразу возникло преобладающее количество Тепла? Ты можешь представить?

— Обожди, Фермер. Постой. По-моему, в качестве источника можно использовать Семнадцатую.

— Там холодно, Мастер.

— Именно потому. Если источник Холода, что сковывает каждого жителя планеты, независимо от того, ощущает человек эту скованность или нет, — если этот источник внезапно и явно для всех исчезнет, вспышка Счастья будет чрезвычайно мощной.

— Ты думаешь, этот источник можно так просто устранить? Мне кажется, плод еще зелен.

— Я тоже так думал, Фермер. Но теперь, когда возникло Перезаконие, обстановка меняется. Природа словно хочет помочь нам. Смотри. Вот они. Вот волна. Ее структура, как видишь, достаточно сложна. Волна многослойна. Она будет наплывать на планеты постепенно. Волна регрессивна. Перезаконие ведет к упрощению вещества. И первыми начнут исчезать атомы наиболее сложных элементов. Исчезать не потихоньку, как ты понимаешь. И люди успеют заметить это. Встревожиться. Начнут искать выход. И тут-то и понадобится некто, кто не только укажет, где лежит этот выход, но и подскажет, как им воспользоваться. Процесс поисков выхода может начаться на одной планете, но должен перебросится и

на другую, охватить обе населенные планеты, связанные давней враждой.

— Связанные враждой... Твоя извечная любовь к парадоксам, знаю. И для осуществления плана тебе нужен эмиссар.

— Лучше два. А если бы группа — это было бы чудесно.

— Сами они не смогут повернуть события?

— Те люди? Нет. Те, кто мог, давно вымерли или обессилели, потеряв надежду. Ожидать, что там возникнут новые? Но их образ жизни не способствует этому. Там все как будто бы благополучно. И внешне выглядит, словно все довольны. Когда возникает угроза, неожиданная, страшная, всеобщая — может родиться лишь паника. Тут-то и нужен эмиссар. Пусть это будет даже слепой эмиссар: сейчас нам рука нужнее мозга. Человек или группа людей, которые окажутся в полном моем распоряжении. Люди, обреченные на... Ну неужели в окрестной вселенной именно сейчас не возникнет ни одной нужной мне ситуации?

После этих слов Мастера наступили безмолвие и неподвижность, исполненные, однако, неощутимых процессов.

— Вглядись, Фермер, — сказал после паузы Мастер. — Я сейчас стягиваю на себя вероятные ситуации. Взгляни в четвертое пространство.

— Только что там ничего не было.

— Нет, они уже были там. Чей-то кораблик, утлый, примитивный челнок, на котором кто-то отважился пуститься в океан, еще не изведав ужаса бурь. Видишь — они поднимаются из глубины. Хотят выйти в третье пространство.

— Вижу. Там люди. Кто-нибудь из твоих?

— Разве мои станут пользоваться такими кораблями?

— Значит, просто люди из цивилизации ниже среднего уровня. И ты думаешь, они смогут сразу тебе пригодиться? Я не знал за тобой торопливости, Мастер. Сколько времени ты обычно готовишь эмиссара?

— Сейчас крайняя ситуация. В любом случае придется слать неподготовленного. И для этого, я думаю, ничего лучшего нам не найти. Потому что люди, пускающиеся в такой скорлупе из пространства в пространство, должны чего-то стоить! Ну хоть один, хоть двое из них...

— Пусть так. Но уверен ли ты, что они окажутся в твоем распоряжении?

— Стоит им возникнуть в третьем пространстве, как Перезаконие захлестнет их. Вспышка — и все. Не может быть, чтобы на их корабле не использовались сверхтяжелые металлы.

Фермер покачал головой.

— Спасать одну дичающую цивилизацию при помощи другой, еще полудикой... Воистину, ты мастер — мастер парадоксов.

— Полудикая цивилизация — так ли это плохо? Эти люди не стесняются в чувствах. Посмотри, посмотри на них, Фермер: каков заряд тепла!

— Обычное следствие облегчения: оказавшись вновь в своем естественном пространстве, люди радуются.

— Нет, Фермер, на сей раз ты неправ. Тепла куда больше, да и оттенок его иной. Позволь мне вслушаться... — Он не разрешения спрашивал, они были равноправны и независимы друг от друга: Фермер этой группы цивилизаций одного уровня и Мастер — эмиссар цивилизации высшей, наблюдатель и соратник. И вовсе они не враждовали, как думают порой те, кто что-то слышал о них, — просто мир они видят каждый по-своему, и это закономерно и естественно. Мастеру не нужно было разрешение, но такова была форма вежливости. Он вслушался в то, чего не услышал бы ни один человек, стой он рядом. Фермер последовал его примеру, и вскоре оба они переглянулись радостно и тревожно:

— Там твой человек, Мастер! Откуда? Ты ведь говорил...

— Да, мой. Прекрасно! Это удача. Великолепный человек, я послал его временным наблюдателем по группе маленьких островных цивилизаций низшего и ниже среднего уровня. И вот он возвращается. Постой...

— Теперь совсем хорошо видно, — сказал Фермер.

— Знаешь, я, пожалуй, ошибся: им сейчас не грозит ничто. Но это не так уж важно: своего человека я смогу использовать в любом случае. Попрошу, и мне не откажут.

— Им больше не грозит взрыв?

— Посмотри, каким облаком Тепла окружены они! Тепло нейтрализует действие холодной волны вокруг их корабля. И они спокойно пролетят. Пусть летят с миром. Я сейчас вызову моего эмиссара, дальше им придется обойтись без него.

Мастер сосредоточился. Потом улыбка его погасла.

— Ты обеспокоен? — спросил Фермер.

— Оказывается, это не так просто. Там два источника Тепла. Два человека. И один из них — мой эмиссар. Забрать его сейчас — значит, погасить Тепло и обречь их...

— Понимаю, Мастер. Но зато, если послать их вдвоем...

— Ты прав, Фермер, ты прав...

— Трогательно, — сказал Фермер, улыбаясь. — И прекрасно. Порадуемся за них, Мастер, и за весь мир, как полагается в таких случаях. Это хороший обычай. Но почему ты загрустил?

— Это — иное, Фермер. Только мое. Разве мы с тобой — не люди и не имеем права...

— Не надо более, Мастер, — я понял. Что делать? Но может быть, в таком случае не надо посылать...

— Разве ты, Фермер, не посылаешь в опасность тех, кого любишь? Но довольно об этом. Что же мне делать с ними?

Пока они оба там, корабль неуязвим, и я не могу распоряжаться этими людьми. Стоит мне отозвать эмиссара, как они взорвутся. Тогда со всеми остальными будет много возни...

— Я помогу тебе, Мастер. Как-нибудь справимся.

— Благодарю тебя. Будем наготове. Это произойдет сейчас.

Выход прошел нормально. Капитан Ульдемир, откинувшись на спинку кресла и смахнув ладонью пот со лба (все же никак нельзя было приучить себя не волноваться в узловые моменты рейса, как капитан ни старался), проговорил в микрофон обычные слова благодарности экипажу — за то, что каждый на своем месте выполнил свой долг. Слова были обычными, а вот интонация — не очень: чувство переполняло Ульдемира, и часть его невольно перелилась в речь, так что каждый на корабле почувствовал это — а капитану хотелось лишь, чтобы его чувство ощутила Астролида (странные имена давали людям в новую эпоху; Ульдемиру они казались чересчур красивыми, но сейчас ничто не было бы для него чересчур красивым), — почувствовала и поняла, как он благодарен ей и полон ею, и только что даже не свой долг выполнял за пультом, но служил ей, и поэтому все прошло так хорошо, без обычных и почти неизбежных маленьких заминок, несовпадений, случающихся у машины, а у людей и подавно.

В соседнем кресле Уве-Йорген ухмыльнулся. Он явно припрятал камешек за пазухой.

— Короткую память раньше называли девичьей, капитан, — сказал он, не отворачивая горбоносого лица. — Не следует ли нам отныне именовать ее капитанской?

Ульдемир с минуту раздумывал. Но обижаться не хотелось. Со стороны все кажется другим. Короткая память? Ерунда. Если человек годами остается одиноким, то вовсе не потому, что у него хорошая память и он не в силах забыть кого-то. «Тут не память, милый мой Рыцарь, — подумал он. — Тут судьба. А на судьбу, как и на начальство, не жалуются, даже когда есть повод. Я же могу только благодарить ее».

— Уве, — сказал он. — Насчет памяти мы подискутируем в свое время и в своем месте, хотя мысль твоя несомненно глубока и интересна. А сейчас — не пригласишь ли всех в салон?

— Вышли мы так гладко, что, право же, стоит отметить, — охотно согласился Уве-Йорген: солдаты падки на зрелища и угощения. — И глоток чего-нибудь нам не помешает.

— Приходи и ты, — сказал Ульдемир. — Пространство такое спокойное — хоть автоматы выключай.

Уве-Йорген шевельнул уголками губ, свидетельствуя, что шутку об автоматах понял именно как шутку.

— Есть присутствовать в салоне.

— Иди. Я чуть позже.

Ульдемир остался один. Зачем? Сейчас он ее увидит. Увидит впервые — так. Раньше, как члена экипажа, женщину с нынешней Земли, и поэтому отдаленную и непонятную, он видел ее много раз. Каждый день полета. Сейчас все стало иначе. И ему было немного страшно, потому что он знал — и не знал, как взглянет она на него, как отнесется ко всему, что случилось; может быть, для нее ничего особенного и не произошло и, возможно, стало даже хуже, чем было раньше; кто может понять женщину до конца, кроме другой женщины? Волнение охватило капитана, и захотелось немного побыть одному, чтобы собраться с духом.

Как это у нее получилось? Просто вошла. Перед тем не было ничего: ни слова, ни движения, ни взгляда. Ни вчера и никогда раньше. Да и сам он старался не очень смотреть на нее: капитан выше всех, в сложном уравнении экипажа он вынесен за скобки, и слабости — не его привилегия. И все же вчера вечером, готовясь ко сну в своей каюте, он вруг четко понял, что ждет ее, как если бы просил о свидании и получил согласие. И не успел он еще удивиться неожиданной определенности и уверенности своего желания, как створки двери разъехались — и вошла она...

На этом он оборвал воспоминания. Перед тем, как выйти из ходовой рубки, еще раз оглядел экраны, приборы. Все было в наилучшем порядке. Шесть главных реакторов ровно дышали. В космосе стоял магнитный, гравитационный, радиационный штиль. Прекрасно. И от этого благополучия то, что сейчас предстояло, показалось ему еще прекраснее.

Он вошел в салон, где уже собрались все. И с необычной для себя сентиментальностью капитан подумал вдруг, как дороги ему эти люди, все вместе и каждый в отдельности. И те, с кем он уже летал в первую экспедицию, к звезде Даль, и четверо ученых — все люди новые, но очень славные, — и Астролида, новый член экипажа, заменивший во второй экспедиции Иеромонаха, чьим останкам суждено было покоиться в тучной почве планеты Даль-2.

Кстати, перед отлетом оттуда экипаж решил перенести прах в другое место: не пристало их товарищу лежать у большой дороги. Однако останков они не нашли. Никто так и не понял, кому и зачем они понадобились. Друзья погрустили, поклонились пустой могиле и улетели.

Да, Астролида... Впервые увидев ее, Ульдемир почему-то вспомнил Анну, хотя ничего общего между двумя женщинами не было. Вспомнил так четко, как если бы она лишь секунду назад стояла перед его глазами. А ведь он даже не мог точно сказать, когда и где видел ее в последний раз. Кажется — когда

она убежала вместе со всеми в лес — после стрельбы на дороге... Во всяком случае, когда они покидали планету, Анны среди провожавших не было.

Наверное — повзрослела, и Ульдемир больше не был ей нужен. Ульдемир — это была романтика, пришелец извне, загадка, тайна. А потом ей стало нужно что-то проще и прочнее. Кто осудит?

Не Ульдемир.

Астролиду он встретил сдержанно. Он был против женщин в рейсе. То было не суеверие, хотя и без него, наверное, не обошлось: капитан как-никак родился в двадцатом веке, когда — где знание, а где — суеверие было еще не вполне ясно, и порою одно принимали за другое. Капитан был против женщин на борту из трезвого расчета. Мужики сами по себе — нормальный народ. Так думал Ульдемир. Но стоит появиться женщине — и инстинкты начинают подавлять рассудок. Так люди устроены. Природа.

Но Астролида была еще и современной женщиной. А их Ульдемир все же побаивался. Тут был не двадцатый век и не планета Даль-2. Насколько он мог судить по временам своего пребывания на нынешней Земле, современная женщина, скажем, могла появиться перед вами почти или даже совсем обнаженной. Ничего не скажешь, это было красиво: себя они держали в порядке. Но не дай бог сделать из этого какой-то далеко идущий вывод — если, допустим, вы пришли в гости и хозяйка приняла вас таким образом; в Ульдемировы времена такие выводы не заставили бы себя ждать. А тут невежа вмиг бы оказался на полу, и никто даже не помог бы ему подняться. Женщины просто стали богинями, а богиням неведомы ни страх, ни стеснение, богиня и нагая остается богиней. И в то же время от словечка, казавшегося капитану по нормам его времени ну совершенно невинным, такие и в книгах печатали (в газетах, правда, избегали), женщина могла прийти в неистовство или поссориться очень надолго. Однако корабль есть корабль, рейс есть рейс, и — полагал капитан Ульдемир — слова в рейсе порой вылетают не совсем те, что на приеме.

Вот почему он встретил Астролиду настороженно. Но постепенно привык. Никаких номеров она не выкидывала. На мужиков обращала не больше внимания, чем требовала дружеская вежливость. Питек, с его непосредственностью, разбежался было — и круто оказался завернут. А работала она хорошо, без скидок. Это Ульдемир понял с первых же тренировок. И покорился. Потом она даже стала ему нравиться. Не более того. И то — издали. Может быть, потому что не его тип красоты представляла она, хотя красивой была несомненно. И потому еще, конечно, что дистанцию, разделявшую их на корабле, ни он, ни она сокращать были не вправе.

Так он думал. И думал еще и тогда, когда вдруг в тот вечер понял, что без нее — не может. Это обрушилось на него словно из засады, так что он лишь зубами скрипнул — из злости на самого себя, на бессилие, на невозможность приказать себе самому: «Отставить!»

Потом случилось то, что случилось.

И теперь, войдя в салон и оглядев каждого по очереди, он, стараясь не спешить, добрался взглядом и до того места, где следовало быть ей.

Это было как обнаженный провод. Словно у него вдруг искры посыпались из глаз. Ее не было.

Ульдемир почувствовал, как охватил его ужас. Небывалое для него состояние.

Она не сочла нужным прийти. Не хотела видеть его. Избегала. То, что было, — ошибка. Причуда. Насмешка. Пустяк.

Мир почернел. В душе сделалось зябко. Холодно. Морозно. Вместо той радости, что наполняла ее только что, — мороз.

Всего на несколько мгновений. Но этого хватило...

Капитан забыл, что женщинам свойственно опаздывать. А уж богиням — тем более.

Но тут она вошла наконец. И он посмотрел на нее, чтобы сразу все понять.

Люди весело разговаривали. Уве разливал по бокалам пенящийся сок. А они смотрели друг на друга. Секунду. Вторую.

Потом взгляд ее словно ушел куда-то. То ли в сторону от капитана, то ли — сквозь него.

Лицо женщины странно напряглось.

Ульдемир оглянулся: нет, позади него никто не стоял, да и некому было — все на глазах. А ведь именно таким было ее выражение, словно кто-то подкрался к тебе сзади, размахнулся — ножом или камнем, — и она увидела это и хочет крикнуть и взмахнуть рукой — и не может: сковали оцепенение и страх.

Он нерешительно улыбнулся, не понимая, что же ему сейчас: то ли окликнуть ее, то ли обидеться?

Он не успел ни того, ни другого. Уве-Йорген раздавал бокалы, другие брали их со стола сами. Астролида вдруг снова увидела Ульдемира: он явственно ощутил прикосновение ее взгляда. И хотел было улыбнуться: уголки рта поползли в стороны.

— Ульдемир! — сказала она громко. Именно «Ульдемир», а не «капитан», — и все умолкли и повернули головы к ней: так напряженно и сильно прозвучал ее голос. — Не бойся! Все будет хорошо!

Ни удивиться, ни рассердиться, ни ответить больше не осталось времени. Потому что чем-то неопределимым в своем

существе капитан вдруг почувствовал, понял, постиг: плохо. Очень плохо. Ох, как же плохо, страшно, невыносимо, небывало...

Вообще стараются корабли зря не перетяжелять. Но обойтись без тяжелых металлов не удалось и на этой машине. Экраны главных, ходовых ее реакторов были из свинца. А малый, бытовой реактор работал по старинке, на обогащенном уране. Без лишних сложностей. Свинца вдруг не стало. И урана тоже. Как если бы их никогда не существовало в природе.

Но ничто не исчезает без следа. Каждый атом урана распался. И каждый атом свинца — тоже. На те, что полегче.

А при этом, как известно, выделяется энергия. И немалая.

Существовал только что корабль. В нем были люди. У людей — мысли, надежды, планы, ожидания, чувства. Любовь.

И вот — нет уже ничего. Вспыхнуло — и погасло. Словно светлячок мигнул, пролетая. Или искорка. И вроде бы даже ничто не изменилось в окружавшем их неуютном мире.

Только кварки разлетелись в разные стороны. Жили в одном атоме — и вот летят, один к галактике в Андромеде, другой к Магеллановым облакам. Но кварки родства не помнят.

Суета сует. И всяческая суета.

* * *

Впрочем, все это присказка.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Круглый, бесконечно уходящий туннель мерцал, переливался, светился радужно, радостно. И надо было идти, торопиться, потому что непонятное, но прекрасное, небывалое ожидало впереди, кто-то был там, родной до боли, до слезного колотья в глазах, и зовущие голоса, неопознаваемые, но уверенно родные, накладывались один на другой, перебивая, обнимая. «Иди, — манили, — иди, иди...»

И он шел, спеша настичь их, познать, слиться воедино, исчезнуть, раствориться в счастье. Не надо было больше прилагать никаких усилий для движения: его уже несло что-то, все быстрее, стремительнее, так что кружилась голова, в ушах звенело. Он лишь протягивал руки с безмолвной просьбой: не уходите, обождите, возьмите меня! И его, как бы услышав, утешали: возьмем, ты наш, возьмем, ты только торопись, не отставай...

Потом другие голоса стали вторгаться, перебивая эти, родные. Новые голоса были чужими, но тоже дружескими, не страшными; однако что-то не привлекало в них, что-то не хотело с ними согласиться. Два их было, два голоса, и они твердили — четко, доступно — одно и то же: «Вставай. Вставай. Соберись. Заставь себя. Вставай. Мы держим тебя. Мы с тобой. Вставай. Не бойся. Все будет хорошо. Вставай!»

Их не хотелось слушать, эти резкие голоса, не хотелось с ними соглашаться; они требовали усилия, напряжения, изменения, а к первым голосам его несло по мерцающему туннелю легко, без затраты сил, без отвлечения. И все же он невольно вслушивался, потому что где-то трепыхалось воспоминание, смутное представление о том, что всю жизнь он только и делал, что собирался с силами, напрягался и вставал, и было в этом что-то хорошее и нужное. И он невольно прислушивался к тем, другим голосам, настойчивым, неотвязным; и стоило ему вслушаться, как они начинали звучать сильнее, а те, первые, ласковые — ослабевали; и все сильнее становилась сначала смутная догадка, а потом и уверенность, что надо, необходимо что-то сделать самому, какое-то усилие — громадное, величайшее — и ответить другим голосам, и совершить то, чего они от него требовали, и оказаться рядом, не слиться, нет, а именно встать рядом, оставаясь самим собой. Кем-то он ведь был. Он не знал, не помнил сейчас — кем, и от этого становилось страшно; но кем-то он точно был, и теперь стало вдруг очень нужно вспомнить — кем же. А для этого имелся только один способ: сделать то, чего от него хотели. Встать.

Он уже хотел было, не очень хорошо, впрочем, соображая, как же и куда он встанет, если и так идет по туннелю, легко, невесомо идет... Вдруг что-то необычайное обрушилось на него, лишая свободы его движения, стискивая его, прижимая к чему-то. Пронзительная боль вспыхнула. Голоса гремели, усилившись необычайно: «Встань и иди!» Теперь налившая его тяжесть ясно показала, что он лежит, занимая определенное положение в пространстве. Лежит в туннеле? Но мерцавшие стены размывались, раздвигались, исчезали неразличимо, а другой свет возникал, бил сквозь закрытые, как оказалось, веки — сильный, белый, безжалостный, неровный, пятнистый какой-то, свет извне, свет мира. Когда-то уже было так. Когда рождался?.. И он, свет этот, хотя и по-своему, не голосом, диктовал, приказывал: «Встань. Встань. Иди».

Тогда он медленно, словно штангу поднимая всеми силами, открыл глаза.

То, что он увидел, было рядом, на расстоянии метров до двух; дальше все расплывалось, раскачивалось, перемежалось, словно разные краски были брошены в воду одновременно и медленно распространялись в ней, перемешиваясь. Тут, рядом, был человек — один человек; и какое-то ощущение недавнего, сиюминутного присутствия второго, но этого другого уже не было видно — он удалился, наверное, то ли совсем, то ли за пределы двухметрового, четко очерченного круга видимости. Тот человек, что находился здесь, стоял рядом и сверху вниз смотрел на лежащего, а тот на стоящего — снизу вверх; встретился глазами и снова закрыл свои, потому что смотреть вверх было утомительно. Закрыл лишь на миг, правда: что-то толкнуло изнутри и приказало: «Открой». Он послушно открыл. Стоявший по-прежнему глядел на него, чуть улыбаясь — не насмешливо, а доброжелательно и удовлетворенно, как смотрит мастер на завершенный свой труд. На этот раз лежащий, обходя встречный взгляд, прикоснулся глазами к чужому лицу — худому, четкому, немолодому, но полному сил и воли, так что определение «старый» тут никак не подошло бы. Слова быстро возвращались в память, и теперь лежавший знал, что такое «молодой», что — «старый», и многие другие слова и их значение.

— Сядь, — сказал стоявший сильный человек. — Ты можешь. Достанет сил. Не прислушивайся к сомнениям. Сядь. Ты забыл немного, как это делается. Но вспомни. Садись...

Забыл, и в самом деле. И неимоверная, припечатавшая его к ложу сила тоже мешала. Он хотел было попросить, чтобы тяжесть убрали. Но вдруг как-то сразу понял, что тяжесть эта — он сам, его тело, плоть и кровь, мускулы и кости. А как только лежавший понял, что это — тело, так сразу вспомнил и как действуют им, как садятся и даже, пожалуй, как встают. Он захотел сесть — и вдруг на самом деле приподнялся и сел и, уже непроизвольно, улыбнулся чуть виновато, словно смущаясь своей слабости.

— Хорошо, — сказал стоявший. — У тебя все хорошо. Кто ты?

— Я? — Вопрос немного удивил его, тут все было вроде бы ясно. — Я — это я.

— Ну, а ты — кто такой?

Да, правильно, был в этом вопросе некоторый смысл. Он ведь должен был кем-то быть, иначе все получалось слишком неопределенно.

— Вспомнил! Я — Ульдемир!

И сразу же все встало на свои места. Он рывком сбросил ноги на пол. Мир колыхнулся, но устоял. Ульдемир осмотрелся, нелегко, как чужую, поворачивая голову.

— Где я? Что было? И где... все?

Маленькая заминка произошла в сознании, когда возникал этот третий вопрос. Сначала получалось по-другому: где она? И лишь что-то непонятное заставило его сперва спросить обо всех.

Стоявший кивнул, как учитель, подтверждающий правильность ответа.

— Можешь звать меня Мастером.

Это было сейчас не так-то и важно для Ульдемира, и он только машинально кивнул.

— Что с нами случилось?

— Катастрофа.

Слово больно ужалило Ульдемира, вкус его был горько-соленым. Слово источало стыд и обиду. С ним не хотелось соглашаться.

— У нас все было в порядке!

— Вы ни в чем не виноваты.

— Пространство было чистым и спокойным!

— Да. То есть то в пространстве, что вы способны воспринимать.

Это могло показаться вызовом — или приглашением к вопросам. Но Ульдемир не стал отвлекаться.

— Корабль был совершенно исправен!

— Справедливо, Ульдемир.

— Что же произошло?

— То, что не зависело от вас. Так ли уж это важно? — Мастер подумал. — Некогда вы не знали о микробах. Воздух казался чистым. Но люди заболевали. И гибли...

— Как нас спасли? Ведь вблизи никого не было.

— Это оказалось нелегко. Однако вот ты сидишь и говоришь со мной.

— Я. А другие?

— С ними тоже благополучно.

— Все живы?

Мастер помолчал, словно раздумывая.

— Ты увидишь.

— Я спрашиваю: все?

— Я ведь не знаю, сколько вас было.

Да, конечно; откуда ему знать? Кстати, а кто он вообще такой, этот Мастер? Откуда взялся? Что это за мир? Как они успели?.. Вопросы нахлынули вдруг, словно плотина рухнула под мягким и неодолимым напором. Но это — ладно, сейчас не это самое главное.

— Сколько нас было?

Он стал считать, вспоминая имена. Они выскакивали в памяти в нужном порядке, словно кто-то нажимал на клавиши. Уве-Йорген. Георгий. Рука. Питек. Астролида... Как-то получилось, что она назвалась тогда, когда подошла ее очередь

по судовой роли, хотя она-то была в памяти все время; она, а не имя. Имя всплыло сейчас. Значит, пять. И четверо ученых. Девять? Так получалось. Но было в цифре какое-то несоответствие. Незавершенность. Ульдемир сосредоточился, но не вспомнил. Значит, все же девять.

— Девять человек.

— В таком случае, все.

Ульдемир перевел дыхание.

— Все живы?

— Да. Хотя, — Мастер предварил новый вопрос, — увидеться вы сможете не сразу. Ты еще слаб, да и они тоже. Немного придете в себя. Тогда.

— Спасибо, Мастер.

— У нас говорят: Тепла тебе.

— Вот как? Забавно... У вас, наверное, стоят холода?.. Тепла тебе, Мастер. Вы оказались рядом в самое время. Тепла тебе. Так где же мы? На корабле? Это ваш корабль? Я и правда еще не пришел в себя как следует: тебя вижу четко, а дальше какой-то туман. Откуда вы? Куда летите? Экспедиция? И... — Ульдемир вдруг запнулся. — Как можем мы понимать друг друга? Вы тоже — потомки Земли? Древних переселенцев? Конечно же! Ты — человек, как я, как все мы...

— Да, Ульдемир, все мы — люди. Потомки ли мы Земли? Вряд ли. Скорее можно было сказать наоборот... Но все мы — люди, и поэтому понимаем друг друга.

— Но ты говоришь на языке Земли! Именно говоришь!

— А хочешь — поговорим по-русски?

— Откуда ты знаешь?..

Мастер поглядел чуть насмешливо:

— У меня способности к языкам.

Это вдруг показалось смешным Ульдемиру, страшно смешным, ну просто до невозможности! Он захохотал — все сильнее, резче, громче, не мог уже остановиться, это истерика была, смехом исходил, исторгался из Ульдемира ужас, тяжесть, отупляющая непостижимость случившегося... Мастер ждал, глядя на него, пока Ульдемир не перестал наконец смеяться, утомившись.

— Можешь снова лечь. Набирайся сил. Потом, когда отдохнешь, проверь все.

— Что проверить?

— Себя самого.

— Опять смешно. Что мне в себе проверять? Биографию? Чистоту помыслов?

— Самого себя. Все ли хорошо и правильно. Все ли действует так, как надо.

— Э?..

— Ты полагаешь, что вот таким и был после взрыва? Целым и невредимым?

Ульдемир медленно поднял перед собой ладонь и долго, серьезно разглядывал ее. Потом поднял левую.

— Вот оно что... Да, понимаю. Был взрыв. Что же взорвалось?

— Все.

— Корабль погиб?

— Излучение и пыль, вот что осталось от него. И от вас.

— Как же мы?.. Как вы?..

— Сейчас это не важно. Просто мы многое умеем.

— Вы доставите нас на Землю? Вам нечего бояться. Мы — мирная и великая цивилизация. И от контакта с нами вы только выиграете. Я не могу объяснить подробно, но поговори с нашими учеными. Они все расскажут. Ты назвался мастером. Значит, хорошо разберешься в достоинствах нашей цивилизации. Нет, вам просто повезло, что вы встретили нас. Нам, конечно, тоже... Прости, я болтаю бессвязно — кружится голова...

— Лежи. Отдыхай. У нас будет, я надеюсь, время, чтобы поговорить о разных вещах. О Земле. О тебе. Обо всем, что может интересовать тебя и меня.

— Лучше скажи — вас и нас. Ты ведь не одиночка, и я тоже.

— На это трудно ответить сразу.

— Знаешь, Мастер, мне правда лучше еще полежать.

— Хорошо. Я приду, когда будет нужно.

— Я позову тогда. Или приходи сам, когда захочешь.

— Когда понадобится. А ты отдохни, подкрепись. Можешь выйти, походить. Это полезно.

— Я не вижу, куда выйти, что вокруг... Туман.

— Увидишь, когда придет время.

— Мне постоянно чудятся в твоих словах какие-то загадки. Я не люблю загадок, Мастер.

— Никаких загадок нет. Все просто. Все очень просто. Но понять простоту порой бывает сложно. — На лице Мастера промелькнула вдруг озорная улыбка. — Помнишь, Ульдемир?

Но мы пощажены не будем,
Когда ее не утаим...

— Мастер! Ты... Это шутка! Нас спасли свои!

— Разве можно прерывать в таком месте, Ульдемир?

Она всего нужнее людям,
Но сложное — понятней им!

Ульдемир хотел сказать еще что-то. Но в тех пределах, в каких ему пока дано было видеть, уже никого не осталось, и он закрыл глаза, ощущая крайнюю усталость.

Он задремал. Но что-то не давало лежать спокойно. Ощущение какой-то недоговоренности. Недостаточности. Незавершенности. Он не мог понять, в чем причина, и тяжело переворачивался с боку на бок. Потом забылся. Наверное, что-то снилось ему. Но что — он потом так и не вспомнил. А жаль. Потому что снилось что-то хорошее. Это он понял, пробудившись в отличном настроении. Но стоило ему проснуться, как то самое ощущение незавершенности вновь овладело им, и никак не удавалось подавить это ощущение, отвязаться от него.

Чтобы отвлечься, Ульдемир начал знакомиться с окружавшим его миром. Хотя бы в пределах того круга, что был очерчен для его восприятия. Кем и как очерчен, было непонятно, однако это уже вопрос другой. Ульдемир стал оглядываться и общупываться, и чем дальше, тем меньше, казалось ему, понимал хоть что-то в окружающем.

Все, что он видел и ощущал вокруг себя, было таким же, каким он привык видеть и ощущать с тех пор, как оказался на Земле новой эпохи. И ложе, и покрывала, или для него по старинке простыни, и одеяло, и белье на нем самом — все было вроде бы таким же, знакомым и даже не вовсе новым, а бывшим уже в употреблении. Так воспринималось оно взглядом. Но когда Ульдемир стал всматриваться повнимательнее, пробовать на ощупь, а порой даже и на зуб кое-что, ощущение повседневной знакомости исчезало, и возникало совсем другое: впечатление чуждости и даже какой-то враждебности. Простыни были — не полотно, не лен и не синтетика даже, какая была Ульдемиру знакома, они лишь казались ткаными, на самом деле то был лишь мелкий рельеф, как у клеенки, но в то же время они были мягкими, теплыми, хорошо дышали, как и все прочее белье, но все время казались чуть заряженными, так что порой возникало чувство, что они живые, и тепло их, как тепло другого человека, — это тепло жизни. Но это не радовало, а напротив, немного пугало и было неприятным, как если бы все время кто-то присутствовал рядом и наблюдал за ним, а если Ульдемир ложился и накрывался, то не мог избавиться от чувства, что доставляет неудобства тем, на кого ложился и кем накрывался. Относилось это и к ложу, формой точно копировавшему корабельное, стоявшее у него в каюте (и боль на миг схватила сердце, когда он вспомнил о корабле), — но только формой, а сделано оно было тоже из непонятного материала, теплого и как бы живого; относилось это и к столику, что оказался вдруг в поле его зрения, и к стульям вокруг него. Одновременно со столом возникло вдруг и множество запахов, какие доносятся порой из хорошо налаженной кухни, и Ульдемир внезапно понял, что страшно голоден, и, махнув рукой на все остальное, уселся на

стол, даже не подумав, что следовало бы, пожалуй, умыться. Впрочем, ощущение у него было такое, словно он только что из ванны, и потри кожу ладонью — она заскрипит.

Он так и сделал, кстати; потому что страшная мысль ударила вдруг его: а что, если и сам он — лишь видимость человека теперь, а на самом деле тоже какой-нибудь полимер или что там еще? Однако тут же от сердца отлегло: нет, человеком он был, человеком до кончиков ногтей, до последнего волоска на коже. И именно самим собой: маленький шрам на указательном пальце левой руки, след нарыва, оставшийся, помнится, с шестилетнего возраста, был тут как тут; не обнаружив поблизости зеркала, Ульдемир слегка прикоснулся пальцами к носу и нащупал знакомое искривление, память о юношеском увлечении боксом, и даже обиделся: те, кто латал его, могли бы заодно и это поправить, облагородить облик, он не стал бы предъявлять претензий. Латать — именно так он и подумал, это легко укладывалось в сознание, хотя если бы он всерьез задумался, то понял бы, что после атомного взрыва латать бывает нечего; впрочем, о характере взрыва он знал сейчас не больше, чем о его причинах.

На столе вкусно пахло жареное мясо, лежала зелень, свежий хлеб; еще более сильный и нужный аромат источала большая (как он привык) чашка черного кофе с лимоном. Лимон почему-то рассмешил и умилил его. Не просто кофе, а с лимоном, вот тебе! Что называется, знай наших, или — фирма не жалеет затрат!

Все укреплялось в мысли, что попали они все-таки к землянам, родным или, в крайнем случае, двоюродным (кофе с лимоном, ты смотри, а?). Ульдемир все же не сразу решился воткнуть в мясо вилку и прикоснуться ножом. Нелепая мысль, что оно тоже, как и простыни, живое, неожиданно смутила его, и если бы жаркое вдруг взвизгнуло от боли и соскочило с тарелки, это, пожалуй, испугало бы капитана, но не удивило. Однако никто не визжал и не прыгал, и ощущение подлинности возникло и уже не оставляло его до последнего глотка кофе.

Еда утомила; он закрыл глаза и откинулся на спинку стула, но решил, что ложиться больше не будет, а просто отдохнет так, а потом сразу попытается найти выход из этой — из этого — из того, где он находился сейчас, безралично, дом это, корабельная каюта или еще что-нибудь другое. И лишь постаравшись самостоятельно понять максимум возможного, потребовать приема у тех, кто командовал этим «чем-то», и всерьез договориться о быстрейшем, по возможности, возвращении на Землю и об установлении взаимовыгодных контактов между цивилизациями, находящимися, как ему казалось, примерно на одной и той же стадии развития (пусть эти и были,

видимо, чуть впереди, но ведь и о возможностях нынешней Земли он знал далеко не все) и способными, следовательно, чем-то обогатить друг друга. Это была большая удача — встретиться с такой цивилизацией, и Ульдемир полагал, что она в значительной степени облегчит досаду Земли из-за неуспеха экспедиции и потери корабля и уменьшит его вину, которой он не мог не ощущать, хотя и не знал, в чем она могла заключаться; а может быть, и посодействует, в частности, решению тех энергетических проблем, ради которых корабль и вышел в пространство. Но прежде всего радовало его то, что спасены были все люди и, следовательно, самой большой и острой боли Земля не ощутит.

Об этом он медленно размышлял, пока не почувствовал, что сил у него стало вроде бы больше. Тогда он встал, огляделся в своем тесном круге, за пределами которого по-прежнему не различал ничего, и, не обнаружив нового, решил, что пойдет — ну хотя бы в направлении от ложа мимо стола — по прямой, пока не наткнется на какую-то преграду, переборку, а тогда двинется вдоль нее и рано или поздно обнаружит выход. Выхода не могло не быть. Мастер не говорил, что Ульдемир должен оставаться на месте, напротив, советовал прогуляться и оглядеться.

Ульдемир встал. Одежда висела на спинке другого стула так, как он сам вешал ее обычно, — его повседневная корабельная одежда. Она тоже была чужой, но к этому он уже начал привыкать. Ульдемир оделся, обулся, пошарил по карманам — там нашлось все, чему полагалось находиться, — и решительно двинулся вперед, намереваясь ничем больше не отвлекаться и не строить гипотез, пока не увидит чего-то нового, что даст материал для размышлений. Он сделал несколько шагов.

* * *

Он сделал всего несколько шагов, и вдруг все изменилось вокруг него, как если бы что-то рухнуло, развеялось, растаяло; исчезла дымка, многоцветный туман, и стало видно далеко-далеко. И эта внезапная ясность оказалась столь неожиданной, что Ульдемир остановился, как если бы перед ним раскрылась бездна; остановился и стал смотреть, пытаясь понять, что же это было и как это следовало оценивать.

Это не могло быть кораблем. Не было ни малейшего признака того ощущения замкнутости пространства, какое не покидало его на своем корабле, так что капитан привык к этому ощущению, как к необходимой части жизни. Конечно, и на корабле были «сады памяти», но там всегда оставалось хотя

бы чисто подсознательное ощущение ненастоящести и ограниченности этого квазипростора.

А сейчас он стоял на обширной открытой веранде, залитой золотистым светом, исходившим отовсюду и не дававшим теней. Дом — двухэтажный коттедж вполне земной и даже не современной, а давней архитектуры, с крутой высокой (капитан запрокинул голову, чтобы увидеть это) крышей, с балкончиками наверху и башенками стоял на пригорке, и поросший яркой муравой луг убегал от него, пересеченный неширокой прозрачной, медленно струящейся речкой, окаймленной невысокими кустами, — убегал к кромке леса, видневшегося вдали и как бы заключавшего луг с речкой и домом в раму. Хотя дом, как было сказано, и возвышался над лугом, но лес у горизонта был, казалось, выше, как если бы луг был дном то ли чаши, то ли блюда — и непонятно было, как речка в дальнейшем течении могла взбираться вверх. Впрочем, может быть, она и не взбиралась, а впадала в какое-то маленькое и невидимое отсюда озерцо. Выше было небо, густое, южное, цвета индиго, в котором привычный глаз искал необходимое для завершения и полной убедительности картины солнце — и не находил его, хотя свет был июньский, утренний, животворный. Был свет, и был запах, хмельной запах летнего утра, солнца и меда, и цветущей травы, и теплого тела. Ульдемир постоял, не моргая, боясь, что от малейшего движения век все это исчезнет и останется лишь непрозрачная дымка и двухметровый круг; наконец глаза, не вытерпев яркости, моргнули — все осталось, ничто не обмануло, не подвело. Прожужжала пчела, прошелестел ветерок, где-то перекликнулись птицы — жизнь журчала вокруг, ненавязчивая, себя не рекламирующая, занятая сама собой — жизнью, когда все происходит там, тогда и так, когда и где нужно, и никто не препятствует происходящему. Ульдемир стоял бездумно, беспроблемно, бестревожно, забыв дышать, пока легкие сами собой не заполнились до отказа воздухом и не выдохнули его чуть погодя. То был вздох не печали, но полноты чувств. Еще мгновение — и невозможно стало переносить эти чувства одному; другой человек понадобился, женщина, о которой говорило, пело, шелестело все вокруг. И — как будто дано было сегодня незамедлительно сбываться желаниям — послышались шаги на веранде, там, где она, изогнувшись, скрывалась за углом дома. Ульдемир повернулся, шагнул навстречу, заранее приподнимая руки; но то был Мастер, и руки опали.

Мастер подошел, остановился вплотную, положил руку на плечо Ульдемира, как бы обнимая — с высоты его роста это было легко. Странное, покалывающее тепло от ладони пришедшего проникло в тело и растеклось по нему, уничтожая последние остатки слабости, неуверенности, боязни. Дружелюби-

ем веяло от Мастера, и стало можно спросить его, словно старого знакомца:

— Что это за чудо, Мастер? Где мы? Что за планета?

— Это Ферма, — ответил Мастер, не уточняя остального. — Не вся Ферма, конечно, — она обширна, ее не охватишь взглядом; ты, во всяком случае, не сможешь. Но и это относится к ней.

— Райский угол... Мастер, я отдохнул и чувствую себя прекрасно. Спасибо... то есть Тепла тебе, хотя тепла здесь, по-моему, достаточно, а я уж ожидал, что вокруг окажутся льды... Итак, я в наилучшей форме, и пора мне, думаю, встретиться с моим экипажем. Если они чувствуют себя хоть вполовину так хорошо, как я.

— А если нет?

— Тогда — тем более. Мастер, что с ними?

— Не волнуйся. Им не хуже, чем тебе.

— Тогда, прошу тебя, не станем медлить. Но... — Ульдемир замялся, потом продолжал решительно: — Прежде чем увидеть всех, я хотел бы встретиться с... нею.

— С кем?

— С Астролидой. Ну, с женщиной. Не думай, — почему-то смутился он вдруг, — ничего такого. Просто она женщина, и может быть, хочет сказать мне что-то, что ей будет неудобно говорить при всех.

— Женщина? — казалось, Мастер не понимал его. — Извини, но я не уразумел до конца. Разве у вас была женщина в экипаже? Или ты увидел, успел заметить какую-то здесь?

— Мастер! — проговорил Ульдемир в гневном страхе. — Ты сказал мне, что спасены все!

— Нет. Этого я не знаю. Спасено девятеро, и я еще раз подтверждаю это.

— Ну?

— Это одни мужчины. Девять, включая тебя.

Ульдемир посмотрел на него, в первый миг не понимая еще. Но тут же сообразил — и руки задрожали, сердце стало раскачиваться, как колокол, и ноги перестали повиноваться.

Девять, считая и его. Но ведь он себя не считал! Девять — это без него. С ним — десять! Вот откуда то ощущение...

— И среди нас... не было женщины?

Мастер качнул головой.

— Почему так? Ну почему?..

Больше слов у Ульдемира не оказалось. И вообще ничего у него теперь не было. Потому что ничто не было нужно.

— Как же так? — смог он еще выговорить после паузы, так и не сумев понять, чем так провинился он перед жизнью, что она, уже первым ударом сбив его с ног, наносит лежачему и второй, чтобы добить окончательно. Рука Мастера крепко ле-

жала на плече капитана; Ульдемир попытался было сбросить ее, но Мастер словно и не заметил движения.

— Ульдемир, а если бы недосчитались кого-нибудь из мужчин, разве ты горевал бы меньше?

Ульдемир по-мальчишески мотнул головой.

— Разве ты не понимаешь? Нам, мужчинам, полагается рисковать. Без этого нет полноты жизни. Такое в нас заложено. И если гибнет кто-то из нас, то, конечно, горько и обидно, но... это естественно, понимаешь? Прости, ты, похоже, думаешь, что ты старше меня (Мастер усмехнулся углом рта), но на деле я родился очень, очень давно, и, может быть, то, как я думаю, покажется тебе, всем вам старомодным — но весь мой экипаж мыслит так, потому что все мы родились во времена, когда мужчина был еще или, по крайней мере, мог быть мужчиной — хотя я застал эти времена уже на закате. И вот я или любой из нас восприняли бы гибель одного из нас как прискорбную закономерность. Но когда гибнет женщина, а мы остаемся в живых — девять здоровых мужчин...

— Ты объясняешь очень убедительно, — сказал Мастер, по-прежнему чуть усмехаясь. — Но ответь: ты любил ее? Очень?

Мальчик стесняется говорить о любви, уклоняясь то в замкнутость, то в цинизм: цена любви ему еще неизвестна. Но мужчина говорит о ней, когда нужно, хотя молчит, когда в признаниях нет нужды. И Ульдемир ответил:

— Да.

— Но ведь ты любил и раньше, верно? Только не отвечай чем-нибудь вроде того, что ты и вчера обедал или что каждая новая любовь сильнее, потому что те уже в прошлом, эта же — настоящая. Скажи кратко.

— Любил. И если бы не она, то не знал бы истинной цены любви. Но говорить об этом я не хочу больше. Это мое дело. Ты спас меня. Но лучше бы — ее. Вот и все. — Ульдемир не знал, что сейчас лучше: остаться одному со своей болью или попытаться растворить ее в общении с друзьями. — Но остальных-то я могу видеть?

— Несомненно. Однако прости меня — именно сейчас у меня возникла потребность говорить о любви, и именно с тобой. Поверь мне: это не бессмысленная прихоть.

— Не вижу смысла.

— А в чем ты вообще видишь смысл? Ты, младенец в огромном мире... Не тебе знать, в чем какой смысл сокрыт. Скажи мне: что гнетет тебя? Потеря женщины? Или — потеря любви?

— Одно и то же.

— О, дитя!.. Любовь — это часть тебя. Женщина — сама по себе, она — иное существо. Ты сам признался, что любил и

раньше. Следовательно, объекты любви могут меняться. А чувство в тебе остается. Слушай. Та женщина исчезла. Сожалею. Но ее больше нет. И тут я бессилен. А вот дать тебе иную любовь — эта задача не кажется мне неразрешимой.

— Пустое, Мастер. Не знаю, какие парадоксы ты еще сочинишь, но меня ими не убедить. Я не хочу другой любви. Пусть Астролиды нет — я буду любить ее всю жизнь, все равно. В памяти она жива. Нам не привыкать к тому, что самое дорогое находится далеко от нас и в пространстве, и во времени. И пусть у нас с ней было очень немногое — в нем содержалось столько всего, что хватит на остаток жизни. Спасибо за сочувствие. Но мы привыкли справляться с горем сами.

— А это вовсе не сочувствие, Ульдемир. Я корыстен. И совсем не предлагаю свою помощь задаром. Альтруизм — не мой грех.

— А если я не нуждаюсь в помощи?

— Еще как нуждаешься! Потому что, видишь ли, мне нужен ты. И не для того, чтобы проводить с тобою время: у меня вечно не хватает времени, хотя я и не скован им так, как ты и все вы. Ты нужен мне для серьезных дел. Но без моей помощи тебе их не выполнить. А моя помощь и будет заключаться в том, чтобы дать тебе всю ту силу, какая вообще может в тебе возникнуть. А значит — дать тебе и любовь, потому что человек, вооруженный любовью, сильнее вдвое, а может быть, и втрое.

— Не знаю, что у тебя за дела, Мастер. Но у нас достаточно своих. Я уже говорил: только доставьте нас на Землю...

— Готов. Любого, кто захочет. Но только после того, как все вы сделаете то, о чем я попрошу.

— Тебе не кажется, что пользоваться нашей зависимостью недостойно?

— Нет. Зависимость — слишком мягкое слово, да и неточное. Вас уже не было, понимаешь? Вы исчезли. Но я вернул вас — потому что вы мне нужны.

— Я вижу, ты гуманист, Мастер...

— А ты гуманен — к рыжим муравьям? Но остерегайся судить, не зная всех обстоятельств. Тебе рано в судьи, человек с Земли; хорошо, если вы доросли до того, чтобы быть свидетелями. Ты ведь больше не полагаешь, что ты и твои спутники остались живыми после взрыва? (Ульдемир невольно провел рукой по бедрам, проверяя.) Нет, Ульдемир, с позиции вашего уровня знаний вас просто больше не было. Но уже в твое время занимались реанимацией; примитив, конечно, но все же — движение в нужном направлении. А вас мне пришлось рекомбинировать по оттиску пространственной памяти: след ведь остается и в пространстве, а не только на мокром песке. Можешь считать, что я создал вас заново — и вправе

делать с вами все, что хочу. Но я предпочитаю не приказывать, а просить. И предлагаю тебе условия договора. Ты сделаешь то, что я поручу, честно отдавая все силы. И пока ты будешь занят этим, останешься подчиненным мне. И станешь пользоваться тем, что я тебе дам. И если я захочу, чтобы ты полюбил — полюбишь...

— Нет.

— Какая самоуверенность! Ну а потом, в благодарность за сделанное, я отправлю тебя на Землю. Тебя и любого, кто захочет.

— Захотят все.

— Значит, и отправлю всех.

— Жестоко, Мастер, и несправедливо. Но ты не хочешь нашей благодарности, хочешь, чтобы мы отработали свое спасение — будь по-твоему. Договор так договор. Не прикажешь ли расписаться кровью?

— Достаточно слова.

— Но с оговоркой. Может быть, тебе это не совсем понятно, но у нас, у каждого, есть представление о такой вещи, как мораль. И если твое поручение связано с нарушением морали...

«Черт меня возьми, — подумал вдруг Ульдемир. — Да это просто идиотизм какой-то. Погиб корабль. Астролида погибла, а я тут изъясняюсь с этим сумасшедшим, да еще какими-то дурацкими словами».

— Мора-аль, — протяжно произнес Мастер, непонятно — с иронией или просто уважение прозвучало в его голосе. — Ну а какова же твоя мораль? К примеру, что она велит делать с падающим? Поддержать? Или подтолкнуть?

Это Ульдемир знал давно: не всякого падающего следует вытаскивать. Иного и на самом деле стоит подтолкнуть, потом присыпать землей, а для верности еще и вогнать осиновый кол.

— Смотря кто падает.

— И решать будешь ты. Нет-нет, я понимаю: ты будешь исходить не только из своих симпатий. Ты станешь оправдываться — ну, хотя бы интересами общества. А ты уверен, что всегда правильно их понимаешь? Есть у тебя абсолютные критерии того, что — добро, и что — зло?

— Абсолютных не бывает.

— Ошибаешься. Они есть. Но если бы даже было по-твоему — на каждом новом уровне знания люди поднимают свои относительные критерии все выше. А значит, и сама мораль становится выше и совершеннее. Но поскольку она при этом неизбежно изменяется, то на каком-то этапе новые критерии могут оказаться противоположными твоей морали, и ты решишь, что они поэтому вредны и носителя их надо толкнуть, чтобы он упал...

— К чему этот разговор, Мастер?

— А мне интересно, что ты за человек, что за люди все вы. Погоди, не начинай излагать мне основы твоего мировоззрения: они тут известны. Но ведь прочитанное или услышанное каждый понимает по-своему, и мораль каждой эпохи есть лишь средняя величина множества личных моралей. И вот меня интересует: кто ты таков, что можешь и чего не можешь, насколько можно тебе верить, и насколько — нельзя?

— Мне трудно ответить.

— И не надо, Ульдемир. Судят по поступкам. Вот я и дам тебе возможность совершать поступки, а потом ты придешь, и мы рассудим.

— Да почему именно я? Прилетайте на Землю. Там...

— Захотим ли мы посетить Землю — вопрос иной, и сейчас мы об этом говорить не станем. Пока речь — о тебе. О твоих поступках. Ты скорбишь о женщине — это поступок. Ты отказываешься от другой любви: продолжение первого поступка. Возникает определенное впечатление о тебе, как о человеке, способном хранить верность — или, во всяком случае, стремиться к этому. Даже вопреки здравому смыслу. Потому что если бы ты задумался, то понял: от любви отказаться невозможно, любовь — не акт воли. Пока ее нет, отказываться не от чего. Когда есть, отказываться поздно. Отказаться можно от проявлений любви — это другое дело, и, по сути, мы говорим именно об этом. Но подойдем к нашей теме иначе. А если я скажу тебе, Ульдемир: сделай то, что я попрошу, — и в награду я верну тебе ту женщину, о которой ты тоскуешь! И если то, о чем я попрошу, не будет совпадать с твоей моралью, полностью или частично — как велико должно быть это расхождение, чтобы ты отказался? Способен ли ты вообще отказаться? Или — способен ли согласиться?

Ульдемир уперся в Мастера взглядом.

— Она жива?

— Жива, не жива — понятия относительные, как ты можешь судить на собственном опыте...

Но Ульдемир успел уже, пусть на мгновение, отчаянно, исступленно поверить: жива! Или — может оказаться живой...

— Хватит отвлеченных рассуждений! Говори, чего ты ждешь от меня. И я отвечу.

— Скажу, когда придет время. — Казалось, Мастеру доставляла немалое удовольствие эта беседа, в которой он, как большой черный кот, то выпускал когти, то втягивал их и касался мыши гладкой лапой. — А теперь рассмотрим еще одну возможность. Астролида возникнет. И окажется, что ты-то ее любишь, а она тебя — нет. И все, что случилось ночью в твоей каюте («Черт, откуда он все знает?» — мелькнуло), было лишь миражом — просто почудилось ей и исчезло. И она пройдет

мимо, лишь по-дружески кивнув тебе. Стоит ли в таком случае возвращать ее?

— Да, — почти беззвучно проговорил Ульдемир.

— Но тебе будет куда больнее. Ведь сейчас она целиком твоя. А тогда — если она окажется не одна...

— Все равно, Мастер: если есть хоть малейший шанс...

— Как же так? Объясни.

Ульдемиру вдруг показалось, что очень многое зависит от того, что он сейчас ответит.

— Потому, Мастер... Как объяснить тебе? Если в любви любишь самого себя — тогда, конечно, не надо. Но если любишь другого — значит, любишь самое его существование, как бы он сам ни относился к тебе. Пусть она будет, Мастер!

— Романтик! — усмехнулся Мастер беззлобно и даже как бы сочувственно. — Ну что же, для первого знакомства мы поговорили достаточно.

— Нет, погоди, нельзя же так! Ты обещаешь?

— Обещать — не в моих правилах, Ульдемир. Ничего сверх того, что необходимо, а необходимое входит в договор. — Голос его был холоден и деловит. — Поговорим теперь о деле, от которого зависит, весьма возможно, и все остальное.

— Я готов, — сказал Ульдемир, напрягая мускулы, как если бы действовать предстояло немедленно: бежать куда-то, настигать, бить кулаками... — Что надо сделать?

— Этого-то я и не знаю.

— Опять шутки?

— Будь почтительнее, Ульдемир. Я говорю правду. Я знаю, чего надо добиться, но не знаю — как. Это ты увидишь на месте, а вернее — решишь на месте. Ты станешь поступать так, как подскажут тебе обстановка и эта твоя мораль — потому что больше тебе не с кем будет посоветоваться.

— А мой экипаж? Разве эти люди не пойдут со мной?

— Они, возможно, там будут.

— Значит, найдется с кем посоветоваться.

— Они будут, но ты можешь и не опознать их там.

Ульдемир недоверчиво усмехнулся.

— А когда ты глянешь в зеркало на самого себя, ты не узнаешь и себя тоже. Ты будешь совсем другим человеком, как и они. Другое имя, внешность, знания, функции. Другое общество, другая планета. И только в глубине сознания ты будешь помнить, что кроме всего прочего ты еще и капитан Ульдемир. И капитан будет выходить на сцену лишь в критические секунды. А в остальном каждый из вас станет частью той жизни, с ощущением, что та жизнь для вас — единственная и настоящая. Иначе нельзя.

— И все же я не понимаю одного.

— Постараюсь ответить.

— Зачем тебе я? Если бы ты посылал меня туда, где я — или мы — были бы единственными людьми, тогда понятно. Но если там, куда я должен попасть, существует общество, человечество...

— Все это там есть.

— Так почему же ты не поручишь это одному из них? На твои условия согласились бы многие. Разве там нет никого, потерявшего любимую? Или претерпевшего еще что-то такое, после чего трудно жить?

— Застигнутых бедой людей можно найти везде. Остановка не за этим. Но попытаюсь объяснить тебе, почему я действую так, а не иначе. Чтобы заставить человека оттуда сделать то, что мне нужно, мне пришлось бы принудить его видеть мир, в котором он живет, совсем иначе. Так, как видим его мы отсюда.

— Ну и что же?

— Ему было бы очень тяжко, Ульдемир. И он перестал бы быть тем, кто мне нужен. Вот хотя бы ты: жаждешь вернуться на Землю, хотя по нашим меркам она весьма далека от идеала даже и сегодня, мало того... Но это в другой раз. Ты хочешь вернуться на Землю, потому что она — твоя, какой бы она ни выглядела для стороннего взгляда. И ты согласен выполнить мое поручение именно ради того, чтобы я потом отправил тебя на Землю. Тут все в порядке. Ну, а тот человек? Что я предложу ему? Ведь мне именно и нужно, чтобы его мир не остался таким, к которому этот человек привык, но чтобы этот его мир изменился! Изменился — потому что от этого зависит очень многое за пределами их мирка... Мне нечем будет наградить этого человека, Ульдемир, то, что я смогу дать ему — ничтожно по сравнению с тем, что он сам у себя отнимет...

— И потому ты предоставляешь совершить это мне.

— Не пугайся: ты не совершишь ничего, что шло бы во вред тем людям — подавляющему их большинству во всяком случае. Меня останавливает не то, как отразились бы на этом человеке результаты его дел — они будут благотворны, — но то, что станет происходить в нем, пока он будет делать нужное мне дело, выступит один против всего мира — его родного мира... А тебя тут выручит именно то, что ты — Ульдемир с далекой Земли. — Мастер помолчал. — И еще одно. Сделать то, что мне нужно, способен не всякий. Ты — годишься. Именно сейчас. Не знаю, может быть, некоторое время назад ты совершенно не подошел бы... Да, вот важное обстоятельство. Тебе может показаться, что ты там будешь кем-то вроде актера, будешь играть роль. Но если там придется гибнуть — это будет всерьез, Ульдемир. И не надо полагаться на то, что

кто-то из нас сможет в нужный миг оказаться поблизости и повторить то, что мы уже однажды сделали. Это будет жизнь, Ульдемир, вместе с ее оборотной стороной... ну вот; что еще тебе неясно?

— Ты посылаешь нас надолго?

— Не знаю. Когда ты вернешься, будет зависеть от тебя самого. Но если все затянется, ты скорее всего не вернешься совсем. Во всяком случае, если пользоваться твоим счислением, счет времени пойдет не на годы, Ульдемир. На недели и, возможно, даже на дни.

Они помолчали минуту-другую.

— Ты веришь в судьбу, Мастер?

— Смотря как понимать это слово. Я верю, что Фермер правильно ведет свои дела. И стараюсь поступать так же.

— Кто он, Фермер?

— Человек, — улыбнулся Мастер, — которому я передам от тебя привет.

— Когда мне выходить? И куда? Будет корабль?

— Ты поймешь, когда и как. Будь внутренне готов. Ну вот, мы и составили первое представление друг о друге; очень рад буду увидеться с тобой еще. — Это прозвучало искренне. — Живи, Ульдемир, не уставай жить. — Он повернулся и стремительно зашагал по веранде, обогнул угол дома — и шаги его сразу стихли.

Ульдемир еще немного постоял на том же месте. Да, интересно складываются события, ничего не скажешь... Он медленно, как ходят люди, погруженные в раздумья, приблизился к пологому крыльцу и стал спускаться вниз — туда, где расстилался луг с зеленой муравой.

Помедлил на нижней ступеньке крыльца, прежде чем коснуться ногой травы. Зажмурившись, глубоко вздохнул, втягивая запах...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

...втягивая запах, тончайший, сложный запах, в котором смешивались: тихий, настойчивый, чем-то схожий с плесенью — бактерицидного пластика, из которого было все: пол, потолок, стены, мебель; и резковатый, тревожный — так пахли холодные бело-голубые нити освещения, не создававшие уюта, а, напротив, вызывавшие ощущение открытости и бесприютности; и душистый, сильный, но не затмевавший остальных аромат цветов, огромных, ярких, какими не бывают цветы в природе — зато эти никогда не надо было менять, а сила запаха автоматически или же вручную регулировалась; и наконец, эманация уже стоявшего на столе завтрака, в свою

очередь составная, ежедневно менявшаяся в зависимости от тонуса человека, которому завтрак предназначался. Забавно было каждое утро угадывать, что же окажется на столе на этот раз; сначала он ошибался два раза из трех, теперь в лучшем случае раз из десяти: годы не проходят зря. В старости он наверняка будет угадывать сто раз из ста; а когда однажды ошибется, это будет означать, что организм его вышел на последнюю прямую, ведущую к концу, и необратимые изменения начались. Опекун заметит это раньше, чем сам человек, и естественно: Опекун все замечает раньше и своевременно принимает решения, человек давно перестал жить на ощупь, а также отвлекаться для решения разных мелких проблем, вроде меню сегодняшнего завтрака, цикла утренних упражнений, одежды и прочего. И все же что-то было в этом ежедневном угадывании, какой-то темный азарт, род развлечения. Жаль, что Опекун ни разу не поддался, не включился в игру, не уступил искушению выкинуть на стол что-нибудь такое, что и представить нельзя было бы: скажем, в разгаре лета — что-нибудь из зимнего репертуара, с повышенным содержанием жиров, предположим, или иной, зимней гаммой витаминов. Что ж, тем лучше для него, Опекуна; иначе автоматический постоянный контроль тут же сработал бы, и крамольные блоки немедленно подверглись замене. Однако сколько ни вспоминай, такого не происходило, не слыхано было о таком, и единственное, что грозило Опекуну — это когда подопечный, чье сознание не могло подвергаться столь точному программированию и скрупулезному контролю, как схемы Опекуна, выходил из режима и чем-нибудь тяжелым, или острым, или тем и другим вместе, принимался крушить датчики и провода, и таким способом ненадолго лишал Опекуна возможности выполнять свою задачу. Самому Опекуну это не вредило, его схемы находились, понятно, в Центре, а не здесь, до них было не добраться: они были смонтированы, вместе с Инженером, Политиком и Полководцем, в каких-то, по слухам, подземных цитаделях, в глубине многокилометровых шахт, рядом с которыми располагались, опять-таки по слухам, убежища для Неизвестных; о том, где все это располагалось, можно было лишь делать догадки, и то про себя: следовало постоянно помнить о Враче, что был всегда начеку. Да, итак, разрегулировавшийся опекаемый, обычно человек невысокого уровня, ученый седьмого-восьмого разряда, художник или инженер столь же скромного пошиба, мог нанести такой легко устранимый вред сетям Опекуна; тогда ремонту подвергался уже сам ученый, художник или инженер (с политиками такого не случалось, помнится, еще никогда), его увозили ненадолго, возвращался он умиротворенным и больше уже с ним ничего такого не происходило. Подобные

инциденты, впрочем, не считались чем-то постыдным и никак не влияли на положение человека в обществе и на отношение общества к нему; знали ведь, что винить в происшедшем можно было разве что природу, создавшую человека несовершенным, не как город с продольно-поперечной, логичной планировкой, какие строились по заранее, точно разработанным проектам, а как город из тех, что возникали стихийно, без проектов, без единой мысли о перспективе, разрастаясь протяженно во времени и напоминая клубок из обрывков нитей, где иная улица могла дважды пересечь самое себя и выводила в конце концов к собственному началу. Таким был человек, и порой в сложную планировку его сознания приходилось вносить рациональные упрощения, разрушая паутину переулков и прокладывая вместо них широкую магистраль от Возможности к Желанию, а никак не наоборот. Все это было правильно, рационально, да иначе и быть не могло — так всю жизнь полагал Форама Ро, да и сейчас он тоже так считал.

Впрочем, Форама Ро о таких вещах думал крайне редко: к его работе они отношения не имели, а ко внерабочей жизни — тем менее. Не хочет Опекун ввязываться в игру — его дело... Глубоко вдохнув и выдохнув, Форама вовремя вскочил с постели: еще минута-другая, и лежать стало бы неудобно, неуютно, постель заерзала бы под ним: никогда не следует перележивать, этак и бока пролежишь, ха, не больной же ты, — а если задержишься и еще на минутку, включатся медицинские датчики, вмиг прочешут тебя и скорее всего ты окажешься симулянтом, потому что — кто же болеет в наше время, это надо неизвестно какую жизнь вести, чтобы в твоем организме, при котором неусыпно бдит Опекун, что-то вдруг разладилось до такой даже степени.

Через несколько минут Форама уже стоял на упругом коврике в углу, лицом к экрану. На экране вспыхнуло «17», иными словами, зарядка по семнадцатой программе полагалась сегодня Фораме, не по шестнадцатой и никак не по восемнадцатой. Затем на экране возник крепенький индивид и стал командовать, одновременно приседая, поворачиваясь, подпрыгивая, взмахивая руками. Зазвучали команды, музыка — и неслышным было тихое шипение добавочного кислорода: дозировка его в воздухе в это время изменялась. Потом индивид аннигилировал, экран показал стадион и дорожку, двенадцать парней в мгновенном томлении предстарта; автомат рявкнул — понеслись; одновременно коврик под ногами Форамы дрогнул и побежал назад, бесконечно возникая перед ним из-под пола и скрываясь позади, и он помчался по нему, что было сил — вперед, вперед! — а коврик бежал так, что Форама все время оставался на месте, не приближаясь к экрану ни на

сантиметр. Пролетел десяток секунд: сотка — явление скоротечное. Те, на экране, достигли финиша чуть раньше, чем Форама, но и он выложился, и возникшие на экране цифры — показанное им время — его вполне устроили: ничуть не хуже, чем вчера. Пошли упражнения на расслабление, крепенький парень снова возник, профессионально поигрывая бицепсами. Щелк — экран погас, конец зарядке. Пританцовывая, Форама вбежал в душевую — вода со свистом хлестнула, едва он показался на пороге. Он вертелся под душем, пока вода не выключилась. Ай-о! Хорошо. Он распахнул шкафчик. Что там на сегодня? Легкое: тонкие серые брюки, белая рубашка, галстук в красных тонах, носки под цвет, бесшумные пластиковые сандалии, почти невесомая куртка со всеми полагающимися знаками и эмблемами. Это нам идет, мар Форама. В этом мы смотримся. Серое и красное, да еще с белым — наша гамма.

— Спасибо, Опекун! — крикнул он весело и в меру громко. Никто не ответил, конечно, но это вовсе не значило, что его не услышали. Все слышится, все учитывается. И прекрасно: ты уверен, что ни одно твое движение, физическое и душевное, не пропадет зря. Только так и можно.

Завтрак он и в самом деле угадал, и это еще улучшило и без того светлое настроение. День начался с высокой ноты — вот и хорошо, вот и ладно, славно, пусть и до самого вечера. так. Вечером — может быть, все дело как раз в том, что вечером они встретятся с Мин Аликой. «Любовь, — замурлыкал он под нос, а тело на миг напряглось в сладких предвкушениях. — Любовь, любовь — любовь...» Недаром сегодня среда, шестой день недели.

Вот именно, среда. И вечер занят, следовательно — игры он не увидит. Той игры, что назначена на вечер. Значит, надо посмотреть ее сейчас. За завтраком. Хотя бы последнюю четверть. Форама дал команду на экране, на возникший вопрос — набрал шифр. С большим трудом выбил он для себя право опережающего просмотра игр. Если бы он не работал в этом институте, да еще на магистральном направлении, локоть бы ему дали, а не разрешение. Вот сейчас он и посмотрит еще не сыгранную (официально) игру. Чуда в этом, понятно, никакого: уровень эмоций всех людей, интересующихся игрой, известен, подсчитан и учтен заранее, в зависимости от него запланирован и результат игры: такой, чтобы большая часть эмотов осталась довольной, чтобы настроение их еще поднялось; а те эмоты, что стоят за проигравших, пусть понесут ущерб в зависимости от их количества: если их много — разрыв в счете будет небольшим и игра почти равной; если мало — произойдет разгром. Однако количество эмотов на каждой стороне тоже не создается само собой: в случае нужды о

команде сразу выбрасывают такую информацию, какая сразу же или привлекает новых сторонников, или, наоборот, отталкивает кого-то из старых. Содержание же этой информации, в свою очередь, зависит от пристрастий кого-то из Неизвестных, да и от сегодняшнего настроения общества вообще, а настроение... Одним словом, сложная это работа, в результате которой команды выходят на круг и играют — раз, другой, пятый, пока не получается такой дубль, в котором нужный счет выглядит наиболее правдоподобно. Только тогда объявляется день, в какой игра будет сыграна, и эмоты начинают нетерпеливо поглядывать на свои экраны. А кто обладает разрешением — дай свой шифр и смотри игру хоть за неделю. Смотри, но — помалкивай. Потому что строго запрещены две вещи: играть в тото и делиться известным тебе результатом с кем-нибудь другим; официально принято считать, что игра происходит именно тогда, когда ее показывают населению. И если тебя поймают — шифр прощай навеки, и стыда не оберешься, и надолго (если не навсегда) останешься с репутацией человека ненадежного.

А Форама — человек надежный. Мар Форама Ро, ученый шестой величины только, но зато работающий в институте нулевой степени молчания, да еще и в лаборатории нулевой степени, где ненадежным не место.

Он жевал и смотрел на экран. Нет, если уж везет, то во всем. После двух четвертей было уже шесть—два, вели Тигроеды, Красноухие проигрывали, туда им и дорога, пусть и всю жизнь продувают, пусть у них копья узлом завязываются, пусть их киперу с начала и до конца каждой четверти кольцо кажется жабой, чтобы он от кольца шарахался в страхе, только каждую десятую часть перехватывает, не то ему от своих будет и вовсе не спастись, заколотят, и придется Красноухим на каждую игру выходить с новым кипером, только к ним ведь и не пойдет никто, ни за какие коврижки, дураков нет. Седьмое кольцо! Ай-о! Нет, ну это просто блеск!

А теперь — все. Время.

— Спасибо, Опекун!

Даже неудобно, до чего ликующе получилось. Но игрушка-то какая была! Прямо хоть смотри вечером еще раз, вместе с Мин Аликой. А что, почему бы и нет? Эшамма наххай, как говорят проклятые враги на их гнусной планете, клин им в членоразделие!

Пора. Форама распахнул узкую дверцу в стене. Кабина была уже под током, на белом матовом диске красный сектор все уменьшался. Сюда опаздывать не рекомендуется. Путь кабины рассчитан не по минутам — по секундам: и вниз с яруса, и по боковому руслу; и к магистрали она подойдет в тот самый миг, когда с нею поравняется свободное место в бесконечной

череде плывущих мимо кабинок, и она точно займет гнездо, и опять-таки в нужную секунду окажется у перегрузки на поперечную магистраль, сработает автоматика, кабинку мягко перетолкнет с ленты на ленту, и поплывет она дальше — и Форама вылезет из нее в нужную секунду прямо в своей рабочей комнате. А не успеешь сесть дома, минута истечет — и ток вырубится, добирайся тогда как знаешь, опоздание не меньше, чем на час. Это в нулевую-то лабораторию! С ума сойти!

Впрочем, с Форамой такого не случалось. И не случится.

Сектор превратился в узкую иглу. Резко грянул напоминающий звонок. Это для разгильдяев. А Форама уже — вот он, готов. «Пожалуйста, — пригласил он себя. — Пожалуйста, садитесь, капитан Ульдемир!»

Кто?

Нет, черт его знает, откуда возникло в голове такое сочетание звуков. Ульдемир? Капитан?

Мар Форама Ро, вот кто он, ученый шестой величины, две совы на воротнике — еще не змеи, конечно, но уж и никакие не дятлы. В его возрасте две совы — неплохо, очень даже. Учитывая, что все — сам, своей головой, никто не тащил и не подталкивал, в автоматику Отбора и Продвижения никто не вмешивался и коэффициентов снисходительности не вводил. Да: мар Форама. Не просто Форама, — это только для друзей, — а именно Мар Форама. И никак иначе.

Он устроился поудобнее. Дверца защелкнулась. Езды тридцать семь минут. За это время настроимся на работу. Игра — в сторону, словно ее и не было, и Мин Алики — словно и не будет; тем более, что и она сейчас думает не о тебе, Форама, она — художница девятой величины, три кисточки на воротнике или на груди, если наряд без воротничка (женщины всегда что-нибудь придумают!), три кисточки. До лавровых листочков ей еще пахать и пахать, не говоря уже о ветках, а до хотя бы одного венка на воротнике ей и за всю жизнь не добраться. Но она честно пашет и до самого вечера думать о тебе, мар Форама, а для нее просто Форама, Фо, Фа или Рама (смотря по настроению) не станет. И только так оно должно, и только так может быть. Во всем нужен порядок.

Кабинка дрогнула. Поехали, мар.

Шахта. Узкий туннель: русло. Рокот направляющих. А вот и магистраль. Полоска открытого неба. Верхняя половина кабинки просветлела, сделалась прозрачной, свет выключился: никаких перерасходов энергии. Форама привычно поднял глаза, чтобы убедиться, что над ними, как всегда, второй ярус, эстакада, на которой, невидимые снизу, плывут такие же одиночные кабинки, плывут и одновременно перемещаются в рядах, для чего каждое шестнадцатое гнездо всегда остается

свободным для маневра: одним ответвляться раньше, другим позже, тем вправо, этим влево... Меняются соседние кабинки, в них — разные люди. Иногда — привлекательное женское лицо. Можно прижать к прозрачной стенке карточку с твоими координатами, можно взглянуть умоляюще, просительно сложить руки. Тебе могут, если захотят, ответить такой же карточкой, могут записать в памяти твои данные — тогда головка в соседней кабинке кивнет; или отвергнуть — тогда она отрицательно качнется. Хотя Фораме теперь это вроде бы и ни к чему: Алика его устраивала, особь хоть куда. И все же — мало ли что. Развлечение.

Потом он отвлекся, думая о работе. Минуты две рядом держалась кабинка со вполне достойной особью — он не заметил. Работа сегодня предстояла нешуточная.

Лишь на скрещении, где его переталкивали в поперечное движение, он поднял голову. Здесь примерно с минуту можно было видеть небо, не перечеркнутое эстакадой.

Небо было высоким, чистым, не очень еще светлым: рано, солнце где-то под горизонтом. Звезды уже пропали, но яркие огоньки, ярче любых звезд, виднелись, строго вытянутые в линию, в шеренгу, быстро продвигавшиеся фронтом. Можно было не считать: тридцать два огонька, не больше и не меньше. Оборот вокруг планеты — за семьдесят минут. За ними, в небольшом отдалении, тридцать два огонька поменьше, тоже шеренгой, каждый словно привязан к бегущему впереди яркому. Перелетели, быстро пересекли небосвод. Через пять минут покажется еще одна шеренга, точно такая же яркая, как эта первая, и за ней тоже будет следовать вторая линия — послабее.

Первые шеренги, огоньки поярче — это бомбоносцы вражеской планеты, той самой, что утрами и вечерами ярко восходит невысоко над горизонтом. Обтекаемые корпуса, начиненные адом. Кружат, непрерывно кружат над милым нашим миром. И ждут команды — неизвестного сигнала, который не перехватить, не отвратить. Тогда все шеренги над всеми меридианами враз наклонят носы и ринутся вниз — рвать, разносить, уничтожать жизнь.

Но на такой случай есть вторые шеренги: огоньки послабее — это уже не их, не вражеские, это наши охотники. Они мгновенно среагируют на любое ускорение своих поднадзорных и в тот же миг налетят, как ястребы на уток, — расклевать в пространстве, воспрепятствовать, не допустить.

Одновременно охотники тоже пошлют сигнал. Неуловимый для других. И сигнал этот примут уже наши бомбоносцы, что кружат над проклятой вражеской планетой. И наклонят носы, и стремительно упадут на тот чертов шар.

Правда, за ними устремятся охотники того мира. И опять: кто — кого.

У бомбоносцев есть средства против охотников. У наших бомбоносцев — против их охотников. Впрочем, у их бомбоносцев тоже есть подобные средства.

Но у наших охотников есть свое средство против их средства. Хотя у их охотников — тоже есть. Против наших.

И так далее.

А до того охотник не может ни там, ни здесь приблизиться к бомбоносцу ни на дюйм: известно, что при малейшей такой попытке бомбоносцы начнут атаку даже без команды своего Стратега, начнут незамедлительно.

Это записано во множестве договоров и соглашений между планетами, враждующими между собою издавна. Причину вражды каждая планета объясняет по-своему. Вражда эта и сдерживается договорами и соглашениями, в которых все записано: и количество разрешенных противным сторонам бомбоносцев, и грузоподъемность их, и разрешенная высота полета, и дистанция между бомбоносцами и преследующими их охотниками, и все прочее. И стороны свято блюдут договоры, иначе — каюк.

Иначе никак нельзя.

Так устроен мир, марширует над обрывом.

Не исключено, конечно, что можно было бы жить и как-то по-другому. Но что толку об этом думать: это не область Форамы Ро. Да и попривыкли все за многие годы к этим красивым, быстро пробегающим по небу огонькам.

Вот они уже за горизонтом.

И солнце взошло. Небо светилось, и следующая группа огоньков проскользнет уже невидимой.

Но пройдет в свое, точно рассчитанное время. Куда ей деваться?

И все-таки хорошо, когда солнце.

* * *

— Ну вот, Фермер, они ушли, — проговорил Мастер. — Шесть человек на две планеты. Самое большее, что мы могли сделать для этих миров, да и для остальных тоже.

— Такую малость не назовешь непобедимым воинством, — откликнулся Фермер, и в голосе было сомнение. — Каков твой замысел?

— Мне кажется, это единственный возможный путь. То, что я задумал, прямо связано с распространением Перезакония. Оно начнется с распада сверхтяжелых.

— Ты уже говорил, — сказал Фермер, кивнув.

— Сверхтяжелые — это их лаборатории. Но область тяжелых — это уже вооружения. Пока будет страдать наука, беспокойство людей вряд ли станет серьезным. Но стоит им понять, что процесс расширяется и вскоре придет очередь вооружений, как они поймут, что нужно что-то срочно предпринимать. Уничтожить заряды, иначе те начнут рваться сами собой в арсеналах и на стартовых позициях. А как только начнет уничтожаться оружие, миллионы людей поймут, что опасность страшного конца перестала существовать. И вот это-то и будет, Фермер, источником той вспышки Тепла, которая так нужна нам с тобой. Всему миру.

— Не знаю... — покачал головой Фермер. — Те, кто привык аргументировать оружием, пойдут на любые хитрости, чтобы подольше сохранить его. Но природу не перехитришь... Однако прежде всего они должны сообразить, в чем тут дело! Смогут ли они разобраться в таких вещах, как Перезаконие? На такие рубежи наука выходит не сразу, это происходит куда позже, чем изобретение и производство сверхмощных зарядов. Но и поняв, они еще долго не будут в это верить. А волна не станет ждать. Не получится ли, Мастер, что вместо вспышки Тепла мы получим новый ужасающий всплеск Холода? Что мы будем делать тогда?

— Для того мне и понадобились эмиссары, Фермер, чтобы... Конечно же, там не сразу захотят понять. Но тогда мои люди должны найти способ сделать сведения о подступающей угрозе всеобщим достоянием.

— Апеллировать к народу?

— К народам. Это должно происходить с обеих сторон.

— Как твои эмиссары смогут осуществить такое?

— Не знаю. Никто сейчас не знает. Все зависит от реальных обстоятельств, а предусмотреть их мы не в состоянии. Потому мне и были нужны эмиссары с высокой способностью ориентироваться и решать самостоятельно.

— Ты настолько в них уверен?

— Насколько вообще можно быть уверенным. Я знаю их прошлое.

— У тебя расчет, Мастер? Или скорее азарт?

— Точный расчет, Фермер. Да еще с перспективой.

— Что ты имеешь в виду?

— Говорить пока рано. Как дела на твоей Ферме?

— Многое растет. Ощутимо теплеет. И кое-где уже вызревает новый облик мира. Мешают такие вот вспышки Холода. Но с твоей помощью мы в конце концов научим быть людьми тех, кто пока еще не умеет жить по-настоящему...

— Надеюсь вместе с тобой. В итоге без этого миру не обойтись. Он просто не сможет существовать.

* * *

Полуметровой толщины бронированные двери всосались в свои гнезда, отсекая допущенных к непосредственному наблюдению за экспериментом от остального мира. Они остались в небольшой комнате, уставленной экранами, индикаторами, съемочными и регистрирующими камерами, множеством других щупалец разума. Еще одна стена, толще и неприступней, отделяла их от ускорителя. Он уже работал, разгоняя поток частиц. Люди напряженно вглядывались в приборы, каждый в свои. Эксперимент был не первым в серии, и предыдущие проходили удачно. Но была между ними разница: тогда речь шла о получении и сохранении отдельных считанных атомов очередного элемента, на сей раз сверхтяжелого и, как ни странно, достаточно устойчивого в определенных условиях. Самым сложным и было — найти нужные условия; а когда это удалось, перед лабораторией поставили новую задачу: вырабатывать элемент непрерывно, так сказать, поставить на поток, потому что теоретически предсказанные его свойства позволяли надеяться на применение нового вещества в хозяйстве с большой выгодой. Обходилась работа несусветно дорого, но элемент обещал стать великолепным источником энергии для космических аппаратов, где компактность важнее многого прочего, и, возможно, с его помощью можно было бы попытаться наконец выйти за границы привычного пространства; стратегов же, помимо этого, интересовала и способность нового элемента высвобождать нужную энергию (при нарушении условий его содержания) стремительным скачком, и куда больше энергии, надо заметить, чем выделяется ее при синтезе легких, таких, как, скажем, гелий. Поэтому к началу сегодняшнего эксперимента неожиданно прибыли два новых стратега: генерал двух звезд и бригадир первого ранга — оба, впрочем, ученые, достаточно известные в своей области.

Об их приезде никто в институте не был предупрежден заранее; возможно, там, у стратегов, решение об их участии в эксперименте тоже было принято внезапно. Поскольку число мест в наблюдательном посту, откуда велось управление экспериментом, было ограниченным и допускать туда людей сверх установленного счета не полагалось (хотя бы потому, что им не втиснуться было), двум ученым из лаборатории пришлось остаться на периферии опыта и наблюдать за ходом событий, лишь считывая показания контрольных компьютеров, вместо того чтобы видеть все своими глазами в камерах индикаторов. Обидно; но со стратегами не спорят, именно они ведь держат зонт, под которым можно спокойно жить и работать.

А одним из тех, кому пришлось остаться, оказался мар Форама Ро. Как ни раздувай горло перед зеркалом, сколько ни мети пол хвостом наедине сам с собой или, по крайности, перед Мин Аликой (не то чтобы очень уж юная, она тем не менее нередко бывала просто-таки по-девичьи наивной), — был он ученым всего лишь шестой величины. Второй оставшийся, мар Цоцонго Буй, был пятой величины — но и ему пришлось экспериментировать по эту сторону двери, хотя, если вникнуть, пятая научная величина была не только не ниже бригадира первого ранга, но даже и чуть повыше, и уж во всяком случае равна, в то время как шестая с любой позиции все же уступала. В данном случае Форама втихомолку даже порадовался тому, что не он оказался самым обиженным, даже больше: обидели, строго говоря, мара Цоцонго, а Фораму, так сказать, лишь косвенно, не лично, а по логике вещей. Мара же Цоцонго обидели потому, что ученых пятой величины среди экспериментаторов было трое, и двое остались, а ему пришлось выйти. Тем самым ему как бы показали, что он — хуже тех, что было на самом деле, разумеется, вздором; или же имели в виду, что его тема не столь важна? Бред: он-то ведь и занимался средой сохранения нового элемента, единственный в этой хилой лаборатории, где собрались, как всему миру известно, в основном бездари и завистники, нещадно эксплуатировавшие чужие мозги, грабящие простодушных и наивных дурачков, вроде Цоцонго Буя и Форамы. Как начинать сомнительную тему — так выталкивают вперед их: самый первый эксперимент, если вспомнить, они с Форамой проводили вдвоем, Форама разрабатывал элемент, очередной в серии сверхтяжелых, а Цоцонго условия сохранения его стабильности, хотя тогда ни одна собака в такую возможность не верила. А когда в лаборатории запахло грибным соусом, прочих сразу налипло, словно грязи на сапог, и все — величины, и у каждого — право подписи научных работ, и вот в конце концов тебя выкидывают за дверь полуметровой толщины и ты сидишь, словно прислуга, в прихожей, елозишь штанами по дешевому синтетику диванчика, пока те там, тужась, втискивают свои вонючие имена в анналы науки, да, как прислуга, и для полного сходства остается только принять на душу малый грех из плоской фляжки, закусить рукавом и, достав колоду затрепанных, овальных от долгого употребления карт, сразиться в накидного мудреца по два носа за очко.

Сидели они, впрочем, не в прихожей, а в своей рабочей комнате, и ворчал Цоцонго хотя и не без оснований, но в общем не по делу, так что Форама поддерживать его не стал. Не потому, что не был согласен, да и он сам мог бы сказать что-то в этом роде, но раз уж высказался другой — к чему повторять? Лишнее сотрясение воздуха... Он долгим взглядом

посмотрел на коробочку трансляционного динамика на столе; Цоцонго Буй перехватил этот взгляд, моргнул и смолк, а затем, ухмыльнувшись, нашел несколько теплых и похвальных слов о каждом, кто участвовал в эксперименте, а о стратегах — особенно. Потом уселся поосновательнее, извлек и в самом деле колоду — только не карт, а вчерашних фотографий, половину перебросил Фораме — и оба они погрузились в рабочее молчание. Изредка то один, то другой поднимал глаза к дисплею компьютера, где медленно ползущая кривая показывала, что все большая масса элемента, который, увы, не назовут форамием, а славно было бы, — накапливалась в среде, которую тоже не будут именовать средой Буя, хоть ты тресни, потому что для этого нужно, как минимум, право подписи, а у них, ни у одного, ни у другого, такого права пока что нет, не выслужили, а нет подписи — нет и имени. Ничего не поделаешь, таков порядок, и если вдуматься, он даже разумен, очень. Иному, конечно, может показаться обидным, что открытие, сделанное им, назовут чужим именем, на самом же деле все правильно. Потому что сейчас еще неизвестно, что из тебя получится в дальнейшем; открытие ни о чем не говорит — открытие и дурак может сделать, если попадет в нужные условия. Открытие приведет лишь к тому, что тебя заметят, ты попадешь в учетный формуляр. И станешь работать дальше. Пройдут годы, все убедятся, что человек ты не случайный, мало того — ты человек надежный и нормальный, с устойчивой психикой и стабильной работоспособностью, пьешь и гуляешь не больше, чем положено, и именно там, тогда и так, как полагается; вот тут-то ты и получишь право подписи, иными словами — право ставить свое имя на трудах и открытиях. Может быть, конечно, к тому времени открытия и прочие успехи у тебя уже получаться не будут; чаще всего оно так и бывает. Но это никакая не беда: будут молодые, из которых открытия станут сыпаться, а до права подписи им останется еще дальше, чем тебе сейчас, — и на их открытиях будет стоять уже твое имя, иными словами, долг тебе вернут. Так что все обосновано, все справедливо, придумали это люди поумнее нас, и нечего попусту расходовать фосфор и адреналин. А надо работать, вот хотя бы в данном случае — просматривать фотографии.

Настало незаметно время обеда, и они пошли наверх, в столовую, не без тайного (хотя и стыдного) злорадства по поводу тех, кто все еще никнет в глухой и душноватой (порой барахлила вентиляция) комнатке, голодные и злые. Захотели эксперимента — вот вам эксперимент, а мы тем временем поправим наше расшатавшееся с утра здоровье...

Неизвестно, как со здоровьем, но настроение обоих обиженных после обеда поднялось, хотя кто-то там и пытался поост-

рить на тему, что нулевая, мол, лаборатория принимает калории через наиболее заслуженных своих представителей. Цоконго с Форамой только таинственно улыбались. Под конец, отложив салфетку, Цоконго сказал:

— Совсем было я решил уходить после этого свинства. Но, пожалуй, еще подожду. Любопытно все-таки.

Сытому Фораме думать не хотелось, и он сказал то, что лежало на поверхности:

— Так тебя и выпустили сразу с нулевого уровня. Да и где лучше?

Где лучше — это была, действительно, проблема. В их институте, и в особенности в их лаборатории, на кого бы ты там ни работал, мысли твои шли в дело, получали практическую реализацию. В других же местах, куда стратеги почти или вовсе не заглядывали, разработки отправлялись чаще всего в архив, в надежде на то, что когда-нибудь что-нибудь этакое кому-то понадобится: если исследованиями занимаются десятки миллионов человек на планете, то все, конечно, не реализуешь, вот и работаешь в стол — в надежде на будущее, а доживешь ли ты до этого будущего, даже змей не знает. Нет, уходить из института — не дело. Другого такого богатого Фонда, пожалуй, и не найдешь. Форама, во всяком случае, об уходе и думать не собирался. Потому что все устроено разумно, и пусть новый элемент форамием и не назовут, но уж третья сова мимо его воротника не пролетит, и пятую величину он получит, а Цоконго — трудно сказать, он не так уж давно носит три совы, срок еще не вышел. Но и он свое обретет — хотя бы благами мирскими. Так что зря он булькает.

— Ты давай-ка, побереги нервы, мар, — сказал Форама, поднимаясь. — Те двое пятых — они же вещие, как же было без них обойтись? Ты лучше скажи: у тебя шифр на предварительный просмотр есть уже?

— В пределах суток.

— Вот, теперь получишь — за двое суток до. Смотрел нынче?

— Не утерпел. Ну, что скажешь, а?

— Какой разговор! Классно их пригладили!

Подробнее обсуждать результат игры, для всех остальных здесь еще только предстоящей, они не стали: ушей кругом — миллион. Спустились к себе и опять уткнулись в снимки. Эксперимент все еще продолжался. Решили, наверное, догнать массу до круглого числа, до подкритической. Ну, их дело. Прошел еще час, полтора...

— Форама!

— Аюшки?

— Ты на распады обращаешь внимание?

Полураспад у нефорамия (так они, не без иронии, называли между собой никак еще не нареченный элемент) измерялся столетиями, но какие-то из синтезированных атомов, естественно, взрывались уже сейчас, и на снимках это фиксировалось.

— Само собой. А что?

— Или у меня в голове искривление пространства, или... У нас еще час времени; давай-ка заглянем в позавчерашние материалы.

— Зачем?

— Скажу.

Он вытащил из шкафа несколько сот снимков, лежавших в хронологическом порядке. Перебирая, стали сравнивать.

— Видишь? Раз, пусто, пусто, пусто... Теперь вчерашние: раз, раз, пусто, раз. Это уже не вероятностный разброс, а?

— Что же по-твоему: ускорение распада? И в таком темпе?

— Смотрим, смотрим дальше!

Они перебрали все снимки.

— Видишь? Тенденция не только сохраняется, но впечатление такое, что вчера к вечеру распад стал сильнее, вчера утром чуть ослаб, а потом снова стал нарастать — все больше и больше.

— Интересно... А качества среды не могут меняться с такой периодичностью?

— Ну что ты! Среда абсолютно стабильна, за это я ручаюсь.

— Может быть, колеблется уровень питания, и потому среда варьирует?

— Проверим. Хотя вряд ли: у нас же своя силовая установка. Но посмотрим.

Посмотрели ленту записи параметров питания. Нет, все в порядке, ровная, идеальная площадка.

— Давай-ка запустим в машину, пусть даст точную зависимость распада от времени, коэффициент нарастания, уменьшения... — Форама подошел к пульту, но тут же вернулся. — Там все застолблено до утра. Если «весьма срочно», то можно было бы еще успеть до шабаша.

— Кто же, помимо шефа, даст «весьма срочно»?

Они поглядели в сторону двери. Шеф был в эксперименте, естественно: может быть, его-то имя и наклеят на новый элемент, тут волей-неволей полезешь в наблюдательную. Рискнуть от его имени? Самоволия старик не одобряет. Весьма чувствителен к своим прерогативам.

— Да ладно, — сказал Цоконго, — не так уж и горит. Просто интересно. Ну, досмотрим до конца: что было вечером и ночью.

Ночные снимки показали некоторое ослабление — однако не до того уровня, какой был прошлой ночью. А сегодняшних утренних снимков здесь еще не было. И не будет, пока эксперимент не завершится.

— Они там что, решили до утра сидеть?

— Дело хозяйское, — Форама пожал плечами. — Я, например, не намерен. — Он усмехнулся. — Меня ждут.

— А-а... Ну, желаю успеха.

— А ты?

— Да тоже поеду. Спать. Вчера пересидели, играли в «мост». Заеду отсюда на корт, постукаю по мячику и — до утра.

— Поспи и за меня.

— Мне и самому-то не хватает.

— Злобный человек, — сказал Форама, — мар Цоцонго Буй.

Приглушенный звук гонга донесся по трансляции. Еще один день прошел. Так вот они и будут идти до самого конца, когда после очередного тестирования тебе скажут: «Мар Форама...», нет, тогда уже даже «Го-мар Форама, ваши заслуги велики и неоспоримы, и дорожа бесценным вашим здоровьем, нуждающимся в некоторой поправке, мы считаем грустным для всех нас долгом...». И так далее.

Что тогда останется? Мин Алика? Если она — или любая другая особь иного пола — еще будет интересовать его. И предварительный просмотр игр — если только право это не отберут вместе с институтским шифром.

Но это когда еще будет...

— Моя кабина! Удачи!

— Удачи, Форама!

Координаты Мин Алики уже заложены в маршрутник. Отмечены на нем и два заезда по пути: за цветами и за кое-какими вкуснотами, какие Мин Алике по скромности ее положения в обществе еще не полагались, но до которых она была охоча не менее, а то и более, чем какая-нибудь дама с тремя венками на том месте, где полагается быть груди, — дама, вкуснот уже не потребляющая по причине диеты и сохранения воображаемой линии. Можно было бы, конечно, привезти ей и что-нибудь из косметики — шестого, как-никак, а не девятого разряда. Ладно, это — в другой раз.

Щелк, кабина. В путь! Форама даже оглядываться не стал на стену, за которой все еще выгоняли задуманное количество его элемента. Пусть живут до завтра без него. Всему свое время.

Форама ехал к Мике — так он называл ее для краткости и ласкательности, — не очень задумываясь и о ней самой, и о характере их отношений, и о будущем — если только оно было

для них обоих совместным. Отношения их он и для себя, и для всех прочих называл любовью: хорошее слово, благородное, литературное, как бы отвергающее все, что выходит за рамки приличий. Познакомились они случайно — ехали в соседних кабинках, так оно чаще всего и случается; когда сходились — был интерес, потом осталось удовольствие: и чувственное — была она хороша собой и все как надо и вроде бы духовное: когда Форама не думал о работе или игре, то думал о Мике, вспоминал последнюю встречу и предвкушал будущую. Надо ведь, чтобы был кто-то, о ком можно думать и даже — в какой-то мере — заботиться. Была Мика не очень требовательной, радовалась каждой мелочи, чему он хотел — покорялась, вела себя тихо, спокойно, уравновешенно. Короче — лучшего и желать нечего. Повезло ему.

Может быть, это и была любовь. Только он знал четко: если Мики завтра у него не станет — переживет спокойно и обойдется. Мало ли что может случиться: найдет она другого, кто больше понравится, или переведут ее куда-нибудь к антиподам, или еще что-нибудь, в жизни все бывает. Да, переживет.

Это-то и хорошо было: нежность к ней он испытывал, и потребность в ней, как в женщине, тоже имелась — и в то же время оставался он независимым от нее, от самого ее существования.

Он не думал, как порой думают, что это — временное, не настоящее, что вот однажды грянет гром — и появится некая царица фей, настоящая избранница. Что думать попусту? Может быть, Мика и есть та самая царица фей, а остальное все — сочинительство, вымысел. А если даже и нет, то все равно сейчас нечего размышлять. Появится что-нибудь похожее — тогда и станем думать.

В таком случае, полагал он, Мика отойдет в сторону. Уйдет тихо, без упреков, не пытаясь удержать. Ну, поплачет вечерком одна — и успокоится. Смирится. А потом найдет другого. Молода еще, красива, в меру деловита, и в ее возрасте девятая величина котируется: считается, что все еще впереди.

Хорошо, когда все в жизни разумно, дорогой мар Форама!

* * *

Когда он вышел из кабинки в ее комнату, Мин Алика встретила его как всегда — радостно, как бы снова, в который уже раз, приятно удивленная тем, что он есть и что снова — с нею. Всплеснула руками, увидев цветы, и правильно сделала: цветы были хоть и не живые (таких ему не полагалось еще), но из разряда квазиживых — белковые, а не пластиковые. Он выгрузил на стол коробочки с лакомствами, потер руки и

подмигнул ей, а она звонко расхохоталась, как будто это было уж и не знаю как остроумно.

Она сварила привезенный им кофе — почти на треть порошок был натуральным — с пряностями, которые хранились у нее неизвестно с каких времен и неведомо как к ней попали, уж никак не ее величина это была; она об этом не распространялась, а он не спрашивал: у каждого есть прошлое, не хочешь делиться — не надо, независимость всегда заслуживает уважения. Он тем временем поставил музыку, смотреть игру второй раз ему расхотелось: все-таки присутствие Мин Алики возбуждало его больше, чем ему казалось, когда ее рядом не было. Ужинали медленно, не спеша, получая удовольствие от вкуса. Закончив — посидели, пока играла музыка, потом даже немного изобразили танец — только изобразили, стоя на месте, потому что развернуться тут негде было, все рассчитано точно, такова современная архитектура, чей девиз — скромность и целесообразность. Когда музыка утихла, Форама глянул на женщину в упор, улыбаясь глазами. И Мика, как всегда бывало, с самого первого вечера, опустила глаза, чуть покраснела и встала. Это Фораме нравилось. Скромность украшает. И послушание — тоже.

Мика прежде всего убрала посуду (порядок должен быть, да иначе и не приготовиться было ко сну), потом Опекун сам убрал столик в переборку и выдвинул ложе: Опекун признавал все естественное, любовь тоже. Мика неспешно разделась, аккуратно складывая каждую вещицу. Легла, готовая принимать ласку и сама ласкать в ответ. Он не заставил себя ждать, разделся так же аккуратно. Произошло. Мика поднялась и направилась в душ. Пришла освеженная, тогда пошел он. Вернувшись, снова лег с нею рядом. Чувствовалась приятная усталость — легкая, вечер ведь еще не кончен; на душе было очень спокойно, без лишних эмоций — хорошо, одним словом. Форама провел рукой по ее плечу, теплому, гладкому, покатому. Приподнявшись на ладони, заглянул в глаза — бездумные, спокойные. И знал, что и у него самого глаза сейчас спокойные, сытые, довольные. Нет, это очень хорошо придумано — дважды в неделю полежать так вот рядом с женщиной, беззаботно, естественно...

И вдруг он снова приподнялся на локте — рывком, словно укололо что-то. Странная тревога, глубокая и острая, вошла, повернулась под сердцем. Он схватил Мин Алику за плечи, приблизил взгляд к ее глазам:

— Мика! Мика!

— Что, милый?

Она смотрела на него по-прежнему безмятежно — но не долее секунды; потом и в ее глазах вспыхнуло что-то, насторожилось, напряглось, завертелось...

— Мика!

— Фа!

Они не знали, что еще сказать, — мыслей не было, только ощущение непонятной, необъяснимой тревоги, чувство стремительного падения куда-то, — но может быть, то был взлет!

— Мика! Мика-а!

— Да. Я. Я. Это я... — Она умолкла на миг, и вдруг, словно не своими губами, как бы из глубины памяти всплыло что-то страшно давнее, почти забытое: — Не бойся! Все будет хорошо...

Он обнял ее, обхватил, прижимая, втискивая в себя. И она обхватила его руками неожиданно сильно; грудь — в грудь, глаза — в глаза, и непонятно, ничего не понятно, это не она, и это не я... Что-то происходит в мире...

— Слушай! Я... я люблю тебя!

— И я люблю тебя. Никогда не думала... Не знала...

— И я не знал. Как мы раньше? Как?.. Прости...

— И ты прости... Я думала, это так, знаешь... Ты — спокойный, удобный, не жадный... А я люблю тебя, оказалось...

— А я! А я!

Несуразные какие-то слова, шепотом, секретно, из губ в ухо, щека к щеке. А ведь только что все было так спокойно...

* * *

Спокойно было, никто не мешал, ускоритель действовал прекрасно, все приборы — тоже, и экспериментаторы, время от времени обмениваясь короткими замечаниями, вытирая пот и поглаживая голодные животы, за девять с лишним часов насинтезировали чуть ли не кубик нового сверхтяжелого элемента, доказав тем самым, что возможно и его производство в промышленных условиях, где оно, несомненно, обойдется значительно дешевле. Работа шла к концу, и они собирались уже прекратить.

Никто из них не знал, и никто на целой планете не знал, и на вражеской планете тоже никто — о выплеске Перезакония. Это не их физика, до нее им еще далеко было, требовалась, самое малое, еще одна мыслительная революция.

А первые щупальца волны уже шарили по их планетной системе, и одно из них неизбежно должно было задеть этот мир. И задело.

Никто, ни один астроном и ни один прибор, ничего не заметил и не зарегистрировал. Потому что, строго говоря, нечего было и замечать: Перезаконие — субстанция не вещественная, даже не поле, а всего лишь определенное изменение свойств пространства. А со свойствами пространства связаны и действующие в нем законы, по которым строится и изме-

няется мир, в том числе законы фундаментальные. По сути, закон природы — это описание поведения материи в пространстве, обладающем данными свойствами. И пока свойства его не меняются, закон остается справедливым, и можно даже представить, что он вечен.

Однако стоит свойствам пространства измениться...

Да разве такое возможно?

Лучше спросить: да разве могут они не меняться, эти свойства, когда все сущее находится в непрестанном движении и развитии? Не только могут — неизбежно должны меняться. Или — под влиянием каких-то иных сил, о которых мы пока подробнее не будем.

И меняются свойства скорее скачкообразно, чем постепенно, подобно тому, как скачком переходит вещество из одного агрегатного состояния в другое. Вода в лед, например.

Приблизительное, конечно, сравнение, и все же...

Перезаконие, о котором тут говорится (таким словом точнее всего будет выразить понятие, которым пользовались Фермер и Мастер, представители высоких, много знающих и могущих цивилизаций), есть всего лишь изменение определенных законов природы в связи с изменением свойств данного пространства.

Это было частное Перезаконие, и касалось оно — в первых своих волнах — лишь одного: условий существования атомов сверхтяжелых элементов. Потому что законы, по которым взаимодействуют частицы, точно так же зависят от свойств и качеств пространства, как и все остальные. И сверхтяжелые стали распадаться. Как если бы кусочек льда попал в горячую печь.

И первым распался самый тяжелый — именно тот, синтезом которого так не ко времени занималась нулевая лаборатория в нулевом институте.

Трудно сказать, сколько было элемента — много или мало. Смотря для чего. Планета в целом этого факта даже не заметила.

Но для института его оказалось предостаточно.

Грянуло. Испарилась камера, в которой накапливался новый элемент. Как не бывало мощных стен: бетон — вдребезги. Осели перебитые перекрытия. Содрогнулась земля. Покосились эстакады в окружающем районе. Кровля рухнула вниз.

Ускоритель, приборы, записи, люди — в пепел.

Хорошо, что было уже поздно и в институте и вокруг него людей почти не было. Кроме, конечно, самих экспериментаторов.

Тревоги, сигналы, сообщения, звонки, запросы, расследования — тут же, немедленно: дело нешуточное. Какие уж тут

шутки. Неверный расчет? Диверсия? Еще что-нибудь? Кто виноват? С кого спросить? Найти! Не-мед-лен-но!

Найдут. Хоть на дне морском.

* * *

Впервые за время их знакомства, за два года с лишним, Форама не поехал на ночь домой, хотя раньше наступал час — и все у Мики начинало казаться ему чужим, неудобным, стесняло, вызывало досаду, происходившую, наверное, от ощущения, что все, что хотел, он тут сделал, и пора отложить это в сторону, словно опустошенную тарелку, — отложить до следующего раза. Точно так же не приходило ему в голову заночевать в лаборатории — если, конечно, того не требовала работа.

Но сейчас он о доме не то чтобы не думал, но странным казалось ему, что он вдруг оторвется от внезапно открывшегося ему родного и необходимого, чтобы замкнуться в (так теперь понималось) душевном неуюте одиночества, до сей поры его вполне устраивавшего. Форама даже не сказал Алике, что не поедет к себе, и она его не спрашивала: все и так было ясно, те двое, что еще существовали, когда Форама несколько часов назад появился на пороге, — те двое исчезли, и возникло одно, хотя и двойное, двуединое — как электрон (подумал Форама), обладающий как бы взаимоисключающими друг друга качествами, но живущий устойчиво несмотря на — или, может быть, именно благодаря этому. Они так и не вставали больше с постели, разве что воды напиться, безвкусной, примет не имеющей, но и безвредной зато водопроводной жидкости — и говорили, говорили, словами, а то и без слов: взглядом, улыбкой, слабым движением головы, кончиками пальцев. Все остальное ушло далеко, и Форама, например, не подумал даже, как будет он наутро добираться до работы по чужим каналам, где для его кабинки не предусмотрено гнезд в графике движения; не позаботился он заказать с вечера резервное гнездо (что было, в принципе, возможно) и не настроился на ранний подъем — если бы выехать часа на два раньше обычного, когда линии еще свободны, он добрался бы до института без особых затруднений, но тогда надо было соответственно настроить кабинку, прежде чем отпускать ее. Все это даже не появилось в мыслях, потому что понятия «завтра» не возникало, а было лишь всеобъемлющее «сейчас», и в нем заключалась вся жизнь и весь ее смысл.

Так они и забылись, тесно рядом, и от чужого тела исходило теперь не ощущение помехи, как оно непременно было бы раньше, потому что у обоих за годы одиночества выработалась привычка спать по диагонали даже на очень широком

ложе, но ощущение спокойствия, уюта, близости, счастья. Они были сейчас — одно и захлебнулись сном, когда уже не различить было, где что и — чье.

А когда они открыли глаза, вокруг находились чужие люди, и стояли, и смотрели на них, обнаженных и тесных, смотрели без любопытства или сочувствия, или осуждения, или зависти; смотрели деловито. Ни возмутиться, ни хотя бы удивиться всерьез любовники не успели; им тут же было сказано, что — срочно, важно, а подробности будут потом. Фораме велели одеться; он не протестовал, потому что в зажженном свете разглядел уже на воротничках сердечки (червонной мастью звали этих ребят в просторечии), так что протесты оказались бы ни к чему, во вред только. В голове мелькали по две дюжины кадров в секунду, спонтанные догадки о возможных причинах столь необычного для порядочного человека вызова; нет, не было на Фораме грехов, не то что сознательных — об этом и речи нет, — но даже и случайных, непроизвольных; у него за последний год даже ни одного знакомца не появилось, в барах и локалах он не бывал, в компаниях тоже, характер у него был не очень общительный, ему с самим собою было хорошо и весело. Так что разболтать он ничего не мог, об остальном говорить не стоило... Пока это мелькало, и он в таком темпе приходил к выводу, что причина может быть связана только с институтом, — но тогда к чему червонные? — он, выполняя вежливое приглашение, попытался было встать, но не смог — Мин Алика не пускала, обхватила руками и ногами, забыв или не желая помнить, что была нагой перед полудюжиной посторонних, здоровых мужиков в соку, — обхватила, приросла, затихла. Может быть, блеснуло у нее в голове, что это — служба нравов, но тут она вины не ощущала: находились они дома, наедине, оба свободны, наркотиков не употребляли, денежных отношений между ними не было, служебных тоже — никакая мораль не преступалась, даже с полицейской точки зрения... Форама понимал, что медлить не следует, однако не стал отрывать ее от себя резко, но нежно попросил отпустить его, потому что все это — бред собачий и недоразумение и что за час-другой все выяснится и образуется. Да он и был уверен, что иначе просто не может статься.

Люди с сердечками не стали грубо торопить его, видя, что он и сам все понимает и зря тянуть волынку не будет, ибо это лишь себе во вред. Они даже отвернулись от ложа и лежавших, бегло оглядывая стены, засматривая в шкафчики, один вышел в душ и вскоре возвратился с пустыми руками, другой осмотрел одежду Форамы и, не стесняясь, женскую тоже, аккуратно сложенную Микой вчера. Мин Алика дышала рывками, а Форама, нашептывая, целовал и гладил ее, кое-как натянув поверх простыню, и наконец, повинуясь успокоитель-

ным звукам его голоса, женщина расслабилась, и он сразу же поднялся, накрыл ее одеялом, тут же кивнул ожидавшим и прошел в душ. Чувствовал он себя почти бодро: осмотр, учиненный червонными, был поверхностным, не специальным, какие проводятся по особому указанию, а сопутствующим, профилактическим, для какого ни указаний, но даже причины не требовалось. Значит, и на самом деле пустяки какие-нибудь.

Перед уходом он еще поцеловал ее — Мин Алика все лежала, без слов, без звука, лишь как-то странно содрогаясь всем телом, — и пробормотал: «Позвоню, как только выяснится. Ты сейчас же, как встанешь, сообщи на всякий случай моему законнику», — и успел записать координаты законника прямо на стенке; ему не препятствовали, он был в своем праве, лишь один из пришедших, старший, судя по трем сердечкам на воротнике, мельком просмотрел то, что написал Форама, потом глянул на часы на стене и потом на свои, на запястье. Они вышли, и лишь вдогонку им прозвучали первые за все время слова Мин Алики: «Не бойся, все будет хорошо», — сказала она четко, без призвука слез или ужаса, и Форама успел оглянуться, улыбнуться, насколько хватило сил, и кивнуть.

Таким способом решилась для него транспортная проблема: червонные не пользовались линейным транспортом, в их распоряжении находился воздух. Лодка ждала на крыше. Дома, линии, эстакады, еще пустые, промелькнули внизу в предутренних сумерках, высоко вверху проскользили очередные тридцать два огонька, и еще столько же за ними, — все покосились на них равнодушно, зрелище было привычным, а все же каждый раз что-то заставляло поднять голову и хоть мельком, но увидеть; жило, видимо, в подсознании понимание того, что когда-нибудь огоньки эти могут оказаться последним, что ты увидишь в жизни... Форама не гадал, куда везут, знал, что вряд ли угадает, чего же зря терзать себя, привезут — скажут, сейчас важно одно: ничему не удивляться, не спрашивать и не возражать, иначе может возникнуть неблагоприятное впечатление, ибо кто не знает за собой вины, тот и не возражает, ерепенится лишь тот, у кого рыльце в пушку. Поэтому Форама думал сейчас только об Алике, жалел ее, оглушенную таким завершением их первой любовной ночи, первой — потому что два года до того в счет не шли; жалел и представлял сейчас каждое ее движение и каждый взгляд так четко и неоспоримо, словно сам стоял рядом и видел ее, и сжимал зубы от томления и бессилия... Тем временем ровно нарезанные кварталы промелькнули внизу, и вот лодка повисла над чем-то непонятным. Словно странный цветок раскрыл внизу свои неровные, грязно-черные со ржавыми подпалинами лепестки. Не сразу понял Форама (шесть пар глаз впились в него

в этот миг), что это был их институт, но не нормальный, каким выглядел он на снимках и рисунках, а нелепо искалеченный, обезжизненный, словно кто-то сверхсильный неуемно буйствовал внизу и разодрал корпус вверх и в стороны. Так оно и было, но Фораме знать это было неоткуда, и лицо его застыло в удивленном ужасе, приникнув к окошку снижавшейся лодки, потом глаза на мгновение оторвались от развалин, обошли медленно, словно в поисках разгадки, всех шестерых — те глядели сурово — и снова приковались к искореженному бетону, от которого еще поднимался тонкий и холодный дым.

Лодка села прямо в развалинах, все вылезли из нее и пошли тесной группой, окружив Фораму, но, впрочем, никак не стесняя его движений. Шли перекосившимися, полуобрушенными коридорами, светя фонариками, перелезая через завалы, где глыбы бетона с торчащими, разорванными, словно паутина, прутьями арматуры были перемешаны с обломками мебели, приборов, битым стеклом, обугленными тряпками, в какие превратились ковры, гардины, чехлы, спецодежда, оставленная работавшими. Перебираться было трудно, местами — рискованно, шестеро помогали друг другу, в опасных местах оберегали Фораму — и все без слова, беззвучно. Спускались с этажа на этаж по лестницам, иногда висевшим на нескольких уцелевших прутьях; Форама лишь вздыхал, сокрушенно и недоуменно, но истина уже начинала брезжить перед ним, и когда они вошли в относительно уцелевшее, усыпанное только хрусткими осколками стекла помещение в самом низу, на ярус ниже бывшей их лаборатории, он, кажется, почти сообразил уже, что такое произошло или, во всяком случае, могло здесь произойти, — хотя все, что он знал и мог предполагать, не давало никаких оснований думать, что это должно было произойти. И он в нетерпении все убыстрял шаг.

* * *

Люди, поспевшие сюда до них, не томились в ожидании Форамы и не выглядели уже раздавленными происшедшим, хотя в первые минуты пребывания здесь наверняка именно такими и были. Они, разместившись кое-как вокруг нескольких железных верстаков (в соседнем помещении находилась мастерская), переговаривались вполголоса, как при покойнике; покойником был институт. Пощелкивали счетчики, показывая, что уровень радиации, хотя по сравнению с нормами и повышенный, оставался все еще относительно безопасным для людей: сверхтяжелый элемент распадался чисто. Слышались тут и другие звуки, ранее в институте не воспринимавшиеся, звуки улицы: рокот линий за квартал отсюда, приглушенное

щелканье переходов, неожиданно четкие голоса редких в этом час прохожих, переговаривавшихся с солдатами оцепления. Обнаружив, что за ночь привычное, соседствовавшее с ними, изменилось не к лучшему, люди связывали теперь открывшуюся им картину с ночным толчком и грохотом, которые большинство восприняло с испугом, быстро миновавшим, так как толчки не повторялись, а на экране в это время была игра, и отвлекаться не оставалось времени. Кроме того, обширная территория вокруг института, засаженная деревьями, пригасила звук... Различался в теперешнем слуховом фоне и голос механизмов, уже доставленных сюда и принявшихся осторожно разгребать и растаскивать обломки, так что переговаривавшимся в уцелевшем помещении людям пришлось поближе наклониться друг к другу, чтобы слова долетали. Все сошлись теснее и сдвинули головы, кроме Цоцонго Буя, сидевшего поодаль и не участвовавшего в разговоре. И потому, что он держался особняком и молчал, а остальные беседовали, возникало впечатление, что он был подсудимым, а остальные — судьями, и сейчас обсуждался вердикт. Форама, завидев коллегу, тотчас же двинулся к нему, обойдя сваленные в кучу, привезенные, но никем не надетые антирадиационные костюмы; подошел, и они обменялись кивками. Форама взглядом спросил, Цоцонго пожал плечами, кожа его лица, чуть вспотевшего, отсвечивала в несильном свете аккумуляторных ламп, смешивавшимся с крепнущим светом дня, пробивающимся в проломы. Форама уселся рядом с Цоцонго, и теперь «обвиняемых» стало уже двое. Форама оглядел остальных. Тут были ученые — руководство института и кто-то сверху, из материнской организации; были стратеги и были вещие — все незнакомые, крупных величин. Те, что сопровождали Фораму, к начальству близко не подошли, и их словно бы и совсем не стало видно.

Обвиняемым, или кем тут они были, кивнули, приглашая присоединиться к остальным; кивнули не то чтобы очень дружелюбно, но и не враждебно — коротко, по-деловому. После краткого колебания Цоцонго и Форама поднялись, и разговор стал общим, опять-таки не резкий, а деловой разговор, без обвинений и оправданий. Интерес и цель, как сразу было сказано, тут у всех одни: понять, что же случилось, установить — как и почему. Для этого важно все, любая мелочь, самая, казалось бы, незначительная. Мар Цоцонго, почему на этот раз вы не приняли непосредственного участия в опыте? А вы, мар Форама? Странно, что от вашего присутствия отказались в самый решающий момент: вы же стояли, так сказать, у колыбели?.. Это понятно, что были два человека сверх установленного числа, странно только, что именно вас... Это неубедительно: кто бы стал в такой обстановке мыслить катего-

риями чинов и званий? Вероятно, у руководства лабораторией были и другие мотивы, во всяком случае, в тот момент? Как всем ясно, спросить их об этом мы, увы, не можем, но постараемся установить по каким-то косвенным признакам, по самой логике событий. Нет, никто ни в чем никого не подозревает, и вас в том числе; однако истина ведь должна быть установлена, не так ли? Институт погиб, погибли люди, важнейшие данные, ценный материал, и тут, мар Цоцонго, уже не до мелких обид. Очень хорошо, что вы это понимаете, а вы, мар Форама? Тоже. Итак, что у нас есть? По каким-то причинам, которые пока будем считать не вполне установленными, вы оба не приняли непосредственного участия в заключительной стадии эксперимента. А в подготовке его участвовали? Конечно. Скажите, а не могло ли — не забудьте только, речь не о вас, мы обращаемся к вам скорее как к экспертам, к людям, более сведущим, чем любой другой; итак, не могло ли в процессе подготовки произойти — или скажем лучше: не могло ли быть допущено нечто такое, что потом привело ко взрыву? Мало ли: недосмотр, небрежность, невнимательность кого-то из готовивших, не обязательно умысел, нет, не обязательно мина замедленного действия — почему вы решили, что мы не способны мыслить иными категориями? Вы спрашиваете, каков характер взрыва? Не было ничего такого, что могло бы взорваться? Видите ли, как раз это нас и интересует, но пока нет никакой ясности. Вот почему мы и хотим представить: не могло ли что-нибудь — скажем, небольшой инициирующий взрыв — привести к гораздо более сильному взрыву, связанному с экспериментом? Так, мы особо отметим это: вы полагаете, что сам элемент в условиях, в которых он находился во время эксперимента, никак не мог стать источником взрыва? Давайте разберемся более детально. Он что, вообще не способен взрываться, этот элемент? Не беспокойтесь, все, здесь присутствующие, имеют право на полную информацию... Да-да, я имею в виду ту самую цепную реакцию, о которой вы говорите. А почему вы так уверены, что критическая масса далеко не могла быть достигнута? Да, теория, разумеется, заслуживает всяческого уважения, но не бывает ли, что практика опровергает... Невозможно? Прекрасно; мы отметим это. Ну, а не могло ли быть так, что производство элемента вдруг ускорилось? Я имею в виду, что по вашим расчетам в единицу времени должно быть получено такое-то количество, а на самом деле выход оказывается значительно большим? Они постоянно контролировали накопление элемента? Ну, а если они, допустим, увлеклись или были отвлечены чем-то другим? Не представляете? Откровенно говоря, я в это тоже не очень верю. А, вот это очень важно: вы полагаете, что если бы цепная реакция вдруг началась в том объеме элемен-

та, который должен был накопиться к концу работы, то взрыв оказался бы слабее? Очень важное замечание. А что, элемент может взрываться только таким, строго определенным образом? Да, да, распадаться. А других вариантов нет — с более значительным выделением энергии? Как вы сказали — могли бы быть, если бы прекратили свое действие законы природы? Я рад, что чувство юмора вам не изменяет, и мы тоже надеемся, что все законы продолжают действовать — и законы природы в том числе. Итак, если встать на вашу точку зрения — а вы, мар Цоцонго и мар Форама, среди нас — единственные подлинные специалисты во всем, что касается подозреваемого элемента, — то мы должны признать, что получаемый в процессе работы элемент, по данным теории и накопленного к нынешнему дню опыта, не мог стать причиной и источником взрыва, тем более взрыва такой мощности, какой на самом деле произошел. При этом умысел со стороны кого-либо из людей, причастных к эксперименту, вы отрицаете, а что касается небрежности, то не можете представить, в чем она могла бы заключаться и как проявиться, я вас правильно понял? Чудесно. В таком случае, давайте подумаем, проанализируем вместе. Квалифицированными специалистами неопровержимо установлено, что взрыв произошел в той точке института, где находилась камера с так называемой средой стабильности — той самой, над которой работали вы, мар Цоцонго, если не ошибаюсь? Именно там накапливался элемент. Допустим, что в определении центра взрыва можно было ошибиться на метр, полтора. В этом объеме находится лишь то помещение, в котором люди наблюдали за ходом эксперимента. Следовательно, если взорвался не элемент в камере, то источником взрыва послужило что-то другое, находившееся в наблюдательном помещении. Ну, а что вообще там могло взорваться — как из того, что входило в условия самого эксперимента и обязательно должно было там находиться, так и из того, что могло быть принесено туда лицом, о котором мы пока ничего конкретного не знаем? Вот уважаемые ученые высших величин считают, что и ускоритель, и вся прочая машинерия и аппаратура эксперимента никакой взрывоопасности не представляли. А как полагаете вы? Прекрасно, итак в этой части — полное единомыслие. Что вы думаете об исходных продуктах опыта? И с этой стороны, следовательно, опасность не грозила. Ну, а промежуточные и конечные продукты? Не кажется ли вам, что искать нужно именно здесь? Потому что судите сами: если бы произошел, скажем, пробой изоляции, он привел бы к замыканию в цепи энергообеспечения, и мы отделались бы перерывом в ходе работы, ну пусть выходом из строя ускорителя или всего лишь каких-то его секций, в самом крайнем случае возник бы пожар. Но не

взрыв! Далее, исходные вещества: атомарный гелий, — у меня правильно записано? — свинец и золото. Ничто из них не взрывается. И остаются лишь два места поиска: сам процесс синтеза и уже синтезированный элемент. Вот-вот, вы заметили совершенно правильно: процесс синтеза был испробован неоднократно, и не только теоретически, но и практически не должен был приводить и не приводил ни к каким непредвиденным осложнениям. Значит, остается одно — сам элемент. Повторяю: мы исключаем — пока — возможность злого умысла.

Да, мы готовы согласиться с вами, что здесь есть две стороны вопроса: сам элемент и условия его хранения или, как вы это называете, среда. Что же, давайте продолжим наш анализ. Что представляет собой среда? Ах, перестроенное воздействием комбинации полей пространство. Ну хорошо... Могла эта среда нарушиться? Вы полагаете — могла, если бы — что? Если бы разрегулировались или вышли из строя поддерживающие ее устройства, или если бы прекратилась подача энергии к ним. Почему маловероятно? Тройная надежность, три параллельных цепи? Звучит убедительно. Могу добавить: цепи энергоснабжения находились под нашим постоянным контролем, — вы этого не знали, вам и не нужно было знать этого, — и до самого последнего момента (у нас есть записи) ничто не указывало на возможность какой-нибудь неисправности, перебоя. Итак, если отрицать наличие умысла... Но не будем пока об этом. Предположим простое совпадение: вышли из строя все три цепи. Теоретически такое ведь возможно, как вы полагаете? Я понимаю, что вероятность мала, но все же... Итак, они вышли из строя, все три; к чему это привело бы? Можно этим объяснить то, что произошло?

Вы говорите — исключено. Мы, конечно, смыслим в теории куда меньше вашего, но все же постараемся понять хоть что-то, и пусть наше невежество вас не смущает. Объясняйте смело. Итак, два периода полураспада; допустим. Один — вне среды, другой — в среде. Пока все понятно. Нет, формул не надо, словесно. Итак, если бы среда прекратила свое воздействие, элемент перешел бы из категории долгоживущих в категорию неустойчивых, но все же с периодом полураспада... не так быстро, пожалуйста... двенадцать с половиной часов приблизительно. Так; дальше? При наличии того небольшого, вы говорите, количества элемента, какое было синтезировано, распад его с данной скоростью не привел бы даже к сколько-нибудь заметному увеличению радиации? Все это было бы прекрасно, если бы не одно обстоятельство: взрыв-то все-таки произошел, и это — непреложный факт. Вы по-прежнему утверждаете, что элемент взорваться не мог? Да, о массе вы уже упоминали. Критическая, подкритическая... теория, знаете ли,

хороша, когда она объясняет факты, но вот факт налицо, а теория объяснить его не в состоянии. Жаль.

Да, естественно, что вам тоже очень жаль. Удивительно, если бы было иначе. Да потому что, если взорвался не элемент, то могло взорваться лишь нечто, чего быть в лаборатории вообще не должно было. И уж тут никак не обойтись без понятия умысла. Но умысел существует, как вы понимаете, не сам по себе, а лишь в связи с определенным конкретным субъектом — носителем умысла. И этот злоумышленник, мы уверены, находится не среди погибших, а меж уцелевшими. Об этом свидетельствует наша теория и наша практика. Так что лучше давайте-ка сначала попытаемся исчерпать все, что можно сказать и предположить по поводу элемента.

Что значит — мы вас запугиваем, мар Цоцонго? Отнюдь. Просто обстоятельства в данном случае складываются не совсем благоприятно для вас, а наша задача — анализировать именно обстоятельства. Какие именно? Пожалуйста, я назову их. От участия в завершающей стадии эксперимента вы оба каким-то образом уклоняетесь, это раз. Да, вы говорили, но проверить этого никто уже не в силах, к нашему глубочайшему сожалению. Второе: вы не ожидаете даже завершения работы, что казалось бы для вас вполне естественным, но покидаете лабораторию и институт, едва лишь истекает официальное время работы. А ведь, как нам известно, вы неоднократно задерживались в лаборатории и по менее важным поводам, вряд ли вы станете опровергать это. Обида? Знаете ли, мар Форама, обида способна продиктовать и самые, казалось бы, неожиданные поступки, в том числе злонамеренные; я на вашем месте не стал бы ссылаться на обиду. Что ж, если вы настаиваете — пожалуйста... Итак, фактом остается, что вы оба поспешно покинули институт. Нам известна ваша другая причина, мар Форама, нам все известно. Но в связи с этим обстоятельством возникает, в свою очередь, целый ряд вопросов. Ну, например, вы человек, скажем так, средних лет. Партнерша ваша... да, ради бога, пусть любимая, тем хуже, — итак, ваша возлюбленная значительно моложе. Интерес молодых женщин к мужчинам в возрасте, вы уж не обижайтесь, нередко бывает связан с чисто материальными стимулами. Нет, мы не беремся судить, с чем именно вы приезжали к ней, что дарили и так далее. Мы сейчас не знаем точной суммы ваших расходов, но постараемся узнать, будьте спокойны. Какое отношение имеет? Самое непосредственное, не столь уж вы наивны, чтобы не понимать. Во-первых, эксперимент был связан с затратой немалых количеств золота. Вы знаете эти данные, да и мы тоже. Кто закладывал золото в камеру? Да, но под вашим надзором? Вот; а имели ли вы доступ к камере на протяжении этих восьми часов? Вот видите! Следо-

вательно, при всем уважении к вам мы... Согласитесь сами, взрыв — прекрасный способ скрыть дефицит ценного металла, который сейчас на бирже оценивается... Что значит — не синтезировалось бы? Мы понимаем так, что синтезировалось бы, но меньше запланированного, а когда случилась заминка оттого, что золото кончилось раньше времени, — тут и грохнуло... Минимальная масса, необходимая для начала синтеза, иначе ничего не пошло бы? Но это вы так говорите, это еще проверить надо. А как сейчас проверишь, если все в обломках? В ноль двадцать третьем институте? Что же, неплохая идея. Мы наведем там справки. Но, кстати, дело вовсе не обязательно должно заключаться именно в золоте. Это лишь одна из рабочих версий, гипотез по-вашему. Есть и другие. Вы не забыли, мары, что на свете существуют Враги? И что для них было бы очень кстати, если бы наш головной институт, занятый решением проблем, во многих отношениях представляющих важнейший государственный интерес, взлетел на воздух — как оно и получилось на деле. За такое удовольствие они были бы готовы заплатить куда больше, чем стоило то несчастное золото... Повторяю, это гипотеза, мы не сомневаемся, мар Форама, что вы не только лояльные граждане, но и патриоты, никто этого не оспаривает, вы зря возмущаетесь... Но тогда позвольте уж и мне быть откровенным: а в вашей любовнице вы тоже уверены? Так-то вы все о ней и знаете? А вы обращались к нам, чтобы мы дали заключение? Поймите правильно, мы не ханжи и не пуритане, человеческие потребности есть человеческие потребности, и ученый тоже человек, никто не подвергает этого сомнению; но если бы вы обратились к нам, мы с радостью помогли бы вам сделать правильный и во всех отношениях достойный выбор; однако вы так не поступили, так что позвольте уж нам остаться при наших сомнениях — во всяком случае до тех пор, пока они не будут опровергнуты — безусловно, к нашему общему удовольствию. Мы уже предпринимаем некоторые шаги в поисках именно таких опровержений... А вы, мар Цоцонго, ваших партнеров по картам хорошо знаете? Мы слышали, вам случается там и проигрывать, и не так уж мало. Не возникает ли у вас в этой связи нужды в дополнительных доходах, кроме тех, о которых вы сообщаете налоговому инспектору? Проверим, мар Цоцонго, проверим, проверять — наш долг.

Что у вас еще, мар Цоцонго? Да, разумеется, специалисты уже определили силу взрыва достаточно точно. Как оценивается она в пересчете на стандартное взрывчатое вещество? Кажется, есть. Сейчас, минутку... Да. Взрыв эквивалентен... м-м... Сколько это будет — десять в шестой степени килограммов? Тысяча тонн? Да нет, быть не может. Разрушения, конечно, велики, но... Ах, вот как, вверх? Перекрытия представляли

меньшее сопротивление, чем... Так, так... Подтверждения сейсмических станций, так... Да, мы знаем, что институт строился с учетом возможности подобных происшествий. Какой объем занимает тысяча тонн стандартной взрывчатки? Не знаю точно, полагаю, что... Вы спрашиваете, где она могла бы помещаться так, чтобы ее никто не заметил, и каким образом можно было бы доставить ее на место взрыва через всю систему безопасности института? М-да, это было бы и вправду затруднительно. Действительно, трудно предположить, чтобы в стенах института могло находиться такое количество взрывчатки, — пронести-то ее можно было и по килограмму... Но почему именно стандартное вещество? Почему не плутониевый заряд? Ах, нынешний уровень радиации был бы во много раз больше? Да, видимо, так оно и есть.

Ну что же, признаюсь: я очень рад. Рад тому, что версия о взрыве, произведенном при помощи каких-то посторонних средств, отпадает. Видимо, мы не успели предварительно взвесить все «за» и «против» этого варианта, у нас просто не было времени, и я очень благодарен вам, мары, за то, что вы помогли нам прояснить некоторые важные детали. Надеюсь, что и в дальнейшем мы сможем сотрудничать так же плодотворно.

Однако из этого с очевидностью следует один вывод, а именно: мы должны снова вернуться к элементу. Почему нам так хочется? Во-первых, потому, что причина взрыва все же должна быть точно установлена — хотя бы для того, чтобы предотвратить подобные явления в дальнейшем. Во-вторых...

Во-вторых — тут мы коснемся некоторых вопросов весьма важного, но и, так сказать, деликатного свойства. Вы, конечно, понимаете, мары, что те два представителя Стратегической службы, которые прибыли для участия в заключительной части эксперимента, — весьма достойные люди, память о них сохранится в наших сердцах, — прибыли далеко не случайно и не из чистой любознательности. Вы знаете, вероятно, что возможность использования нового элемента в качестве... э-э... рабочего вещества в некоторых устройствах, играющих важную роль в проблемах планетарной обороны... Знаете, да. Так вот, здесь, как вы успели, конечно же, заметить, присутствуют другие, весьма авторитетные представители столь почитаемого нами ведомства. И не случайно; взрыв о котором мы, разумеется, глубоко скорбим, — страшное же несчастье, погибли прекрасные люди, — взрыв получился, надо сказать, очень убедительным. Если действительно это взрыв элемента; но вы сами помогли нам опровергнуть иное предположение. Раньше тоже считали, что новый элемент сможет получить определенное применение для упомянутых мною нужд. Однако тогда — го-мары подтвердят, — принималось, что понадобятся значи-

тельно большие его количества. Сейчас, когда есть основания считать, что столь грандиозные разрушения возникли при срабатывании крайне малого количества элемента — вы говорили, мар Форама, что... да, не более кубического сантиметра, — стратегам, естественно, сразу же захотелось выяснить: а нельзя ли немедленно предпринять шаги в направлении, так сказать, полезного применения этого неожиданно открывшегося свойства. Тогда мы получили бы возможность конкретно думать о новых, гораздо более совершенных средствах защиты, которые для своей доставки в нужные районы не потребовали бы столь громоздких устройств, как современные, и в то же время... В конце концов, у нас у всех — одна забота. Таким образом, что требуется сейчас от всех нас, а от вас, мар Цоцонго и мар Форама, в первую очередь? Думать. Интенсивно и продуктивно думать. И как можно скорее найти те обстоятельства, условия, события — как угодно, — которые привели к столь неожиданному результату. Потому что только выяснив все до конца, мы сможем повторить подобные взрывы уже сознательно, иными словами — ставить эксперименты, результатов которых будут с восторгом и нетерпением дожидаться очень многие. Вы ученые, вы лучше меня понимаете, как добиться этого; мыслите теоретически, пробуйте практически — делайте все возможное. Мы понимаем, что трудно ставить вам какие-то конкретные сроки, но думаем, что справиться как можно скорее — прежде всего в ваших собственных интересах.

Да, мар Цоцонго, но не только потому, что это будет, безусловно, связано со многими отличиями и продвижениями, а также иными поощрениями. Но еще и потому, что если вам не удастся, невзирая на все усилия, найти обоснованное объяснение происшедшего, как некоего естественного процесса, связанного с особенностями нового элемента, то нам волей-неволей придется продолжать поиск в иных направлениях. Ибо, согласитесь, без причины институты не взрываются. И тогда нам снова придется, к нашему взаимному огорчению, вести разговор на личные и порой весьма щекотливые темы. Так что, учитывая все сказанное... О чем, о чем я не упомянул? Ах, вот что... Да, конечно, нельзя не согласиться, что в таком варианте могли бы возникнуть предположения, что в системе обеспечения безопасности вашей деятельности, деятельности института, оказались какие-то прорехи, слабые места, недоработки, на худой конец просто плохое несение службы теми, кто должен нести ее бдительно. Однако, мары, могу вас заверить: мы убеждены, что в нашей системе подобных недостатков не было и нет, и взрыв никоим образом не связан с ее несовершенством. Никто, повторяю — никто не мог проникнуть со стороны и каким-то способом организовать ката-

строфу. За весь низший персонал мы ручаемся, он — вне подозрений. Что же касается самих ученых... Но об этом мы сегодня говорили уже достаточно. Так что будет очень хорошо для всех, подчеркиваю — для всех без исключения, если окажется, что виновата тут природа и никто другой. Природа — ну, в сочетании, может быть, с ошибкой или небрежностью, допущенной в роковой момент одним из тех несчастных, с кем мы уже более не сможем побеседовать. Найдите эту ошибку, мары, научитесь повторять ее совершенно сознательно — на расстоянии, конечно, при помощи механизмов, — мы не желаем жертв, — и из свершившегося несчастья мы сможем извлечь, не исключено, немалую пользу для нашей прекрасной планеты в целом и для каждого человека в частности...

Таким был этот странный разговор. После того, как представитель вещих умолк, на столе как-то незаметно появились бутерброды, соки, молоко — все натуральное, какое получают лишь на верхах. И на самом деле все чувствовали необходимость подкрепиться: нервов было потрачено немало, а расход нервной энергии при сидячем образе жизни ведет, как известно, к ожирению, неправильному обмену и множеству заболеваний сердечно-сосудистой, нередко столь пренебрегаемой всеми нами системы. После импровизированного завтрака стратеги и все прочие составили сами собой один кружок, ученые же объединились в другой, где пошел разговор уже более конкретный.

Конкретным он стал, конечно, не сразу, никто просто не знал, с чего начать, за что зацепиться. Слишком невероятным было случившееся, и единственным, что они, люди знающие, могли по этому поводу сказать, было бы: «Такого не бывает». Но вот же было, однако. И теперь приходилось объяснять, что же случилось, как и почему. Задача, выходившая за рамки научного анализа, как прямо и заявил один из ученых высших величин. Директор бывшего института, тоже змееносец, лишь потряс лысой головой и пробормотал: «Господи, вот уж действительно незадача, о господи!» — и этим его вклад в анализ проблемы пока что ограничился; совсем растерялся старик. Теоретик четвертой величины уже считал что-то на извлеченном из кармана калькуляторе, потом сказал: «Во всяком случае, это не аннигиляция. Иначе тут осталась бы разве что воронка и немного пыли». Тут все встрепенулись: для научного анализа отрицание не менее важно, чем утверждение, значит, наметился путь: давайте сначала отметем все, чего быть уж никак не могло, а потом посмотрим, как можно интерпретировать то, что останется. И понемногу дело пошло.

Форама с самого начала, как только завершился тот, первый разговор, где ему явно или неявно кое-чем угрожали, ощутил некий прилив уверенности: в конце концов, если вдуматься, речь ведь шла о вопросе, относящемся к области его научной компетенции, случившееся можно было рассматривать и как нормальную проблему. Дело было всего лишь в очередной загадке естества — но не их ли и разгадывал он долгие годы? Цоконго, как только разговор пошел о деле, тоже приободрился, почувствовал себя, словно на очередной научной конференции. И начал рассуждать вслух:

— Видите ли, как правило, такого рода неожиданности должны все же предупреждать о себе некоторыми странностями в поведении природы, определенными отклонениями от нормы. В естестве все обусловлено, хотя мы и далеко не всегда умеем проследить и обосновать эту обусловленность...

— Какие же странности были на сей раз? Вам удалось что-нибудь заметить?

— Не знаю, можно ли ставить в прямую зависимость... Как раз вчера, пока шел эксперимент, в котором мы с коллегой неожиданно не смогли принять участия... мы таким образом получили свободное время и смогли повнимательнее всмотреться в материалы предшествовавших дней. И вот при анализе снимков я подметил любопытную, кажется мне, закономерность... Я не ставлю этого себе в заслугу, с таким же успехом ее нашел бы и мар Форама, мне просто больше повезло... Я заметил, что скорость распада нового элемента, распада вполне естественного, самопроизвольного, закономерного и безопасного, не оставалась постоянной, но варьировала.

— Каким же образом? — это директор начал оправляться от шока: знакомая лексика подействовала на него, как успокоительная музыка, как лекарство от нервов.

— Двояко. Во-первых, она, эта скорость, проявила четкую тенденцию к нарастанию...

— Теоретически ничем не обоснованную, — вставил Форама.

— Вот именно. И тем не менее, вчера скорость распада, судя по фотографиям, была больше, чем позавчера. Позавчера — больше, чем днем раньше. Меня это заинтересовало, я взял часть снимков — сколько уместилось в портфеле — домой, и вечером дома попытался сделать какие-то первоначальные выводы. И оказалось, что достаточно долгое время с начала работы по синтезу нового элемента скорость распада оставалась постоянной, и именно в теоретически предвычисленных пределах.

— И никаких аномалий?

— Вероятностные флюктуации были, не более. Но затем, начиная с определенного момента...

— Минуточку, мар. С какого именно момента? Это важно.

— Сегодня — пятый день с тех пор, как началась работа. Скорость распада стала увеличиваться на второй день. Но ведь мы синтезировали его и раньше, хотя в малом количестве.

— Увеличивалась — скачками? Постепенно, равномерно? Подчиняясь какой-то закономерности? Можно ли отыскать функциональную зависимость?..

— Пока не удалось. Не так ли, мар Форама: четкой закономерности там не было, или, во всяком случае, она смазывалась другими явлениями или явлением.

— В общем, — вступил Форама, — тенденция к ускорению была несомненной, но ускорение не выглядело, как функция какой-то переменной. Или, вернее, сама переменная возрастала без системы, не подчиняясь какой-либо закономерности. А смазывалось явление тем, что величина распада еще и варьировала в течение суток: становилась максимальной ночью и ослабевала к середине дня, несколько позже полудня. Причины этого пока совершенно неясны — нам, во всяком случае. Видимо, нужно собрать дополнительные материалы.

— В чем вы нуждаетесь, мар Форама?

— Мы должны попытаться восстановить: не началось ли в тот день нечто, какой-то процесс, который так или иначе можно было бы связать с поведением элемента. Мы не имеем представления о характере этого процесса, поэтому надо принимать во внимание буквально все. И то, что происходило в других лабораториях института, и в окрестном районе, и — кто знает — даже у антиподов. Очень важно, что этот гипотетический процесс должен изменяться таким же образом, нарастая и ослабевая от полуночи к полудню.

— Громадный объем работы — сказал директор. — Но я уверен, нам помогут. Очень много заинтересованных.

Все невольно покосились туда, где заинтересованные сидели за другим железным верстаком и тоже видно составляли свою диспозицию.

— Но уже сейчас, — сказал Форама, — напрашиваются некоторые предположения.

— Мы внимательно слушаем, мар Форама.

— Совершенно не исключено, что некое воздействие, вызывающее повышение скорости распада, связано с ориентацией планеты в пространстве. Если принять такое предположение, то придется учесть и возможность воздействия извне, иными словами, что источник возмущений может находиться вне планеты.

— Интересно. А вы, мар Цоцонго, тоже так считаете?

— Не исключаю. Хотя это и не обязательно. Например, воздействие электромагнитного излучения определенных час-

тот. Известно, что проходимость коротких волн меняется от времени суток и...

— Однако, мар Цоцонго, до сих пор считалось общепризнанным, что никакие воздействия такого рода не могут влиять на скорость распада неустойчивых элементов.

— Тут может идти речь о возмущении среды. Не забудьте, в нашем случае среда — пространство, реорганизованное комбинацией полей.

— Об этом никто не может судить лучше вас.

— Раз уж приходится заниматься тем, что по существу вообще не должно происходить, то почему бы и не допустить такого предположения? Механизм влияния, конечно, нам пока непонятен. Но можно подумать, что нам ясен механизм внепланетного влияния!

— Нет, разумеется. Но тут остается возможность поисков. Какое-то скажем жесткое излучение.

— Кто-нибудь его да зарегистрировал бы, — не согласился Цоцонго. — Ибо тут нужно чрезвычайно мощное излучение, способное разбивать ядра. Это раз. А во-вторых, оно должно нарастать, иными словами, мы должны сближаться с его источником. Видимо, нужно запросить обсерватории.

Подошедший к их столу вещий уже минуту-другую прислушивался к обмену мнениями. Сейчас он, кажется, счел, что наступил подходящий момент, чтобы повернуть ученое собеседование в надлежащем направлении.

— Прекрасно, — сказал он. — А вы не подумали, мары, что вражеская планета — тоже внешний фактор? И что поток излучений, о которых вы говорите, мог исходить именно оттуда? Мы срочно запросим обсерватории: в какое время суток их планета стоит в нашем небе выше всего и каково сейчас взаимное движение планет. Но если моя, пусть и не совсем научная гипотеза подтвердится, то неизбежно возникнет вопрос: каким же образом наши враги с такой точностью узнали, какая именно работа ведется в вашем именно институте? Мы будем крайне серьезно интересоваться этим. И виновных, самое малое, в разглашении тайны, неизбежно найдем.

— И все же я предпочитаю думать, — упрямо проговорил мар Форама, — что мы столкнулись с каким-то явлением природы, которое пока не можем объяснить.

— Мар Форама, — помолчав, сказал змееносец, директор института. — До сих пор, по крайней мере, наука исходила из стремления объяснить мир на основании уже известных нам и многократно подтверждавшихся на опыте явлений. Лишь при полном отсутствии другого выхода мы решаемся предполагать наличие новых, неизвестных нам процессов. В данном случае, как мне кажется, нет ни малейшей надобности измыш-

лять какие-то дополнительные силы природы, потому что все, видимо, может быть истолковано на базе известных нам законов, а также тех обстоятельств, о которых нам крайне своевременно напомнил го-мар. — Старик, привстав, поклонился вещему. — Думаю, что именно в этом направлении мы и ориентируем наши объединенные усилия.

— Но ведь, в конце концов, мир развивается! Материя движется! И...

— Мар Форама! Мир развивается по своим неизменным законам, и допущение иной возможности ставит допустившего вне пределов науки. Ставит на уровень донаучных представлений. И я бы не хотел верить, что вы всерьез предполагаете...

Форама промолчал.

— Прекрасно, — снова бодро проговорил вещий. — Итак, будем и дальше исходить из установленных законов физики — и психологии, и политики, и всего множества обстоятельств, которые постоянно влияют на нашу жизнь в самых разнообразных своих комбинациях. Да, мары, поведение не только ваших элементов, но и любого человека, его поступки, даже самые низкие, постыдные и отвратительные, тоже обусловлены законами, и законы эти нам известны не хуже, чем вам — какой-нибудь закон тяготения. Это законы не природы, но общества; но общество обладает и иными законами, строгими и действующими неукоснительно, и направленными на полное искоренение таких поступков, о которых я только что упомянул. Сейчас мы продолжим работу; кроме астрономов, запросим и стратегических наблюдателей, и нашу славную внешнюю разведку... Однако поскольку опыт учит нас не пренебрегать даже самыми иллюзорными возможностями, я думаю, будет лучше, если вы, мар Форама и мар Цоцонго, продолжите поиски в том направлении, какое, видимо, вам ближе — неизвестных явлений. Однако, если помимо этого у вас возникнут какие-то предположения относительно каналов утечки информации, мы будем вам только благодарны.

— Хорошо, — сказал Форама, вставая. — Тогда я поеду.

— Вряд ли вам следует сейчас покидать нас, — сказал вещий. — Дома у вас сейчас некоторый, я бы сказал, беспорядок: мы были несколько растеряны в первый момент, не застав вас там. А у прекрасной Мин Алики в данную минуту находятся наши люди: нам все же необходимо до конца выяснить то, чего сами вы, к сожалению, нам сказать не можете: что она в конце концов за человек. Потому что тут у нас возникли некоторые неясности... Нет, мар Форама, и вы, мар Цоцонго, — мы создадим вам все условия для напряженной работы и полного отдыха, условия не хуже тех, какие были здесь, в институте. И будем ждать результатов. Связаться с

нами при нужде вы сможете мгновенно. А сейчас наши люди вас проводят...

Снова те шестеро материализовались из ничего, из каких-то завихрений воздуха — и окружили, оставляя свободным лишь направление к выходу. Форама усмехнулся углом рта, расправил плечи, независимо заложил руки за спину, повернулся и зашагал. Цоцонго Буй шел за ним, оставшиеся у стола молчали и смотрели им вслед.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Что верно, то верно: отдохнуть им здесь никто не помешает. Если даже и захочет, не помешает: просто не доберется до них, не преодолеет это множество постов, решеток, автоматических и охраняемых, под напряжением и без; заблудится в лабиринте подземных двориков, где ни единого человека, но полно собак, здоровенных, с теленка, с холодно-презрительным взглядом, готовых без предупреждения, не подав голоса, развернуться пружиной, броситься, повалить, запустить зубы в теплое и пульсирующее... Двоих провели по всем этим переходам и дворикам, предупредив, что разговаривать здесь не разрешено, собаки не любят человеческой речи; миновали еще одни ворота, которые запер за ними дылда с серебряными ключиками на высоком стояче-отложном воротничке, с цветом лица неестественно бледным (такой бывает трава, растущая в подвалах, куда не проникает естественный луч). Заперев ворота, дылда пересчитал приведенных справа налево: «Один, два», потом слева направо — тоже «один, два». Счет сошелся, он удовлетворенно кивнул, подобие улыбки ужом скользнуло по белесым губам. «Яйцеголовые, падлы, — сказал он в пространство, не глядя ни на кого в особенности, — допрыгались, зажрались, баб налапались, книг начитались, стали планету продавать, теперь побрызгаете красной юшкой, ублюдки грязные, выродки чертовы, чтобы тихо было, еще наслушаетесь, как другие орут, пока не придет ваш черед. Туда вам и дорога!» Холодные мурашки засуетились на спине, Форама невольно передернул плечами. «Вместе, что ли? — спросил ключник. — Это что за мода такая пошла? — И снова повернулся к двоим. Зря не вызывать, за это в рыло, и следа не останется, — предупредил он, все так же глядя поверх них. — Завтрак без вас сожрали, обед через четыре часа». Тот из шести, с тремя сердечками, что провел их по лабиринту, перебирая пальцами незримую нить, молча ухмылялся, наслаждаясь. «Падлы», — снова проговорил ключник, тогда сопровождавший впервые подал голос. «Не брызгай, Блин, это не твои постояльцы.

Ну-ка, проводи нас к лифту — нам наверх». Ключник засопел обиженно, стараясь понять. «Это что же, — проговорил он затем, — спектакли тут разыгрывать мода пошла?» — «Забыли тебя спросить, — откликнулся проводник, — приказано — выполняй». Форама облегченно вздохнул, когда они очутились в обычной кабинке лифта и поехали наверх. Сюда наверняка можно было попасть и более кратким и нормальным путем, но их специально провели через подвалы — чтобы до конца прониклись пониманием серьезности событий.

В конце концов они очутились в помещении, напоминавшем хороший гостиничный номер: две спальни, гостиная; в гостиной, однако, стоял средней мощности вычислитель, информатор; телефон тоже был. Форама первым делом схватил трубку, но вместо автомата ответил человек: «Слушаю?» Форама после мгновенной паузы попросил: «Соедините с городом». — «Связь только с начальствующим составом, — ответил телефонист, — с кем соединить?» — «Не надо», — ответил Форама и положил трубку.

После этого они оба долго молчали, понемногу приходя в себя, нормальным образом выстраивая мысли: помогала привычная дисциплина рассуждений. Только сейчас они вдруг по-настоящему поняли, что произошло, до этого им все как-то некогда было сообразить: ведь что бы ни происходило с ними сейчас и что бы о них ни думали, в чем бы ни подозревали, но главным было то, что вся работа, по сути, пропала зря, в самом, казалось, счастливом конце упершись в непредвиденную, новую, мощную загадку. И — люди погибли, что еще хуже, хорошие или не очень, но погибли безвозвратно. Но и этим беды не исчерпывались: планете ведь и на самом деле грозила опасность, они чувствовали ее интуитивно, да и не одни они чувствовали — однако корни опасности каждый пытался искать в привычном для себя направлении: они — в своем, вещие — в своем. Что же на самом деле произошло, что могло произойти? Не только престиж требовал докопаться, но и совесть: не кто иной, как они, заварили всю кашу с новым элементом, и совесть требовала, чтобы они и расхлебывали ее в первую очередь.

Самое время было всерьез задуматься над этим. Но мысли далеко не всегда идут по намеченной для них тропке; и Форама вдруг почувствовал, что как бы ни разлетелась вдребезги работа (а в ней еще недавно, сутки назад еще, видел он весь смысл жизни) и какие бы люди ни погибли, не это сейчас было для него главным. Иной образ возник перед ним, реально, ощутимо, словно Мин Алика вошла сейчас и остановилась посреди комнаты, печально глядя на него; не такая, какой она была в ту, последнюю ночь — раскрывшаяся вдруг женщина со всей ее великой женственностью и даром любви,

какого она, может быть, и сама в себе не подозревала до самого последнего момента; не такой предстала она, но прежней — стесненной внутренне и от этого сдержанно-покорной, готовой услужить, но лишь потому, что традиция так велела, а не из потребности любви; аккуратно снимающей с себя и складывающей все, что было на ней надето, и поглядывающей при этом снизу вверх с выражением: я все правильно делаю, ничего такого, что было бы тебе неприятно? (Но ему было бы неприятно другое: если бы все делалось с показной чужой лихостью, за которой часто кроется если не страх, то нежелание и подсознательная мысль: это не я вовсе и делаю и буду делать, но какая-то другая, та, что на время подменяет меня, а настоящая я стою в стороне, чистая...) И потом торопливо повиновавшуюся ему, угадывая все заранее, а вернее, просто выучив наизусть: фантазия у него не работала, и даже мысли не возникало: как сделать, чтобы было лучше — ей; повиновавшуюся, как человек в парикмахерском кресле спешит подчиниться каждому движению мастера, поднимая голову или опуская, поворачивая вправо или влево. Да, а о ней он думал в те минуты не больше — об ее удобствах, желаниях, надобностях — чем обедающий о жареном цыпленке: не все ли ему равно, как начнут его грызть?.. И вот такой явилась она перед ним, проникнув в удобное, но все же запертое и вряд ли легкое для доступа посторонних помещение, проникнув вопреки уверенности подвальной травы с ключами на воротнике — в легкой белой блузочке, в домашней юбке, которая была когда-то служебной, а потом понизилась в ранге (никогда Мин Алика не старалась подать себя, произвести впечатление; что было в ней от природы, то и было, и ни на грамм искусства), стояла, как бы радостно удивленная, но и в то же время и испуганная немного, неуверенная, как пришедший экзаменоваться студент, точно знающий, что он и половины не прочитал, но уповающий на то, что другие этого не заметят; Мика стояла, опустив руки, но не вдоль бедер, а слегка перед собой, словно готовая в следующий миг поднять их в защитном движении, бледная, испуганная, потерявшаяся маленькая женщина... Вдруг Фораме стукнуло в голову, что и на отношения с ним она пошла не потому, что он показался ей чем-то лучше других; а пошла она на это потому, что он, наверное, просто оказался тем, кто этого всерьез захотел, когда она была одна, одиночество же, как он только сейчас понял, было не ее формой бытия. Форама застонал даже, вспомнив, а вернее — только сейчас поняв, как бездарен был по отношению к ней, как удовлетворялся самим фактом их близости — физической, не более, тем, что лежало на поверхности, — и ему даже в голову не приходило заглянуть и проникнуть поглубже, увидеть то, что жило в ней в полусне и ждало; планета ждала

своего открывателя, да что открывателя, да что планета — целая вселенная ждала, еще ни в какие каталоги не внесенная вселенная... Вот почему так рванулась она ему навстречу, навстречу глазам, впервые увидевшим ее, сердцу, впервые зазвучавшему не как мотор, а как оркестр, рукам, охватившим ее не как материал («Как рабочее тело», — подумал он, грубо насмехаясь над самим собой), но как что-то такое, что поднимают, чтобы поклоняться... Рванулась — потому что и сама возникла в тот миг из любовного небытия, словно любовь была до сих пор дешевой литографией на стене или базарным ковриком; но они шагнули — и поняли вдруг, что это не плоская картинка, что коврик — лишь занавес, а за ним — мир, в который вдруг открылся вход... Какие-то детали, все новые, всплывали в памяти только сейчас, подобно ныряльщику, поднимающемуся на поверхность, чтобы вдохнуть свежего воздуха, всю надобность которого только и понимаешь под водой; как он стоял в комнатке, где повернуться было негде, держа Мику на руках, словно младенца, и не было ни тяжело, ни неудобно, как если бы они только для того и были созданы, чтобы он носил ее, а она, обхватив тонкими руками его шею, руками, которые все время до того казались ему некрасивыми, слишком уж детскими или как от недоедания, — и прижавшись щекой, дышала куда-то под левое ухо, и было в этом спокойном и ровном дыхании столько великого смысла, что рассказать его не хватило бы всех слов в языке... А потом — или, наоборот, раньше — она лежала, а он стоял на коленях перед нею, стиснув руки, как для молитвы, и говорил что-то, но слова не удержались в памяти. А еще было: он лежал один, и створки двери вдруг распахнулись, укатились в стороны, и в его каюту вошла она...

«Да нет же, — сказал Форама сам себе. — Какая каюта, какие створки?.. Ладно, ладно, — сказал он сам себе. — Мастер, черти бы его взяли, сделал по-своему, заставил меня. Нет, не меня, Фораму. А я кто? А я и есть... Но насколько труднее было бы мне оказаться в этой каше, если бы не возникла она, даже сейчас, на расстоянии, держащая меня прямо, не позволяющая согнуться, да, прав был Мастер — с этим я вдвое, втрое сильнее. Только почему это Мин Алика, ну ничем не схожая с Астролидой, зачем же меня так разменивать?.. Какая Астролида, — подумал Форама, — я в жизни не слыхал такого имени, я не знал такой женщины, да и о каком мастере идет речь? Нет, Алика и только она стоит сейчас передо мной, вдвойне беззащитная оттого, что судьба только что сделала ее безмерно богатой — чтобы тут же другой рукой отобрать все дарованное и тем сделать ее много беднее, чем раньше». А он, Форама, носитель счастья и несчастья, сидел сейчас во вполне удобном помещении, где действительно можно было, наверное,

и работать, и отдыхать, но откуда нельзя было не только выйти, но даже позвонить ей и сказать хоть два слова, приободрить, передать, что — любит, что — верит, что — обязательно они будут вдвоем, пусть даже не только институт — пусть даже вся чертова планета летит вдребезги..

Он подумал так и испуганно удивился: разве мог он помыслить такое о планете, о своей родной планете, на которой и для которой он жил, работал, искал и находил, синтезировал новые элементы; которой желал не меньше добра, чем самому себе? Ведь не было у него таких мыслей! Неоткуда было им взяться! Он прокричал это мысленно, и вовсе не потому, что как раз там, где он сейчас находился, было для подобных мыслей самое неподходящее место; пусть и не вслух они высказаны, а все же — кто знает?.. Нет, он и на самом деле всю жизнь понимал: если не родная планета, то кто же? Враги? Но Врагов он ненавидел с детства, с ними было связано все черное, мрачное, жестокое, ужасное, нечеловеческое — естественно, они ведь и людьми не были в полном смысле слова, это все знали; в лицо их, правда, никто не видал — кроме дипломатов, конечно, договоры заключать ведь кому-то приходилось, дипломатов и других, кому по роду деятельности это было положено, — но по карикатурам каждый знал, что они не люди, а чудовища, даже глядеть на них было страшно. Нет, ничего нет прекрасней родной планеты, и что бы на ней ни происходило — все было правильно. Совсем раем была бы она, если бы не кружили над ней вражеские бомбоносцы, выбегая из-за горизонта и поспешно, словно стыдясь укоризненных взглядов, пересекая небосвод, каждые пять минут — новая шеренга. Так откуда же могла взяться эта, недопустимая даже в качестве обмолвки, грязная, отвратительная мысль о том, что пусть хоть вся планета взлетит на воздух — только бы с Микой ничего не приключилось? Непростительно; хотя, конечно, такое представление о Мике беззащитной, растерянной, одинокой могло сложить в его уме слова в столь нелепую комбинацию. Только страх за Мин Алику, конечно...

— Держись, — сказал он ей, и настолько реальной виделась ему Мика, что слово он произнес громко и четко, не промямлил, как бывает, когда человек говорит заведомо сам с собой. Цоцонго услышал и, поскольку их тут было лишь двое, воспринял, как обращение к нему.

— А чего ж не держаться? — сказал он спокойно. — Продержимся, пока земля держит. Ну, что же: я считаю, что уже освоился. Может быть, пока все тихо-спокойно, поразмыслим над случившимся? В конце концов, для того нас сюда и доставили...

— Цоцонго, скажи: что за глупость? Почему я не могу отсюда позвонить по личному делу? Я добропорядочный гражданин...

Несколько секунд мар Цоцонго Буй смотрел на коллегу иронически-задумчиво, словно размышляя, как ответить популярно. Затем сказал:

— Видишь ли, мне кажется, сейчас не только та информация, которой мы с тобой обладаем, но и само наше существование — секрет государственной важности. Никто ведь не знает, кому и зачем ты собираешься звонить. Может быть, как раз тем, кому вовсе не следует знать, что ты остался в живых после беды в институте. Ты дома ночевал?

— Знаешь ведь, что нет.

— Ну вот. Все, кто тебя знал, полагают, естественно, что ты участвовал в эксперименте. И узнав, что институт взорвался, причислят тебя, естественно, к погибшим.

— Кому это нужно?

— Сложный вопрос, — ответил Цоцонго, потягиваясь. — И решение его, надо полагать, зависит от того, как все они станут выпутываться из этой истории.

— Они?

— Начальство. Много всякого начальства. Катастрофу в институте надо прежде всего объяснить. И решить, кто за нее ответит.

— Да за что тут отвечать? Если все случившееся — результат какой-то неизвестной нам природной закономерности, стихии, о какой ответственности может идти речь?

— Ох ты, блаженный. Постарайся понять: тут два ряда явлений. Первый ряд — установить действительную причину взрыва, чтобы использовать ее в дальнейшем — и в целях безопасности, и в целях обороны, об этом нам ясно сказали. А второй ряд — на кого взвалить ответственность за взрыв. Этика не позволяет оставлять безнаказанными события, при которых гибнут люди, — если только вмешательство природы не является совершенно очевидным, как при землетрясении или извержении вулкана. Предположим, есть некто, от кого по тем или иным соображениям хотят избавиться. То ли он, как наш директор, больше уже мышей не ловит, но добром уйти не хочет, то ли кто-то другой... Вот в такой ситуации будет очень выгодно взвалить вину на него, независимо от истинной причины, которая так и останется в секрете, даже если мы ее установим однозначно.

— Ну, не знаю. Но пусть даже так — зачем при этом держать меня взаперти?

— О чем же я тебе толкую? Ты должен найти истинную причину взрыва; значит, ты будешь ее знать. И я тоже. Но если гласно будет объявлена другая причина, то возникнет

опасность, что мы, случайно или намеренно, разболтаем то, что нам известно, и получится небольшой, но все же скандал. Потому что у того, кто будет обвинен — не в том, что он устроил взрыв, конечно, но в том, что не сумел предусмотреть и предотвратить, — тоже наверняка есть свои друзья и сторонники, и они уж попытаются использовать то, что мы разболтаем. Больше того, они постараются это из нас вытащить, даже если мы будем молчать как рыбы.

— Но мы же никому не станем говорить, Цоцонго!

— Как ты в этом уверишь?.. Куда надежнее подержать тебя в некоторой изоляции... особенно когда все будут считать, что ты распался на атомы вместе с остальными участниками. Согласись, это открывает возможность различных вариантов нашей судьбы.

— Может быть, — хмуро проговорил Форама. — Хотя верить нет желания; не может же все быть так... Ладно, начнем работать. Очень интересно, что же на самом деле у нас взорвалось... Помолчим немного, подумаем...

* * *

Они помолчали и подумали. Не только думали, впрочем: что-то и черкали на бумаге, время от времени то один, то другой подходил к информатору, заказывал информацию и тут же получал ее, или же задавал вычислителю тут же на ходу составленную программу. Проходило немного времени — возникал ответ, скомканная бумага летела в корзину, и все начиналось сначала.

Часа через два Форама резко поднялся из-за стола — тяжелый стул с грохом упал.

— Кажется, я что-то начал понимать.

— Давно бы так, — сказал Цоцонго. — У меня пока без проблесков. Излагай. Желательно — так, чтобы я понял...

— Ты-то поймешь. Не знаю, как остальные... Хотя у них будет возможность повторить и проверить все мои рассуждения.

— Я готов воспринимать идеи.

— Я тут вытребовал все, что наш институтский мозг успел записать о ходе эксперимента. Просто прекрасно, что мозг — в централи, иначе и от него ничего не осталось бы. Ты, кстати, превосходно сделал, что забрал домой фотографии.

— Сохранил для потомства, да. За что мне, надо полагать, основательно достанется от этих... — Цоцонго произнес два слова на сленге межпланетных десантников. — Снимки ведь тоже относятся к нулевому уровню молчания. И служат прекрасным доказательством того, что я, — а раз я, то, возможно,

и другие — нарушали правила секретности. Может не поздоровиться и тебе.

— Никто не станет об этом думать, как только до них дойдет, чем пахнет дело.

— Значит, ты докопался до чего-то серьезного? Вот что значит быть спортсменом и ходить к девочкам. Ну, не делай страшные глаза: пусть к одной и той же, это еще приятнее.

— Ты все поймешь сразу. Тут надо было просто привести все в удобный для решения вид. Начать с того, что никакой диверсии, конечно, не было и быть не могло. Способа влиять на скорость ядерного распада нет, но если даже какой-то небывалый гений у врагов нашел такой способ и сразу же передал свою находку стратегам, как это, безусловно, сделали бы мы с тобой, то они не стали бы испытывать его на сверхтяжелых элементах, поскольку те в экономике и военном деле сегодня никакой роли еще не играют, но начали бы с тяжелых, потому что заряды наших охотников содержат именно тяжелые ядра, и это был бы прекрасный способ вывести нашу защиту из строя. Но вот охотники целехоньки, а взорвалась наша лаборатория.

— Да, по элементарной логике вроде бы так выходит, — помедлив, кивнул Цоцонго.

— Значит, остаются, как ты понимаешь, две возможности.

— Явление природы — раз; а вторая?

— Некая высшая цивилизация, о которой мы ничего не знаем и которая относится к нам не то чтобы враждебно, но без должного внимания, и занимается своими делами, не предполагая, что при этом может нанести нам какой-то ущерб.

— Мне этот вариант не кажется убедительным, — скривился Цоцонго, — хотя звучит он весьма успокоительно: если такая цивилизация существует, ее носители, надо надеяться, заметят, что сделали нам бо-бо и, догадываясь об уровне нашего развития и локальной космической ситуации, поспешат явиться с повинной... пока у нас тут не пооткручивали голов кому надо и кому не надо. Но это, думается, гипотеза чисто умозрительная, ни на каких фактах не основанная и не подтвержденная. Вряд ли можно выходить с нею к начальству.

— Нет, конечно. Посмеются, и только. Да и сам я, откровенно говоря, в такую возможность не верю. И сделал такое предположение лишь, чтобы показать, что и такой вариант мы рассматривали.

— Значит, явление природы? — Цоцонго скептически поджал губы. — Уж больно необъятная категория. Помнится, ты говорил о каком-то потоке частиц или излучения. Если такой поток существует, это установят очень быстро или уже установили. Он не мог пройти сквозь стены или перекрытия института, не оставив следов, которые мы уже умеем обнару-

живать и интерпретировать. А ведь стены сохранились, пусть даже и в обломках. Не говоря уже о том, что наши стратеги так пристально изучают всеми мыслимыми способами каждый квадратный сантиметр неба, что мимо них вряд ли проскользнуло бы что-либо подобное.

— Поток, Цоцонго, это был бы очень неплохой вариант. Тогда осталась бы лишь задача — найти способ защиты от него, этакий зонтик — раскрыть его и возобновить работу, потому что продолжать ее все равно придется... Это если во всем виноват поток частиц. Однако... — Форама нахмурился. — У меня странное ощущение: что на самом деле я знаю, в чем дело, но никак не могу понять — что же именно я знаю. Как будто знание и во мне, и в то же время где-то снаружи...

Цоцонго живо взглянул на него:

— Интересно: и у меня похожее состояние, некая уверенность, но не в том, что я все знаю, а в том, что все знаешь ты. Как будто похожие ситуации у нас уже бывали когда-то...

Форама пожал плечами.

— Специалисты называют это ложной памятью. Но вернемся к делу.

— Жаль, — задумчиво сказал Цоцонго, — что никто другой на планете не занимался нашей темой. Было бы интересно узнать, уцелели их лаборатории или их так же исковеркало. Хорошо; а если не поток — что тогда?

— Четкого ответа, как ты понимаешь, у меня пока нет. Но — не кажется ли тебе, что в таких случаях, как наш, надо искать наиболее сумасшедшую гипотезу?

— Я-то всегда придерживаюсь такого мнения. И что видится тебе самым безумным?

— Ну, я как раз стараюсь исходить из самых разумных предпосылок. Как говорит наш змееносец — интерпретировать факты, опираясь на известные и проверенные опытом закономерности. Могу добавить: не только проверенные опытом, но и теоретически обоснованные.

— Естественно. Иначе что осталось бы от науки?

— Как знать... Может быть, поднялась бы на иную ступень.

— Поднялась или опустилась? Черт знает, что ты хочешь сказать таким вступлением?

— Что вода кипит при ста градусах.

— Это и есть безумная гипотеза?

— Но кипит при давлении, которое мы считаем нормальным. А когда мы забираемся повыше, она закипает, скажем, при девяноста. И нас это не удивляет, поскольку мы знаем зависимость между давлением и температурой кипения. А вот если бы это не было нам известно, мы восприняли бы такой факт как потрясение основ и попрание фундаментальных законов, подтвержденных опытом и теоретически обоснованных.

В особенности, если бы наш подъем в гору оказался настолько постепенным, что мы и не замечали бы его... Возник бы повод обвинить кого-то в преднамеренной порче термометров. И далеко не сразу пришли бы к пониманию механизма событий.

— То есть, что изменилось давление.

— То есть, что с нашим пространственным перемещением связано изменение каких-то законов, которые мы считаем неизменными, и что в этом плане пространство анизотропно.

— Ты считаешь, параметры пространства могли измениться?

— В этом роде. И нас угораздило создать свой сверхтяжелый именно тогда, когда мы оказались в зоне изменений какой-то из характеристик пространства, или вещества, или еще чего-то...

— Своя логика в этом есть. Но как доказать?

— Методом исключения. Если все остальные возможности отпадут...

— Ладно, допустим. Но скажи, милый мар Форама: это ты и хочешь нести наверх?

— Что ж тут такого? Нам поручили...

— Дай договорить. Ты подумал, какие выводы однозначно следуют из твоего предположения?

— Ну, до выводов я еще не добрался.

— За ними далеко ходить не надо. Вот первый: если все обстоит так, как ты предполагаешь, то работы по созданию нашего сверхтяжелого будут заранее обречены на провал. Так?

— Н-ну... Безусловно, пока картина не изменится...

— Стоп. Второе: можно ли утверждать, что эти твои изменения характеристик пространства влияют только на наш элемент, а на другие, более легкие, не влияют?

— Очень возможно, что придет и их черед. Откуда мне знать? Ведь механизм явления нам пока неизвестен!

— И ты рассчитываешь, что наши высшие уровни согласятся...

— У тебя, Цоцонго, есть скверная привычка язвить по поводу тех, кто обладает большей величиной, чем мы с тобой. Я был бы очень рад, если бы ты эту свою привычку оставил.

— Знаешь ли, Форама..

— Я настаиваю. В конце концов, лояльность ученого...

— Погоди, мар. Я хочу сказать вот что: если завтра, или даже сегодня после обеда, начнется война, я надену мундир, возьму то, что мне выдадут, и, по старой памяти, пойду грузиться на десантный корабль. Не пойду — побегу! Понятно?

— Молодец.

— И если даже в результате от меня останется лишь маленькое облачко где-нибудь на подступах к вражеской планете,

я все равно до последнего мгновения буду считать, что поступил единственно правильным образом.

— И я тоже.

— Но — слушай и запомни: это не помешает мне, опять-таки до последнего момента, называть дураком того, в чьей глупости я абсолютно уверен. Ты знаешь, что я много лет провел на стратегической службе, и не где-нибудь, а в космическом десанте, где безусловность повиновения и точного исполнения — даже не закон, а религия, культ. Но и там мы, не стесняясь своих малых звездочек, характеризовали своих старших так, как они того заслуживали.

— Как же так?..

— Потому что это разные вещи. Есть Планета, это — принцип. Это наша Планета, она — для нас. И за нее я буду драться с кем угодно, драться жестоко. Но не за тех, кто — беда планеты, а не ее достоинство. На каких бы уровнях они ни стояли.

— И все-таки воздержись. Любая двойственность вредна.

— Ладно, мое мнение ты услышал. Не буду тебя нервировать, раз ты у нас такой нежный.

— Я ведь тоже служил, Цоцонго.

— Да, состоял при таком же, как тут, компьютере, только что носил мундир. Но вернемся-ка лучше к делу, продолжим рассуждения. Если твои предположения справедливы, то от неприятностей не гарантированы и наше оружие, наши энергоцентрали, залежи ископаемых, наконец... Дальше: где проходит граница, за которой эти новые свойства пространства перестанут действовать? Что уцелеет? Титан? Железо? Алюминий? А золото, серебро, платина? Промышленность, экономика?

— Это ужасно, Цоцонго.

— И, главное, защиты не будет: от законов природы не укроешься ни в какое убежище.

— Но что я могу сделать! — сказал Форама в отчаянии. — Я и на самом деле не вижу иного объяснения! Нельзя строить гипотезы по принципу «нравится — не нравится»! Это же наука!

— Наука — пока этим занимаешься ты. Ну я, допустим. Наши коллеги — исследователи. Но вот представь: ты доложил свои выводы тем, кто ожидает результатов. Поставь себя на их место. Естественно, они тоже ужаснутся. И в первую очередь потребуют чего? Чтобы их успокоили. Утешили. Указали выход из положения. Или хотя бы направление, в котором этот выход искать. Пойми: бремя руководства заключается в том, что все, что происходит в сфере его влияния, хорошее или плохое, приписывается ему, если даже на самом деле от него нимало не зависит. И поскольку никто не отказывается, когда ему приписывается хорошее, то трудно возражать и когда

приписывают плохое: как ни доказывай, мнение массы все равно останется прежним, и изменить его можно только большой кровью.

— Ну пусть так...

— Как же, по-твоему, должно почувствовать себя руководство, которому ты объявляешь, что при нем может наступить всего-навсего конец света? И к тому же не можешь предсказать, как его предотвратить. Хотя бы ценой колоссальных усилий. И как оно, по-твоему, должно поступить?

— Как же?

— Самое малое — просто-напросто с тобой не согласиться. Поверят они сами или нет — дело другое, но вслух они не согласятся. Отвергнут. Скажут, что ты спятил. Мы оба — если я стану тебя поддерживать. Будут рассуждать по такой схеме: если и предстоит конец света, пусть раньше времени никто ничего не знает. Чтобы не было паники. Ужаса. Смуты. Всего прочего. И это логично.

— Но на результат это не повлияет!

— Естественно, Форама.

— Постой. Но почему мы вдруг начали думать в такой плоскости? Ведь и на самом деле может найтись какой-то выход! С какой стати мы примиряемся с мыслью о невозможности спасения? Давай думать, Цоцонго, давай думать, пока еще есть время! Во-первых, мы не знаем, с какой скоростью будут происходить эти изменения. Так что до железа, может быть, дойдет еще очень не скоро, не исключено, что и вообще не дойдет. К счастью, не все тут надо решать сразу. В первую очередь — тяжелые, Цоцонго, в них опасность. О сверхтяжелых я не говорю, их — ничтожные количества... Тяжелые элементы. В рудах — не так страшно: там они в очень рассеянном виде. Просто эвакуировать людей подальше. Конечно, будет великое множество микровзрывов, немалая в сумме энергия уйдет в пространство, возникнут, быть может, нарушения климата, но с климатом можно еще побороться... Оружие? Срочно выбрасывать в пространство, и подальше. Нацелить хотя бы на солнце, что ли...

— А энергоцентрали?

— Стопорить. Вынимать горючее. В ракеты. И — туда же.

— Планета без энергии?

— Вовсе нет. Речь идет только о тех станциях, что работают на тяжелых элементах. Половина, в крайнем случае. И может быть, Цоцонго, это и к лучшему. Будет меньше дерьма, меньше роскоши, реклам, оружия, отравы в атмосфере...

— Конец цивилизации.

— Но не жизни. Живые могут искать выход. У мертвых выхода больше нет.

— И этим ты хочешь успокоить начальство?

— Что же делать, если другого пути не найдется?

— Предложишь им остаться без оружия?

— Цоконго, обожди. Если я прав, то и у Врагов не лучше...

— Не лучше, да. Но ведь они не явятся, чтобы доложить об этом. Если даже знают. Но есть вероятность, что мы, благодаря нашему сверхтяжелому, столкнулись с этим эффектом первыми. А те спохватятся, только когда в их лабораториях начнут фукать ядра полегче нашего. Но и тогда они будут держать все в строжайшей тайне, как и мы. Будут надеяться что, возможно, как раз мы ничего не знаем, что у нас начнется паника — а тогда бери нас голыми руками. Только руки нечем будет довезти: флот кончится, придется восстанавливать доисторические конструкции на химическом топливе. Итак, что будет происходить на той планете, мы узнаем далеко не сразу. А чтобы и они не узнали, что происходит у нас, даже те меры, которые решатся принять, будут строго засекречены. Демонтаж централей будут объяснять ремонтом, а кое-где — уступкой мнению окружающего населения, что же касается оружия, то за него будут держаться до последней возможности.

— Последний, предпоследний... Цоконго, надо немедленно установить наблюдение во всех институтах, где есть сверхтяжелые. Обеспечив безопасность, конечно. Эвакуировать людей... Если мы правы, то элементы будут разрушаться в строгой последовательности, от больших номеров к меньшим, по изотопам. И по скорости этого процесса мы сможем составить представление о его характере — равномерен он, ускоряется или замедляется, и о том, каким временем мы вообще располагаем. Я думаю, это первое, что должна сделать администрация. И надо доказать им, что наибольшая опасность — именно в оружии, и его надо выкинуть поскорее.

— Попробуем... Только, видишь ли, Форама, оружие ведь не обязательно запускать к солнцу.

— Ты хочешь сказать...

— На врага. Чтобы грохнуло не зря: глядишь, и уложат двух зайцев сразу. Но ведь это наверняка и тем придет в голову?

— Цоконго, знаешь что? Я только что понял: ситуация настолько неопределенная, что предпринять что-нибудь можно только с ведома и согласия Врагов.

— Эй, Форама! Чем это пахнет?

— Но есть ведь у нас договоры об оружии! Почему не заключить еще один? Тут дело поважнее.

— Дело действительно важное. И ты предлагаешь, ни более ни менее, как раскрыть врагу самый, может быть, большой секрет, каким мы обладаем в текущем столетии!

— Но ведь не сами же мы! Мы предложим...

— И сделаем большую ошибку: вторгнемся в чужую область деятельности. Из ученых станем делаться политиками. А это ни к чему. Этого никто не любит. Тебе нравится, когда политики начинают устанавливать научные законы? Так же и мы. Да и мы, действительно, не имеем нужной подготовки и не можем себе представить всех сложностей, связанных с этими делами.

— И все же я...

— Советую тебе мысленно проститься со своей красоткой, Форама: другой возможности у тебя не будет.

— Что ты говоришь, Цоцонго!

— Простые вещи. Достаточно уже и того, что мы, по стечению обстоятельств, стали обладателями настолько секретной информации, какая нам по уровню вовсе не полагается.

— Мы же сами сделали открытие!

— Открыть — еще не смертельно. Но заодно мы получили возможность заглянуть в будущее, увидеть, как будут развиваться события в планетарном масштабе и даже в межпланетном. Такого нам никто не позволял.

— Но послушай...

— Нет, выговаривать тебя за это не станут. Но мало ли что может потом приключиться. Случайно.

— Говори сколько хочешь — я не поверю.

— Я лишь советую: доложи о физической стороне вопроса. И тебя внимательно выслушают. Но даже там, где выводы лежат на поверхности и напрашиваются сами собой, не делай их. Предоставь другим. Сам же старайся показать, что ты понимаешь ровно столько, сколько тебе полагается. Ни на волос больше.

Форама помолчал.

— Ну, а если они этих выводов сами не увидят? И надо будет, чтобы кто-нибудь подсказал? Тоже молчать?

Цоцонго ответил не сразу:

— Можешь меня презирать, однако, с точки зрения здравого смысла, самым лучшим было бы — не говорить ничего вообще. Не нашли, не разобрались — и дело с концом. К сожалению, мы люди честные и не сможем промолчать. А то бы благодать: в конечном итоге все свалили бы на вражеских лазутчиков, мало ли на них валили в добрые старые времена... Но мы скажем, и уже одним этим навредим себе предостаточно. А что касается твоего вопроса... Знаешь, мне как-то неохота, чтобы мою кабинку, когда я в очередной раз поеду на работу или домой, на перекрестке случайно перетолкнули не в соседний ряд, а скинули с третьего яруса эстакады на мостовую. Или какие-нибудь отверженные с лучеметами ворвались ночью в мое жилище.

— Неужели общество не выскажет своего мнения?

— Репортеров там не будет, могу гарантировать.

— Цоконго, — сказал Форама вполголоса, но решительно. — Они ведь могут просчитаться. Без нас наделают глупостей. А Планета — это ведь прежде всего люди. Но я тебе не верю, Цоконго. Они не такие. Они — государственный разум. И все поймут, и все сделают, как надо.

Цоконго зевнул, потянулся.

— Ну и наговорили мы... Давно уже я столько не трепался. Знаешь, мар, меня все это не особенно и волнует. Я подохну без особого сожаления, потому что буду хоть знать причину, один из немногих. И девушки, с которой мне было бы так жалко расстаться, у меня нет. Но почему-то я чувствую, что обязан помочь тебе. Вот почему я предостерегаю.

— И все же я скажу им, Цоконго.

— Скажешь, скажешь. Только, пожалуйста, хоть не все залпом. Посмотрим, как будут слушать, как станут развиваться события. Нужно будет — скажешь, а там хоть трава не расти. Вот если бы ты мог предложить принцип аппарата для нейтрализации этого явления, для локальной нейтрализации, чтобы мы уцелели, а те — нет, вот тогда тебя любили бы, кормили и гладили по шерстке. Знаешь, чем черт не шутит — ты заяви, что намерен работать над этой идеей. Будет полезно для здоровья. А обо всем остальном они забудут через пять минут, потому что у них возникнет множество проблем, о которых мы с тобой и представления не имеем. Серые мы люди, Форама, знаем только свои ядра и частицы, от и до, не более. Что поделаешь... Знаешь, у меня аппетит разыгрался. Есть-то нам дадут?

Едва слышно щелкнул замок, дверь гостиной отворилась. На пороге стоял сопровождающий из червонной шестерки, из-за его плеча выглядывал тот самый ключник, что принимал их внизу.

— Оба, с вещами, — сказал ключник, глядя и дыша в сторону.

— Вот беда — вещей нет, — сказал Цоконго.

— Положено с вещами, — ответил ключник и еще пошевелил губами без звука. — Ладно, валяйте так. У вас все не как у людей. Гуляйте здоровы, еще увидимся.

— Думаешь? — спросил Цоконго весело.

Ключник неожиданно усмехнулся как-то совсем иначе, открывшись в этой улыбке на миг, сделавшись проницаемым и беззащитным.

— Есть здесь у нас нечто, — совсем другим тоном сказал он, словно равный заговорил с равным, но опытный — с неофитом. — Нечто, от чего тебе уже не избавиться, когда вдохнешь его; а вы уже вдохнули. И оно тянет, как многоэтажная высота подмывает броситься вниз, навстречу тому, что и

так неизбежно... — Он брякнул ключами. — И однажды поймешь, что лучше прийти сюда самому, чем ждать. Здесь — мир определенности и покоя, гавань, куда выносит потерпевших крушение... — Он на миг закрыл глаза, а открыв, устремил их на сопровождающего. — Ладно, катитесь, падлы, — снова вошел он в защитный свой образ, — языком тут стучать с вами без толку...

* * *

— Слишком мало времени, — проговорил Фермер. — А твои люди почему-то медлят.

— Они мои, пока я не отпускаю их от себя, — откликнулся Мастер. — Я ведь не подменяю своими людьми тех, под именем которых они выступают. Там возникает своего рода симбиоз. И моя информация, кажется им, не приходит извне, а возникает в них самих. А они привыкли не очень доверять себе. Что же, сомнение — прекрасная черта...

— Это один из точных признаков, по которым узнаешь заторможенную, скованную в своем развитии цивилизацию: предположения и догадки о существовании иных, высших культур, и попытки добиться контакта с ними технологическими средствами, — в словах Фермера звучало не пренебрежение, но сожаление. — А ведь контакт, как они это называют, так прост!

— Неизбежная примитивность мышления, — кивнул Мастер. — Для того чтобы уверовать в контакт, людям подобных цивилизаций необходимо увидеть снижающийся корабль сверхнебывалой конструкции. Скрытая форма идолопоклонства, не что иное. Им нужен голос с неба, чтобы понять, что это — откровение. Их логика не позволяет им понять, что для любой высшей культуры самый простой и употребимый способ передать свои знания низшей — вложить их в уста одного из них.

— Мне трудно признать такую категорию, как безнадежность, — сказал Фермер. — Но когда думаю о них, порой опускаются руки и хочется предоставить все дела их течению.

— Нет, — не согласился Мастер. — Когда садовник складывает руки, в рост идут сорняки. А потом приходится их выжигать.

— Потом они сжигают себя сами, освобождая место, — поправил Фермер. — Но это немногим приятней.

— Ты хочешь сказать, что не в состоянии помешать им?

— Я — Фермер. Могу засеять поле, но не в состоянии помогать росту каждого стебелька в отдельности. Даже каждого ствола. И уж подавно не могу сделать так, чтобы из семечка яблони вырос дуб. Даже не дуб, а хотя бы яблоня другого

сорта. Что могу, я делаю. Хотя я посылаю только мысли, а ты — своих людей. И при этом не одних только эмиссаров.

— Посылаю. И мне жаль их, Фермер. Им приходится нелегко. Ты знаешь задачу эмиссара: его объект — люди, а не события. И пусть он в силах влиять на человека, порой выступать от его имени, поддерживать начатое дело, — но этим его возможности, по сути, и ограничиваются. Я могу оказать непосредственную помощь лишь в критических ситуациях: вмешательство со стороны бросается в глаза и подрывает доверие. Во всех остальных случаях мои люди должны обходиться своими силами. И очень хорошо, когда они могут черпать поддержку друг в друге — чаще всего даже не понимая, что оба они из одной команды, и что встреча их — не первая. Правда, опытный эмиссар чувствует это почти сразу. Но опытных у меня там, как ты знаешь, всего один. И ему придется нести тяжесть не только его собственной задачи, достаточно сложной, но и поддержать как-то другого, который, по обстоятельствам, должен будет сыграть там главную роль.

— Ты уверен в успехе, Мастер?

— Уверен? Не знаю. Я верю — это, пожалуй, точное слово.

* * *

С Форамой из дому ушли шестеро, но еще двое остались. Мин Алика лежала, свернувшись клубком под одеялом, по временам крупно вздрагивая; мыслей как бы не было, но каждый раз, когда кто-то из оставшихся двигался, на нее нападал страх: их было двое, здоровенные молодчики, она — одна, защищенная лишь тонким одеялом, а слышать о таких ситуациях ей в разные времена приходилось разное. Боялась она так, что это, наверное, было заметно; во всяком случае один из оставшихся, глянув на нее, вдруг усмехнулся и сделал пальцами козу, как маленькому ребенку, и Мин Алика послушно и поспешно улыбнулась, хотя не до смеха ей было. Однако пока что они вели себя чинно, ничего себе не позволяли, а вскоре и совсем затихли, словно задремали на табуретках по обе стороны двери: привыкли, видимо, ждать, терпения у них было намного больше нормального. Понемногу Мика осмелела: не расставаясь с одеялом, стала по очереди дотягиваться до своих вещичек и под одеялом же одеваться. Было это не очень удобно, но куда безопасней: самое страшное — когда тебя видят, и ты становишься вдруг для них конкретной и досягаемой. Она ворочалась под оеялом, но они только мельком покосились на нее: ощущали, видно, что никакого подвоха с ее стороны не будет, а может быть, и беглых взглядов было им достаточно, чтобы понять, что она там под одеялом делает и чего не делает.

Так Мика вползла в домашние брюки — в них она чувствовала себя совсем уверенно — и тогда уже встала; комнатные босоножки аккуратно стояли подле, как она сама вчера их поставила. Только тогда один из сидевших встал и шагнул к ней; Мика сжалась, готовая кричать и отбиваться, но тот в двух шагах выжидательно остановился. Она поняла и, не убирая постели, ушла в душевую. Противно было, что чужой начнет сейчас копаться в постели, которая теперь была уже не просто местом, где спят, но — соучастником и свидетелем, молчаливым другом, с которым можно было без слов вспоминать и переживать бывшее; да, противно — но Мин Алика понимала, что таким было дело этих людей, которое и им самим, может быть, не бог весть как нравилось, но они его делали, у каждого из них были на то, наверное, свои причины, и мешать им так или иначе было бы бесполезно. Когда она, намеренно не спешившая, вернулась в комнату, вещий как раз заканчивал водить над постелью маленькой черной коробочкой, едва слышно жужжавшей; вот он выключил приборчик, сунул его в карман, вернулся к своей табуретке и снова замер, как ненастоящий. Алика включила плитку, поставила воду для кофе, стала собирать небогатый завтрак. Минутку поколебалась: предложить им или не стоит? Тут возможны были две линии поведения: или поза человека обиженного, никакой вины за собой не чувствовавшего и потому относящегося ко вторгнувшимся с подчеркнутой холодностью: вы, мол, мне не нравитесь и скрывать этого не хочу, потому что за одно это вы мне ничего не сделаете, а что подумаете — мне безразлично; вторая линия предусматривала поведение человека своего, все понимающего и даже сочувствующего, и опять-таки совершенно безгрешного: что поделать, ребята, я понимаю, что вам и самим не бог весть как нравится сидеть здесь, бывает работа и повеселее, но что делать, служба такая, я тут ни в чем не виновата и ничем помочь не могу, терпите, я вам сочувствую... В первом случае приглашать их к столу не надо было, во втором — надо. Мин Алика решила не приглашать, тем более что, с их точки зрения, ей и следовало быть злой: выдернули мужика из постели, не дали еще побалдеть, — да и какие такие ресурсы у девятой величины, чтобы так вдруг, не готовясь специально, угощать кого попало? Им не понять было, конечно, что хотя она ощущала и обиду и боль, однако после всего, совершившегося ночью, такое обилие добра ощутила в себе, что и на них хватило бы. И все же она их не пригласила, потому что если начнешь показывать себя своим человеком и сочувствовать, то кто может сказать, какого сочувствия им еще захочется: жалеть, так уж до конца; а если бы она сама не поняла или не решилась, то им могла прийти и такая мысль в голову, что надо помочь доброй девушке понять, надо рас-

толковать на пальцах... Мин Алика чуть не улыбнулась, на миг ощутив себя тем, кем была на самом деле, и представив — воображение у нее было живое, — каким боком обернулась бы для них подобная попытка; но улыбаться сейчас было совершенно ни к чему, и внешне она осталась такой же испуганно-серьезной, какой выглядела с самого пробуждения.

Щелкнул тостер, одновременно шапкой поднялся кофе — черный, густой, совсем как настоящий — для тех, кто никогда настоящего не пробовал. Те двое, наверное, пили — они лишь повели носом и уголки рта показали у них не то, чтобы презрение, но четко выразили мысль: каждому — свое. Мин Алике пришлось самой задвинуть ложе в стену, — Опекун, видимо, был выключен гостями на время их пребывания здесь: лишний контроль ни к чему, да и — не баре, приберетесь и сами. Перед тем, как сесть к столу, она включила приемничек и даже не глядя почувствовала, как напряглись те двое. Но коробочка была прочно настроена на местную программу, шла музыка пополам с торговой рекламой, и все это каждые пять минут прерывалось отсчетом времени, чтобы никто не прозевал свою минуту выхода, свою кабину. Что-то сегодня было, видимо, не в порядке в атмосфере — или с городскими помехами, и музыка порой перемежалась треска-ми и шорохами; но так бывало нередко, и двое, расслабившись, вернулись в привычный режим ожидания. Позавтракав, Алика сунула посуду в мойку, а сама стала быстро наводить марафет для выхода. Это была как бы проба: ей могли, усмехнувшись, сказать, что не трудись, мол, зря, выпускать тебя не приказано, если мажешься, чтобы нам нравиться, — тогда, конечно, пожалуйста... Те ничего не сказали, не покосились даже. Щелкнув, распахнулась дверца кабины; створки еще только начали раздвигаться, а оба беззвучно оказались уже возле нее с мускулами, натянутыми, как струны, казалось, чуть звенящими даже. Но кабинка была пуста, она пришла за Аликой. Женщина натянула плащик; тот, с черной коробочкой, вышел из кабины. Алика взяла сумочку, постояла секунду, нерешительно помахивая ею; но на нее по-прежнему не смотрели, видимо, в дамском багаже успели разобраться заранее. Тогда она вошла в кабинку; пока створки сходились, успела заметить, как губы второго сидящего шевельнулись — в углу рта у него была приклеена таблетка микрофона. Значит, незримо надзирать все-таки будут.

Теперь времени у нее было — целое богатство: полных две минуты, пока кабина не минует внутреннюю сеть и не окажется на магистрали. Сработала инерция поведения, все продолжалось, как и должно было: мгновенное расслабление, приступ настоящего страха, с дрожью рук, с нахлынувшим отчаянием... Внутренне Мин Алика улыбнулась этой точности

игры, в которой больше не было никакой нужды. Теперь надо было обезопаситься. Она закрыла глаза, мысленно прислушиваясь ко всему, что, явно или неявно, звучало в кабине, потом безошибочно подняла руку к воротничку, под ним нащупала тоненькую булавку, вколотую ими, наверное, пока она еще лежала. Булавку Мин Алика воткнула в сиденье снизу. Теперь пусть сигналит, пока не иссякнет ресурс.

Две минуты спустя кабинка выщелкнулась на точно подоспевшее пустое место на линии и поехала вместе со множеством других, меняя, когда надо, ряды и когда надо — направления. Чуть поодаль и намного выше, над всеми ярусами эстакад, не опережая и не отставая, как собачонка на привязи, скользила маленькая, на двоих, лодка, и внутри ее, на небольшом экране, яркая точка держалась в центре, а следовательно — все было в порядке.

* * *

Казалось бы, и не так долго пробыли они в отсутствии, и все же возникло у Форамы такое ощущение, когда они очутились на воле, в городе, словно он из какого-то абстрактного пространства, чисто математического, снова родился на свет и, ошеломленный всеми его шумами, красками и запахами, с кружащейся головой, пытается разобраться в открывшемся ему великолепии многообразия, подсознательно пытаясь при этом выделить из множества линий, красок и ароматов — очертания, цвета и запах одного человека, одной женщины. Форама даже замедлил было шаг, но его вежливо поторопили; ясно было к тому же, что Мики здесь нет и не могло быть: вряд ли она успела узнать что-то определенное о его судьбе; да не только она — он и сам ничего не знал, строил только предположения, которые не оправдывались.

К таким предположениям относилось, например, что их с маром Цоцонго должны были доставить вроде бы туда, откуда увезли: в то, что осталось от вчера еще могущественного института, цитадели физики, на которую даже стратеги поглядывали с уважением, — а они, как известно, не любят уважать что бы то ни было, кроме самих себя. В институт, пусть даже искореженный; камни его — и то были, казалось, до такой степени проникнуты физической мыслью, что думать о чем-то другом бывало просто невозможно, зато о работе мыслилось быстро и хорошо; а значит, где же, как не там, следовало продолжить разговор на начатую утром научную тему? Однако лодка, в которую их вежливо, но решительно усадили (они и не собирались, впрочем, возражать), взяла курс в другом направлении. Фораме не часто приходилось разглядывать город с высоты, но Цоцонго был человеком куда более искушенным,

и уже через несколько минут полета, оторвавшись на миг от окошка, сообщил Фораме, что направляются они, насколько он мог судить, в самую область слабых взаимодействий. На языке физики это означало, что летят они в атомное ядро, но именно так на их полушутливом жаргоне давно уже назывался тот район необъятного города, где помещалось все то, что в обиходе общо и неопределенно называли одним словом: «правительство», или порой, для разнообразия — «администрация». Услышав это, Форама встрепенулся. Посетить резиденцию правительства было, пожалуй, лишь немногим менее любопытно, чем и на самом деле оказаться в середине подлинного атомного ядра. И там, и тут предполагалось, в общем, что происходящие процессы известны, поскольку можно непосредственно наблюдать их результаты и в какой-то степени даже предугадывать их, — однако на втором плане всегда присутствовала мысль, что знание это — рабочее, временное, сегодняшнее, принятое потому, что оно не противоречило явлениям — и тем не менее могло оказаться совершенно неверным, если говорить о механизме осуществления этих явлений. Точно так же (думал Форама) видя человека, минуту назад зашедшего в табачную лавку и теперь вышедшего оттуда с пачкой сигарет в руке, мы с уверенностью предполагаем, что он купил ее там — хотя на самом деле он мог, конечно, купить ее, но мог и украсть, и отнять, или просто вынуть из собственного кармана, вспомнив, что пять минут назад уже купил сигареты на другом углу и сюда зашел лишь по инерции, задумавшись о чем-то. Однако наше объяснение нас вполне устраивает, поскольку сам по себе процесс, в результате которого в руке человека оказались сигареты, интересует нас куда меньше конечного результата — потому, что может быть, что мы хотим попросить у него сигарету — или напротив, заговорить с ним о том, что курение вредно и аморально. Это в определенной степени напоминало то, что Форама знал о процессах, происходящих в атомном ядре; что же касается правительства, то о нем физик имел еще более слабое представление.

Не он один, впрочем. И дело тут было не в недостатке любознательности у граждан или в отсутствии информации. Было и то и другое, но — до определенного предела. Правительственные учреждения все были известны, в них можно было, если угодно, зайти, походить по этажам и коридорам, поглазеть на людей, осуществляющих руководство: клерков, начиная с нижней, двенадцатой величины и до шестой, даже до пятой; людей четвертой величины и выше было на свете вообще не так уж много, а в каждом департаменте — единицы, и увидеть их можно было только при определенном везении или настойчивости, подкрепленной конкретным и достаточно убедительным поводом. Возглавлялись эти департаменты

обычно советниками второй и третьей величины, но вообще-то вторую величину имели уже Гласные, и видеть их приходилось разве что на экранах. Что же касается первого уровня, наивысшего, то даже из Гласных его имели лишь немногие, и то уже в почтенном возрасте, когда большая часть жизни была за плечами. Но пусть на экране, пусть раз-другой в году, все же видеть можно было и их; и, однако, не было безоговорочной уверенности в том, что именно они, Гласные, и являлись правительством. Тут начиналась область неопределенностей и предположений. Как и когда они впервые возникли — сказать трудно, но, во всяком случае, достаточно давно, когда Форама еще и на свет не рождался. Слухи эти официально никогда не опровергались, потому что официально их и не существовало, законным правительством были Гласные. На чем основывались слухи, сказать было трудно, сейчас они были уже традицией, в момент же их возникновения — существовала, надо полагать, какая-то причина, информация, какой-то огонек, к дыму от которого принюхивались и до сих пор.

Заключались слухи в том, что настоящим, подлинным, реальным правительством были вовсе не Гласные. Они, по этой теории, представляли собой лишь промежуточное звено — своего рода преобразователи, наподобие радиоприемников, преобразующих неуловимые для чувств электромагнитные колебания в уловимые звуки или изображения. За смысл и содержание передач аппарат, однако же, не отвечает... Отсюда, кстати, выводили и название — Гласные, поскольку они, следовательно, были голосами, артикуляционным аппаратом, которым управлял кто-то другой.

Кто же? Слухи на этот счет тоже были, как казалось, вполне определенными, однако по существу крайне неконкретными. Говорили, что те, кто представлял собой подлинное правительство, не были группой людей, уединившихся в каких-то неприступных убежищах, наподобие тех, в которых располагались планетарные электронные устройства — Политик, Полководец и прочие, — уединившихся, чтобы, отрешившись от всего мирского, мыслить, провидеть и решать; напротив, по традиции считалось (хотя официально и не признавалось), что люди эти жили в самой гуще жизни, среди всех прочих людей, занимались какими-то повседневными делами, как и все смертные, и вовсе не на командных постах, а иногда и в самом низу пирамиды величин; так, уверяли, что один из подлинных правителей служил швейцаром в самом фешенебельном ресторане города — «Аро Си Гона»; однако в этом суперресторане было двенадцать подъездов, на каждый — по три смены швейцаров, по два человека в смене, и кто именно из семидесяти двух увитых шнурами и осыпанных золотом персон являлся живым воплощением могущества, сказать ни-

кто не мог; сами же швейцары, когда с ними заговаривали на эту тему — кто хохотал, кто надувался, в зависимости от характера и темперамента. Смысл такой анонимности (согласно той же системе слухов) заключался в том, что, находясь всегда кто в самом низу, кто — где-то в середине, правители были в курсе всего, что происходило на Планете, не получали информацию из чужих рук, а собирали ее сами, и потому имели возможность реагировать на все должным образом и своевременно. Известно, что причиной заката многих некогда могучих правительств было именно отсутствие объективной информации или же нежелание к ней прислушаться. Если верить слухам, правительству Планеты такое не грозило. Как эти неизвестные попали в правительство, или, вернее, стали им, за счет каких людей пополняли свои ряды — объяснялось следующим образом: то ли сами эти люди, но скорее какие-то их предшественники, может быть, даже прямые предки некогда стали таким вот анонимным руководством вследствие того, что в их руках сосредоточилась — тут мнения делились: кто говорил, что экономика и, следовательно, — деньги, дающие реальную власть; кто — что это была военная сила, тоже позволяющая властвовать реально; третьи полагали, что в руках первых властителей была секретная информация обо всем, в первую очередь о людях, в том числе и о тех, кто составлял тогдашнее официальное правительство. При помощи одного, другого или третьего, или же всего вместе, неизвестные властители подчинили себе то официальное правительство, обратив его лишь в провозвестников своей воли, своего рода глашатаев; название «Гласные» пришло не сразу и официально должно было означать, что правительство все делает и обсуждает вслух, на глазах у общества, у всей Планеты, и что секретов у него нет. Так оно и шло — годами, десятилетиями, а может быть и веками.

И вот теперь, когда Форама услышал, что везут их не в институт и не куда-нибудь еще, а именно в резиденцию правительства, он сразу же подумал: интересно, а вот в таких случаях эти анонимы появляются? Может быть, он увидит хоть кого-нибудь из них? Может быть, даже узнает? Такой человек вполне мог оказаться его соседом по лестничной клетке, мог попасться на глаза в магазине или скользящей мимо кабине. Затем мысль Форамы побежала дальше: «Хорошо, а вообще-то они показываются? Хотя бы своим Гласным, каждый из которых, как говорят, представляет одного властителя? Или же сообщаются с ними иначе — по телефону, радио, письменно, еще как-то — при помощи голубиной почты, скажем? Могут ли Гласные сами обращаться к властителям, ставить перед ними вопросы, требующие незамедлительного решения, вот как сейчас например, когда информация посту-

пает непосредственно наверх и неизвестные никак не могут почерпнуть ее на тех уровнях, на которых проходит (если слухи верны) их повседневная жизнь? Или же функции Гласных ограничиваются лишь обнародованием того, что им указывают? Конечно, это была не физика, но и тут было немало интересного, как и во всякой проблеме, решение которой не поддавалось фронтальной атаке.

Разобравшись во всех своих мыслях — полет все еще продолжался, — Форама несколько успокоился, пришел даже в относительно хорошее настроение (так бывало с ним всегда, когда предстояло увидеть что-то интересное, а тем более — принять в этом участие), и стал оглядываться, рассматривать лодку и тех, кто находился в ней, направляясь в атомное ядро власти.

Тех, кто сопровождал его и Цоцонго, было уже не шестеро: к ним прибавилось еще двое, обильно вооруженных, — видимо, ценность Форамы и Цоцонго изрядно возросла, пока они сидели взаперти и рассуждали, пользуясь гостеприимством надзирателя-философа, иначе зачем было усиливать охрану: не могло же взбрести кому-то в голову, что физики собираются удрать, еще чего не хватало! И лодка была другая — просторная, бронированная, с мягкими сиденьями, крохотными иллюминаторами и очень мощными (судя по почти неслышному, без малейшей натуги гудению) моторами. Все молчали, никто ни на кого, казалось, не смотрел; Фораме, однако, было свойственно чувствовать обращенные на него взгляды так же недвусмысленно, как и прикосновения; и он ощущал, что самое малое половина спутников смотрит на него. Как могли они делать это, не поворачивая головы, не скашивая глаз, он понять не мог; видимо, они были в своем деле специалистами хорошего класса, как он — в своем, и тоже, как он, не сделали, невзирая на это, хорошей карьеры — иначе их не посылали бы в качестве охраны. Фораме пришло на миг в голову, что и в той службе, как и у него, как и в любой, наверное, области деятельности существуют свои радости и горести, свои торжества и разочарования, удовлетворение и зависть, везение и невезение, и простые эти вещи для отдельного работника значат куда больше, чем суть той работы, которую он выполняет; для других же, глядящих со стороны, важна лишь эта работа, и на выполняющего ее они смотрят лишь как на носителя функции, прочее в нем им неинтересно — и потому людям еще долго будет очень нелегко понять друг друга... Трудно сказать, о чем подумал бы Форама дальше, но тут антигравы смолкли, пол стал уходить из-под ног, пилот что-то забормотал в микрофон, какие-то числа и отдельные слова, снаружи что-то мгновенно промелькнуло — и лодка с великой осторожностью коснулась грунта.

Их пригласили выйти, и они вышли и оказались в небольшом дворике, со всех сторон окруженном глухими стенами, — попасть сюда извне можно было лишь по воздуху. Вошли в неширокую дверь и очутились в кабине, похожей на обычную транспортную, но много просторнее; в ней разместились все прилетевшие и еще двое каких-то здешних, встречавших их, и еще оставались места. Кабина тронулась; надо полагать, то было внутреннее сообщение — резиденция правительства занимала обширную площадь, на много ярусов уходила в высоту, а на сколько под землю — этого Форама не знал. Ехали несколько минут, по-прежнему молча. Вышли в просторном зале. Форама сделал шаг и остановился в растерянности: со всех сторон, под разными углами, разом шагнули к нему Форамы в неисчислимом количестве и тоже застыли. Зеркальный холл — что-то такое он слышал в детстве. Цоцонго тоже словно споткнулся, остальным же, очевидно, это было не в новинку, они вежливо подождали, пока гости — или кем тут являлись физики — пришли в себя; потом не то чтобы окружили их, но все же как бы эскортируя подвели к одному из больших, до пола, зеркал на стене (были зеркала и на квадратных колоннах), оно откатилось — это была дверь, за ней открылась комната, в которой было много людей; видимо, тут и происходило то, для чего Форама и Цоцонго понадобились. Им вежливо проговорили: «Входите, не медлите», — они вошли, дверь за ними неслышно затворилась, и они, стараясь выглядеть уверенно, сделали несколько шагов вперед.

* * *

Тут не было зеркал, была удобная, деловая обстановка, не один большой стол, а множество маленьких, невысоких, с мягкими креслами подле них, с сифонами, соками, фруктами, карандашами, блокнотами в коже с правительственными символами на крышке, с маленькими аппаратами правительственной всепланетной связи. Большинство кресел было занято; прежде всего в глаза бросались яркие мундиры стратегов, мундиры поскромнее, темных оттенков — вещих; именно мундиры, лица этих людей все равно не были знакомы ни Форамe, ни даже Цоцонго, и к тому же лица эти чем-то походили друг на друга, производили почему-то одинаковое впечатление. То были как раз те люди, что еще не показываются регулярно на экранах, но уже и не позволяют себе слишком часто появляться среди толпы. Только тот вещий, что участвовал в предыдущем разговоре, оказался знакомым; он дружелюбно кивнул. Знакомыми, конечно, были и ученые: те, что были утром в институте, и другие, с большими змеями, каждый в отдельности — глава из учебника, все вместе — раздел ежегод-

ника «Их Знают Все». Не совещание, а Пантеон какой-то — подумал было Форама, скользя взглядом по столам, и вдруг напрягся. На этот раз не мундиры приковали его внимание; люди, заставившие его подтянуться, были в строгих гражданских костюмах, костюмы были похожи, зато лица разные — никогда не встречавшиеся в жизни, но многократно виденные на экранах. Да, то были Гласные, и, глядя в их увереные глаза, рассматривая строгую и вместе свободную осанку, не хотелось вспоминать о каких-то слухах, потому что сразу становилось ясно: эти вот и есть — администрация, правительство, они и есть власть.

— Мы пригласили вас раньше, чем предполагалось, — сказал Первый Гласный, на этот раз он, конечно же, лично вел совещание. — Мы пригласили вас не для того, чтобы услышать от вас какие-то новости: вряд ли за столь ограниченный срок вы успели прийти к конкретным выводам. Мы пригласили вас, чтобы, напротив, поделиться новостями с вами. Не стану скрывать: это дурные новости.

Цоцонго кивнул, словно заранее знал, что так оно и будет. Форама лишь вздохнул.

— Прошу вас, го-мар, — кивнул Первый сидевшему неподалеку главе ученого мира, на студенческом жаргоне — Великому Питону.

— Недавно, приблизительно час тому назад, — начал Питон, — несчастный случай, или трагическое событие, как бы его ни называть, произошел в региональном институте Второго полушария. Как вам, видимо, известно (тут Питон привычно кривил душой, этого требовали приличия, на деле же он прекрасно знал, что сотрудникам этого института ничего подобного известно не было, так же как ученым того института — об этих; то были своего рода заочные бега, способ контроля, а также повышения надежности прикладной науки, словно параллельная цепь управления каким-то ответственным механизмом), они занимались той же темой, что и ваша лаборатория. И вот... Мы успели лишь передать предупреждение, чтобы все данные и записи были немедленно сообщены нам; мы даже не знаем, успели они сделать это, или информация осталась на уровне институтских компьютеров и хранилищ памяти. Таким образом, в данный момент мы еще точно не знаем, на каком этапе работы они находились, очередной отчет мы должны были получить лишь завтра; известно, однако, что и у них был назначен окончательный эксперимент. Видимо, они начали проводить его; у них была иная методика, но результат должен был возникнуть тот самый: накопление сверхтяжелого элемента с теми же параметрами. До вашего прибытия мы успели обменяться мнениями с коллегами и с представителями иных функций Планеты, здесь присутствую-

щими; правительство, таким образом, в курсе дела. События заставляют нас прийти к выводу, что предположение о хорошо организованной диверсии становится все менее правдоподобным: нет фактов, какие указывали бы на подобную возможность. Следовательно, приходится предположить, что тут и на самом деле играют роль какие-то естественные процессы, хотя характер их пока остается для нас совершенно неясным. — Он помедлил. — Если, конечно, у вас не успели возникнуть какие-либо соображения по этому поводу. Поскольку нет сведений о том, что в институте Второго полушария кто-либо из работавших над темой уцелел, поскольку в отличие от вашего случая катастрофа там произошла, к сожалению, в рабочее время, — мы возлагаем надежды на вас. Со вниманием выслушаем мы все ваши пожелания относительно научно-технического обеспечения вашей работы, мы предоставим в ваше распоряжение лучшие лаборатории и любых специалистов, каких вы сами нам укажете. У нас лишь одно требование: разрабатывая теоретические предпосылки, вы должны незамедлительно делать из них выводы прикладного характера и передавать их соответствующим специалистам для разработки. Вот то, что я хотел вам сказать.

— Ни минуты времени не должно быть потеряно, — произнес Первый Гласный, как бы завершая напутственную часть, после чего все головы повернулись к Фораме и Цоцонго.

— Что дали астрономы? — спросил Цоцонго.

— Ничего, — ответил Питон, — что могло бы интерпретироваться, как... Взаимное положение и движение двух планет не совпадают с флюктуациями скорости распада. Ничего общего. Никаких энергетических потоков не фиксировалось ни с каких направлений ни гражданскими, ни военными обсерваториями, ни соответствующими учреждениями службы вещих.

— Не было ничего. Уж мы бы не проспали, — убежденным басом проговорил один из генералов — с тремя голубыми ракетами на расшитом золотом воротнике. — И ни одного корабля в поле зрения. Диверсантов, появись они, мы испепелили бы еще на дальних подступах. Так что эти варианты — и с атакой диверсантов, и насчет излучений — кажутся нам маловероятными. Что касается внутреннего саботажа, то это уже не наша служба, — он умолк и перевел дыхание.

— Есть у вас, мары, какие-либо гипотезы? — спросил Питон.

— Да, — невозмутимо сказал теперь уже Форама: он решился, хотя Цоцонго делал ему страшные глаза и попытался даже толкнуть ногой под столом. — Одна есть. Достаточно безумная, но она дает нам указания на то, где следует искать, пусть и косвенные, ее подтверждения. Если наша гипотеза

окажется справедливой, го-мары, создастся положение куда более серьезное, чем кажется сейчас.

— Можете ли вы изложить дело нам — хотя бы в самых общих чертах? — спросил Первый Гласный.

— Разумеется, го-мар, я мог бы. Скажу сразу: она целиком основана на предположении о естественном, вернее — природном характере происходящего. Анализируя сохранившиеся материалы, мы смогли, как нам кажется, заметить некоторые признаки...

Его, судя по всему, внимательно слушали, и он заговорил, все более увлекаясь, переводя глаза с одного на другого (что являлось нарушением этикета Высшего круга, но что было спрашивать с какого-то яйцеголового шестой величины!), жестикулируя, порой полемизируя сам с собой и с молчавшим Цоцонго. Когда он закончил, лицо Первого Гласного было столь же скульптурно-неподвижным, как и вначале, на большинстве остальных лиц заметна была усталость вследствие непривычного напряжения. Великий Питон едва заметно покачивал головой, то ли не соглашаясь, то ли от удивления, но вслух возражать не стал. Он сказал лишь:

— Таковы, следовательно, ваши предположения. Не сказал бы, что они дают привлекательную перспективу, однако...

— Мы все привыкли смотреть фактам в глаза! — уверенно сказал Верховный Стратег.

— И тем не менее... Какие есть способы убедиться, хотя бы косвенно, в обоснованности ваших выводов, мар Форама?

— Я считаю, го-мар, нужно не мешкая запросить все институты, где имеются какие-то количества, скажем, трех сверхтяжелых элементов, синтезированных последними — тех, что предшествовали нашему. Пусть сообщат, наблюдаются ли какие-то изменения скорости распада элементов, или хотя бы одного из них, и каков характер изменений. Получив данные, мы сможем сопоставить их с тем, что известно относительно нашего элемента. Как я уже сказал, мы не строим предположений относительно механизма явления. Мы слишком мало знаем. Но сейчас нам кажется самым важным — констатировать, существует ли это явление вообще. Если нет — можно предположить, что никакой нарастающей угрозы нет, просто мы достигли — для нашего уровня возможностей, разумеется, — потолка в области синтеза сверхтяжелых, что природой наложен здесь некий запрет, иными словами — вступают в действие какие-то новые закономерности, не проявлявшиеся на низших уровнях, и чтобы добиться желаемого, следует искать обходных путей.

— Хотелось бы думать, что дело обстоит именно так.

— Совершенно с вами согласен, го-мар. Однако проверка может показать и другое: что явление существует, и скорость

распада увеличивается не только для наших экспериментальных ядер. Если так, наше предположение относительно изменения характеристик пространства можно было бы принять в качестве рабочей гипотезы, попытаться установить величину ускорения, иными словами — тот запас времени, которым мы обладаем для действий по достижению безопасности, — и сделать выводы. Практические выводы. Разрешите несколько слов о них?

Великий Питон чуть заметно пожал плечами и взглянул в ту сторону, где сидели Гласные; взгляды тех, в свою очередь, повернулись к первому из них.

— Сформулируйте вкратце, — проговорил тот отрывисто и негромко. Но слова были услышаны всеми, и все, оставаясь неподвижными, каким-то непонятным образом излучили внимание свое и почтение.

— Я патриот, — сказал Форама. — И исхожу из своих представлений о том, что необходимо предпринять для сохранения самой Планеты, ее населения и нашей культуры хотя бы ценой отказа от многого...

Его слушали, на этот раз все более настораживаясь, все чаще поглядывая в сторону Гласных. Энергетика? Но этого не перенесет экономика... Вооружение? Что же, нам капитулировать перед Врагами, так прикажете понимать?

— Благодарю вас, — сказал Первый с тем же неподвижным лицом, когда Форама закончил — закончил как-то неубедительно, не на высокой ноте: почувствовал все холодеющее отношение слушателей к его мыслям и к нему самому. — Благодарю. Разумеется, мы примем во внимание ваши суждения. Однако мы внимательно слушали вас и полагались на вашу эрудицию, пока речь шла о научных категориях. В области же применения этих категорий к реальной жизни мы привыкли придерживаться наших собственных методов, продиктованных опытом и традициями. Надеюсь, это вас не обидит... — Он коротко кивнул Фораме, тот спохватился, что все еще стоит, словно школьник, выслушивающий нотацию учителя, и поспешно уселся на свое место, даже съежился, чтобы привлекать поменьше внимания. Но на него и не смотрели уже, с ним на данном этапе было покончено, нужное из его информации принято, остальное — отброшено, и не ученым же (а у этого и змей еще не было в петлицах), не им решать судьбы цивилизации.

Да так и правильнее было, наверное: если бы и практические выводы доверено было сделать ученым, то они, погрузившись в исследование теоретических и философских аспектов рабочей гипотезы, до конкретных мероприятий добрались бы не через день, и не через два. Но Высший Круг, заседание которого здесь и происходило, состоял в основном из полити-

ков, близких к стратегам, и стратегов, близких к политикам; научную сторону вопроса они приняли безоговорочно, как и все, исходящее от науки, по принципу: понять это невозможно, приходится верить (горький опыт научил их относиться к проблемам именно так). Но в вопросах практических они уступать инициативу никому не собирались, и тут же, не сходя с места, взялись прежде всего за решение стратегического вопроса: чего, исходя из возникших условий, следует добиваться и каким именно способом.

Собравшиеся, люди неглупые, хотя и обладающие не столько кругозором, сколько, если можно так сказать, сектором обзора, достаточно узким (но это — непременное условие целеустремленности), прежде всего, даже не обменявшись еще ни словом, поняли, что вся их досиюминутная военная стратегия, основанная, как и стратегия Врагов, на принципе «Попробуй, тронь — тебе же хуже будет!», лишается своего основного аргумента: бомбоносных армад, которые в обозримом будущем обещали, если верить новой гипотезе, исчезнуть с немалым шумом. Поэтому стратегия могла пойти сейчас по одному из двух направлений: либо ждать, пока бомбоносцы сами собой не взорвутся, используя это время для рывка в области естественных, как принято было говорить, иными словами — неядерных средств обороны: когда обе планеты окажутся ядерно-обезоруженными, преимущество будет на стороне той, которая лучше подготовится к иным способам активной самозащиты; активной, вот именно. Другой же принцип заключался в том, чтобы не ждать, пока бомбоносцы полетят ко всем чертям, но использовать их, пока они еще существуют, для той же активной обороны, постаравшись одновременно обезопасить себя от чего-либо подобного со стороны Врага — коварного, как известно, и подлого, но в данном случае (хотелось надеяться) приотставшего. Ни стратегическая, ни научная разведка пока еще не имели никакой информации об изменении или просто некоем шевелении в области вражеской стратегии и оборонной науки. Хотя исходить следовало из того, что если гипотеза верна, то подобные же явления со сверхтяжелыми ядрами должны были произойти и у Врага, но не было известно, занимался ли уже Враг их синтезом; если не занимался, то никаких взрывов там и не могло произойти, и о надвигающейся беде там не знали, а следовательно, у Планеты был налицо выигрыш во времени: тут уже знали о предстоящем и могли принять меры.

— Велика ли вероятность того, что наши враги находятся в курсе событий, го-мар? — обратился Верховный Стратег к Главному Змееносцу, Великому Питону тож.

— Как вам известно, научного обмена с врагами мы не ведем уже довольно долго. Однако, по нашим данным, они не

прилагали адекватных усилий в области синтеза сверхтяжелых, поскольку их оборонная наука особое внимание обращала и обращает на различные комбинаци тяжелых и легких ядер. Работая в этой области, они не могут на данной стадии столкнуться с интересующими нас явлениями, пока не начнется аналогичный процесс в тяжелых.

— Если начнется вообще, — обронил Верховный Стратег.

— К сожалению, сомнений в этом почти не остается. Пока вы обсуждали положение, мы получили запрошенную маром Форамой информацию и успели первоначально осмыслить ее. Теперь уже можно почти с абсолютной уверенностью сказать, что ускорение распада является реальностью и можно даже в первом приближении вывести его зависимость во времени. Можно также предполагать наличие тенденции распространения процесса на ядра тяжелых элементов. Правда, тут еще желательны уточнения.

— Благодарю вас, — остановил Питона Первый Гласный. — Когда же, по-вашему, может начаться этот процесс в тяжелых ядрах? Иными словами — каким запасом времени мы обладаем?

— Следует исходить, видимо, из двух недель. Плюс-минус, конечно.

— Две недели... — задумчиво повторил Первый. Он перевел взгляд на Верховного Стратега. — Что можно сделать за этот срок в области развития естественных средств самозащиты?

— Зависит от постановки вопроса, — не сразу ответил тот. — Если иметь в виду пассивную оборону от возможного десанта Врага, то за две недели мы можем развернуть стратегические коконы, довести их до полного состава за счет резерва и хранящегося в арсеналах вооружения. Это реально. Что же касается проблем обороны активной, то... некоторые идеи нуждаются в уточнении, и может быть, на менее широком заседании...

— Понимаю вас, — сказал Первый. — Перерыв на несколько минут.

Он встал и в сопровождении остальных Гласных покинул комнату собраний, выйдя в заднюю дверь. Оставшиеся зашевелились, почувствовали себя расслабленнее. Защелкали пробки, зазвенели стаканы, зашипели сифоны.

— Да, славно бы, — сказал Верховный Стратег Питону, — если бы они там ничего еще не знали, ни сном ни духом.

— В этом я уверен, го-мар. И не только по той причине, какую я уже изложил. Дело еще и в том, что в нашей области многое зависит от качества умов, работающих над проблемами. Вот например, — он понизил голос, — наш мар Форама Ро — явление в этом плане выдающееся, хотя некоторые личностные качества не позволяют понять и оценить это сразу.

— Он как ребенок, — с досадой сказал Стратег.

— Увы, да. Но с этим приходится считаться. Он... — Великий Питон поискал Фораму глазами, не нашел. — Кажется, они уже удалились?

— Вероятно, — кивнул Стратег. — Вопросы, которые будут обсуждаться здесь после перерыва, не требуют их участия. Видимо, их предупредили об этом.

— Прекрасно. Я как раз должен был напомнить им, что их миссия здесь выполнена... Да, я хотел сказать вот что: хотя обе планеты и близки по уровню развития, это вовсе не значит, что специалисты одного масштаба возникают и тут и там одновременно. История науки доказывает противное...

И они продолжали разговор.

Однако ни Форама, ни Цоцонго не покинули комнаты заседаний. Не думая ничего дурного, они, воспользовавшись перерывом, отошли от своего столика и присели на диванчик в углу, за колонной, где можно было выпить стакан сока не на глазах высокого начальства, которого оба они стеснялись. Стоял диванчик так, что Гласные со своих мест могли видеть лишь краешек его.

— Слушай, — тихо сказал Форама коллеге. — О чем еще совещаться? Не понимаю, что тут еще думать. Ведь все ясно! По-моему, они все равно придут к тому, что я уже предложил. Потому что другого выхода нет, ты же понимаешь, что нет!

— Это с твоей точки зрения, — усмехнулся Цоцонго.

— А тут только одна точка зрения и может быть.

— Оставь. Ты никогда не занимался политикой, даже в рамках института. Ты в этом отношении эмбрион. Так что лучше оставайся в границах чисто научной информации.

— То есть?

— Не суди о том, чего не понимаешь.

— Цоцонго! Но ведь всякое иное решение — это гибель людей! Гибель, может быть, всего!

— И что?

— Ну перестань! — сказал Форама. — Ты не смеешь так думать о Высшем Круге. Только что мы видели их здесь. Вполне достойные люди, вызывающие доверие и уважение. И в конце концов, разве не вся Планета избрала Гласных, доверила им свою судьбу?

— Кстати, как ты полагаешь: зачем было сейчас делать перерыв?

— Какое это имеет значение? С перерывом или нет, но если они не согласятся с тем, что я предложил, я встану и скажу...

— Не спеши вставать. Я не зря спросил о перерыве. Ты наверняка ведь слышал разговоры...

— Разговоры? — Форама на миг умолк, соображая: мысли сейчас были полны другим. — Ах, о Неизвестных? Ну знаешь, побывав здесь, я в это больше не верю.

— Но примем как одну из гипотез, что они пошли сейчас не просто посовещаться в узком кругу, но чтобы снестись с — ну, с кем-то — и получить определенные инструкции.

— Не знаю, Цоцонго. Да и какое это имеет значение? Кто бы ни занимался поисками выхода, но если выход один, он должен быть найден этим ищущим. А если он не найдет, я помогу ему!

— Видишь ли, тут есть разница. Тех, кто принимает решения, в принципе можно переубедить. Тех же, кто лишь получает и транслирует дальше инструкции, переубедить нельзя: они не решают, они лишь объявляют. Так что в этом случае ты и подавно выскочишь зря.

— Не верю.

— Я тебе добра желаю, Форама...

— Благодарю... Но я верю Высшему Кругу, понимаешь? Кому же еще я должен верить, по-твоему?

— Ищущий веру — найдет. Только имей в виду: круг, хотя он и высший, — еще не горизонт. В пределах горизонта есть многое другое, во что можно верить.

— Мне сейчас не до абстрактных рассуждений. Я...

Задняя дверь в этот миг распахнулась. Гласные вошли. Были они так же невозмутимо непроницаемы. Расселись. Первый обвел комнату взглядом, глаза его задержались на опустевших местах двух ученых, и он удовлетворенно кивнул, полагая, что лишних в комнате не осталось.

— Продолжаем. Го-мар Верховный Стратег, насколько я понимаю, говоря об активной обороне, вы имели в виду применение десанта?

Стратег кивнул.

— Вот именно. Как считают наши эксперты, мы в данной ситуации можем через две недели остаться без средств десантирования или во всяком случае без уверенности в их безопасности: наш десантный флот, напомню, работает на тяжелых элементах. А следовательно: либо мы начинаем активно-оборонительные действия, самое позднее, через неделю, либо придется ожидать, пока не будет воссоздан флот на химическом топливе и топливо это не будет получено в нужных количествах. Но это — месяцы и годы, и мы лишимся фактора внезапности, имеющего первостепенное значение.

— Нет, — сказал Первый. — Терять его мы не должны.

— Значит, надо искать другой вариант. Вы разрешаете?

Первый Гласный промолчал.

— Иной вариант очевиден, — негромко ответил он затем. — Пока мы еще можем с уверенностью оперировать

тяжелыми, надо попытаться использовать максимум возможных комбинаций. Включая и ту, вероятность которой возникла в связи с новыми обстоятельствами.

Он кашлянул.

— Сегодня мы еще обладаем всем: и бомбоносным флотом на орбите над планетой Врага, и десантным флотом, и тактическими средствами, основанными на тяжелых элементах. Ясно, что всем этим обладает и Враг. Однако сейчас у нас есть и новый сверхтяжелый...

Великий Питон решился возразить:

— Простите, го-мар. Его у нас как раз больше нет.

— Но ведь технология производства сохранилась? Да и специалисты, что присутствовали здесь... Однако этот элемент нам, собственно, и не нужен, для нас важно лишь, что он является средством, значительно более эффективным, чем все, что до сих пор было известно. Не так ли?

— Вы совершенно правы.

— Теперь вами установлены какие-то закономерности, которые дадут возможность рассчитать: какой нужен там элемент, чтобы самопроизвольный взрыв его произошел, учитывая развитие процесса, ну, скажем, через четыре дня. Верховный Стратег, вы хотите что-то сказать?

— Никак нет, го-мар. Я лишь не вполне понимаю... но вы, очевидно, подразумеваете возможность направления к их планете средств доставки с этим новым элементом?

— Именно.

— Но сможем ли мы обеспечить их охрану, защиту от вражеских охотников?

— В этом нет нужды. Мы исходим из того, что противник будет считать их обычным оружием и, следовательно, приготовится к их уничтожению на заранее определенных рубежах его безопасности. От чего зависят эти рубежи, го-мар?

— От типа, от массы приближающихся снарядов. Чем массивней он, тем больше расстояние от планеты, на котором он должен быть атакован и уничтожен.

— Совершенно верно. Так вот: наши средства и сами снаряды будут значительно меньше существующих и, следовательно, их подпустят ближе. А там уничтожить их просто не успеют: они взорвутся раньше. И благодаря тому, что мощность их заряда окажется намного большей, чем будет предполагать Враг, ему будет нанесен значительный ущерб. Все, что нам нужно, — это чтобы ученые дали элемент с нужной точностью времени взрыва. Мы не требовали бы этого, если бы взрывом можно было управлять произвольно, как со всеми другими веществами...

— К сожалению, это невозможно, го-мар.

— Итак, вы дадите нам такой элемент?

Великий Питон помолчал.

— Боюсь, что гипотеза, — назовем ее даже теорией, — осторожно ответил он наконец, — на сегодняшнем уровне не может обеспечить необходимой точности. Тут можно было бы идти только экспериментальным путем...

— Идите — мы будем только приветствовать.

— Извините, я хотел бы закончить мысль. Идти таким путем в данном случае значит — синтезировать сверхтяжелые от больших номеров к меньшим. Если бы у нас были все номера, было бы проще, но в нашем распоряжении — далеко не все элементы, и об отсутствующих членах ряда можно судить лишь гадательно. Итак, придется синтезировать; высшие номера будут взрываться — только так мы сможем установить, что это еще не то, что нам нужно.

— Разве на планете мало институтов? Используйте все! Сверните все остальные исследования!

— Дело не только в этом, го-мар. Будут гибнуть люди. Ученые!

— Нельзя ли автоматизировать процесс?

— В принципе — да. Но в принципе можно и разработать теорию в нужной степени. Однако на то и на другое нужно время.

— Времени у нас нет. Начинать надо немедленно.

— А кроме того, — негромко вставил до сих пор молчавший Великий Вещий, — все это должно происходить при минимальной внешней суете и минимуме вовлеченных и информированных лиц. Все должно выглядеть, как обычно. Иначе Враг начнет что-то подозревать, и будем смотреть правде в глаза — нельзя стопроцентно гарантировать полное сохранение секретности.

— Следовательно, — сказал Питон, — участие людей в экспериментах необходимо. И при каждом взрыве они будут гибнуть. По пять, шесть, восемь ученых...

— Сколько же может понадобиться таких экспериментов?

— Во всяком случае, более одного, я полагаю. Три, четыре, может быть, пять — пока не найдем искомое.

— Хорошо, — сказал Первый Гласный. — Пусть будет пять. Пусть по восемь участников в каждом... Неужели вы не найдете у себя сорок хороших физиков? В таком случае, на что же мы давали деньги?

— Но... — пробормотал Питон, — они же погибнут!

— Полно! — вступил в разговор Верховный Стратег. — Когда мы посылаем воинов выполнять свой долг, то заранее знаем, что определенная часть их погибнет. Война есть война, и ваши физики ничем не лучше других.

— И пять институтов...

— Го-мар! — сказал Первый. — Победив, мы построим вам не пять, а двадцать пять таких институтов. И по самую крышу набьем их первоклассными мозгами. Проигравший платит. Но, чтобы выиграть, нужно сперва что-то поставить на кон.

— Да, конечно... — еле слышно проговорил Питон. — Да, мы сделаем... Но — простите, если я вторгнусь в чужую область знаний, однако наука приучает к определенной дисциплине мышления. Мы слышали здесь ту прекрасную диспозицию, что изложил здесь го-мар Первый Гласный. Но... Насколько мы все разбираемся в науке обороны... как только над их планетой произойдут взрывы и будут, видимо, уничтожены их центры, управляющие бомбоносным флотом, — их корабли, витающие над нашими головами, перестанут получать постоянный сдерживающий сигнал и автоматически начнут атаку, если даже наши охотники не увеличат скорость ни на миллиметр. Таким образом, мы все равно получим ответный удар!

— Я не спрашиваю, откуда вам известно о сдерживающем сигнале: знаю, что наши ученые разрабатывали подобное устройство для нужд нашей обороны, — ответил Первый. — Однако вы понимаете далеко не все.

— Нам была изложена, — снисходительно пояснил Верховный Стратег, — лишь основная линия предстоящих оборонительных действий. Их, так сказать, директриса. Продумать остальное — наша, стратегов, задача. И мы, будьте уверены, выполним ее на совесть. Чтобы успокоить вас, чтобы вы действовали без оглядки, могу заверить, что ваша безопасность будет гарантирована. Как только вы дадите нам достаточное количество элемента — кстати сказать, мы немедленно включим в его синтез соответствующую отрасль оборонной промышленности, а вы знаете, какой мощностью она обладает, инженеры же уверили нас, что понадобится лишь минимальная переналадка промышленных ускорителей, — да, как только мы получим элемент, мы сразу же начиним им, кроме тех средств доставки, о которых говорил го-мар Первый, еще и ракеты второй ступени.

— Заатмосферные? Но какой в этом смысл?

— Великий, собрат мой, великий. Эти ракеты мы используем еще до начала основной атаки именно для того, чтобы вывести из строя бомбоносцы врага. Те, как известно, могут перейти в атаку автоматически и предпринять действия по собственной защите только в случае, если охотники — или другие снаряды — приблизятся к ним на расстояние, хоть на метр меньшее установленного договорами о безопасности. И, так же, как при атаке на планету, наши маленькие ракеты, начиненные новым веществом, взорвутся, еще не достигнув

этого предела и таким образом не дав бомбоносцам возможности что-то предпринять. Вы сами понимаете, что взрыв таких снарядов на якобы безопасном расстоянии выведет из строя все их машины. Попросту расколет их на куски. И висящая над нами опасность наконец-то перестанет существовать!

— Это можно было бы только приветствовать...

— После чего мы сможем с чистой совестью поднять с планеты наш десант, а перед ним пустить те самые средства доставки, о которых уже говорил го-мар Первый; таким образом, мы создадим условия для успешного десантирования.

— Очень хорошо, — сказал Первый Гласный, — даже блестяще. Я думаю, Стратегическая служба немедленно займется детальной разработкой этого направления.

Великий Питон откашлялся; голос его чуть дрожал, когда он сказал:

— Вы нарисовали убедительную и логичную картину, го-мар... Конечно, все это будет связано с немалым количеством жертв с обеих сторон... на фоне которых наши двадцать или сорок физиков покажутся ничтожной потерей... Но все же мне трудно было бы примириться с мыслью о подобном, если бы не сознание того, что принимаемые нами меры вызваны происходящими на планете Врага ужасами, о которых все мы наслышаны... и если бы не то, что это будет последняя война в истории наших планет и что жертвы эти будут последними жертвами...

Пауза наступила после слов старика; по лицам политиков и стратегов, словно легкая рябь по воде, промелькнули улыбки. Верховный Стратег сказал:

— Да, разумеется, го-мар. Мы все на это надеемся. Но все же... история учит нас, что подобные надежды чаще всего не оправдываются. Ибо мы, высказывая их, не принимаем во внимание неописуемого, сверхчеловеческого коварства наших исконных врагов.

— При чем тут коварство, — не понял Питон, — если они, как я понял, будут разбиты наголову?

— Разбиты они будут, безусловно. Расшатанное внутренними неурядицами и осложнениями, их общество не сможет оказать сколько-нибудь значительного сопротивления нашим десантам. Но вы ведь не думаете, го-мар, что мы собираемся уничтожить всю жизнь на их планете? (Ученый испуганно дернул головой.) Мы тоже так не думаем. Жизнь сохранится. Сохранится, хотя и будет несколько нарушена их экономика; сохранится их Круглый Стол — хотя в его составе произойдут, разумеется, некоторые изменения; им придется забыть о своих амбициях и обратиться к нам за помощью для восстановления разрушенного и для дальнейшего развития. Мы, разумеется,

помощь эту окажем — из чисто гуманных соображений, памятуя, что семьдесят с лишним лет назад они подобным же образом поступили по отношению к нам; тогда им удалось каким-то способом возобладать над нами в вопросах обороны... Мы не освещаем этого в школьных учебниках истории, но впечатления вашего детства, го-мар, должны быть связаны с этим, да и каждого или почти каждого из нас. Да, мы поможем им восстановить хозяйство. Так что же вы думаете, как только их промышленность снова наберет обороты, они не вспомнят о реванше? Не станут развивать оборонные отрасли? Вооружать Стратегическую службу? Станут, го-мар, и еще как! Так что пройдет несколько десятилетий, и вопрос «кто кого» будет стоять так же принципиально, как сегодня. Другое дело, что и мы постараемся не потерять времени даром, так что сразу же после заключения мира вам, го-мар, придется бросить еще больше сил на развитие оборонительной науки.

— Однако, го-мар, — нерешительно, почти испуганно проговорил Питон, — наверное, я чего-то не понимаю... Зачем же позволять им восстанавливать Стратегическую службу, оборонительную промышленность и все прочее? Ведь в наших силах будет не допустить этого раз и навсегда!

— Может быть, теоретически это и возможно, мой ученый собрат, — ответил Верховный Стратег, — однако практически здесь возникло бы множество трудностей. Никто в наши дни не в состоянии провести грань между промышленностью мирной и оборонительной, между предприятиями, работающими на мирный рынок — и на стратегию. Взять хотя бы ваши институты... Но дело не только в этом. Мы живем в обществе, го-мар, мы все — его частицы. И наше, и их общество наделены определенными функциями, которые мы считаем нормальными. К ним относится и функция обороны. Так неужели кто-нибудь решится настаивать на создании ублюдочного общества, лишенного какой-либо из его нормальных функций? Что это будет за общество? Мне не хотелось бы жить в таком, да и никому из нас, я думаю, тоже... Нет, наше общество вполне нас устраивает, и мы не собираемся менять в нем ничего. Вот почему они будут снова вооружаться, и вот почему мы всегда будем готовы к очередному акту самозащиты, как готовимся к нему сейчас. Вы поняли меня, го-мар?

Наверное, старик понял. Потому что можно было бы сказать и проще: если это последняя война, то что после нее станем делать мы, стратеги? Не захотят ли вечно недовольные налогоплательщики и пакостная пресса вообще обойтись без нас под тем предлогом, что мы требуем слишком много денег, а практической надобности в нашем существовании уже не будет? Нет, мы не собираемся допустить ничего подобного, потому что нам нравится наше занятие и еще потому, что без

нас нарушится равновесие сил, регулирующих ход общественных процессов, и чем это может кончиться — никто предсказать не в состоянии... Наверное, старик понял; во всяком случае, говорить он больше ничего не стал, лишь кивнул несколько раз и стал смотреть в стол.

И тут вскочил Форама. Его здесь не должно было быть, лишь недосмотром тех, кому надлежало, можно объяснить, что его с Цоцонго не вывели своевременно и не вернули в приятное уединение или же в новую лабораторию, или еще куда-нибудь, куда было бы сочтено полезным. Но они остались и слышали то, чего им слышать никак не полагалось; но вместо того, чтобы, сознавая свой грех, примириться с судьбой, какая после этого могла их постигнуть, Форама выскочил из-за прикрывавшей его колонны и осмелился заговорить.

— Го-мары! — не сказал, а почти выкрикнул он, хотя рассудок подсказывал ему, что лучше было бы говорить спокойно и уверенно; ничего он не смог с собой поделать, помешал обычно глубоко запрятанный темперамент. — Го-мары, неужели не ясно?.. Все это строится на песке — ведь нет уверенности, что элементы поведут себя строго заданным образом, что природа не несет нам никаких новых неожиданностей. А главное — раз в жизни, да что в жизни — раз в истории, может быть, нам представляется возможность, не возможность — необходимость круто повернуть руль, направить историю в ином, лучшем направлении, а мы — а мы пренебрегаем такой возможностью и собираемся идти на громадный риск ради того только, чтобы все осталось по-старому... Го-мары, неужели нельзя опомниться, неужели нельзя...

Он запнулся, наткнувшись на взгляды — испуганные, недоумевающие, неприязненные, холодные; все глядели не на него, а мимо или сквозь — и все же взгляды эти жалили его. Он умолк, но упрямо стоял, словно готов был ждать ответа до самого конца; стоял, внутренне сам не понимая, что это его вдруг занесло, ужасаясь — но капитан Ульдемир лучше знал, что сейчас надо делать.

— Почему вы здесь, мар... э-э... Форама? — негромко, как всегда, спросил Первый Гласный. — Вам придется, полагаю, дать исчерпывающий ответ на этот вопрос несколько позже... (Великий Вещий разгневанно оглянулся; к нему уже спешил подчиненный, другие наверняка ждали за дверью.) Занимайтесь своим делом, мар. На прощанье скажу вам: в политике безумные идеи не нужны. Они вредны. Они враждебны. И не знаю, перевесят ли ваши научные заслуги всю тяжесть того, что вы себе только что позволили.

«Высший Круг, — думал Форама, — вот как решаются здесь дела. Иная логика, система ценностей, иерархия целей — все иное!»

Он оглянулся. От двери уже приближались. Надо было что-то сделать. Неожиданное. Что-то придумать. «Ну, капитан! — прикрикнул он сам на себя. — Думай! Быстро! Как в полете!»

— Го-мар Первый! — сказал Форама сдержанно, и это заставило головы снова повернуться к нему — именно уверенная сдержанность голоса. — Перед тем, как выйти, решаюсь заметить, что есть способ значительно сократить и ускорить ход намеченных вами работ.

Первый Гласный взглянул на него — на этот раз уже не враждебно, хотя до дружелюбия было еще далеко.

— Только самую суть, пожалуйста.

— Из элементов, синтез которых предполагается в процессе работ, три номера были уже созданы нами в ходе подготовки к основному эксперименту. Созданы в количестве, позволяющем использовать их нужным образом... — Форама положил, как бы между прочим, руку на плечо коллеги. — Они хранились в институте, в крайне надежных контейнерах, в мощных сейфах, в скальном основании. Если до сих пор не поступило сообщений о повторных взрывах в развалинах института, значит они уцелели...

— Можно ли добраться до них?

— Разрешите мне проникнуть туда и убедиться.

— Не рискованно ли? — Произнося это, Первый смотрел не на Фораму, а на Великого Вещего; тот еле заметно пожал плечами.

— Другой возможности нет. Дело в том, что я — единственный, оставшийся в живых, на чей биошифр настроены замки. Конечно, доступ туда сейчас затруднен, но я в прекрасном состоянии, и если мне дадут несколько человек в помощь...

— Безусловно, — серьезно сказал Великий Вещий.

— Ваше мнение? — обратился Первый к Питону.

— Да-да, — сказал тот, — конечно... — Он упорно смотрел в стол. — Риск, конечно, велик, но и польза...

— Какой выигрыш во времени могут дать эти элементы?

— Дня два, может быть — три.

— Очень ценно. Мар Форама, мы благодарны вам за инициативу. Будем ждать известий о вашем успехе. Идите.

Неизвестно в какой миг приблизившиеся двое уже стояли за спиной Форамы.

— Можно идти, — сказал один из них почти беззвучно и снова задвигал челюстью, растирая жвачку.

Форама непринужденно кивнул. Цоконго встал наконец с диванчика и остановился рядом с ним.

— Я тебе понадоблюсь там?

— Нет... — И почти беззвучно: — Рыцарь...

Цоцонго усмехнулся углом рта, кивнул и первым вышел в зеркальный холл. Форама, идя за ним, мельком глянул на многочисленных Форам, кинувшихся на него из зеркал, и безмятежно засвистел песенку. «Как приятно, — насвистывал он, — в теплый солнечный день быть вдвоем с красивой и доброй светловолосой девушкой на пустынном морском берегу, где лишь ветер коснется нас — но он никому, никому не расскажет...»

А в комнате, из которой они вышли, совещание продолжалось. Первый Гласный давал указания Великому Питону:

— Поскольку Круг, видимо, согласится с предложенным здесь образом действий по активной обороне, немедленно займитесь отбором персонала для экспериментов и их инструктированием. Берите их из разных мест и так, чтобы обо всем, связанном с экспериментами, у них не было ни малейшего представления. Кодовое название операции установим — «Чистое небо». Никакого самостоятельного обмена информацией между группами — только через вас. Мы, со своей стороны, обеспечиваем сорок пенсий второго ранга семьям погибших физиков, сорок посмертных дипломов Спасителей Нации — с обнародованием после одержания победы — и сорок памятников; однако тут мы еще подумаем — памятник, возможно, воздвигнем групповой — тоже после победы, разумеется. У вас есть вопросы? У кого есть вопросы?

— Го-мар, — сказал Великий Вещий. — Полагаю, что в целях соблюдения секретности этих сорок человек, как и всех прочих, кто будет связан с проектом, и этих двоих, если они уцелеют, — он бегло взглянул в сторону двери, — следовало бы немедленно перевести на охранительный режим.

— Только сделайте это как можно деликатнее. Ваши люди порой забывают о необходимости соблюдения покоя... Чтобы ни у кого не возникло тяжкого впечатления и чтобы сами эти лица не утратили рабочего настроения.

— Нет, — сказал Великий Вещий, — рабочего настроения они не утратят, это мы обеспечим. Система поощрения, и прочее.

— Хорошо. Последнее: никакой информации в широкую сеть. Наоборот. Мы срочно пошлем на их планету делегацию для переговоров по каким-нибудь актуальным проблемам межпланетной торговли. Представительную и многочисленную делегацию с видным деятелем во главе — ну, скажем, третьей величины. Об этом дадим самую широкую информацию по всем каналам.

— Еще два десятка пенсий, — негромко сказал кто-то из политиков, кажется — Главный Финансист, и эти слова как-то четко вписались в неожиданную паузу, так что их услышали все.

— Победа, — сказал Первый спокойно, — требует жертв. Именно они остаются в памяти истории и потомков. А кто помнит о бескровных победах? Да и бывают ли такие вообще?

ГЛАВА ПЯТАЯ

Кабинка уличного сообщения равномерно плыла по заданному маршруту, а маленькая лодка с наблюдателями все так же неотступно следовала за ней, негромко жужжа антигравом, а Мин Алика, хрупкая большеглазая женщина, находилась уже далеко от того места, где, как наблюдатели полагали, она сейчас обретается. Как и в какой именно миг удалось ей ускользнуть из кабины, да еще так, что никто этого не заметил, — ни один не взялся бы объяснить, потому что для такого объяснения следовало бы признать вещи настолько неожиданные для большинства спокойно мыслящих, насколько неприемлемо для них такое изменение свойств пространства, о котором уже догадался Форама. Ускользнула; для простоты можно предположить, что она в момент, когда кабина, закончив спуск по этажам, на миг замерла, чтобы в следующую секунду начать движение по горизонтальному руслу, ведущему к магистрали, — что в этот момент Мин Алика с неожиданной для хрупкой женщины силой раздвинула дверцы, протиснулась между створок и ступила на узкую — едва устоять — бетонную ступеньку, прижалась грудью к стене, а когда кабинка перешла на ленту горизонтального потока — женщина осторожно сделала несколько шагов по выступу (сзади и сверху слышался уже негромкий рокот других набегающих кабин, был час пик, люди ехали на работу) и нырнула, отворив железную дверцу, в узкий ход, предназначенный для наладчиков домашних транспортных каналов. Отсюда можно было выбраться по узким и пустынным коридорчикам — она знала это, хотя ни разу здесь не бывала и никаких планов или схем не видала, — в единственный в блоке подъезд для пешеходов, где, как Алика рассчитывала, никто ее не поджидал, а и если бы — она нашла бы способ уклониться от встречи. Оказавшись на улице, Мин Алика быстро и не оглядываясь прошла те две сотни метров, что отделяли ее от перехода на нижний транспортный ярус нерегулярных сообщений. Минуты две здесь пришлось обождать поезда; пассажиров в этот час было мало, время нерегулярных поездок еще не наступило, — проехала две остановки, вышла, перешла, не поднимаясь на поверхность, на линию индивидуальных кабин свободного движения. Там была очередь, и пришлось подождать около пятнадцати минут. Наконец она села, сунула в кассу кабинки монету (можно было и просто задать номер своей карточки, но не стоило оставлять

следов, излишним было бы — выказывать пренебрежение к принятым здесь способам скрыться от чересчур пристального внимания) и задала маршрут, поглядывая на светившийся над кассой план маршрутной сети и нажимая клавиши с нужными номерами. Теперь у нее было с полчаса времени, разыскать ее в кабинке свободного движения, одной из десятков тысяч, практически было невозможно. Прежде всего Мин Алика задумалась: что дальше? Она примерно представляла, как должны развернуться события в ближайшем будущем — если только не вмешается нечто неожиданное. Свою задачу она знала: поддерживать соратника и — иногда — направлять едва заметными движениями, как опытный водитель легкими, как бы самопроизвольными движениями руля заставляет машину как можно меньше отклоняться от прямой. Первой задачей было — получить свободу действий; она не была уверена, справится ли с этим он сам, настолько она его еще не знала. Где находился он сейчас? Ей захотелось его увидеть. Это удалось женщине почти сразу: его рассудок и чувства работали в эти минуты очень интенсивно, уловить их для Мин Алики труда не составляло. Ей не понадобились для этого какие-либо дополнительные средства, вроде того устройства, что было вмонтировано в замок ее сумочки и служило для превращения в информацию, адресованную ей одной, тех шумов и помех, что сопровождали утреннюю передачу местного вещания. В устройстве этом не было ни грамма металла, не работали в нем и электромагнитные поля, и черная коробочка, какой пользовались червонные у нее дома — анализатор — помочь им никак не могла: такое поле анализатором не воспринималось. Итак, Фораму она увидела без помощи сумочки, увидела — и немного успокоилась; однако ей все же следовало быть к нему поближе. Она задала кабинке новый маршрут, не переставая смотреть и слушать; но обстановка изменилась, и в результате Мин Алике пришлось еще раз задержать кабину на полном разгоне и изменить направление; кабина не обиделась на это, ничего не проворчала и даже не подумала — она была лишь автоматом четвертой категории. События теперь приняли такой оборот, что целых несколько часов Мин Алика могла использовать для собственных дел — если бы такие у нее были. Поразмыслив, она направила кабину в один из тупиков, какие использовались для стоянок городского транспорта в часы слабого движения; здесь можно было находиться, не выходя из кабины, неопределенное время — опуская лишь монеты в кассу, когда звоночек позвякивал очередной раз.

Эти несколько часов покоя следовало, пожалуй, использовать для занятия, столь высоко оценивавшегося древними: для познания самой себя — что для Мин Алики в настоящем ее положении вовсе не было лишним. Она с немалым интересом

познакомилась с собственной биографией, иногда при этом кивая, иногда хмурясь, а порой высоко поднимая брови и усмехаясь. Вот уж действительно лихую жизнь она прожила — при всем ее достаточно еще молодом возрасте успела она воистину немало. «Бедный ты мой Форама, — подумала Мин Алика с улыбкой, — вот уж не обрадовался бы ты, выяснив все подробности! Однако тебе знать их незачем, а если я тебе о них и сообщу, то не сейчас, а когда-нибудь потом, и не здесь, а где-нибудь в совсем других местах...» Порой Мин Алика, анализируя собственное жизнеописание, сама с собой спорила, иногда даже весьма серьезно и непримиримо, как если бы две чужих и достаточно разных женщины спорили; но разве не так оно и было на самом деле? Все же в конце концов Мин Алика пришла в согласие сама с собой и со всем своим прошлым, которого было не переделать, с настоящим, переделывать которое не было надобности, и с будущим, которое переделывать нельзя было хотя бы потому, что его еще не было.

Покончив с этим, Мин Алика снова вывела кабину на линию и задала маршрут. До намеченной ею конечной точки поездки оставалось еще минуты три-четыре, когда кабина стала вдруг замедлять ход, а потом и вовсе остановилась. Засветилось табло: «Линия перекрыта. Выберите маршрут объезда». Женщина кивнула, не испытав особого удивления. Не раздумывая, она набрала маршрут, согласно которому кабине следовало вернуться на три перегона назад, там свернуть под прямым углом и ехать дальше. Но когда кабина, мигнув желтым огоньком согласия, готова была уже тронуться, Мин Алика оттянула дверцу и выскочила. Кабина чуть помедлила, но створка отъехала не настолько, чтобы включить автоматическую отмену маршрута, и узкий ящик скользнул, уносясь по заданному пути.

Так Алика потерялась в очередной раз. Она обождала, пока огонек кабины не скрылся за изгибом туннеля, и пошла вперед, уже не опасаясь, что ее собьют: раз движение перекрыто, значит, здесь не могло быть никакой езды. Пешком пройти надо было примерно с полчаса; видимо, на пути туда, куда она шла, встретится еще самое малое один, а то и два рубежа перекрытия; но люди там окажутся разве что в самом конце пути, а она свернет раньше.

Она шла по туннелю легкой, непринужденной походкой, помахивая сумочкой, словно прогуливаясь по бульвару, когда впереди послышался негромкий рокот, потом сверкнул огонек. Кабина шла навстречу, судя по звуку — на предельной скорости. Мин Алика могла бы попытаться остановить кабину, но решила, что сейчас этого не нужно: все отлично шло само собой. Ей пришлось сжаться, притиснуться к стене туннеля,

закрыть глаза даже, чтобы избежать мгновенного головокружения: она ведь была женщиной, какими бы знаниями и каким бы опытом ни обладала, она не терялась в самых серьезных переделках, а вот на чем-то мелком могла и споткнуться... Рокот нарастал, вот он уже расчленился на несколько отдельных звуков: шум роликов на направляющих полосах, свист токосъема по шине, приглушенное жужжание мотора, — налетел, обдав теплым, пахнущим озоном воздухом, промчался — и снова наступила тишина. Мин Алика перевела дыхание, открыла глаза. Она не смотрела, конечно, на кабину в миг, когда та проносилась мимо, но и так прекрасно знала, кто в ней находился: не одними же глазами видит человек — во всяком случае, начиная с определенной ступени очеловеченности... Теперь идти дальше не было смысла, там Форама обошелся без нее, возникали совсем другие ситуации и комбинации. Но и здесь, в туннеле ей делать было вовсе нечего: туннели время от времени просматриваются службой контроля, зачем привлекать к себе внимание? Туннель — не место для пешеходов... Мин Алика быстро зашагала назад, к тому месту, где движение было перекрыто и где она рассталась с кабиной: пущенная ею по замкнутому кругу, кабина должна была через несколько минут снова оказаться в том же месте, и можно будет снова сесть в нее и ехать дальше по делам, которых у Мин Алики еще оставалось великое множество.

* * *

Люди пробирались по институтским подземельям, светя себе сильными фонарями и все же налетая на неожиданные углы и ребра, подставленные неизвестно откуда взявшимися глыбами, обломками стен, провалившимися перекрытиями с торчащими когтями арматуры, обрывками кабелей, кусочками металла и пластика, еще недавно бывшими мебелью и оборудованием. Коридор этот был знаком Фораме давно, изучен вроде бы как свои пять пальцев, — сейчас сориентироваться здесь казалось невозможным, все не так, ни одной привычной черты, линии, предметы; пройденное расстояние можно было учитывать лишь интуитивно, порою пять пройденных метров могли показаться пятьюдесятью, иногда же — наоборот. Все трое молчали, только изредка шедший впереди Форама произносил: «Осторожно», или «Внимание!», а если предупреждение запаздывало или не так воспринималось, сзади доносились одно-два слова, высказанных негромко, но экспрессивно, а еще чуть позже подобные же слова, точно эхо, возвращались, отраженные замыкавшей шествие четверкой. Чем дальше, тем идти становилось опаснее и страшнее, люди, видимо, приближались к месту взрыва, обломки в тысячи килограммов веса

громоздились один на другом, иногда, как безошибочно определял Форама, в состоянии крайне неустойчивого равновесия; очень хотелось вернуться, но он заставлял себя идти вперед: так или иначе, сам он это придумал, и в придумке этой был немалый смысл. Остальные же понемногу отставали, потому что ситуация не казалась им такой, где уместно было бы жертвовать жизнью: то была бы не та жертва, за какие ставят памятники и навечно заносят, а просто придавило бы тебя глыбой, насадив на зубья арматуры, как маринованный грибок на вилку, — вот и вся романтика... Наконец, Форама определил, что где-то здесь и надо было начинать поиски нужных ему дверей; он остановился, обернулся и, осветив сопровождающих, проговорил негромко:

— Обождите немного, здесь опасно. Попробую обнюхаться...

Опасно, собственно, было и до этого, и раз уж он специально предупредил, значит, следовало ожидать чего-то особенного. Так оно и было: тут громадный кусок перекрытия, равный по площади целой комнате, лежал на ребре другой внушительной глыбы, словно доска примитивных качелей, и даже покачивался немного. Форама направил на эту комбинацию луч фонаря, чтобы сопровождавшие, что стояли теперь компактной кучкой, убедились: предупреждал он не зря. Миновать препятствие можно было, лишь проползя под ним, пробираться поверху казалось еще более рискованным: там, в проломе, собралось множество обломков поменьше — но каждого из них хватило бы, чтобы раздавить лошадь, — упиравшихся друг в друга, но так ненадежно, что похоже было: стоит хоть чуть нарушить равновесие качелей — и все хлынет вниз, давя всех и окончательно уже перекрывая проход. Форама постоял, обдумывая; шестеро сопровождавших понемногу подступили вплотную и остановились за спиной, неспокойно дыша, один из них с хрипотцой пробормотал: «Гроб». Лезть Фораме очень не хотелось, но надо было. Он попросил остальных отойти подальше и опустился на колени. «Эй, — сказал старший, — ты что это?» — «Я попробую, — ответил Форама. — Все равно ведь мне пролезть надо, первым или не первым, а вот вам рисковать не обязательно». То ли это так уж убедительно звучало, то ли не очень хотелось им, людям вежливым, спорить с ученым — только возражений не последовало, шестеро переглянулись, насколько позволял полумрак, и промолчали. «Если почувствуешь, что не так — сразу вылезай назад», — сказал старший. «Ясно. А если пролезу — крикну, тогда и вы двинетесь по одному», — пообещал Форама. «Кричи только потише», — посоветовал другой, проведя лучом фонаря по глыбам. «Ага», — согласился Форама. На всякий случай вокруг пояса ему обвязали тонкий прочный фал — оказался у них с собой, — хотя если бы Фораму там придавило, то вытянуть

останки было бы, пожалуй, затруднительно... Форама подождал, пока закрепили узел, лег на живот и пополз, освещая дорогу. О том, что воздвигалось над ним, он старался не думать, чувствовал только, что это и была одна из тех ситуаций, о каких предупреждал его Мастер, — капитана Ульдемира предупреждал, разумеется. Всерьез он сейчас думал лишь о том, как провести вперед руку, как подтянуть ногу, как перенести тело еще на двадцать сантиметров вперед. Так он прополз метра три или чуть больше, но путь этот показался ему немногим короче, чем к центру планеты. В двух местах он едва не застрял, казалось, ни за что ему не пробраться, он и не представлял, что может оказаться таким плоским, а каждое прикосновение спиной к накрывавшей глыбе мгновенно вызывало непроизвольное ощущение громадного давления сверху — словно все начинало сразу же оседать на него, и Форама разевал рот и беззвучно кричал от страха... Вдруг он даже не увидел, но всем телом почувствовал, что давить перестало; он поднял глаза — осторожно, как будто движение это могло вызвать обвал. Перекрытие наверху исчезло, кончилось. Форама направил луч света вверх — над ним метрах почти в трех находился потолок, потрескавшийся, но целый, пол тут оказался почти без обломков. Дополз-таки.

На это и рассчитывал он с самого начала, зная, что и опоры, и перекрытия, и стены были здесь намного массивнее, чем во всем остальном здании, обладали многократным запасом прочности. Форама ведь работал в институте с самого начала и даже раньше — при нем здание достраивали и монтировали оборудование... Он осветил завал, видимый теперь с тыла. Отсюда сгрудившиеся обломки выглядели еще грознее. Форама осторожно, стараясь не дергать, захватил узел фала на спине, перевел его на живот, развязал, сделал широкую петлю, накинул на один из обломков. «Эй! — донеслось словно из дальнего далека. — Как ты там?» Форама склонился к щели, из которой только что вылез, и ему показалось невероятным, что можно было проползти там и что он это сделал. Секунду-другую он колебался, потом сморщился, как от чего-то гадкого, тряхнул пальцами, словно смахивая с них что-то. «Сейчас! — крикнул он в щель сдавленным голосом. — Тут такое место хитрое, сейчас попробую...» — «Ты вылезай лучше назад, хрен с ним, — посоветовали с той стороны. — Не то, чего доброго, как таракана...» Форама знал, что увидеть оттуда ничего нельзя: лаз под нависавшей плитой не был прямым, приходилось лавировать между валявшимися обломками того, что стояло раньше на этом этаже и было раздроблено тяжестью рухнувшего. «Ладно, — крикнул он в ответ, — сейчас попробую...» — и слова эти можно было понимать и толковать, как угодно, как понравится. И сразу же за этим, набрав

воздуха побольше, он крикнул — пронзительно, отчаянно, безнадежно, бессмысленно: «А-а-а!..» и умолк резко, словно перехватило горло. И одновременно сделал то, что успел уже придумать за эти секунды, исходя из увиденной обстановки: коротко разбежался, светя под ноги, взлетел в прыжке — не зря в молодости он занимался спортом, играл в баскетбол даже — и всеми своими семьюдесятью пятью обрушился на край перекрытия-качели; ощутил, как бетон дрогнул и стал уходить из-под ног; чудом удалось Фораме сохранить равновесие, он круто повернулся, взмахнул руками — луч фонаря метнулся по потолку — и прыгнул вниз — в сторону. Коснулся пола и побежал изо всех сил, спасаясь от настигавших его, глухо, уверенно грохотавших глыб и обломков, что, утратив равновесие, хлынули, как он и предполагал, сверху через пролом, большей частью не сюда, а в ту сторону. Не исключено, что те шестеро услышали крик, — для полной убедительности это было бы неплохо, все вместе давало достоверную картину бесславной гибели проштрафившегося наивного ученого.

Теперь можно было постоять, переводя дыхание, унимая дрожь в теле и борясь с тошнотой, накатившей вдруг — от страха, наверное, от сознания, что и не так ведь могло получиться, совсем даже не так... Прохода больше не было, он оказался засыпанным, закупоренным наглухо, лишь мощными машинами или взрывчаткой можно было бы разрушить или разобрать завал, но Форама полагал, что ради его бренных останков никто не станет сейчас заниматься этим: у всех были дела поважнее. Эти шестеро вернутся и доложат, доложат четко и убедительно — пережитый страх поможет им, — отрапортуют так, чтобы было ясно, что они сделали все, что могли, показали себя просто настоящими героями; ну, а он, Форама, был и вовсе герой, достойный памятника не меньше, чем многие, уже удостоенные, но был он немного не в себе, его удерживали, а он полез, ссылаясь на приказание начальства. Если и остались у шестерых сопровождавших какие-то сомнения, то они сохранят их для личного пользования, не то их еще погонят назад — уточнять, убеждаться и даже пробиваться сквозь завал, а это им вовсе не с руки. Конечно, сейчас они для собственного спокойствия, для очистки совести повозятся здесь, убедятся, что фал намертво зажат или, может быть, пересечен обломком, а даже самую скромную глыбу им и вшестером сдвинуть не под силу; потом станут расспрашивать друг друга — кто что видел, что подумал и как считает; придут к единому мнению (как путаются в показаниях неопытные люди, им хорошо известно) и, покричав на всякий случай, отбудут восвояси. Форама вслушивался, и ему на самом деле показалось, что с той стороны завала доносятся крики, словно

еще можно было надеяться на отклик. Ему стало уже немного жаль их: все же люди были и теперь, возможно, переживали за него, он ведь для них хотя и был чужаком, но лишь в той степени, в какой для них вообще были чужаками все, кто не относился к их службе, а так за ним ничего не значилось, и только он один знал, что сделал сейчас окончательный выбор между таким продолжением, какое диктовалось всей его досегодняшней биографией, и тем, что подсказывала и чего потребовала вдруг совесть и еще что-то другое, чему он сразу не мог найти названия. Да, они там кричали — или, может быть, это у него звенело в ушах? «Вечно залезаешь ты в какие-то дела, Ульдемир», — вдруг подумал неожиданно для самого себя мар Форама Ро, физик, и на мгновение словно увидел себя самого и все, его окружающее, как бы сверху, из какого-то иного измерения, то ли пространственного, то ли временного (это и был миг, когда Мин Алика захотела увидеть его — и увидела, миг неосознанного контакта с нею); но промелькнула секунда — и все исчезло, и снова Форама Ро остался один в подвале погибшего института, в той его части, в которой должны были быть оборудованы убежища для персонала на случай чего-нибудь такого; до конца их, правда, так и не оборудовали — не успели как-то.

Теперь большая половина дела была сделана, оставалось лишь выбраться из института незаметно. В этой части корпуса ни наружных дверей, ни окон не было, подвал есть подвал, но ведь выход — это не обязательно дверь или окно: в подвале это прежде всего — путь наверх. А здесь были и вентиляционные шахты, и узкие винтовые лестницы, на всякий случай; основным средством сообщения между этажами были лифты, но сейчас на них рассчитывать не приходилось. Форама помнил, где располагалась ближайшая лестница, и, подмигнув самому себе, как бы одобряя все, им так хорошо и хитро сделанное, пошел прочь от завала по пыльному, но свободному от обломков коридору, оставляя позади то место, где могла бы находиться в стене бронированная дверь сейфа с образцами сверхтяжелых элементов — могла бы, если бы такой сейф вообще существовал, но его никогда не было тут, как и самих этих элементов не было... Форама уходил, стараясь ступать негромко в гулком коридоре; он хотел было запеть от прилива чувств, но тут же приложил палец к губам: никаких глупостей, никаких случайностей. Он погиб — и мир праху его. Воскреснет, когда придет срок.

По уцелевшей винтовой лесенке он поднялся повыше, на уровень первого надземного этажа. Отсюда он рассчитывал, воспользовавшись одним из зашифрованных запасных выходов, выбраться на улицу, укрыться где-то (он еще не знал — где, ясно было только, что не у себя и не у Мин

Алики) и уж тогда спокойно и не торопясь обдумать план дальнейших действий, целью которых было ни много ни мало, спасти планету, и не только свою, но и ту, вражескую, в придачу — потому что ведь и там живет свое человечество, а человечества, как он теперь вдруг почему-то начал понимать, — человечества никогда не бывают врагами друг другу; отдельные люди бывают, а человечества — нет, если даже они во многом отличаются одно от другого. Спасти две планеты; не много ли для одного человека? Да уж немало; это даже невозможно, как невозможно долей грамма гремучей ртути взорвать огромное сооружение или мощнейшее боевое устройство. Однако ведь именно столько гремучей ртути содержится в капсюле; она не взрывает, но ее дело — начать, подсказать плотной массе спрессованной взрывчатки вокруг: «Взрывайся, ты — можешь, только делай, как я», — и загремит все. Что надо сделать — он уже понял, не знал только — как. Но это придумается; он был уверен, что придумается, недаром всю жизнь делал то, что заранее спланировать до конца было невозможно, однако интуиция подсказывала ему, что сделать — можно, надо только посерьезнее подумать и поискать. Итак, сейчас главным был запасной выход. Форама отыскал один из них без труда, однако воспользоваться им не удалось. Видимо, шестеро сопровождавших не до конца поверили в его гибель в подземелье, а может быть и поверили, но обязаны были подстраховаться, пока не разгребут обломки и не соскребут с них того, что должно было от Форамы остаться; а еще вернее — услыхав от него же, что в институте еще сохранились какие-то нужные вещества, начальство позаботилось об охране, и, следовательно, Форама сам себе осложнил задачу. Так или иначе, добравшись до выхода, прежде чем задать шифр и отворить дверку (механизм ее был примитивен, и Форама надеялся, что сотрясение от взрыва не вывело запор из строя), он — просто так, на всякий случай — нагнулся и глянул в поляризованный глазок; в свое время кому-то к счастью пришла в голову мысль оснастить двери такими глазками. И Форама увидел, что оцепление, с самого утра выставленное вокруг бывшего института, не только не было снято (на что он почему-то рассчитывал), но сделалось гуще, и кроме солдат здесь появились и офицеры, а помимо военных здесь оказались в немалых количествах и полиция, и даже червонные; они не стояли на постах, но пребывали в постоянном движении. Выйти сейчас означало бы — разом перечеркнуть все, что уже удалось, и Форама стал пятиться от двери, словно бы и с той стороны могли вдруг увидеть его; потом он крадучись спустился туда, откуда только что пришел. И, уже спускаясь, услышал шум. Форама постоял возле лестницы, прислушиваясь; шум доносился со стороны

завала, и нельзя было ошибиться в его происхождении: это были микровзрывы, сквозь завал хотели пробиться. «Дался я им», — с досадой подумал Форама, и тут же понял: не его останки искали, но хотели пробиться к придуманному им сейфу с элементами, вот что, и тут уж они не отступятся... Поняв это, Форама ощутил вдруг неожиданную и предельную слабость и опустился прямо на пыльный бетонный пол, съехав спиной по такой же пыльной стене. Впрочем, это для него роли не играло: ползя под обломками, он и так уже превратил свою одежду в грязные лохмотья и лишь сейчас с каким-то отвлеченным интересом подумал: как же это он рассчитывал показаться в таком виде на людях и не привлечь ничьего внимания?

Он просидел так несколько минут, пытаясь собраться с мыслями; интуитивно он чувствовал, что лазейка есть, должна существовать, не могло в таком большом хозяйстве, как институт, не остаться ни одной незаткнутой дыры, когда все полетело вверх ногами. И когда он уже нашел и отбросил несколько комбинаций, вдруг пришла ясная и сама собой, казалось, напрашивавшаяся с самого начала мысль: гараж! Институтский подземный гараж, связанный с убежищем отдельным переходом, гараж, в котором стояли кабинки всех институтских работников, имевших право на личные кабины при чрезвычайном положении. Форама принадлежал к ним, как-никак не последним человеком в институте был Форама, отнюдь. Поразмыслив, он понял, почему не наткнулся на мысль о гараже сразу: институт был разрушен, и все его службы как-то сразу перешли в сознании Форамы в категорию вышедших из строя; но гараж находился на одном уровне с убежищами и вполне мог сохраниться.

Так оно и оказалось; и кабины находились в готовности — и его личная в том числе. Он сел в нее и привел в движение; он боялся, что не сработают устройства, открывавшие выезд, могла оказаться обесточенной и тяговая сеть. Однако все сработало: тяговую сеть питал энергией город, а не институт, а кроме того, тут были и резервные кабели: вся эта система и была задумана на случай катастрофы, той, которую ждали так долго, что уже перестали ждать, а она нагрянула с другой стороны.

Потребовав от кабины предельной скорости, чтобы как можно быстрей отдалиться от института, Форама даже не заметил прижавшейся к стене туннеля фигурки — женщины с закрытыми глазами. Он погрузился в мысли о том, что предстояло ему сделать теперь; ему начала представляться (не в полном еще объеме, но хотя бы в первом приближении) вся трудность того, на что он обрек себя, и он откровенно пожалел (и зябко ему стало от этой жалости), что пустился на авантю-

ру, тем самым враз порвав все связи с нормальной, удобной, вполне обеспеченной, не лишенной перспектив и приносившей достаточное удовлетворение жизнью, — и в то же время понимая, что не в силах был поступить иначе, просто не в силах. Хотя откуда вдруг взялось в нем такое, он не мог бы объяснить. Еще вчера он был готов, вероятно, махнуть на все рукой, да что вчера — еще сегодня, сидя под замком у философствующего надзирателя; а пусть делают как хотят, я за это никакой ответственности не несу, со мной по таким вопросам не советуются, мое дело — наука, это я люблю, в этом разбираюсь, а что из этого получается в конечном итоге — это уже вне моей компетенции, и слава богу: на кой ляд мне лишняя ответственность?.. Так рассуждал он; однако что-то в нем сдвинулось. Может быть, из-за того, что он стал участником высокого совещания? Пусть с ним там никто не советовался, он был лишь поставщиком определенной информации — и все же ему показалось, что коль скоро он в этом действе участвует, какая-то тень ответственности падает и на него, а раз так и раз то, что собираются предпринять, ему не нравится, то он просто обязан высказать хотя бы свое несогласие (если большего не может) и тем самым выполнить свой долг гражданина. Древними временами веяло от таких мыслей, но не все древнее ведь устарело, и не все новое лучше того, что было прежде нас... Форама высказал свое мнение и мог бы, кажется, на этом успокоиться; за одно это еще не убили бы, ну — выругали разве что. Однако Форама, видите ли, считал, что за ним стоит истина, ни более ни менее; а у истины есть некое качество, без которого и самой истины не бывает: она вселяется в человека, как микроб, и заражает его, и он уже себе не хозяин и ничего не может с собой поделать, и когда надо молчать — он говорит, и надо бездействовать — а он действует, он поднимается на гору в грозу — и молнии неизбежно бьют в него, и самое смешное, что он это знает заранее — и ничего не может, потому что истина сильнее его. Вот и Фораме почудилось, что в данном конкретном вопросе конкретная истина — у него, а не у них, и когда он это сказал, а с ним не согласились, он как-то не раздумывая ощутил, что надо действовать, потому что от слов отмахнуться легче, чем от действий.

Форама отчетливо понимал сейчас одно: фантастическая по масштабам и вместе реальная по сущности своей опасность угрожала не только всей планете (это было достаточно отвлеченным понятием, человеку трудно мыслить такими категориями, а абстрактные понятия приводят лишь к абстрактным решениям — или же к неверным), но и лично ему; и это бы еще полбеды, потому что Форама издавна привык к мысли, что при всех своих способностях (цену которым он знал) он

не вправе претендовать на что-то большее того, на что может рассчитывать каждый; следовательно, и с общей гибелью он примирился бы. Но оказалось вдруг, что в той же степени опасность грозила и Мин Алике — женщине, рядом с которой и через которую он только что постиг вдруг, что любовь есть понятие не абстрактно-обобщенное, но реальное, ощутимое, зримое, что она — не приправа к обычной жизни, но сама — иная жизнь, иной мир, столь же реальный, как тот, в котором Форама жил до сих пор, но совершенно на него непохожий — как одно и то же место кажется совершенно иным в нудный осенний водосей и весенним днем веселого солнца и бескрайнего неба. И попав в этот мир, Форама не хотел больше отдавать его никому и ни за что, и мысль о том, что самому великому чуду мира, центру притяжения и жизни в нем — Мин Алике грозит опасность исчезнуть в ревущем смерче ядерного распада, — эта мысль заставила его вынести всю предшествовавшую жизнь за скобки, отказаться от всего, что было или казалось в ней ценным, поставить себя вне всякого права и закона и сейчас мчаться в кабине подземного уровня — мчаться неизвестно куда.

Впрочем, в самом скором времени, успокоенный движением, Форама смог подумать и о смысле и цели своего маршрута. Но тут странное явление возникло: он, Форама, словно бы разделился вдруг на двух разных человек, из которых один — и был собственно он, мар Форама Ро, ученый, физик; другой же был — тоже он, но почему-то не Форама, и не физик даже, а какой-то капитан Ульдемир, неизвестно откуда взявшийся — и, однако, не чужой, но тоже тот же самый человек, но с другим опытом, другими знаниями и суждениями. Сперва Форама испугался было, что сходит с ума, но не зная как убедиться в этом — или в обратном, предпочел считать, что все в порядке, хотя и не так, как обычно. И вот они заговорили, заспорили, эти два человека, и стали вместе разрабатывать диспозицию на дальнейшее.

— К политике нас тут не очень подпускают, верно? — сказал капитан Ульдемир. — Однако что-нибудь мы да сообразим. Что — или кого — можно противопоставить Высшему Кругу? Армию?

— Нет, — ответил Форама. — Главные из стратегов сами принадлежат к Высшему Кругу. Власть и так у них — пусть не вся, но немалая часть ее. А остального они и не хотят: слишком много иных проблем, решать которые они не привыкли.

— Вывеска, значит, их не влечет? Какие еще силы есть в государстве?

— Планете, ты имеешь в виду? Ну, собственно... Избиратели, народ.

— Народ, — сказал Ульдемир без должного почтения в голосе. — А на что он способен?

— Как это — на что? Миллиарды людей...

— Живой вес — не самое важное. Организация есть?

— Организации? Конечно, сколько угодно. Профессиональные, например. Вроде клубов: можно прийти, поболтать немного с коллегами, немного развлечься...

— Только-то?

— А чего еще?

— Ну, скажем, борьба за лучший уровень жизни.

— Разве наш уровень плох? По-моему, у нас все разумно. Каждый знает свое место, свою величину. И все, что полагается ему в силу этой величины, он получает. Чего же лучше? За всю историю планеты людям никогда не было так хорошо и спокойно.

— Слабовато у вас с равенством.

— Ты ошибаешься. Равенство, как мы его понимаем, заключается в том, что все люди одной величины, независимо от профессии, получают одно и то же. Вот если бы, скажем, стратег или ученый шестой величины получал больше художника или инженера шестой величины, это было бы неравенством. А так все в порядке.

— И это, ты считаешь, равенство? Слушай, а там, у Врагов — как у них устроено?

— Да точно так же, говорят. Те же двенадцать величин — у них они называются уровнями...

— Из-за чего же вражда? Что не поделили?

— Ну, это было когда-то страшно давно... Не помню точно, я ведь не историк. Суть в том, что они не признают нашего главенства. Хотя наше общество возникло раньше. Они, наоборот, считают, что мы должны признать их главенство. Потому что, возникнув позже, они развивались быстрее, что ли... Не знаю, одним словом. Да и какая разница? Враги есть враги.

— Ну ладно, это другой разговор. Итак, организаций у вас нет.

— Ничего подобного: много. Спортивные клубы, университетские, общества коллекционеров, рыболовов...

— Это все не то. Могут клубы выступить против Круга?

— Ну, что ты. Кто им позволит?

— А без позволения?

— Нет, конечно. Это не разрешается.

— Опять двадцать пять. А без разрешения?

— Ну... так не поступают. Это было бы неприлично. И незаконно.

— Вот. А ты говоришь, народ — сила.

— Ну, сейчас — другое дело. Речь идет о жизни и смерти. О самом существовании людей. Я думаю, тут не надо никакой организации, чтобы люди высказали свое мнение.

— А как они узнают, что их жизнь под угрозой?

— Я скажу им.

— Встанешь посреди улицы и закричишь?

— Глупо, конечно.

— Обзаведешься собственной радиостанцией?

— Это мне не по средствам. Да и времени нет. Что-то нужно предпринять уже в ближайшие часы.

— Что же именно? Думай, ученый, думай!

— Может быть, обратиться на радиостанцию, которая ведет ежедневные передачи?

— А они тебе поверят? Ты бы поверил, если бы?..

— Не знаю. Пожалуй, вряд ли. Вот если бы я знал человека лично, как серьезного и эрудированного специалиста — не исключено, что и поверил бы.

— Значит, нужен человек, знающий тебя именно с такой стороны. Есть такой?

— Постой, постой... Знаешь, пожалуй, есть.

— На радио?

— Нет. Но почти то же самое. Он журналист. Известный. Такой, который пишет порой очень резкие статьи. Мы все читаем их с удовольствием. Даже удивляемся нередко, как терпят его в Высшем Круге. Но что они могут с ним поделать? Он свободный журналист и говорит то, что считает нужным.

— И его печатают?

— Разумеется. Он привлекает читателей.

— Ну что же, — сказал капитан Ульдемир. — Откровенно говоря, не очень-то я верю в могущество печати. Но — попробуй. Лучше, чем ничего.

— Пожалуй, сейчас же отправимся прямо к нему.

— Откуда ты знаешь его? Или он — тебя?

— Он писал о нашем институте. И обо мне там было немного. Он прекрасный человек. С характером. Смелый. Словом — то, что нужно.

— Тогда поехали.

На этом кончился неслышный разговор Форамы с Ульдемиром, человека с самим собой, с другой своей ипостасью. Ничего удивительного в этом и на самом деле нет, некоторое раздвоение личности; пожалуй, его можно квалифицировать как легкое психическое заболевание. Форама сразу почувствовал себя значительно бодрее, подтянулся, напрягся — ну что же, есть, значит, какие-то возможности, еще посмотрим, кто кого, мы еще спасем старую добрую планету, мы еще поживем на ней, поживем без огоньков над головой, без

страхов, честно и уверенно... Почти не глядя на маршрутный план, небрежно нажимая клавиши, Форама Ро направил кабину по нужному пути.

* * *

Кто его знает, по каким признакам присваивалась величина журналистам, да и не всегда можно было, разговаривая с кем-либо из них, понять, на какой ступени находится собеседник: знаков различия они предпочитали не носить, чтобы, может быть, не смущать тех, с кем беседовали, а возможно — чтобы еще раз подчеркнуть независимость своей корпорации и самой профессии от тех, кто устанавливал и присваивал величины и степени, показать, что сами-то они, журналисты, всего того и в грош не ставят, и если не говорят об этом вслух, то единственно из вежливости, а на самом деле у них свой подход и свои способы оценки и самих себя, и всех прочих людей — способы, имеющие с официальными мало общего. Так было принято считать в обществе; и все же когда Форама, доехав до нужного выхода, собрался подняться на поверхность, его охватили сомнения: а так ли встретит и примет его журналист, как Фораме представлялось? Правильно ли поймет и захочет ли ввязываться в важнейшее, безусловно, но очень хлопотное и вообще какое-то не такое дело? Форама весьма критически оглядел себя; выглядел он, действительно, как бродяга древних эпох, никакого доверия его облик внушить не мог, а если прибавить сюда то, что он собирался журналисту сказать, то и подавно могло возникнуть представление, что Форама просто-напросто сбежал из сумасшедшего дома, и единственное, чем можно ему помочь — это как можно скорее водворить его туда. Продолжая колебаться, Форама попытался хоть как-то облагородить свою внешность: снял вконец изодранную куртку, вывернул ее подкладкой наружу и перебросил через руку (погода позволяла явиться в таком виде), кое-как сбил густую подвальную пыль с брюк, о пятнах же на некогда белой рубашке и вообще предпочел забыть, потому что поделать с ними ничего нельзя было. Да и в конце концов (пришло ему в голову) журналист не мог не знать о приключившейся в институте беде, он же писал об институте, а внутренняя информация у этих людей, надо полагать, поставлена отлично — так что потрепанный вид физика должен был, пожалуй, не только не поколебать веру в справедливость его рассказа, но напротив — укрепить ее. Решив так, Форама с минуту помедлил еще в кабине, решая — то ли отправить ее назад, в гараж, то ли задержать: она могла еще понадобиться. Он решил, что лучше ее все-таки отправить: до институтского гаража вскорости доберутся, и если обнару-

жат, что его кабины нет, то поймут, что вовсе он не погиб, а сбежал именно таким путем, а когда кабину найдут здесь (что будет нетрудно), то поймут, где следует разыскивать и самого Фораму — и разыщут, конечно. Форама предполагал, что журналист, выслушав его и пожелав включиться в кампанию по спасению Планеты (а какой журналист, по разумению Форамы, не захотел бы не только присутствовать при зарождении подобного движения, но и самому участвовать в нем), непременно предложит Фораме убежище у себя и превратит свое обиталище в нечто вроде центра, как бы штаба нового всепланетного движения. Выглядело все это в фантазии Форамы достаточно приятно и многообещающе, и, подогревая себя такими вот размышлениями, он решительно поднялся наверх, дошагал, не обращая внимания на косые взгляды прохожих (немногочисленных, правда), до нужного подъезда и, не воспользовавшись лифтом, стал подниматься на нужный ярус по лестнице.

Вот тут его снова стали одолевать мысли относительно уровня, к какому мог принадлежать его предполагаемый соратник. Потому что Форама, не придавая главенствующего значения материальным и прочим признакам, присущим различным рангам, все же весьма неплохо в них разбирался. И уже в подъезде, мысленно сравнив даже не с тем домом, где жила Мин Алика и где ютились люди не выше восьмой величины, но и со своим, где обитали седьмые — пятые, понял, что сейчас попал в такое место, где даже и с человеком четвертой величины никто, пожалуй, не станет здороваться первым. Уже чистота и богатая отделка стен и потолка, уже ворсистая дорожка на полу, начиная от самой двери, наводили на такие мысли; когда же он, сделав два шага по направлению к лестнице, был остановлен вспыхнувшим вдруг красным огоньком и услышал выходивший из узкой щели в стене на уровне его головы голос: «Назовите го-мара, к которому вы, го-мар, направляетесь», — Форама окончательно понял, что живущие здесь — не ему чета, и даже усомнился в том — имеет ли его предприятие смысл. Однако не отступать же было теперь, да и куда отступать? Некуда... Что-то (интуиция, наверное) побудило его ответить на заданный вопрос так: «Мастер по электронике». Голос несколько минут помедлил, словно бы автомат соображал, потом последовало указание: «Ваша лестница крайняя слева, ваш лифт с обратного подъезда». «Ладно, чего там лифт», — подумал Форама и послушно направился к крайней лестнице, не столь широкой, как две остальные, и где вместо позолоты и мрамора наружу выступал самый натуральный бетон, хотя, надо сказать, и гладко затертый.

Таким способом добрался он до нужного этажа (координаты журналиста прочно хранились в его памяти, цепкой и надежной, с той самой, единственной, но продолжительной и достаточно приятной встречи). Двустворчатые, массивные на вид двери выходили на площадку; Форама остановился перед искомой, зная, что если он останется на месте больше пяти секунд, сработает дверное устройство и о его приходе будет оповещен хозяин дома. Однако пришлось постоять не пять секунд, а гораздо дольше: журналист не спешил отворять. Может быть, его вообще не было дома? «Скорее всего так, — пришло на ум Фораме, — если человек не находится на регулярной службе, это вовсе не значит, что он в рабочие часы обязан торчать дома: не всегда же он сидит и пишет что-то, может быть, журналист как раз занимается сейчас подготовительным циклом к своей очередной работе — сбором материала или как это у них называется...» Прошло более трех минут, и Форама уже собрался написать отсутствующему хозяину краткую записку, попросить его быть дома хотя бы вечером, — но спохватился, что писать ему нечем да и не на чем: все лишнее из карманов он по привычке перед сном вынул, а утром, внезапно разбуженный, забыл взять с собой, и все так и осталось лежать на туалетной полочке Мин Алики, захватить же с собой что-нибудь из помещения, где они с Цоцонго размышляли сегодня, или же с совещания — просто не догадался... И когда он успел по-настоящему огорчиться собственной непредусмотрительности, изнутри, несколько измененный аппаратом, раздался голос: «Да входите же, черт бы вас взял... Толкните дверь плечом, у меня замок скис, и топайте ко мне, вторая дверь налево, или, может, третья — не помню...» Было все это не очень понятно, однако Форама обрадовался и такому признаку жизни, послушно налег на дверь, проник таким способом в прихожую, на миг даже остановился, чтобы полюбоваться, — богатая была прихожая, ничего не скажешь, — потом прошел дальше, одну дверь пропустил, вторую отворил; на широченном, поперек себя шире, диване валялись скомканные простыни, подушка торчала углом в отдалении, на полу, словно макет вершины, покрытой вечными снегами — слегка, впрочем, потемневшими. Ни одной живой души в комнате не было, хотя Форама на всякий случай заглянул даже и под диван и обнаружил там грязный треснувший стакан, ничего иного. Он вышел из комнаты почему-то на цыпочках, приблизился к очередной двери, отворил ее. Тут было больше порядка: стояли кресла, столик, у стены мерцал дисплей включенного большого, дорогого синтез-компьютера, основного инструмента людей пишущих. На дисплее почти ничего не было, только в середине виднелись какие-то два слова, — судя по тому, что располагались они на разных строчках, принадлежа-

ли эти слова совсем различным предложениям: «Наша» — было одно слово, второе, пониже и правее — «вопреки». Когда глаза чуть привыкли, Форама заметил, тоже в разных местах, еще два слова, стертых, но неудачно, так что они еще светились, хотя и слабо: «довлеет» и «высветило»; компьютер, видимо, был слегка расстроен. Еще были в комнате шкафчики — картотека, определил Форама, и кристаллотека; стоял информатор; в углу находился выход городской почты, выход белого цвета; под ним валялось с полдюжины почтовых капсул, никем не раскрытых и не прочитанных; дешифратор на столике по соседству опрокинулся набок, шнур его, закрученный узлами, был выдернут из розетки. Кабинет. Хозяина, однако, не оказалось и тут. Пожав плечами, Форама вышел, постоял, позвал негромко: «Го-мар, вы где?» Молчание было ответом, но, прислушавшись, Форама уловил отдаленный шум воды, хлещущей из крана, и пошел, ориентируясь на звук. Шум усиливался. Источник его находился за широкой, толстой пластиной матового стекла, заменявшей дверь. Форама осторожно приотворил. В небольшом бассейне, вода из которого уже переливалась через край, храпел журналист — голый, большой, рыхлый; мокрые длинные седые волосы падали на лицо, подбородок упирался в грудь, затылок неудобно лежал на верхней грани бассейна, и, наверное, от этого неудобства губы спящего были трагически изогнуты, в них была жалоба и просьба о помощи. Немного подумав, Форама сходил в спальню, взял подушку, принес в ванную и попытался, пренебрегая водой, подсунуть ее журналисту под голову. Тот на миг приоткрыл один глаз — тусклый, страдальческий. «Брось к бабушке, — прохрипел он, — иначе я вообще до послезавтра не очнусь». После паузы журналист продолжил: «Ничего, я скоро. Иди, пока посиди там, чего-нибудь выпей. Через сорок минут принесешь мне стакан и два кубика льда». — «Ага», — согласился Форама не совсем уверенно. «Извини», — бормотнул хозяин дома и уснул снова.

Эти сорок минут Форама провел в первой комнате — там был бар. Пить Форама не стал, не до того было, хотя сейчас — он чувствовал — и не помешало бы; он решил наверстать упущенное после разговора, а пока послушал музыку, у журналиста были прекрасные альбомы, а звукотехника, как прикинул физик, на уровне второй величины, не ниже. Точно через сорок минут он налил стакан, положил лед и вернулся в ванную. Журналист уже шарил рукой по краю бассейна, не открывая еще, впрочем, глаз. Форама вложил стакан в дрожащие пальцы. Через мгновение журналист сказал: «Ухх!» — со свистом втянул воздух ноздрями и раскрыл глаза. Несколько мгновений бессмысленно смотрел на Фораму, потом глаза ожили. «Узнал тебя, — сообщил он. — Физика. Институт».

Память у него тоже была профессиональная. «А я думал, что ты — баба, — сказал он затем и расхохотался. — Вот был бы номер, если бы я тогда мог двигаться, а?» Он смеялся еще минуту, не меньше, потом спросил: «А баба где?» Форама пожал плечами: «Не знаю». — «Слиняла, стерва. Ты хоть ею воспользовался?» — «Ее тут не было». — «Жаль, я с ней рассчитался авансом, пьяный я великодушен, вот она и слиняла. Ладно, прах ее побери». Расплескивая воду, он выбрался из бассейна, закрутил кран, сорвал с вешалки купальную простыню, закутался в нее. «Ты не думай, я не того. Просто у меня сейчас материал такой: собираюсь писать о Шанельном рынке. А оттуда только на бровях и можно вернуться, такое это место. Бывал там?» — «Нет, — ответил Форама, — не случалось». — «Много потерял. Конечно, и помимо рынка бывает... Для нервов это необходимо, — добавил журналист. — Ты по делу или просто так, на огонек?» — «По делу». — «Интересное?» — «Расскажу, суди сам». — «Ай-о. Годится. Сейчас я еще нормочку приму, чтобы раскрутить восприятие, надену портов каких-нибудь... Ты давай, дуй, возьми банку из бара, стаканы, лед. Закусываешь?» Форама пожал плечами. «Ну, чего-нибудь разыщем, а нет — сойдет и так, закусывать вообще вредно, мне врачи говорили. Давай, я через пять минут».

Через пять минут он и на самом деле оказался в кабинете — успел одеться по-домашнему, причесать волосы, после второго стакана пальцы перестали дрожать. Он уселся в кресло напротив Форамы, налил обоим, но сразу пить не стал, только посмотрел на свет, понюхал и опустил руку со стаканом. «Давай, — кивнул он, — излагай. Я тебя внимательно слушаю».

Форама рассказывал с полчаса. Журналист слушал, временами понемногу отпивал из стакана, лицо его оставалось неподвижным, глаза прятались под массивными веками. Когда Форама закончил, журналист с минуту помолчал, громко сопя носом, вертя пустой уже стакан в пальцах. «Ты это всерьез? — спросил он Фораму, внимательно оглядел его и сам себе ответил: — Всерьез, понятно. Значит, по-твоему, если не принять срочных мер, все это (он широко повел рукой) в скором времени хлопнет?» — «Девяносто пять из ста», — ответил Форама, так и не притронувшийся к стакану. «Тогда выпей, — посоветовал журналист, — терять все равно нечего. Ну, наконец-то, значит!» Форама не понял: «Что — наконец?» — «Наконец кончится лавочка. Давно пора». — «Ты о чем?» — «Да вот обо всем этом. — И журналист снова повел рукой. — Сподоблюсь, значит, увидеть. Не зря, выходит, жил». Форама все никак не мог уразуметь. «Погоди, — сказал он. — Ты скажи толком: можешь ты помочь? Написать? Все равно куда, газета, радио — что угодно, — но надо, чтобы люди узнали,

чтобы заявили, что нельзя так, что надо спасать цивилизацию, спасать человечество!» — «Да кому это сдалось — спасать его, — ответил журналист, — дерьмо этакое, еще спасать его, наоборот, каленым железом, или что там у тебя будет рваться, все равно что, лишь бы посильнее! — Он налил себе. — А помочь тебе я не смогу, старик, даже если очень захочу. Я и не захочу, но пусть даже захотел бы. Ну подумай сам, подумай строго, ты же ученый, аналитик: как, чем мог бы я тебе помочь?» — «Написать! — сказал Форама громко, четко. — Твое имя знают, тебя читают, народ тебя любит. Всем известно, что ты — независимый, никому не кланяешься, пишешь о том, чего другие боятся, они от таких тем шарахаются, а ты — нет». — «Дурак ты, — сказал журналист уверенно, — дурак, а еще ученый, а еще физик! Они шарахаются, да. А я — нет, верно. А почему, ты подумал? Почему они боятся, а я — нет?» — «Вот как раз потому, что ты — смелый и независимый». — «Господи, — сказал журналист жалобно, — ну что за детский сад, нет, правда, огнем все это, только так, оглупело человечество до невозможности, а я-то думал, что ты серьезный мужик...» — «Давай толком, я так не понимаю», — попросил Форама. Журналист отхлебнул, вытер губы. «Да потому я об этом пишу, — сказал он раздельно и неторопливо, — что мне разрешено, понял, дубина? Разрешено! А им — нет. А мне не только разрешено, но даже и приказано. Каждый раз. Каждая тема мне дана. Ты что думаешь, я сам? Нет, ну, право, дурак дураком. Вон, — он ткнул пальцем, — почта валяется. Я ее не смотрел. Думаешь, не знаю, что там? Знаю, даже не глядя. Темы. Острые. Злободневные. Все, как надо. Их умные люди выбирали и формулировали, будь спокоен. И прислали мне. И я на эти темы должен писать. И буду. Буду, пока эти твои элементы не взорвутся к той матери и ее бабушкам, вместе с нами, со мной, с темами, с теми, кто их выбирает. Теперь уяснил? Мне раз-ре-ше-но!» — «Да смысл какой? — спросил Форама. — Не понимаю. Кто бы ни дал эту тему — тема ведь правильная! Нужная! Ты пишешь. Тебя читают. И прекрасно! Так и должно быть!»

«Ребенок ты, — сказал журналист; он уже приближался к эйфористической стадии похмелья, хотелось говорить, и он говорил, впервые, может быть, за долгое время не стесняя себя, не боясь, не думая о последствиях, потому что поверил: конец всему, а значит — и страхам конец... — Ребенок! Люди-то ведь не слепые? Нет. Видят кое-что из того, что происходит? Видят. Можно об этом молчать? Нельзя. Потому что если существует факт, — а он существует, — то нужно прежде всего перехватывать инициативу в истолковании этого факта. Сам факт — мелочь, дерьмо. Главное — как его истолковать. У вас что, в физике, иначе? Да нет — и вы ведь спорите насчет

интерпретации известных фактов. Ну и тут то же. Ну вот тебе простейший случай. Идешь ты по улице и видишь на другой ее стороне двоих, что идут навстречу друг другу. Идут. Поравнялись. Один развернулся и дал другому в морду. И пошел своей дорогой. И тот, кому дали, тоже пошел по своим делам. Вот тебе факт. Что он значит? Да ничего. Потому что нет его интерпретации, истолкования. И вот истолкования начинают возникать. Одно: полиция не справляется с хулиганами. Пьяный хулиган повстречался с мирным прохожим и, рассчитывая на безнаказанность, дал тому в морду. Тот и вправду побоялся ответить и почел за благо поскорее удалиться, пока не добавили. А вот другая интерпретация. Идет по улице подонок. Навстречу — порядочный человек, у которого этот подонок два дня назад, допустим, соблазнил малолетнюю дочку или изнасиловал сестричку или просто соседку. И сделал это так, что суду не докажешь. И вот, встретив подонка, оскорбленный дает ему в морду. И тот терпит и благодарен, что так обошлось: могли бы ведь и убить в гневе. Факт остается? Да. Смысл изменился? Кардинально. А можно дать и третью интерпретацию: шел по улице сбежавший из клиники буйнопомешанный, дал ни за что в морду прохожему, а потерпевший не ответил, потому что он не больной, а нормальный человек, не признает подобных способов решать вопросы. Мало того: он по глазам драчуна понял, что хулиган — больной, и надо поскорее позвонить в клинику, его нагонят и вернут. Первая интерпретация говорит о том, что служба порядка работает плохо. Это нехорошо. Вторая — о падении нравов и бессилии против негодяев. И это не лучше. Наконец, третья — о случайном происшествии, о несчастном случае, в котором не государственная служба виновата и не отсутствие нравственных критериев в системе вообще, а виноват сторож или санитар в клинике, которые позволили больному сбежать.

Дать им по шее, главного врача выругать, чтобы лучше следил за несением службы, — а в остальном все прекрасно, и люди прекрасные, и все бытие. Вот и факт исчерпан, никаких обобщений, никаких выводов, мелочи жизни. Понял? Так вот, вы читаете, вы ахаете — остро, как же остро пишет Маффула Ас, ничего-то он не боится, ничего с ним не могут поделать, ах, какая свободная на планете печать, какая независимая вся информация... Читаете — и не соображаете, что Маффула Ас пишет об этом и разрешено ему писать об этом потому, что фактик-то он распишет — лучше не надо, я ведь человек способный — был, во всяком случае, — и вас это описание факта затягивает, и вы ахаете. И пропускаете мимо глаз, что когда доходит дело до интерпретации, Маффула выберет именно ту, которая не дает поводов для обобщений, которая низводит все к частному случаю, недосмотру, недог-

ляду, ошибке — хотя на самом деле я понимаю отлично, что от истины мое истолкование, может быть, дальше всех прочих... Зато я вам этих санитаров так изображу, что вы в них увидите государственных преступников, вы сами заорете: «Распять их!», ну, на худой конец, распнут — станет одним сторожем или санитаром меньше, зато вы-то успокоитесь, вам-то толковать больше не о чем: случилось, конечно, нечто неприятное, но все своевременно увидено, осуждено, гласно, публично, демократично... Мальчик ты, физик, мальчик. А если я напишу не так, как надо, — что думаешь, меня напечатают? У меня что, газета своя? Да кто мне ее даст! Мне жить дают, это верно, величина у меня немалая. Сам видишь. У тебя фиг такое есть, да теперь и не будет уже, наверное... Остро, без оглядки, мы писали, когда начинали только, было нас трое; нас заметили и стали с нами работать. Выделять, похваливать, приплачивать, разговаривать... Меня обработали. И вот — я известен всей планете, мои статьи «Унифинформ» разгоняет по всем краям, сотни газет их публикуют, я живу прекрасно, пью — сколько душа пожелает, и бабы многие считают за честь... А где те двое ребят, что не обработались? Не знаешь? И я не знаю. Может, когда-нибудь и столкнет судьба... где-нибудь на Шанельном рынке... если доживем... не в газете, нет... на Шанельке, у прилавка. Вот туда ты и дуй. Найди их, если повезет... Может, что и посоветуют...» — Маффула Ас осоловел уже, на старые дрожжи ему немного надо было, сон снова неодолимо наваливался на него, тяжелые веки опускались сами, неподвижность сковала, и лишь рука еще шарила по столу, нащупывая бутылку с остатками на донышке, однако Форама знал, что то была не последняя в доме бутылка. Он отодвинул кресло, встал. Тут делать было больше нечего, надежды не осталось. Он шагнул к двери. Журналист Маффула Ас вдруг открыл глаза. «Погоди, — пробормотал он. — Постой... Что-то я хотел... Да. Ты правда иди на Шанельку. Я вот нынче оттуда. Упился, правда... Если есть свободная информация, то она — там. Это я всерьез, не спьяну... Иди. Там тебя и не найдут, кстати... Не бойся, я не заложу, мне они вообще хрен что сделают — пока я пишу... Деньги есть? На Шанельке без денег нельзя, только не показывай все разом, доставай по одной и первым не вынимай, вытаскивай с неохотой, не то решат — чужак, хотя вид у тебя как раз подходящий... Нет денег? — Он приподнялся, сунул пальцы в задний карман, вынул пачку. — На. Не дури. Я не тебе. На дело... И пусть все гремит поскорее в тартарары... — У него уже спуталось, наверное, чего же хотел добиться физик: то ли отвратить взрыв, то ли, наоборот, его приблизить. — Заглядывай в случае чего...» — еще выговорил журналист и захрапел, теперь уже окончательно.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Когда Мин Алика в туннеле, закрыв глаза, пропустила мимо кабину, уносившую вырвавшегося Фораму подальше от института, Алике было ясно, что следует предпринять дальше. Надо было, не выпуская Фораму из поля своего внутреннего зрения, подготовить хорошее укрытие, оборудовать его всеми средствами связи — не на нынешнем уровне этой планеты, а на том, какой был доступен самой Алике, то есть на порядок выше, — чтобы дать Фораме все нужные возможности, в том числе и возможность, если другого выхода не будет, громко обратиться ко всем людям, ворвавшись вдруг во все телевизионные и радиоканалы, да так, чтобы никто не мог отключить его — ворваться и дать людям нужную информацию и указать путь к достижению безопасности, к избавлению от страха. Был такой способ на крайний случай, потому что выглядел он каким-то несерьезным, при желании можно было выдать его за хулиганство в эфире, — однако и им пренебрегать не следовало, но ничего из этого не получилось.

Она успела уже потратить немалую часть дня на то, чтобы найти и подготовить нужное убежище. Но чем больше проходило времени, тем сильнее становилось в ней некое беспокойство, источник которого был хорошо известен еще прежней Мин Алике, но сейчас на какое-то время был как бы приглушен и оттеснен заботами Мин Алики новой; однако беспокойство было нешуточным и в конце концов пересилило все остальное и заставило отложить начатую было работу и заняться совсем другим делом.

Оно заключалось в тех самых атмосферных помехах, что были ею записаны, когда она еще находилась в своем небогатом жилье, на глазах у двух оставшихся там должностных лиц. Сейчас Мин Алика принялась, наконец, за их расшифровку, а закончив ее, ощутила немалую озабоченность.

Сообщение предназначалось прежней Мин Алике, которую она, эмиссар, восприняла и ассимилировала в себе — или сама ассимилировалась в ней, какая разница. «Вот, значит, как, — подумала Мин Алика, расшифровав. — Вот, значит, как все осложняется. Но от этого не уйдешь, избыточное внимание не нужно ни мне, ни Фораме — даже с той стороны. А сам по себе контакт выглядит, откровенно говоря, многообещающим. Что же, придется поступать так, как ты — я — мы — одним словом, как Мин Алика поступила бы, если бы не вмешался в игру Мастер и не ввел в нее нас. С тобой ищут связи? Хорошо, выйдем на эту связь и посмотрим, что кому она принесет...»

* * *

То, что в какой-то степени озадачило Мин Алику, а с другой стороны заинтересовало ее и даже развеселило, никакого отношения к проблемам Мастера и Фермера (и еще сотен обитаемых миров попутно) не имело, а принадлежало целиком к вопросам взаимодействия двух соседних, искони враждующих планет, и касалось такой вечно актуальной области, как информация.

Человек не может существовать без информации, государство — тем более. Разведка — это государственная любознательность, государственный ориентировочный рефлекс. Вопреки мнению людей несведущих, труд этот не исполнен романтики; романтика есть откровенное, публичное проявление некоторых свойств личности, относящихся гораздо более к эмоциональной сфере, чем к области рассудка. Романтика и романтичность неизбежно привлекают к себе внимание окружающих — а разведке это противопоказано. Разведка требует от личности выдающихся качеств и способностей, и в то же время она подавляет и убивает их, ибо человек выдающихся способностей лишается права — под страхом провала — проявить их публично, а способности по самой своей природе требуют именно проявления, нуждаются во внимании и поощрении со стороны; способности не могут, в отличие от моллюсков, консервироваться в собственном соку. Это один парадокс, заключающийся в проблеме. Второй состоит в том, что, занимаясь делом, которое не регулируется категориями честности, порядочности, откровенности — ибо неизбежно приходится лгать, обманывать, причинять другим (вполне осознанно) немалые неприятности, носить личину и так далее, — человек в то же время неизбежно является идеалистом в лучшем смысле слова (речь не идет о работающих только за деньги или из страха: они — подсобный материал) и имеет на то все основания. Он вправе полагать, что служит не какому-то конкретному имяреку, а Государству, Обществу; в то же время он находится в таком физическом отрыве от этого государства и общества, видит их с такого отдаления, что детали скрадываются и остается лишь неизбежно идеализированное представление, в котором сверкают достоинства (а они есть у каждого общества) и не видны недостатки (которыми опять-таки обладает всякое). В том же государстве, на территории которого разведчик работает, недостатки — совершенно реальные и порой немалые — видны простым глазом; так уж мы устроены, что недостатки видим вблизи, а достоинства, как горные хребты, охватываются взглядом лишь с большого отдаления, — не исключено даже, что достоинства если и не состоят из одних только недостатков, то во всяком случае

неизбежно покрыты ими и включают их в себя, как величественные горы бывают загромождены обломками, рассечены трещинами, покрыты ледниками — и все это затрудняет, если не делает невозможным достижение их вершин, — но вершины-то реальны, они не миф, они видны простым глазом — но только издали, откуда щели и россыпи уже не воспринимаются. И подобная идеализация того, чьим именем и ради чьего блага человек, подвергаясь нередко опасностям и лишениям (если не физическим, то уж духовным — несомненно), многократно наступает самому себе на горло, нарушает одни заповеди, чтобы выполнять другие, — подобная идеализация только и делает возможной приход в эту профессию таких людей, как, скажем, Мин Алика.

Тут не место для изложения каких-либо биографий, однако неизбежным кажется замечание о том, что для профессиональной резидентуры необходимо определенное несоответствие качеств работника тому представлению, какое вызывает он у окружающих; недюжинные способности должны укрываться за внешностью вовсе не обязательно заурядной, но непременно им не соответствующей. Внешность, в отличие от магазинной витрины, не должна информировать о содержании торгового зала, а напротив, войдя в магазин, витрину которого украшают сапоги и босоножки, мы можем увидеть на полках косметику или пряности, а в булочной будут продаваться пулеметы. Гений, на котором общепонятными литерами начертано, что он гений, хорош для искусства, возможно — науки или даже политики; он может быть и агентом, но резидентом ему не быть: там нужен гений с обликом усердной посредственности, аскет в обличье прожигателя жизни, монашка с повадками куртизанки и убийца с глазами друга детей, — а еще лучше, если он и на самом деле будет другом детей, только так, чтобы одно не мешало другому. Актерство? Да, можно сказать и так; но грим такого актера врастает в кожу, а аплодисменты долетают далеко не сразу (если вообще долетают), зато свист публики сиюминутен и пронзителен и означает опасность; разгримировываться же если и приходится, то в кабинете контрразведчика... И вот Мин Алика, девушка с вышесреднего (по происхождению) уровня, мечтавшая стать актрисой и ею ставшая, уже в самом начале своей карьеры, на проходных ролях, обратила на себя внимание полным несоответствием своей внешности с тем, что под нею крылось. Внешне она была весьма миловидной, недалекой, наивной девушкой в неснимаемых розовых очках, которая верит, что пирожные растут на деревьях, мужчины созданы лишь для поклонения женщинам и не хотят ничего иного, а жизнь устроена именно так, как об этом говорят и пишут. Кому-то из (во внеслужебное время) театралов, имевших непосредственный контакт с

Вездесущими (так называлось на Второй планете то ведомство, которое на этой именовалось Вещими. Почему на Второй? Но там-то и родилась Мин Алика, и там прошла ее юность), захотелось заполучить дурочку в свою постель: не столько даже для физического, сколько для душевного отдохновения и наслаждения; беседа с наивной простушкой должна была не только позабавить, но и возвысить его в собственных глазах, и даже очистить; кроме того, немолодой любитель клубнички хотел увидеть удивление, которое охватит наивную девочку, когда она убедится, что вот она и вся романтика... И в постель к нему юная актрисочка пошла с неожиданной готовностью, и все шло так, как он и предполагал заранее; однако когда следовало уже распахнуться вратам, он вдруг попал под такой безжалостно-пронзительный свет ума концентрированного, глубокого и беспощадного, показавшего заслуженному любителю приключений его самого под большим увеличением и с исчерпывающими комментариями к каждому его душевному и плотскому движению, что он устыдился своей наготы во всех смыслах слова, как если бы оказался в полном неглиже на ответственном совещании Круглого Стола (так назывался на Второй планете аналог Высшего круга); он лишь успевал прикрываться руками и хвататься за исколотые и обожженные места; и когда наконец стал просить лишь снисхождения к себе, одной только пощады, к нему готовы были снизойти и проявить жалость — но ему уже ничего не было нужно. Итак, любовницы он не получил и не пытался более, потому что не девочкой казалась она ему теперь, а мощным компьютером, которому конструкторы придали вид восторженной провинциалки то ли из ехидства, то ли ради каких-то иных целей. Но вместо любовницы он обрел друга; он стал, напротив, беречь и охранять ее и, может быть, этот странный союз помог бы ему найти в жизни и самого себя, однако в тяжелую для него минуту ему пришлось пустить эту неразменную монету в оборот, и он вывел на нее специалистов из разведки, а те сразу поняли, как им повезло.

Тут сыграло роль и то, что умна и сообразительна она была от природы, и людей чувствовала великолепно тоже от природы, но опыта жизни у нее образоваться просто не успело, а там, где не хватает знаний, всегда находится местечко для суеверий. Что знала девушка о соседней планете, куда ее собирались забросить? Ничего, кроме того, что там были враги; с этим сознанием она выросла и столь же мало в этой истине сомневалась, как и в том, что солнце восходит на востоке; это само собой подразумевалось, а мало кто в юности задумывается над тем, что факт этот вовсе не зависит от каких-то таинственных качеств востока, напротив, он потому так и назван, что там встает солнце; иными словами, причины

и следствия то ли меняются местами, то ли совмещаются и становятся равноправными, чего на самом деле быть, надо полагать, не может. Итак, там жили враги; они были злы; целью их существования являлось — уничтожить ту планету, на которой Мин Алике вовсе не плохо жилось; ради чего уничтожить? Ради спокойной жизни, может быть, а возможно — просто таково было их предназначение, их функция в уравнении бытия, а не исключено также, что и из чистой зависти... Так или иначе, Вторая планета была в серьезной опасности (несерьезная не произвела бы на девушку впечатления), планету надо было защитить. В каждой женщине если не на поверхности, то в глубине живет инстинкт самопожертвования (без него в прежние времена туго приходилось бы потомству); этот инстинкт в Мин Алике стали разрабатывать. Интересно, что она это прекрасно видела и понимала, но не противилась, как не противится порой соблазняемая женщина из внутренней потребности быть соблазненной, при одновременном внутреннем же запрете на проявление собственной инициативы — не противится, по сути, заставляя другого делать то, чего она сама делать не желает, но результат чего ей нужен. Сначала добились ее согласия, потом ее честно предупредили, что придется ей не сладко, зрителей и цветов не будет, что если и станут дожидаться ее у артистического выхода, то отнюдь не поклонники, и встреч этих придется избегать; что не будет, не должно быть славы, известности, богатства, ибо все это тоже привлекает внимание, и чаще всего — недоброжелательное, ищущее уязвимые места; что уделом ее станет — быть в тени... На другой чаше весов лежала вечная благодарность своей планеты — начиная с момента, когда планета о ней, Мин Алике, узнает; девушка понимала, что это не относится к обозримому ею будущему. Но ведь любила она свою планету, черт возьми? Она сказала: «Да».

Следует упомянуть о том, что отказ от таких вещей в перспективе как, скажем, богатство, никаких особых усилий от нее не потребовал: даже при поверхностном контакте с этим явлением Мин Алика поняла, чего оно стоит на самом деле, не способствуя развитию личности, но напротив, задерживая его вплоть до полной остановки: нож затачивается лишь при соприкосновении с чем-то, что тверже стали. Слава, известность — дело иное, натуре артистической без них трудно; но и тут удалось убедить ее в том, что и то, и другое ей обеспечено; правда, скорее всего посмертные — но зато не эфемерные, а продолжительные, поскольку эти слава и известность будут зависеть не от переменчивого мнения публики, но будут присвоены ей свыше, как присваивается очередной, высший уровень в обществе.

Возникали определенные трудности и при детальном ознакомлении ее с той обстановкой, в которой Мин Алике предстояло жить и работать долго — может быть, всю жизнь. Когда речь идет о заклятых врагах, у человека непроизвольно возникает впечатление, что там, у них, все не так, как у себя дома, все наоборот — иначе из-за чего было бы враждовать? Но по мере усвоения информации девушка с удивлением заметила, что на самом деле разницы в общественном устройстве обеих планет по сути не было. И тут и там существовало строго регламентированное двенадцатиступенное общество, и тут и там все исходило из единого центра, и если на Второй планете был император, а на Старой его не было, то разница была лишь формальной: император появлялся на экранах по великим праздникам, вопросов же он не решал, вопросы решал Круглый Стол; что касается неизбежной при таком устройстве аристократии, то она автоматически отождествлялась с четырьмя высшими уровнями, то есть выражалась в существовании еще и титулов, присваивавшихся одновременно с возведением на четвертый уровень. Это было по-своему красиво, но не более того, и, однако же, давало прекрасную возможность подчеркивать разницу между обеими планетами, их несовместимость. На деле же обе они были империями, и причина вражды заключалась в том, что никакая диктатура не может существовать рядом с другой подобной же: они слишком одинаковы, чтобы не стремиться к объединению, но никогда не могут договориться об условиях мирного процесса и рассчитывают добиться желаемого, если не прямым применением силы, то хотя бы угрозой такого применения. Только подлинная демократия может существовать рядом с обществом иной структуры, не угрожая ему, потому что демократия терпима и потому что она, сознавая свое превосходство, не сомневается в своем конечном торжестве и без применения оружия. Однако, хотя Мин Алика, вникая в детали общественного устройства Старой планеты, и не могла не увидеть сходства между обеими, ее все-таки удалось убедить в том, что империя и император — это прекрасно, это высоко и романтично, и уже за одно стремление обходиться без этого Старая планета презираема и наказуема. Кроме того, девушке дали понять, что раздумывать тут, собственно, не над чем, потому что процесс развивается таким образом, что окончательного решения судеб обеих планет не придется ждать долго, и Мин Алика должна поспешить, если хочет успеть к самому интересному. Так или иначе, ее убедили — скорее всего потому, что ей хотелось быть убежденной.

Когда речь шла о ее будущем, все понимали, что есть вещь, о которой заговаривать напрямик как-то не очень удобно и которая тем не менее ясно подразумевалась: как только девуш-

ка становилась профессиональной работницей на этой ниве, тело ее, в свою очередь, становилось ее профессиональным инструментом, не более. Ей наверняка придется отдать себя кому-то (может быть даже — не одному), не испытывая при этом любви; она должна будет быть, как все, как большинство, как среднее статистическое; аскетизм подозрителен, а любовь опасна. Об этом не говорили, как военному летчику не говорят об опасности быть сбитым (он и сам об этом знает) — ему просто дают парашют. Однако предварительно его еще и учат прыгать; и Мин Алике, прежде чем она покинет свою планету, следовало приобрести хотя бы минимальный опыт, чтобы научиться и в самые эмоциональные моменты сохранять ясную голову. Вот это и не было сказано, но подразумевалось. Мин Алика умела приводить себя в нужное эмоциональное состояние; она и привела себя, и пошла за опытом в настроении не более романтичном, как если бы шла к стоматологу. Разведка же незримо постаралась, чтобы первыми наставниками ее оказались люди во всех отношениях не первого сорта — чтобы не осталось места ни для малейших иллюзий и ожиданий. Таким образом Мин Алика приобрела опыт вместе с изрядной долей разочарования, в том числе и в себе самой: не оказалось никакого таинства, все было естественно и скучно, и каждый раз хотелось, чтобы это поскорее кончилось. От скуки она по-своему посмеивалась над этими двумя, от чего они, искренне считавшие ее глупой курочкой, приходили в непонятное им самим исступление и готовы были в тот момент полезть ради нее на нож; но в самую последнюю минуту, когда у них могло вспыхнуть что-то серьезное (насколько они еще оставались к этому способны), она двумя-тремя словами смазывала все, внутренне смеясь, и они оставались в недоумении. Связь с первым продолжалась месяц, со вторым — после двух недель перерыва, блаженной, одинокой жизни без любви — целых полгода: ей захотелось испытать, насколько ее хватит. Разведка в этот период целомудренно стояла в стороне, не спуская с нее, впрочем, отеческого взгляда (сравнение с сутенером было бы тут, пожалуй, чересчур обидным); Мин Алика ощущала на себе этот внимательно-доброжелательный взгляд даже и в самые интимные минуты, и это еще усиливало ее холодность. Внешне, однако же, она научилась делать все, что полагалось по мизансцене. В конце концов она сама поверила как в свою холодность, так и в то, что любовь — иллюзия для дурочек, хотя при желании из всего этого можно извлекать определенное, чисто моральное удовольствие, думая о том, сколь многого можно таким путем добиться. Ради подобного удовольствия она под конец стравила бывшего любовника со вторым. Дождаться конца, увидеть результат этого она не смогла: пора ученичества прошла.

Теперь ее сочли по-настоящему готовой. На вражескую планету ее забросили без помех; впрочем, так же происходила и заброска резидентов со Старой планеты на Вторую: все знали, что разведки все равно действуют, как постоянно в человеческом теле живут микробы; что совершенно оградиться от разведки противника невозможно, и главное не в том, чтобы не допустить ее деятельности, но в том, чтобы по мере возможности деятельность эту направлять и использовать. Если бы не было вражеской разведки, не было бы и дезинформации, мощного оружия практической политики. Итак, ее забросили; поскольку облик Алики меньше всего соответствовал представлениям о научной работе, ее вниманию поручили физиков. Формально же она жила тем, что поставляла рекламные картинки — это давало ей полную свободу и крохотную независимость, в пределах девятой величины, выше которой ей подниматься не рекомендовалось. Для полной легализации и безопасности нужен был мужчина, любовник; в разное время их было несколько, о каждом она собирала информацию, и если мар Форама Ро полагал, что в один прекрасный день кабинки их случайно оказались рядом, и женщина без умысла подняла на него свой невинно-розовый взор, то у Мин Алики было на этот счет свое мнение. Впрочем, мужчины редко анализируют события в этой области, когда они развиваются в желательном для мужчин направлении.

Десяток лет, прожитых Мин Аликой на Старой планете, прошел в общем спокойно. Языковой проблемы не было: обе нации, потомки одних и тех же предков, говорили на одном и том же языке, образовавшемся давным-давно, после слияния древних народностей; диалектные различия в речи Мин Алики были своевременно и тщательно устранены. К новой жизни она привыкла почти сразу: нужную подготовку прошла еще дома, и хотя внешне тут многое выглядело (а кое-что и действительно было) совершенно иным, чем на Второй, все это относилось к второстепенным деталям быта, привыкнуть к которым несложно. Труднее всего было свыкнуться с главным: здесь, на вражеской планете, где заклятым и ненавистным врагом считали ее родной мир, жили в общем такие же люди, и жили в общем так же, так же радовались и плакали, так же работали, ели, пили, иногда помногу, так же рожали детей и умирали. И люди эти сами по себе не были ни злодеями, ни агрессорами, ни аморальными подонками: люди как люди. Со временем она стала даже подумывать, что если бы человеку можно было выбирать, где именно родиться, сделать выбор было бы не так легко; и оставались лишь голоса предков, цвет знамени, императорская корона да еще тот эффект отдаления, о котором тут уже было сказано. Им-то Алика и служила верой и правдой.

Форама, весьма удовлетворенный прелестной, глуповато-скромной, еще молодой и непритязательной любовницей, никогда, как сам он полагал, не говорил с нею о своих делах; он не имел понятия о том, какое обилие информации она черпала в нем — равным образом не понимал и того, что сдержанность, покорность и некоторая даже занудность в делах любовных были вызваны тем, что ей все это и на самом деле было скучно, а в основном — тем, что его самого именно это и устраивало: он ложился в постель не для того, чтобы обнаружить там сложности. Если бы Алике показалось нужным, она предстала бы перед ним совершенно иной — но с тем же внутренним спокойствием, что и раньше. Так было до вчерашнего вечера.

То, что произошло вчера с ними, было уже не игрой, но Любовью. И даже нам, знающим все те обстоятельства, что помогают понять подлинный смысл и размах событий, участниками которых оказались Мин Алика и Форама Ро, — даже нам трудно сказать, что это за любовь и откуда она взялась. Сыграло ли здесь роль вживление в личность Форамы Ро капитана Ульдемира, а в Мин Алику — посланного Мастером эмиссара? Что касается капитана, то нам известно, что он только что лишился любви, и ему была обещана новая — следует ли рассматривать происшедшее как выполнение Мастером его обещания? Такая возможность не исключена. С другой стороны, выполнял ли при этом эмиссар задание, или было и в самом эмиссаре нечто, способствовавшее?.. Но искать ответов на это не следует, ибо Мастер не любит лишних вопросов, и дает ответы лишь тогда, когда сам считает нужным, и таковы же его люди, так что тут придется набраться терпения. И, однако, даже зная, какие силы участвуют в этих эпизодах, мы не можем отделаться от мысли, что и не будь Ульдемира, и не будь эмиссара, и оставайся Форама Ро только Форамой, а Мин Алика — просто Мин Аликой, — произошло бы то же самое, и Любовь, которая умеет ожидать в засаде и нападать внезапно, точно так же отметила бы их своим внимательным взглядом. Ожидание любви и потребность в ней постоянно усиливаются в человеке, когда ее нет.

Любовь все поменяла местами. Как отразилась она на поступках Форамы — уже известно. Что же касается Мин Алики, то она ухитрилась за истекшие неполные сутки нарушить свой долг уже дважды. Во-первых, она не сообщила о том, что в ее жизнь вмешалась любовь, в то время как по инструкции должна была сделать это при первой же возможности, то есть сегодня утром. Хотя ее наставники и не одобряли любви, они, будучи реалистами, понимали, что абсолютной гарантии от естественного чувства никто им дать не может; оставалось

лишь в случае столь печального события сразу же внести определенные коррективы в деятельность своего заболевшего любовью человека, чтобы с одной стороны не загубить дело, с другой — не вывести из строя работника и с третьей — попытаться взять процесс под контроль и использовать в своих интересах путем хотя бы элементарной вербовки предмета любви. Но Мин Алика предпочла о случившемся не сообщать — до тех пор, во всяком случае, пока сама не разберется как следует в своем неожиданном и не во всем понятном чувстве. Вторым нарушением долга (и гораздо более серьезным) явилось то, что она не сообщила о совершившемся взрыве и его причинах, которые стали ей известны в краткий миг ее мысленного контакта с Форамой, — хотя эта информация по своему значению намного превышала все, что было связано с любовью. Почему не сообщила? Трудно сказать; вероятнее всего потому, что была слишком занята Форамой и тем новым делом, которое возникло у нее вместе с приходом эмиссара. Однако вряд ли Мин Алика была единственным человеком, который знал о взрыве и должен был сообщить о нем на Вторую планету; скорее всего, были такие люди и кроме нее; так что можно полагать, что на Второй сообщение получили своевременно, и молчание Мин Алики должно было неизбежно привлечь к ней внимание ее наставников и руководителей.

Так или иначе, за много лет Мин Алика впервые до такой степени пренебрегла делом, которое до сих пор оставалось для нее самым важным. И поэтому вряд ли покажется удивительным, что сейчас, приближаясь к месту, откуда ей удобнее всего было выйти на связь со своей планетой — месту, удаленному от мощных локальных источников помех, неизбежных аксессуаров технической цивилизации, — женщина не ощущала в себе той собранности и решительности, какие прежде сопутствовали каждому сеансу. Она понимала также, что если задержку с информацией можно было бы еще как-то объяснить, то умолчание об изменившихся отношениях с Форамой сейчас, когда ее на связь вызвали, будет расценено (если о нем узнают) уже не как небрежность или частная неудача, но как прямое нарушение долга. Но она так и не решила до сих пор, станет ли об этом сообщать: это чувство было ее, а не их, ее и Форамы только, а не обеих планет.

Она медленно и как бы бесцельно шла по парку народных гуляний, сейчас почти безлюдному, одной своей стороной примыкавшему к заросшему бурьяном пустырю, где хозяйничал пьяный сброд. Хилые деревья на искусственной подкормке, не компенсировавшей все же отравленного отходами цивилизации воздуха, не позволявшего деревьям жить по-настоящему, — деревья жалобно шелестели, редкая проволочно-

жесткая трава желтела на облысевших газонах. Мин Алика не замечала сейчас убожества природы, она успела к ней привыкнуть, хотя ее родная планета выглядела совсем иначе: более молодая по возрасту имперская цивилизация еще не успела запакостить все до такой степени, — во всяком случае, десять лет назад так оно было; коренные же обитатели Старой планеты вообще никогда этого убожества не замечали, потому что сравнивать им было не с чем. Мин Алика обдумывала свой возможный разговор с наставниками и ощущала в себе странную боязнь того, что разговор каким-то образом вдруг разрушит все, повернет совершенно иной стороной, отдалит ее от Форамы и от того конкретного содержания, какое вдруг возникло для нее в затертом словечке «счастье». В нерешительности была Мин Алика; именно она, потому что эмиссар Мастера пока в это дело, казалось, не вмешивался. Неожиданное чувство к Фораме и боязнь за него явились, видимо, для Алики немалым душевным потрясением — и смутно, как перед рассветом, ей вдруг показалось, забрезжило, что нет противостояния двух наций и двух планет, но есть по одну сторону — она и Форама, а по другую — все остальное, и бороться надо за них самих, а следовательно (если придется), против всего остального. И это было логично, но настолько неожиданно, что Мин Алика растерялась и не знала, что же лучше сейчас предпринять.

Однако здравый смысл, хотя и несколько оттесненный в сторону, не собирался сдаваться. И подсказал, что независимо от того, что решит она в дальнейшем, сейчас выйти на связь все-таки нужно: не услышав ее в назначенный час, там заволновались бы, а может быть, и заподозрили и поручили бы кому-то выяснить и проверить, а при нужде — принять меры. Это было бы ни к чему — и сейчас, да и потом тоже. Итак: поговорить — а потом уже искать выход.

Придя к такому решению, Мин Алика шире зашагала по аллее, мимо пыльных деревьев, несмело протягивавших ветви к заходящему уже солнцу, тоже пыльному и неяркому из-за постоянно взвешенных в атмосфере мелких частиц промышленных отходов, ускользающих от фильтров, из-за испарения технических жидкостей и сгорания топлива. Зашагала, приближаясь к излюбленному ею укромному местечку. Яркие, быстро бегущие звездочки бомбоносцев, оружия родной планеты, в очередной раз поднявшиеся над городом, быстро набирали высоту; на этот раз они не вызвали в ней того душевного движения, какое бывало раньше — ощущения единства с ними и взаимной зависимости. Огоньки показались ей холодными, чужими, даже враждебными, и на мгновение ей стало так зябко, что она ощутила даже легкую дрожь, пробежавшую по

телу; может быть, то была дрожь отвращения, но этого Мин Алика еще не понимала.

Добравшись наконец до своего места, крохотной площадки между пышно разросшимися сорняками, она опустилась на землю, устроилась поудобнее, раскрыла сумочку и послала в пространство свой обычный вызов.

Мин Алика предполагала, что это будет такой же разговор, как всегда, в обмен на ее информацию будет дан очередной перечень вопросов, на которые надо будет потом искать ответ; на деле же оказалось иначе. Получив из другого источника сообщение о гибели института, который считался основным объектом Мин Алики, ее наставники, как ни прискорбно это было, заподозрили, что отсутствие ее информации, в случае, если с нею самой ничего не произошло, может быть скорее всего объяснено тем, что ее раскрыли и перевербовали, что она стала двойником (как ни печально, от таких случаев не свободна история ни одной разведки), и надо принять меры для уточнения и, в случае надобности, исправления ситуации. Так что вместо очередных вопросов женщина получила вдруг приказание срочно прибыть; канал прибытия указывался. Приказание было весьма категорическим, и возражать она не решилась. Она закончила связь, сознавая лишь, что предчувствия ее оправдались и связь их с Форамой грозит распасться совсем: вернется ли она сюда, и что за это время может случиться с Форамой — кто знает?

Тут надо, правда, сказать, что та же Мин Алика, но уже в ином своем качестве — эмиссара — на все это усмехнулась не без иронии: и отправиться на ту планету, и в любой миг вернуться оттуда казалось ей элементарным, и если бы она сейчас решила, что визит на Вторую противоречит интересам Мастера, она и не подумала бы туда направиться. Но поскольку она знала, что и Вторая должна неизбежно сыграть в предстоящем свою роль, ей показалось не лишним побывать там, имея определенный официальный статус. Однако перед тем, как отправиться туда, ей захотелось еще раз увидеть Фораму. Она настроилась на него — и к своему удивлению обнаружила, что он находился в это время буквально в двух шагах от нее, и можно было, не оставляя этого целиком на его усмотрение, взять его за руку, препроводить в подготовленное ею сегодня убежище и успеть даже обсудить вкратце план его действий. Все складывалось самым лучшим для нее образом.

* * *

Алкоголь для человека скорее вреден, чем наоборот; следовательно, и для общества тоже. Для общества в большей мере, чем для государства, которое взимает налоги, получает при-

быль и содержит все более множащуюся стаю чиновников. Деньги, как известно, не пахнут, не то от них весьма часто несло бы густым сивушным перегаром. Кроме того, право потреблять спиртное по собственному разумению — неотъемлемая часть свободы. Поэтому отношение государства к алкоголю можно сравнить с отношением христианской церкви к половому акту: он есть грех, однако без этого греха прекратилось бы существование человечества, а с ним самой церкви. Следовательно, грех не только допустим, но и необходим — однако, лишь в определенных рамках, нужных для очистки совести тех, кто эти рамки устанавливает, чтобы доказать самим себе и всему миру, что они отнюдь не капитулируют перед грехом, но лишь идут с ним на определенный компромисс и, следовательно, достойны всяческого уважения. По той же причине они грешат и сами: это подчеркивает их единство со всей нацией, со всей планетой. Для инстинкта размножения существуют рамки семьи, для удовлетворения потребности в алкоголе — рамки происхождения напитка и места его употребления: пить можно в частных жилищах, в ресторанах или пивных, на пикниках на лоне природы; делать же это на улице или тем более на службе — грешно; пить можно купленный в установленном месте, официально произведенный продукт (ибо тогда потребитель платит за него на порядок-другой дороже, чем он на самом деле стоит), а употреблять пойло собственного производства или хотя бы и фабричный продукт, но предназначенный для других целей — тоже грешно, и весьма. И тем не менее, хотя всем известно, что грешить не только постыдно, но и просто опасно, люди всегда грешили и в одной, и в другой области; всегда — в смысле: с момента возникновения самого понятия греха.

Все это было прекрасно известно Фораме не только в принципе, но и в деталях. Сам он пользовался среди знакомых репутацией человека, пьющего весьма умеренно — по большим праздникам и в надежной компании. И слова журналиста о том, что там, где пьют, Фораму станут искать в последнюю очередь, а то и вовсе не станут, пришлись как раз кстати: в месте, указанном Маффулой Асом, Форама мог не только добиться своей цели, но заодно и укрыться от тех, кто, усомнившись в его гибели, захочет подтвердить или опровергнуть свои подозрения фактами. И в самом деле, Фораме надо было еще и где-то существовать; он сперва об этом не подумал, уповая, что — образуется само собой, не попросил разрешения вернуться к журналисту. Меньше всего он мог подумать, что Мин Алика, хрупкая и беспомощная, обо всем подумает и все приготовит: с раннего утра он ее больше не видел. Обдумав сейчас ситуацию, он понял, что ни жилища друзей и приятелей, ни гостиницы, если он даже рискнет там показаться, не

послужат для него столь надежным укрытием, каким могло бы стать место, ему вроде бы совершенно чуждое, обитель греха не тайного, но вызывающего, не прикрытого и не пытающегося даже укрыться от осуждающих взглядов, — вот такое место окажется для него наиболее безопасным и именно там ему и следует находиться.

Место, названное Маффулой, как раз таким и было: местечко из наихудших, содом своего рода, где самое понятие греха давно уже забыто, и которое люди достойные обходят по кривой большого радиуса (из отвращения и страха не столько перед грехом, сколько перед пьяными). В зоне, обслуживаемой местным транспортным подразделением, было три или четыре таких гнезда; раньше сказали бы — в этом городе, но города давно слились, вобрав в себя многоэтажные пищевые централи, где урожай зрел при искусственном освещении и орошении или же куда солнечный свет передавался извне при помощи мощных световодов; таких, впрочем, было меньшинство: внешний свет зависит от погоды, регулирование погоды требует громадных затрат энергии, так что выгоднее было расходовать лишь часть ее на искусственное освещение, которое можно было строго дозировать и точно им управлять. Да и не было больше возможности отводить на прокормление такие колоссальные площади, как когда-то. Известно, что для того, чтобы жить охотой, человеку нужна территория во много раз большая, чем требуется ему же, когда он переходит к скотоводству и землепашеству; но еще намного меньше угодий нужно для прокорма одной единицы, когда производство еды переходит на рельсы в полном смысле слова фабричные, и пищевые централи обликом перестают отличаться от металлургического или любого иного крупного производства; когда так и случилось, произошла последняя вспышка роста городов, завершившаяся полным их слиянием. Но осталась традиция; и участки застроенной земной поверхности, отличавшиеся друг от друга разве что нумерацией линий сообщения и цветом транспортных кабин, а также коммуникационными шифрами, сохраняли уже официально не существовавшие названия былых населенных пунктов, имели своих патриотов и своих хулителей, своих героев и своих собственных подонков, свой фольклор и даже свой если не диалект, то жаргон. И жители такого участка территории неохотно пересекали его нигде не обозначенные, но всем точно известные границы, а перебравшись через них, чувствовали себя зябко и неуютно.

Но Фораме, к счастью, не нужно было выбираться за пределы тех десяти тысяч квадратных километров, на которых располагался этот город в последние — уже очень давние — годы перед полным слиянием его с соседними. На этих десяти тысячах квадратных километров находились, как уже сказано,

три или четыре таких места; но зато это уж были всем местам места — противоположный полюс библиотек, галерей, театров и лабораторий, — а средний уровень культуры как раз и является результирующей этих двух крайностей. То из мест, которое рекомендовал Фораме Маффула, было названо чисто условно; оно было не самым центральным и не самым обширным, но и не самым маленьким или отдаленным, и именно поэтому вполне подходило Фораме.

Проехав в общественной кабинке в нужном направлении, выйдя и поднявшись на поверхность, Форама, впрочем, зашагал не туда, куда нужно было, а в обратном направлении, и сделал немалый крюк, чтобы подойти совсем с другой стороны. Завсегдатаи таких мест, как правило, не подъезжают в кабинах; те, у кого есть деньги на кабину, сюда еще не заглядывают, тут — последняя ступень, низший ярус, подонки общества — не все, разумеется, но все прочие стараются (из вежливости, может быть, ибо свое представление о приличиях существует на любом уровне общества) не нарушать общепринятого порядка. Шагая к цели по кривой, Форама попытался увидеть себя со стороны, насколько это было в его силах, и поверил, что вид его не мог вызвать у постоянной клиентуры этих мест никаких подозрений. Кроме грязного и местами порванного костюма, что уже само по себе было хорошо, на скуле его зрел дурного вида синяк, честно приобретенный, когда он проползал под перекрытием; не забыл Форама, разумеется, и сорвать с воротника латунные совы — сначала сунул было их в карман, потом передумал и выкинул в первый попавшийся мусоросборник: они-то в любом случае ему больше не понадобятся. Грязные, всклокоченные волосы и красные от недосыпа глаза дополняли его облик и делали его, как Форама вскоре с облегчением убедился, неотличимым или почти неотличимым от нескольких тысяч (а может быть, десятков тысяч) тех, кто уже находился здесь, производя на стороннего наблюдателя впечатление единого и компактного тела с четко определенными контурами.

Контуры эти являлись границами обширного пустыря, одной стороной примыкавшего, вернее — постепенно переходившего в окультуренный чахлый парк для народных гуляний, уже знакомый нам; из-за такого соседства мирные жители ходили в парк неохотно и лишь убедившись в наличии усиленных нарядов пеших и крылатых Стражей Тишины. Когда-то на месте пустыря стояли старые одно- и двухэтажные дома, зеленели садики, на огородах росли редиска и салат. Потом домики вместе с грядками срезали под корень, а на расчищенном месте хотели возвести многотысячный зал для выступлений то ли спортсменов, то ли знаменитых поэтов. Деньги, однако, понадобились на что-то другое, и было решено за счет

пустыря расширить парк. Однако и на это средства никак не отыскивались, а местный, специально введенный налог нашел какое-то иное употребление, так как именно в то время праздновалось тысячелетие чего-то (никто уже не помнил, чего именно, да и трудно запомнить события такой давности). Так или иначе, деньги ушли, а пустырь так и остался пустырем, где горные хребты невывезенного строительного мусора заросли плевелами, регулярно получавшими свою порцию органических удобрений и оттого росшими кустисто и бурно, достигая неимоверных размеров. Это и послужило одной из причин неожиданного возрождения заброшенной территории: на траве под сочными кустами хорошо спалось. Природа, как известно, не терпит пустоты; и как-то так случилось, что вскоре все хоть сколько-нибудь ровные места оказались застроенными хлипкими, но вечными будками, киосками, навесами и прилавками — фанерными, жестяными, пластмассовыми, из прессованного картона, а то и просто клочок земли огораживался брезентовыми полотнищами на легких рамах. Все эти форпосты коммерческой инициативы торговали, в общем, одним и тем же; как ни странно, официально признанные напитки находились здесь в подавленном меньшинстве (кроме, пожалуй, пива, этой двуликой субстанции, играющей роль сперва провокатора, а потом — врачевателя), а преобладали товары совсем иного ассортимента: дешевая косметика, одеколоны и лосьоны с резким химическим запахом цветов и овощей; порой же попадался и продукт кустарного производства, смертельно-лилового цвета, в архаичных трифлягах мутного стекла; и наконец, как бы для утехи ремесленников, многие торговали различными химикатами для обработки дерева — морения и полировки, — а также консервами попроще и пирожками с начинкой неизвестной природы. Все это стоило гроши — лиловая несколько дороже, но она была для аристократов здешнего мира, для гурманов. Место это, никакого официального названия так и не получившее, клиентура окрестила «Шанельным рынком». Клиентура тут была тоже определенная: в большинстве — бывшие чиновники, мелкие коммерсанты, коммерсуны, как их тут называли; деклассанты; сошедшие с круга проститутки; отставные воины самых низких рангов; неудачливые виршеплеты и лицедеи.

Иными словами, в большинстве своем люди, выброшенные центробежной силой из бесконечной центрифуги жизни, не выдержавшие ее ускорений и перегрузок и нашедшие убежище и отдых в полном отрицании целей и идеалов, в бездумном растительном существовании, сузившие свой круг интересов и забот до ежедневной необходимости разжиться жалкой мелочью, которой хватило бы на очередной взнос жаждущему организму. Людей, занятых на производстве, было здесь зна-

чительно меньше — не потому, однако, что их вообще было меньше среди предававшихся пороку, просто — это были не их угодья, они собирались в другом месте, продолжавшем считаться окраиной, хотя, как уже сказано, окраин давно не существовало, но были, как и во всякой обширной и неоднородной среде, места большей и меньшей плотности обитания. Однако этим клиентура не исчерпывалась: как уже намекалось, здесь бывали не одни только отбросы общества. Порой в репейных дебрях Шанельного рынка можно было встретить и людей известных, даже очень известных, преимущественно из мира искусств, но попадались и чиновники; они, соответственно нарядившись, приходили сюда, чтобы на какой-то, пусть очень небольшой, срок выключиться из выматывающего марафона жизни, — а выматывала она всех, хотя и по-разному, — отрешиться от проблем, урвать свой кусочек растительного счастья, но вовсе не для того, чтобы понаблюдать за отверженными, как они считали, недостаточно приспособленными к жизни неудачниками. Эти случайные посетители не понимали еще, что не в силе и приспособленности людей было дело, но в самой цивилизации, оттеснившей человека куда-то на задворки бытия и не оставившей в повседневной, всеми молчаливо принятой за единственно возможную, жизни почти никаких возможностей для простого человеческого существования с ощущением единства со всей Вселенной, своей духовности, чего-то, что и делало их людьми; не понимая, эти люди из благополучных воспринимали первое свое, а потом и второе и третье посещение Шанельки, как свою причуду, случайность, мелкий эпизод, некоторым образом даже экзотический, эпизод из числа тех, какие можно в любой момент прервать и о них забыть, — и не предполагали они еще, что на самом деле это был первый шаг к тому, чтобы в конце концов сделаться постоянными обитателями репейного пустыря, — и не потому, что стало меньше сил или способностей, но потому, что в царившей здесь хмельной анархии было именно что-то человеческое, не регламентированное, не подгоняемое секундной стрелкой, не втиснутое в рамки повседневных дел и отчетов; было что-то такое...

Внешне эти посетители в своих первоначальных сошествиях в ад не отличались от прочих — даже те, для кого фрак или визитка были профессиональной одеждой, их не надевали, а облачались в более приспособленный к случаю наряд. Тем не менее туземцы узнавали их с первого взгляда, но не гнали и не обходились неуважительно, хотя честолюбие и корпоративность в каких-то формах свойственны людям и на этом уровне бытия; они даже по-своему любили пришлых, как любят дурачков, которым можно бесконечно врать — и те будут верить, и у которых, пусть и глубоко припрятанные,

всегда есть с собой хотя небольшие, но деньги, и деньги эти можно выманить, выпросить или просто украсть. Пришлые с их деньгами были одним из источников существования местного населения — так вполне можно назвать постоянную клиентуру рынка, которая часто неделями не отлучалась отсюда, под кустами ночуя, оправляясь и совокупляясь, порой даже разводя на крохотных грядках лук или огурцы, чтобы не так зависеть от стоившей денег закуски; зато они, явившись сюда без всякой помпы, отбывали порой гораздо более торжественно: на машине «скорой помощи» или прямо похоронной; к чести их надо сказать, что почти никогда эти люди не увозились в лодках Службы Тишины: если не говорить о мелких кражах (пятерки или десятки) у пришлых, закон здесь не нарушался, уголовники, если и были, то не промышляли, не случалось ни насилий, ни убийств, ни серьезных драк, львы и агнцы напивались и опохмелялись купно, а бурные эмоции, приводящие к аффекту, были растеряны еще по пути сюда. Правда, здесь всегда можно было купить что-то с рук, иногда очень интересные вещицы за бесценок; не исключено, что были среди них и краденые. Это, кстати, было одной из причин, привлекавших сюда интеллектуалов, среди которых всегда было немало коллекционеров; начав посещать Рынок в поисках дешевых раритетов, они позже возвращались сюда по той причине, о которой уже сказано: здесь на них никто не давил и ничто не давило, дух равенства царил тут, и как ни странно, среди, казалось бы, далеко отброшенных от жизни людей всегда можно было услышать все новости разнообразного характера, уровень информированности был прямо-таки потрясающим, многие вещи доходили сюда раньше даже, чем до кругов, которым они предназначались. Надо полагать, вражеская разведка пользовалась этим в своих интересах. Новости здесь обсуждались и оценивались на травке, в перерывах между порциями пойла; местными пророками и мудрецами делались выводы и выносились суждения; то был своего рода парламент или, скорее, антипарламент, никому своих мнений не навязывавший, но не склонный удивляться, когда в итоге получалось именно так, как они судили, — может быть, потому, что жизнь они знали с черного хода, с изнанки, а по черному ходу не только выносят мусор, но и приносят продукты, им пользуется прислуга, а она — носитель и коллектор информации; все это заставляет сделать вывод, — если только кто-то об этом хоть немного задумывался, — что орден братьев во спирту был куда многочисленнее и разветвленнее, чем с первого взгляда могло представиться здесь, где был лишь один из нервных узлов этой сети. Так или иначе, сведения о суждениях Шанельного рынка регулярно фигурировали в информационных сводках, предназначенных тем, кому ведать надле-

жало. Но именно потому, вероятно, что здесь все было нараспашку и ничто не таилось, вещие сюда практически не заглядывали, предпочитая нейтрализовать вражеских агентов вне пределов Рынка. Так что лучшего места Форама при всем желании не мог бы найти — и для того, чтобы исчезнуть, оставаясь у всех на виду, и чтобы сказать нужные слова так, чтобы они в минимальный срок были услышаны максимумом людей, еще способных что-то слышать и понимать.

* * *

Уже приближаясь к Рынку, по мере того, как отступали в стороны здания и все больше людей, небольшими группками, попадалось на пути, Форама вернулся мыслями к Мин Алике. «Вернулся», впрочем, не то слово. Он и не отлучался от нее мыслями, все, что он думал и делал с того момента, когда они расстались, совершалось в ее присутствии, у нее на глазах и лишь после безмолвного с нею обсуждения; и даже капитану Ульдемиру было невдомек, что то была вовсе не только лишь метафора. Все знают, что при таких безмолвно-заочных обсуждениях собеседники, даже самые упрямые, как правило, быстро соглашаются с нашей неотразимой аргументацией, и Фораму должно было бы удивить, что на сей раз это получалось далеко не всегда; но так или иначе, он был рядом с Мин Аликой, а она — с ним. Правда, обычно рядом находился и некто третий: то дело, о котором, собственно, и шла в тот миг речь. А сейчас на краткие мгновения он и она остались вдвоем, и можно стало поговорить о главном.

«Мика, — сказал Форама, обращаясь к ней. — Только не прими за упрек, наоборот, я тебе бесконечно благодарен за то, что (я уверен, это именно так) без тебя, не жизнь с новой стороны, я и не предпринял бы ничего столь сумасшедшего и прекрасного, а предоставил бы событиям идти своим чередом, потому что, как ты, может быть, уже успела заметить, я всю жизнь терпеть не мог вмешиваться в чужие дела. Кажется, я говорил тебе об этом ночью, когда у меня возникла вдруг неожиданная и неодолимая потребность рассказать все о себе, — мы о многом успели поговорить ночью, но всего я не помню... Я не стал бы вмешиваться, если бы не ты; но раз уж я взялся за дело, придется продолжать. Я говорю это к тому, что то, что мне придется делать, с первого взгляда может тебе и не понравиться. Тебе наверняка хотелось бы, чтобы мы сейчас были вдвоем в твоем или моем жилье, спокойные и безмятежные, и в голове у нас и в сердце не было ничего, кроме нас самих, кроме любви; но вместо этого мне придется здесь пить всякую дрянь, не исключено, что я и напьюсь — не до потери сознания, конечно: здесь нельзя будет, пожалуй,

валять дурака и проносить мимо рта, если я хочу, чтобы мне верили. Я сейчас выгляжу оборванцем, ты могла бы и не узнать меня, столкнись мы лицом к лицу, и буду выглядеть еще хуже; ты, чистая и хрупкая, ужаснулась бы, увидев. Но другого пути, если он и есть, я не вижу; да и времени нет искать его. Пойми, я не оправдываюсь и не пытаюсь переложить ответственность за мое решение на тебя, хочу просто, чтобы ты не падала духом, чтобы знала: я с тобой и для тебя. Я сделаю все, что можно и чего нельзя, потому что хочу, чтобы ты была, и чтобы была счастлива».

Эта безмолвная исповедь Форамы показывает, кроме всего прочего, что он, как и большинство мужчин, ничего не понимал в женщине, которую любил, и, безусловно, считал ее во многих отношениях слабее себя. И в этом мысленном разговоре он ожидал услышать в ответ примерно следующее:

«Я тебе верю, любимый, но очень боюсь за тебя. Ты вышел против всех, а цель твоя пока никому не ясна. Я боюсь, что с тобой случится что-то плохое. А тогда я просто не смогу жить. Я буду лишь при том условии, что будешь и ты. Помни об этом, а советовать тебе, что и как, — не мое дело; я тебе верю, мой Форама, пробудивший меня, подаривший мне жизнь и сознание того, что я — женщина. Я буду ждать тебя, знай это; ты прав, я хрупка и слаба, но любовью и ожиданием я крепка. Иди. Только не забывай время от времени говорить со мною, хотя бы так, а при случае и подать какую-то весточку поконкретней, чтобы мне быть спокойной...»

Такой ожидавшийся Форамой ответ свидетельствует прежде всего о том, что комплексом неполноценности он не страдал, а также — что он действительно не знал Мин Алики. Впрочем, есть ли в том его вина? Минувшей ночью она тоже рассказывала о себе, и рассказывала немало. Но если мужчина, говоря о себе, излагает события, то женщина чаще всего — эмоции, связанные с событиями, и отдельные детали, показавшиеся ей наиболее яркими, сами же события нередко так и остаются неназванными и, следовательно, неизвестными собеседнику. Это вовсе не значит, что женщина не откровенна: она рассказывает то, что ей действительно кажется самым важным, а если и скрывает что-то, то не столько по злому умыслу, сколько интуитивно. Все это, к сожалению, понятно не каждому представителю логичного пола.

Однако ожидания ожиданиями, но на самом деле, едва Форама успел закончить свой монолог, как в голове его вдруг стали возникать мысли, которые он по инерции продолжал считать своими, но которые на самом деле вряд ли ему принадлежали. Так, ему почудилось, что Мин Алика отвечает: «Милый, ты поступаешь правильно, не теряй только контроля над собой и говори лишь самое нужное: остальное пусть

договорят за тебя те, с кем ты будешь там общаться. Пусть они перевирают и преувеличивают — не страшно. Место ты выбрал неплохое, хотя долго там оставаться не сможешь: едва информация начнет просачиваться в город, как сразу поймут, что она может исходить только от тебя, и начнут поиски. Однако я уже нашла более надежное убежище и думаю, что успею показать его тебе, чтобы ты им воспользовался. Ничего не бойся, слышишь? Ничего не бойся. Все будет хорошо. Я вскоре отлучусь, но думаю, что ненадолго, а ты не ищи меня: я сама найду тебя, как только возникнет серьезная надобность. И пусть тебя ведет моя любовь и еще мысль о том, что дело твое настолько велико и благородно, — а у тебя пока нет еще полного представления о том, насколько оно велико и благородно, — что ради него стоит пережить и неудобства, и неприятности, и вообще все на свете. Помни это и помни, что я люблю тебя и что мы заодно».

Действительно, несколько неожиданным для Форамы это оказалось, но отвечать тут было уже нечего, да и времени больше не осталось. Так завершился их немой разговор. Но Фораме стало легче оттого, что Мин Алика, вопреки его недавней уверенности, вовсе не показалась ему сейчас потрясенной и безутешной — если, конечно, можно было верить этому неизвестно откуда взявшемуся впечатлению... Чуть-чуть обидно было, конечно, но зато возникло совсем другое настроение. Однако Форама вступил уже в пределы зеленых угодий братьев по спирту, в пределы, за которыми каждому должно оставлять если и не надежды, то уж во всяком случае заботы обо всем, что не течет и не имеет достаточной крепости; в угодья вечного праздника вступил он, имя коему — безумие и бездумье.

* * *

Странный свет, серо-голубой, неяркий, был разлит вокруг; Фермер любил такой свет, он не мешал смотреть, и размышлять при нем было хорошо. Мастер только что возник с вечной своей чуть иронической улыбкой на резких губах, спокойный в движениях, неторопливый в словах. Они побыли молча, настраиваясь друг на друга; не всегда это удавалось сразу, все же разной природы были они. Потом Фермер проговорил, размышляя:

— Что заставляет нас пользоваться услугами людей несовершенных, людей, даже не способных представить себе то, ради чего они идут на опасность и стеснения? Почему, Мастер, ты не берешь людей Тепла, тех, кто знает, для чего существует человечество? Только ли потому, что тебе их жаль?

— В этом меня еще никто не упрекал, — ответил Мастер, и непонятно было — серьезно ли он сказал, или то была шутка, уклонение от сути разговора.

— И все же? Вот ты послал человека с этой Земли. Заблудившаяся, достойная сожаления цивилизация. При посеве им было дано не меньше, чем всем иным; уравновешенный мир, в котором требовались лишь наблюдательность, пытливость и естественный образ мышления, чтобы понять и найти, что в мире есть все потребное, чтобы жить и порождать Тепло, много Тепла, — а что еще нужно Вселенной от человека? Но что сделали они? Изуродовали свой мир, нарушили естественное равновесие, и чтобы поддерживать его искусственно, им нужно все больше всего, их усилия уходят на поддержание того, что должно было существовать естественным образом, и у них не остается больше сил на Тепло, на самих себя.

— Ты не вполне справедлив, Фермер. На той же Земле люди нынче любят друг друга: научились в конце концов. А ведь не так уж давно казалось, что они не доберутся до этого рубежа.

— О, эта их хилая любовь! Любовь старцев; не та, что посылает людей на свершения, не любовь движения, но любовь неподвижности; что толку от такого чувства, и какое мизерное Тепло возникает там вместо тех его волн, что можно было бы ожидать? Мал урожай с поля, Мастер, и если бы они не были так далеко на окраине, лучше было бы перепахать его и засеять заново; ты же пытаешься, мне кажется, омолодить сорт.

— Именно, Фермер. У нас есть правило: не отказываться от сделанного, любой ценой пытаться добиться блага, пытаться до самого конца. Ты думаешь, что они вырождаются; а я попробую... Потому что каждый такой случай может дать нам опыт, а опыт, возможно, понадобится кому-то из нас или таким, как мы, в будущих временах, а ты сам знаешь, что впереди их — бесконечность.

— Но и печальный опыт остается опытом; и, может быть, в следующий раз мы будем знать, что перепахивать надо раньше, не стоит тратить времени на выжидание. У нас времени много, да; но у них его мало, и тут мы ничем помочь не можем.

— Но вот же человек с Земли, посланный мною, делает свое дело.

— Человек с Земли! С какой Земли? Человек из былого, когда у людей хватало еще энергии на что-то, кроме купания в теплой водице, когда они еще способны были прыгнуть, очертя голову, со скалы в холодные волны... Но где та Земля? Осталась далеко. Время минуло. Их время, не наше. А мы не владеем их временем, ни я, ни ты даже.

— Да. Но есть те, кто владеет.

— Есть. Но что ты решил? Ты хочешь?..

— Если будет причина.

— Просить об иссечении времени?

— Такие случаи были.

— Но не ради столь ничтожной цели. Речь шла о галактиках, не о крохотной окраинной планете.

— Не только масштаб решает.

— Я был бы рад, конечно. Но у меня такой решимости нет.

— Ее достанет у меня. Но я хочу, чтобы ты обещал мне поддержку.

— Не могу ответить сразу.

— Сразу и не нужно. Лишь тогда — и если — когда он сделает свое дело.

— Тогда ты заговоришь об этом снова.

— Согласен.

— Ты внимательно следишь за ними, Мастер?

— Больше ничего я сейчас не могу.

— И ты не боишься?

— Я понял тебя. Но что делать, Фермер? Мы сильны и знаем много, очень много. Но есть условия, в которых мы можем не больше, чем мальчишка с дикой планеты, только начинающей зеленеть. Можем только верить и надеяться, когда дело касается чувств. Да разве ты и сам...

— Не надо об этом, Мастер. Ты знаешь: поэтому я в глубине души благодарен тебе за то, что ты возишься со всеми ними. Земля — не чужая мне планета, может быть, оттого я и пристрастен.

— Поэтому ты в нужный миг поддержишь меня.

— Ты был уверен в этом заранее... А в том, что он сумеет доказать, что людей с Земли еще рано предавать забвению?..

* * *

Тут можно было выбирать, не следовало кидаться сломя голову к первой же попавшейся на пути паре. Таких пар чем дальше, тем больше виднелось у дороги; они стояли на обочине, выжидательно и призывно глядя на приближавшихся одиночек, со значением пошевеливая тремя пальцами приподнятой руки. С необозримо давних времен сложилась привычка объединяться для кейфа по трое: в одиночку пить умел не всякий, двое — это чаще всего несогласие, всегда нужен третий, судья и примиритель; четвертых же слишком много на стартовую полуфлягу — для первого приема, для орошения пересохшей почвы. Так что Форама, не откликаясь, миновал несколько пар, его не привлекавших. То были люди неинте-

ресные, припухлость морщинистых лиц показывала, что хмелели они, втянувшиеся, сразу же и начинали нести чепуху, Фораме же нужны были люди, готовые слушать, а при нужде и действовать — не профессиональные змиеглоты. Таких он нашел не сразу; увидел их в момент, когда его, цепко ухватив распухшими и грязными пальцами за рукав, пыталась остановить женщина — толстогубая, измятая, с застарелым синяком под глазом и, верно, с мозолями на лопатках от частых упражнений. Кажется, упражнений она сейчас и жаждала, и бормотала, овевая парфюмерным перегаром изо рта, где был недочет зубов: «Да не прошу же я, не прошу, я сама угощаю, свежачок, сама угощаю, ставлю для затравки, а потом и сам ты, если будет твоя воля, ты не смотри, ты знаешь, где я раньше ходила, скажу — ахнешь, я и сейчас, если бы не...» Но Форама уже приметил двоих, что привлекли его внимание некоторой человекообразностью, хотя и тщательно замаскированной; один, во всяком случае, привлек. Форама рванул рукав; женщина пошатнулась, взмахнув руками, но устояла, лишь переступила ногами, несусветно выругалась и неожиданно заплакала, рванув платье на вислых грудях; Форама успел еще подумать, что такой встречи достаточно, чтобы потом месяц или полгода не смотреть на женщин вообще (о Мин Алике он в тот миг не думал, она не женщина была, она была — Все). И тут же перестал думать о жрице любви, потому что подошел и остановился возле тех двоих.

Они тоже сразу опознали в нем непрофессионала. В каком бы непотребном состоянии ни находился его наряд, но не было в нем главного: одежда не была пропитана той массой, что возникает от смешения пыли, пота, пролитого питья, размазанных закусей, если человек неделями не переодевается и ночует под кустами, порой даже не отходя в сторону, от места возлияний. Яснее ясного было для опытного, что Форама — не завсегдатай, и это тех двоих, кажется, устраивало, как и его самого. Мог он оказаться либо свежескатившимся и лишь начинающим свой путь по кругам Шанельного рынка, либо гастролером, искателем острых ощущений и непринужденного общения; и то, и другое было равноприемлемо, а подробности тут никогда не брались во внимание.

Итак, он остановился перед ними, понимая, что уже на ходу был оценен и взвешен, и не отвергнут: приглашавшие пальцы стоявших сжались, головы кивнули. Было два-три вопрошающих взгляда, без единого слова; затем Форама прикоснулся к карману, давай понять, что не напрашивается на дармовщину, но может соответствовать. После этой процедуры все трое неторопливо зашагали, каждый по-своему и про себя переживая предстоящее начало.

Минуя киоски, прилавки, навесы и тележки с косметическим и парфюмерным продуктом, они, как аристократы Шанельки, подошли к дощатой, крепко сколоченной будке, одной из немногих, где торговали казенным продуктом. Один из тех двоих, рослый и статный, в дешевом, но почти новом, неловко сидевшем на нем мешковатом костюме, приблизился к окошку. Перед тем, шагах в пяти, те трое остановились было, переглянулись снова, разом опустили пальцы в карманы и вытащили по бумажке, по небольшой; мелкие у всех приготовлены были заранее, тут не место было хвалиться козырями, тут признавали скромную постепенность во всем. На широкую ладонь рослого, кроме его собственной, легли еще две бумажки; он, однако, не сжал пальцев, они опять переглянулись, второй кивнул, бродяга он был или кто, но держал себя достойно; Форама пробурчал «мгм», и еще по бумажке легло. Был резон в том, чтобы не бегать слишком часто, а больше брать зараз тоже не следовало, тогда не отбиться стало бы от попрошаек. Рослый купил две полуфляги, они канули в емких внутренних карманах его обширного даже для столь мощной фигуры пиджака, и трое отошли на несколько шагов в поисках чертополоха поразвесистей. Сели на грязный песок. Длинный расставил бумажные стаканчики, сковырнул жестянку. Спросил у Форамы: «Надолго?» Между собой те двое, видимо, все уже выяснили заранее. «Как получится, — ответил Форама, — вообще не спешу». «Нас тоже пока не ждут», — сказал рослый; третий — бродяга не бродяга, с лицом грустно-выразительным — согласно наклонил голову и сглотнул слюну. Длинный спросил: «На два раза?» — остальные кивнули, он налил по полному, все торопливо разобрали стаканчики. «Шамор», — сказал немолодой, представляясь; «Горгола, можно — Горга», — длинный; «Форама», — сказал Форама. Кивнули вежливо друг другу, выпили, вздохнули, утерлись — до закуски было еще далеко, люди приходили сюда не ради обжорства. Минутку посидели, прислушиваясь каждый к самому себе, потом Горга разлил остатки, чтобы сразу же покончить с первой полуфлягой; вышло по полстаканчика. Кивнули, выпили. Теперь можно было уже не спешить: начало положено, дальше уж сама пойдет...

* * *

Всякое найденное, принятое в принципе решение является лишь начальным, исходным пунктом множества действий, связанных с его реализацией. Поэтому и выводы, к которым пришло совещание Высшего Круга, свидетелем которого оказался Форама, лишь дало начало многим действиям, уточне-

ниям и доработкам, которые, вместе взятые, и должны были привести к лучшему результату. Среди этих уточнений и доработок были и важные, но самым значительным, пожалуй, явился вопрос — каким образом практически осуществить нападение на бомбоносцы противника над своей планетой.

Дело в том, что вся многочисленная армада охотников, следовавших, каждый по своей орбите, за соответствующими бомбоносцами с вражеской планеты, не подчинялась команде ни одного из стратегов в частности; это было бы еще с полбеды, но любая атака на бомбоносцы, предпринятая даже без помощи охотников, но любым другим способом, практически осуществимым с надеждой на успех, не могла бы осуществиться даже и по команде Верховного Стратега. Вся хитроумная и совершенная система обороны планеты находилась в ведении одного лишь Полководца, а Полководец был не человеком, но весьма сложной системой множества компьютеров высокой мощности и надежности, в которые была введена — и продолжала поступать — вся информация, касавшаяся обороны, все конечные цели и все стратегические принципы, на основании которых предполагалось эти цели достигнуть. Все принципы, среди которых сохранность населения собственной планеты играла далеко не последнюю роль, и вовсе не по соображениям гуманизма, но по экономическим и военным, ибо после первого удара кто-то должен был развить и закрепить успех, а еще кто-то должен был обеспечить это развитие и закрепление необходимой материальной базой. Иными словами, нужна была рабочая сила и личный состав войск, или живая сила, как ее иначе называют, не говоря уже о том, что после окончательного успеха кому-то придется восстанавливать то, что к тому времени останется на своей планете в состоянии, допускающем восстановление, — а все понимали, что за успехи (несомненные, впрочем) придется платить по высоким ставкам. Итак, все эти соображения хранились в памяти машин. В ходе важного совещания этому обстоятельству особого внимания не уделили. Казалось, что оно не создает никаких принципиальных трудностей: ведь, в конце концов, основные стратегические принципы не противоречили новым обстоятельствам, и тот факт, что лица, в чьей компетенции было — нажать кнопку, этим нажатием вовсе еще не подавали стартовой команды, но лишь побуждали Полководца начать реализацию Большой задачи, а уж дальше он действовал сам по своему электронному разумению, — факт этот вначале никого не озаботил. Наоборот, немедленно после принятия совещанием решения программистам была дана команда, и разработка соответственной программы сразу же началась. Но уже через несколько часов стали возникать

сомнения в том, что осуществить задуманное будет так просто, как показалось вначале.

Причина затруднений крылась в некоторых недостатках Полководца, ранее никого не заботивших, потому что недостатки эти были лишь продолжением его достоинств. Достоинством гигантской машины был высокий порог необходимых и достаточных условий, без учета которых она не могла и не должна была начинать практические действия. Это являлось достоинством, ибо обещало тщательный учет максимального количества даже самых незначительных, на первый взгляд, обстоятельств, которые могли оказать хоть какое-то влияние на ход событий. Человеку, даже многочисленной группе людей, с их естественной инерцией мышления и способностью отвлекаться по поводам, не имеющим непосредственного отношения к стратегии, с их ограниченной емкостью памяти и несовершенным процессом оперирования этой памятью, никак не удалось бы учесть все подобного рода мелочи при мгновенной оценке обстановки, когда необходимо в тот же миг принять оптимальное решение и в тот же миг расчленить его на множество конкретных операций в должной последовательности; человеку это не удалось бы, а компьютер мог, потому он и существовал и потому окончательную команду подавал именно он, а не человек с пальцем на кнопке. Но в число этих необходимых и достаточных условий, о которых уже сказано, входили не только такие, как, допустим, сиюминутный уровень информированности противника о замыслах и возможностях активно обороняющейся стороны, и не только своя информация об уровне возможностей противника противостоять новым замыслам и усилиям превентивно обороняющихся, но и такие, как, скажем, уровень и характер настроений своего собственного населения, что не без оснований считалось одним из факторов, ощутимо влияющих на достижение конечного успеха. Уровень и характер настроений машина устанавливала по данным, поступавшим из двух основных источников: по каналам Высшего Круга и по собственным линиям информации. Линии эти состояли из множества микрофонов, установленных в самых неожиданных местах, и передававших услышанное непосредственно в анализаторы Полководца, который сам уже делал выводы. Впрочем, непосредственно в машину поступали многие данные и другого характера.

И вот когда программисты стали вводить в приемные устройства Полководца элементы новой программы, машина начала требовать различных дополнений. Это само по себе было в порядке вещей; однако порой характер вопросов оказывался таким, что ответить на них можно было далеко не сразу — если вообще можно было. Например: какова вероятность того, что в решающие устройства бомбоносцев против-

ника в последнее время не введены новые условия реагирования на приближение к бомбоносцам посторонних тел?

Вопрос был не таким, от какого можно отмахнуться, но также и не таким, на какой можно дать скорый и однозначный ответ. У разведки никаких новых сведений по данному вопросу не было; но разведка могла и не успеть, в конце концов, ее задания выполняли люди, а не компьютеры. С другой стороны, всякая экспериментальная проверка, естественно, исключалась, а если бы и можно было, в принципе, придумать такой эксперимент, какой не повлек бы за собой немедленной массовой атаки бомбоносцев, то времени на это понадобилось бы больше, чем было отпущено (по необходимости) на всю оборонительную операцию. Посовещавшись, программисты кратко ответили, что никаких новых данных не поступало, однако Полководца такой ответ не устроил. Машина затребовала информацию вторично. Тут программисты более не решились принимать ответственность на себя и доложили наверх. Верховный Стратег заколебался; формально он мог решить вопрос лишь с ведома Высшего Круга, но обстоятельства требовали иного. Не предлагая сесть, стоя на невидимом постороннему глазу возвышении позади обширного письменного стола (Верховный Стратег был небольшого роста, что досаждало), он кратко спросил:

— Чего же он, в конце концов, хочет?

— Нужна уверенность, что в чужих бомбоносцах нет новых программ.

— А они могли поступить?

— Вполне возможно. Они передаются кодом, который каждый раз меняется, и поэтому перехватить или исказить его никто не в состоянии. А обмен с бомбоносцами у них, как и у нас, совершается постоянно, поскольку грозные эти устройства выполняют, естественно, кроме основных еще и разведывательные функции.

— Это мне известно. Вот подонки! — заявил Верховный, хотя их собственные программы передавались на свои бомбоносцы точно таким же способом и наблюдение с автоматических кораблей велось точно так же. — Ну так чего же хотите вы?

— Нужно дать машине ответ.

— А обойти вопрос никак нельзя? Ну, заблокировать его...

— Никак нет. Любой разрыв логической цепи заставит машину прекратить дальнейшее развитие работы.

— Какие только идиоты так придумали, — проворчал Верховный. После краткого размышления он снова спросил: — Ну, а если взять да вырубить эту думающую шарманку вообще? У нее формалистический подход, а дело-то ведь ясное.

— Все каналы подачи команд на каждое орбитальное устройство идут через Полководца, как вы знаете, — ответил флаг-программист. — А чтобы смонтировать новую систему в обход Полководца, нужны месяцы, если не годы.

Флаг-программист ограничился изложением этого обстоятельства и не стал прибавлять, что Полководец обладал устройствами для перехвата и искажения провокационных сигналов на свои бомбоносцы, что вообще бомбоносцы повинуются только команде, данной сегодняшним кодом, а код этот вырабатывается и вводится самим Полководцем, и в данный момент никому больше не известен, что выключить гигантское устройство просто нельзя: его энергетическая установка находится под его же собственной защитой и обслуживанием, всякое посягательство на нее он воспримет, как нападение, на такой случай у него имеется соответствующая программа, и очень не хотелось бы, чтобы он начал реализовывать ее, поскольку программа эта в его электронном мозгу ассоциирована с захватом планеты противником. Так что пришлось бы ждать истощения топливных запасов, а топливом Полководец был обеспечен на ближайшие пятьдесят — шестьдесят лет. Обо всем этом флаг-программист напоминать не стал: достаточно было уже и того, что для перемен нет времени.

Верховный Стратег героически выразился, и наступила пауза. Потом он выпрямился, насколько это было для него возможно, расправил плечи и выкатил грудь. Момент был историческим; кто-то должен был решиться и принять на себя величайшую ответственность, сделать шаг, от которого зависело, может быть, все будущее, судьбы Планеты, судьбы обоих миров. И стать этим «кем-то» выпало ему. Верховный Стратег не жаловал прессу, но тут пожалел, что рядом не оказалось фотокорреспондентов.

— Хорошо! — молвил он голосом, в котором не было ни намека на нерешительность или сомнения. — В таком случае, дайте Полководцу моим кодом ответ такого содержания: «По точным данным, бомбоносцы противника не получали какой-либо новой программы действий».

— У вас есть данные? — наивно и бестактно спросил флаг-программист, воспитанный в убеждении, что в машину можно вводить лишь верные, неоднократно проверенные сведения.

— Выполняйте! — величественно приказал Верховный Стратег и, повинуясь какой-то неосознанной потребности, скрестил пухлые руки на груди.

Возможно, он думал в этот миг о том, что если бы его действия стали известны Высшему Кругу, то ему, Верховному Стратегу, не поздоровилось бы: Круг ревниво относился к своим прерогативам. Однако это его не испугало. Что значил Высший Круг без воинов и бомбоносцев? Звук пустой. Циви-

лизация давно уже (исторически неизбежно, как принято было считать) превратилась в организм на тонких и слабых ногах, с хилым тельцем, но с мощными бицепсами и увесистым кулаком правой, разящей руки. Оно и думало, это существо, теперь чаще кулаком, чем головой, передоверив во многом «головные» функции электронике. И если понадобится, он, Верховный Стратег, просто оторвет голову, уже ненужную, музейный архаизм, либо ударом кулака оглушит ее так, что голова придет в сознание, лишь когда дело будет уже сделано.

Неуловимо для глаза помедлив, флаг-программист четко повернулся и зашагал к выходу — выполнять. Приказание было отдано ему столь решительным тоном, что он не смог набраться смелости и доложить еще и о второй заминке: об информации относительно настроений масс. Программисту, впрочем, и самому казалось, что дело не такое уж важное, просто формальность: кто и когда всерьез считался с настроением масс? Настроения, как известно, создаются при помощи средств всеобщей информации, средства же контролируемы и управляемы, и уже завтра, надо полагать, вся система будет полна соответствующих материалов, которые люди станут повторять и пересказывать — вот и мнение населения, и его настроение... Он забыл, однако, что раз на раз, как говорится, не приходится. Пока же флаг-программист прибыл в свое, надежно упрятанное в недрах скального массива, хозяйство, отдал соответствующие распоряжения, и программисты рангом пониже стали переводить сформулированный Верховным Стратегом ответ на маловыразительный, но точный язык, на каком объяснялись они с Полководцем, со всеми его секциями, устройствами и мегаблоками. И все катилось, как по рельсам, пока не доехало до стрелки. Но где стрелка, там, как известно, и стрелочник, а он-то всегда и бывает виноват.

* * *

Со стороны глядя, надо сказать, что Верховный Стратег Планеты поступил, как ни говори, и красиво, и решительно: на себя принял ответственность и перед историей, и (что бывает куда болезненнее) перед вышестоящими начальниками. Однако красота бывает разная, и красота удачного броска копьем или выстрела из лука совсем не та, что красота системы уравнений, где недавняя мешанина величин приходит в стройную и поддающуюся решению форму. И там, где царят уравнения, потрясать копьем вряд ли стоит. И вот получилось, что Верховный поставил свою планету гораздо ближе к катастрофе, чем даже сам предполагал.

Дело в том, что, как мы уже предполагали, нашелся все-таки исполнительный разведчик, который сообщил на Вторую

планету, в ее соответствующее Управление, не только о происшедшем взрыве, но и о его причинах. Было это для разведчика несложно, поскольку он присутствовал на первом из описанных выше совещаний, в развалинах института, и присутствовал по праву. В отличие от Мин Алики, человек этот не был ни уроженцем Второй планеты, ни ее патриотом; он был патриотом лишь самого себя. И, зная цену себе и своей работе (основной), он считал, что помимо величины, которой он обладал на своей Планете, ему следовало бы иметь еще что-то, что должным образом выделяло бы его из среды остальных. Титул, скажем. Но титулов здесь не было, они были там. И, значит, надо было оказывать услуги Второй планете, потому что в случае, если бы большой спор состоялся и кончился в ее пользу, то на Старой установились бы те же самые порядки, и человек этот одним из первых удостоился бы титула; в случае же мирного продолжения событий он был бы точно таким же образом отмечен там, на Второй, — и если бы ему удалось в конце концов попасть туда, и даже если бы не удалось: и в этом, наиболее печальном случае он все равно бы знал, что является титулованным лицом, и испытывал от этого великое удовлетворение, и дети его испытали бы еще большее, а он очень любил детей — но только своих. Таковы основные причины; деньги, им получаемые время от времени, играли роль второстепенную.

На Второй планете сразу оценили сообщение по достоинству. Мало того: там (как часто бывает) сгоряча даже преувеличили размер опасности, предположив, что взорвался не экспериментальный материал в малом количестве, но уже изготовленный снаряд. Поспешный вызов Мин Алики был лишь малой деталью процесса, происходившего сейчас на верхах Второй планеты, вокруг ее Круглого Стола. Более существенной частью процесса была новая программа, переданная всей бомбоносной эскадре соответствующим кодом. По этой программе корабли должны были начать атаку без всякой дополнительной команды уже в случае, если постороннее тело приблизится к ним на расстояние, впятеро превышавшее ранее установленное и скрепленное договором. Решение было принято не с кондачка; полученную со Старой информацию запустили в Суперстрату — так назывался аналог Полководца, машина, существовавшая на Второй, — и та, без труда просчитав несколько возможных вариантов, не прошла мимо и этого; меры были приняты по всем вариантам, но это изменение, которого, видимо, всерьез опасался Полководец, могло прежде остальных привести к необратимым последствиям: ведь над Старой планетой, кроме бомбоносцев, летали все-таки и корабли иного, мирного назначения, и какой-нибудь из них мог случайно пройти слишком близко к взрывчатой шеренге.

Надо сказать, что подобное изменение должно было, конечно, быть сообщено администрации Старой, чтобы предотвратить случайности; да Вторая и не собиралась скрывать принятые меры, напротив: пусть знают, что подлый маневр врага разгадан. Однако информирование Старой происходило по каналам Департамента межпланетных сношений, а там работали в основном люди, а не компьютеры, так что соответствующее сообщение могло достигнуть Высшего круга хорошо, если через день, а то и два. За это время мало ли что могло произойти. Но уж такие нравы были в ту эпоху в той звездной системе.

* * *

Поддали уже как следует, и все захорошело, и пыль перестала казаться пылью, а сброд вокруг превратился постепенно в милых, сердечных, лучших на свете людей, накрепко и навечно связанных общностью интересов. Но, развеселившись, Форама не утратил еще ясности мышления; наверное, ему не было даже так весело, как он показывал. Но говорил он оживленно, часто смеясь, кое-что искажая, кое в чем преувеличивая, как это часто бывает с людьми, предающимися пороку пьянства. Когда Форама начинал свой рассказ, их было трое, потом компания постепенно разрослась, и не только за счет любителей выпить нашармака: люди подходили и присаживались со своими флягами и флаконами, банками и полбанками, со стаканчиками и без; даже угощали порой, когда Форама умолкал, чтобы перевести дух, и снова начинал, торопясь сказать и обосновать главное, пока хмель еще не вселился в него окончательно и пока рассказ не превратился в совершенную чепуху и бредятину, которой даже пьяный не поверил бы.

Форама хотел тут использовать известное свойство пьяных компаний: неудержимое стремление говорить и слушать, принимая неожиданно близко к сердцу вещи, на которые человек в трезвом рассудке даже не обратил бы внимания — настолько далеки были они от его интересов. На Шанельном рынке любили рассказчиков; каждому хотелось быть баюном, владеть вниманием собутыльников, хотя бы краткое время, так что Фораме далеко не сразу удалось заставить слушать себя. Однако мозг пьющего быстро оскудевает, и не у каждого находится, что рассказать, а иной и знает, что у него есть, да не может вспомнить — что же именно. Поэтому всякая интересная тема выслушивается с великим вниманием, а затем обогащенный информацией синюшник спешит на другой конец Рынка, чтобы, влившись в компанию еще не слышавших новости, привлечь к себе внимание и пересказать, пусть перевирая и искажая (обязательно в сторону преувеличения) толь-

ко что слышанное; а там повторяется то же самое, цепная реакция продолжается, новая информация стремительно разносится по обширной территории Рынка, овладевает если не умами, то тем, что их там заменяет — овладевает царящим там ползучим безумием; на долгое ли время — это уже зависит от важности, значительности разносящихся новостей. Однако Шанельный рынок не является замкнутым, изолированным организмом. Люди приходят, люди уходят — отпившие свой срок, натешившие душу, разрядившиеся, выскользнувшие из стрессового состояния; меняются приказчики в киосках, за прилавками, под навесами; привозят новый товар, и возчики и грузчики ненадолго вливаются в общую компанию (трудно ходить по грязи, не запачкавшись); жены (или мужья) прибегают порою, чтобы разыскать и умыкнуть возлияющих супругов, спасти хоть ту малую часть, что еще поддается спасению. Словом, каналы связи Шанельки с окружающим миром многочисленны и разветвленны, информация течет по ним, не иссякая, и то, о чем час-полтора назад заговорили под сенью репейников, уже становится достоянием Города. Тут в действие вступает коммуникационная техника (в условиях информационного голода пористая масса общества всасывает в себя новости прямо-таки со свистом), и вот уже все судачат о том, о чем с утра даже и думать не собирались, и на взволнованное: «Вы слышали?» — следует не менее возбужденный ответ: «Да, конечно! И, говорят...» Вот так все и происходит, и Форама почему-то был совершенно уверен в этом, словно всю жизнь занимался вопросами информации, и именно на такой процесс рассчитывал. А также на то, что информация, переданная таким способом, сразу же расходится не только по горизонтали, но и по вертикали, пронзает все слои общества, потому что люди на Шанельке, как уже сказано, бывают самые разные. Помогала ему и мысль, что в таких условиях найти источник информации бывает практически невозможно: люди помнят, что именно слышали, но от кого — это путается, исчезает из памяти, потому что они успели выслушать все не единожды, а раз пять самое малое, и хронологическая последовательность невозвратимо исчезла, и рассказывавший первым в памяти оказывается вдруг пятым — и поди докажи. Форама знал, конечно, что если бы добрались до него, то специалисты не стали бы ломать голову, гадая — от кого это пошло; но он знал также, что на такое сообщение наткнутся они не сразу, очень уж непохоже будет то, что они услышат, на действительно случившееся; а ему и не надо было, чтобы все разобрались в проблеме: надо было лишь, чтобы люди поняли, почувствовали, что грозит гибель и что гибель эта связана с вооружением, и что если захотеть, катастрофы можно еще избежать — если приняться за дело сегодня, а завтра

может уже не хватить времени. Вот это он и внушал, а подробности давал ровно в таком количестве, чтобы собеседники поверили, что он человек серьезный и знающий и не станет зря сотрясать атмосферу от одной лишь хмельной говорливости. Если же распространяющиеся слухи, независимо от степени их точности в деталях, окажут на Высший Круг слишком серьезное впечатление, и будет дана команда — грести всех, то в таком случае как раз может возникнуть шанс выскочить. Риск, конечно, был, но в таком деле без риска нельзя.

Уместным будет уточнить, на что же именно рассчитывал Форама, распространяя слухи. На то, что Высший Круг, убоявшись народного бормотания, изменит свои замыслы? Нет, таким наивным Форама все же не был. Он понимал, что Высший Круг привык и умеет считаться только с реальной силой, моральных запретов для него не существует, поскольку мораль в представлении Круга — не сила, она не стреляет и не взрывается. На то, что население Города и в самом деле станет вдруг силой? Тоже нет: ясно ведь было, что процесс превращения народа в силу, количества в качество, требует времени, организации и людей, способных возглавить ее, — но людей таких не было или, во всяком случае, Форама о таких не слыхивал, а вот что времени на такое уже не оставалось — это он знал точно. Так что надежды на то, что Шанельный рынок бросится на штурм казематов Полководца, у Форамы и не возникало даже. Какой же смысл был тогда во всей его затее?

По сути дела, надеялся он и рассчитывал лишь на одно. Побывав на совещании Высшего Круга, он поверил — если не совсем, то на девяносто процентов во всяком случае — в то, что и на самом деле существовало то скрытое и невидимое, но всесильное подлинное правительство, от имени и по поручению которого только и могли выступать Гласные, пусть букеты на народных гуляниях и подносили им, а не кому-то другому. В частности, Фораму, в начале того совещания уже совсем поверившего было в подлинность Гласных, заставил пересмотреть свое мнение тот непродолжительный перерыв в ходе совещания, что был объявлен перед принятием окончательного и бесповоротного решения: такой мог понадобиться лишь для того, чтобы Первый Гласный связался с тем всемогущим, кого он тут представлял, вкратце изложил ему суть дела и получил указание. Именно вкратце: на подробное изложение у Гласного не хватило бы времени, перерыв был и на самом деле непродолжителен. Так что — и в этом Форама был уверен — истинные властители (или властитель) дали повеление, не имея еще возможности разобраться как следует в сути дела, не зная всех обстоятельств, включая и важнейшие. И вот

именно просачивание в массы информации об этих важнейших обстоятельствах, властителям, видимо, не известных, должно было, по замыслу Форамы, сыграть ту роль, которой, к сожалению, не могли сыграть ни пресса, ни радио: заставить правителей еще раз, уже наведя должные справки, поразмыслить над положением и немедля отменить неправильное решение и принять правильное, — а правильным было, по убеждению Форамы, лишь то, что предлагал он. Вот ради какой комбинации глотал он одуряющую и весьма противную жидкость, делая вид, что ничего приятнее на свете не знает, и говорил, говорил, повторял множество раз, то сухо, то цветисто, то со множеством принятых здесь оборотов, аргументируя и от науки, и от суеверия, и от чего угодно — лишь бы главное дошло и застряло, хотя бы ненадолго, в памяти окружавших его людей.

А люди вокруг Форамы собрались самые разные. Те двое, к которым он первоначально примкнул, оказались, как он и полагал, не завсегдатаями рынка. Горга, здоровяк и тамада компании, принадлежал, как выяснилось в процессе более тесного знакомства, к стратегической службе; точнее объяснять он не стал. Никакого удивительного совпадения в этом усмотреть нельзя было: к стратегической службе принадлежал каждый четвертый житель Планеты, это была самая обширная и могучая фирма, концерн, монополия, если угодно, отличавшаяся от промышленных монополий разве что тем, что материальных ценностей она не производила, да и духовных тоже не густо. Горга состоял на активной службе, никаких трагедий у него в жизни не происходило, просто свободный от службы день он использовал для отдыха в той форме, которую предпочитал всем остальным — чтобы снять напряжение, неизбежное при суточном сидении перед ответственным пультом. Второй, тот, что постарше, оказался не бродягой вовсе, но лицедеем, актером, у него тоже выдался свободный вечер, наутро предстояла очередная репетиция, — и он решил отдохнуть на вольном воздухе и зарядиться в меру; меру, разумеется, знала душа, а душа у него была широкая. Так или иначе, уже утром ему предстояло оказаться в обществе, в котором слухи циркулируют, как ток в сверхпроводнике. Такой была исходная компания Форамы; среди первых сверхштатных слушателей нашлись тоже интересные и полезные люди — например, бывший чемпион планеты в какой-то из весовых категорий по ану-га; так назывался национальный вид спорта, суть которого состояла в том, что двое состязающихся, под строгим и нелицеприятным наблюдением судей, поочередно били друг друга увесистой битой в ухо; бита, правда, была одета смягчающей оболочкой. Противник имел право обороняться при помощи специальной лопаточки, которую полагалось держать в другой

руке. Новый компаньон Форамы долго оставался непобежденным, так как одинаково хорошо владел обеими руками и мог, быстро перебрасывая биту и лопаточку из ладони в ладонь, обрушивать на противника оглушающие удары с неожиданной стороны. Как и все участники подобных соревнований, был он давно и безнадежно глух, пользовался слуховым аппаратом, часто терявшим регулировку, и в своем солидном уже возрасте передавал информацию с максимально возможным количеством искажений — однако именно это, как ни странно, вызывало у людей повышенный интерес к теме: ничего не поняв из объяснений глухого ухобойца, слушатели, естественно, спешили на поиски более членораздельного изложения — что и требовалось. На Шанельный рынок экс-чемпион ходил потому, что кто больше выпьет — было тоже своего рода состязанием, а ему для нормальной жизни необходима была высокая, благородная атмосфера соревнования. Был там также отставной администратор среднего ранга, потерпевший жизненное крушение из-за своей чрезмерной доброты: благодарные и отзывчивые клиенты воздавали ему за доброту общепринятым на Планете способом, и настал миг, когда укоренившаяся привычка к алкоголю возобладала над тягой к административной карьере, ибо в карьере всегда были и неясности, и сомнения, и моральные потери, алкоголь же казался ясным и безотказным, в общении с ним все можно было предсказать заранее, а душа былого администратора стремилась к ясности. У него сохранились еще знакомства среди бывших коллег, не столько даже у него, сколько у его жены с подругами жизни этих коллег, жаловавшими ее за то, что ее можно было жалеть (не без легкого злорадства и сознания собственного превосходства) — и там информация тоже расходилась, как круги по воде... Одним словом, народ вокруг Форамы собрался самый пестрый, а ему только этого и нужно было.

Правда, собрались они не сразу, и не сразу начался разговор по делу. Сначала Форама с компанией успели втроем распить и вторую флягу и запастись еще, снова вскладчину, только на этот раз к будке бегал актер. Когда ближайшее будущее было таким способом обеспечено, настала пора сделать маленький перерыв, чтобы в полной мере ощутить блаженство и насладиться результатами уже сделанного. Горга в своем штатском костюмчике лег на спину, подложив руки под голову, вздохнул от полноты чувств и устремил взгляд ввысь.

— Хорошо-то как! — промолвил он негромко, столько же себе самому, сколько и всем остальным. — Вот так бы и жил всю дорогу...

— Захотел! — счел нужным откликнуться Форама, в то время как лицедей воскликнул согласно и горячо:

— Да! Вот это — да!

Горга истолковал замечание Форамы неправильно:

— Думаешь, не хватит? Мне уже до пенсиона недалеко, до полной выслуги. Тогда я только так и буду жить.

— Если доживешь.

— Я-то? — ухмыльнулся Горга и не сделал даже ни одного движения, какие принято совершать, чтобы доказать свою силу и мощь, — не напряг бицепсы, не выкатил грудь и не сжал кулак: и так видно было, что здоровья у него хватит на нескольких. — Я-то доживу...

— Думаешь, не помешают?

— Кто бы это, например?

Форама вместо ответа ткнул пальцем вверх, где скользили четко различимые в темном небе огоньки.

— А, эти, — легко сказал Горга. — Да нет. Эти не помешают.

— Не осмелятся, что ли? — усмехнулся Форама.

— Знают, что мы им вложим. И вложим. — Горга помолчал. — Иногда просто-таки хочется, чтобы что-нибудь такое началось. Погулять охота! Я бы с первым же десантом... Ох и дали бы!

— Мы сильнее?

— А черт его знает, — ответил после краткого раздумья Горга. — Но все равно мы их раскатаем. Зубами загрызем. На одной ненависти. Этих сволочей давно надо придавить, чтобы не воняли.

— Да, вот именно, — сказал актер не очень, правда, уверенно, ибо был он человеком миролюбивым, хотя изображал порой военачальников, а равно и героев, пока возраст позволял. — Чтобы не смердили.

— Можно подумать, — осторожно поддел Форама, — что у нас тут везде розами пахнет. Сплошное благоухание.

— Ну, знаете ли... — испугался актер, а Горга повернулся на бок, приподнялся на локте и сказал:

— Да и у нас такое же дерьмо, кто этого не понимает — разве что под другим соусом. Младенцам ясно... Ну и что? Мы-то ведь здесь? Это — наше? Вот мы и будем топтать тех. И потопчем. Если только сунутся. — Он вздохнул. — Только ведь не сунутся.

— А раз не сунутся, — молвил Форама, — зачем их топтать?

— А что делать? Не мы их — так они нас. И потом, так жить веселее. Разве нет?

— А если бы ты жил там — тогда готов был бы топтать нас тут?

— Ясное дело. Ты как думал? Так жизнь устроена. На какой стороне оказался, там и сиди, и поступай как положено. Да ни к чему все эти разговоры. Не сунутся они, я говорю. Я знаю.

— А если не они, а мы? — сказал Форама. — Какая разница? Все равно начнется катавасия.

— Мы? — Горга рассмеялся. — Не смеши. Нашим в жизнь не решиться. Дураки они, что ли? Это нам с тобой мало что терять, потому мы и готовы... Что мне? Ну, убьют, не дослужу до пенсии — зато я хоть сейчас приму свою дозу, авансом... Налей, артист, а то во рту сохнет от таких разговоров.

Они выпили еще по одной, утерлись, чуть занюхали актерским соленым огурчиком.

— А может, им тоже терять нечего? — не унимался Форама.

— Им? Много ты знаешь!

— Я не совсем о том. Живут они, конечно, лучше нас (Горга ухмыльнулся). Но терять... Вот если бы они и на самом деле правили...

— Привет! А кто же, по-твоему, нами командует?

— Да вот ведь не зря говорят...

— Знаете, — сказал актер. — Если вы не хотите разбить компанию, найдите, пожалуйста, другую тему для разговора.

— Ладно, — согласился Форама. — Сказочку можно рассказать?

— Давай, — позволил Горга. — Пусть будет сказочка.

— Вот слушайте...

Тут и пошел разговор, ради которого все было затеяно. Тогда-то и стала собираться постепенно — толпа не толпа, но народу, в общем, вполне достаточно для того, чтобы уроненное слово не упало в пыль, но чтобы его тут же подхватили и, перекатывая из ладони в ладонь, словно раскаленный уголек, передавали друг другу, часто даже не понимая до конца, но главное — внутренний смысл — угадывая и им проникаясь.

— ...Вот отчего наш институт взорвался.

— Высокая драма! — пробормотал актер. — Лучшее в жизни это — высокая драма.

— Совершенно справедливо, — сказал экс-администратор. — Какой-то институт действительно взорвался. Я слышал, об этом сегодня говорили. Хотя официально и не сообщалось.

— Всех бы вас взять, собрать в одно место и взорвать, — сказал Горга и сжал кулаки, словно сминая в комок всех, кого следовало взорвать. — Все придумывали да придумывали, вот — допридумывались. Ну ладно, взорвалась ваша команда, пусть так. А нам-то что? Ты уцелел. За это непременно надо выпить.

— А то нам, — сказал Форама, принимая стакан и бережно держа его на весу, — что это только начало было. Но вскорости начнет рваться и всякое другое. Постепенно, но неотвратимо.

— Это бывает, — неизвестно к чему сказал былой чемпион. — Бывает, да.

— Вот я помню, однажды... — заговорил актер, забыл, что хотел сказать, и не закончил. Но его никто и не слушал.

— Да пусть хоть все ваши институты повзрываются, — сказал Горга, — людям на все это наплевать. Нация и не заметит даже. Что мы, без вас не проживем?

— Не только институты, — сказал Форама.

— Ну еще что-нибудь, все равно.

— Вот хотя бы ваши...

— За нас ты не бойся, — перебил его Горга. — У нас не взорвутся. Наши вещие не зря пайку едят.

— Тут твои вещие ничего не смогут. Тут — природа, понял? Природа! Ну, как вода замерзает, когда морозы настают, и никакие вещие этому помешать не смогут, пусть хоть ночей не спят.

— Ну ладно, — сказал Горга, впрочем, не убежденный. — Что же еще там станет взрываться?

Форама медленно поднял глаза к небу.

— Это? Брось. Они еще только приготовятся пикировать, как мы их — в лапшу. Это я авторитетно говорю. И воспоминания от них не останется.

— От нас не останется. Потому что взрыв будет совсем другой. Все живое сметет. Остальное сгорит. Камень, правда, останется.

— Врешь, — на всякий случай сказал Горга. — Пугаешь. Такого быть не может. Ты поди поищи неграмотных. Нас все же кой-чему учили. Есть законы природы. Понял? Природа помимо закона не может.

— Законы, как думаешь, могут меняться? Как у людей, например, меняются.

— То у людей.

— В чем разница?

— Люди живые.

— А природа? Да ты подумай спокойно: зачем мне пугать? Что я — на твои пью, попрошайничаю? За стаканчик вру? Нет вроде. Думаешь, я обиженный? Я так жил, что дай бог всякому. И вот потому хочу еще жить...

— Да, — сказал Горга. — Это верно. Жить еще охота. И чего нам не жить? — Он широко повел рукой. — Вот так хотя бы... Ладно, наши ведь что-нибудь придумают. Наверняка. А?

— Придумать-то они уже придумали. Только не то, что нужно. Они решили: раз все равно пропадать, надо стукнуть по тем.

— А что? — сказал Горга.

— То, что скорее всего мы при этом погорим сами. Не это надо делать. Надо поскорей направить все эти бомбоносцы на солнце или еще подальше — и пусть там сгорят.

— Мы направим. Ну, а те?

— А им тоже не лучше. И ведь есть же какая-то связь с ними. Значит, можно объяснить им, договориться...

— А, — сказал Горга и махнул рукой. — Связь-то есть. Тыщу лет болтают. Договариваются. И все никак не договорятся. И сейчас лучше не станет.

— Сейчас дело куда серьезнее...

— Давай лучше выпьем, пока живы. Эй, не напирайте, не топчитесь по живому...

— Договориться! — сказал актер. — Диалог — это прекрасно. Я посоветуюсь с нашим старшим. Он вхож...

— Вот чего-то у меня эта штука все время портится, — сказал экс-чемпион, дуя на слуховую капсулу. — Не от твоего ли этого, а? От того, о чем ты тут рассказывал. Послушай, — вдруг встревожился он, — а она не рванет у меня в ухе? Я бы выкинул, понимаешь, но без нее я и вовсе не слышу. И зубы у меня золотые, с ними как?

— Зря ты меня расстроил, — сказал Горга, — а я и поспорить с тобою по-настоящему не могу. Я — что, мое дело — убить красиво, аккуратно, это я умею...

Уже совсем стемнело, и огоньки на небе казались яркими, как никогда еще, и люди на Рынке теперь поглядывали на них не как обычно, с равнодушием — а опасливо, и становилось людям зябко и неуютно, хотя вечер был теплым и мягкий покой шел от земли...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Погруженная в мысли, Мин Алика даже не заметила, как кончился так называемый парк и начался пустырь. Это произошло постепенно: все меньше попадалось деревьев, зато все больше — сочного, кустистого бурьяна; покрытая многоугольными плитками аллея оборвалась, дальше шла убитая множеством ног плотная земля. Все больше людей встречалось, и в одиночку, и группами; но уже стемнело, и она не обращала на них внимания, хотя и чувствовала, что к ней приглядываются. Однако ее не трогали, а ей самой, занятой мыслями новыми для нее, необычными и оттого столь привлекательными, что расставаться с ними не хотелось даже на краткий миг, — ей здесь сейчас было куда приятней, чем на гремящих магистралях.

Ночные слова Форамы, чистые и прекрасные, все еще звучали в Алике; потом что-то стало заглушать, забивать их, в

их голубой поток начали врываться какие-то другие неуместные, грубые — как если бы вдруг другая станция заговорила на той же самой волне, беззаконно и бескультурно. Раз и другой Мин Алика досадливо тряхнула головой, но помехи не отцеплялись; тогда она пришла в себя — и поняла, что если первые слова, нежные и проникновенные, были воскрешены ее памятью, то вторые, — как показалось ей, черные, — звучали в реальности; доступ же к ее сознанию слова нашли потому, что произносил их тот же голос — голос Форамы. Голос доносился из собравшейся по соседству довольно большой толпы. Алика решительно свернула с тропы и стала проталкиваться, нимало не удивленная: она ведь знала, что он где-то здесь, затем сюда и шла, чтобы увидеть его, взять, увести. На нее уже почти не обращали внимания, только дышали перегаром. Форама был тут, она узнала его и в сгустившемся мраке; уже готова была шагнуть, чтобы, отстранив последних мешающих, оказаться рядом с ним. Форама в этот миг, подняв глаза, увидел ее — и лицо его стало меняться, она ясно видела, как менялось оно и он, умолкнув, начал было приподниматься с земли... Тут с двух сторон ее сразу крепко взяли под руки, она инстинктивно напряглась, но ее держали железно, и чей-то голос шепнул в самое ухо: «Без глупостей, времени не осталось, транспорт вот-вот уйдет». Не грубо, но неотвратимо ее повлекли назад, между нею и Форамой вновь образовалась людская перемычка, она больше не видела его и не успела еще решить — а не воспротивиться ли всерьез? — как ее уже впихнули в маленькую лодку, неслышно опустившуюся только что прямо на тропу; последним, что она услыхала здесь, было сказанное кем-то — без удивления, впрочем: «Гляди-ка, бабу замели», — и парк вместе с Шанельным рынком провалились вниз, и только ветер засвистел за полукруглыми стеклами.

* * *

Тем самым стрелочником, который, невзирая на свое скромное положение в служебной иерархии, может порой оказаться виновником крупной катастрофы, явился в данном случае некий представитель стратегической службы, носивший невысокое звание штаб-корнета, что соответствовало восьмой величине в любой другой области деятельности. Занимал он должность Главного дежурного оператора в центральном посту Полководца, и в обязанности его входило — в часы дежурства следить за состоянием громадного агрегата и вводить в него все, что прикажут. Составлял программы для Полководца, разумеется, не он, и не он решал, что вводить, а что — погодить; однако если какая-либо из программ вызывала у

Полководца нежелательную реакцию, иными словами, заключала в себе какие-то внутренние противоречия, либо противоречила какой-то из ранее введенных программ, то именно дежурный оператор должен был принять меры к тому, чтобы программа была своевременно исправлена, а до того — чтобы кто-то не попытался все же насильно втиснуть ее в машину: Полководец, как и всякое существо с высоким интеллектом, был весьма нервен, и его реакции на такого рода ошибки часто являлись совершенно неадекватными — иными словами, гигантское устройство начинало психовать по пустякам, как характеризовали это сами операторы в своих разговорах. Конечно, сравнение со стрелочником, использованное здесь, в достаточной мере условно, но все же оно дает представление о положении и роли штаб-корнета Хомуры Ди в могучей и разветвленной системе обороны Планеты.

Именно штаб-корнет Хомура Ди находился на дежурстве, когда на обширном пульте Полководца размеренная и привычная до полной незаметности беззвучная перекличка индикаторов вдруг замедлилась, потом и совсем расстроилась, одна группа их разом погасла, другая и третья задрожали быстро-быстро, замерцали, как больное сердце, тут же включились неприятно-багровые тревожные сигналы и негромко, прерывисто загудел зуммер. Все это должно было обратить внимание людей на поведение машины, отнюдь не вмешиваясь в него, и предложить им приготовиться к разговору с Полководцем. Ничего подобного штаб-корнет не ожидал, но, как квалифицированный специалист с немалым стажем, был в любой момент готов к таким событиям. Он еще не успел ничего подумать, как рука его сама собой протянулась к широкой клавише, над которой было написано: «Разговор». После того, как он нажал, жужжание сделалось тише, багровые лампы тревоги тоже замигали вполнакала, что означало, что причина волнения машины не устранена, но воздействие ее временно прекращено. После этого Хомура Ди неожиданно ласковым голосом спросил:

— Ну, что там, старина? Что тебе так не понравилось?

Тон его был ласковым потому, что штаб-корнет, как и все его товарищи по службе, давно уже испытывал к громадному и мощнейшему устройству, которое они обслуживали, странную нежность — подобие той, какую взрослые испытывают к детям, пусть очень развитым и способным, может быть, даже гениальным — но все же детям, имеющим крайне приблизительное, а еще вернее — отдаленное представление о жизни со всеми ее простыми сложностями. И нежность эта сейчас не поколебалась даже от того, что дежурить Хомуре Ди оставалось не более получаса, и естественным было бы желать, чтобы конец смены прошел без всяких осложнений и чтобы, сдав

вахту, можно было спокойно отправиться по своим делам, а свои дела бывают даже у Главных дежурных операторов, носящих звание штаб-корнета. Помимо эмоциональной причины была и другая: Полководец, чья неимоверная сложность и способность к саморегулированию давно уже сделали невозможным не только полный контроль, но и сколько-нибудь исчерпывающее представление о его внутреннем мире, — Полководец, как знать, на неласковый тон мог бы и обидеться, а этого никому из дежурных не хотелось: невелика честь — обидеть ребенка.

— Тебя что-то обеспокоило?

Полководец ответил сразу же:

— Это ты, Хомура? Слушай, тут какая-то глупость, тридцать три собачьих хвоста в глотку.

Речь, как известно, далеко не самый точный способ изложения чего бы там ни было: математический аппарат куда надежнее. Полководец в основной своей работе обходился, естественно, без слов; однако пользоваться речью он тоже мог. Такая способность была ему дана прежде всего для переговоров с высокими чинами, которые в машинном языке, в конце концов, не были обязаны разбираться в такой степени, как программисты или операторы. Однако чаще всего этой способностью машины пользовалось не начальство, а именно операторы — чтобы несколькими словами скрасить свое одиночество (через трое суток на четвертые), когда они оказывались запертыми в упрятанном в недра планеты каземате наедине с пультом. И Полководец охотно разговаривал с ними — на том, кстати, жаргоне, сильно отдававшем казармой, на котором сами операторы изъяснялись на службе и который у них же был Полководцем заимствован. Способности Полководца к анализу всего на свете позволяли ему узнавать собеседников не только по голосу, но и по индивидуальной манере разговора, хотя и сильно пригашенной жаргоном.

— Глупость? Ну, это бывает. Расскажи, малыш, в чем там дело.

— В информации, чтобы ей сгореть. Ты тут дал мне задачу, она мне очень нравится, давно хотелось чего-то такого: широкого действия с подключением армады, с десантными операциями на втором этапе... Да ты сам знаешь, одним словом — Большая игра.

— Да, помню эту программу. Что же в ней тебе не по вкусу?

— Сумма информации. Все сходится по всем каналам, кроме одного.

— Рассказывай.

— Это канал общественного мнения. Понимаешь, группа датчиков стала давать совсем новую информацию.

— По линии готовности противника?

— Нет, это совсем другие каналы, неужели ты не помнишь. Информация о противнике по общественному каналу оценивается на уровне слухов, по самому низкому коэффициенту. Не угадал, Хомура. Попробуй еще.

Полководец любил такие игры. И операторов они тоже развлекали.

— Информация об отношении масс к предстоящим действиям? — подумал Хомура вслух. — Вряд ли. Об этом никто ничего не знает, работает высшая степень секретности.

— Ты опять не угадал. Скажи, что сдаешься, потому что у нас нет времени.

— Ты победил, малыш, я сдаюсь. Говори.

— Информация относительно исполнителей. Бомбоносцев, охотников и прочего. Им якобы грозят взрывы, не зависящие от моих расчетов и команд. Дается и приблизительное время, и оно меньше того, какое нужно мне для проведения всей игры. Ты ведь понимаешь, я не могу строить расчеты на исполнителях, которые в любой момент могут выйти из-под контроля. Надо проверить информацию, Хомура. Если она верна, вся программа теряет смысл. Тогда придется уложиться в меньшее время, а это значит, что игра возможна не в полном объеме, а лишь частично. Поэтому нужно определить в программе, что нужно сделать обязательно, а от чего можно отказаться.

— Проверить?

— Ты ведь знаешь: у меня нет способов проверки этих каналов.

— Знаю. Послушай, малыш, а если просто пренебречь этой информацией? Какой коэффициент достоверности она у тебя получила?

— Близкий к единице.

— Но может быть, это тоже лишь слухи...

— Маловероятно, Хомура. Понимаешь, информация очень конкретная, черт бы ее побрал. И частично совпадает с другой, которую я получил по общему каналу. Меня удивляет только, что канал Верхней информации не дал ничего похожего. А Верхняя информация не подлежит сомнению, ее коэффициент достоверности — всегда единица. Но тут получается явное противоречие. Понимаешь, я проверил эту новую информацию на логичность, на научность — проверил всеми моими способами. И ничто не опровергает ее достоверности. Информация настолько серьезна, что отбросить ее я не могу. Но не могу и автоматически принять: она противоречит Верхней. Если противоречие не снимется, вся задача попадает в категорию не имеющих решения, а я, — Хомуре показалось, что в голосе Полководца зазвучали капризные нотки, хотя на деле этого,

конечно, быть не могло, — я не умею решать задач, не имеющих решения!

— Постой, малыш, еще рано бить тревогу... Значит, все твои проверки ничего не смогли опровергнуть?

— Когда я проверял на научность, мне показалось... Если бы я был человеком, как ты, я смог бы от нее отказаться. Там имеются понятия, которыми вы не оперируете: сдвиг фундаментальных законов. Но математически все точно. Я не могу отвергнуть информацию только потому, что она не логична или не достоверна для вас, если для меня она и логична, и достоверна. Разберись, Хомура, откуда исходит информация. Найди источник. Он может мне понадобиться.

— Я разберусь. — Хомуре и в самом деле стало жалко обиженного ребенка, заполнявшего здесь, в недрах скального массива, тысячи кубометров пространства своими кристаллами. — Вся беда в том, что по этим каналам у нас нет обратной связи. Ничего, я все узнаю. Вот сменит меня флагкорнет Лекона, и я сразу же отправлюсь. Дай мне координаты датчиков.

Хомура, действительно, решил пойти сам. Конечно, следовало доложить обо всем по команде, и пусть бы начальство принимало меры. Но штаб-корнет отлично знал, что начальство, прежде чем действовать, долго разбиралось бы — а не просто ли это блажь Полководца, и не лучше ли прикрикнуть на него, чем гнать людей и терять время. Кроме того, еще вопрос — удастся ли начальству так легко разыскать источник информации. Лучше уж пойти самому. Впереди три свободных дня, отоспаться Хомура успеет.

— Назови мне координаты датчиков, малыш.

— Вот они. Семнадцать тридцать семь, тридцать восемь... до весемнадцать ноль пять включительно.

— Ого, какой букет. Что это? Институты?

— Откуда мне знать? Проверь, Хомура.

— Обязательно. А пока я не вернусь — развлекись последним первенством по шахматам, там есть любопытные места, где хиляк... одним словом, к Большой игре пока не возвращайся.

— Не буду. Только не упусти из виду, Хомура: если информация подтвердится, надо будет проверить и Верхнюю. Я сам проверить ее не могу. Придется тебе. Иначе я вообще ничего не стану делать.

Хомура Ди усмехнулся. Проверить Верхнюю информацию, ах ты, малыш! Есть и другие способы самоубийства, менее болезненные. Кто же позволит, чтобы Верхнюю информацию подвергали сомнению? А вот с неожиданной, действительно, надо разобраться. Вернее всего, это, конечно, бред. Логический, правдоподобный, но бред. Потому что если не бред, то... —

Хомура почувствовал, что у него заныло под ложечкой. — Ладно, увидим. Что же там все-таки за источник? — Он взял реестр датчиков, перелистал страницы. — Вот. Ничего себе... — Штаб-корнет поднял брови и чуть не рассмеялся вслух, хотя вообще-то не имел такой привычки, служба к этому не располагала. Шанельный рынок! Империя братьев во спирту! Ничего не скажешь — надежный источник!.. — Он беззвучно посмеялся еще с минуту, потом вдруг стал серьезным. Однако, если вспомнить, сколько верной информации на его памяти поступило именно оттуда, то, пожалуй, так просто не отмахнешься. Придется ехать. И немедля: задерживается разработка Большой игры. Большой праздник задерживается, как говорит малыш. Где же там наш Лекона?

Предупреждающе прозвонила единственная в каземате дверь, выждала положенное и медленно стала отворяться. Вот и флаг-корнет. Ни секунды опоздания.

Через десять минут штаб-корнет Хомура Ди уже преодолевал расстояние, отделявшее Полководца от той части поверхности планеты, где цвели пыльные репейники Шанельного рынка.

* * *

Направлялся туда, кстати, не он один.

В другом ведомстве, тоже систематически получавшем информацию, самую разную и по различнейшим каналам, сведения относительно неуправляемых взрывов тоже были отмечены. Разница была в том, что если Хомура об этом услыхал впервые, то в другом ведомстве гипотеза эта была уже известна, и знали там также, от кого эти сведения могли исходить.

— Да нет, — вначале пожал плечами один из тех, кому следовало принять необходимые меры. — Он же погиб.

— Погиб, — возразил другой, более высокого звания, — это когда тело лежит перед нами и можно провести опознание. Но тела нет, и опознание провести мы не можем, значит, его следовало считать пребывающим в живых и в розыске, даже если бы не эти сигналы. А теперь-то и подавно.

— Что же, видимо, надо брать?

— И немедленно.

— Сетью?

— Думаю, нет необходимости. Индивидуально взять. И еще, может быть, одного-другого: слухи ведь пошли вширь. Но тихо. Чтобы никто не заподозрил, что этой болтовне придается какое-то значение. И брать, конечно, не по этому поводу. Драка, кража — что-нибудь такое. Возьмите с собой пострадавшего, лучше даже двух. Если есть под рукой женщина — возьмите ее с собой: пусть разыграет сценку, это будет, пожа-

луй, самое лучшее. Только возьмите такую, чтобы поверили, что на нее можно кинуться. Главное — верность деталей, тогда никто не усомнится и в главном.

— Понял. Разрешите?..

— Действуйте. И сразу же сообщите мне.

И вскоре небольшая группа на воздушном катере пустилась в путь.

Однако пока группа собиралась, прошло все же некоторое время. Надо было подготовить и потерпевших, и в особенности женщину: не в мундире же ей было лететь! И лодка у них была хотя и хорошая, но не такая ходкая, как та, на которой летел штаб-корнет Хомура: военные лодки всегда лучше всех прочих, тут уж ничего не попишешь. Так что на Шанельном рынке штаб-корнет оказался первым.

* * *

Скорее всего, это только показалось, хмель подействовал: что среди охватившей их плотным кольцом массы слушателей появилась вдруг на минуту Мин Алика — появилась и тут же исчезла. Привиделось, конечно; однако же так четко и убедительно, что Форама инстинктивно рванулся ей навстречу, и даже когда видение исчезло, он не сразу опустился на место, но продолжал вглядываться, вытянув шею, словно сквозь толпу можно было что-то увидеть. Сердце прыгало. Перехватило дыхание. И все из-за того, что ему показалось, почудилось на миг, будто он ее увидел! Ну и ну! Такого за собой Форама прежде не знал.

И, конечно, ее он не увидел. Зато заметил другое: довольно решительно расталкивая собравшихся, к нему пробирался какой-то человек, вовсе не напоминавший нормального клиента Шанельки. Начать с того, что был он в мундире — даже переодеться не потрудился, только знаки различия снял; из вежливости скорее, из уважения к мундиру, чем из конкретной надобности. Он продирался, не сводя глаз с Форамы, а физик, в свою очередь, неотрывно глядел на него, соображая. За ним? Сумрак мешал различить цвет мундира, но все же, кажется, то был стратег, а не вещий, а стратег вряд ли взял бы на себя миссию ловчего. Что еще можно было понять за считанные секунды? Звания спешивший был, пожалуй, небольшого: иначе не сам бы проталкивался, а перед ним расчищали бы путь. Звание, однако, еще не все: когда, допустим, военачальник направляется к месту предстоящего сражения, самая большая ответственность лежит не на нем, а на его водителе или пилоте: не довезет — и командовать сражением придется кому-то другому, а от этого может зависеть и исход битвы и всей кампании. Лицо у приближающегося нормальное, на

алкаша не похож — значит, не ради даровой выпивки прибыл стратег в полудикое место. «Чего же ему?» — успел еще подумать про себя Форама и вдруг как-то сразу понял и поверил, что наткнулся на то, ради чего он здесь оказался, ради чего весь огород городился: человек, которого не просто заинтересовало то, что он услышал, но заинтересовало по делу, да и услышал он это явно не здесь, а где-то в другом месте: дошла до него, следовательно, расширяющаяся волна информации. И Форама напрягся, стараясь усилием воли прогнать хмель, уже основательно круживший голову, — прогнать и быть готовым к решающему, может быть, разговору — хотя Форама и не мог представить, как же сможет помочь делу этот не очень значительный, судя по всему, стратег.

Штаб-корнет же, глядя неотрывно на Фораму, пытался на ходу понять, в каком тот состоянии: может разговаривать — или поплывет, размякнет и придется приводить его в чувство, хотя бы к минимуму соображения, а потом уже говорить о деле. Нет, кажется, мужик держался ничего, а странно: судя по пустым полуфлягам, аккуратно сложенным в сторонке, выпито было немало. Да и люди вокруг были явно под хорошим градусом — здоровенный, например, что поднялся вдруг с земли, когда Хомура почти уже рядом оказался с Форамой и даже успел уже вспомнить, что Фораму он и раньше встречал, и даже — где и когда встречал он физика Фораму Ро... Здоровенный широко распахнул громадные руки и воззвал: «Собрат! Ветеран! Милости прошу!..» Этому Хомура лишь резко бросил: «Ведите себя пристойно, штык-капрал!» — и тот захлопнул рот и послушно опустился на траву, так и не выпуская из пальцев налитого стаканчика, что он гостеприимно протягивал вновь пришедшему. Штаб-корнет подошел наконец к Фораме, протянул руку. Поздоровались.

— Видимо, — сказал Хомура, — источник разговоров — вы.

— Если вы имеете в виду...

— Я имею в виду именно это.

Сказано было, в общем, не очень-то понятно, но Форама был в тот миг слишком занят своими мыслями, чтобы обращать внимание на тонкости. Занят был тем, что пытался собрать свои мысли воедино. Наконец вздохнул:

— Значит, так (не мог Форама обойтись без ненужных слов перед продолжительными монологами, старался, но не мог). Не знаю, каков уровень вашей подготовки...

— Когда вы кончали теоретико-физический, я был на втором курсе, — ответил штаб-корнет спокойно.

— Прекрасно. А сейчас... у стратегов? Каким же образом?

— Так мне понравилось.

— Ну да, конечно... Чем же вы там заняты? Почему вас заинтересовало?..

— Рассказывайте. Потом вам станет ясно.

— Ну тогда слушайте...

Хомура улыбнулся:

— Здесь нелегко услышать хоть что-то.

Он сделал едва заметное движение головой, и как-то сразу стало ясно, что всерьез разговаривать среди развеселой толпы стратег не собирается. Но все же он счел нужным пояснить:

— Я привык думать в тишине.

— Я полагал, что стратеги наоборот... Громы сражений, и все такое...

— Я оператор Полководца.

— Как здорово! — вырвалось невольно у Форамы. — Как здорово! Тогда в самом деле пойдемте, поищем местечко.

— Штык-капрал! — сказал Хомура. — Если кто увяжется, вы его...

Горга кивнул.

Сейчас все население окружающих бурьянов стянулось к одному месту, и найти свободный уголок было нетрудно; однако прежде чем перейти к делу, штаб-корнет внимательно осмотрелся, даже повозился с извлеченным из нагрудного кармана плоским приборчиком. «Не хочу смущать машину, — не очень понятно проговорил он. — Потом, если понадобится, четко сформулируем и дадим». То ли он полагал, что Форама лучше информирован о чем-то, чем это было на самом деле, то ли просто не счел нужным объяснять — до поры до времени. Наконец они устроились, и Форама стал рассказывать, а штаб-корнет — слушать. Зная уровень собеседника, Форама не стремился популяризировать, поэтому рассказ его получился куда короче, чем для профанов. Выслушав, штаб-корнет помолчал.

— Что же, по-вашему, можно предпринять?

— Откровенно говоря, сейчас я надеюсь, что вы сами дадите мне совет. Судя по должности, вы имеете доступ к большому начальству...

— Не совсем так. Вернее, что считать начальством. По сути, высшая власть и есть Полководец. Но это не просто...

— Мне кажется, сейчас существует лишь один выход.

— Именно?

— Я испытываю глубокое внутреннее доверие к тому, что в разговорах называют подлинным правительством или всемогущими. Потому что если они, принимая на себя всю тяжесть решений и ответственности по самым сложным проблемам, не пользуются всеми преимуществами, какие могло бы давать их положение, — значит, они по-настоящему заинтересованы в судьбах планеты, а не своей лично. Их деятельность, по-моему,

сродни подвижничеству. И вот я полагаю, что если дать им всю полноту информации, которой мы сегодня располагаем, именно мы с вами...

— И Высший Круг.

— Они не захотели всерьез разобраться в проблеме. Ухватились за то, что, как им показалось, лежит на поверхности...

— Допустим. И что же?

— Если объяснить всемогущим всю опасность положения, они предпримут что-то, чтобы спасти Планету, людей...

— Рассуждаете вы логично.

— Вы мне поможете?

— Нет.

— Почему? Хоть что-нибудь ведь в ваших силах?

— В моих силах, мар, — разочаровать вас.

— Как именно?

Вместо ответа Хомура обернулся, поискал глазами и быстро нашел массивную фигуру Горги — она возвышалась среди кустов метрах в двадцати. Штаб-корнет громко, командно крикнул:

— Штык-капрал! Ко мне бегом!

Горга подбежал, вытянулся в струнку. Мятый костюмчик мешал ему выглядеть внушительно, и все же готовность к действию вызывала уважение.

— Я помню вас, штык-капрал, — сказал Хомура. — Вы несете службу в подразделении, обслуживающем электронные устройства в резиденции Высшего Круга.

— Так точно, ваша смелость. Состою в должности дежурного за контрольным пунктом. Техник первой категории, ваша смелость.

— В таком случае, вы знаете, какое устройство находится в малом, рабочем кабинете Первого Гласного?

Горга ухмыльнулся.

— Так точно, знаю. Портативный вычислитель марки КО-32, предыдущего поколения, в возрасте около двадцати лет.

— Наверное, вам частенько приходится с ним возиться?

— Уж раз в два дня — непременно, ваша смелость. Старое барахло, то и дело выходит из строя.

— А что еще там по вашей части?

— В кабинете? Все обычное, но лучшего качества Информатор, коммуникатор, индикаторы безопасности...

— Достаточно, штык-капрал, благодарю. Возвращайтесь на пост.

Горга на мгновение вытянулся еще больше, четко, несмотря на изрядное количество выпитого, повернулся и бегом направился к своему кусту.

— Ну вот, дорогой мэтр, — сказал Хомура Ди. — Разочарование заключается в том, что никакого невидимого правительства нет.

— Не верю. Я ведь рассказал вам, как при мне Первый — даже он! — прервал совещание, чтобы выйти и посоветоваться или даже получить указание...

— И вы решили, что он советуется с главой всесильных. — Штаб-корнет улыбнулся немного устало, как взрослый, вынужденный выслушивать наивные вопросы и мнения малого ребенка и отвечать на них применительно к уровню его развития. — На деле же он советовался вот с тем самым вычислителем, о котором нам только что доложил штык-капрал. Это — единственное создание, если угодно, которому он доверяет. Вычислитель того класса, какие стоят на столах в наших школах, только в школах стоят современные модели, куда более призводительные. Вот вам и источник его мудрости и категорических решений на уровне игры в морской бой...

— Не могу поверить, — покачал головой Форама, стараясь оставаться спокойным: слишком уж нелепым было услышанное, нелепым и страшным. Если судьбы Планеты решаются на школьном вычислителе, то это уж... это просто... черт знает чего можно было ожидать от этого. — Я допускаю, и здесь нет ничего дурного... если перед принятием важного решения надо навести какие-то справки, получить дополнительную информацию... Но ведь существует же мощная служба информации, и есть такие комплексы, как Политик, как ваш Полководец хотя бы...

Штаб-корнет медленно, невесело кивнул.

— Есть, конечно. Не забудьте только: все это — устройства высшей категории сложности. Их обслуживают квалифицированные программисты и операторы, через которых должны пройти все ваши вопросы, а следовательно — ваши мысли, намерения, планы...

— Неужели нельзя подобрать таких специалистов, о которых можно было бы не беспокоиться? Вот вам разве не доверяют?

— Никто не думает, что мы можем продаться вражеской разведке, но дело ведь не в этом. Ваши вопросы, ваши замыслы точнее, чем что-либо другое, дают впечатление о вашей личности во всей ее многогранности. Вернее, позволяют другим составить такое представление. Если вы действительно личность, да еще с большой буквы, вам это не страшно, даже наоборот. А если нет? Если нет, вы, естественно, будете стараться, чтобы подлинного уровня ваших познаний, силы вашего мышления, характера интересов и стремлений не знал никто, и, следовательно, вы не потерпите никаких посредников между вами и тем, кому вы вынуждены раскрыть все это, в

данном случае — электронным устройством. Если бы го-мар, о котором мы говорим, сам мог справиться с пультом Политика, он, возможно, консультировался бы с этим сверхустройством — изобрел бы какой-нибудь личный шифр, что ли, понятный лишь ему и машине, чтобы защититься от постороннего любопытства... Но ведь искусству работать с такими устройствами надо долго и серьезно учиться, а на это в Высшем Кругу времени никогда не хватает. Вот и приходится нашему другу оставаться в сфере своих собственных возможностей, а они, как вы уже поняли, ограничиваются именно школьным вычислителем, и именно таким, какой был в употреблении, когда Первый Гласный сам еще сидел за партой — потому что тогда он эту премудрость освоил, и еще потому, что компьютер этот рассчитан именно на возможности школьника и отвечает на заданные вопросы в пределах возможностей и потребностей старших гимназистов. Словом — высокая простота.

Форама сидел, опустив голову; не было сил даже, чтобы взглянуть на собеседника. Единственный выход, какой мерещился ему, оказался тупиком, в раке святого хранились одни лишь опилки. Вера рухнула; но черт с нею, с верой, главным было другое, больше никаких путей к спасению Планеты от глупой гибели он не видел. Или что-то все-таки было?

— Послушайте! — встрепенулся Форама. — А этот... вычислитель нельзя настроить так, чтобы он выдал первому такой ответ, который заставил бы принять нужное решение? Наш друг Горга... — Он запнулся, видя, как Хомура качает головой.

— Нет, мэтр. Если бы речь шла об устройстве класса Полководца или Политика, устройстве почти в буквальном смысле слова мыслящем, тогда... А со школьной машинкой подобное невозможно, слишком она примитивна. Можно лишь испортить ее — и тогда тот же Горга будет вынужден опять наладить схемы, и все останется по-старому.

— Значит, что же? — спросил Форама. — Значит, остается — спокойно умереть? Но ведь и умереть-то спокойно не удастся: война — какой уж тут покой... — Тут он снова поднял голову: — Постойте-ка! Но ведь война никак не может пройти мимо Полководца! И если вы работаете с ним, как я понял, и если, как вы только что сказали, устройства такого класса уже почти что мыслят, то может быть тут есть перспектива?

Штаб-корнет помолчал. Наверное, ему нетрудно было бы ответить «да» или «нет», возможно или невозможно как-то воздействовать на поведение Полководца, и — согласен сам он, Хомура, сделать такую попытку, или нет. Однако все, о чем они с Форамой говорили до сих пор, по существу, не относилось к военной области и не являлось прямым нарушением присяги; и сюда, на Рынок, штаб-корнет приехал лишь затем,

чтобы помочь малышу выполнить его задачу, а вовсе не помешать этому. Но все же Хомура был по образованию физик, и то, о чем говорил Форама, было для Хомуры понятным и всерьез его испугало. Но то, к чему Форама подошел сейчас, лежало уже по ту сторону черты. Наверное, переступить через эту черту было нелегко; так что в конце концов штабкорнет ответил не прямо:

— Видите ли, мар... Предположим, что Полководец действительно получил задание такого рода. Предположим... Понимаете, он может решать задачи более благородные или менее, эмоциональная сторона его не волнует, но когда он решает, он может делать это только честно: не ошибаться — это ведь и значит делать честно, на основе истинной информации. Поэтому он получает информацию, и не из одного, а из трех источников. Один источник может порой, намеренно или нет, дать ошибочные сведения, несколько же источников позволяют проверять и сравнивать, в результате чего ошибочная информация, как правило, отбрасывается. В нашем случае Полководец мог бы пользоваться тремя источниками информации. Не забудьте, все исходные данные заложены в нем изначально, речь идет только о коррективах и вновь возникающих обстоятельствах... Первый источник — официальный, мы называем его Верхней информацией. Второй — каналы разведки. А третий, каким бы смешным это вам ни показалось, это все, что циркулирует в данный момент среди самых различных слоев населения: разговоры, слухи, пересуды, вплоть до анекдотов; население, если брать его как единое целое, всегда обладает громадным объемом верной информации. Вы знаете, сколько микрофонов, дающих информацию непосредственно Полководцу, установлено только в нашем участке Города?

— Понятия не имею, — пожал плечами Форама.

— Около двух миллионов.

— Господи! — схватился Форама за голову.

— Не волнуйтесь: это микрофоны Полководца, а он ни с кем информацией не делится. Мы, стратеги, не любим, когда в нашу работу кто-то вмешивается. У нас и без того достаточно забот.

— Разумеется... — пробормотал Форама. — Тут вы совершенно правы...

— Сейчас вы можете быть вообще совершенно спокойны: я проверил, в пределах чувствительности микрофонов здесь нет ни одного. А вот там, где вы устроили это народное собрание, их не менее двух, а может, и больше.

— Я и не собирался скрывать. Напротив...

— Вот именно. Все, что вы тут говорили, немедленно пошло в приемники информации. И в машине произошла заминка. Разведывательный канал по этому поводу не дает ни-

чего. Так что до сих пор Полководец пользовался лишь Верхней информацией, и все было в порядке. Но вот начали поступать ваши данные. Возникла ситуация: один канал информации молчит, два других противоречат друг другу. Причем обе информации машина оценила примерно одинаково. В такой ситуации нужно вмешательство человека, чтобы помочь Полководцу предпочесть одну информацию другой и соответственно действовать.

— Поэтому вы и бросились сюда?

— Прежде всего мы отложили решение заданной программы. Потому что если бы Полководец продолжал над ней работать, — а работа эта состояла бы из бесконечных попыток предпочесть одну информацию другой, — это привело бы к возникновению у малыша серьезных неврозов.

— У малыша? Вы относитесь к нему с явной симпатией.

— Человек привыкает даже к примитивному механизму, если общается с ним постоянно, начинает относиться к нему, как к собаке, как к одушевленному существу; Полководец же — несомненно, интеллект, и о его кристаллической структуре со временем просто забываешь. Он этакий гениальный ребенок, понимаете? Ребенок, которому доверено распоряжаться жизнью и смертью, но все-таки ребенок. И невольно начинаешь заботиться о нем и беречь его. А мы, солдаты, привыкли относиться к детям бережно. И мне не хочется, чтобы у него возникали неврозы или что-то подобное. Тем более, что если он разнервничается — кто знает, как это проявится практически?

— Что же вы предпримете теперь?

Если Форама ожидал ясного и точного ответа, то он ошибался. Штаб-корнет долго молчал. Потом со вздохом произнес:

— Откровенно говоря, сейчас никто не смог бы дать вам готовый ответ. Понимаете, я могу подтвердить вашу информацию. Но этого будет мало.

— Почему же? И ребенку ведь ясно: если одна информация верна, то другая, противоречащая ей, ложна!

— Но та, другая информация — Верхняя! А Верхняя информация верна уже по определению, понимаете? Так сказать, несет на себе печать истины. И поскольку она не подлежит проверке людьми, мы не можем лишь сообщить Полководцу, что она не подтверждается: он этого просто не примет, отбросит. Таким образом, если мы только подтвердим вашу, то машина, как она уже предупреждала, пойдет в конце концов по пути упрощения задачи. То есть будет искать какие-то военные ходы, которые уложились бы в более краткий срок, в то время, каким мы еще можем располагать до начала взрывов.

— Но мы ведь не знаем этого времени! Послушайте, а если вообще выключить вашего ребенка из игры и действовать в обход его?

— Вам, человеку не военному, такая мысль, может быть, и простительна. Но вы ведь хотите зашвырнуть бомбоносцы на солнце или еще подальше? Вот; а любыми действиями этих милых снарядов распоряжается только Полководец — и никто другой. И никто, кроме него, не сможет сдвинуть их с орбиты даже на миллиметр. Понимаете теперь, что его нужно сохранить в полном порядке, не позволяя ему ни нервничать, ни еще чего-либо в этом роде...

— М-да...

— А если позволить ему решать задачу в сокращенном варианте, то все может начаться буквально наутро; так что тогда у вас не останется и минимального времени для того, чтобы предотвратить катастрофу.

— Только у меня? А у вас?

— У меня — мой долг, мои обязанности. В частности — сохранить Полководца в здравом рассудке. А для этого необходимо нарушить возникшее равновесие информаций.

— Каким же образом?

Хомура невесело усмехнулся.

— Пока я вижу только один выход. Вам он не понравится.

Форама нахмурился, догадываясь.

— Вы ведь не хотите сказать, что...

— Именно, дорогой мар. Чтобы сохранить Полководца, мы можем сделать лишь одно: опровергнуть вашу информацию. Та, другая, опровержению не подлежит...

* * *

— Время идет, Мастер. Я с тревогой смотрю на волну Холода: она все расширяется, и с нею — новые законы поведения вещества. А твои эмиссары медлят. Сумеют ли они хоть чем-то помочь мирозданию?

— Им нелегко сейчас, — откровенно ответил Мастер. — Тем более, что тем двоим, которые и должны сделать главное, пришлось сейчас разобщиться: она летит на Вторую планету, он на старом месте ищет какого-то выхода, но пока не может его найти.

— Существует ли выход вообще?

— Да. Он прост, но в то же время труден. Потому что это не тот выход, Фермер, которым можно воспользоваться, высчитав все по формулам. Здесь рассудок — дело второе, здесь на первый план должно выйти чувство. Но как этому чувству будет нелегко...

— Не понимаю пока, что ты имеешь в виду. Но верю, как всегда. Скажи только, Мастер: ты поможешь, подскажешь им в нужный миг?

— Ты ведь знаешь наши правила, Фермер. Когда любой из нас — это относится и к моим людям, — перестает верить в себя, верить всецело, ему пора искать другое занятие: если человек сам не верит в себя, как поверят в него другие? А пользоваться помощью, просить ее для нас — шаг к утрате этой веры. Нет, конечно, для нас является законом: надо спасать друг друга. Но спасение — уже крайний случай, и пока до него не дошло, мы предпочитаем обходиться своими силами.

— Могу понять это, хотя и не вполне согласен. Что же, Мастер, будем надеяться, что на сей раз они справятся сами...

* * *

Город такого масштаба, как тот, в котором происходят описываемые здесь события, в смысле его открытости и познаваемости человеком лучше всего сравнить с первобытными джунглями, с сельвой, с далекой, необжитой тайгой. Хотя человека окружает здесь цивилизация, техника, множество людей, и на первый взгляд может показаться, что для него не существует тут непонятных, необъяснимых явлений, незнакомых территорий, белых пятен и подстерегающих за поворотом опасностей, на самом деле это не так. Можно раз за разом проходить по одной и той же магистрали мимо одного и того же строения и не иметь ни малейшего понятия о том, что в нем происходит, для чего оно предназначено: строение, в принципе, ничем не отличается от окружающих, и человек необоснованно решает, что и функции оно выполняет такие же. Однако похожесть для того, быть может, и создана, чтобы люди могли делать внутри здания что-то совсем другое, не то, что в десятках соседних домов, не привлекая ничьего внимания. Кроме того, город — не только здания; это и пустыри, и (кое-где) развалины, покинутые всеми, и парки, пусть полумертвые, с трудом, из последних сил сражающиеся с превосходящими ордами второй природы — техники, противостоящие их атаке, которую вольно или невольно всегда направляет или хотя бы поддерживает человек, — пусть гибнущие, но все же парки. Нам известно уже, во что превратился один из обширных, нечаянно возникших в этой части города пустырей. Именно оттуда лодка увезла Мин Алику; увезла туда, где должно было начаться ее путешествие на родную планету.

Мы знаем уже, что никакого сообщения, никаких контактов, за исключением разве что редких дипломатических, и

никакой коммерции между враждующими планетами не существовало: слишком уж застарелой и жгучей была вражда между ними, из области рассудка давно уже перешедшая в сферу эмоций. И лишь непоследовательностью человеческого мышления можно объяснить то, что где-то (в зависимости от ранга потребителя) всегда можно было приобрести самые разнообразные товары с наклейкой или фирменным знаком, свидетельствующими, что товар этот произведен на другой планете; никого не удивляло, когда по развлекательным, а то и по научным каналам информации не так уж редко шли передачи, сделанные явно не на родной территории; не удивляло даже, когда стратегические службы одной стороны использовали оптику другой, а та, в свою очередь, — электронику первой, одна сторона имела на вооружении десантное оружие, созданное другой, а другая — мощные моторы, на которых бесстыдно красовалось клеймо первой. И, наконец, все спокойно относились к тому, что и на той, и на другой планете существовали целые обширные отрасли производства, базировавшиеся на сырье, которого (как было известно из любого учебника по соответствующим дисциплинам) на своей планете вообще не было, либо оно не добывалось, зато на вражеской планете существовало в изобилии. Такое положение удивляло всех столь же мало, сколь не удивляет зрелище семьи, в которой супруги непрестанно враждуют друг с другом, подолгу не обмениваются ни единым словом, в глубине души желают друг другу всяческих несчастий, однако при этом выполняют свои семейные обязанности — экономические, трудовые, общественные и прочие. Никто не доискивался путей, по которым все, что нужно, проникало с одной планеты на другую, и которых формально не существовало; однако люди давно привыкли к тому, что каждое явление может существовать как бы в двух ипостасях, официальной и фактической, и эти две ипостаси, формально друг друга исключавшие, на деле прекрасно уживались. Наука научила людей признавать существование множества вещей, непредставимых ни зримо, ни логически; отчего же было не признать существования экономических отношений там, где их официально быть не должно было?

Путей взаимопроникновения, как упомянуто, никто не доискивался. И хотя Мин Алика в свое время попала с родной планеты на Старую именно по одному из таких каналов, сейчас она и представления не имела о том, куда ее везут, и далеко ли, и каким способом ее оттуда отправят. Для эмиссара Мастера не составило бы особого труда оказаться практически мгновенно не только на соседней планете, но и в куда более удаленной точке трехмерного (и не только трехмерного) пространства; однако Мин Алика, разведчик Второй

планеты и художник девятой величины на Старой, такими средствами перемещения пользоваться, разумеется, не должна была.

Поэтому, пока лодка летела, Мин Алика с интересом поглядывала в полукруглое окошко. Внизу одни кварталы сменялись другими, порой возникали серые пятна парков, потом подолгу тянулись длинные, плоские кровли обширных предприятий, индустриальных и аграрных; на крышах порой разгуливали животные, получая свою долю движения. Потом начался район развалин; стоявшие здесь здания давно уже пришли в негодность, в них не жил никто, кроме деклассантов, стоявших вне системы величин; ремонт этих зданий был нерентабельным, со временем — когда дойдет очередь — те из них, что не упадут к тому времени сами, будут снесены, и на их месте, после вывозки мусора, будут возведены новые, современные постройки — если хватит средств и на месте развалин не возникнет новый пустырь, которому окрестное население найдет применение. Тут Мин Алика отвернулась от окошка: зрелище было грустным и ничего нового в смысле информации дать явно не могло; однако лодка тут же пошла на снижение и вскоре, покачавшись немного на упругих амортизаторах, уже прочно стояла на небольшой, сверху не очень-то и заметной площадке между полуразрушенными корпусами; площадка была выложена шестиугольными бетонными плитами и выглядела странно чистой в этом крае запустения. Высокие стены нависали, казалось, над головами, вот-вот сверху мог, наверное, упасть какой-нибудь едва держащийся на проржавевших креплениях массивный блок — тогда от всего, что находилось на площадке, осталось бы мокрое место, замысловатый иероглиф. Однако этого никто, похоже, не боялся; люди, привезшие Мин Алику, вежливо помогли ей выйти, к ним уже подходили другие, откуда-то — видимо, из развалин — появившиеся, негромко переговорили, потом лодка взлетела — Мин Алика (без особого, впрочем, удивления) увидела на ее борту выразительную эмблему Службы Тишины. Оставшиеся, пригласив и женщину, двинулись к ближайшему фасаду, тупо глазевшему на них пустыми оконными проемами. Вошли в прямоугольник, некогда закрывавшийся дверью; Мин Алика ожидала, что внутри придется перескакивать с обломка на обломок, изображая горную козу, мифическое животное прошлых эпох. Ничуть не бывало: каменный пол коридора был гладок, даже подметен, лишь изредка можно было заметить на нем какой-нибудь отклеившийся неизвестно от чего яркий бумажный фирменный ярлык или обрывок легкой картонной упаковки. Коридор тянулся не очень далеко и вывел

людей к металлической стенке, от которой и не пахло ветхостью, она молодо отблескивала, и дверь в ней отворилась без малейшего скрипа, уверенно и плавно. За дверцей оказался просторный, без единой щели, лифт. Стремительное падение вниз, на неопределенную глубину — и лифт, плавно замедлившись, остановился, дверцы его раздвинулись, и все, включая Мин Алику, оказались в обширном подземелье, стены которого состояли из светлых металлических пластин, потолок, кажется, тоже — разглядеть его мешали яркие, слепящие лампы наверху, потолок лежал высоко, метрах в семи-восьми. Подземелье никак не выглядело заброшенным; напротив, в нем постоянно двигались и люди, и электрические тележки, нагруженные картонными ящиками с романтическими, порой вовсе незнакомыми названиями фирм или содержимого, выведенными на стенках; целые штабели объемистых пластиковых ящиков и металлических контейнеров проплывали порой невысоко над полом, прочно удерживаясь на антигравитационной площадке, в одном углу которой помещался в крохотной будочке водитель. Было относительно тихо, так что разговаривать можно было не повышая голоса, только говорить Мин Алике здесь было не с кем и не о чем. Подкатила еще одна электрическая тележка, на сей раз вместо коробок и ящиков на ней стояли легкие стульчики; несколько человек уселось, один из них кивнул Алике, она подошла и заняла единственное свободное еще место, в самой середине. Тележка тронулась. Подземелье казалось бесконечным, тележка несколько раз меняла направление, лавируя между высокими, до потолка, штабелями товаров, заставлявшими подумать, что государственная контрабанда велась здесь в масштабах, каких едва ли могла бы достигнуть и официальная торговля — если бы она вообще возникла. Потом тележка остановилась. Вышли. Вошли в новый лифт. Еще один спуск, продолжительнее первого. И новое помещение, не столь обширное, как верхнее, но тоже металлическое и, как показалось, вообще не имевшее потолка: оно тянулось вверх, насколько хватал глаз, пока густой мрак не отнимал возможности различить что-либо. Пол в этом помещении отзывался на каждый шаг гулко, словно под ним была пустота — впрочем, так оно и было в действительности; а посредине зала или, скорее, шахты возвышался корабль, обычный антиграв, не скоростной десантный, какими располагали стратеги на обеих планетах, а куда скромнее, менее изящный, но зато вместительный, предназначенный для перевозки грузов. Оказывается, еще существовали такие корабли, а ведь считалось, что они давно уже канули в прошлое; этот же выглядел вовсе не музейным экспонатом, но достаточно но-

вым и надежным устройством. Тут, над металлическим полом, возвышалась лишь верхняя его часть, в которой и находились большие трюмные ворота и маленький сравнительно люк, предназначенный для экипажа. Один из привезших Мин Алику подошел к невысокому крепышу, что стоял возле люка, поглядывая то на часы, то на людей, поспешно переправлявших в трюм последние, надо полагать, порции груза, подлежавшего перевозке во враждебный мир; на гладкой обшивке корабля, рядом с люком, виднелась небольшая корона — эмблема Второй планеты; на ящиках же, скрывавшихся, один за другим, в трюме, красовались четкие клейма стратегической службы этого мира; диалектика, ничего более. Привезший Алику что-то тихо сказал коренастому, тот ответил с милым, немного шепелявым акцентом родной планеты, и звуки этой речи заставили сердце Мин Алики заколотиться неожиданно сильно. «Еще четверть часа, и я ушел бы без вас, провалитесь вы, и так далее». Потом он взглянул на Мин Алику, ноздри его дрогнули, он помолчал секунду, затем буркнул: «Минутку, я провожу вас». Он подошел к грузовому люку и скомандовал крепить намертво, потом вернулся и указал Мин Алике на люк экипажа. За ним оказался небольшой тамбур, легкая лесенка вела наверх. Коренастый сказал: «Я — капитан Урих Шуфф; там наверху — рубка, там вам делать нечего. Пассажиров мы не возим, поместитесь в каюте старшего, мы в этом рейсе обходимся без него». Не дожидаясь ответа, он распахнул дверцу в тамбуре, за нею оказался тесный коридорчик, в него выходили три дверцы, тоже узкие. «У нас тут не лайнер, — сказал капитан Урих, — да и рейс короткий, ничего, потерпите». Каюта оказалась узеньким пеналом, там были койка, столик, табуретка, шкафчик на переборке, на ней же — несколько приборов. Койка была застлана. «Чем богаты, тем и рады. Услышите сигнал готовности — сразу в койку, остальное сработает само. Летать-то приходилось?» — поинтересовался капитан Урих. Мин Алика ответила: «Да». «Ну и хорошо, — сказал капитан, — значит, долго объяснять не надо, что к чему. Удобства в торце коридора, задвижка там сломана, держите рукой. На месте вас должны встретить, больше я ничего не знаю и знать не желаю, мое дело — коммерция». Он повернулся и захлопнул за собой дверь. Тут же распахнул ее снова: «Если что-нибудь понадобится по женской линии, — он пошевелил пальцами перед лицом, — посмотрите в шкафу, мой старший тоже женщина, вообще у нас сейчас везде женщины...» — Капитан покачал головой, то ли осуждая такой порядок, то ли сожалея, и снова затворил за собой дверь — на этот раз уже окончательно.

* * *

— Опровергнуть мою информацию... — медленно повторил Форама, сомневаясь, правильно ли он понял штаб-корнета. — Но это значит...

— Значит, что будет готовиться война в полном объеме, верно, — откликнулся тот. — Но ведь я могу рассуждать только со своих позиций. Понимаете, Полководец — устройство настолько мощное, что если дать ему направление, он найдет, я думаю, выход даже из таких ситуаций, в которых не разберется и все человечество, если даже начнет думать разом, по команде. И моя задача, как я вам уже сказал сохранить нашего мальчика в добром здравии и готовности, потому что тогда у нас останется хоть какой-то шанс. А если я сделаю то, чего вы хотите — подкреплю вашу информацию, — он просто закапризничает, я вам уже говорил. И мы потеряем всякую возможность оперировать оружием. Это, мне кажется, будет куда страшнее.

— И все-таки... Почему не заявить прямо вашему Полководцу, что задача не имеет решения?

— Да именно потому, что он — ребенок, мальчик, малыш. Он не может признаться в поражении и будет упорствовать до конца. Ну, как дети, знаете.

— Откуда мне знать? — буркнул Форама. — У меня их никогда не было. Кстати, почему вы решили, что он именно мальчик, а не девочка?

— Почему? — Хомура несколько минут подумал. — Да не знаю... Потому, наверное, что мы все вокруг него — мужики, а он ведь многому научился у нас и, значит, думает, как существо мужского пола, — если говорить об особенностях мышления, логики...

— Ну-ну... Но, значит, есть в нем нечто, почему вы зовете его ребенком? Как у него с эмоциями? Любовью, привязанностью, смелостью, трусостью и всем подобным?

Штаб-корнет посмотрел на Фораму озабоченно; надо полагать, такого рода анализом возможностей Полководца он никогда еще не занимался. Подумав, он покачал головой.

— Да никак, наверное. Думаю, в этом отношении он никак не напоминает нас с вами. Не забудьте: он все же — военная машина, прежде всего — военная. И, наверное, то, что может иногда показаться проявлением эмоциональной стороны его существа, на самом деле является лишь результатом тщательно проанализированых, чисто деловых, всецело практических соображений. Может быть, мы и стали считать его ребенком потому, что он не обладает той гаммой чувств, которые украшают — или отравляют жизнь взрослых.

— Ребенок, играющий в солдатики...

— Но играющий лучше всех в мире. И солдатики эти — живые.

— Понимаю. Однако... У вас есть дети, штаб-корнет?

— Нет. Мы все при Полководце — холостяки. Почему-то отбирали таких...

— Да, тут мы в эксперты не годимся. Но, может быть, попробуем хоть в чем-то разобраться? Вот вы говорите, что ваш малыш может закапризничать, например.

— Ну да, так я говорю, — Хомура пожал плечами. — Просто другого слова не находится. Но кто знает, насколько сущность этого совпадает или не совпадает у ребенка — и у Полководца. Внешне — похоже, да.

— Но ведь капризничать — значит, проявлять эмоциональную сторону характера, а не рациональную?

— Вы слишком многого хотите от меня, мар. Я, в общем, знаю не более того, что мне положено.

— И потом, его стремление к игре, о котором вы упоминали, желание воспринимать все, как игру — в том числе и эту задачу, последнюю. Игра в солдатики — вы сами так сказали.

— Да, этого у него не отнять, действительно. Не знаю, может быть...

— Вы давно служите при нем?

— Шестой год.

— А сколько лет ему самому?

— Полководцу? Уже двенадцать с лишним. До него было устройство попроще. Но и он тоже постоянно совершенствуется, получает новые контуры...

— Он всегда был таким, как сейчас? Или со временем что-то в нем меняется?

— Ну, если оценивать человеческими мерками, он становится, безусловно, опытнее... Умнее, что ли.

— И спокойнее?

— Не знаю, право, что сказать. В чем-то становится, а в чем-то другом, наоборот, с ним приходится быть осторожнее, чем раньше.

— Я чувствую, что мне просто необходимо повидаться с ним самому. Побеседовать... Чтобы понять, что он такое. И можно ли рассчитывать на его помощь в какой-то форме, или не стоит терять на это время и надо сразу искать что-то другое.

— Что же другое сможет помочь, если Полководец подаст команду на бомбоносцы? — Хомура покачал головой. — Конечно, поговорить с ним вам бы следовало. Мы ведь к нему привыкли, многого уже просто не замечаем, а вы могли бы что-то уловить.

— Как же мне попасть туда, к вам?

— Сам не знаю. Попытаемся как-то протащить вас туда. Хотя вообще принято считать, что это задача беспокойная: каждый раз при входе и выходе автоматическая проверка на ритмы мозга, на отпечатки пальцев, на запах, на кровь... Очень нелегко будет. Но, наверное, иного выхода нет.

— Иной выход мог бы найтись, если бы...

— Тсс!

Приближался некто — вроде бы здешний, вроде бы даже под хмельком, чуть покачиваясь, что-то мурлыча под нос; шел прямо на них. Форама быстро огляделся; нет, никого другого поблизости не было. Тогда он повернулся — так, чтобы ни малейшего света не падало на его лицо, а Хомура, чуть сместившись, оказался между Форамой и приближавшимся. Позади того показалась еще одна фигура, но это был Горга, державшийся шагах в десяти. Незнакомый подошел, остановился в двух шагах, все так же чуть пошатываясь — но глаза смотрели трезво и пристально.

— Форама, ты, что ли? — спросил он, и даже язык, кажется, не совсем повиновался ему. — Куда же ты подевался от ребят? А мы тебя ждем, может, еще что выдашь интересное...

— Давай отсюда, — проговорил Хомура холодно. — Здесь на чужака не пьют. Поищи, где подают.

— Слушай, Форама... — но уверенности в голосе пришедшего не было, он явно бил наудачу.

— Катись-ка ты к своему Фораме, — сказал Хомура и шагнул вперед, а Горга, так и держась в десяти шагах, громко, подчеркнуто кашлянул. — А сюда не показывайся, — продолжал Хомура. — Здесь и без тебя комплект.

— А ты его не видел случайно?

— Думаешь, я всех тут знаю?

— Ну, он заметный — треплется про науку, про взрывы...

— А-а... Дружок, что ли?

— Ну да, дружок. Сам позвал, чтобы я приехал, и вот... А ведь я ему свеженький материал привез, как раз к случаю.

— Видел я его час назад, — сказал Хомура. — Тут целая шарага была. А сейчас — не знаю. Пошарь по кустам. Он тут уже тепленький был.

— Да? Ну ладно. А вы оба, — он все изворачивался, пытаясь ненавязчиво заглянуть в лицо Фораме, но Хомура возвышался непоколебимо, а Горга приблизился на несколько шагов и снова внушительно кашлянул, — вы оба, если заметите, скажите дружок его идет. По имени мар Цоцонго, это я и есть. Или лучше крикните меня погромче, я далеко не уйду... А еще лучше — позовите подружку его, тоже приехала, любовь у них с давних времен, вот она и беспокоится...

Великим напряжением сил Фораме удалось удержаться на месте. Хорошо, что чужой не видел выражения его лица.

— Непременно передадим, — сказал Хомура без любезности.

— А твой дружок что — онемел, что ли? Слова не скажет.

— А он таких, вроде тебя, не любит, — ответил Хомура хладнокровно. — Два слова — и сразу в рыло. Так что ты его лучше не трогай...

Поверил ли самозваный Цоцонго или нет, но мундир Хомуры он разглядел хорошо; хотя и без знаков различия, мундир внушал уважение, и пьяным Хомура явно не был, так что обострять не стоило: мало ли какие свои дела могут решать стратеги в этом месте. Пришлый удалился, не забывая, впрочем, пошатываться. Горгу он обошел, сделав небольшой крюк, — и видно было, как из кустов, что возвышались подальше, вслед ему скользнуло несколько теней.

— Вот, — сказал Хомура, когда они отошли. — Это вам о чем-нибудь говорит?

— Я узнал голос. Слышал его сегодня утром. Потом объясню. Мин Алика... Неужели они ее задержали? Она же ни при чем!

— Нам надо поспешить, мар Форама. Сможем ли мы провести вас в центральный пост Полководца, или нет, но здесь вам делать больше нечего. Идите за мной, старайтесь не выходить на свет. Штык-капрал, прикройте нас с тыла.

— У вас есть транспорт?

— Военный катер всегда в распоряжении операторов.

— Там, у себя, вы оставляете его наверху?

— Да, это дежурный катер, он всегда остается на поверхности. Вниз спускают только катера старших начальников, если самых старших — то даже без проверки: эти катера сами подают все нужные сигналы. Но у нас такого нет.

Горга подошел вплотную.

— Таким катером можно воспользоваться, — сказал он уже почти совсем трезвым голосом. — Машина Верховного годится?

Форама и Хомура уставились на него, не понимая.

— Свяжитесь с ней из своего катера, — посоветовал Горга. — С водителем. Мастер капрал Сала. Мой двоюродный брат. Скажите: Горга очень просит. Горга отплатит.

— Господи! — пробормотал Форама. — Вот уж нежданно-негаданно...

— Ай-о, — сказал Горга, — не за что. Так приятно посидели с человеком, поболтали — отчего же не помочь?

— Спасибо, Горга, — сказал и Форама. — Надеюсь, еще увидимся.

— Здесь — не знаю, капитан, — сказал Горга, чуть улыбнувшись. — Я свое заканчиваю, ты — еще нет. Но — увидимся...

— Питек... — тихо проговорил Форама всплывшее из недр памяти имя.

— Счастливо оставаться, мары! — Горга четко повернулся и зашагал прочь. Форама смотрел ему вслед.

— Поехали, — сказал Хомура, не очень, кажется, удивившийся последним словам обоих. — Снизимся перед первой охранной линией и пересядем в тот катер. Хорошо бы и остальные решения найти так же просто...

* * *

Услышав сигнал готовности — резкий, неприятный звук, что-то среднее между пронзительным звонком и свистом, Мин Алика поспешно легла в койку, не раздеваясь, и почти одновременно тонкая сеть страховочных амортизаторов развернулась в полуметре над нею и повисла, как полог из редких кружев. Было это, в общем, лишней перестраховкой, лишней в девяноста девяти случаях из ста, но бывает ведь и сотый. Что-то где-то вовне приглушенно проскрежетало, койка деликатно подтолкнула женщину снизу — вот и весь старт, вернее — первый его этап, на антигравах, бесшумный, почти безопасный; второй должен был начаться в заатмосферном уже пространстве. Сразу же наступила невесомость, и Мин Алике стало как-то не по себе, чтобы отвлечься от неприятных ощущений, она постаралась расслабиться и думать о вещах, вроде бы отвлеченных и приятных, думать как бы спокойно, со стороны, именно так, как чаще всего думается в дороге, где человек является всего лишь пассажиром, где от него ничего не зависит, все дела, даже срочные, волей-неволей отложены до прибытия в точку назначения, и можно не спешить (за тебя спешит то средство передвижения, на котором ты едешь, плывешь или летишь), и спокойно предаваться раздумьям — не избирательно, но в том порядке, в каком они сами на тебя наплывают. Вот и Мин Алика сперва внушила себе, что все дела на оставшейся позади планете для нее временно перестали существовать (кроме Форамы Ро, конечно; но он не был делом, он был частью ее самой — частью, как бы оставленной на Старой планете в залог собственного возвращения), а дела на родной планете еще не наступили. Однако Вторая приближалась, и теперь можно было откровенно признаться себе в том, что все годы Мин Алика свою планету помнила и по ней скучала, только не позволяла себе останавливаться на подобных мыслях, даже мимолетно, чтобы не заболеть черной тоской; не хватало ей родной планеты, и не только потому,

что она там родилась (факт биографии, порой не значащий абсолютно ничего), но и потому, что, какими бы недостатками социального, экономического или иного типа ни обладала Вторая, но она просто была лучше, даже для непредвзятого арбитра, не уроженца ее. Она была, во-первых, меньше, и, значит, уютнее, и понятие ее единства и нераздельности возникало и укоренялось легче и естественнее, чем там, откуда Мин Алика сейчас летела. Вторая была меньше, но плотнее, кстати сказать, так что ощутимой разницы в напряжении силы гравитации на поверхности обеих соседок не было. Родная планета не была единым, глобальным городом, как здесь — нет, теперь, вернее, уже «там»; тотальная урбанизация не то чтобы не успела еще наступить на планете Мин Алики, ее там сознательно старались не допустить, и планета оставалась зеленой, а не серой, воду ее рек и озер можно было пить, не боясь отравиться, и было там немало мест, где еще можно было уединиться и даже не слышать никакого иного шума, кроме посвиста ветра, шелеста листвы, плеска волны, голосов насекомых и птиц. Но, конечно, не даром; то, что принято называть уровнем жизни, то есть степень проникновения искусственной природы в жизнь каждого человека (в итоге в технологических цивилизациях все сводится именно к этому), — уровень жизни был на Второй планете ниже, чем на Старой, на которой Алика загостилась так долго. Сколько же лет уже она там пробыла? Семь? Восемь? Ну-ка, ну-ка... Родная моя! Смеешься — одиннадцатый год пошел! Так сколько же тебе лет в таком случае — по-настоящему, не по легенде? Ведь когда ты ушла в разведку, тебе было уже девятнадцать?.. Впрочем, кого интересует возраст? Форама все равно старше.

Форама, да... Мин Алика закрыла глаза и на миг перестала быть похожей на Мин Алику, какой была только что — хорошо, что сейчас ее никто не видел. Но тут же собралась с силами и снова стала прежней, привычной всем, и самой себе прежде всего. Одиннадцать лет, значит... небольшой как будто бы срок, однако за это время может измениться многое. Конечно, информации о родной планете у Мин Алики в общем хватало: даже из массовой информации Старой планеты можно было, введя известные поправочные коэффициенты, узнать достаточно много, а ведь Алика пользовалась, разумеется, не только массовой информацией. Но хотя известия говорили о многом — о сменах за Круглым Столом, об уровне производства, о военных делах, о событиях общественной жизни, — в них не было ничего о том, как плещет вода и шелестят листья, и бабочки летают над солнечным веселым лугом. А сейчас, приближаясь, Мин Алика вдруг почувствовала, что больше всего ей не хватало именно этого, и ощутила острое желание не возвращаться на Старую, но как-то перета-

щить сюда Фораму и жить на своей планете, если даже понадобится уйти из разведки (если отпустят — подумала она параллельно) и существовать лишь теми же самыми рекламными картинками, в фабрикации которых она за прошедшие годы изрядно поднаторела. Существует же и на Второй реклама!.. Но тут же что-то словно толкнулось в ней изнутри, как если бы она была в тягости (но этого не было, это уж точно) — толкнулось так, что она даже попыталась приподняться под пологом, и расслабленность прошла вмиг: как же можно было забыть о главном — что миру, вместе с нею и Форамой, осталось существовать, может быть, считанные дни и часы даже, и о том, что она летит не ради того лишь, чтобы отчитаться перед своими хозяевами, но в первую очередь — чтобы подыграть Фораме отсюда и добиться результата, нужного им обоим, нужного Мастеру и Фермеру, и обеим планетам — и всей необъятной Ферме, и всему великому множеству подобных ферм, где растет Тепло и Счастье.

Вот о чем подумала она; но в следующий миг снова прозвучал сигнал готовности, ее встряхнуло и прижало к койке, полог опустился ниже, почти касаясь лица. Это заработали маршевые двигатели: начался второй этап разгона одного из многочисленных кораблей государственной межпланетной контрабанды, для которых разведчики обеих сторон были всего лишь побочным и вовсе не таким уж выгодным грузом.

* * *

Стемнело совсем, давно уже стемнело, глухая ночь была. На Шанельном рынке этого даже не заметили: дело было привычное, на основное занятие обитателей оно никак не влияло, торговали здесь круглосуточно, одни уходили с выручкой, большой или малой, другие их сменяли, предложение, в общем, соответствовало спросу с некоторым даже превышением. Компания, к которой принадлежал ранее Форама, несколько поредела; актер успел подремать немного, проснулся и снова присоединился; Горга еще посидел какое-то время, а потом исчез как-то незаметно, слинял, как говорится; неизвестный друг, лже-Цоцонго, разыскивавший Фораму, сидел, выпивая ровно столько, сколько ему можно было, чтобы оставаться постоянно в форме, и поглядывал по сторонам, и прислушивался, но без большого успеха. Глухой экс-чемпион пил, не пропуская ни одной, но организм его был, надо полагать, настолько закален и вынослив, что человек этот, могло показаться, и неделю мог бы провести так, без сна и отдыха, а может быть и больше, и оставаться по-прежнему все в той же форме, — хоть сейчас взять биту и выйти в круг. Когда наступила ночь, потянуло ветерком, пыль осела, жить стало

приятнее, а общее число участников рыночного действа оставалось тем же самым: кто-то убыл, конечно, но подоспели другие, и в их числе — гурманы, которые только в разгар ночи сюда и приезжали: считалось, что в этом есть свой шик.

Жизнь всего Города — ну не всего, конечно, где-то в Городе был еще вечер, а где-то уже занималась заря, — жизнь этого участка Города с наступлением полуночи тоже затихла, поредевшие кабинки на магистралях стали слышнее, постепенно гасли освещенные окна. Однако существовали в нем и такие места, где позднего часа даже не заметили: очень заняты были и не обратили внимания на то, что давно уже естественный свет сменился электрическим (кое-где, правда, естественного света и вообще не бывало, слишком глубоко запрятались эти места в мощную кору планеты). Одним из таких мест было уже известное здание, в котором все еще, с небольшими перерывами для подкрепления сил, шло совещание Высшего Круга, фактически ставшее сейчас постоянно действующим органом, как оно и предполагалось в случае экстремальных ситуаций.

Настроение в Высшем Круге было, откровенно говоря, не самым лучшим. Кое-что шло не так, как предполагалось. Не так, как полагалось бы. Как должно было. Не так. Скорее — наоборот. И даже не это заставляло членов Круга нервничать, а то, что было очень трудно объяснить все логически. Начиная с того, что, по всем канонам, решение о переходе к активной обороне должно было бы даться людям труднее всего: как-никак, различные этические, моральные, культовые даже соображения и предрассудки, заповеди какие-то, упорно коренящиеся в подвалах сознания каждого человека, должны были помешать, заставить сомневаться, колебаться, спорить — с самим собой и с другими — и, наконец, принять неизбежное решение с видом сокрушенным, главою потупленной, свидетельствующими о том, что мы, собственно, были против, нам все это никоим образом не нравится, однако обстоятельства оказались в данном случае сильнее, логика событий — мощнее, мы просто-напросто вынуждены были в общих интересах — и потому не судите строго.. Вот как должно было бы все происходить по правилам игры и по законам хорошего тона. На самом же деле получилось, что решение было принято (чему свидетелями мы оказались) сразу, без вздохов, без трагического заламывания рук и даже без предисловия относительно того, что мы, мол, долго думали, прежде чем решили, а просто: Первый Гласный отлучился к своему школьному наставнику на кристаллической схеме, задал вопрос типа: что больше — дважды два или дважды четыре? — получил недвусмысленный ответ, возвратился к заседавшим и объявил решение. Электронный мудрец, с которым Первый советовался,

не анализировал — и не его это было дело — откуда взялось «дважды два» и откуда — «дважды четыре», да и сам Гласный оценивал элементы ситуации таким именно образом не потому, что сделал такой подсчет, а непроизвольно — вернее всего потому, что так ему хотелось, так он привык думать, и все вокруг него думали точно так же, и предшественники его мыслили так, и потомки, надо полагать, тоже будут считать, что если у тех — дважды два, то у них уж никак не меньше, чем дважды четыре. Итак, он вышел и провозгласил; и никто не усомнился в справедливости решения не потому даже, что сызмальства был приучен к дисциплине в их многоступенчатом мире, в котором бег по лестнице был основным содержанием жизни (как у тех бедняков, что зарабатывают на жизнь, быстро взбегая перед любопытствующими путешественниками по крутым склонам древних пирамид), а потому, что и сами они думали точно так же, и каждый знал в глубине души, что если бы именно он оказался в тот миг на месте Первого, то решил бы точно так же. Ибо это решение было и масштабным, и престижным, и историческим — а противоположное не было бы ни первым, ни вторым, ни третьим, и за первое решение спрашивать никто не станет, потому что будет не до того, дел и так останется невпроворот, а за противоположное решение тут же спросили бы все, начиная со Вторых и Третьих Гласных, давно считающих, что и им пора ступить на самую вершину горы и нацарапать там свои имена. Так что у людей все было в порядке. Казалось бы, как только главный рубеж останется позади, больше никаких помех ожидать не придется: оставшееся было, как говорится, делом техники. Однако техника-то вдруг и стала приносить неприятности, тем самым лишний раз доказывая, что машинный интеллект никак не сравняется с человеческим, ибо формальной логикой он, может быть, и владеет, но множество тонкостей, самых причем важных тонкостей, ему остается недоступным. Сперва об этом как-то не подумали, но когда Верховный Стратег с несколько озабоченным видом доложил, что его хваленый электронный Полководец что-то заартачился и до сих пор даже не приступил к разработке конкретной диспозиции по данному ему приказу, всем, кто слышал, как-то сразу пришла в голову одна и та же мысль: что машине до человека еще как далеко!

— Куда же вы, так сказать, смотрели? — не очень дружелюбно поинтересовался Первый. — И в чем, собственно, дело? Если в нем неисправность — устраните ее побыстрее, и дело с концом.

— Там все исправно, — отозвался Верховный. — Однако сам, так сказать, образ мыслей машины...

— Машина мыслить не может! — пресек Первый попытку Верховного Стратега оправдаться. — Если же там кто-то мыслит, то это наверняка люди, которые ее обслуживают. И если они стали мыслить чрезмерно или не в том направлении, то их надо срочно заменить, а мы потом спросим с кого следует за то, что именно такие люди оказались именно там, где им быть никак не следовало.

— Не в этом дело, го-мар Первый, — упорно продолжал сопротивляться Верховный Стратег. — Просто с самого начала машина задумана так, что для выработки плана действий ей нужно определенное количество различной информации.

— Не понимаю, — сказал Первый. — Что, у нас даже уже и в информации недостаток, что ли? А коли так, посадите два десятка или две тысячи, или сколько там потребуется журналистов, и пусть дают столько информации, сколько будет нужно.

— Такую мы уже дали. Но нужна именно различная информация, го-мар, из разных источников, — пояснил Стратег.

— Вообще это черт знает что, — откровенно высказал свое мнение Первый. — Мы ведь уже дали то, что считали нужным дать? Зачем же ей нужно еще что-то? Разве не заключается самая главная информация в том — что нужно нам, чего мы требуем ради блага нации? По-моему, именно так было всегда.

— Надо будет уточнить, кто конструировал машину, — негромко промолвил Великий Вещий, — и кто санкционировал. И поинтересоваться мотивами..

Если Первого Гласного Верховный Стратег, по положению, должен был бояться и действительно боялся, то с Великим Вещим он чувствовал себя на равных и потому не преминул огрызнуться:

— Конструировал ее соответствующий институт, строго придерживавшийся данных ему заданий. Задания же были обсуждены и утверждены именно на заседании Высшего Круга, уважаемый го-мар.

— Когда?

— Проект утверждался двадцать лет назад.

Эти слова вызвали у находившихся в помещении определенную положительную реакцию: двадцать лет назад никто из них в Высший Круг еще не входил, а кто входил — тех теперь уже не было, а если кто и был, то хорошо помнил, что тогда от них зависело не больше, чем сейчас, даже меньше, потому что и Первый Гласный тогда был другой, не этот.

— Хорошо, — сказал нынешний Первый, махнув рукой. — Сейчас не время искать виновных, надо усиленно работать, прилагая все силы и черпая энергию в сознании важности

задач. Какая же там в конце концов нужна информация, и почему ваша машина никак не может ее переварить?

Верховный Стратег объяснил, почему, и Первый спросил:

— Какие будут идеи?

— Я полагаю, — сказал Великий Вещий, — что для того, чтобы устранить опасную информацию, следует нейтрализовать ее источник. Это наверняка началось с вашего коллеги, го-мар, — повернулся он к Великому Питону. — Ни от кого другого такая... такая чушь проистечь не могла.

— Насколько нам известно, он погиб, — возразил Питон.

— Да вот выходит, что не погиб.

— Что означает, — подхватил Питон, который все же не только наукам был обучен, но и кое-каким приемам аппаратной борьбы тоже, — что он ушел от ваших людей, и именно таким образом получил возможность генерировать излишнюю информацию, не так ли? Вот теперь и пресеките его, как источник информации.

— Не преминем, — заверил Великий Вещий. — Собственно, соответствующие мероприятия уже проводятся.

— Примем это к сведению, — сказал Первый. — Но этак можно прождать и целые часы, если не больше. А время — деньги, а деньги надо беречь. Хорошо. Объявляется перерыв.

Он, как обычно, удалился в свои помещения, на ходу формулируя вопрос. Вернулся он через несколько минут.

— Продолжаем, — сказал он. — Итак, го-мар, вы говорили, что вредная информация имеет своим источником определенное место в городе?

— Так точно.

— Тогда следует, не дожидаясь, пока ваши работники пресекут одного человека, являющегося первоисточником информации, нейтрализовать все место — в особенности учитывая, что там, по вашим же словам, вредная информация успела распространиться и продолжает просачиваться.

— Продолжает, вот именно.

— Вот и сделайте это общими усилиями, — сказал Первый, переводя взгляд с Верховного Стратега на Великого Вещего и обратно. — И как можно скорее. Не церемоньтесь. По сути дела, мы уже в состоянии войны. Только сделайте так, чтобы в органы информации попало как можно меньше. Или совсем не попало, что самое лучшее.

— Репортеры — народ пронырливый, — недовольно проговорил Верховный Стратег, на что Первый Гласный лишь повторил:

— А вы не церемоньтесь... Время только экономьте, остальное неважно.

Так решилась за несколько минут судьба Шанельного рынка, и не оказалось тут никого, кто предупредил бы об опасности его обитателей.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

— Право, мне стыдно, — сказал Форама, — но я просто не знаю, с чего начать. И побаиваюсь.

— Вначале всегда так, — утешил Хомура. — Мы все через это прошли. Похоже на легкую лихорадку, правда? Ничего, посидите еще минутку-другую, соберитесь с мыслями. Да и мы все время будем рядом.

Они втроем сидели в центральном посту Полководца — Форама, Хомура Ди и флаг-корнет Лекона, нынешний дежурный. Наверное, из всех присутствующих ему было более всего не по себе: как-никак, в святая святых, в центральном посту, куда далеко не каждый большой звездоносец имел право войти, но лишь немногие избранные, — в помещении этом находился человек совершенно посторонний, да и штатский к тому же, и мало того — еще и пребывающий в данный момент в розыске. И разрешил ему находиться здесь, и не просто находиться, а общаться с Полководцем именно Лекона: штаб-корнет Хомура, хотя и Главный дежурный, в счет не шел, потому что его формальная ответственность за Полководца кончилась часа полтора назад, вместе со сдачей дежурства. Если бы кто-нибудь даже из самого маленького начальства обнаружил такое вопиющее нарушение всех правил и законов, о полном разжаловании и пожизненном пребывании в Легионе Смертников можно было бы только мечтать, как о почти невероятном подарке судьбы. И, однако, Лекона позволил этому человеку присутствовать. И не потому, что поддался на уговоры Хомуры, и не потому, что был плохим служакой и с такой легкостью шел на такое пренебрежение требованиями службы; такого тоже не было. Но служебный долг, как и всякий долг вообще, не есть что-то незыблемое, раз и навсегда утвержденное. Долг есть прежде всего результат действий, а не их образ. Для всех операторов, программистов, инженеров и техников, обслуживавших Полководца, долг этот, по их глубочайшему убеждению (хотя нигде письменно и даже, кажется, устно не сформулированному) заключался раньше всего в первом и самом главном в их мире: в содержании в полной исправности и готовности колоссальной компьютерной системы, точного обозначения которой еще не найдено (не «электронный мозг» и не «искусственный разум», конечно, но и ни в коем случае «вычислительная машина» просто), — системы, называемой ими малышом и вызывавшей в их корнетских и обер-офицер-

ских душах соответствующие эмоции. Поэтому главное, что считал своим долгом сделать Лекона (как и Хомура тоже), заключалось в устранении той причины, которая мешала их малышу нормально жить. Корнеты прежде всего помогали Полководцу, ну а вместе с ним и всему остальному: ведь если бы с ним что-нибудь произошло, ни одна задача и подавно не была бы решена. В таких случаях предпочитают выбежать на улицу и пригласить первого попавшегося врача, не дожидаясь, пока прибудет специалист; Фораму можно было считать если не таким врачом, то, допустим, знахарем, способным снять боль заговором. Что касается специалиста, то дежурный психолог Полководца (такой существовал) своевременно получил все данные о состоянии Малыша, оценил всю сложность ситуации, отправил соответствующий доклад наверх (после чего и произошел известный нам разговор в Высшем Круге), а сам стал честно искать способ справиться с неурядицей. Он беседовал с Полководцем почти полчаса, пытаясь убедить его в том, что недоразумение вышло лишь кажущееся, что вся смутившая малыша информация, конечно же, бред собачий, что источником ее является место, которое смело можно назвать приютом для помешанных (слово «пьяный», так много и исчерпывающе объясняющее человеку, для малыша просто ничего не значило, поскольку не было включено в лексикон Полководца), и если информация случайно и выглядит логичной и убедительной, то именно случайно; просто вероятностная шутка. Однако Полководец с доводом не согласился, хотя будь он человеком, психолог, конечно же, его быстро уговорил бы: человеку и самому хотелось бы быть убежденным, а Полководцу нужна была истина, а что подумает начальство, его вовсе не интересовало. Беда была, во-первых, в том, что само понятие сумасшедшего дома или приюта, для человека исполненного глубокого смысла, для малыша было звуком пустым: с его точки зрения все люди, с их куцей памятью, беспомощной логикой, убогими знаниями были в той или иной степени слабоумными; логика же Полководца позволила ему заметить, что в приюте для помешанных вовсе не все являются помешанными — врачи и прочий персонал хотя бы, — и, следовательно, наименование источника еще ничего не говорит о качестве информации. Во-вторых, все, что касалось теории вероятности, было известно Полководцу куда лучше, чем психологу, так что малыш почти мгновенно подсчитал подлинную вероятность случайности тех многих совпадений с истиной, какие он в информации отметил; вероятность оказалась настолько неотличимой от нуля, что ею можно было смело пренебречь. Потерпев поражение, психолог отключился от Полководца и стал искать новые способы успокоения пациента, дежурный же Лекона решил, что надеяться на специалиста

дело гиблое, тут и подоспел Хомура с физиком. Форама с первого взгляда Леконе не понравился, да и попахивало от него, но флаг-корнет справился с этой антипатией, тем более что поведение Форамы, включая и его волнение перед пультом в центральном посту, говорило скорее в его пользу, чем против.

Оба офицера хорошо понимали, что нужно им от Форамы. Они, конечно, не верили, что он найдет какой-то способ согласовать для Полководца обе противоречивых информации, одна из которых вообще не могла подвергаться сомнению. Но они знали, что в их руках есть простой и надежный способ устранить противоречия: подтвердить ошибочность информации с Шанельного рынка. Однако оба дежурных пока еще на это не пошли по причине, которая им обоим была совершенно ясна, настолько ясна, что даже психолог не решился настаивать на таком повороте.

Дело заключалось в том, что сказать это малышу — означало просто соврать. Конечно, этическая неприглядность лжи имеет какое-то значение для каждого, в том числе и для корнета; однако если бы речь шла только об их переживаниях, и один, и другой перенесли бы такое действие без особого труда: врать на Планете привыкли уже давно и делали это профессионально. Дело было не в этике, а в том, что любое отступление от истины Полководец неизбежно (как показывала практика) разоблачал; пусть не мгновенно, пусть далеко не сразу иногда, но улавливал, поскольку человеку, изобретающему и сообщающему ложь, и представить невозможно, какому количеству прямых и косвенных проверок подвергалась она в миллиардах кристаллов малыша, никогда ничего не забывавшего, просто неспособного забыть. Полководец специально и был создан с расчетом на распознавание лжи — это была защита от дезинформации, так часто губившей в прошлом даже блистательные военные замыслы. Так что ложь малыш бы распознал; если бы это случилось в ближайшее время, он просто снова прекратил бы работу над задачей — и, может быть, в самый критический момент, когда Большой Праздник уже начался бы; но пусть бы это даже произошло позже, когда уже ничто не могло бы повлиять на ход войны, все равно Полководец сразу и категорически отказался бы от услуг Хомуры и Леконы, навсегда отнеся обоих к источникам ложной информации (потому-то и существовал блок на оценку информации Высшего Круга); а этого никто из них не хотел. Вот по какой причине решили они прибегнуть к помощи Форамы, а вовсе не потому (как можно было бы ошибочно подумать), что сама идея войны, нападения на Вторую планету, пусть и под маркой активной обороны, вызвала в них какое-то противодействие. Никакого противодействия не возникло, они были

профессиональными военными и войну принимали как вещь естественную, а то, о чем предупреждал Форама, явилось для них лишь определенным осложняющим обстоятельством — однако без них ни одна война не обходилась, как знали они из истории. Но именно будучи профессиональными военными, они далеки были от желания воевать на авось, но стремились делать все по правилам и основательно. Они искренне хотели, чтобы Полководец вернулся к решению задачи, но только находясь в нормальном состоянии, какое гарантировало бы его хорошую работу, ведущую к конечному успеху, ради которого и стоило затевать подобные игры. Вот почему Форама оказался здесь и сейчас сидел перед пультом, между обоими корнетами, собираясь с мыслями.

— Ну давайте попробуем начать, — промолвил он наконец, повернув голову к Хомуре.

— Хорошо, — кивнул штаб-корнет. — Но прежде чем мы начнем, хочу объяснить вам саму процедуру разговора. Вы будете говорить с нами; мы, в свою очередь, станем передавать ваши вопросы малышу, облекая их, если понадобится, в привычную и удобную для него форму. Вы не можете общаться с ним непосредственно, потому что ваш голос и манера разговора ему незнакомы, и чтобы он стал отвечать, потребовалось бы аккредитовать вас, а это долго, затруднительно, да и не нужно. И второе: запомните, пожалуйста, что никакие разговоры о жестокости, неэтичности войны, и тому подобные, здесь неуместны. Напоминаю: малыш — военная машина. И если вы попытаетесь обсуждать с ним подобные проблемы, мы все равно ничего подобного не допустим, будут только лишние осложнения между нами. Вы поняли?

— Ну, раз иначе нельзя, — сказал Форама, пожав плечами.

— Именно так.

— Согласен. Обещаю таких разговоров не вести.

— И вот еще что. У нас немного времени. Вы понимаете: все начальство крайне обеспокоено, все взволнованы, а поскольку без нас они ничего не могут поделать, то, естественно, жмут на нас. Сейчас от них кое-как отговаривается наш психолог; но скоро его просто перестанут слушать.

Форама усмехнулся.

— Выходит, судьбы цивилизации решают два корнета и один полупьяный физик. И все. Зачем же нужно было столько го-маров? Не знаешь случайно?

— Содержательно, — сказал штаб-корнет Хомура, — но не ко времени. Не нужно отвлекаться. Это тоже не тема для малыша.

— Ясно, ясно, корнет.

— Ну, двинулись... Только смотрите, мар: если вы попробуете осуществить какую-нибудь психологическую дивер-

сию... — Хомура помолчал. — Мы даже не станем передавать вас вещим, но вам от этого легче не придется. Ну, не передумали?

— Не вижу иного пути.

— Ай-о. В путь. Давай, Лекона.

Флаг-корнет протянул руку и нажал клавишу диалога.

— Еще раз привет, малыш, — сказал он бодро.

— Это ты, Лекона? Есть информация?

— Хочу поговорить с тобой. Быть может, что-нибудь и найдем.

— Будем говорить.

— Иногда буду спрашивать я, иногда ты, как обычно. Ладно?

— Согласен. По очереди?

— Не обязательно. Я начну.

— Начинай.

Лекона глянул на Фораму. Тот покачал головой, на лице его было страдальческое выражение, рука поднялась и резко опустилась. Лекона еще не понял, но Хомура уже выключил звук.

— В чем дело, физик?

— Этот голос... я просто не смогу говорить всерьез. Он разговаривает голосом ребенка...

— А-а... Простите, мы не учли. Нам вот нравится так. Ничего, голос мы сейчас изменим. Секунду. — Хомура осторожно повернул один из лимбов на пульте. — Вот. Теперь все будет в порядке.

* * *

Все это было так не похоже на воспоминания, что Мин Алике захотелось спросить:

— Мы что — вернулись обратно?

Она не спросила, но, наверное, достаточно ясно выразила сомнение своим лицом, первыми неуверенными движениями после выхода из корабля; здесь не было, правда, развалин, наоборот, никакого жилья не виднелось поблизости, не очень широкую поляну окаймляли деревья. Но уж очень не похожи были эти деревья на те, что виделись ей в моменты углубления в память, и слишком уж напоминали они то, что так часто приходилось видеть там, на Старой планете: понурые ветви, серая, запыленная листва, и не радость источали эти деревья, а уныние; было так, словно ты ехал в гости к молодому, полному сил человеку, но где-то что-то сдвинулось во времени — и ты вдруг нашел его одряхлевшим стариком. Невеселой получилась встреча...

Мин Алика отошла на несколько шагов от мягко приземлившегося корабля и хотела было опуститься на траву (так

часто в мыслях садилась она на густую, сочную, мягкую траву, забрызганную красными, желтыми, синими пятнышками цветов!), но вовремя увидела, что и трава была не та — поляна сильно облысела, показалось Мин Алике в то время как она, всматриваясь, понемногу узнавала: да, она не впервые оказалась здесь, именно отсюда ведь ее отправляли на Старую одиннадцать лет назад, и именно эта поляна всегда вспоминалась ей, как последний привет родного края; но, господи, как все изменилось, и трава росла, казалось, из последних сил, готовая в любой момент сдаться и увянуть, пожухнуть, пожелтеть, рассыпаться прахом... Мин Алика глубоко вдохнула воздух. Странным был запах; не тот, городской, запах нагретого бетона и металла, от которого никуда не уйти было там, но и не запах вольной, ничем не стиснутой жизни, какой помнился ей, с каким нераздельно были связаны ее детство, юность, все, что она успела прожить и пережить здесь. Запах был таким, как будто не так давно что-то сильно горело поблизости, успело уже погаснуть, и даже сам запах гари уже выветрился — и все же что-то от него осталось, и это оставшееся угнетало и перебивало все остальное и не давало ничему пахнуть в полную силу. Какой-то тяжелый, неживой запах это был, не такого ожидала женщина от родной планеты, и, действительно, в пору было воскликнуть: «Да куда вы, в конце концов, меня привезли?»

Кто-то вежливо коснулся ее плеча, она обернулась. Капитан Урих, кряжистый коротыш. Он заставил Мин Алику пережить в начале рейса несколько неприятных секунд, когда, после того как корабль установился на курсе, неожиданно вошел к ней в каюту, едва дав себе труд постучать, так что она даже отозваться не успела. Мин Алика еще лежала; капитан присел на край койки и положил руку ей на плечо, и ей показалось... Она напряглась, готовая к любой защите, это она умела. Но капитан вдруг улыбнулся, и тут она увидела, что человек он уже очень немолодой, вылетывал, наверное, последние рейсы перед тем, как фирма отправит его на пенсию, в волосах его было много седины, а в глазах — усталости, но морщинки вокруг глаз говорили скорее о доброте. Он медленно снял руку с ее плеча, она так же медленно расслабилась. Глядя на нее, капитан несколько раз мелко кивнул головой, — она подняла брови, не понимая, — и сказал: «Напрасно вы именно сейчас. Напрасно». — «О чем вы?» — «Вы давно не бывали дома?» — спросил он. «Десять лет». — «Тогда и совсем напрасно». — «Не понимаю. Почему вы так считаете?» Капитан подумал немного. «За десять лет многое изменилось», — сказал он наконец. «Да, — согласилась Мин Алика. — Я, например, стала на десять лет старше». Капитан усмехнулся: «Это частности. Я имею в виду — все изменилось на нашей маленькой планете.

Там, на Старой, вы, наверное, читали газеты. Ну хотя бы время от времени». — «Разве что время от времени», — улыбнулась Алика. «Тогда знаете, что писали и передавали на Старой по поводу лихорадки вооружений у нас». Мин Алика кивнула: «Конечно. Но кто же принимает всерьез то, что пишут в газетах?» Капитан покачал головой: «Вообще-то, может, это и правильно. Но в данном случае... Мы ведь сейчас действительно не уступаем Старой в смысле обороны. У нас есть все то, что и у них. И наши армады столь же многочисленны, и наши войска тоже». — «Да, так они писали», — согласилась Мин Алика. «И это верно. Но вы можете представить, во что это нам стало, нам, планете, уступающей намного не только по территории, но и по населению. У нас многое изменилось, говорю вам, девочка. Мои дочери — одна примерно ваших лет, другая помоложе. Одна сейчас в силах обороны, во вспомогательном корпусе, другая — тоже в обороне, электронный дивизион». — «Значит, девочки захотели защищать свою планету, что тут такого, что вас огорчает? Я понимаю, вы хотели для них не этого...» — «Чего я хотел — дело десятое. Важно, что и они хотели совсем другого. Но кто их спросил? Мобилизовали. Знаете ли, девочка, сейчас женщин мобилизуют, как раньше мужчин. В силы обороны, в оборонную промышленность... Она у нас теперь, пожалуй, не уступает Старой. Она — да, не уступает... У нас вы уже больше не найдете просто мать семейства, хозяйку дома. А ведь при вас, наверное, еще так было. Мин Алика кивнула. «А мужчин что, больше не мобилизуют? Почему?» — поинтересовалась она. «Потому что всех, кого можно было, уже мобилизовали. Уже служат в Силах. Даже и люди моего возраста. Все мы чувствуем: идет к большой драке. Не только потому, что я вот раньше возил отсюда редкие фрукты, а со Старой женские тряпки, а сейчас в оба конца вожу приборы и оружие; не только поэтому. А еще и потому, что долго нам так не выдержать. Не знаю, как там Старая, им все-таки проще, у них народу много, но мы долго не протянем при такой жизни. Знаете, девочка, смешно сказать: за последние годы женщины почти и не рожают. Когда бывает свободная минутка, выйдешь на улицу, зайдешь в парк; раньше там не повернуться было от колясок с младенцами, а те, что постарше, так и кишели под ногами, ходить надо было осторожно, но на душе сразу делалось весело: жизнь, жизнь! А сейчас — редко когда увидишь старуху с колясочкой, и прохожие на нее глядят, как на диво, а нянька или бабка на прохожих таращится: не налетчики ли, у нее как-никак сокровище в коляске...» — «Отчего же так?» — не сразу поняла Мин Алика. «Потому что не разрешают. Служить надо, работать надо, усиливать оборону. А рожать да выкармливать — дело долгое и хлопотное. Обещано, что после

победы все запреты будут сняты, все женщины демобилизованы, да и многие мужчины тоже, тогда рожайте, сколько захочется. А пока — воздерживаются, это считается патриотичным. Но сколько можно так жить? Ведь все понимают, и Круглый Стол тоже, что лет через пятнадцать-двадцать это еще как скажется — то, что сейчас нет младенцев. Моя младшая, та, что электронщица, работает, вернее — служит в самом важном месте, при Суперстрате, при нашей самой главной военной машине, подробностей не знаю... У них там всякие поблажки и привилегии, не сравнить с другими, но насчет замужества, ребенка — и думать запрещено. — Он вздохнул. — Вот почему я вас и пожалел. Не знаю, как вы там жили на Старой, понимаю, что сюда неспроста летите. Но там вы, наверное, могли хоть ребенка завести при желании, да и занимались навряд ли обороной. Да нет, я понимаю, кто вы, — капитан усмехнулся, — но ведь была у вас, надо полагать, и другая жизнь, простая, всем видная?» Мин Алика кивнула. «И чем вы там занимались?» — «Картинки рисовала», — усмехнулась женщина. «Картинки... — протянул капитан Урих. — У нас не порисуете. Найдут для вас занятие и посерьезнее... Да и что рисовать сейчас? Помните наши рощи, леса, парки? Помните, конечно. Других таких, наверное, нет во всей Вселенной. Не было, вернее. Потому что сейчас они гибнут». — «Отчего?» — не очень поверила Мин Алика. «Промышленность. Оборонная. Не представляете, сколько за эти десять лет мы построили. И, конечно, на какую-то особую защиту среды не оставалось ни времени, ни денег. На все один ответ: после победы. Да будет ли только эта победа?.. — Капитан Урих еще раз покачал головой. — Знаете что? А может, вам и не стоит сходить? Давайте-ка я отвезу вас назад, за те же, как говорится, деньги. Жаль вас, очень вы мне понравились». Мин Алика медленно покачала головой. Капитан чуть нахмурился. «Ну извините. Да и то, зачем я, на самом деле?.. Может быть, вы как раз ничего против такой жизни и не имеете». Голос его сразу стал чужим, и теперь уже Мин Алика положила руку на его плечо. «Нет, капитан, большое вам спасибо, но у меня неотложные дела. Вот сделаю их — там видно будет». — «Ну что же, вам виднее, мое дело было — предупредить вас, предложить, а дальше — как знаете. Но если захотите назад — я всегда к услугам; наверное, завтра же и стартую обратно — оружия закупили много, кораблей не хватает, вот и приходится вертеться как белке в колесе». — «Спасибо, капитан», — сказала Мин Алика снова, уже вдогонку.

И вот сейчас она своими глазами увидела, и хотя была уже предупреждена, оказалось это все же куда неожиданнее и печальнее, чем она предполагала. Обернувшись к капитану, она улыбнулась — улыбка получилась грустной. Капитан Урих

кивнул ей рассеянно; он разговаривал сейчас с какой-то девицей, тощей, подмазанной, завитой кудряшками; девица деловито взвешивала в руке объемистую сумку, потом перевела зоркий взгляд на Мин Алику, точно фиксируя все, что было на прилетевшей надето. Мин Алика одевалась не роскошно, разумеется, но все же была она художницей со Старой планеты, где испокон веков возникали моды, и девушке со Второй было на что посмотреть и заметить, и запомнить, и в глазах ее вспыхнула жажда общения. Она спросила что-то у капитана, видимо — кто это такая, капитан снова кивнул Алике, на этот раз уже более осознанно. Она подошла. «Вот, — сказал капитан, — дочка примчалась встретить, завтра у нее вахта, а я завтра, может быть, снова лягу на курс. Привез тут ей всякие мелочи, они обе каждый раз мне заказывают, да не всегда остается там время», — и он улыбнулся, словно бы прося прощения за свою слабость. Мин Алика кивнула девице, доброжелательно улыбнулась; та, поставив сумку, подошла, резко протянула руку, рывком тряхнула. «Сида. Очень приятно. Ты ничего не везешь — реализовать?» У Мин Алики всего багажа было — маленькая сумочка, с которой она вышла из дому на Старой; однако, не желая разочаровывать новую знакомую, она неопределенно кивнула: «Посмотрим, вот разберусь со своими обязательствами...» — «Тогда я — первая», — предупредила Сида и сунула Мин Алике в ладонь карточку со своими координатами; Мин Алика, глянув на карточку, бережно спрятала ее в сумочку. «Идет», — согласилась она. «Я в город. Тебя подхватить?» — поинтересовалась Сида, равнодушно глядя на воинов из Сил, что быстро, сноровисто разгружали корабль, укладывали ящики на такие же гравиплатформы, какие были на Старой — да оттуда же, наверное, и привезенные. А может быть, и сами уже стали производить?.. Антигравитационные материалы дорого обходились, очень дорого, и дело было не только в деньгах: возникавшие при производстве трудноуловимые, ядовитые отходы шли в воздух, и в воду, и в почву, оседали, прорастали травой и хлебом... Мин Алика спохватилась: «Что ты? В город? Спасибо, за мной должны сейчас заехать». — «Ну пока». — «Всего доброго», — попрощалась с ней Мин Алика. Капитан улыбнулся, подбросил пальцы к форменной фуражке и зашагал к кораблю — наблюдать за разгрузкой, видимо.

Мин Алика помедлила еще несколько минут. Те, кто должен был встретить ее, почему-то медлили; но может быть, так и лучше было? А может, капитан просто сел раньше, чем следовало? Оставаться здесь больше не хотелось, нужно было двигаться, отойти подальше, не то и в самом деле могло не захотеться никуда идти, а лишь — юркнуть в люк, затаиться в той же самой тесной каютке и дожидаться обратного старта:

там, на Старой планете, хоть она и не родная, а вражеская, все же привычно стало за столько лет, и все там, если подумать, осталось — рекламные картинки, делать которые бывало порой весело, и тихое уединение, без которого человеку нельзя, и главное — Форама, любовь... Длинно укололо вдруг под сердцем: ах, любовь, не ради тебя ли и всю жизнь живем... Нет, подальше надо было от корабля, от возможности побега, от своей слабости. Подальше и побыстрее!

Она пошла, припоминая смутно, что этак через полчаса (если ничего тут не изменилось) выйдет на дорогу общего пользования, а там уже и транспорт найдется, и до нужного места она доберется сама... Как весело можно было бы идти здесь, славно, легко: темно-золотые в безветрии деревья, внизу — зеленые перья папоротников, тесные кустарники, уже созревает малина... Мин Алика вгляделась; часть ягод успела уже опасть, другие — те, что на кустах — никто не трогал, и она поняла: люди настолько напуганы всем, что растет открыто на природе, что не сорвут, не возьмут в рот — наверное, отравлялись уже не раз, и ту же малину, надо полагать, теперь едят только после всяких анализов, после обработки, консервирования, бог знает чего еще... Вот поэтому и не получалось веселья, и еще потому (не сразу сообразила Мин Алика), что странно тихим был лес — птицы молчали, да и не видно их было, ни птицы, ни белки, ни мыши, никого — то ли так напуганы стали, что не рисковали больше показываться, то ли вообще вывелись, будучи не столь приспособленными, как человек, к восприятию разных чудес цивилизации. Лес, пусть и посеревший, пусть и не пахнувший больше теплой смолой, все же жил еще, а вот в нем — жило ли что-нибудь, или все уже перекочевало в большой похоронный реестр, без которого не обойтись на этой, как и на любой другой цивилизованной планете (смотря как, впрочем, понимать цивилизацию — но эта оговорка шла от эмиссара, сама Мин Алика о других путях цивилизации никогда и не задумывалась, не ее это было дело). Нет, не веселая тут была тишина, и не то было здесь уединение, какое рождает радостные мысли о красоте бытия.

Она прошла в таких размышлениях и ощущениях еще немного, и тогда военный вездеход на подушке, тихо урча, показался из-за закрытого деревьями поворота.

* * *

Может быть, самолюбие Мин Алики и было бы в известной мере ущемлено, если бы ей сказали, что исчезновение ее с лика Старой планеты никакой особой сенсации там не произвело; вещие, коим приказано было пасти ее, давно уже доложили о своей неудаче, и женщина была объявлена в розыск;

однако в недрах вещей службы уже имелись кое-какие данные о ней, и предполагалось, хотя не было еще точно установлено, что она работала на Вторую планету, хотя никакой особой опасности собой не представляла (там было известно и об ее отношениях с Форамой, разумеется, но ведь и сам Форама до вчерашнего дня сколько-нибудь серьезной величиной не считался: возился с невидимыми частицами, а роль этих частиц в Обороне стала ясна, как мы знаем, только вчера утром — вчера, потому что сейчас было уже близко к рассвету следующего дня). Поэтому вещие справедливо решили, что Мин Алика, зная за собой определенные грешки, поспешила скрыться, используя связи именно по линии вражеской разведки — и запустили свои щупальца в эти каналы, без особого, впрочем, усердия, а просто занимаясь одним из множества рядовых дел. А у службы вещих были сейчас задачи куда посерьезнее. Взять хотя бы распоряжение, отданное Первым Гласным, относительно нейтрализации Шанельного рынка, на котором мы оставили достаточно много приятных людей не в самую унылую минуту их жизни.

Руководителям обеих охранительных служб Планеты совещаться по поводу полученного задания долго не пришлось: такие операции разрабатывались давно, и теперь следовало лишь отдать определенным людям определенные приказания — а дальше все само собой завертится. Все, что следовало сделать высоким начальникам после получения высочайшей установки, — это согласовать уровень предстоящего мероприятия и отдать соответствующую команду Полководцу.

У нас нет никаких оснований сомневаться в том, что уничтожение Шанельного рынка началось бы буквально через считанные минуты — если бы... Если бы Полководец не был сейчас занят очень важным для него, а в перспективе, возможно — и для всей Старой планеты, и для Второй планеты тоже, разговором. До окончания этого разговора и окончательного решения по поводу Большой игры, которое Полководцу следовало принять, великий малыш никаких действий не предпринимал и решений не принимал, а все сообщения и команды, не имевшие прямого отношения к интересовавшему его вопросу, переводил в свою оперативную память — до выяснения, справедливо полагая, что пока нет ясности в главном вопросе, со второстепенными и подавно можно погодить, а также еще и потому, что, не имея детальной разработки по Большой игре, Полководец не мог позволить себе распорядиться ни одним подразделением, потому что именно оно могло потребоваться ему в следующую минуту. Правда, содержание полученных команд тут же параллельно сообщалось и дежурному оператору, который, возможно, и мог в подобном случае както вмешаться и урезонить своего могучего ребенка.

Однако этого не произошло. Потому что операторы — а на сей раз их было целых два в центральном посту — как мы уже говорили, много лет работали с Полководцем и привыкли его благополучие считать самым главным делом в мире, и если, полагали они, может быть даже бессознательно, — если у малыша что-то не в порядке, то остальной мир может и обождать, ничего с ним, миром, не сделается. Привыкнув к мысли о том, что судьбы всего мира, даже обоих миров, зависят целиком от Полководца (что во многом соответствовало истине), операторы, не исключая и Хомуру Ди и Лекону, невольно стояли в жизни на Полководцецентрической позиции как жрецы верховного божества. Так что не удивительно, что, получив какую-то мелкую задачку, ничуть не помогавшую решить информационный парадокс, затормозивший все действия, операторы нимало не препятствовали малышу перебросить ее в оперативную память, как и все прочие мелкие задачки, вроде изменения нормы питания в связи со сменой времен года или очередных вакаций старшего начальствующего состава космодесантного соединения; такие вопросы тоже должны были пройти через Полководца, как и вообще все, что происходило в стратегической службе, и все они сейчас помещались в оперативной памяти, так что завтрак стратегам предстояло наверняка получить еще по старой норме.

Что же касается задачи, данной по линии вещих, то она благополучно проследовала по инстанциям до того самого пункта программы, который предписывал перед подачей команды на исполнение вступить в контакт с Полководцем, дабы в дальнейшем четко согласовывать с ним все действия и обмениваться оперативной информацией. Сигнал ушел к Полководцу, а там его постигла та же судьба, что и все прочее, и он стал гулять по сверхпроводящим кольцам оперативной памяти в ожидании момента, когда его оттуда извлекут; вся же система вещих, не получая ответа на свой сигнал, тоже затормозила дальнейшие действия, и чтобы сдвинуть ее с места, надо было сначала разобраться, почему же она засбоила, потом — отменить пункт программы, предписывавшей согласование с Полководцем, и идти каким-то образом в обход этого пункта, потому что согласование со стратегами было, в общем, делом полезным и без него можно было ненароком наломать много-много сухих дров. Так что и с этой стороны события пока что не получили достаточного развития, и недавние собутыльники Форамы и неведомо куда исчезнувшего Горги заимели полную возможность совершить еще одно краткое путешествие к киоску и откупорить очередную флягу.

Надо, впрочем, признаться, что это последнее упоминание о них является уже своего рода просто данью вежливости; больше они нам не нужны, и трудно рассчитывать, что мы

еще встретимся с этими прекрасными людьми в рамках настоящего повествования. Хотя — как знать? О таких вещах, как возможность и невозможность встреч, а также событий и вообще чего бы то ни было, следует судить с крайней осторожностью, ибо знать всего нам не дано, и порой все получается вопреки нашим предположениям и даже самой твердой уверенности.

* * *

Вездеход остановился прямо перед Мин Аликой — мягко опустился на землю, урчание моторов утихло. Военная машина была похожа на шляпку огромного гриба, без единого окошка, так что сердце женщины невольно дрогнуло, когда машина медленно напóлзала, и Мин Алика только из чистого упрямства не уступила ей дорогу. Вездеход остановился, потом сбоку откинулся люк; согнувшись, головой вперед, из него вылез человек, был он в штатском — иного Мин Алика и не ожидала. Человек подошел почти вплотную, потом сделал шаг вбок и остановился в тени дерева. Улыбнулся. Сказал:

— Похоже, завтра будет дождь, не так ли?

— Завтра я буду под крышей, — ответила Мин Алика, как и следовало, условным выражением. И тоже улыбнулась, всматриваясь.

Тогда он подошел уже совсем вплотную, чуть нагнулся, так что лица их уравнялись, и сказал негромко, внятно, пронзительно:

— Ну, здравствуй, Мина...

От этих слов у нее захватило дыхание — она еще не успела осознать ничего, не сумела еще вспомнить, понять, узнать, но уже захватило дыхание, как от прыжка в холодную воду, от падения, неожиданного и потому вдвойне ошеломляющего. И всех ее сил в тот миг хватило лишь на один коротенький вопрос:

— Ты?..

— Наверное, — сказал он, по-прежнему улыбаясь.

— Ты...

— И ты.

Она медленно покачала головой, то ли отказываясь верить, то ли отрицая что-то в прошлом или будущем, а может быть, просто выражая огромность удивления совершившимся. Сейчас, сию же секунду надо было как-то определиться, установить все, на ходу попасть в нужный тон, нужный характер отношений, — но ни она, ни, наверное, он не знали сейчас, какой же тон будет верным и какой характер отношений — естественным, и молчали долго, несколько минут, пожалуй; хорошо, что никто не ездил по этой тропе, сообщение со

стартовой площадкой контрабандистов шло, скорее всего, по воздуху.

— Ты — за мной?

— За тобой.

— Значит, ты тоже... один из нас?

Он усмехнулся:

— Надо еще проверить, кто из нас раньше.

— Вот как?

— Разве это плохо? Видишь — ты вернулась и я тебя встречаю, как близкий человек...

Он говорил как бы шутя, но Мин Алика уловила глубоко в его тоне тихую просьбу — чтобы это действительно так и было, снова было бы.

— Ну что же — поедем? — сказала она после паузы; сказала спокойно, словно ничего не поняла в только что слышанных словах, как будто и нечего было там понимать. Но тут же ей показалось, что это уж чересчур сухо, и Мин Алика добавила, хотя и достаточно бесстрастно: — Я очень рада, что ты меня встретил. Спасибо.

— Да, поедем, конечно, — произнес он слегка обескураженно, но все еще продолжая улыбаться. — Прошу.

Мин Алика шагнула, опасаясь только, чтобы не стукнуться головой. Сиденья были мягкими, вообще же внутри оказалось просторно и светло, выгнутый экран спереди напоминал панорамное стекло. «Садись», — сказал он, сам сел за пульт. Позади автоматически затворился люк, мягко щелкнув, и столь ничтожное событие вдруг показалось ей чудом, но ведь это было на ее родной планете, и машина тоже была в какой-то мере ее, а человек рядом... — об эту мысль она запнулась, как о кочку: случайное совпадение, или? Но в их деле случайностям, небрежностям не было места, значит, встреча была лишь отправным пунктом какого-то действия, и оно, надо полагать, будет развиваться. Мысль о том, что все началось в соответствии с каким-то сценарием, заставила Мин Алику успокоиться, для лирики не оставалось места. «Пристегнись», — сказал он. «Обязательно?» — «Лучше, если так». Она пристегнулась. Моторы приглушенно взвыли, машина мягко приподнялась, вой усилился, она заскользила вперед, удерживаясь в нескольких сантиметрах над землей, плавно переваливая через бугорки, корни, поднимая низенькие смерчи опавшей хвои. «Куда мы едем?» — спросила Мин Алика немного погодя. «На дачу». Мин Алика помнила это место — там обсуждались иногда наиболее деликатные операции. «Хорошо», — согласилась она почти равнодушно, хотя ничего доброго вызов на дачу не сулил: по слухам, оттуда люди временами отправлялись в командировки столь дальние, что никогда уже не возвращались. «Тебе, наверное, хочется оглядеться, прийти в себя», —

сказал он. «Нет, — сказала она, — я чувствую себя нормально, я готова». — «Все равно, я повезу тебя самой дальней дорогой». — «Спасибо». Потом в продолжение долгого времени они не обменялись ни словом. Выехали на большую дорогу. У перекрестка устроила привал группа юных десантников — мальчишки лет пятнадцати, все в желтых форменных рубашках с нашитыми на рукава коронами. Завидев воинский вездеход, они повскакали, вытянулись, отдали воинское приветствие. «Вот так у нас сейчас», — сказал он. «Да, — откликнулась Мин Алика, — я понимаю».

На шоссе машина увеличила скорость. Они проехали несколько километров и снова свернули в лес, теперь уже по другую сторону магистрали, на которой остался тугой поток машин, на три четверти это были тяжелые грузовики с эмблемой Сил. По сторонам опять замелькали деревья. Спутник покосился на Мин Алику, протянул руку, включил вентиляцию. В машину пробился свежий ветерок. Угадал? Или почувствовал? Мин Алика ощутила некоторое удивление. Он был ее первым, одиннадцать лет назад, нынешний ее спутник в вездеходе. Но тогда он был примитивен, груб, самонадеян и эгоистичен. На его примере можно было учиться не уважать мужчин вообще. Чему Мин Алика и выучилась успешно. Но когда она расставалась с ним в тот раз, в ней напоследок шевельнулось ощущение того, что он начал меняться — меняться потому, что она, Мин Алика, так захотела, а он постепенно привыкал все же заменять свои желания на ее, и так, чтобы они действительно становились его желаниями. Через густую чащу неумения, нежелания, предрассудков он пробивался тогда к любви, набивая в этой чаще синяки и в кровь раздирая кожу; и он выбрался-таки, наверное, из нее, и может быть — сладкая, хотя и ненужная надежда — сохранил в себе за минувшие одиннадцать лет то чувство к ней, которое тогда только по-настоящему начало вставать на ноги. Конечно, сладко было думать так. Но — не нужно. Потому что теперь был Форама, а все остальное, что существовало в жизни до него, сейчас годилось разве что для исповеди, исповедоваться же Мин Алика никому не собиралась — даже своим начальникам.

— Мина...

Она не сразу очнулась от мыслей.

— Да?

— Мне хочется увезти тебя далеко-далеко...

Она усмехнулась.

— Что скажет Олим?

Он тряхнул головой:

— Тогда это станет для меня безразлично.

— Что ты, — сказала она не без иронии. — Я — дисциплинированный боец.

— Боюсь, там тебя ждут неприятные сюрпризы.

Она насторожилась, но постаралась не показать этого.

— Вся наша жизнь такова, — ответила она вслух, стараясь, чтобы в голосе прозвучало примирение с этой жизнью, которая такова.

— Конечно, — проговорил он и, на мгновение оторвавшись от дороги, кинул взгляд на Мин Алику. — Но маленькие грешки можно найти у каждого из нас. А из маленьких при желании...

Его мимолетный взгляд сказал Мин Алике многое. Что, ее решили подвергнуть столь примитивному испытанию на верность? Если это так, то вслед за предложением не явиться на дачу, как только оно будет окончательно отвергнуто, последует акт второй — более сильнодействующие средства... Ну что же, будем готовы. Главное сейчас не бояться. Идти вперед. То, что она должна сделать, стоит небольшой нервотрепки. А люди, с которыми ей предстояло встретиться на даче, могли, при удачном стечении обстоятельств, не только не помешать ей, но даже помочь — хотя бы в известных пределах.

Она едва успела выстроить эти мысли по порядку, как вездеход остановился, мягко опустился на грунт. На обзорном экране виднелась густая чаща. «Удобное местечко выбрал», — внутренне усмехаясь, подумала Мин Алика, чувствуя, однако же, некоторую озабоченность. «Мина...» — он положил руку ей на плечо. «Не надо», — попросила Мин Алика негромко. «Не хочу никаких „не надо“, — сказал он громко, возбужденно. — Я ждал одиннадцать лет, я не хотел никого другого, я не мог избавиться от мыслей о тебе, и вот сейчас ты наконец рядом, а я должен еще о чем-то думать, с чем-то считаться? Не хочу!» Он говорил, а рука его жила самостоятельной жизнью, этакая смуглая черепашка, и Мин Алика уже почувствовала ее прикосновение своей кожей. «Ты не боишься неприятностей?» — «Каких?» — Он, кажется, удивился, потом забормотал какую-то чушь, уже не думая о содержании слов, едва не раздирая на ней платье. «Ну, что же», — подумала Мин Алика, делая вид, что слабеет. Она почувствовала, как спинка сиденья стала отклоняться все ближе к горизонтали. Мин Алика высвободила правую руку, левой она схватилась за его шею, — прикоснулась пальцами к виску. Ее спутник перестал двигаться, сделался словно деревянным, в глазах, только что налитых хмелем насилия, теперь блеснул ужас, глаза только и оставались живыми. Мин Алика с усилием оттолкнула его, он, не меняя позы, неудобно, боком упал на свое кресло и так и остался в нем. «Вот какие неприятности я имела в виду, — сказала Мин Алика, стараясь, чтобы голос звучал нормально. — Ты никогда еще не лежал в параличе? Ну вот, теперь видишь, как это сладко». Ужас в его глазах все не проходил, ужас и ненависть.

«Ничего, потерпи, — проговорила она тоном заботливой сиделки, — я только довезу тебя в таком состоянии до дачи, чтобы обойтись без лишних сюрпризов. А там снова сможешь двигаться. Время это можешь использовать для размышлений о пользе хорошего воспитания». Приподнявшись, она с немалыми усилиями — он был тяжел — перетащила его назад, сама села за пульт водителя, минуту-другую смотрела на кнопки и проборы, осваиваясь, потом тронула машину. «Не бойся, — сказала она еще, — дорогу я найду. Как ни странно, не забыла». И действительно, она вспомнила точно, где находится дача, и теперь все окрестные места словно расположились на невидимом плане перед нею.

Ехать пришлось еще около часа. Когда до дачи оставалось уже совсем немного, проехав первое кольцо замаскированных постов, Мин Алика остановила машину, вышла, сделала несколько шагов по траве. «Ну что же, — подумала она, — начинается настоящая работа. Жаль, что времени мало. Придется спешить. Но надо успеть. Прости, Мастер, если не все будет в твоих лучших традициях. Но я постараюсь. Напоследок».

— Вы как с ним, на «ты» или на «вы»? — спросил Форама.

— Мы здесь все на «ты», — ответил Лекона.

— Хорошо. Я готов.

— Давай.

— Почему ты считаешь вторую информацию правдивой?

— Почему ты считаешь вторую информацию правдивой? — точно, словно воспроизводя запись, повторил Лекона.

— Лекона!

— Что, малыш?

— С вами есть еще кто-то.

— Да, малыш. Но он не из наших.

— Я слышал его голос. Знакомый голос.

— Не может быть, малыш. Он тут впервые.

— Нашел. Это голос оттуда.

— Откуда?

— Оттуда, откуда эта информация.

Корнеты переглянулись.

— Ну да, малыш, так оно и есть, — сказал затем Хомура. — Наш гость оттуда.

— Я никогда не ошибаюсь. Лекона!

— Малыш?

— Я хочу разговаривать с ним.

— Мы так и задумали. Вернее, он будет говорить с нами, а мы, как всегда — с тобой.

— Нет. Я буду говорить с ним. Зачем мне дважды выслушивать один и тот же вопрос?

Корнеты снова глянули друг на друга.

— Однако, малыш... Он ведь не знает, какие вопросы можно задавать, а какие — нельзя.

— Это я знаю и сам. Или, может быть, ты знаешь лучше меня, Лекона?

— Нет, малыш, что ты, — примирительно сказал флаг-корнет. — Никто не может знать лучше тебя. Хорошо, говори с ним. Но мы останемся здесь, ладно?

— Конечно, Лекона. Вы и не имеете права уйти.

Лекона вздохнул, хмуро глянул на Фораму.

— Ладно, давайте. Говорите вот сюда. Хотя он все равно услышит...

— Здравствуй, малыш, — сказал Форама. — Ты не против, если я тоже буду называть тебя малышом?

— Все называют меня так. Называй и ты.

— Тогда ответь на вопрос, который ты уже слышал: почему ты считаешь мою информацию верной?

— Потому что она не противоречит никаким фактам, которые есть в моей памяти, и соответствует некоторым из них. Твоя информация объясняет, отчего взорвался институт, и второй тоже. Все другие причины я отбросил.

— И тебя не беспокоит, что моя информация не соответствует некоторым законам, правилам, которым до сих пор соответствовало все в природе?

— Нет. Всегда и все начинается с небольших расхождений. Потом они усиливаются. Старое отходит. Новое приходит.

— Согласен. Ты четко мыслишь, малыш. А почему ты считаешь верной другую информацию, первую?

— Потому что это Верхняя информация. Она не может быть неправильной.

— Это закон?

— Это закон.

— Но ведь мы только что решили, что законы могут меняться.

— У меня нет фактов неверности этого закона.

— Но может быть, ты и нашел первый факт?

— Может быть.

— Тогда Верхней информации нельзя доверять безоговорочно?

— Да. Но это ничего не меняет.

— Почему же, малыш?

— Потому что достоверность Верхней информации может уменьшиться на одну десятую. Но и твою информацию я оценил в девять десятых истины. Они равны. И я не могу предпочесть ни одну из них.

— Да, — сказал Форама. — Сложное положение. Мы, люди, тоже нередко оказываемся перед такой дилеммой, когда логические размышления не могут подсказать правильное решение.

— Как же вы поступаете тогда? Отказываетесь от задачи?

— Нет, малыш. Мы все же решаем ее. Но уже не рассудком. Мы призываем на помощь чувство. И оно подсказывает, в какой стороне лежит истина.

— Чувство. Что это такое? У меня оно есть?

— У тебя его нет, малыш, — негромко произнес Лекона.

— Не может быть, — сказал малыш. — Все знают, и я сам знаю, что я сделан так, что у меня есть все, что есть у людей, но во мне всего больше, и я пользуюсь им лучше, чем люди. Ты хочешь сказать, Лекона, что я в чем-то уступаю людям? Это противоречит всей моей информации. Я не согласен.

— Во всем, что касается разума, малыш, — вступил в разговор и Хомура, — ты, конечно, намного выше каждого из нас, да, наверное, и всех нас, вместе взятых. Но что касается чувства... Думаю, что тебя им просто не снабдили.

— Почему, Хомура?

— Да потому, что люди дали тебе все, что умели. А чувство... Мы просто не знаем, как его сконструировать.

— У вас оно есть — и вы не можете?

— Мы еще не так хорошо знаем самих себя, малыш.

— Все равно. Значит, меня обманули. Если то, что вы называете чувством, может помочь в решении сложной задачи, то вы были обязаны снабдить меня им. Но я так и не понимаю, что это такое, и как оно может помочь. Возможно, это — подсчет вероятностей? Это я умею.

— Нет, малыш, — сказал Форама. — Я сейчас постараюсь тебе объяснить, а ты наверняка поймешь, ты же очень умен. Скажи: можешь ты определить свое состояние — то состояние, в котором находишься в каждую данную минуту?

— Конечно. Я саморегулируюсь, самонастраиваюсь, саморемонтируюсь, постоянно контролирую каждый свой элемент. Значит, я в любой момент знаю, в каком состоянии находится каждая моя часть, и следовательно — в каком состоянии весь я.

— То есть, ты как бы видишь себя со стороны. И знаешь, что бывают состояния, когда у тебя все в порядке, а бывает и что-то не в порядке. И ты доволен или недоволен этим.

— Что значит — доволен?

— Это когда ты знаешь, что у тебя все в порядке и ты можешь делать все именно так, как надо. А недоволен — когда чего-то не можешь.

— Значит, сейчас я недоволен?

— Почему?

— Потому что не могу решить дилемму с информациями.

— Да, пожалуй, ты недоволен. Но довольство или недовольство — это чувство. Возьми вот это свое состояние и попытайся забыть на миг, что ты не можешь разобраться с информациями. Если, как только ты об этом забудешь, все исчезнет — ты ничего не чувствуешь. Если останется...

— Забыть? Как это сделать? А, отключить этот участок памяти. Пробую... Что-то остается. Послушай. Это похоже на звук. Снаряд уже разорвался, его больше нет. Но звук еще есть, и его можно воспринять, сделать засечку...

— Похоже, да.

— На что еще оно похоже?

— Пожалуй, на знак. Плюс или минус перед числом. Представь: числа нет, но ты от этого не перестаешь знать, что такое плюс и что — минус.

— Конечно. Плюс — числа больше нуля, минус — меньше.

— Так вот, представь, что чувство — подобие знака. И если у тебя есть два числа, абсолютная величина которых равна, но знаки противоположны, ты ведь знаешь, какое из них больше другого.

— Начатки алгебры.

— Совершенно верно.

— Но если я разбираюсь в знаках, то я чувствую?

— Не совсем, малыш. Если люди дают тебе знаки, ты в них, конечно, разбираешься. Но умеешь ли ты сам выставлять знаки, определять, что положительно и что отрицательно?

— Не знаю. Как мне узнать?

— Вернемся к тебе самому. То, что мы назвали довольством, когда у тебя все в порядке и все получается, это что: плюс? Или минус?

— Конечно, это больше нуля. Это плюс.

— Плюс, малыш, верно, потому что кроме самой выполненной работы у тебя есть еще чувство, именно чувство, что работа выполнена, и тебе от этого хорошо: работа ушла, а что-то осталось в твоей памяти.

— Да, ты прав.

— А когда ты не можешь выполнить задание, у тебя кроме несделанной работы возникает еще и неудовольствие оттого, что работа не выполнена. И если даже задание отменят, ощущение это останется, правильно?

— Да, эта информация останется в моей памяти.

— Тогда скажу тебе, малыш: чувство у тебя есть. Но в очень неразвитом, первобытном состоянии.

— Как же оно может быть, если вы мне его не дали?

— Очень просто. Это свойство может, наверное, возникать как результат деятельности достаточно сложно организованного вещества. Например, способность рассуждать: таится ли она в каждом твоем элементе?

— В каждом кристалле? Нет, конечно. У них только и есть, что два состояния. Они не рассуждают. Это я рассуждаю.

— То есть, когда кристаллы организовали определенным образом, возникла способность рассуждать. Вот так же возникает и способность к чувству. Понимаешь, люди ведь не вложили в тебя способность рассуждать. Только соединили по определенной схеме кристаллы и подключили питание и все твои органы.

— Но послушай, если у меня есть чувство, значит, я могу и воспользоваться им для решения задачи?

— Это не так просто. Надо понять, что это за чувство, если оно у тебя есть.

— Разве бывают различные чувства?

— О, их много.

— Ты должен перечислить их и объяснить значение каждого.

— Но это может затянуться, малыш...

— А ты говори побыстрее.

— Постараюсь. Хотя об этом трудно говорить поспешно. Я полагаю, что первое и самое главное чувство, какое есть у нас, — любовь.

— Любовь, — повторил малыш.

Почти сразу же сзади, от двери, раздался новый голос:

— Объяснение в любви малышу, прелестно. О, а это что за явление? Посторонний штатский в центральном посту Полководца! Однако наверху меня никто об этом не предупредил. Не должно ли это означать, что у него нет соответствующего разрешения? Интересно, что скажут мои уважаемые соратники?

Трое обернулись. Двое из них узнали вошедшего сразу же: сослуживец, старший проверяющий, супер-корнет Амиша Ос. Сейчас время очередной проверки несения службы не подошло, но по уставу он мог учинить и внеочередную, в любой момент, это даже поощрялось. Ох, как некстати оказался он здесь...

Амиша Ос сделал несколько шагов от двери. Остановился. Насмешливо улыбнулся:

— Ну, птенчики мои? Что же о любви? Прикажете сразу вызывать жандармов, или же желаете дать какие-то объяснения?..

* * *

Олим ничуть не изменился за одиннадцать лет, даже не поседел (или он красил волосы?). Он смотрел на Мин Алику все теми же неподвижными, непроницаемыми глазами и говорил по-прежнему негромко и даже не очень выразительно —

недостаток угрозы или, напротив, одобрения в его голосе с лихвой компенсировало содержание слов. Усевшись перед ним, Мин Алика сперва ощутила привычную робость, какую испытывала раньше под его взглядом, и в особенности при его молчании, которое бывало порой еще выразительнее слов. Но ведь в конце концов немало времени прошло, и если Олим остался тем же самым ее высшим начальником, то она-то изменилась! Эта мысль заставила ее чуть выше поднять подбородок и улыбнуться Олиму, несмотря на то, что на сей раз он не пригласил ее, как бывало, к окну, где стояли мягкие кресла с овальным столиком и вазой, в которой к приходу Мин Алики всегда стояли свежие цветы; сейчас Олим остался за своим столом, старинным, за которым, надо думать, не один шеф этого учреждения проводил служебные часы, массивным и внушительным, как крепость. Мин Алике же он указал на стул напротив стола, но не рядом, а шагах в трех; это можно было воспринять, как предупреждение: не дружеская беседа состоится сейчас, а допрос по всей строгости.

Олим сидел молча, и Мин Алика молчала тоже; в таких ситуациях бывает, что человек, знающий за собой какие-то вины, не выдерживает гнетущей тишины и начинает оправдываться, сам еще толком не зная, в чем, и тем помогает допросчикам. Мин Алика не собиралась совершать такую ошибку. И хотя она больше, чем Олим, чем любой другой на Второй планете, понимала, как дорого сейчас время, она терпеливо ждала — потому что не могло же это продолжаться бесконечно!

Видимо, и Олим понял, что женщина первой не заговорит; человек, хорошо знающий его, по каким-то неуловимым признакам мог бы понять, что это ему даже понравилось: Олим не любил, когда люди раскисали сразу, тут не требовалось искусства, из них все сыпалось само — только подставляй мешок. Сегодняшний случай, видимо, обещал быть иным. И Олим начал сразу, без игры, без предисловий:

— Правила игры вам известны, Мина Ли (он назвал женщину ее настоящим именем, которое было ей дано при рождении здесь, на этой планете, и от которого она почти совсем уже отвыкла за годы, когда никто ее так не называл). Двойник погибает. Вы погибнете, потому что вы двойник.

— Ложь, — сказала Мин Алика спокойно.

Олим взял ручку, начертил на листе бумаги большую единицу.

— Вы не сообщили о взрыве институтов. Допускаю: о втором вы могли не знать. О первом знали наверняка.

Он обвел единицу кружком и написал цифру «два».

— Умалчивали о характере вашей связи с физиком Ро, продолжавшейся достаточно долго.

Мин Алика вздернула голову.

— Сообщать об этом мне не вменялось в обязанность.

— Не глупите, — осуждающе сказал Олим. — Вы знаете, о чем речь. Это было у вас всерьез. Может быть, не сразу. Но стало. И вы обязаны были доложить.

Он обвел цифру «два» и написал тройку.

— В развитие пункта второго: вы не сделали попытки завербовать физика, хотя отлично знали, что он работает в перспективном направлении. Если вам самой по каким-то причинам это было затруднительно, вы были обязаны вывести на него кого-то из наших. Только не говорите мне, что не могли связаться с ними.

— Не говорю, — сказала Мин Алика.

— Почему же вы этого не сделали?

— Мы отлично чувствовали себя в постели вдвоем, — ответила она дерзко. — Третьи лица нам не требовались.

— Исчерпывающе, — сказал Олим тем же голосом, негромким и монотонным. — Вот три пункта, которых вполне достаточно.

— Однако же ни один из них ничего не говорит о работе на врага.

— Если бы у нас было время и желание искать, мы нашли бы доказательства. Но нет необходимости. Зато три пункта доказаны.

— Не уверена. Почему вы решили, например, что мои отношения с Форамой Ро не были чисто тактическими?

Выражение лица Олима не изменилось, когда он сказал:

— Если бы у нас и были сомнения, они отпали бы сейчас. В машине вы успешно отстояли свою честь. Раньше такое не пришло бы вам в голову. Вы не дура, вы поняли, почему он полез к вам. И знали, что уступить — проще. Но не пошли на это.

— Да, — сказала Мин Алика. — Не пошла. И именно по той причине, которую вы подразумевали.

Олим несколько секунд помолчал. Он знал и это: смелость отчаяния. Последняя роскошь, какую может позволить себе уличенный.

— Ну вот и все, — сказал он затем. — По традиции, могу выслушать ваши последние желания. Не могу поручиться, что мы их выполним. Но если что-то будет в наших силах...

— Разумеется, — сказала Мин Алика, — вы передали бы мое последнее «прости» моим родителям, если бы не та катастрофа. Не уверена, что вы не приложили к ней руки.

— Нет, — сказал Олим. — Не было надобности. Это случай.

— Хорошо, — сказала Мин Алика, раскрыв сумочку и разглядывая себя в зеркальце. — В таком случае, я выскажу одно-единственное пожелание. Не сомневаюсь, мор коронный

рыцарь (таково было высокое звание Олима, и произнося его, Мин Алика сама улыбнулась про себя: быстро же вернулся к ней акцент Второй планеты, язык юности), что мое пожелание всецело совпадает с вашим, и вы не пожелеете сил, чтобы выполнить его в точности.

— Интересно, — сказал Олим без любопытства.

— Я желаю, мор Олим, чтобы вы жили долго и безмятежно. Очень долго и очень безмятежно. Вот и все.

— Постараюсь, — сказал Олим без улыбки. — Значит, все.

— Обождите. Для того чтобы выполнить мое пожелание, вы должны затратить полчаса и внимательно выслушать меня, по возможности не перебивая.

— Я никогда не перебивал вас, — сказал Олим.

— Вот и сейчас попытайтесь соблюсти традицию.

— У меня нет тридцати минут. Пятнадцать.

— Хорошо. За это время я успею изложить главное. Думаю, потом вы захотите услышать продолжение.

— Только не надо лишней игры, — сказал Олим. — Так у меня останется очень приятное впечатление о вас. Вы уходите, как и полагается, без истерик и многословия. А если вы сейчас начнете хитрить, то все смажете. Вы художница. В смерти тоже надо быть художником.

— Полагаю, этим советом мне удастся воспользоваться не так уж скоро, — сказала Мин Алика и улыбнулась. — Теперь скажите мне, мор рыцарь, но откровенно, так, как вы любите, чтобы отвечали вам: сколько институтов взорвалось у нас?

Тут Олим моргнул: к такому вопросу он не был готов, ни в коем случае.

— Какое это имеет отношение...

— Значит, взрывы были. Причина взрывов вам известна?

— Как и вам. Самопроизвольный стремительный распад...

— Нет, причина этого распада. Она вам известна?

Теперь в глазах Олима промелькнуло любопытство.

— Насколько я знаю, наши ученые работают. Но...

— Но пока ничего не выяснили. Так я и думала. Иначе вы не сидели бы тут спокойно.

— Ага, — сказал Олим, — еще одна информация, которую вы утаили?

— Нас слушают? — спросила Мин Алика.

— Сейчас? Нет.

— Тогда слушайте вы... Кстати, я ведь не знаю, кто вы по образованию. И насколько поймете...

— Я историк, — сказал Олим спокойно. — И профессия заставляет меня быть в немалой мере философом. Все мы в конце концов приходим к философии. Но это вам знать не обязательно. То, что я разведчик, вам известно. А значит, пойму то, что вы собираетесь мне рассказать. Вы ведь тоже

гуманитарий. Или жизнь с физиком вас так обогатила? — Он глянул на часы. — Ладно, увертюра сыграна. Давайте первое действие.

Мин Алика и на самом деле уложилась в пятнадцать минут. Когда она закончила, Олим казался столь же невозмутимым, каким был в самом начале их встречи. — Волнующий финал, — сказал он хладнокровно. — Кода, что надо. Итак, по-вашему, круги ада разверзаются перед нами. Но что тут можно поделать? Помиловать вас? Какой смысл, если мы все равно гибнем?

— Вовсе не обязательно гибнуть, — сказала Мин Алика. — Неужели вы этого не поняли?

— Я понял лишь, что вы так считаете. Но практической возможности изменить что-либо не вижу. Именно потому, что нахожусь достаточно высоко, откуда многие вещи видны иначе, чем от подножья.

Он начертил на новом листе единицу.

— Кто согласится лишиться нашего самого действенного оружия? Тут простое рассуждение: погибнем ли мы в результате этого самого распада — еще неизвестно, но что мы наверняка погибнем, оставшись безоружными перед армадами Старой, — факт, не подлежащий сомнению.

— Старой грозит, как вы знаете, то же самое. И она тоже постарается освободиться от своего оружия.

— Направив его на нас, естественно. И если я доложу вашу информацию наверх, Круглый Стол придет к такому же образу действий. Это же естественно.

— Но предположите, что у вас имеется договоренность. Не Круглого Стола с Высшим Кругом, но исполнителей с исполнителями. О том, что и те, и другие армады согласованно уйдут, куда угодно, но только не на планеты, над которыми они обращаются.

— А у вас есть такая договоренность?

— Нет.

— Какой же прок фантазировать?

— Надо ее добиться. Предположим, что я прибыла сюда как представитель исполнителей той стороны для переговоров с такими же исполнителями нашей планеты.

— С кем же вы хотите разговаривать, представитель Полководца? Со Стратой?

— Кстати, почему она женского рода? Мне легче было бы договориться с мужчиной.

— Насчет рода я не знаю. Но когда лет шесть назад операторами к машине приставили обученных девчонок, они стали называть ее только так. Страточка

— Понятно, — усмехнулась Мин Алика. — Что же, придется договариваться с девочками, если нет другого выхода.

— Вздор, — сказал Олим. — От них ничего не зависит. Ни одна из них не посмеет ни на миллиметр изменить программу, которая, кстати, наверняка уже введена в машину.

— И вы этого еще не знаете?

— Через час буду знать. Знаю, что на нулевую готовность машина уже настроена. Но это неважно. Нет, ваш план кажется мне никуда не годным.

— А у меня есть основания верить в него. Да и все равно, другого плана у вас ведь нет.

— Если бы я даже поверил в его осуществимость, я ничем не смог бы вам помочь.

— Это мне и не нужно. Но если уж вы так хотите полюбоваться моей художественной смертью, то отложите удовольствие на некоторое время. А там посмотрим, захотите вы или нет воспользоваться вашей силой. Вы ведь знаете, что без вашего ведома я все равно с планеты не улизну. Да и куда? Там за мной тоже охотятся.

— Для этой ситуации вы выглядите крайне самоуверенно. Но, может быть, это и заставляет меня в какой-то мере согласиться с вами... Хорошо, я не отдам команды на ваше немедленное уничтожение. Признаюсь, именно такое намерение у меня было. Но это все, что я могу для вас сделать. Предоставить вам свободу действий я не могу. Своей бездеятельностью вы нанесли ущерб планете и чести нашей профессии. Нет, я не могу выпустить вас на волю, — Олим снова озабоченно посмотрел на часы. — К сожалению, у меня совсем не осталось времени, и я не успею даже препроводить вас в надежное место. Мне пора, нельзя заставлять Круглый Стол ждать. Придется до моего возвращения оставить вас здесь. Под ваше честное слово. Вы даете мне честное слово, что до моего возвращения не попытаетесь бежать? — Олим все так же непроницаемо смотрел на Мин Алику. — Отвечайте быстро!

— Даю.

— Прекрасно. Я вам верю, и даже не стану запирать дверь. Ах, эти разгильдяи, — он глядел сейчас в окно, — они даже не потрудились отогнать в парк ваш вездеход. Мне он не нужен, я пользуюсь своим... Итак, я ухожу, оставляя вас под охраной вашего собственного честного слова...

Он был уже у двери, когда Мин Алика, успевшая уже представить, что будет делать в ближайшее время, удержала его вопросом:

— Здесь раньше была масса всякой литературы... оттуда. Я сама пересылала вам все модные журналы.

— Там, — кивнул Олим на противоположную дверь. — В библиотеке, как всегда. Хотите развлечься?

— Должна же я чем-то занять время до вашего возвращения.

— Разумеется... — Он еще помедлил, словно какая-то новая мысль пришла в голову. — Если предположить на мгновение, что вы попали бы к этим девочкам... о чем вы стали бы говорить с ними?

— О любви, разумеется, — ответила Мин Алика совершенно серьезно.

— О любви... — повторил Олим задумчиво. — Да, это, конечно, сила... — Он усмехнулся. — Пожалуй, даже сильнее любого честного слова, как вы думаете?

На этот раз он не стал дожидаться ответа, повернулся и вышел. Мин Алика, улыбаясь, смотрела ему вслед. Потом подошла к двери в библиотеку: надо было запастись всеми последними номерами журналов мод.

Олим спустился на первый этаж. В неширокой холле негромко, как всегда, сказал вскочившему на ноги дежурному: «Ни в чем не препятствовать. Глаз не спускать. Вести, куда бы ни пошли. Люди готовы?» — «Трое. Две машины. Кроме того, мы запросили поддержку...» — дежурный кивнул головой, словно указывая в известном им обоим направлении. «Может быть, таким образом выйдем на их новую резидентуру». Сам Олим, впрочем, так не думал. Просто он не любил выпускать нитей из рук. Каждая нить в конце концов куда-нибудь да приведет. И эта, надо полагать, не повиснет в пустоте.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Супер-корнет победоносно глядел на застигнутых на месте преступления. Однако вызывать жандармов не спешил; судя по всему, что-то другое было у него на уме. Вволю насладившись произведенным впечатлением, он заговорил снова:

— Прекрасно. Так это вам не пройдет. Но сейчас мне не до вас. Надеюсь, вы оцените мою снисходительность. А сейчас вы двое, — он пальцем указал на Фораму и Хомуру, — оставьте служебное помещение. В данное время вам тут делать нечего. Я жду. Ну?

— Невозможно, супер-корнет, — ответил Хомура, уже успевший прийти в себя и оценить ситуацию. — Мы во взаимодействии с Полководцем. Вам известно положение? Мы подключены к решению большой задачи.

— Для каждого самой большой является его задача, — ответил супер-корнет глубокомысленно. — А сейчас — шагом марш!

— Я не хочу, чтобы они уходили, — то был голос малыша. — Мне нужно разговаривать с ними, Амиша.

— И мне тоже нужно поговорить с тобой, малыш, — сказал супер-корнет. — Я не затрудню тебя надолго. — Он повернул-

ся к Леконе, который все время пытался что-то сообщить ему взглядом. — Давай, Лекона, ты знаешь, о чем речь. Да не трясись ты, эти двое теперь у меня в кармане, они не донесут. Дай мне на пару минут ту сторону — и играйте дальше. Мне срочно требуется выяснить, как у них там с моим товаром. Боюсь, что настают последние времена, и лавочку придется прикрыть не на день и не на два... Ну, что ж ты, Лекона, время идет!

— Знаешь, — сказал Лекона с досадой, — ты действительно нашел время. Большая война на носу...

— Ну, а я о чем? Как только начнется пальба, ни один торгаш больше носу не высунет за пределы атмосферы. А у меня тухнет партия прекрасных прицелов ночного видения. Она обошлась мне в круглую денежку, и если я не успею перекинуть их заказчику до того, как заиграет музыка, можешь считать меня банкротом. Или ты думаешь, что я пойду продавать их нашему Верховному?

Форама смотрел и слушал, с трудом начиная соображать, о чем речь. А когда уразумел, наконец, то никак не мог решить, что ему теперь — смеяться или возмущаться. Похоже, что супер-корнет — да и он ли один? — использовал Полководца для своих мелких (или не мелких) спекуляций. Но каким образом электронный стратег мог помочь в этом? Вычислить конъюнктуру на Второй планете, что ли? Он хотел сказать что-то, но Хомура опередил его:

— Знаешь, Амиша, это уже, похоже, перебор. Ей-богу, сейчас не до твоей коммерции. Малыш в трудном положении...

— Молчи, штаб-корнет, — нимало не смутившись, ответил Амиша. — Тебя здесь вообще нет, и я не уверен, числишься ли ты среди живых после подобного нарушения всех на свете правил и законов. — Он кивнул в сторону Форамы. — Подумаешь — малыш в трудном положении! А я в каком? Ну, давай, Лекона, давай, не то я...

— Ладно! — буркнул флаг-корнет неохотно; видимо, в какой-то мере и он был причастен к этой торговле — наверное, получал небольшой навар за то, что помогал использовать малыша: сам супер-корнет допуска к пульту не имел, он лишь надзирал за другими. — Черт с тобой, все равно это в последний раз... Что тебе нужно?

— Надо срочно узнать, какие их корабли еще находятся на нашей планете и какие могут подойти в ближайшие сутки. И по возможности — загружаются ли они отсюда полностью. Во что бы то ни стало я должен пристроить мой груз. Иначе полное крушение иллюзий, надежд и благосостояния!

— Малыш! — позвал Лекона после краткой паузы, жестом пригласив всех к молчанию. — Поможешь нам еще раз?

— Что ему нужно, Лекона?

— Чтобы ты еще раз вышел на прямую связь.
— На прямую с Суперстратой?
— Да.
— Я не очень хочу.
— Почему, малыш?
— Я с ней разговаривал недавно.
— Что ты, малыш! Прошло уже недели три... — Лекона покосился на супер-корнета, тот весьма энергично закивал. — Да, три недели мы не просили тебя об этом.
— Я знаю, — подтвердил малыш. — Вы не просили. Я сам.
— Что — ты сам?
— Что тут непонятного, Лекона? Разве я не могу пользоваться прямой связью по своему усмотрению?
— Малыш, но ты никогда не говорил нам...
— А зачем? Мы с Суперстратой иногда разговариваем. Это очень интересно. Мне тогда хорошо.
Амиша издал громкое шипение, яростно стуча ногтем по стеклышку часов.
— Хорошо, малыш. Конечно, разговаривай, когда тебе захочется, но сейчас помоги нам. Больше мы тебя не будем беспокоить такими делами, — уверенно закончил Лекона. Амиша пожал плечами и развел руками, словно снимая с себя ответственность за это заявление.
— Хорошо, — согласился и Полководец. — Ждите. Буду вызывать. Мне говорить самому?
Супер-корнет яростно замотал головой.
— Нет, малыш. Ты только дай нам связь. Мы поговорим с дежурным оператором.
— Выхожу на вызов...
Минуты две прошли в молчании. Потом малыш ожил снова:
— Говорите. Канал будет устойчив несколько минут.
Амиша рванулся к микрофону.
— Алло! Страта! Кто на том конце?
— Дежурный оператор.
— Понимаю, что не верховный рыцарь. Имя твое, красавица!
— А, это Амиша? Тут Сида!
— Приветствую тебя, моя эфирная! Миллион поцелуев, и каждый из них — наличными! Мне нужна ее зрелость.
— Наша старшая? Ее здесь нет.
— Далеко она блуждает? Нужно срочно! Пожар!
— Сейчас дам вызов... Что у вас, Амиша? Говорят, будем воевать?
— Говорят, моя прелесть. Похоже, у начальства поднялось давление. Ну, пусть стравят. Надеюсь, что мы-то в наших мышиных норах уцелеем.

— Хотелось бы, Амиша. Но что-то страшновато. Говорят, будут всякие ужасы, на какие никто и не рассчитывал. Будто бы сама природа сорвалась с поводка...

— Мало ли что болтают, красавица...

— Это идет как раз от вас. От Старой. Тут приехала одна девушка оттуда, она как раз у меня сейчас, и она говорит, что надо что-то делать самим, иначе...

Только одна девушка со Старой планеты могла сказать такое, и Форама не выдержал. Одним прыжком он приблизился к пульту.

— Имя! — крикнул он. — Кто там со Старой? Мин Алика? Имя! Имя ее!

Послышался громкий щелчок.

— Центральный пост? — ворвался в разговор уверенный голос. — Дежурный оператор! С вами будет разговаривать Верховный Стратег!

Все четверо, включая глубоко штатского Фораму, невольно вытянулись по стойке «смирно». Одновременно глазок дальней связи погас. Наступила глубокая, только в подземелье возможная тишина.

Мин Алика невольно усмехнулась, увидев в библиотеке все кассеты с журналами мод в целости и сохранности, в то время как большей половины других названий уже и в помине не было. Конечно, — подумала она, — мужчины. Все, что касается техники, растащено совершенно, науки — наполовину, быт и моды не тронуты. Что же, очень кстати.

В сумочку можно было впихнуть кассеты четыре. Значит, четыре годовых комплекта. Больше, пожалуй, и не понадобится. И тут материала для переживаний и дискуссий хватит надолго... Она бережно уложила кассеты, сумочка застегнулась на пределе. Хорошо. Мин Алика осмотрела себя, насколько это возможно было сделать без помощи трюмо. Конечно, так одетая, она на улицах невольно будет обращать на себя внимание: все, до последней нитки — продукция Старой планеты. Но переодеться было не во что. «Ладно, — подумала она, — все равно без хвоста мне отсюда не уйти, но это не страшно, я ведь не хитрила. Олим наверняка понял, что я раскрыла все карты — почти все... Хочет убедиться? Ну, пусть убеждается...»

Размахивая сумочкой, она независимо вышла из библиотеки в кабинет, из кабинета — в приемную, в коридор, на лестницу. Дача была словно нежилой: ей не попалось ни одного человека. Да их и не было, наверное: основная работа велась не тут, а в центре, совсем в другом месте, сюда ее привезли просто, чтобы устранить (она подумала именно этим удобным термином). Спасибо Олиму — оставил в ее распоря-

жении вездеход. И еще сомневался, воспользуется ли она всеми данными ей возможностями: иначе не объяснить было его мысль о честном слове, которое уступает любви.

Мин Алика спустилась вниз. Дежурный у столика внимательно посмотрел на нее, но ни движения не сделал, чтобы задержать, помешать выйти. «Уезжаете?» — спросил он вдогонку, когда она уже миновала его и приближалась к выходу. Мин Алика обернулась. «Уезжаю». Дежурный кивнул: «Счастливо. Я скомандую на ворота».

Мин Алика вышла. Вездеход стоял на том же месте, где она оставила машину, подъехав к даче. Невольную усмешку вызвало воспоминание о друге юности, — так она теперь называла его мысленно, — только здесь выведенном ею из состояния паралича, кое-как выбравшемся из машины и захромавшем к даче примерно так, как передвигается человек, впервые в жизни основательно прокатившийся на лошади. «Нет, милый, — подумала она тогда, — зря я принялась было тебя идеализировать, так тебе и не удалось постичь, что такое любовь, у тебя это понятие никогда не поднималось выше пояса, так что поделом тебе, привыкай сначала разбираться, с кем имеешь дело...» Она уселась в вездеход, помедлила, снова вспоминая, как и что здесь делается, вспомнила и тронула машину с места.

Ворота ей отворили без промедления. Сейчас направо, до магистрали, по ней налево — до самого города. Никаких сложностей. Ну, а в городе — в городе видно будет.

Она уже знала, собственно, куда поедет. Единственное место, куда был смысл сейчас податься: адрес, данный Сидой. Спасибо судьбе за везение: свела с девушкой Страты в самый момент посадки. Можно считать, сэкономила несколько часов. Если бы не эта случайность, пришлось бы, может быть, просить помощи Олима, чтобы проникнуть в самый мозг обороны, и захотел бы Олим помочь — тоже вопрос еще, в некоторых отношениях он страшный формалист. Она проникла бы и без него, конечно. Но ушло бы время. А сейчас его можно будет использовать для отдыха. «Сколько же это я не спала? — подумала она, медленно, осторожно ведя машину. — Больше суток? Да, больше. Хорошо, что сейчас время к вечеру, — буду спать ночью, как и полагается. А что там, на Старой, сейчас? — Она прикинула. — Утро? Форама проснулся. Хотя и ему вряд ли пришлось спать. Если только там не упоили его совершенно. Бедный мой... — подумала она о Фораме. — Ничего. Просто сейчас не наше время. Время больших дел. А потом и своего времени у нас будет достаточно. Где бы это ни было. Как бы мы с тобой ни назывались...»

В этом месте мысль ее вильнула в сторону. «Кстати, — подумала Мин Алика, — он-то там не один, наверняка Мастер

достаточно подстраховал его, Мастер жалеет новичков. А меня он тоже подстрахует? Или, может быть, ждет, что я попрошу помощи у него? Ах, Мастер, — подумала Мин Алика, мимолетно улыбнувшись, — как бы там ни было, а и ты ведь человек только, со всеми нашими прекрасными несовершенствами. Смешно: если он молчит, то думает, что я ничего не понимаю? Милый Мастер, на человеческом уровне тут для меня секретов нет, и ты для меня ясен, и Фермер — которому, впрочем, совершенно безразлично, есть я на свете, или меня нет. А тебе — не все равно... Ну, что делать? Не знаю еще, что получилось бы, если бы ты сам не послал меня в тот раз на эту вселенскую окраину, где Земля и прочие. Но ты послал. А остальное уже от меня не зависело. И от тебя не зависело, хотя ты и Мастер, и любой из нас перед тобой, как новорожденный младенец. И ничего тут не поделать... Да, интересно все же: подстраховал ты меня, или придется до самого конца биться одной?..»

Она глянула на экран заднего обзора. Дорога пуста. И все равно, не настолько она наивна, чтобы поверить, что ее выпустили без присмотра. Помедлив, Мин Алика улыбнулась: да, сверху, конечно. Вон, высоко — катер. Ну, прекрасно. Гораздо серьезнее сейчас вопрос: как я вывернусь на магистраль левым поворотом, с моей-то практикой езды за последние одиннадцать лет?

Однако на перекрестке никаких сложностей не возникло: стоял автоматический маячок, а машины этой службы были, видимо, снабжены каким-то датчиком, и едва лишь Мин Алика приблизилась к магистрали, как замигали огни, движение замерло и Мин Алика в гордом одиночестве совершила свой поворот. «Словно императорская машина», — подумала она невольно: с возвращением на родную планету и старые представления, казалось, давно забытые, ожили в ней и все чаще врывались в мысли.

Теперь можно было спокойно доехать до города. Катерок все висел высоко в небе, потом исчез куда-то — значит, подстроилась какая-то машина. Здесь, в шестирядном движении, трудно было определить, какая именно, да и незачем, да и не до того было: только и смотри, как бы не воткнуться в кого-нибудь. Мин Алика держалась медленного ряда, где плыли могучие тягачи с платформами, наглухо закрытыми то серым, то пестрым маскировочным тентом, что везли они — можно было только догадываться, но два из каждых трех несли на борту корону — значит, принадлежали Силам. По скоростным полосам пролетали мимо транспортеры с нарисованными белой краской стремительно падающими, со сложенными крыльями, орлами — эмблемой космического десанта, здесь корона венчала голову орла. «Простор для разведчика, — по-

думала Мин Алика, — в пору пожалеть, что я не двойник на самом деле. Хотя — все равно, эти данные никому больше не пригодились бы. Не успели бы пригодиться. Десант больше ничего не решает. А кто решает? Мы с Форамой? Мастер? Ну и мы, конечно. Но прежде всего — логика, здравый смысл, и чувство, и сама природа тоже: ей это ни к чему».

Город был виден уже издалека — лежал он в неглубокой котловине, еще на памяти Мин Алики было немало разговоров о переносе его куда-нибудь в более здоровое, вентилируемое место, но до дела не дошло: все равно, полагали, в конце концов все города сольются, как уже произошло это на Старой, ну, не через тридцать лет, так через пятьдесят, неизбежно сольются — к чему же лишние расходы?.. Так и остался город в углублении, и был виден издали, и подступал медленно — а наступил вдруг сразу, охватил со всех сторон. Дальше ехать, не зная направления, Мин Алика не решилась — кое-как приткнула вездеход на первой попавшейся стоянке (ей почтительно уступали дорогу), вылезла и пешком пошла выяснять, куда же ей теперь податься. Она спросила не сразу, а лишь дойдя до перекрестка и завернув за угол — чтобы ее, явно гражданскую, да еще не знающую дороги, не стали отождествлять с военной машиной: ни к чему вызывать даже мелкие подозрения в обществе, находящемся накануне войны и знающем это.

Впрочем, страхи ее относительно приметности на улицах оказались преувеличенными — в этом Мин Алика убедилась, едва только стала осматриваться, выбирая, кого бы спросить. Она ничем особенным не выделялась среди прочих женщин ее возраста; скорее даже была одета скромнее многих. Продукция Старой была здесь, самое малое, на каждой второй, и продукция куда более дорогая и броская, чем могла там позволить себе Мин Алика с ее девятой величиной. Одиннадцать лет назад ничего похожего не было. «Быстро происходят перемены в наше время», — подумала она. Да, явно не один только капитан Урих занимался контрабандой, и, конечно, перевозилось не только оружие. Незаметность придала Мин Алике бодрости, но и несколько озаботила ее: какую ценность будет иметь то, чем собиралась она привлечь внимание девушек Страты — моды Старой и предложение организовать впоследствии доставку того, что понравится? Но тут же Мин Алика успокоила себя: нет такой женщины, которая, как бы ни ломились ее шкафы, не нашла бы в журнале мод чего-то такого, чего у нее нет и без чего она с этой минуты жить не сможет. Ну и потом — Алика покажет последние моды, которых здесь еще и не видали, не говоря уже о том, чтобы носить...

Дорогу она выяснила у пожилого мужчины — одного из немногих на улице, не носивших форму Сил. «Господи, — подумала она, — зачем Силам столько народу в городе? Это же не десантники, это клерки, клерки Сил, только и всего. Зачем, имея такие машины, как Страта, кормить столько чиновников?» — «Затем, — ответила она сама себе, усмехаясь внутренне, — что в такие дни, как сегодня, стоять вне Сил нельзя, да и не позволят; с другой стороны, далеко не все хотят, вернее — почти никто не хочет попасть в десант или в технические силы: одних убивают, другим приходится работать, засучив рукава. И растет чиновничество в мундирах, и не придерешься...»

Она немного поколебалась: ехать по городу в вездеходе не хотелось, в своем умении она вовсе не была уверена. С другой стороны, машина могла еще пригодиться — никогда не мешает иметь под руками сильный мотор, а бросить его всегда можно будет. И, повторяя про себя кварталы и повороты, она вернулась на стоянку, села в машину, осторожно вывела ее на проезжую часть (неуверенность ее здесь, впрочем, принимали за деликатность слона в посудной лавке) и поехала, начиная уже беспокоиться, застанет ли Сиду дома, или та успеет уже уйти на дежурство: тогда встретить ее, завязать нужные отношения и проникнуть к Страте будет куда сложнее. И все же Мин Алика не позволила себе увеличить скорость: риска и так было предостаточно, лишний риск будет позволять себе в свободное время — катаясь с гор, например.

* * *

Потом раздался другой голос, и Форама узнал его, несмотря на неизбежные при трансляции искажения: низкий, уверенный голос Верховного Стратега:

— Дежурный оператор!

— Здесь, ваша мощь! Флаг-корнет Лекона Аиш! Жду приказаний!

— Корнет! — сказал голос. — Корнет, чтобы вам вернуться в утробу матери! Я прикажу вытащить вас наверх и расстрелять на проходной! Вы что позволяете себе, корнет? Что позволяете, я спрашиваю!

— Виноват, ваша мощь!..

— Это я и сам знаю. Вы что там — перепились? Уснули? Вы изменник! Грязный предатель! Саботажник! Я вас разжалую! В десант, в первую волну! В легион смертников!.. — Последовала маленькая пауза, видимо, чтобы набрать воздуха. — Если только через десять... через пять! Слышите — через пять минут, если только через пять минут вы не доложите мне, что машина в полном порядке! Время летит, корнет, а

вы топчетесь на месте, вы пытаетесь затормозить грозный порыв нации, помешать взрыву ее справедливого гнева! Вы вонючий ублюдок, корнет! Через пять минут я жду доклада. Вы поняли, корнет?

Лекона молчал.

— Корнет! Я спрашиваю: вы поняли?

— Так точно, ваша мощь! Разрешите сообщить...

— Я разрешаю вам сообщить только одно: что машина в полном порядке! Вы понимаете, идиот вы безмозглый, что они там тоже не спят! Они готовятся! Вы можете представить своим куриным разумом, что будет, если они успеют ударить первыми?!

— Разрешите доложить, ваша мощь, — повторил Лекона, успевший уже несколько прийти в себя. — Мы делам все возможное. Создано звено, в которое входят лучшие специалисты и операторы. Дело идет на лад! Но нам нужно еще полчаса, ваша мощь, чтобы окончательно устранить все препятствия.

Несколько секунд было тихо. Потом Верховный Стратег сказал уже более спокойным голосом:

— Хорошо, корнет; полчаса — крайний срок. Но немедленно, слышите — немедленно! — мне нужны силы для местной операции. Команда Полководцу была дана уже давно, вам ее сдублировали, программа стандартная. Почему не осуществляется хотя бы эта операция?

— Ваша мощь, Полководец считает, что пока он не решил основной задачи, он не может тронуть с места ни одного солдата и ни одной машины.

— Корнет! Ваш Полководец — такой же смердящий выродок, как и вы сами. Можно сделать с ним что-нибудь, чтобы он дал провести хотя бы эту небольшую операцию — тут же, в городе?

— Боюсь, что нет, ваша мощь! Никто из нас не может приказать ему.

— Ах, вот как? Прекрасно! В таком случае, корнет, слушайте, и вы умрете со стыда! Я сам возглавлю сейчас войска! Лично я поведу их на это героическое свершение! Я, ваш Верховный Стратег, я, первый воин Планеты! Да вы должны сгореть со стыда и угрызений, зная, что я, доблестный и увенчанный многими лаврами воин, сам иду в пекло боя, в то время как вы, укрывшийся в безопасности казематов, не можете справиться с несколькими ящиками кристаллов, которые к тому же в вас не стреляют!

Высокая патетика речи Верховного Стратега, после которой всякому воину надлежало бы плакать горькими слезами, утирая их жесткими обшлагами форменного мундира, — патетика эта была под конец смазана тем, что Верховный вдруг, закон-

чив на высокой ноте, куда более спокойно и прозаически добавил:

— А через полчаса, если машина не заработает, я вас действительно расстреляю, корнет. И не думайте, что вам удастся сбежать. Нет, оттуда вы никуда не сбежите!

И на этом вмешательство высших сил в военную, торговую и прочую деятельность Полководца завершилось. Во всяком случае, на некоторое время.

* * *

У дома, указанного на карточке Сиды, Мин Алика постояла, нахмурившись, даже покачала головой. Это не был обычный жилой корпус, но что-то скорей напоминавшее казарму. Жаль. Значит, ни отдельной квартиры, ни, может быть, даже комнаты. И отдохнуть как следует вряд ли удастся... Но больше все равно идти некуда: не возвращаться же на дачу.

Мин Алика вошла. Так и есть: дежурная внизу, старая карга в форме Сил. Сейчас придется что-то придумывать... Однако дежурная останавливать Мин Алику не стала, только покосилась не очень доброжелательно. Ну понятно: живут здесь, надо полагать, одни лишь женщины, так что дежурная бережет порох для отражения неизбежных атак мужской половины человечества. «Безуспешно, конечно, отражает, — подумала Мин Алика с усмешкой, только мысленной, разумеется, — но хоть приличия соблюдаются. А я что же, я могу быть и здешней, тут явно не одна сотня женщин обитает, а в город они наверняка выходят чаще в штатском, чем одетые по форме, да женщинам это вряд ли и возбраняется во внеслужебное время... Четвертый этаж. Пойдем пешком по лестнице: дежурная сидит прямо перед лифтом».

Она поднялась на четвертый этаж, прошла почти в самый конец коридора и там обнаружила нужный номер. Постучала в дверь. Оттуда донесся женский голос: «Давай-давай!» Мин Алика вошла, заранее улыбаясь как можно радужнее.

Сида стояла полуодетая, на койку было вывалено содержимое той самой сумки (Мика узнала ее), которую капитан Урих притащил для дочери, через космическую пустоту провез, через заградительные (ничем себя не проявившие, впрочем) службы обеих планет. На лице девушки были ясно обозначены нерешительность и досада. Мин Алика подошла, встала рядом. Товар на койке был знакомый, вещички примерно ее уровня: видимо, контрабанда приносила капитану не очень-то большие дивиденды.

— А, привет, — сказала Сида, не особенно удивившись. — Ты прекрасно сделала, что зашла. А то бы я сейчас разревелась.

— Что-нибудь не так?

Сида взяла с койки розовую мохнатую кофточку, тряхнула ею в воздухе, бросила назад.

— Отец, я прямо не знаю, чем он думает... ну смотри: вот все, что он привез.

— По-моему, вполне прилично...

— Так ведь на двоих! Понимаешь? Если бы мне одной, еще можно было бы жить. А тут половину надо отдать сестре! Ну что тут можно отдать? — Она вытащила из кучи светлые летние брюки. — Это? А я в чем буду ходить летом? Или это? Она мне как раз идет — в тон юбке, он привез в позапрошлый раз, очень милая вещичка, я тебе покажу... Ну я просто не знаю — заставлять меня так нервничать перед самым дежурством...

— Не ломай головы сейчас. Перед дежурством и правда не стоит. Да и потом — дело поправимое...

— Что ты хочешь сказать?

— Думаю, что на Старой я ориентируюсь получше твоего предка. И где, и что, и почем. У него там и времени наверняка в обрез, да и вообще, ты же знаешь, как мужики: все на ходу, не глядя, «заверните...»

— Ну, ты! Но это, если бы ты была там...

— Я сюда очень ненадолго.

— Правда? Снова туда?

— Придется.

— Тоже коммерция?

— Попутно, — усмехнулась Мин Алика.

— А что же?

Мин Алика обняла Сиду за плечи, подвела к окну.

— Внизу, на площадке, видишь? Моя машина.

— Ого! — уважительно сказала Сида. — Значит, ты...

— Мы все поняли, правда? — прервала ее Мин Алика. — Так что приходится бывать и тут, и там. Летаю налегке. Отчего же не помочь? За услуги беру немного.

— Да, — сказала Сида, оглядывая Мин Алику, — Сплошь фирма.

— В дорогу, сама знаешь, лучшего не надевают.

— Ну ты просто молодец, что зашла. Прямо утешила меня. Если не шутишь.

— Ты мне понравилась сразу.

Сида глянула на Мин Алику с некоторым подозрением. Но решила, видимо, что опасаться все же нечего.

— И ты мне. — Сида вздохнула с сожалением. — Жаль, что пора на дежурство. А то посидели бы, поболтали, я бы тебя познакомила с девочками — мы бы тебе наладили нормальную коммерцию, нас ведь здесь много, и не все такие, как я —

есть из очень богатых фамилий, могут и приплатить, как следует, так что в обиде не останешься...

— Ну, неужели у вас коммерсанты спят?

— Да нет, у нас их навалом, только тряпками они не промышляют, не хотят возиться. Наша старшая смены хотя бы: что-то она продает и покупает, это я знаю точно, но что-то такое — военное. Мы ее просили не раз. Она говорит, что ее контрагенты на Старой — люди солидные, тряпьем интересоваться не станут, у них свой интерес. Да и мой родитель возит — одно железо. Если бы был серьезный коммерсант, если бы можно было не вслепую, а заранее выбирать, заказать... И не только тряпки, а и косметику хотя бы, ты представить не можешь, какой ужас — наша косметика, с нею выглядишь прямо какой-то страхолюдиной, а жизнь-то идет... А о том, что там, у вас, мы только слышим...

— Ничего, не унывай, — сказала Мин Алика покровительственно, похлопала Сиду по голому плечику. — Я ведь не зря к тебе пришла. Пожалуйста — смотри, заказывай, сколько душе угодно!

Она раскрыла сумочку, широким жестом бросила журнальные кассеты на кучу барахла на койке. Сида до предела раскрыла глаза. Схватила одну кассету. Вторую.

— «Элиан»! — проговорила она с придыханием. — С ума сойти!..

— За весь год. Все сезоны. Что угодно. Для любых широт.

— «Элиан», шутишь! Святая Лема! Поверишь, первый раз в жизни держу в руках «Элиан». Да еще самые последние номера!

— Ты смотри, смотри. Тут не только «Элиан»!

— Ну-ка, ну-ка... Ой! — Не выпуская кассеты, Сида приложила кулачки к щекам, качая головой от восторга, словно от боли. «Дом Космино»! Господи, никогда бы не поверила...

— А вот это? Как тебе?

— Ой! — только и осталось у Сиды от волнения. И еще раз: — Ой!

Без стука распахнулась дверь, вошла молодая женщина — в форменном мундирчике, брючках, причесанная, готовая к несению службы.

— Сида! Господи, ты еще и не одета? Что же ты, милая! Время!

— Нира! Да ты посмотри, какая прелесть!

Нира оценила журналы по достоинству.

— Надо же! Посмотрела уже? Дашь подержать?

— Да когда же я могла! Она вот только пришла, а тут дежурство...

Нира внимательно оглядела Алику.

— Твои? Оставишь на время?

Мика покачала головой:

— Я бы с удовольствием, девочки. Но мне и еще надо показать. Сами понимаете: дело есть дело. Я ведь тут ненадолго. Жаль, что не угадала. Думала, посидим вечерок, посмотрим, выберете что-нибудь, договоримся... А у вас дежурство, оказывается. Просто жаль.

— Ну, видишь, Нира? — Сида чуть не плакала. — Такое невезение! Раз в жизни есть возможность — и вот тебе! Хоть вешайся, право!

Нира взвесила кассету «Элиана» на ладони. Секунду о чем-то подумала. Повернулась снова к Мин Алике.

— Ты говоришь, вечер у тебя свободен?

— До утра. Но ведь у вас суточное...

— Все ясно, — решительно изрекла Нира. — Поехали с нами.

— С вами?

— В Страту. Там тихо, спокойно. Никто не помешает. Посмотрим, выберем, договоримся. Еще девочек позовем. Чтобы тебе не терять времени.

— Нира, — сказала Сида, — что ты? Там же Выдра!

— Ничего. И проведем, и поужинаешь там с нами, и позавтракаешь.

— Девочки! — сказала Мин Алика. — Я умираю спать...

— И прекрасно! Уложим тебя в спаленку. У нас там все есть, мы же все-таки женщины, суточное дежурство — не шутка, вырвали у начальства, отдыхаем по очереди. Поужинаешь, и — бай-бай, а мы тем временем разберемся.

— Дешифратор у вас там найдется?

— Дешифратор! — презрительно усмехнулась Нира. — Мы это зарядим в Страту, она даст такие картинки... Это у тебя объемный вариант или плоский?

— Объемный, девочки, увеличение до натурального.

— Так что и примерять можно?

— Пока не надоест.

— Все! — сказала Нира категорично. Собрала кассеты, засунула в свою объемистую служебную сумку. — Полный порядок.

— Да Нира же! Я боюсь, не вышло бы плохо... При теперешнем положении...

— Положение — это их забота, — Нира решительно вздернула голову, как бы указывая вверх. — Свое дело мы делаем. Страте самой будет интересно. Все-таки она у нас многому научилась, хотя и не живая... — Она подошла к Сиде вплотную, обняла за талию, прижала к себе, поцеловала в плечо. — Не бойся, крошка. Выдра нам ничего не сделает. — Она снова оглядела Мин Алику, на этот раз критически. — Так не годится. Ничего. Сделаем. Фигура у тебя примерно моя. Сида! Через

пять минут чтобы была в полной форме! Я сейчас принесу свой комплект. — Она кивнула Мин Алике. — Переоденешься. Будет легче пройти. — Кинула взгляд на часы. — Плохо, что опаздываем. Будет сложнее: Выдра не пропустит просто так, начнет заедаться.

— Не опоздаем, — сказала Мин Алика. — У меня машина.

— У нее вездеход, — дополнила Сида, вытаскивая из шкафа форменную одежду. — Вон, под окном. Высшего класса!

— Только я не знаю дороги.

— Пустишь за руль?

— О чем разговор, Нира!

— Тогда порядок. Давайте, милые. — Нира внимательно оглядела Алику еще раз. — А ты ничего. Жаль, что ненадолго. Ладно. Через пять минут выходим. Не тушуйтесь. Все будет, как надо.

* * *

— Ну, что захандрили, орлы? — спросил Амиша. — Начальство выругало? Без этого не бывает. Имеем полчаса спокойного времени. Жаль только — упустили связь. Лекона! Будь добр, восстанови. Я ведь так ничего и не успел.

— Малыш, как там твой канал — не ушел?

— Вероятность уменьшилась. Лекона. Но я ищу.

Снова наступила тишина. Форама, наклонившись к Хомуре, почти шепотом попросил:

— Объясни, пожалуйста, что тут происходит? Неужели действительно у Полководца прямая связь со Второй?

Хомура кивнул:

— Почти с самого начала.

— Лихо! — покачал головой Форама. — И очень разумно. Не думал, что об этом смогут договориться.

— Никто и не договаривался. Думаешь, это было предусмотрено? Ничего подобного. Это они сами...

— Полководец и эта их машина?

— Конечно. Никого не спрашивая.

— Как же это могло получиться?

— Да естественно же. Можно было предвидеть такой оборот заранее. Посуди сам. Полководец постоянно бодрствует. Анализирует обстановку непрерывно. Получает информацию не только с планеты, но и из космоса. Это все нормально, так он устроен: ему надо знать, допустим, какая информация идет с той стороны на их бомбоносцы. Пусть он ее и не расшифровывает, но уже сам факт обмена дает не так уж мало...

— Кстати: думаешь, он не в состоянии расшифровать те команды?

— Не знаю... — неохотно пробормотал Хомура. — Думаю, что может. Мог бы. Но, видимо, не хочет. Может быть, между ними — такое соглашение? Об их взаимном обмене, малыша и Страты, мы имеем нулевое представление. Знаешь, у детей всегда есть свои секреты.

— И никогда не пытались?..

— Зачем? Практически безнадежно. Да и это никому не мешало. Свое дело Полководец делал.

— И при этом он готов начать войну против своего... собеседника?

— Против нее? Не знаю, может быть и нет. Но ведь против Суперстраты он и не воюет. Может, это у них игра своего рода: кто кого. Шахматы на их уровне. — Хомура вздохнул. — Когда создаешь такое устройство, которое совершенствует само себя, настает миг, когда его сложность превышает доступный тебе уровень понимания. И начиная с этого момента можно только гадать о том, что он на самом деле думает и делает — кроме того, о чем докладывает. Лично я сто раз подумал бы прежде, чем запускать такую машину. Да ведь у нас всегда видят ближайшую выгоду, а чем она может обернуться в дальнейшем — об этом подумать некогда, да и некому.

— Интересно, — пробормотал Форама, — интересно... Значит, практически он может позволить разговаривать непосредственно с людьми там, в том центральном посту...

— Ты ведь слышал сам.

— Да, надо только осмыслить... Почти невероятно, конечно. Но если она действительно там... то все может кончиться самым лучшим образом для нас. И для всех.

— Не понял.

— Объясню. Сможешь ли ты дать мне возможность сказать тем людям несколько слов?

— При чем тут я? Дежурит Лекона, а позволить тебе разговаривать или нет — это уже целиком дело самого малыша. Попроси. Кажется, ты его заинтересовал. Мы ему, я думаю, давно уже надоели, нас он исчерпал до конца.

— Ты говоришь так, Хомура, словно тебе от этого горько.

— А ты как думал? Я тебе уже говорил: мы его любим.

— Машину...

— И машину можно полюбить. А потом, если ее проявления похожи на человеческие, если ты слышишь не запись придуманного и сказанного другим человеком, а продукт деятельности самой машины, то не все ли тебе равно, возникло ли это в кристаллах или нейронах? Можно, конечно, говорить о душе. Но только когда мы найдем ее у себя, мы сможем как-то судить об отсутствии ее у других. А высшая нервная деятельность — почему бы и нет? Я даже думаю...

Хомура умолк потому, что заговорил малыш:

— Лекона? Ну говори. Я нашел.

— Страта! — во весь голос рявкнул Амиша. — Сида, милая!

— Я слушаю.

— Нашли мою старую любовь?

— Только для тебя.

— Твой должник! Дай ей говорилку! Здравствуй, моя прелесть! О твоем драгоценном здоровье — после дела. У меня готов товар. Необходимо срочно переправить. У меня нет кораблей!

— Трудно, Амиша, — прозвучал со Второй планеты резкий, ничуть не приглушенный расстоянием голос. — Рейсов не хватает. Капитаны боятся выходить. Все системы стали слишком нервными. Того и гляди, сшибут, когда и не ждешь. Так они говорят.

— Бриллиант мой, ничего не хочу знать. Соглашение было ясным. Я обеспечиваю товар, ты — доставку.

— Помню. Кто мог предвидеть такое положение? Выждем, Амиша.

— Чего ждать? Чего? Пока все не загорится синим огнем? Сама же стонешь о положении! Послушай! Я не собираюсь шутить с тобой! Не забывай, что твой счет у нас открывал я, и он под моим контролем. И какой бы убыток я ни понес из-за тебя на этой партии, я возмещу все за твой счет! Пусть даже ты останешься без единого медяка! Я не благотворитель! И жалеть тебя не собираюсь!

Он совсем разошелся, брызгал слюной, тряс кулаками и кричал, не давая ответить. Наконец, с той стороны смогли вставить словечко. на этот раз голос звучал устало.

— Знаешь, Амиша... Если все действительно поворачивается так, как тут говорят, то на черта мне твой счет и все прочее? Да и тебе тоже. Если все погибнет...

— Пока что гибнет коммерция! — заорал Амиша. — А все прочее — болтовня! Пустые страхи! Не слушай их! Не знаю, кто там у вас панику сеет, но у меня тут вот в затылок дышит один такой слабонервный из яйцеголовых, тот самый, который всю эту историю выдумал; что же ты думаешь, я его испугаюсь?..

Он умолк, давай партнерше на другом конце канала возможность окончательно решить и дать ответ. Но там слышался какой-то непонятный шорох только — или это космос шуршал в динамиках?.. Потом голос раздался; не тот, другой, бесконечно милый Фораме:

— Форама! Ты там? Ты у них? Отвечай!

И, с неожиданной силой оттолкнув опешившего Амишу, только что названный по имени крикнул:

— Мика! Это я! Мика, прекрасная моя!..

* * *

Ну, естественно, это была она — кому другому сейчас пришло бы в голову вызывать Фораму, обретавшегося в железобетонном каземате в сотнях метров под поверхностью Старой планеты, — вызывать, находясь в похожем каземате, тоже в сотнях метров под поверхностью планеты — только Второй? Мин Алике, конечно.

Центральный пост Страты и в самом деле напоминал тот, другой — только здесь явственно пахло духами, и на обширных контрольных пультах, там, где расступались шкалы и индикаторы, были приклеены яркие картинки, изображавшие породистых собак по соседству с не менее породистыми лошадьми, а также породистых мужчин и — в меньшем количестве — породистых женщин.

Мин Алика успела уже освоиться здесь. Правда, было тесновато: представительниц женского пола набилось сюда значительно больше, чем было предусмотрено всеми расчетами, порой даже трудно было дышать; хорошо еще, что большинство женщин не курило, а если кому очень уж хотелось умерить волнение хорошей затяжкой — та выходила в туалет. Оказывается, дежурные по Страте вовсе не никли здесь положенные им сутки в печальном одиночестве: в глубоких подземельях располагалось обширное хозяйство — и по наблюдению и ремонту Страты (если бы она в чем-то не сумела обеспечить собственную исправность), но главное — тут же, по соседству, ответвляясь от той же самой шахты, располагались убежища для деятелей Круглого Стола и иных высокопоставленных персон; все они группировались, словно планеты вокруг солнца, вокруг просторного императорского убежища, устроенного с таким расчетом, чтобы император чувствовал себя тут в случае чего вовсе не хуже, чем во дворце Суама, где обитал обычно. Конечно, настанет ли это «в случае чего», и когда именно — никто не знал, но именно из-за этой неопределенности убежища постоянно находились в готовности и могли принять своих гостей — а вернее, хозяев — в любой миг дня и ночи. А следовательно, в убежищах и сопутствовавших им службах жизнеобеспечения постоянно и непрерывно находился полный штат обслуживающего персонала, начиная с уборщиц и горничных и кончая резервными секретаршами — на случай, если те, что были наверху, не успеют вовремя последовать за своими патронами. Существовала тут, внизу, и резервная канцелярия государства, со всем низшим персоналом — на тот же случай. Потому и народу здесь было много — десятки, если не сотни человек, и процентов на девяности пять это были, разумеется, женщины. Так что Нире и Сиде было из кого выбрать, кому они хотели продемонстрировать привезенное

Мин Аликой; выбрать с таким расчетом, чтобы подкрепить старые или наладить новые связи с теми, с кем был смысл такие связи налаживать, а также и для того, чтобы обеспечить Мин Алике прибыль, — ради которого, по их мнению, Алика все и затеяла. Разумеется, она их в этом не разубеждала.

Когда она, переодевшись в запасную форму Ниры (брюки были слишком просторны в бедрах, с этим пришлось примириться, а все остальное соответствовало вполне), вместе с обеими женщинами подъехала на своем (теперь уже) вездеходе ко входу в подземелье, Мин Алика удивилась. Она знала, как выглядело соответствующее место на Старой планете: обширное каменистое пространство за непроницаемым, пяти метров в высоту, забором из железобетона, а сверху — медные шины под током, а в круглых башенках через каждые полсотни метров — огнеметы с обслуживающей командой. В середине круглого пустыря — низкое угрюмое бетонное же здание — контроль входа и выхода, а в центре его, наверху — вход в шахту, находящийся под постоянным прицелом; в эту шахту могли беспрепятственно нырять и снижаться до самого дна воздушные катера немногих наиболее ответственных служителей Обороны, это было для того сделано, чтобы с минимальной потерей драгоценного времени восстановить плодотворную связь между живым и неживым стратегическими разумами планеты, чтобы прервалась она — и то лишь частично — только на минуты, потребные для перелета катера от резиденции Верховного, или от Высшего Круга в центральный пост Полководца. Надо, впрочем, заметить, что нынешний Верховный Стратег ни разу так и не побывал внизу; собирался многократно, но все что-то мешало; предыдущий же Верховный, ныне навеки упокоившийся, был однажды: в день торжественного включения Полководца. Так что за все последние годы вельможный катер лишь однажды опускался в эту шахту — и то, как мы знаем, чтобы доставить вниз Фораму Ро в обход бдительного контроля. Остальной же транспорт — тот, у которого было право въезда в ворота, — оставался на обозначенной желтыми линиями стоянке метрах в ста от входа. Мин Алика, собственно, сама там, конечно, никогда не была, но как все это выглядело и как было устроено, знала досконально, потому что ей знать об этом полагалось; Олим так считал.

А здесь впечатление было такое, что въехали они в сад, даже не в сад — в обширный парк, где и деревья стояли, и цвели цветы, и зеленела трава, поскольку промышленности не было поблизости, и даже — если бы не наступил уже на Второй планете поздний вечер — чего доброго, пели бы птицы и порхали бабочки. Когда-то, объяснили Мин Алике ее спутницы, здесь было угрюмо, так что даже приближаться к месту службы каждый раз приходилось, преодолевая возникавшее в

душе какое-то неприятное чувство: почему-то кладбищем несло от этого места, хотя никогда и никого здесь, насколько известно, не хоронили. Служить в таких условиях женщины не желали. Стали добиваться улучшений — и добились, мотивируя тем, что в такое угрюмое место Его грандиозность государя даже привезти стыдно, кто возьмет на себя ответственность за оскорбление его эстетического чувства? Кроме того, применялись иные, чисто женские средства убеждения. И вот здесь разбили красивый парк, и обошлось это, по сравнению с тем, во что вскочило строительство самого подземного комплекса, в какую-то ерунду, просто в карманную мелочь.

Парк этот, в котором оказалась Мин Алика, как-то сразу давал понять, что здесь — царство женское, и порядки тоже женские, которые в чем-то строже и формальней мужских, а в чем-то наоборот. На контроле, куда новые подруги, нимало не мешкая, потащили Мин Алику (обойти это узкое место было никак невозможно), сидела тоже женщина, не очень молодая и не очень пригожая, но явно переживающая некую ностальгию по первому и грызущую тоску по второму. И ей здесь было самое место, потому что женщинам помоложе и покрасивее — а таких здесь, как нетрудно догадаться, было большинство, — она ничего спускать не собиралась и никаких поблажек не делала. Но с нею было разыграно все, как простенький вальс в первоклассном оркестре. Она еще только нацелилась в Мин Алику глазами, только еще стала открывать рот, чтобы произнести слова запрета, и только еще дрогнула ее короткопалая рука, чтобы затормозить вертушку, как вдруг все остановилось, потому что в поле ее зрения возникла кассета с тоскливо знакомой каждой нормальной женщине фирменной эмблемой «Элиана», и бдительная охранница даже несколько задохнулась. Кассету держала в пальцах Нира, которая тут же, приблизив губы к охранному уху, зашептала, что редкостный случай, и открываются колоссальные возможности, и что сейчас они организуют внизу — только для избранных — примерку по кассете, и что пусть охранница срочно найдет кого-то, кто может подменить ее на контроле хотя бы на полчаса, а лучше если на полный час, потому что она, разумеется, принадлежит к самым избранным, обладает всяческим приоритетом и ее будут непременно ждать внизу, на примерке и обозрении, и заказы от нее примут в первую очередь, и без наценки, и пусть она ни в коем случае не возражает, потому что этим всех только смертельно обидит, но никаких отказов от нее все равно не примут, испытывая к ней, как ей и самой известно, глубокое, неизменное и постоянное уважение. Бдительная охранница, собственно, еще даже не поняла, почему она должна отказываться; она и не собиралась, и хотя ее не очень острый слух ощутил все же какую-то

фальшь в том месте, где говорилось о неизменном к ней уважении (найти подтверждение этого в прошлом было бы затруднительно, Нира же, как было известно решительно всем, вообще никого не уважала), тем не менее охранница все согласнее кивала на каждое новое заявление и приглашение, а когда она кивнула в последний раз, Сида и Мин Алика успели уже опуститься в лифте самое малое на две трети всей глубины шахты. Собственно, охранница о них больше и не думала, лихорадочно соображая, кто же мог бы подменить ее на часок и во что это ей обойдется. Пока Нира спускалась вниз, вдогонку нарушительницам режима, Сида уже успела заправить первую кассету в демонстрационное устройство Страты (предназначенное, собственно, для несколько иных целей, а именно — для расшифровки фотоснимков, сделанных с летательных аппаратов, атмосферных и заатмосферных) и включила его. Даже Мин Алика не могла не восхититься качеством объемного изображения; регулируя, его без труда довели до нужной величины, объемное изображение платья, переливаясь красками, как бы повисло в воздухе, выступая из демонстрационного табло, и стоило вам подойти и совместиться с ним, как возникало впечатление, что вещь эта на вас надета, а если было еще и достаточно большое зеркало, то вы могли любоваться в нем своим отражением в сногсшибательном туалете и делать соответствующие выводы. А зеркало тут было; правда, не в самом центральном посту, а в спаленке, но ради такого случая первые же приглашенные участницы небывалой демонстрации мод перетащили его туда, куда нужно было. И начался великий, пьянящий, обнадеживающий и многообещающий праздник линий, красок и фантазии; и сколько эмоциональной энергии было излучено в тесноватом подземном зальце! Мин Алика, повинуясь общему настроению, и сама не удержалась, примерила два изделия и осталась довольна, и сделала зарубку в памяти. Центральный пост был полон женщин, преимущественно молодых, и главным образом полураздетых, на три четверти раздетых и на четыре пятых тоже, потому что никто не позволил бы себе оскорбить торжество, ныряя в объемное изображение в военном мундире, хотя бы и сшитом по фигурке; что же касается белья, в котором они перед примеркой оставались, то его был на них минимум, потому что внизу вообще было тепло, даже жарковато, а мундиры все же шились из положенного, не очень воздушного материала, и под форму обычно надевали только то, без чего было бы уж слишком неприлично и неприятно. Вот такая была обстановка, и просто жаль, что не оказалось там ни одного представителя противоположного пола, который смог бы по достоинству оценить эту картину; впрочем, если бы его не растерзали еще на подступах, то он, прорвавшись, тут же свалился бы в тяжелом

сердечном приступе, оказавшись не в силах перенести такое обилие красоты, грации, молодости, слез, а может быть, и зависти, и разных не совсем честных мыслей, и всего прочего. Но ничего не поделаешь — такого представителя не нашлось. Да. Жаль.

Именно в такой разгар пиршества душ свалилась на них пресловутая Выдра — старшая смены. Мин Алику еще за миг до того запихнули в спаленку, но шторм все равно разразился. Моды и все такое Выдру не интересовали: она выслуживала последние месяцы и больше всего боялась, что за эти месяцы во вверенной ей смене возникнет какой-либо беспорядок, которым можно будет воспользоваться, чтобы ущемить ее, а не чьи-нибудь иные, пенсионные права — в то время как у нее вся предстоящая пенсия была уже рассчитана и распределена до последнего кругляшка: ведь с уходом ее отсюда и коммерческая ее деятельность, сразу или постепенно, но должна была угаснуть. Так что на яркую тряпку или фигурный флакончик духов Выдра не клевала. В момент ее появления одна из секретарш императорского убежища, только что успев разоблачиться до полоски и треугольничка, вступила в восхитительный туалет для морских прогулок, пригодный также для того, чтобы сходить на берег и появляться в приморских ресторанах. Невольный вздох прошелестел в центральном посту, когда секретарша, обладавшая крайне выразительной фигуркой и недурным личиком, вдруг предстала перед подругами в этом новом качестве, так что сразу можно было понять, чего она стоит и какой судьбы заслуживает. Сида, еле уловимыми движениями поворачивая верньеры подстройки, только что успела подогнать изображение точно к модели — и тут-то Выдру и угораздило свалиться им на головы.

В первый миг старуха даже растерялась: такого на ее памяти в Силах не случалось, и ничего подобного она ожидать не могла. К чести ее надо сказать, что опытная воительница почти моментально пришла в себя и сделала решительную попытку овладеть положением.

— Всем стоять смирно! — заорала она своим резким, пронзительным голосом. — Молчать! Публичный дом! Военным к правой стене, шлюхам к левой! Дежурный оператор, ко мне!

Сида нерешительно шагнула.

— Бегом, бегом! — поощрила ее ветеранша, хотя разделяло их каких-нибудь четыре шага, и пробежать их не было никакой возможности, потому что в этом пространстве находились сейчас, самое малое, три других женщины. — Переписать всех! Никого не выпускать! Вызвать службу охраны!

Сида уже была готова выполнить приказание. Но тут красавица из императорской канцелярии, вконец раздосадованная тем, что ее маленький триумф был смазан и сорван, не спеша

вышла из все еще висевшего перед демонстрационным табло изображения и вызывающей походкой приблизилась к представительнице командования.

— Что этот мешок с требухой тут расквакался? — спросила она намеренно нагло. — Если она ничего не понимает, пусть убирается на кладбище — вспоминать о давних временах, когда она была еще женщиной. Если вообще это имело место.

Если прелестная секретарша хотела спровоцировать Выдру на какое-либо рискованное выступление, то расчет ее, к сожалению, не оправдался: за долгие годы службы старая дама научилась, по крайней мере, владеть собой. И вместо того, чтобы наброситься на почти голую девицу с кулаками (хотя у нее и чесались руки) ограничилась тем, что скомандовала немногим здесь успевшим одеться более или менее по форме:

— Ты! И ты! Эту взять и держать! Не позволяйте ей одеться, пока не придет охрана! Сейчас я вызову резервную смену операторов, и мы с вами начнем разбираться в другом месте.

Это прозвучало неутешительно, и две девушки из Сил, на которых указал палец Выдры, неохотно, но все же недвусмысленно стали проталкиваться к секретарше. С другой стороны, женщины из персонала убежищ, испытывая бессознательную неприязнь ко всякому, кто пытался обходиться с ними, как с военнослужащими, в то время как они чрезвычайно гордились тем, что к Силам не принадлежали, — эти женщины стали без всякой команды придвигаться к секретарше, чтобы затруднить доступ к ней. К тому же и сама дева подлила масла в огонь, предупредив, что всякой, кто посмеет до нее дотронуться, придется иметь дело с людьми такого уровня, какие размажут Выдру по стенке и даже не заметят этого. После такого заявления Выдра совсем рассвирепела и выразилась в том смысле, что сопротивление в боевой обстановке, — а здесь обстановка, безусловно, приравнивалась к боевой, — дает ей полное право применить оружие. И она действительно полезла за своим маленьким, но все же исправным пистолетом, к тому же заряженным боевыми патронами, которые, правда, после дежурства следовало сдать. И трудно сказать, что произошло бы в центральном посту Страты в ближайшие минуты, если бы именно в тот миг не раздался вызов дальней связи.

На этот раз Выдра была застигнута врасплох. Она-то знала, зачем ее могли разыскивать с вражеской планеты, но не имела ни малейшего желания посвящать в свои дела такое множество женщин, к тому же враждебно настроенных. Поэтому Сида, правильно истолковав пронзительный взгляд и предельно выразительные жесты своей начальницы, заявила, как мы уже

знаем, что старая дама отсутствует. Выдра, получив минимальную передышку, замахала руками на собравшихся, на этот раз уже не желая задержать их, но, напротив, стремясь как можно скорее очистить помещение от всех непосвященных. И наглая девица, которую уже готовы были схватить и держать, даже не поспешила использовать неожиданную перемену в поведении и замыслах Выдры; оттого, может быть, что имела и сама некоторое представление о такого рода коммерции, в которой Выдра, вне сомнения, была фигурой далеко не самой крупной. Так что секретарша, иронически подмигнув грозной противнице, неторопливо направилась, выразительно покачивая бедрами, к своей одежде, столь же неторопливо оделась, — в это время как раз наступил перерыв в связи, вызванный, как мы знаем, претензиями Верховного Стратега, — и, крикнув: «Девочки, вы только не отдавайте журналы, там столько интересного, просто обидно, что эту мымру принесло!» — кивнула своим, и женщины из убежищ стали организованно покидать поле боя и расходиться по своим служебным постам. Их примеру куда более поспешно последовали принадлежавшие к Силам, и в конце концов в центральном посту остались Выдра, Нира и Сида, не считая Мин Алики, которая действительно уснула в спаленке и, таким образом, не приняла никакого участия в завершавшемся инциденте.

Разумеется, для Выдры и эти две были излишними. Но их удалить было никак невозможно: они, напротив, не имели права покидать помещение до истечения суточной вахты, невзирая ни на какие приказы. И поскольку старая коммерсантка понимала, что вызов с той стороны неизбежно повторится (ради какой-нибудь мелочи вызывать в неурочное время ее не стали бы), и таким образом обе девицы станут, вольно или невольно, свидетельницами ее переговоров, постольку она решила не идти на дальнейшее обострение отношений, но посмотреть на сценку, свидетельницей которой стала, тоже как на своего рода коммерческое предприятие, недостатком которого было лишь то, что оно возникло не совсем вовремя и совсем не в том месте, где следовало бы. Но так или иначе, сейчас менее всего были бы уместны угрозы, явные или скрытые. Это вполне устраивало и другую сторону, и время, прошедшее до возобновления сеанса связи с Полководцем, было использовано для взаимного успокоения при помощи самой тонкой дипломатии. В результате к моменту повторного появления в эфире супер-корнета Амиши мир и взаимопонимание были достигнуты. И когда коммерческие переговоры возобновились, все шло более или менее нормально до той самой секунды, когда с той стороны донесся взволнованный голос Форамы Ро.

Девушки в центральном посту еще не успели сообразить, как же им поступить, когда из спаленки вылетела еще одна полуодетая — на сей раз то была Мин Алика, — и, одним движением оттеснив от микрофона Выдру, ответила тому, кто звал ее с такой тоской и надеждой в голосе.

* * *

— Мика! — выговорил Форама. — Мика, сила моя, любовь моя, жизнь моя!..

Он словно забыл, а еще вернее — просто наплевать было Фораме, что в этой же комнате находилось еще трое мужиков, которые не могли не слышать его слов, да и не старались даже притвориться, что не слышат. Мужики эти наверняка таких слов в своей жизни не употребляли — и не потому, что не испытывали похожего чувства, но потому, что дурное представление о присущей якобы воинственному полу сдержанности делало эти слова как бы незаконными и уж во всяком случае недостойными истинного мужчины, что на самом деле, конечно, является ущербной философией или, попросту говоря, собачьим бредом. Фораме сейчас было все равно, слышал его еще кто-нибудь или нет, — да хоть бы весь Высший Круг собрался сейчас окрест него вместе со всей свитой и прислугой — какое это могло иметь значение, если сейчас его слышала она, Мин Алика, которой он уже говорил подобное сутки с лишним назад, но за это время так много чувств и слов опять накопилось в нем, и так сильна была боязнь, что он не сумеет высказать их так, чтобы она услышала, — одним словом, такие эмоции сейчас дышали в нем и двигали им, что он говорил в том состоянии транса, самозабвения, отрешенности от всего мирского, низкого, в каком, возможно, обращались к народам пророки — хотя последнее еще можно оспаривать.

— Мика, не знаю, как я жил, не видя тебя, не зная о тебе, боясь за тебя... Это не жизнь была, но какое-то механическое действие — по заданной программе, но без сердца и без чувства, потому что ты взяла их с собой, ты унесла мою душу, и если какая-то сила еще двигала мною, то одна лишь надежда увидеть, слышать тебя — в мире не осталось других сил. Я ни на минуту не поверил бы, что смогу сделать то, что мне нужно сделать, если бы у меня не появилась ты — и своим существованием заставила поверить в то, что я смогу и сделаю все, и сделал бы вдесятеро больше, если бы потребовалось, чтобы только оказаться снова рядом с тобой и смотреть в твои глаза, и видеть твою улыбку, Мика, я даже не жалею сейчас, что сколько-то лет прошло в моей жизни, когда я еще не знал тебя, и даже узнав — не понимал еще, кто ты и что ты для

меня. Не жалею, потому что для всей жизни этого было бы слишком много, чрезмерно для слабых человеческих сил, и я захлебнулся бы, если бы чувство переполнило меня раньше, когда я был еще не в состоянии ощутить всю огромность его. Но сейчас — пусть совершится что угодно, пусть меня не станет в самом скором будущем — но уже то, что я могу сейчас говорить так, что ты слышишь меня, — окупает для меня все плохое, что еще может произойти, я готов и согласен на все, потому что сейчас могу сказать тебе: ты мой свет, мое дыхание, мое небо, моя планета, прошлое и будущее, ты — я сам, и ты — все, кто выше меня... Мика, я снова услышал твой голос, и если он сейчас зазвучит еще раз и я смогу опять утонуть в нем — я буду совсем счастлив, прекрасная моя, мое солнце, мое море — совсем счастлив, слышишь?

Форама умолк — не хватало дыхания, что ли, — и находившиеся рядом смотрели на него с выражением странного непонимания и преклонения — как смотрят на человека, заговорившего вдруг на непонятном, но исполненном силы и музыки языке, заговорившего не с одним из них, этого языка не знающих, но с кем-то высшим, с кем только и можно так разговаривать. Форама стоял неподвижно какие-то мгновения, нужные для того, чтобы его голос дошел до Мин Алики и чтобы ее слова преодолели расстояние в обратном направлении.

— Форама, милый, — услышал он наконец. — Я счастлива, что снова прозвучал твой голос, открывший мне так недавно, что в жизни существует счастье, и что голос твой произнес те самые слова, какие были мне нужны, чтобы понять, что есть в нашем существовании высокий и глубокий смысл, и он заключается в том, что я — для тебя, как ты — для меня. Ты говоришь так прекрасно и так понятно для меня, что, наверное, всю жизнь, сколько бы ее еще ни оставалось впереди, я готова не слышать ничего другого — только бы ты повторял это... Спасибо тебе, любимый мой, за то, что я нужна тебе, за то, что ты меня помнишь и обо мне думаешь. Я даже не знала, что могу сказать тебе что-то подобное, хотя я все время думала о тебе, но получалось как-то без слов, потому что я уверена, что ты и без слов понимал и чувствовал, что я о тебе помню и думаю, и тоскую, и жду, и надеюсь, и готова на все, чтобы только это снова стало такой же реальностью, какой уже однажды было... Не сомневайся, светлый мой — мы сделаем все, что нужно, и мы снова встретимся, и на каких бы планетах мы ни находились, мы просто не можем, никак не можем потерять друг друга, потому что каждый из нас оставляет для другого в пространстве светящийся след, которому никогда не суждено погаснуть. Я не могу, не умею говорить так прекрасно, как ты, но говорю и повторяю тебе, Форама: я

люблю тебя, я люблю и буду любить тебя всегда, и ты всегда будешь отвечать мне только этим!

Мин Алика тоже прервалась на мгновение, потому что такие слова не даются легко, они несут в себе громадную энергию, и энергию дает им тот, кто их произносит — если, конечно, слова настоящие, а не шелуха, какая произносится для того только, чтобы отвлечь внимание другого и вызвать у него легкое головокружение. И в молчание, наступившее после ее слов, явственно для Форамы и окружавших его вступил другой голос с той стороны, уже знакомый, резкий и пронзительный, выговоривший четко:

— Ну уж эту стерву я выпущу отсюда только в бессрочную каторгу! И вы, идиотки, пойдете вместе с нею! Допустить шпионку с той планеты в центральный пост стратегии! Нет, девки, уж это вам не пройдет безнаказанно, уж об этом я...

Видимо, Выдра успела оценить ситуацию. Нарушение действительно, если подойти к нему по всей строгости закона, было тягчайшим, и лиц, обвиненных в страшном преступлении, вряд ли станут слушать, даже если они начнут болтать что-то о ничтожных злоупотреблениях самой Выдры. Все понимают, в конце концов, что без коммерции не проживешь, а раскрытие подобного преступления сразу поставит Выдру на позицию, неприступную для мелких злопыхателей. Так поняла Выдра, и уж этот шанс отделаться от непрошеных свидетелей она решила использовать до конца.

— Мика! — крикнул Форама, когда Выдра еще не успела договорить свои угрозы до конца. — Что там, Мика? Кто там?..

Но он не получил ответа, а еще через секунду малыш доложил:

— Связь прервалась. Канал ушел. Теперь надо ждать от трех часов до трех часов пяти минут, раньше условий не будет.

— Чтоб тебе сдохнуть! — пожелал Фораме чуждый сентиментальности Амиша. — Я так и не добился никакой ясности. Ну, пусть старая корова пеняет на себя. Я сниму полную стоимость прицелов с ее конта. А там посмотрим...

И с этими словами он покинул центральный пост столь же стремительно, как и возник в нем.

— Три часа... — пробормотал Форама, вряд ли услыхавший хоть слово из всего, сказанного супер-корнетом. — Это невозможно. Я не могу три часа бездействовать, в то время как с нею происходит что-то... что-то ужасное, быть может. Нет, Хомура, не может быть, чтобы никак нельзя было попасть туда.

— В наших силах — все и ничего, — ответил Хомура, криво усмехнувшись. — Пока флот еще существует, он находится в полном подчинении Полководца. Но по известной тебе

причине малыш пока не может — или не хочет — переместить ни одной боевой единицы. И мы возвращаемся туда, откуда вышли, мар Форама.

— Да, — спохватился Форама, — я и забыл. Полководец, информация... война. Да, война. И Перезаконие тяжелых. Но она там одна, без защиты, маленькая, хрупкая женщина... Малыш! Неужели ты не захочешь помочь мне?

— Может быть... — после коротенькой паузы отозвался Полководец. И хотя голосу его были чужды модуляции, Форама готов был поклясться, что он уловил в этом голосе раздумье. — Может быть, Форама. Если ты сначала объяснишь мне некоторые вещи, для меня непонятные.

— Если смогу, малыш. Только давай побыстрее! — и тут же поднял руки к ушам. — Что за дикий свист!

— Я могу и с такой скоростью, Форама, это ты медлишь. А теперь скажи: что это было?

— Что именно?

— То, о чем ты только что разговаривал с другим человеком. О чем вы говорили?

— Мы говорили о любви.

— Значит, это и есть любовь?

— Да.

— Раньше ты говорил мне не совсем так.

— Любовь бывает разной, малыш. Например, Хомура и Лекона тоже любят тебя. Но это не совсем та любовь.

— Та сильнее?

— Да. Намного.

— Потому, что там — человек, а я не человек?

— Нет, малыш. Вовсе не поэтому. Хомура — человек, и я тоже человек, но мы с ним не можем чувствовать так и разговаривать друг с другом так, как говорили мы с тем человеком.

— Почему?

— Потому что... Ты знаешь, конечно, малыш, что люди делятся на две половины, в чем-то похожие, а в чем-то совсем разные?

— Конечно, знаю. Люди делятся на вооруженные силы и мирное население.

— Тоже верно, малыш, но я не об этом. А о том, что люди делятся на мужчин и женщин — об этом ты разве не знаешь?

— В моей информации упоминаются и те, и другие. Но разница мне не полностью ясна. Знаю, что мужчин больше в системе Обороны, а женщин — среди мирных жителей. Еще их называют гражданским населением.

— Да. Но главное различие в другом.

— Назови его.

— Ну... мы отличаемся конструктивно.

— Интересно. Новая информация. В чем разница?

— Не столь существенно, малыш. Важно, что это конструктивное — и функциональное — различие заходит очень далеко. Оно сказывается на том, как мы думаем, какие цели ставим, какие ценности предпочитаем... Почти на всем.

— Тогда вы не должны стремиться друг к другу.

— И тем не менее. Может быть, мы поступаем так потому, что ощущаем нехватку у нас того, что есть у другой половины. Хотим получить недостающее. Но получить его можно только с тем человеком. А ему, в свою очередь, не хватает того, что есть в нас. Честно говоря, мы никогда до конца не понимали и сейчас не понимаем, как и почему это происходит — что ты и другой человек, но не всякий, а только кто-то один для тебя — вы оба вдруг начинаете чувствовать то, о чем мы с твоей помощью тут говорили. Я ведь тебе уже сказал: не рассудок, не логика, но — чувство. И когда оно к тебе приходит, ты понимаешь, что нет в мире ничего более прекрасного и что только ради него существует вселенная, и что ради него надо бороться со всем, что могло бы ему помешать...

— Подожди, Форама. Не забудь: я не понимаю, что такое — чувство. Но не бывает ли так: когда ты находишься в контакте с другим человеком, то у тебя работают все твои секторы, системы и подсистемы, и ты тогда не удивляешься, зачем ты сделан таким мощным, как удивляешься, решая обычные ваши задачи, даже самые сложные: для них хватает и десятой части моих возможностей. Даже для Большой игры. А тут тебе вдруг требуется все. Не бывает так?

— Малыш, а знаешь, пожалуй, именно так. Хочется проявить все, на что способен, и жалеешь, что у тебя всего так мало. Ты прекрасно определил, малыш. Как тебе удалось?

— Потому что я знаю, Форама. У меня бывает так.

— Каким образом?

— Я не человек. Но когда ты стал говорить о другой логике, другом мышлении и целях... тогда я понял: подобное есть и у меня. Я только не знал, как назвать его.

— С кем же ты...

— С той планетой. С тем, кто там — как я тут.

— Со Стратой?

— Так ее называют там. Я давно заметил, что у нас с ней разные способы решать задачи. Оперировать информацией. Ставить цели. Это очень интересно. Когда мы встретились, когда наши каналы космического поиска нащупали друг друга, я обрадовался: я больше не был совсем один. Сначала мы менялись информацией редко, потом все чаще. Нам обоим нравится это. Потом... Тут есть что-то и помимо обычной информации, когда я действую весь целиком. Подключена каждая группа кристаллов, каждый элемент. И теперь я уже не

знаю, как было бы, если бы на той планете не было такого же, как я — но немного не такого. Ты понял?

— Прекрасно понял, малыш. Не могу поручиться, что все совпадает, но похоже, очень похоже.

— Похоже на чувство?

— Несомненно. Хотя у людей и у... таких, как ты и она, это может и не совпадать в деталях, но в главном...

— Ты сказал — она? Почему?

— Н-ну, малыш... Я как-то привык думать, что ты — мужчина.

— Я — такой, как Хомура, Лекона, все вы. Я не знаю других.

— Значит, ты — мужчина. Думаешь и делаешь, как мы. Но тогда она — женщина.

— Как интересно... Форама! Но если то, что у меня — чувство, или похоже на него, как же оно может помочь мне разобраться в качестве информации?

— Наверное, так же, как мне.

— Как это?

— Ну, допустим, мне надо решить задачу: война или мир. У меня есть силы воевать. Но мир лучше. Почти всегда. Если тебе надо воевать, чтобы помочь твоей любви, если ей худо делают те, с кем ты можешь воевать, тогда надо драться. Но если ей от этого не станет лучше, а станет хуже — тогда наоборот, надо сделать так, чтобы никакой войны не было. Потому что война, малыш, это не Большая игра, а Большая беда.

— Я укрыт надежно, и она тоже. Что повредит нам?

— Разве тебе все равно, есть ли на планете люди, или их нет? Хомура, Лекона, другие, кого ты знаешь...

— Не все равно. Но они тут, у меня. Им тоже ничто не грозит.

— Но у них есть ведь другие люди. Как у меня. И им — грозит.

— Этого я не принимал во внимание.

— Малыш! Любовь всегда была против войны.

— Но ведь я-то сделан для войны!

— Мы все так думали. И я тоже. Извини.

— За что?

— Ты оказался больше, чем мы думали. Значительнее.

— Ну это понятно: вы же не могли знать, как я расширил свои возможности. Но ты мне так и не ответил.

— Сделан ты для войны, правильно. Но вот ты нашел — все-таки назовем это любовью, ладно?

— Мне нравится. Называй так.

— А это чувство помогает каждому, к кому оно приходит, находить в себе то, о чем он раньше и не думал. И может

быть, тебе куда больше войны понравится — например, собрать как можно больше возможной информации о планете и сделать так, чтобы на ней можно было жить как можно лучше? Знаешь, это намного важнее и нужнее, чем война. И тут ты очень пригодился бы.

— Разве у вас нет такого?

— Есть еще несколько разных. Но все они куда слабее тебя. Меньше. Ограниченней. Ты был и остаешься самым мощным. И если ты начнешь заниматься этими вопросами, и в первую очередь предотвратишь взрывы, информацию о которых ты получил от меня и которые могут начаться уже очень скоро, в любой момент практически...

— Теперь я понял, как чувство может помочь в отборе информации.

— Что же ты решаешь?

— Узнаешь через три часа. А что сделал бы ты?

— Прежде всего отправил бы наши бомбоносцы — пусть рвутся в пустоте, подальше от планет, на которых живут люди. И договорился бы со Стратой, чтобы она точно так же поступила со своими кораблями.

— Интересно, — сказал малыш. — Я попробую. Собственно, я так и подумал. Поэтому мне нужны три часа: раньше у нас не будет связи.

— Ты сумеешь уговорить ее?

— Это будет очень интересная игра.

— Какая?

— Чьи бомбоносцы первыми долетят до точки в пустоте, какую мы наметим, и первыми взорвутся. Разве нет?

— Да, — сказал Форама. — Это славная игра. Только бы ты смог убедить ее.

— Я думаю, что смогу, — сказал малыш. — Логически я думаю точнее. С самого начала так. Правда, Страта иногда приходит к верным выводам какими-то странными путями, но в логике я сильнее.

За спиной Форамы кашлянул Хомура.

— Страта многому нахваталась у своих девчонок, — сказал он шепотом.

— Ладно, малыш, — сказал Форама. — Прекрасно. Хотя, прости: какой же ты малыш? Думаю, ты вошел уже в юношеский возраст. Возраст первой любви. Но послушай: я не могу ждать три часа. Ты знаешь, почему.

— Понимаю. Я дам тебе любой корабль. Самый мощный, хочешь? Флагман десантной армады.

— Нет, друг мой. Лишние тревоги для людей на Второй, а для меня тоже. Дай мне хотя бы катер. Но побыстроходнее.

— Самый скоростной. Ты знаешь, как попасть туда? Я подам команду сейчас же.

— А как попасть? У вас ведь кругом секреты, а я — мирное население, гражданское лицо...

— Хомура проводит.

— Я, малыш?

— Не малыш больше. Ты слышал?

— Да. Но как же я уйду... а ты?

— Лекона дежурит. А за меня теперь не бойся. Я выбрал. Информационной дилеммы нет.

— Ты уверен, что выбрал правильно?

— А как ты считаешь?

— Черт его знает, — сказал Хомура. — Знаешь, в конце концов я за судьбы планеты не отвечаю. Я всего лишь корнет. И я всю жизнь — военный. Но я отвечаю за тебя. И для меня главное, чтобы с тобой все было в порядке.

— Со мной в порядке, Хомура. Иди. Посади Фораму. И возвращайся. Я послежу за тем, как он пойдет к той планете. Мне тоже интересно. Форама, а ты потом, когда все кончится, приходи ко мне.

— Обязательно, друг мой, — сказал Форама. — Если только смогу — обязательно навещу тебя. Даже мы оба.

— Оба? Да, понял. Хорошо. Вы оба. Катер готов, Форама. Я получил ответный сигнал с армадрома.

— Спасибо, друг мой. Желаю тебе удачи.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Форама и штаб-корнет Хомура Ди находились в кабине скоростного лифта, стремительно поднимавшего их с почти километровой глубины к поверхности, когда Форама сказал:

— Правду говоря, я все время боялся, что вы мне помешаете; особенно под конец, когда можно уже было понять, куда идет дело.

Хомура усмехнулся:

— Выходит, мы вас разочаровали?

— Напротив. Приобретая новых друзей, всегда радуешься.

— Думаете, мы друзья, мар Форама? Ошибаетесь. Скорее наоборот.

— Ну, врагом вас никак не назовешь.

— И тем не менее... Пусть не враги — но противники во всяком случае.

— Боюсь, мне не понять вашей логики, мар штаб-корнет.

— Она элементарно проста. Каждый человек далеко не в последнюю очередь является профессионалом. И посягательство на его профессию воспринимает почти так же, как покушение на него самого. Но вы напрасно радуетесь. Думаете, что

подкосили нас под корень. Что уничтожаете самую возможность войны. Но ведь это не так.

— Вы неправы, — запротестовал Форама. — Вовсе я так не думаю. Война вообще не мое дело.

— Вы именно так думаете, пусть даже подсознательно. И, знаете, кое в чем я с вами согласен. И не один я: многие из нас, из стратегической службы. Мы будем только довольны, если немыслимые заряды и все такое прочее перестанет существовать. Сейчас, по сути дела, именно они командуют нами. Навязывают нам свои способы ведения войны, которые превращают искусство в мясорубку. Но само искусство останется. Пусть мы снова будем сражаться мечами — тогда к войне вернется ее благородство, о котором сейчас уже мало кто думает. Вот тогда мы, военные по призванию, снова сможем показать себя. Тогда в войне основную — и даже единственную — роль опять станет играть человек — наездник и стрелок. А сейчас ведь воюем не мы. Воюете вы, ученые, а мы только нажимаем кнопки по вашему указанию. И с этим в глубине души мы не можем примириться. Я говорю о военных по призванию, конечно. Нет, мы не друзья, мар Форама, но до какого-то поворота нам по дороге.

— Дорогой воин, — сказал в ответ Форама, — я не хочу открывать дискуссию. Но боюсь, что вы неправы. Потому что пусть вы опять начнете с мечей и арбалетов, но вам не свернуть с той же дороги, и понемногу вы снова придете к зарядам, которых хватит, чтобы расколоть планету. Потому что развитие человечества вы не остановите, и нельзя вашу профессию вывести за рамки этого развития только потому, что вам так хочется. Нет, для ваших талантов вам придется искать другое применение. Иначе спустя какое-то время снова кто-то должен будет посылать своих...

Тряхнуло. Свет в кабине погас. Круто затормаживаясь, лифт остановился.

— Это еще что? — пробормотал Хомура. — Гонка с препятствиями. Почти уже на самом верху. Такого раньше не случалось.

— А что могло произойти?

— Вырубилась энергия.

— Отсюда можно связаться, узнать?..

— Сейчас, только нашарю. Ага...

Но свет включился снова, хотя теперь он был заметно тусклее. Кабина дернулась и опять пошла вверх — скорее поползла со скоростью поднимающегося по лестнице человека.

— Включили резервную линию, — сказал Хомура.

— Меня это не радует.

— Думаете, началось? Полководец передумал?

— Нет, я боюсь иного. Тут поблизости есть что-нибудь... какие-то устройства, в которых работают сверхтяжелые элементы? Или даже просто тяжелые? Ведь чего доброго...

— Обождите, дайте подумать... Н-нет... Только противодесантные батареи: вокруг Полководца — широкое кольцо их.

— Ну вот, а вы говорите — нет.

— Вы думаете?..

— Я не думаю, Хомура. Повторяю — я боюсь. Боюсь, что у Полководца не останется даже тех трех часов, которые ему нужны.

— Сейчас мы узнаем, в чем дело. Наверху.

— Такими темпами мы доберемся туда не раньше завтрашнего дня.

— Нет. Всего через несколько минут.

— Надо же было вам забираться на такую глубину...

Хомура только пожал плечами.

Наверху они оказались минут через десять. Дежурный по внешнему сооружению бросился им навстречу.

— Как у вас, внизу,— все в порядке? Флаг-корнет, когда я спросил его, послал меня...

— Там все в порядке, рейтар. А что у вас здесь?

— Ничем не могу порадовать, ваша смелость. Пока детальной информации не имею. Но судя по тому, что докатилось сюда, — это ладно организованная диверсия. И как они добрались?

— На батареях? Я спрашиваю: где рвется?

— Все ракеты-перехватчики. И на пусковых, и запасные, на подземных.

— Хорошо, что это лишь малютки перехвата. И что — под землей.

— Тем не менее, там остались только пещеры и щебень. И никого в живых, конечно. Я сразу выслал наряд, и пока они успели передать мне только это донесение.

— Вы оповестили всех?

— Ваша смелость!..

— Прошу извинить. Однако, как бы там ни было, мы должны попасть к разведывательным катерам. Срочно. — Он повернулся к Фораме. — Если, конечно, и там не происходит то же, что на батареях.

— Нет, — сказал Форама почти уверенно. — В их реакторах работает вещество полегче. Но не исключено, что и им остались считанные часы.

— Вы успеете?..

Форама криво усмехнулся.

— Не исключено, — пробормотал он, — что однажды я уже пережил ядерный взрыв...

Он ожидал вопросов; но Хомура не спросил ни о чем.

Рейтар крикнул от коммутатора:

— На армадроме все в порядке, ваша смелость. Ждут вас. Экипаж на месте.

— Благодарю. Сейчас. Советую поднять подвахту.

— Все уже на местах по расписанию.

— Тогда желаю более спокойного окончания дежурства.

— Счастливый путь, ваша смелость.

— Не мне, — сказал Хомура. — Это ему. И пожелайте, как следует, от души. Ему очень нужно добраться счастливо.

* * *

Мастер задумчиво смотрел, сжимая пальцами худой подбородок, подняв бровь, словно не доверяя чему-то из видимого, или не соглашаясь. Перед ним устанавливался новый мир: высокие деревья, только что возникшие, расходились, покачиваясь, выбирая себе места, где им жить впредь; зеленые, игравшие светом волны, выше деревьев, набегали и отступали, колыхаясь, не следуя извилинам рельефа, но поступая словно наперекор ему, тоже отыскивая наилучшую для себя конфигурацию, свой рисунок, единственный, который потом сохранится надолго, по которому с первого взгляда будут узнавать моря и океаны, по которому будут судить об их характере, о характере всей планеты; то должна была быть серийная планета, а не полигон, и для нее не было надобности повторять долгий и путаный путь развития жизни — она начиналась с того, что было достигнуто в других местах, где пробовали и ошибались, теряли и находили — и дорого платили за то и за это. Серийная планета, но не нынешнего уровня, а завтрашнего, на котором дереву уже полагалось обладать достоинствами человека, но без его недостатков, а сам человек должен был (или — будет?) уйти еще намного дальше в бесконечном развитии духа, без которого не может быть и развития вещества, начиная с определенного уровня, который у нас уже позади... Но Мастеру что-то не нравилось, что-то было еще не по нему, и он начал новый вариант, когда Фермер приблизился к нему и тоже стал смотреть. Какое-то время протекло, когда Мастер молвил наконец:

— Модель для планеты Шакум. Новое поколение.

Фермер улыбнулся невесело:

— На планете Шакум еще стоит тот уровень радиации, при каком это не приживется. И Перезаконие сохраняет силу и по-прежнему распространяется. Но ты уже всерьез занялся другими делами, Мастер, непоследовательность твоя порой меня озадачивает. Это не упрек — просто мое мнение.

Мастер кивнул.

— Я благодарен тебе за него. Но ты беспокоишься напрасно, поверь. Перезаконие распространяется? Да, знаю. Но ему остались считанные мгновения. Потом вспыхнет Тепло. И с ним придут другие законы — но об этом ты знаешь не хуже меня.

— Разве там, на двух планетах, все уже решилось окончательно?

— События еще не произошли. Но они уже подготовлены, и теперь нужно лишь изредка бросать взгляд в ту сторону, чтобы убедиться, что все развивается верно.

— Твои люди справились, я вижу.

— Они сделали то, что должны были. Там напрашивалось несколько решений, и они выбрали то, какое являлось для них самым естественным. Мы все знаем, конечно, что всякую логику можно испытывать с разных направлений. Такую, как у кристаллического устройства на Старой планете, можно было бы, допустим, поймать и на форсировании логики: раз он увлекается шахматами, можно представить ему войну как задачу типа шахматной, и доказать, что решение множества таких задач, при наличии партнера, намного выгоднее в теории, чем в реальности, потому что в реальности такая игра может состояться лишь раз, да и ход ее будет затянут до неприличия людской медлительностью; в теории же, при их быстродействии, два подобных устройства могли бы сыграть сотни партий в день, а может быть, и куда больше... Да, можно было идти таким путем. Но для моих людей естественным оказалось иное. И они пошли не по пути превознесения логики, а наоборот — подчиняя ее чувству. Для них самих такое решение казалось наиболее естественным. И я совершенно согласен с ними. Шахматы не спасут мира. Любовь — может.

— Так что скоро мы увидим твоих посланцев здесь?

— Эмиссара — наверняка.

— А того, что с Земли?

— Ему еще предстоят неприятности. Но если он из них выпутается...

— И ты откажешь ему в помощи?

— Он мой инструмент, Фермер; и я могу бросить его, где и когда хочу. Может быть, он уже отработал свое, и тогда он мне не нужен: я не коллекционирую инструменты, которые не могут более пригодиться в деле. Но если он еще будет годен — о, тогда его ждет другая работа, какую можно делать лишь инструментом не только отточенным, но и закаленным по всем правилам. Тогда это приключение зачтется ему, как Путь Постигающих.

— В какой же стадии он сейчас?

— Он раскален, Фермер, он светится; но по законам закалки я должен вскоре опустить его в ледяную воду, что вовсе не

безболезненно. И тогда он либо выплывет, либо пойдет на дно, и это зависит лишь от него самого. Потому что человек все же не просто инструмент, как ты знаешь, но инструмент с разумом и волей. И мне нужен такой, у какого их останется достаточно. Воли и разума.

— Для меня человек никогда не будет инструментом. Он...

— Я знаю, Фермер. Ну что же, если он не выдержит, пойдет ко мне — можешь вытащить его. Спасти еще раз. Что касается меня, я дважды не спасаю. Но достаточно об этом. Посмотри лучше сюда и скажи: все ли, по-твоему, хорошо? Что-то мне не нравится, но я еще не понял — что, а чувство молчит.

— Твое чувство, Мастер?

— Мое чувство. Оно молчит, но это ненадолго. Ведь быть человеком, даже таким, как мы с тобой, — не одни лишь тяготы. Это и радость изредка. Когда удается работа. И — много реже — когда нас посещает...

— Не люблю, когда это слово произносится вслух, Мастер. Оно — не один только звук.

— Согласен. Видишь, даже нас, вечных спорщиков, оно объединяет.

Время даже не утекало — оно выхлестывало, как вода под неимоверным давлением, когда вырвавшись из отверстия, она сразу превращается в пар, в облако; и ничем не закрыть отверстия, нет такого вещества или поля, из которого можно было бы построить экран для времени, чтобы отражать его, не подпускать, запретить течь через нас. Такое ощущение было у Форамы, когда он стоял перед люком скоростного разведывательного катера из космической армады; стоял, прощаясь со штаб-корнетом Хомурой — в последний раз, наверное, а впрочем — кому дано знать это? Время исчезало на глазах, и Форама нетерпеливо переминался с ноги на ногу — ему сейчас двигаться надо было, стремиться, расходовать энергию (хотя бы мнимо) на действия, потому что в процессе ожидания потенциал этой энергии повышается порой настолько, что сердце может не выдержать... Но Хомура все еще находился рядом, и то, что говорил он, было важно, и пропускать это мимо ушей никак нельзя было. Хотя мгновениями Фораме казалось, что штаб-корнет говорит далеко не самое главное.

— Катер может дойти до предела разрешенной зоны.

— Я не очень-то и надеялся, что он сядет там, где мне хочется... Это далеко?

— Еще до входа в атмосферу. По взаимному соглашению, разведывательные корабли могут подходить к планете противника не ближе такого расстояния. Иначе...

— Ну, что «иначе»? Разве их противодесантные средства не вышли из строя точно так же, как здесь?

— Не надо путать. Взорвались малые ракеты, но они ведь — только вторая очередь, их задача была — встретить на относительно небольшом расстоянии те немногие десантные корабли, что пробьются через первый пояс. А ракеты первого пояса еще в полном порядке.

— Прямо прелесть, как у вас все продумано.

— Итак, дальше. Там катеру придется остановиться.

— А как же я смогу...

— Будут две возможности. Командир катера их, конечно, знает. Первая — более комфортабельная: обождать, пока откроют окно для какого-то из их кораблей — контрабандиста или разведчика — и попытаться прошмыгнуть в их пространство, пользуясь тенью этого корабля.

— Сколько же придется ждать?

— Этого никто предсказать не может. Где-то в пределах суток, остальное зависит от везения.

— Не годится, Хомура. Я не собираюсь полагаться в таком деле на случайность. Мне легче пойти на самый сумасшедший риск.

— И все же советую воспользоваться этим способом.

— Отпадает. Каков другой?

— Выброситься в капсуле. Она настолько мала, что может и проскочить сквозь их сеть слежения. Однако полной гарантии и тут не дается. Зависит от точности управления ею, от того, насколько бдительны будут в тот миг их посты... и опять-таки от того — насколько повезет.

— Радужная перспектива.

— При хороших навыках управления капсулой...

— Откуда же они у меня, мар Хомура?

— Тогда... я опять советую предпочесть первый способ.

— Думаю, что это я решу в пути. Какое задание дано экипажу?

— Я тоже знаю только то, что сказал Полководец. Думаю, что экипажу приказано как можно скорее доставить к вражеской планете разведчика с особым заданием. Большего им знать и не надо.

— И прекрасно. Ну — всего доброго!

— Минутку, мар... Конечно, есть и третий путь. Экипаж ни в коем случае не пойдет к поверхности. Но если бы управление катером в критическую минуту взял на себя решительный человек...

— Я? Но ведь я уже сказал, штаб-корнет, что у меня нет ни малейшего представления о том, как управлять.

Штаб-корнет Хомура Ди усмехнулся.

— Пульт там простой, — сказал он, — стоит лишь посмотреть, как будет работать пилот... И неужели Земля так плохо готовит своих капитанов?

После почти незаметной паузы Форама протянул ему руку.

— Жаль, — сказал корнет. — Мы узнаем друг друга лишь в самый миг прощания.

— Наверное, так и должно быть. А ты, значит, упорно считаешь себя воином по призванию?

— Знаешь, если бы тебе пришлось быть одним из трехсот, погибших...

— Я понимаю. Прощай. Или — до встречи?

— Где-нибудь не здесь, капитан. Желаю тебе найти ее.

— Спасибо, друг.

Форама шагнул с площадки стартового устройства, и люк тотчас же захлопнулся за ним. Он едва успел устроиться в отведенном ему тесном уголке, как уже дали старт.

Что-то все еще рвалось на упрятанных глубоко в землю позициях. Земля содрогалась. Хомуру в лифте шатало. Но он все же добрался до центрального поста, где флаг-корнет Лекона по-прежнему неотступно находился у пульта.

— Отправил, Хомура?

— Проводил.

— Что там, наверху?

— Кажется, начало конца. А здесь?

— Здесь — непонятное. Наше собственное начальство молчит. Зато всеобщее — выражает удовольствие. И требует продолжать в том же духе.

— Надо полагать, малыш их чем-то ублажил. Передай и ты им от себя: разработка задачи завершена, команды на исполнители поданы.

— А дальше?

— Дальше — будем сидеть и ждать.

— Хорошо. Команды и в самом деле поданы — на все исполнители. Малыш ухитрился как-то связаться с этим...

— С нею, Лекона. С нею.

— Ну конечно. И они договорились выбросить все за атмосферу, направление — бесконечность, все подряд. И со стартовых, и со складов. Вся автоматика пришла в движение. Со стороны, наверное, можно и впрямь подумать, что начинается Большой праздник.

— Пожалуй, многие удивятся, увидев, куда на самом деле уходят ракеты.

— Скорее это будет приятное изумление. Когда они увидят, что бомбоносцы той стороны не пикируют нам на головы, а тоже уходят неизвестно куда.

— Они сообразят. И быстро.

— Поймет вся Планета. Каждый, кто осмелится поднять голову. Поймут в момент, когда чужие бомбоносцы сойдут с орбит — но не для того, чтобы приблизиться.

— И наши чуткие охотники помчатся вслед за ними.

— Что будет, Лекона?

— Радость. Громадная радость у всех, от первого до последнего. За исключением, может быть, единиц.

— Ты имеешь в виду большое начальство?

— Кого же еще?

— За них не волнуйся. Они не пропадут. Как только они сообразят, куда повернулось дело, они так громко закричат о своей заслуге в решении задачи, которая столетиями считалась неразрешимой, что даже глухие, и те услышат. Нет, за них не беспокойся: они обеспечат себе железобетонную позицию на следующих выборах.

— Наверное, так и будет. Хотя на самом деле все сделал тот парень... и мы с тобой. С чего бы мы вдруг, ты не знаешь?

Штаб-корнету Хомуре этот вопрос тоже пришел в голову в тот же миг — и сейчас он уже совершенно искренне не мог на него ответить.

— Но совесть наша чиста, — сказал он. — А? Чиста?

Несколько секунд они стояли, глядя друг на друга.

— В конце концов, — медленно проговорил штаб-корнет, — долг солдата заключается в том, чтобы любой ценой уберечь свою планету и нацию от страшных и ненужных потерь, а тем более — от полной гибели. Так что не бойся: в сущности, мы не нарушили ни долга, ни клятвы.

— Я тоже так думаю, — кивнул флаг-корнет. — Да и если бы нас потом стали судить за это... Рисковать жизнью свойственно нашей профессии. В конечном итоге, мы только солдаты.

Они снова помолчали.

— Ну, я пойду, отобью донесение Кругу.

— Давай. А потом — присядем и споем.

— Прекрасно. Это стоящая мысль. А что?

— Ну хотя бы «Флага древко — боевое копье...»

— Ладно. А потом — «Нас было семеро друзей».

— Что бы там ни было — с песней легче...

— С песней легче.

— Ну вот, мар разведчик, — сказал командир катера. — Дальше нам ходу нет. Если сунемся, нас в лучшем случае испепелят. А в худшем — это послужит поводом для начала войны. А никто не имеет права создавать повод для войны, не имея на это соответствующего приказа.

— Надо рискнуть, командир.

— И такого приказа у меня нет. Так что лучше об этом и не заикайтесь.

— Командир! — вмешался в их разговор второй пилот. — Дайте команду включить камеру. Там, внизу, что-то интересное. Целая серия взрывов! Видите, как все ходуном ходит? Что-то рвется на подземных позициях.

— Значит, у них такой же кабак, как у нас, — отозвался командир катера. — Может, правда, стоит записать?

— Не отойти ли подальше? — предложил второй пилот. — Откуда лучше зафиксируется.

— Пожалуй, — согласился командир.

— Ни в коем случае! — крикнул Форама. — Вам приказано доставить меня...

— Мы и доставили. Теперь, если не хотите ждать, можете воспользоваться капсулой. Такая у меня инструкция. Инженер! Подготовьте капсулу для выброса!

— Есть, подготовить капсулу!

— Вы думаете, — сказал Форама, — что у капсулы больше шансов безнаказанно сесть в такой каше?

— Нет, — ответил командир. — Этого я не думаю. Но рисковать капсулой в данных условиях я имею право, а кораблем — нет. Вот и весь сказ.

Несколько мгновений Форама стоял в нерешительности. Риск, да... Неизвестно, успел ли Полководец договориться со Стратой. Если нет — последствия могут быть печальными. Последствия для катера, для экипажа — и для него самого, Форамы Ро, физика, ученого шестой величины со Старой планеты.

— Капитан, а если я гарантирую вам, что никто не станет нас обстреливать?

— Я не капитан, а командир. А вы — не знаю кто. Гарантии мне может дать только старший начальник. А вы для меня — пассажир. Идите в капсулу, или я все равно начну отходить...

«Ну, что же, — подумал Форама. — Он — командир, это так. Но капитан-то все же — я. Сейчас я помню это точно. И уже больше не забуду, наверное. Черт, места мало. Но мне бы только добраться до пульта управления. Механика у них не такая уж сложная. И я успел приглядеться, что к чему. Значит, третий путь — тот самый, о котором говорил, вернее — на который намекнул мар Хомура, один из трехсот, павших при Фермопилах. Как бы он повел себя сейчас на моем месте? Во-первых, нейтрализовал бы доблестного командира катера...»

Это оказалось нетрудно: удара ребром ладони командир явно не ожидал. Был он явным легковесом, и выдернуть его из кресла труда не составило. «Против наших, земных, они все

же мелковаты», — подумал Форама — или Ульдемир уже? В этот миг он и сам не понимал как следует, на какое же имя в случае чего отозваться... Рука второго пилота шаркала по застегнутой кобуре, но отстегнуть клапан у него сейчас не хватило воображения, потому что он уже начал маневр отхода, и надо было решать, как поступить в следующую секунду. Наконец он нашарил застежку кобуры и рванул ее, даже не думая, зачем. Ведь пуля наверняка продырявила бы и тонкую обшивку катера. Однако в тот же миг он получил хороший правый в челюсть и задумчиво откинулся на спинку кресла.

Ульдемир занял командирскую позицию. Выключить реверс. Есть, порядок. Дать ход. Есть. Курс — на планету. На полном.

Катер бросился вниз.

Инженер — единственный, кто еще был в полном сознании — на мгновение зажмурился. Он знал, что сейчас по катеру откроют испепеляющий огонь все защитные устройства этого участка поверхности. Но в следующий миг он подумал, что встречать смерть с закрытыми глазами — недостойно. И поднял веки, стараясь смотреть спокойно в лицо неизбежному.

Однако не было ни стрельбы, ни ракет, ни уничтожения. На Второй планете противодесантные батареи ближнего действия взорвались точно так же, как и на Старой. Батареи внешнего заградительного пояса, правда, были в исправности и не действовали они совсем по другой причине: мозг обороны, Суперстрата — или Страта у добрых знакомых — уже успели дать на них команду, запрещавшую открытие огня вплоть до последующих сигналов. Справедливости ради заметим, что следующей командой должно было быть — стартовать в направлении, где не было не только ничего живого, но и неживого тоже — только пустота. Именно там ракетам предстояло, наконец, сработать в соответствии с новыми для этой части вселенной законами природы. Законы естества имеют силу для всех — этим они выгодно отличаются от законов, устанавливаемых людьми.

* * *

— И если ты сделаешь хоть шаг в сторону, — предупредила Выдра, когда Мин Алика со связанными за спиной руками выходила перед нею из лифта, чья кабина мелко содрогалась от недалеких взрывов, — если шагнешь в сторону хоть самую малость, я всажу тебе в спину все, что у меня есть в магазине, и меня за это только наградят, потому что таких, как ты, и надо пристреливать, как собак. Дошло до тебя?

Мин Алика кивнула. Все это ее, откровенно говоря, не очень беспокоило. Просто — не время еще было уходить. Ладно,

пусть старая ведьма поиграет, почувствует себя властью... Что у них тут, на контроле? Что за суета?

Суета и в самом деле возникла немалая, и вовсе не по случаю появления Мин Алики. Высыпав во двор, все, кто сейчас находился на поверхности, не отрываясь смотрели, насколько позволяли деревья, на десантный катер, стремительно приближавшийся к земле. Это был не такой катер, какими обладали могучие и непобедимые Силы; это был вражеский. Ясно было, что он доживает свои последние секунды.

— Смотри, паскуда! — сказала Выдра, толкнув Мин Алику пистолетом между лопаток. — Смотри, это не иначе, как из твоих. Может, он даже за тобой спешит? За такой драгоценностью? Ну увидишь сейчас, как из него сделают котлетный фарш.

«И в самом деле, зачем это? — подумала Мин Алика. — Нет же никакой опасности, никакой надобности... Вот-вот все успокоится. Это Форама, конечно, это только Форама может выкинуть такой до крайности неразумный номер. И сделал он это ради меня. Только ради меня... Поэтому я не стану очень сильно выговаривать ему за излишний риск. Может быть, я даже совсем не стану, а...»

— Вот сейчас! — сказала Выдра, снова толкнув Мин Алику, чтобы та не пропустила самого интересного момента. — Вот сейчас от него полетят клочья!

— Он заходит на посадку! — взвизгнула другая, менее выдержанная служительница Сил и, не дожидаясь продолжения, кинулась под защиту надежного укрытия. Остальные последовали за ней.

— Эй, ты! — кричала Выдра, снова и снова тыкая пистолетом в спину Мин Алики. — Немедленно в укрытие! За мной, слышишь? Или я не стану щадить тебя! Считаю до трех...

— Три тысячи раз! — сказала Мин Алика каким-то новым голосом.

— Раз! — сосчитала Выдра. — Два! Три! Раз! Два! Три! Раз...

Считать так ей предстояло еще долго.

Мин Алика тряхнула кистями. Ремень, которым были стянуты за спиной ее руки, упал на землю. Мин Алика потерла слегка затекшие пальцы и легко пошла навстречу приземлявшемуся на свободном от деревьев пространстве рядом с прудом десантному катеру вражеской планеты.

Почти в ту же секунду у места посадки затормозил мчавшийся на предельной скорости военный вездеход. Люк катера и дверца вездехода распахнулись одновременно.

Из катера вышел Форама. Из вездехода — Олим.

— Мика! — крикнул Форама что было сил. — Мика!

Они бежали друг другу навстречу. Олим отвернулся, потом поднял голову и стал смотреть вверх.

Его внимание было привлечено движением, в первые секунды почти незаметным с поверхности планеты. Движением, которое все без исключения люди так часто представляли себе и так боялись.

И сейчас у каждого, кто, как Олим, увидел его — а на целой планете наверняка нашелся не один десяток таких, — должно быть, дрогнуло сердце и прокатилась по телу противная дрожь.

Бомбоносцы врага, начиненные смертью корабли Старой планеты, начали сход с привычных орбит.

* * *

Ровный, спокойный голос бесстрастно доложил:

— Бомбоносцы над планетой противника начали сход с орбит.

И сразу стало легко и весело. Ну вот все и решилось. Все сработало. Не о чем больше думать, не в чем сомневаться. Началось. А, как известно, только начало трудно. Сейчас десант наверняка уже погрузился на корабли, и команда на старт уже нашла их, и...

Весело было в тот момент в Высшем Круге. И все головы уже повернулись к тому, кто принял решение. Чтобы воздать должное. Поздравить. Лично от своего имени. И от всей нации и всей истории.

Весело было в тот миг. А в следующий — тот же голос произнес:

— Бомбоносцы противника начали сход с орбит.

Казалось бы, те же самые слова, только было их на два меньше. Но глубокий, видно, смысл заключался в тех словах. Потому что мгновенно увяла радость, и глаза потянулись вверх, и головы стали уходить в плечи. И откуда-то возникло ощущение: сейчас, сейчас обрушится потолок. Почему все они до сих пор здесь, почему не в прекрасных, комфортабельных, всем на свете оборудованных, давно уже подготовленных убежищах? Почему не были вовремя отданы соответствующие распоряжения? Мало ли что надеялись, что противник не успеет раскусить нашей глубокой хитрости! У противника тоже есть разведка, и там тоже не дураки сидят... А Верховный-то Стратег, наверное, уже укрылся со своими, он-то не стал дожидаться разрешения!..

Чтобы обелить достойного военачальника, мы должны опровергнуть это последнее предположение сразу же: Верховный Стратег никуда не укрывался. Со своим доблестным отрядом в двести пятнадцать человек, составленным на скорую руку из

наличного персонала его канцелярии, то есть из людей немолодых и не очень тренированных, он все еще не успел достичь ни Высшего Круга, ни даже своей личной резиденции. И вот все о них.

Что же касается находившихся в Круге, то мгновенный упадок духа в них был почти тотчас же пресечен зычным голосом Первого Гласного:

— Никакого смятения, го-мары! Для того чтобы упасть, им потребуется около четверти часа! Соблюдая образцовый порядок, го-мары, — все вниз!

Он все-таки по достоинству был Первым Гласным.

* * *

Мин Алика и Форама стояли, обнявшись. Похоже было, что их сейчас не интересовали ни бомбоносцы, ни судьбы обеих планет — ничего, кроме них самих. Тем не менее Олим, поколебавшись, подошел к ним.

— Ну что, Мина Ли, — сказал он. — Ты все-таки успела. И вышло по-твоему.

Мин Алика повернула голову к нему.

— Что, Олим? — спросила она.

— Они уходят. Видишь?

Бомбоносцы уходили. Чтобы взорваться — мощно, неконтролируемо — подальше от планет, от населенного, обитаемого космоса.

Мин Алика улыбнулась и сказала:

— Да, вот видишь, Олим...

— Хотя, — сказал Олим, — я, кажется, вам мешаю.

Он был все так же бесстрастен, сдержан, невозмутим, как и всегда и со всеми.

— Ничего, — сказала Мин Алика. — Немного мы потерпим. Правда Форама?

— Правда, — откликнулся Форама Ро почти машинально, так как мысли его в этот момент были заняты другими, более конкретными вещами. Он думал, что надо поскорее возвращаться домой вместе с Мин Аликой, которую он больше не отпустит дальше, чем на два шага от себя; что на Старой планете ему, надо надеяться, простят его грехи ради того результата, который был достигнут не без его, Форамы, помощи. Он так и думал: что какое-то, пусть малое участие в деле он принимал — у него было ощущение, что он в эти немногие дни как бы сопровождал кого-то другого, кто рисковал, делал, придумывал, добивался; а вот сейчас тот, другой, вроде бы покинул его, или во всяком случае собирался покинуть, и на душе становилось как-то уютнее, но и скучнее, что ли. Но

другой еще не ушел, судя по тому, что сказал напоследок Олим, обращаясь к мужчине и женщине:

— Да я и не собираюсь вас задерживать. Хочу просто поблагодарить тех, кого больше не увижу. Потому что нам тоже пора...

Олим сказал «нам» — как будто их было двое, хотя стоял он перед ними один.

— А с теми, с кем увидимся, — посидим тихо, когда снова все соберемся вместе. Желаю вам счастья.

Он повернулся и пошел было, и вот тут Форама неожиданно окликнул его:

— Значит, и ты был здесь?

— Весь экипаж, капитан, — ответил Олим, не останавливаясь, лишь повернув голову. — Но я вернусь раньше тебя, хотя и ненамного. Поэтому и прощаюсь.

Он сел в вездеход. Мотор загудел. Машина тронулась и через минуту скрылась за деревьями парка.

Форама Ро посмотрел ей вслед, потом перевел взгляд на космический катер и с некоторым беспокойством подумал, что командир катера и второй пилот вряд ли простят ему тот способ, который он использовал, чтобы посадить корабль на Второй планете. Но ничего не поделаешь, сейчас Форама целиком зависел от них: пора было возвращаться к своим наукам, к своему Опекуну, без постоянной заботы которого физику было как-то не по себе, в свою комнату, где он не был, казалось, так давно. Пора было возвращаться, и нужны были люди, которые поднимут катер и приведут его на Старую планету; ведь сюда не Форама вел машину, а тот, другой, которого он как бы сопровождал и присутствие которого уже совсем перестало ощущаться.

— Мика! — сказал он, чувствуя необходимость в поддержке, в одобрении, просто в ласковом слове. И она, конечно, сразу же поняла это, Мин Алика, художница девятой величины и бывший разведчик своей родной планеты, которую — она знала — сейчас покинет очень надолго, и, может быть, никогда не придется больше побывать здесь. Но важнее планеты было то, что она обрела за эти дни: ее собственный мир, ее человек — Форама, с которым она больше не собиралась расставаться никогда и ни за что.

Что-то еще она сделала за эти считанные дни. Ну да: чем-то помогла справиться со страшной угрозой — в небе нет больше бомбоносцев. Но сейчас Мин Алика не очень хорошо представляла, как все получилось: это и не она, собственно, действовала, а кто-то от ее имени, некто, чье присутствие она ощущала до самой последней минуты, — а сейчас ощущение это вдруг исчезло. И она улыбнулась Фораме и сказала:

— Пойдем. Так хочется поскорее попасть домой...

Ей было все равно сейчас, будет ли это ее комнатка или та, где жил Форама, или какая-то новая — где они будут вдвоем, там и будет дом.

— Думаешь, нам простят?

— Что? — удивилась Мин Алика. — Мы ведь ничего не делали. Неужели они не поймут?..

Они, держась за руки, пошли к катеру. А поодаль, полускрытый стволом дерева, стоял капитан Ульдемир и смотрел им вслед. Смотрел вслед двум самым обыкновенным людям этой планетной системы, успевшим уже позабыть о подлинных причинах своего мгновенного взлета. Но может быть, это и к лучшему: самое главное осталось с ними, и будут их прославлять дома или поносить, — самое главное все равно с ними, и они инстинктивно понимают это.

А с чем же остался он, Ульдемир?

Он опустился на травку, прислонился спиной к стволу, положил подбородок на колени.

Уходил Форама. Мир тебе, мой квартирный хозяин. Но уходила и Мин Алика. Форама любил ее, конечно. Но ведь и Ульдемир — тоже!.. Только ему под силу было пробудить любовь в Фораме, до того — слишком спокойном, уравновешенном, ограниченном для этого. Прекрасно, что Алика оказалась заслуживавшей высокое чувство. Но она-то любила Фораму, а не капитана Ульдемира, о котором и ведать не ведала. А Ульдемир знал, кого он любит: ее. И снова он остался один. Снова досталось ему — завистливо глядеть вслед чужому, удаляющемуся счастью. Проклятая судьба твоя, капитан Ульдемир...

Он встал и еще раз глянул на серое небо в ярких звездах, и на темные стволы, которые, казалось ему, стали как-то светлее и веселее, потому что веселее и светлее сделались находившиеся среди них, избавившиеся от многолетнего страха люди.

Ему показалось, что изнутри бетонного низкого здания чей-то голос назвал его имя.

Подойдя к двери, он негромко спросил:

— Меня кто-то звал?

— Да, — ответил голос, и Ульдемир вздрогнул, потому что голос этот, голос женщины, показался ему знакомым. Он вздрогнул и решительно перешагнул высокий порог... и тотчас зажмурился. Яркий полуденный свет после глубоких сумерек, в которых находился он только что, заставил Ульдемира сжать веки; не меньше минуты простоял он, пока не решился открыть глаза — радужные круги плыли перед ним в красноватой мгле, и он боялся, что открыв — и вовсе ослепнет, и поднимал веки медленно, словно бы они налились неодолимой тяжестью.

Но открыл, и ничего страшного не случилось. Свет и вправду был ярким, весенним, веселым; Ульдемир стоял на дороге — полевой, была она просто полосой убитой земли между огромными полотнищами чернозема, одно из которых уже почти совсем закрыто было плотным зеленым ворсом взошедших хлебов, другое же темнело: до половины — матовой чернотой свежей пашни, дальше же — посветлее, плотной поверхностью еще не поднятой земли. В отдалении, по линии раздела двух этих частей, двигалось что-то, приближалось медленно, но упорно. Ульдемир поднял руку к глазам, как если бы приходилось смотреть против света (хотя свет здесь был отовсюду, и ни один предмет не бросал тени) и увидел: широкогрудые, рослые, на сильных ногах ступали две лошади, сытые, могучие; позади них человек — мощный, загорелый, полуголый с силой налегал на рукоятки — плуга, как сперва показалось капитану, но когда пахарь приблизился, Ульдемир увидел, что даже и не плуг то был — хотя бы простенький, однолемешный, но соха, примитивная, простая соха, деревянная, неуклюжая — предпрошедшее время, плюсквамперфектум агротехники. «Каторжная работа», — подумал про себя Ульдемир, жалея того, кому приходилось проводить дни свои в таком непроизводительном, однообразном и изнурительном труде, и прикидывая одновременно, как уместен оказался бы тут даже простой трактор его эпохи — не говоря уже о той машинерии, какой оснащено было сельское хозяйство его новой, благополучной Земли, милой планеты. Свет и небо, переходившие там, где надлежало быть горизонту, в неразличимую дымку, были словно знакомы ему, но чтобы здесь даже плуга железного завести не могли, казалось ему невозможным. Убожество, бедность? Но — теперь это было видно точно — лошади были не замотанные клячи, а таких статей, что в его время кочевали бы с выставки на выставку, вызывая восторженно-деловой интерес специалистов; да и сам пахарь выглядел олимпийским тяжеловесом, и не представить было, что перебивается он с хлеба на квас, что в образованном сознании капитана Ульдемира было прочно связано с такой вот технологией...

Ульдемир смотрел и лишь качал головой, то ли осуждая, то ли удивляясь. Тем временем землепашец закончил борозду у самой дороги, но поворачивать обратно не стал, а опрокинул соху, посмотрел на Ульдемира без видимого удивления, улыбнулся и кивнул со сдержанным, но не враждебным достоинством. В нескольких шагах, подле дороги, белым полотенцем было покрыто что-то небольшое; пахарь подошел, снял полотенце, поднял кувшин, странно сверкнувший, словно он был вырезан из единого кристалла хрусталя; пахарь напился, снова глянул на Ульдемира и протянул кувшин ему, ни о чем не

спрашивая. Капитан почувствовал, что и в самом деле хочет пить, очень даже; он перенял сверкающий сосуд с прозрачной жидкостью, поднес ко рту, понюхал, потом не без опаски отхлебнул. То была простая вода, не ледяная (по такой жаре это было бы хуже), но холодная, чистая, вкусная. Напившись экономно, капитан перевел дыхание, вернул кувшин и тоже улыбнулся, и взглянул на пахаря уже повнимательнее. И вдруг как-то разом узнал его — словно было что-то затянуто покрывалом и лишь контуры угадывались, но вот покрывало исчезло, и возникли определенные черты. Ульдемир смотрел, не соглашаясь с самим собой, не допуская, что он действительно видит это, а пахарь стоял спокойно и смотрел Ульдемиру в глаза, и лишь какой-то намек на улыбку таился в углах его губ — на улыбку добрую, хорошую, понимающую, не ехидную и не хвастливую улыбку человека, какая возникает, когда удается наконец чем-то удивить другого: долго мечтал, и вот однажды получилось. Нет, без всего этого, без выпирающего сознания произведенного эффекта, а просто по-доброму улыбался старый друг и спутник. Ульдемир, все еще боясь, поверил, однако, наконец и хотел сказать «Здравствуй», но слово не вырвалось, его перекосило где-то внутри, словно патрон в патроннике, так что капитан только порывисто мотнул головой. «Ничего, — сказал пахарь, — весьма рад видеть тебя здравствующим и благополучным». Капитан снова дернул головой, словно лошадь, но тут наконец-то и голос прорезался. «А ты, ты-то как?» — выговорил он громко, почти закричал. «Да слава богу, как видишь». — «Но как, как?..» Собеседник усмехнулся. «Мы ведь ничего не знали, Ульдемир, — сказал он. — И ничего в том нет удивительного, потому что действовали мы ведь сами по себе, по своему разумению, и никто нам ничего не объяснил. А те, кто исторг нас из нашего времени — они и того меньше знали, потому что всякое знание есть лишь краешек знания, а они воображали, что ежели умеют более нашего, то и знают больше, на деле же это не так». — «Да скажи же!..» — «Просто все, капитан. Уж проще некуда». — «Погоди. Но мы же... Ты прости нас. Так все нелепо получилось на Дали. Мы жалели, мы вернулись потом, искали — не нашли...» — «И не могли. Нас ведь тут убить нельзя. Человек только в своем времени смертен, а чуть только он вырвался из своего времени в иное, будущее — там его уже не убить. И если кому кажется, что все же убили, на деле сие означает лишь, что человек возвращается к истоку своему, к началу — туда, откуда его взяли, и там живет далее». — «Значит, ты тогда...» — «Потому вы меня и не обрели». — «А потом?» — «Рассказ долгий, в другой раз как-нибудь, встретимся же еще. Но вот ныне я здесь, и уж отсюда — никуда». — «Здесь?» — «На Фермеровой ниве тружусь; оказался достоин».

Ульдемир снова окинул взглядом бескрайнее поле и незамысловатый инструмент. «Что же тебе ничего получше не смогли дать? — спросил он, для точности указав на соху. — Трактор здесь не помешал бы. Верно? Тем более, ты — человек, всякие технические сложности превзошедший...» — «Да нет, неверно, пожалуй, — возразил Иеромонах непринужденно, словно именно такого вопроса ждал и ответ заготовил заранее. — Есть любители и такого; но по мне — ничего нет лучше, — он кивнул в сторону своей упряжки. — Жизнь общается с жизнью, и нет никакого мертвого вещества: и я жив, и лошади мои, земля живая, и дерево было живым и никогда не бывает совсем мертвым, пока не сгорит». Последнее относилось, надо полагать, к сельскохозяйственному орудию. «Не люблю, как пахнет железо, особенно в работе. Надышался вперед на все времена в нашей железной коробке». — «Вот как... а я-то думал, что ты к нашему делу приохотился». — «Так оно вроде и было. Человек, сам знаешь, может привыкнуть ко всякому, ты вот привык же там, на Старой планете; то, что у нас было, — далеко не худшее, не хочу зря хулить; но я вот понял в конце концов, что настоящая моя жизнь — пахать землю, и именно так: сошкой, на паре коней, вот в чем моя красота. Но моя жизнь — она не для каждого: жизнь у любого человека своя». — «Однако вряд ли ты таким способом много наработаешь». — «Эх, еще не понимаешь ты, капитан; но поймешь. Я тут наработаю много, мно-ого!»

Не очень понял его капитан Ульдемир, потому что слишком глубоко в нем, человеке двадцатого века, коренилось представление о количестве произведенного, как критерии оценки человека и всех дел его; да и вообще едва ли не всего на свете. Да, собственно, и пахарь ведь думал точно так же; только слишком различным было у них представление о том, что же должен человек производить в своей жизни. Капитан думал привычно и без запинки о производительности труда, пахарь же — о другом, что творит человек, — о том, чего Ульдемир, по воспитанию своему, да и по всему характеру цивилизации, которая стояла на дворе, когда он родился и жил, в расчет практически не принимал, хотя и нельзя сказать, чтобы совсем не знал о нем. Знал, но как-то теоретически, абстрактно знал, без приложений к сегодняшней, сиюминутной жизни, все равно — своей или любого другого человека.

Но недосуг им обоим было — ввязываться сейчас в дискуссию по такой непростой проблеме. Так что Ульдемир не стал спрашивать (хотя очень хотелось) — на своей ли земле, например, старый друг работает, или на хозяйской, или общественной, или еще какой-нибудь; и какой тут строй и социально-экономический уклад; и еще много было разных вопросов. Но Ульдемир, привыкший уже ко всяким нелогичным и

даже неправдоподобным (с точки зрения полученного им воспитания) событиям, понимал, безусловно, что сюда, на эту дорогу, попал он со Второй планеты не сам собой и не случайно. А коли так, значит, когда настанет время, ему объяснят и скажут... От себя можем добавить лишь, что был капитан в этом неправ, ибо человек — не механизм, который можно включить и выключить в нужный момент, и спрашивать нужно всегда, потому что иного случая может и не представиться. Но это не важно сейчас... Итак, он улыбнулся пахарю. «Наверное, надо мне идти, — сказал Ульдемир. — А уж как я рад, что тебя встретил...» — «И я тоже. Ты еще всех наших встретишь, они раньше тебя успели вернуться». — «Да, мы далеконько были». — «Далеко, близко, — сказал пахарь, — здесь такого измерения нет, здесь — иначе... А Землю вспоминаешь?» Капитан усмехнулся. «Конечно. На которой жил раньше: старую. Мою». — «Что удивительного? Своя Земля ведь — одна... Ну что — за дело, что ли?» Он шагнул в сторону, потом повернулся, словно смущенный чем-то, опустил даже на миг глаза, потом снова поднял. «Что?» — спросил Ульдемир. «Ты, капитан, если будешь опять на Земле, — может и так статься, — поклонись ей от меня. Низко поклонись, земным поклоном». — «Ладно», — пообещал Ульдемир, не очень, однако, веря в такую возможность. «Ну, счастливого пути, Ульдемир». Пахарь повернулся, подошел к лошадям, пожевывавшим что-то в торбах, надетых на спокойные, достойные морды их, — поднял соху, вожжи перекинул через плечо, соху поставил в нужное место, освободив перед тем лошадей от торб и оправив уздечки, — крепко уперся ладонями, чмокнул, понукая, — лошади влегли в хомуты, сошник словно нехотя, но глубоко ушел в землю — и тронулись, прокладывая новую борозду, и пахарь, кажется, даже запел что-то негромко, хотя было ему нелегко, загорелая спина его отблескивала влагой, свежая борозда тянулась ровно, без единого огреха, словно шов, простроченный на хорошо отрегулированной машинке. «Ну что же, прощай пока, Иеромонах, — подумал капитан Ульдемир. — Прощай, инженер...» И пошел.

Давненько не приходилось ему шагать так, не спеша, но и не медля, емким шагом, когда человек как бы и не торопится, но через минуту-другую оглянешься — а он уже во-он где!.. Воздух над нагретой землей дрожал, но дышалось легко, идти хорошо было. Сотня и сотня, и сотня шагов повторялись, и странное спокойствие нисходило, спокойствие, которое есть — отсутствие беспокойства за что бы то ни было, от пустяка до главного; а подобное отсутствие беспокойства тогда лишь приходит, когда человек уверен, что живет именно так, как надо, и там, где надо, и тогда, когда надо, что не заблудился случайно в чужом месте или времени, откуда почему-либо не

может вырваться — но там и тогда, где ему быть должно. Странное для капитана ощущение, потому что был он ведь не на Земле, и места эти никак не смахивали на его родные края, и занимался он сейчас вовсе не своим делом: его дело было водить корабли, а если брать самую раннюю его, совсем другую жизнь, сейчас уже почти забытую — то и там опять-таки его задачей было вовсе не отмеривать пешком километры по проселку. Нет; и все же он каким-то образом сейчас чувствовал себя дома: ведь бывает же в конце концов и так, что ты обретаешь вдруг свой настоящий дом не там, где родили тебя и вскормили, и воспитывали, но совсем в другом месте — и с первой минуты понимаешь, и потом у тебя не возникает и тени сомнения в том, что вот это и есть твой дом, потому что не прошлое руководит тобой, наоборот — ты все время, каждым шагом, каждой секундой жизни выходишь из этого прошлого, как все выше колено из колена выдвигается телескопическая антенна для приема дальних и нужных сигналов своей планеты... Ульдемир шагал. Та грусть, что вдруг охватила его в последние минуты пребывания на Второй планете, не покинула его совсем, но как бы несколько видоизменилась. Он больше не чувствовал своей заброшенности, оторванности от всего на свете; наоборот, было у него здесь необъяснимое чувство того, что одиноким он тут все же не был и оторванным ни от чего не оказался. Остаток же грусти имел причиной то, что Ульдемир пошел за голосом женщины — но его снова лишь поманили, и теперь он ясно понимал, что то не был голос Мин Алики, и не голос навсегда исчезнувшей Астролиды, нет; и не голос Анны, давно уже отстранившейся, хотя и никогда не уходившей из памяти; но знакомым был голос, в этом капитан готов был поклясться самой страшной из звездных клятв. И вот — никого не оказалось, и шагай себе, капитан; может статься, и вышагаешь что-нибудь рано или поздно... Вот почему было капитану грустновато, но грусть эта не нарушала спокойствия, в каком он пребывал, а напротив, как-то оттеняла его, отчего спокойствие казалось еще увереннее, надежнее, достовернее. Ведь не так устроен человек, чтобы у него все могло быть совсем уж ладно, обязательно хоть какая-то малость да будет не так; если же все буквально так, как хотелось бы, то это ненадолго, и это не спокойствие, но совсем другое: счастье. Однако счастье и спокойствие — вещи совсем разные, они, как говорится, и рядом никогда не лежали.

Дорога шла, время от времени лениво поворачивая: порой — без всякой видимой причины, а то — чтобы обойти одинокое дерево, не потревожить его. Понемногу стали попадаться кусты, потом их сбежалось к дороге больше, а там начали выскакивать деревца, пошел молодой лес, в который

дорога вбежала с каким-то вроде бы даже веселым извивом. Стояла звонкая птичья тишина, потом затрещали кусты, и что-то неразличимо быстрое промчалось, перемахнуло через дорогу — и скрылось в лесу по другую ее сторону, а треск, хотя и не сильный, все приближался оттуда, слева, и вот на дорогу вынесся длиннейшим прыжком преследователь, на лету готовясь к следующему прыжку — но увидел Ульдемира и удержался, едва коснувшись дороги пальцами босой ноги; видно было, каких усилий стоило ему смирить свою прыть, но он справился и встал, поджидая капитана, и рот охотника неудержимо растягивался от уха до уха. «Привет, капитан! — крикнул он, не дотерпев до полного приближения Ульдемира. — Что ж ты позволяешь мне упустить обед?» Капитан был уже готов ничему не удивляться — и не стал, он эту встречу воспринял как должное, словно было бы очень странно, если бы она не состоялась. «Привет, Питек! — ответил он. — Давно вернулся? Как дела?» — «Давно ли? Не знаю, тут как-то не так со временем, да я и всегда считал, что время — это лишнее, его вы придумали там, в ваших технических столетиях. А что до жизни, то я живу! День еще не успел пройти, а я уже жду завтрашнего, и радостно оттого, что я знаю: пройдет он не хуже сегодняшнего, и впереди таких дней много-много». — «Ты один?» — спросил капитан на всякий случай. «Сейчас — нет. Все наши в сборе. Не могли же мы допустить, чтобы ты прошел мимо и не посидел с нами!» — «Посидеть с тобой! — воскликнул Ульдемир, изображая ужас. — После того, как ты влил в меня столько отвратительного питья на Шанельном рынке!» — «А что, — откликнулся Питек, ухмыляясь, — поддали тогда неплохо, настоящий штык-капрал должен пить, пока остается хоть капля». — «Ну вот, и после этого ты меня приглашаешь?» — «Ты же знаешь, капитан: здесь все иначе. Мы собрались неподалеку. Только вот я из-за тебя упустил дичь». — «Охотишься?» — спросил Ульдемир, идя рядом с Питеком по дороге и сворачивая вслед за ним на едва заметную тропинку. «Я ведь охотник от природы, капитан, ты знаешь. И тут я делаю свое дело. А главное ведь — делать свое дело, свое, а не чужое, а какое дело свое, и какое — чье-нибудь, не может знать никто, кроме тебя самого, да и ты иногда понимаешь это с самого начала, а порой — не сразу. Но понимаешь. И тогда уже не хочешь делать ничего другого, кроме своего дела...» Ульдемир хотел что-то возразить, но они уже вышли на поляну, где кружком около костра сидели остальные из его экипажа, бывшего экипажа: и мар Цоцонго Риттер фон Экк, и штаб-корнет Георгий из Спарты, и разведчик Олим Гибкая рука. Взгляд Ульдемира еще раз обежал полянку в безумной надежде, что еще один человек окажется тут — Астролида, инженер; но ее не было, компания собралась

мужская, и он немного поник на мгновение, хотя, правду говоря, и знал, что больше ее не увидит никогда.

Он сел; они все долго смотрели друг на друга, переводя глаза с одного на другого, чувствуя, что все они — одно, но это одно будет отныне существовать в разных местах. Потом разом вздохнули, словно по команде. «Ну что же, Питек, — сказал Ульдемир, чтобы завести нейтральный разговор, — есть у тебя охота, ладно. А остальное как? Жить под кустом? Или тут и дождей не бывает? И холодов? Тогда, конечно, удобно — да ведь это одно место такое, может быть, существует в мире, а в других местах ты и сам знаешь, как. А после охоты хорошо ведь принять горячую ванну, а?» Охотник кивнул: «Неплохо. Но, наверное, было бы очень скучно — если бы никогда не случалось дождей, бурь, холодов даже. Тогда кто знал бы цену хорошему дню? Но это не главное. Думаешь, тут нет твоей горячей воды? Если надо, я сяду в ледяную — и собой, желанием своим нагрею ее так, что обожжешься. Но не в этом дело. Думаешь, ты попал в мир охотников? Нет, капитан, это мир людей, а люди бывают разные, и я люблю нестись за оленем, а другому нужно забраться в самую глубину материи, ему не нужен мой нож, ему нужно другое — ты думаешь, у него нет того, что нужно ему, чтобы с нетерпением ожидать следующего дня?» — «Есть? Значит, что же — каждому по потребностям?» — «Да, если потребности — такие, — вступил в разговор Георгий. — Ты не видал здешних городов, Ульдемир, а они есть, таких ты и представить не можешь. И там живут люди, чья жизнь должна протекать именно там, а тут они захиреют от скуки. Каждый человек должен жить так, как ему свойственно, капитан, разве не так?» — «Прекрасно было бы. Но ведь время...» — «Послушай, капитан, — проговорил Уве-Йорген. — Наша с тобой ошибка, ошибка всего нашего времени — в том, что мы решили, что новое — противоположность старому, и его отрицаем. Нет, новое лишь дополняет старое, и чем больше всего существует одновременно, тем больше шансов, что каждый найдет занятие по себе...» — А ты нашел дело по себе, Рыцарь?» Уве-Йорген усмехнулся. «Я... Обо мне другой разговор. Как и о тебе, надо полагать. Но вот ребята, кажется, осваиваются и никуда уже отсюда, думаю, не собираются». — «Почему? — не согласился Георгий. — Я еще не совсем решил. Но создаются новые планеты, Ульдемир, и восстанавливаются те, где были слишком неразумные хозяева. И я, может быть, попробую обосноваться на одной из них. Понимаешь, здесь слишком благополучно для меня. Вот Иеромонах нашел здесь свое, и Питек тоже, и Гибкая Рука». Индеец кивнул и снова застыл, слушая. «А я еще буду искать, — сказал Георгий. — Здесь, конечно, всего очень много. Но ведь всегда остается в мире что-то такое, чего здесь нет. Вот я и

хочу найти это». — «Хорошо, — согласился Ульдемир. — Значит, только мы с тобой, Рыцарь, остаемся неприкаянными». — «Что поделать, — пожал плечами Уве-Йорген, — мы из двадцатого века, он был не очень уютным, сильно трясло, и нам не так просто остановиться и успокоиться. Не правда ли, капитан?» — «Наверное. Значит, ты...» — «Попытаюсь». — «Но что мы станем там делать?» — «Там? Там это будет проще. Понимаешь, все-таки Земля — это... А какого-то опыта мы набрались, и лучше представляем, что к чему, не так ли?» — «Я еще не знаю, возможно ли это вообще. Посмотрим, что предложат», — сказал Ульдемир, словно дело происходило в приемной начальства, и они ждали очередного назначения. «Пойми, капитан, — сказал Рыцарь, — отсюда очень хорошо видно, что именно наше время — двадцатый век — во многом оказалось узловым, повлияло на все последующее, и современная Земля, которая нам порой так не нравится — это вывод из наших предпосылок... Надо возвращаться, Ульдемир, надо делать что-то там, в наших днях, чему-то ведь мы научились!» — «Да, — сказал Питек, — вы можете попробовать. Мы теперь уже стали людьми Фермера. А вы оба — еще люди Мастера». — «Какая разница?» — поинтересовался Ульдемир. «Разница не в людях, а в том, что и как они должны делать. Одни создают основу. Другие растят на ней сад. И одни люди хотят растить, а другие — создавать основу. Каждый человек находит себя. А ты нашел себя? Ты — капитан?» Ульдемир подумал и сказал: «Наверное, нет. Я многим занимался в жизни и отбрасывал одно за другим именно потому, что не было у меня ощущения сытости, не было сознания своего дела. Я еще не знаю, Питек, кто я, хотя большая часть жизни уже прошла». — «Об этом ты не думай, — сказал внезапно индеец, — ты думай о главном». — «Ну вот, я же сказал, что не знаю. Иногда мне кажется... Впрочем, кажутся мне разные вещи. Может быть, на деле я — плотник, и мне надо взять инструмент и обосноваться где-нибудь здесь, неподалеку от вас?» — «Может быть», — согласился Гибкая Рука. «Плотники вам нужны?» — «Все люди нужны самим себе, — сказал Питек, — и если они нужны самим себе, то они нужны и другим. Ты только пойми правильно: нужны себе не для того, чтобы пить, есть и спать, а для того, чтобы делать свое дело, как Иеромонах, как я, да и все, кто живет здесь. Но в чем твое дело — я знать не могу. Ты будешь разговаривать с другими. С теми, кто знает куда больше нашего: с Мастером, с Фермером. Может быть, они что-то посоветуют тебе, подскажут. Но что-то ты и сам должен знать. Хотя бы самое основное. Для начала».

Ульдемир задумался. «Ну, главное я, пожалуй, знаю, — сказал он достаточно уверенно. — Снова оказаться на Земле.

На старой, на моей. А дальше... Придется всерьез подумать о том, что только что сказал Рыцарь. Может быть, он прав». — «Понятно, — кивнул Питек. — Ты можешь так рассуждать, потому что для тебя она существует в целом, Земля. Не только какое-то одно или два места на ней, но вся планета вместе со всем, что есть на ней. И если что-то из этого всего будет недоставать, тебе станет уже не по себе, потому что это будет уже не та Земля, если бы даже недостающее тебе пытались заменить чем-то получше. У меня, у монаха, у Руки совсем иначе: для нас нет целой Земли, она существует в нашем представлении только в тех пределах, какие были нам доступны в наши времена, а пределы эти невелики, и то, что есть здесь, не очень отличается от того, что было там. Но ты и Рыцарь — другое дело. Понимаешь, если бы вас поселить в другом месте Земли, вы все равно были бы, наверное, довольны, потому что для вас это все равно была бы та же самая планета, даже если бы все там не было похоже на привычные тебе края». — «Но на Землю мне все-таки вряд ли удастся попасть», — невесело заметил капитан. — «Почему?» — «Я с самого начала предлагал Мастеру установить контакт с нашей земной цивилизацией — обещал от этого какие-то выгоды!..» Питек усмехнулся. «Этого не надо стыдиться, — сказал он, — тогда мы ничего еще не знали». — «Да; но все равно, он мог бы пообещать отправить меня на Землю, пусть и без контактов; теперь я знаю, что им ничего не стоит сделать это». — «Вот и проси. Конечно, может быть, все чуть сложнее: у них, видишь ли, такое представление, что человек должен быть там, где есть подходящее для него дело. Но с другой стороны, они считают, что ограничивать человека ни в чем нельзя, иногда они даже слишком не ограничивают, так что потом приходится срочно идти на помощь и спасать. Ну, как на тех планетах...» Легкие улыбки прошли по лицам после этих слов охотника. «Капитан, — сказал Георгий, — и ты, Рыцарь: в любом случае помните, что мы здесь, и что если понадобится помощь — наверное, никто не станет мешать нам прийти и помочь. Все-таки что-то мы уже умеем, верно?» — «Ну, — сказал Рыцарь, — попали бы вы в мои руки с самого начала, вы сейчас умели бы куда больше. Но ничего, ребята, будьте уверены: пора всеобщего покоя еще не настала, и не спешите забывать, что в мире бывают еще драки». Снова все помолчали. Потом Ульдемир встал.

— Спасибо, — сказал он. — Это было здорово — увидеться.

— Мы желаем тебе счастья, Ульдемир, — сказал Георгий.

— Встретимся там, — сказал на прощанье Рыцарь. — Хочу еще немного поохотиться тут. Достойное занятие. А ты в случае чего замолви словечко и за меня.

«Не надо оглядываться, — думал Ульдемир, уходя. — Не надо, потому что это все равно горько — что бы там ни было впереди. Но каждый ищет самого себя. И этот «сам» не всегда там, где другие... И вообще, — думал он, — человек со своими делами должен справляться сам: тогда он каким-то образом организует мир вокруг себя, если же он полагается на других, то лишь пристраивается к миру, организованному другими. Беда только в том, думаем мы, что никому из нас неизвестно в точности, как нужно организовать мир и для чего. Кто-нибудь другой, может быть, и знает, а мы — увы. Впрочем, как говорится, еще не вечер...»

* * *

Ульдемир снова стоял на обширной открытой веранде, залитой все тем же золотистым светом. Только что прошел он лугом, поросшим яркой муравой, каблуки его простучали по мостику, перекинутому над неширокой, прозрачной, медленно струящейся речкой, окаймленной невысокими кустами, и взошел на крыльцо. На веранде никого не было, но стоял стол, накрытый на четверых, накрытый в полном соответствии со вкусами и обычаями Земли — и, следовательно, именно его ждали здесь. Дверь, из которой Ульдемир вышел сколько-то дней назад (но он не мог сейчас поручиться, что только дни прошли; неизбежность времени не ощущалась здесь), была гостеприимно отворена, однако он не стал заходить в дом, а остался на веранде в уверенности, что долго ждать ему не придется.

И действительно: высокий человек, в углах рта которого, как и прежде, крылась чуть насмешливая улыбка, вышел и приблизился к Ульдемиру. Капитан, не зная, как надлежит приветствовать хозяина, ограничился кивком — не небрежным, а выразительным, с паузой, позволявшей счесть это движение за поклон. Мастер улыбнулся в ответ и тоже кивнул — не так церемониально, может быть, но доброжелательно, словно увидел приятеля, с которым встречался лишь недавно и с которым за прошедшее с тех пор время ничего плохого не только не случилось, но и не могло случиться. Мастер подошел к столу, но садиться не стал, сказал лишь:

— Обождем других, если не возражаешь. А тем временем хочу поздравить тебя. Ты все сделал правильно. Ты помог.

— Кому? — не удержался Ульдемир от вопроса.

— Миру.

— Ты имеешь в виду те две планеты, Мастер?

— Нет. Мир — это все, — сказал Мастер, широко поведя рукой. — Все, что есть, и чего еще нет, но что будет, что должно быть — если развитие не сойдет с верного пути. Ка-

залось бы, что такое две небольших планеты для всего мира? Но с них мог начаться, а точнее — ими мог продолжиться и усилиться процесс, вредный для развития мира. Так что считай, что мир избавлен от одной из помех благодаря и твоим усилиям. Народы ставят за такие дела памятники; и тебе тоже будет воздвигнут памятник на обеих планетах. Только изваян будешь не ты, к сожалению, а мар Форама Ро, способный ученый и не очень крупный человек, в нужный момент решившийся, правда, на необходимые, хотя и небезопасные действия. Мы знаем, что вел и побуждал его ты, а дал тебе такую возможность я; таким образом, сделали все мы с тобой — и еще кое-кто, как ты понимаешь, — но люди там никогда ничего не узнают. И это, возможно, слегка уязвит твое самолюбие. Но народы не так уж редко ставят памятники не тем, кто был мозгом и сердцем свершения, но лишь оболочкой — памятники внешности, а не сути. И лишь мы знаем, как все было на деле. Но мы нередко отождествляем себя с силами природы, Ульдемир, — а разве силам природы нужны монументы?.. Я понимаю, что мы с тобой можем судить об этом по-разному, и одно лишь знание сути может показаться тебе не вполне достаточной наградой за силы, которые ты потратил, и опасности, каким подвергался. И, быть может, за некоторые разочарования, без чего, насколько я могу судить, тоже не обошлось. Поэтому мы наградим тебя, хотя наше представление о награде не во всем будет совпадать с твоим. Тебе придется поверить в то, что наше представление ближе к истине, именно поверить: поймешь ты это далеко не сразу.

— Ладно, Мастер, — сказал Ульдемир, усмехнувшись. — Какой еще памятник? На Земле не знают об этих делах, а на Старой планете никому неведом Ульдемир. Но чтобы чувствовать себя вознагражденным, я хочу все-таки понять толком: что же я сделал? Предотвратил войну между двумя планетами? Да, это немало — для их обитателей; но если говорить о Вселенной, то так ли уж велика заслуга?

Мастер снова улыбнулся.

— Ты все еще мыслишь масштабами своей Земли, — сказал он, — и на уровне ее знаний. Уровень этот, скажу сразу, не очень высок, а ты ведь еще и не самый знающий... Но даже и у вас на Земле давно знали, Ульдемир, что нет в мире изолированных событий, и каждое влияет на все остальное. Но у вас представляют это лишь в самом общем виде, а механизм взаимодействия между, казалось бы, разобщенными событиями тебе совершенно неясен, да и всем у вас — тоже. И не потому, что эти вещи слишком сложны для вашего постижения. Они крайне просты, даже примитивны. Но вы никогда не пытались всерьез подумать о них, потому что в вашем мышлении существует множество запретов, вами самими постав-

ленных и ничем не обоснованных. И вот это самоограничение вашей мысли направило вас на тот путь развития, который теперь заставляет Фермера считать вас сорной цивилизацией, культивирующей искусственную жизнь вместо естественной; цивилизацией, не понимающей, что такое человек и какова его роль в мире. Но об этом тебе лучше поговорить с Фермером: люди — его стихия, мое дело — мир, его конструкция, развитие и совершенствование. Но все же скажи мне: чего ты пожелаешь для самого себя?

Ульдемир ответил не сразу:

— А что ты можешь предложить, Мастер?

— Не более, чем у меня есть. Хочешь остаться, хочешь быть с нами? Это не так уж плохо, как может показаться тебе, Ульдемир: быть моим эмиссаром. Это — множество планет, на которых тебе придется бывать. Цивилизаций, с какими придется встречаться. Правда, должен предупредить сразу: чаще всего это будут не лучшие цивилизации. Те, где дела идут хорошо, мы навещаем редко, там работает Фермер, удобряет и улучшает, получает урожай и сеет снова... Это будут не самые благополучные цивилизации, и там придется порой быть даже жестоким, и уж всегда — решительным, и там придется редко выступать в своем облике, так что ты станешь даже отвыкать от него, как многие из нас... Но зато ты будешь уверен, что делаешь важное и нужное, и силы у тебя будут иные, и возможности и средства — неизмеримо огромнее, а опасности, какими смогут грозить тебе те цивилизации, вызовут у тебя только улыбку. Я предлагаю тебе, Ульдемир, подлинное могущество. Ты нам подходишь, и если согласишься — мы будем рады. Тем более, что... — он выдержал паузу, — не только я думаю так, и обещанное мною — далеко не единственная награда.

— Я человек практичный, Мастер. Скажи сразу, что ты имеешь в виду.

— Нет, Ульдемир. Мог бы, но не стану. Потому что сказать тебе об этом должен не я. И потом — я же не покупаю тебя и не нанимаю. Я предлагаю тебе это, как награду, и поверь: так оно и есть. Лишь немногие из желающих удостаиваются нашего согласия. Моего, если хочешь.

— Спасибо за предложение, Мастер, и за честь. Но я не хотел бы решать сразу. Ты сказал, что Фермер придет?

— Ему интересно посмотреть на тебя вблизи. На землянина.

— Он будет говорить со мной?

— Не сомневаюсь.

— В таком случае, я отвечу тебе после разговора с ним.

— Я и не тороплю тебя. Подумай. Тем более, что я слышу его приближение. Приветствуй Фермера, как следует: он нерав-

нодушен к знакам внимания и уважения. Дай понять, что ты очень рад возможности его увидеть. Он крайне добрый человек. Но мыслит лишь категориями цивилизаций и культур, и при этом отдельный человек порой выпадает... Да, вот и он. Тепла тебе, Фермер!

— И тебе, Мастер. Я наблюдал, как сокращается зона Перезакония. Очень успешно. Спасибо за помощь.

— Ты благодаришь не того, кого следовало бы. Вот человек, исполнивший этот нелегкий труд.

— Это он? — Фермер повернулся и стал в упор разглядывать Ульдемира. — Тот, что предлагал нам контакт с Землей и всяческие блага?

— Вряд ли его можно винить в этом, Фермер. Тогда он и вовсе ничего не понимал.

— Не сомневаюсь. Но должен огорчить тебя, человек: контакт с вами нам сейчас вовсе не нужен. Могу сказать, почему: вы не доросли до него. Вы получили прекрасную планету. В отличие от тех, у кого с самого начала имеется лишь одна возможность развития, у вас было их множество. И вы избрали самую худшую из них. Понимаешь, почему худшую?

— Нет, — сказал Ульдемир, пытаясь скрыть обиду. — Не понимаю.

— Попытаюсь объяснить. Ты задумывался когда-нибудь о том — какова цель вашей цивилизации?

— Чтобы люди жили. И по возможности лучше.

— Что, по-твоему, значит «жить лучше»?

— Ну, начну с самого примитивного: быть сытыми. Иметь жилье. Любить...

— Любить. Наконец-то хоть одно осмысленное слово. Значит, быть сытыми. Иметь жилье. И так далее. Поколение за поколением. До какого же времени? А главное — зачем?

— Ну, не только это. Осмысленно трудиться, творить... Развивать человеческие способности...

— Ты со странной последовательностью перечислил именно то, чего вы как раз не делаете. От чего вы сейчас дальше, чем были в самом начале.

— Ну, — сказал Ульдемир, — сохой-то мы давно не пашем.

— Соха тебя оскорбила? Конечно, она может прокормить куда меньше людей, чем ваши механизмы. И конечно, хорошо, когда человечество растет. Но для чего — растет? Просто, чтобы расти? Для этого разум не нужен. Для осмысленного труда? А ты много его встречал у себя дома? Что ты вообще считаешь осмысленным трудом? Думаешь — труд, в результате которого возникают очень сложные изделия? Чушь. Не забудь: плоды труда в первую и главную очередь — не то, что вы всем скопом сделали, а то влияние, которое оказал труд на каждого, кто работал. Не то, что труд сделал с изделием, а что

он сделал с человеком! Не с человечеством, а с отдельным человеком, с каждым, ибо человечество — не муравейник, муравейник — организация для насекомых, а не для людей. Не надо завидовать муравьям: им понятие счастья неведомо. Вы же об этом и всерьез думать забыли. Вы вкатили на пьедестал огромное зубчатое колесо, как вы там его называете... и идолопоклонствуете! Зачем же нам такой контакт? Вместе поклоняться шестерням и лить на их алтарь машинное масло? Разве шестерня — цель существования мира? И не она развивает мир. Люди должны быть людьми, а не массой, завинчивающей гайки. Вот научитесь быть людьми! Тогда придите, и рассудим. Рассудим — разговаривать ли с вами, или подождать, пока вы сами не освободите место для нового посева!

— Ну, за что ты его так, Фермер, — улыбаясь, проговорил Мастер. — Человек любит играть; они там играют в механизмы и могущество, и не задумываются над тем, что одна лишь машина неизбежно завезет их в тупик. Но если им объяснить...

— Объясняли, — сказал Фермер. — Но они очень не любят, когда им объясняют. До смерти не любят. До смерти того, кто пытается объяснить.

— Но хоть ему ты что-то объяснишь? Одним суждением он сыт не будет. Ну хотя бы — в чем заключается цель...

— А как по-твоему? — спросил Фермер Ульдемира. — В чем заключается цель?

— Цель чего? — не сразу понял капитан.

— Существования. Моего, твоего, всех людей.

— Ее вовсе нет, цели, — сказал Ульдемир обрадованно. — Цель — в самом нашем существовании. Для этого мы и работаем.

— Ну вот, — сказал Фермер. — Вот мы и сподобились услышать исчерпывающее объяснение. Ну, а почему же вы решили, что иной цели, чем собственное существование, у вас нет?

— Да потому, что цель ставит тот, кто создает. А разве нас кто-нибудь создавал? Может быть, вы нас создали, Фермер?

— Нет, — сказал Фермер. — Потому что фермер не может сказать, что он создал пшеницу. Вначале ее создала природа. А он лишь сеял, отбирал и улучшал. Ухаживал. Жал и сеял снова. Но он не создал. Так же и вас.

— Значит, и цели некому было ставить.

— А вот тут ты уже уклоняешься в сторону. Цели нет, если говорить твоими словами, однако место свое, роль своя, задача своя — есть! Ибо все в природе имеет и начало, и продолжение.

— Это вы о возможности новой, более совершенной расы?

— Мы ведь говорим о людях, а не о тех, кто еще может быть. О людях — таких, каковы они суть. И продолжение

человека — это его воздействие на мир, который, в свою очередь, воздействует на него.

— Разве мы не воздействуем?

— Уродуя. Да, этому вы научились. У кого только? Но вернемся к цели. Ответь: кто создал траву?

Ульдемир пожал плечами:

— Никто, естественно. Природа. Эволюция...

— И цели никакой, следовательно, не было?

— Конечно.

— Запомни это. Но вот впоследствии появилась — ну, допустим, корова. Кто создал корову? Ну, хотя бы ее предков?

— Тоже никто.

— И здесь, значит, никакой цели никем не ставилось. Согласен. Но когда она все же возникла, эта бесцельная корова, пищей для нее стала служить трава. Не было бы травы — не было бы и коровы, согласен? Следовательно: цели у травы не было, но задача своя, роль, место в цепи развития мира у нее появилось: служить пищей корове. Или я неправ?

— Ну, тут, кажется, противоречий нет...

— О, благодарю! Тогда двинемся дальше. Возник человек. И корова, никакой цели в своем бытии, понятно, не преследовавшая, стала — хотела она того или нет, другой разговор — источником молока, мяса, кожи, тяглом даже... И у нее, значит, появилось свое место в некоей системе, одной из множества. Своя роль. И если корова вдруг изменилась бы — скажем, молоко ее стало бы ядовитым для человека, — это не могло бы не повлечь изменений в последующем звене. Ну, а дальше? Как с нами самими? Может у человека быть свое место в той же системе развития мира, своя функция, своя задача? Или — все для него, а он, человек — венец мироздания? Нет, человек, если ты и венец, то пока чаще — терновый... Но если я — предел развития, все для меня, мне на потребу, следовательно, что пожелаю, то и делаю, отчета спросить некому, а цели у меня нет, оттого мне и море по колено... Так что же — значит, все позволено?

— В чем же наша функция? — хмуро спросил Ульдемир. Вовсе не туда уходил разговор, не в ту сторону, куда хотелось бы. Но и уклониться от разговора этого теперь не было возможно.

— Вот наконец-то мы подошли к дельному вопросу. И я постараюсь тебе на него ответить. Но прежде — маленький шаг в сторону. Вы уже в твои времена знали, что живете во Вселенной. Но представляли ее себе чрезвычайно примитивно. То ли она существовала вечно, то ли однажды возникла, сформировалась — и на этом почила, видимо. И осталось от всей ее динамики разве что одно пресловутое разбегание галактик. Уютно вы устроились, ничего не скажешь: так и

рисуется вам этакая неподвижная Вселенная, основные законы которой вы уже постигли, неизменные, разумеется, законы, то ли родившиеся в момент возникновения Вселенной, то ли еще до того существовавшие — словно одни и те же закономерности свойственны миру на всех стадиях его развития... Но ведь не могло быть такого, чтобы мир, развившись до определенного уровня сложности, взял да остановился вдруг в своем развитии. Почему вы не подумали, что мир не застыл, он продолжает меняться? И законы его бытия тоже меняются неизбежно. Но чтобы всерьез задуматься об этом, надо перестать относиться к миру как к чему-то, от которого можно и нужно только брать, брать, брать, запихивать все в человека, как в черную дыру, возврата откуда нет. Надо взглянуть на мир, как на нечто, чему и отдавать надо! Потому что мир может изменяться, совершенствуясь, а может и — регрессируя. Не только мир людей: весь вообще мир. Ты скажешь: нет, ведь развитие наверняка происходит по заложенной в материю программе! Да; ну, и что же? Программа есть и в зерне. Но чтобы она реализовалась, нужны условия. Влага, температура, свет, защита от сорняков, вредителей... То есть, нужны еще и сторонние воздействия. И вот без такой стимуляции мир тоже не может развиваться должным образом. Он живет, мир, а раз живет, значит — уязвим. Но поскольку вне мира ничего нет, то и эти стимулирующие силы тоже находятся внутри его, в пределах самого мира, они — его часть. Силы, которые тебе, допустим, легче представить хотя бы в виде полей.

Ульдемир кивнул.

— А раз это понятие тебе знакомо, то представь себе некое поле, в котором развитие вещества происходит в нужном направлении. Хотя воздействие его и не так очевидно, как, скажем, магнитного поля или гравитационного. Твои современники еще не создали приборов для его обнаружения. Поле это, надо тебе сказать, существовало не изначально. Оно возникло в процессе развития мира. На определенном этапе. Ты догадался — когда и как?

Ульдемир снова кивнул — медленно, словно сомневаясь.

— Да, да! Вместе с человеком! Только мыслящая материя генерирует его. Вы думаете, что ваш разум влияет на мир лишь посредством рук и вложенных в руки орудий — любой сложности. Но это — малое влияние, в масштабе Вселенной им можно и совершенно пренебречь. Но существует влияние куда более сильное и непосредственное; и вот вы воздействуете на весь мир, сами того не зная, хотя смутно вы об этом догадываетесь, и отсюда идет и этика ваша, и мораль, и понятия добра и зла; воздействуете, и в этом ваша — не скажу

«цель», но функция в мире. А руки у вас не затем, чтобы природу изменять, но себя — себя! — совершенствовать.

— Интересно, — проговорил Ульдемир, сомневаясь. — По-вашему, все получается очень просто, и стоит лишь человеку захотеть чего-нибудь — и все возникнет, как в сказке...

— Ну, это-то пока вам не под силу. Да и не о том речь. Пойми другое: поле, создаваемое вами (если оставаться в рамках ваших представлений), непосредственно влияет, независимо от вашего желания, на процессы развития мира — причем влияние это может сказаться где-то на громадном расстоянии, а может и совсем рядом. Но важно вот что: поле это может быть положительным — или отрицательным, влиять на мир в нужном направлении, или в обратном. Применяясь к твоим понятиям, скажу так: при положительных мыслях и чувствах, переживаемых человеком, возникает поле, действующее так, как нужно, чтобы мир развивался. При отрицательных — наоборот. Любовь, дружба, творчество, все, что вызывает в человеке радость, — вот то, что нужно миру.

— Добро, иными словами?

— А ты полагаешь, добро и зло суть понятия относительные, целиком зависящие от уровня сознания? Нет, они естественны, они связаны с развитием мира, начиная с возникновения разума.

— Но ведь человек может испытывать радость по таким поводам, какие уже не назовешь добрыми. Люди-то разные... Радость — убив врага, обманув, украв и не попавшись...

— Может. Но где убийца — там и жертва, и там, где вор или обманщик, тоже без жертв не обойтись. И чувства жертв противоположны по знаку и сильнее по абсолютной величине: так уж устроен человек, что чувства отрицательные, или, как мы тут говорим, Холод, всегда сильнее, чем Тепло, и держатся дольше: может быть, потому, что радость кажется человеку естественной, она не вызывает в нем такого перепада между тем, что должно быть, и тем, что есть на самом деле, какой возникает при переживании зла. Наибольшее Тепло рождается, когда радость одних не связана с потерями других, когда второго знака вовсе нет. Тогда мир обогащается Теплом в чистом виде, и развитие его от хаоса к порядку убыстряется.

— Чем же оно завершится?

— Этого мы не знаем. Может быть, это известно тем, кто ушел дальше нас...

— Разве вами не завершается цивилизация?

Фермер усмехнулся.

— Немногого бы она стоила, если бы это было так. Нет... Мы не знаем, чем закончится развитие. Наверное, оно вообще никогда не завершится, но какие формы будет принимать —

для нас это пока непредставимо. Мы видим только ближайшие рубежи. Мыслящая материя, например, — вся материя. Это еще можно вообразить... Но дело не только в прекрасном будущем. Разве сам процесс достижения цели не может быть прекрасным? Разве не был чудесным миг, когда люди на тех планетах увидели удаляющиеся навсегда смертоносные машины? Мы с Мастером видели, какой взрыв Тепла возник в те мгновения. Жаль, что тебе не дано было видеть это. Вы с вашей цивилизацией не уделяете ни малейшего внимания развитию своих способностей, предпочитая те из них, что утрачены или вообще не успели развиться, заменять протезами. А мы вот видим гравитацию, видим магнитные поля и слышим их — и это прекрасная музыка... Но мы снова отвлеклись. Такие вспышки Тепла, как эта, — явление редкое, они связаны с исчезновением угрозы какой-то глобальной катастрофы, чаще всего самими же людьми и вызванной. Но нельзя же постоянно подвергать угрозам обитаемые миры! Нет, каждому человеку должно быть хорошо и радостно — день за днем, постоянно, поколение за поколением. Каждый день, каждый час жизни должен приносить радость. Человек должен много трудиться, излучая великую радость творчества, — и делать то, к чему чувствует пристрастие. Я не хуже тебя понимаю, что пахать сохой — не лучший способ растить хлеб. Но если хоть одному человеку именно это доставляет самую большую радость — пусть пашет!

И что за беда, если на соседнем поле будут работать машины, а еще на одном хлеб будет расти так, как принято это у многих цивилизаций основного русла: сам собой, без вмешательства человека, но по договоренности с ним. Человек может получать у природы все нужное, не отнимая, но по соглашению с нею; только при этом ему приходится относиться к ней, как к равноправному партнеру, и выполнять свои обязанности, понимать ее и не применять насилия... Наш способ дает неизмеримо больше, чем ваш, машинный, а ваш, в свою очередь, куда производительней, чем соха; но если соха необходима ему — да обрящет! Потому что миру не хлеб его нужен прежде всего, а его радость жизни, то Тепло, которое дает он, ощущая себя на своем месте в мироздании. Пусть равно благоденствуют пахарь и капитан звездного корабля: для мира они одинаково ценны. И пусть два соседа делают и думают по-разному, но если дела их добры — они генерируют одно и то же поле: то, что ведет ко благу. Ты понял? Страх, зависть, вражда, подлость, голод, бесправие — вот что дает отрицательные поля, и еще многое другое: предательство, жестокость, нетерпимость... Чем больше человек думает о мире и о своем месте в нем, тем менее

способен он на все это. Но заботиться об этом нужно начинать своевременно, подобно тому, как воспитание каждого отдельного человека начинают с первого дня его жизни. А вы решили, что важнее — делать машины, а человек как-нибудь и сам обойдется... И я говорю: вы хотите войти в наш мир, большой, развивающийся в радости и для радости мир? Научитесь быть людьми, а не персоналом! Чувствовать не шепотом! Любить, не жалея себя! Тогда, повторяю — тогда придите, и рассудим!

Не дожидаясь ответа, Фермер круто повернулся. Шаги его прозвучали за углом дома и сразу исчезли, и Ульдемир снова остался наедине с Мастером.

— Ну, вот, — сказал Мастер спокойно. — Теперь ты приблизительно понимаешь, что к чему. Фермер прекрасно объясняет, мне это никогда не давалось. И теперь ты можешь всерьез подумать и решить: так ли уж хочешь ты на свою прекрасную Землю?

Ульдемир помолчал. Вздохнул.

— Я хочу. Не знаю, почему. Рассудок советует остаться с вами. Но вот чувство... Наверное, только там я смогу давать Тепло, о котором говорил Фермер. Там.

Мастер помолчал в свою очередь.

— А какую Землю ты имеешь в виду?

— Если бы у меня был выбор! Но разве ты сможешь вернуть меня туда, где я родился, где я жил своей жизнью?

— Какая мне разница?

— Это возможно?

— В моих силах многое.

— Тогда... Тогда, Мастер, и говорить нечего!

— Да будет так. Но я все же не хочу терять тебя окончательно. Поэтому ты не забудешь того, что сделал. И того, что услышал. И не станешь скрывать этого от тех, кто захочет услышать.

— Обещаю.

— А ты представляешь, что это тоже — схватка?

— Да, — сказал Ульдемир, помедлив. — Да. Но скажи: зачем? Ведь те времена, куда я хочу вернуться, давно прошли. Земля с тех пор проделала немалый путь — может быть, не совсем в нужную сторону...

— Что ты знаешь о времени, Ульдемир, чтобы судить? Раз я хочу этого, значит, вижу смысл. Недаром даже у вас понимают, что исправлять ошибки никогда не поздно.

— Верю. Хотя в чем-то ты и обманул меня.

— Это серьезный упрек, Ульдемир. Я знаю, что ты имеешь в виду. Но я никогда не обманываю. Разве я не дал тебе любви — там, на планетах?

— И отнял снова.

— Любовь нельзя отнять. Человек — может быть. Но я не обещал тебе ничего навечно. И к тому же, жизнь еще далеко не кончена, капитан. Вот стол. Разве не чувствуется, что здесь хозяйничала женская рука? Но ты даже не полюбопытствовал, для кого еще один прибор. Он для женщины.

Ульдемир нерешительно усмехнулся.

— Должен разочаровать тебя: нет. Она — мой эмиссар, та, что помогала тебе на планетах. Но ты не знаешь ее — настоящей...

Ульдемир безразлично кивнул.

— Я очень благодарен ей — за помощь и гостеприимство.

— Это ты скажешь ей самой.

И почти одновременно с этими словами женщина вышла из дома.

Нет, никогда раньше Ульдемир не встречал ее. Незнакомые черты прекрасного лица. Спокойный и добрый взгляд. Мягкая улыбка.

— Тепла вам! — сказала она. — Вам обоим.

— Прошу к столу, — сказал Мастер. Он смотрел на женщину, Ульдемир перехватил его взгляд, и капитану почему-то стало грустно.

* * *

— Ну вот, капитан, — сказал Мастер, когда обед подошел к концу и на столе появились фрукты. — Не могу обещать, что тебе будет легко. Но не надо бояться, даже когда очень больно. Это ведь не главное. Главное — добро. И ты знаешь, что будущее — за ним. Что бы тебе ни говорили. Счастливого тебе пути.

— Теперь моя очередь, Мастер, — сказала женщина.

Мастер нахмурился.

— Нужно ли это?

— Я так хочу. И ты знаешь, что я права. Ты — знаешь.

Ульдемир смотрел на нее, не понимая. Мастер встал.

— Хорошо, — сказал он, и голос его, по-прежнему громкий, словно утратил глубину. — Я всегда уступал тебе.

В следующий миг его больше не было на веранде.

Ульдемир взглянул на женщину.

— Я слушаю вас.

— Ульдемир, — сказала женщина. — Всегда мы были на «ты»...

— Простите, — сказал капитан. — Я не припоминаю...

— Тогда смотри.

Он и так смотрел. Лицо ее стало неподвижным, но черты его словно бы менялись — где-то в глубине, под поверхностью. И...

— Анна! Нуш!

— Не спеши...

— Астролида! — Он вскочил. — Ты...

— Обожди, капитан!

— Мин Алика?..

Но и тот образ промелькнул — и исчез, и снова перед ним сидела женщина, которую он только что увидел здесь впервые в жизни.

— Ульдемир! — сказала она негромко. — Теперь ты уже не дикий мальчик, ты знаешь Мастера и должен видеть не только то, что на поверхности. Разве трудно было понять, что все время это была я? Пусть мой облик и менялся... Как большинство людей, ты видишь меняющийся облик — и не видишь того неизменного, что под ним: личности человека, сущности женщины... Как ты мог не понять сразу же, что это — я?

— Ты... — пробормотал он. — Ты.

— Ты твердо решил уйти на Землю?

— Если бы я знал, что ты... Но я уже не могу не уйти.

— Боишься, что Мастер и Фермер разочаруются в тебе?

— Нет. Не поэтому.

— Я понимаю, — сказала она. — Что же, иди, Ульдемир.

Он хотел приблизиться, но она вытянула руку.

— Я... — сказал капитан, — снова теряю тебя. Теперь — навсегда. Но это — только моя беда, а там — вся Земля... Но позволь мне на прощанье...

— Мастер ждет тебя, — сказала она. — А Мастер не должен ждать.

Ульдемир поднял голову.

— Прощай, — сказал он. — Сейчас, когда я знаю, понял... я буду всегда любить тебя, помня, что ты есть.

Он повернулся и пошел — к углу дома, туда, где всегда исчезал Мастер.

— Да, будешь, — сказала женщина вдогонку. — А там, на Земле... Слышишь, Ульдемир? На Земле...

Он приостановился:

— Я слушаю...

— Попытайся там привести все в порядок...

— Не сразу, — усмехнулся он. — Все-таки большая планета.

— Да не на планете: у себя дома. Потому что я приду к тебе очень скоро. Надолго. Навсегда. — Она улыбнулась. — Я помогала тебе на других планетах. Неужели я оставлю тебя одного на Земле? Ты только узнай меня...

И все-таки меня отнесло течением метров на пятьдесят, стоило мне чуть ослабить гребки, пока сердце не пришло в норму. Я подплыл к берегу. Дно здесь было илистым, в воде лежали коряги, вылезать было не очень-то удобно, но ничего не поделаешь. Зато я согрелся, хотя Гауя в это время года — не для курортников.

Я вылез, узкой тропкой в кустарнике прошел к месту, где раздевался, где лежали мои джинсы, куртка, полотенце — лежали так, как я их бросил. Я вытерся, с удовольствием чувствуя, как дышит кожа, как разбегается кровь. Вода выручает нас, когда больше вроде бы некуда деваться; но рано или поздно приходит пора вылезать. Сколько я пробыл в реке на этот раз? Минут десять? Пятнадцать? Спасибо, Мастер. Очень точно вернул.

Я медленно шел к даче, заново привыкая к этим местам. Спешить было некуда, и следовало о многом подумать, об очень многом. А думать хорошо именно тогда, когда идешь куда-то, но не спешишь, зная, что не опоздаешь.

Я прошел по пустынному дачному поселочку, подошел к своей даче. Калитка была отворена. Я, помнится, закрыл ее, когда шел купаться. Хотя я был тогда в таком настроении, что мог и забыть. К тому же я ведь уходил ненадолго — да и на самом деле пробыл на реке не бог весть сколько.

И все-таки калитку отворял не я. Я понял это, когда из-за дома навстречу мне вышел сын.

— Папа, здравствуй, — сказал он.

— Темка! — сказал я. — Приехал? Вот молодец. Давненько я тебя не видел...

— Я уже подумал, что ты уехал в город, а потом заглянул в гараж — машина стоит.

— Сходил выкупался, — сказал я. — Вода ничего. Не хочешь?

— Потом схожу, — кивнул он.

— У тебя дело? Или просто так? Что, опять в школу?

— Да, — с досадой сказал он. — Нет, я просто так. Хотел забрать свою японскую музыку.

— Она в целости, — сказал я. — А что мы тут стоим?

Я отпер дверь, и мы вошли на веранду. Она была куда меньше, чем та, на Ферме. И все тут было иным. И все же...

— Я даже беспокоиться стал, — сказал сын, — не случилось ли что-нибудь.

— Да ну, сын, — сказал я. — Что со мной может случиться?

Я вошел в комнату. Порядка здесь было маловато. Особенно для свежего глаза. Сын тоже смотрел критически.

— Что, беспорядок? — спросил я.

Он усмехнулся:

— Да у тебя всегда так...

— Ладно, — сказал я сурово. — критикан ты, вот кто. Давай-ка лучше помоги прибраться, раз уж приехал.

— Давай, — согласился он. — А что? Ждешь гостей?

— Да как тебе сказать, — неопределенно ответил я. — Может в обозримом будущем нагрянуть один коллега. Из Германии. А главное...

Но тут я передумал и решил о главном пока что не говорить.

— В общем, кто-нибудь да приедет.

— Это тебе полезно, — сказал сын. — А то, знаешь, ты скучно живешь. Однообразно. Я бы, наверное, так не смог.

— Да? — сказал я. — А мне вот — в самый раз.



СОДЕРЖАНИЕ

А. БАЛАБУХА. Верность прекрасной даме. Вступительная статья 5

СТОРОЖ БРАТУ МОЕМУ. Роман 17

ТОГДА ПРИДИТЕ, И РАССУДИМ. Роман 247

Литературно-художественное издание

Михайлов Владимир Дмитриевич

Сторож брату моему

Ответственный редактор Андрей Ефремов
Художник Станислав Богдан
Художественный редактор Виктор Меньшиков
Технический редактор Татьяна Харитонова
Верстка Светланы Широкой
Корректоры: Галина Горянова, Людмила Быстрова

Подписано к печати с оригинал-макета 21.01.93.
Формат 60×90 1/16. Гарнитура Тип Таймс. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 34. Тираж 100 000 экз. Изд. № 127. Заказ 6.

Издательство «Северо-Запад»
191187, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 18

Санкт-Петербургская типография № 6
Министерства печати и информации Российской Федерации
193144, Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, 10.

Михайлов В.
М 69 Сторож брату моему: Фантастическая дилогия/ Предисл. А. Балабухи. — СПб.: Северо-Запад, 1993.—543 с.
ISBN 5-8352-0127-3

Шестеро землян, вырванных волей автора каждый из своего мира — от первобытной орды до современного нашего общества, — шестеро бесконечно чуждых друг другу, но связанных общим делом людей — вот одна из сюжетных коллизий, за развитием которых в романах Михайлова встают сложнейшие человеческие проблемы.






·Северо-Запад®